Мы впервые здесь услышали о безымянных могилах под ногами и в дальнейшем стали специально расспрашивать о них. Нам открылись страшные вещи. Весь наш поселок, такой чистый, красивый и родной, стоит на костях. На могилах без крестов, без звезд и без памятных плит. На могилах, о которых все забыли, на могилах не только советских солдат, но и мирных жителей, и немцев, и румын, и казаков-предателей, одним словом, на могилах людей. Перезахоронений было относительно немного, только когда что-нибудь строили и вдруг натыкались на кости. Особенно нас потряс факт, рассказанный Еленой Николаевной Белошенко. Мы встретились с ней случайно, когда шли домой из районной библиотеки. Она, показывая на асфальт под ногами, сказала, что во время бомбежки зимой 1942 года здесь на ее глазах погиб неизвестный солдат. Люди, которые находились рядом, его не знали, медальона у него не было. Его похоронили здесь же, в воронке, просто присыпали камнями и комьями мерзлой земли. С тех пор он тут так и лежит, под центральной улицей поселка. Как-то неудобно стало ходить по улице, зная, что где-то рядом под ногами могила. А еще мы подумали, что где-то у него остались родные, которые никогда не узнают, где покоится близкий им человек. Так вот она какая, настоящая могила неизвестного солдата, а вовсе не та, что у Кремлевской стены.

— Максим Столбовский, Валерий Хруцкий, 10-й класс

ISBN 5-98379-045-5
9 785983 790452

российские школьники о войне

цена победы

Ц Е Н А

П О Б Е Д Ы

Р О С С И Й С К И Е

Ш К О Л Ь Н И К И

О В О Й Н Е

Международное историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал»
Кафедра региональной истории и краеведения и Центр визуальной антропологии и устной истории Российского государственного гуманитарного университета
Союз краеведов России

Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ старшеклассников
«Человек в истории. Россия — XX век»

цена победы

РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ О ВОЙНЕ

МЕМОРИАЛ / НОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 2005

УДК 94(47).084.9
ББК 63.3(2)622
Ц37

Издательская программа Международного общества «Мемориал»

Редакционная коллегия:
Александр Даниэль, Лариса Еремина, Елена Жемкова,
Татьяна Касаткина, Марлен Кораллов, Никита Охотин,
Ян Рачинский, Арсений Рогинский (председатель)

Издание осуществлено при поддержке
Межрегиональной общественной организации «Открытая Россия» (РФ)
и Фонда «Память, ответственность и будущее» (ФРГ)

Редактор-составитель Ирина Щербакова
Подготовка рукописи Виктория Календарова, Александр Паповян
Дизайн Анатолий Гусев

В оформлении книги использованы фотоматериалы
архива общества «Мемориал» и Союза фотохудожников России
Фотография на обложке: Михаил Устинов, «Смоленская дорога», 1943

Ц37 Цена победы: Российские школьники о войне:
Сборник работ победителей V и VI Всероссийских конкурсов
исторических исследовательских работ старшеклассников
«Человек в истории. Россия — XX век»
М.: Мемориал; Новое издательство, 2005. — 464 с.: ил.

ISBN 5-98379-045-5

Книга объединяет работы российских школьников, посвященные Великой Отечественной войне и отобранные из полутора тысяч сочинений, пришедших на ежегодный Всероссийский исторический конкурс общества «Мемориал» в 2004–2005 годах. Большинство участников конкурса — подростки из небольших российских городков, поселков, деревень. Работы представляют сложную картину войны через призму семейной памяти, закрывают «белые пятна» благодаря документам, найденным в семейных и государственных архивах.

УДК 94(47).084.9
ББК 63.3(2)622

ISBN 5-98379-045-5

© Международное общество «Мемориал», 2005
© Новое издательство, 2005

Содержание

Ирина Щербакова. Места и области памяти 7

«В зале ожидания смерти»
Максим Столбовский, Василий Хруцкий. «Мы находимся в зале ожидания смерти». Матвеев Курган в 1941–1943 годах 21
Ярослав Захарьев. «Радио „Информбюро“ сообщило, что идут ожесточенные бои на улицах Сталинграда» 53
Екатерина Ефимова. Блики времени 70
Илья Зыков. «Когда бой уже кончился…» О владимирских госпиталях, о смерти и бессмертии, о незабытых и забытых навсегда 80

Любой ценой
Ацамаз Гагиев, Максим Ротермель, Андрей Ряшко. Москва слезам не верит. Воспоминания москвичей о городе в годы войны 95
Антон Дригин. И Мордовия могла стать прифронтовой 127
Андрей Меньшенин. «Можно ли людям сказать, что все это не напрасно?» Партизаны Заполярья 135
Семен Богатырев, Игорь Чертов. «Деревянные кони» войны 169
Мария Соколова. Уникальные подразделения. Оленетранспортные батальоны в годы Великой Отечественной войны в Заполярье 187
Юлия Ивкина, Анна Ковалева. Между молотом и наковальней. Война, народ и власть, партизаны и цена Победы 198
Александра Корсакова, Полина Корсакова. Оружие слабых. Крестьяне деревни Брехово в годы войны 213

Война и ГУЛАГ
Никита Меситов. История, рассказанная фондом Р-1368 239
Валерия Ветошкина, Анастасия Ишимова, Максим Сварник. Звено ГУЛАГа. Из истории Ярегских нефтешахт (1941–1945) 257
Алия Сафина. Встречи с прошлым и настоящим. Немецкие и японские военнопленные глазами жителей города Елабуги 271

Это было
Александра Трихичева. Спасенная из «ада» 287
Татьяна Никитина. Память и предупреждение 301

«Виноват, что не застрелился»
Марина Ахметова, Елена Шаронова. Четыре альбома… 329
Ирина Калимова. «Я не смею говорить». Воспоминания моего деда А. А. Калимова о фашистском плене (1941–1945) 343
Александра Выбач, Мария Выбач. Знать и помнить 364
Станислав Елистратов. Баба Нюра 382
Ирина Мамонтова. Лишен права выбора 395
Егор Поляков. История семьи — зеркало истории моей родины 415
Екатерина Шаронова. «Виноват, что не застрелился» 430

Приложения
Борис Дубин. Война: свидетельство и ответственность 449
Никита Охотин. Мифы не переписывают… 454

О конкурсе «Человек в истории. Россия — XX век» 461
Жюри конкурса «Человек в истории. Россия — XX век» 462
Summary 463

Места и области памяти…

Ирина Щербакова, директор образовательных программ общества «Мемориал»

В этом сборнике мы предлагаем читателю выборку из почти двух тысяч работ на военную тему, пришедших в этом году на шестой исторический конкурс для старшеклассников «Человек в истории. Россия — XX век», который с 1999 года ежегодно проводит общество «Мемориал».

Объявляя тему «Человек и война» в год 60-летия Победы мы конечно же не ставили перед собой задачу включиться в общий поток, «отметить» юбилей.

Мы надеялись, что участники конкурса посвятят свои исследования не описанию битв и действиям военачальников, а судьбам обычных людей, рядовых участников войны. Что они обратят внимание на тех, кому победа принесла не только радость освобождения, но и новые страдания. Это военные сироты и вдовы, это инвалиды войны. Это те, кто после войны многие годы жил с пятном в анкете, кто считался идеологически неблагонадежным — бывшие советские военнопленные, узники концлагерей и гетто, так называемые остарбайтеры (гражданские лица, угнанные на работу в Германию). Нам хотелось, чтобы наши конкурсанты задумались над тем, какую невероятную цену пришлось заплатить за победу в Отечественной войне.

Но главное — нам хотелось понять, как, из чего складывается представление о войне у нынешних подростков. Сохраняется ли еще живая память — хотя бы в семейных рассказах, — или война уже полностью ушла в область легенд, превратилась в нечто помпезно- застывшее?

Фактически о войне им напоминают лишь возникшие повсюду в 60–80-е годы безликие однотипные памятники и мемориальные комплексы, «вечные огни», где с первых классов приходилось отстаивать на школьных линейках 9 Мая. Конечно, война для сегодняшних школьников — и очень далекое прошлое, и самое «затоптанное» мифологизированное «место» нашей памяти.

Тем более поразительно, что многие из наших авторов (в этом может убедиться читатель сборника) настойчиво стремятся обрести, восстановить настоящие «места памяти» о войне. Прежде всего это безымянные, брошенные могилы и захоронения, которые и захоронениями назвать трудно:

Мы впервые услышали о безымянных могилах под ногами и в дальнейшем стали специально расспрашивать о них. Нам открылись страшные вещи. Весь наш поселок, такой чистый, красивый и родной, стоит на костях. На могилах без крестов, без звезд и без памятных плит… Как-то неудобно стало ходить по улице,

зная, что где-то рядом под ногами могила. А еще мы подумали, что где-то остались родные, которые никогда не узнают, где покоится близкий им человек. Так вот она какая, настоящая могила неизвестного солдата, а вовсе не та, что у Кремлевской стены.

Таких примеров в работах школьников множество. В отличие от взрослых, постоянно повторяющих фразы типа «пока не похоронен последний солдат» и т.д., но на самом деле давно свыкшихся с огромным количеством этих не похороненных, просто зарытых или брошенных в землю, детей это поражает. Поражает идущее вразрез с привычным пафосом и риторикой не оказанное мертвым уважение. Это, как мы увидели во многих работах, заставляет школьников задуматься не только о цене победы, но и о бесчеловечности системы, об изнанке бронзовых монументов…

Такого рода факты, свидетельствующие о глубочайшем пренебрежении к человеческой жизни, открываются нашим конкурсантам на каждом шагу. Вот характерный пример из работы, посвященной владимирским госпиталям, в которой автор описывает не только подвиг врачей и медсестер, сутками не отходивших от операционных столов, но и рассказывает, где и как хоронили умерших:

Очевидцы вспоминали, что умерших советских солдат хоронили в длинных глубоких рвах. Их старались привозить ночью на телегах. Сначала складывали в беспорядке. Но потом об этом, видимо, узнало местное население. И захоронения стали производить более цивилизованно. Однако гробов, торжественных церемоний тогда не было… И все равно с этим трудно смириться… Если живые в нашей стране были винтиками, то мертвые и вовсе — ненужная головная боль. Если бы каждого умершего в госпитале хоронили индивидуально и ставили на могилу хотя бы табличку с именем и номером, то потерять память о человеке было бы практически невозможно. Имя само по себе уже гарантировало бы память. Номер могилы дублировался в книге регистрации кладбища. Если даже бы деревянная дощечка потерялась, то по номеру в книге можно было бы найти место захоронения. Тогда в стране было бы меньше детей, отцы которых пропали без вести. Они, во-первых, не чувствовали бы себя детьми изменников Родины и, во-вторых, получали пособие за отца…

В своих выводах представители нового поколения иногда очень деловиты и практичны, но насколько этот практицизм человечнее бюрократического хаоса и равнодушия, скрывающихся за патриотической риторикой.

Настоящие места памяти о военных годах наши конкурсанты обнаруживают повсюду. Так, католические кресты, увиденные школьницей из Тайшета на заброшенном кладбище, привели ее к пониманию того, что и для СССР война началась раньше июня 1941 года и не с вторжения немецкой армии…

Можем ли мы, русские, рассчитывать на добрые отношения со стороны поляков после массовых депортаций, Катыни, раздела Польши совместно с фашистской Германией? Ведь надо знать о судьбе не только русских жертв массовых

репрессий, …и история моего Тайшета без сведений о депортированных поляках, прибалтов, будет совсем не правдоподобной. Да и все равно когда-нибудь кто-нибудь возьмет да и спросит: а откуда здесь на поселковом кладбище Квитка такие странные захоронения — большие католические кресты?

О войне школьникам напоминают не только кладбища, но и нефтешахты поселка Ярега, где во время войны добывалась нефть ударным трудом умиравших от голода зеков, и остатки укреплений, которые их бабушки и дедушки рыли в Мордовии, когда та стала прифронтовой, и многое, многое другое…

«Местом памяти» становятся и архивы, где наши конкурсанты отыскивают документы, рассказывающие о том, что власть стремилась вытравить из памяти навсегда: о репрессиях во время войны, о ГУЛАГе, о так называемых проверочно-фильтрационных лагерях.

Для меня история ПФЛ № 0308, существовавшего в 1944–1946 годах на территории Тульского края, стала обратной стороной войны, темной и очень неприглядной. Думаю, что сегодня многим людям в нашем российском обществе в преддверии 60-летия Победы не хотелось бы вспоминать, что в глубоком тылу советской армии был ГУЛАГ и были проверочно-фильтрационные лагеря, была рабская сила под названием «спецконтингент», строившая шахты, комбинаты, заводы и фабрики. Получается очень неудобная картина войны, ломающая привычное отношение к войне: «плохие — фашисты, хорошие — наши». Оказалось, что и «наши» были разными.

Но, конечно, главные «места памяти» о войне — это семейные архивы с фотографиями, письмами, а иногда и с дневниками и воспоминаниями.

По сотням, даже тысячам работ на военную тему, присланным на наш конкурс, видно, как трудно школьникам прорваться к живой памяти. Война для очень многих (и надо ли этому удивляться) — нечто абстрактно застывшее, набор клише из брежневской эпохи, заученных формул: великий подвиг советского народа, никто не забыт и ничто не забыто, у войны не женское лицо, День Победы — это радость со слезами на глазах, памяти павших будьте достойны и т.д. Эти фразы немедленно возникают в их текстах, как при введении ключевого слова в компьютерном поиске, и повторение их — обязательное ритуальное действие, предваряющее любой разговор о войне. Наши подростки, несомненно, жертвы этой выхолощенной и лишенной всякого человеческого содержания казенной «памяти».

Другая неофициальная, неказенная, народная память о войне проникает в их сознание в основном через призму семейной истории. Большинство наших авторов — школьники из маленьких российских городов, поселков, деревень. Их деды и прадеды — те самые рядовые, из которых сложились миллионные цифры военных потерь. Сотни и сотни раз воспроизводят школьники самую распространенную в России XX века модель крестьянской семейной истории. С трудом пережили 1929–1932 годы. Если хозяйство было покрепче, то, как правило, раскулачивали. К концу 30-х немного ожили, попривыкли к колхозам, а тут сразу

и война. Мало среди крестьянских дедов и прадедов наших авторов добровольцев, сразу бросившихся на призывные пункты. А когда призвали, они пошли выполнять тяжелый долг — и хорошо, если успели написать одно-два корявых письма — и погибли, и счастье, если известно где.

Прадед погиб от разорвавшегося в двух метрах снаряда. Раненый, он прожил еще полтора часа и успел через товарища передать наказ своей семье. Так погиб рядовой участник двух войн. Не заслужил он наград, кроме медали за оборону Ленинграда, хоть три года тянул солдатскую лямку. Захоронен мой прадед в братской могиле в двухстах метрах от деревни Каменка Холмского района Новгородской области. С единственной сохранившейся предвоенной фотографии смотрит один из миллионов людей Земли… Не менее шестидесяти процентов бойцов Красной Армии крестьяне… Это они, привыкшие к тяжелому крестьянскому труду, напрягая силы, вытянули страну из той трясины, в которую ее загнали Сталин и его руководство.

А если повезло выжить и вернуться, то какими возвращались с войны деды и прадеды наших школьников?

Парни пришли с войны — вот какие наши парни-то! Мы все, девчонки, за инвалидов пошли, и безногие, и глухие, и безрукие — всякие. Всех подобрали, да. А что ж, они виноваты, что ли, которые такими с войны пришли? У нас один был, глухой-глухой, а хороший парень был, пошла девчонка замуж за него. И внутри все перебито было. А вот недавно помер. Все жили хорошо… С инвалидом, да. А хороших-то и не было! Мало хороших-то. Хорошие пришли, так они вон уехали, в Москву да за Москву, когда война-то кончилась…

Вытянули, напрягая все силы и повсюду, — это, вероятно, один из важнейших лейтмотивов большинства работ. Эта война коснулась всех, каким бы разным не был передаваемый нам сегодня спустя три поколения семейный опыт. Тех, кто был в оккупации, пережил плен и угон на принудительные работы в Германию, депортирован в Сибирь и Казахстан, чудом выжил в блокаду. Надрывался в трудармии, на рытье окопов, на лесозаготовках и в ГУЛАГе. Сегодняшние подростки и в самом деле последнее поколение, у которого есть еще возможность соприкосновения с этим живым опытом. Только найти свидетелей становится все труднее:

Самым трудным оказалось найти свидетелей. Мы столкнулись с тем, что не все очевидцы событий хотят поделиться с нами своими воспоминаниями. Некоторые говорят, что мы и не должны знать всю правду о войне, другие боятся последствий своей откровенности, есть и те, кто просто очень болен, и им не до воспоминаний. Однако многие нас просто ждали. Вернее, ждали тех, кого заинтересует настоящая правда о войне, с кем они могут поделиться. Мы слышали от них: «Почему же вы не пришли раньше?», «Теперь и умереть можно спокойно, я рассказал то, что не давало мне покоя долгие годы», многие из них не скрывали своего волнения и слез. Говорили о том, что мы первые, с кем они беседуют на эту тему.

Сегодня память о войне чаще всего передается нашим подросткам на коммуникативном уровне через женщин — прабабушек и бабушек. И поэтому сравнительно мало в их работах фронтовых эпизодов, описаний боев. Если в семье есть живой фронтовик, сомнения школьников в правдивости лубочных изображений Великой Отечественной иногда находят выражение в форме наивного вопроса: «А ты, дедушка, за кого воевал?» Так трансформируется в их сознании призыв «За Родину, за Сталина!», который на самом деле звучал главным образом в донесениях политруков. В военной реальности, если им, конечно, удается услышать правдивый рассказ, места для такой формулы нет.

Из воспоминаний моего деда: но никогда, когда в атаку шли, не кричали «За Сталина!» И раненым никто не помогал, как в фильмах показывали. Говорили, например, брать высоту, где немцы засели с пулеметами. Не дай бог нагнешься помогать раненым — сзади тебя свои же расстреляют из пулемета. На то есть санитары, а ты — вперед, не дай бог остановишься, заляжешь где-нибудь… А после войны… не мог лишнего слова сказать, всегда был замкнутый, потому что презрение к тем, кто в плену был… Хотя и не виноват, что туда попал…

Но большинство историй, которые они слышат, — о жизни в тылу, в оккупации, о бегстве, о разбомбленных эшелонах, о потопленных баржах.

В сотнях записанных рассказов сегодняшние подростки воссоздают уникальную по количеству мелких подробностей и деталей историю тяжелейшей жизни в тылу:

В 41-м мне было четырнадцать. Я тогда в школе не училась, четыре класса закончила, а потом война началась. Отец на фронте, младшая была, и меня забрали. Мать слепая была. В ФЗО набирали так: если не явился человек, забирают отца или матерь, кто дома, и держат в тюрьме, пока не найдешь дочь. Принуждали насильно, забирали как на фронт. Я хотела укрыться, неделю пожила в Татарке у маминой сестры. Мама пришла, ревет… Нечего было надеть, надо было в Киров идти десять километров. Я полпути прошла, у меня подошвы у ботинок отпали. Я привязала веревкой и так и шла туда, куда забирали, грязно, осень (41-го года). А не пойдешь — тебя судить будут. Вон некоторые сбегали — так по шесть месяцев давали.

А вот рассказы о военной деревне:

Мы — изо всех сил. У нас и лошадей-то отобрали, так мы на себе! Взяли коляску лошадиную, положим мешок и тащим. Кто за оглоблю, кто за пружину, кто сзади прет! Ой, таскали-таскали эту коляску, теперь говорят пахать! На себе опять. Таскали плуг изо всей силы: тетка одна держит за рогачи, а мы прем. А камни! Камнистое поле-то! Теперь вспахали: «Я больше не пойду! Измоталась!» Прям никак не могу пахать! Ну прям все боли-и-ит!

При передаче таких рассказов возникают картины трудно представимой любому европейцу военной повседневности. Голод и холод, непосильный, по

12–14 часов, труд подростков на военных заводах (где стахановские сто граммов хлеба — прибавка к пайку), и никуда не уйти, не убежать, вернут с милиционером и еще посадят на полгода, на год… Многие бабушки и дедушки откровенно рассказывают, как во время войны «попадали под указы», как получали сроки за невыполнение трудодней, за опоздание на фактически принудительные работы, за так называемую спекуляцию. И мы читаем, как прабабушке дали восемь лет за буханку хлеба, вынесенную голодным детям, а сестра деда за торговлю сахарином с рук получила пять лет и так в лагере и умерла. Все эти, мягко говоря, негероические семейные сюжеты военного времени вызывают у наших авторов только сочувствие.

Мы шли пешком двести километров. Было очень холодно, снежно и ветрено. Прибыли на станцию Торбеево. Пришла разнарядка идти нам лес валить. На лесоповале уже работали заключенные из Дубравлага. Наша жизнь несмотря на то, что мы были на свободе, ничем не отличалась от их жизни. Разместили нас в бараке на нарах, в котором имелась железная голландка. До рассвета нас выгоняли на работу. Шли в лес, неся с собой пилы, топоры. Работали дотемна. Обед всухомятку: съедали какой-то маленький кусочек хлеба… Мне захотелось бежать. Четыре дня, обходя села, мокрая и голодная, я шла домой… Родители хотели меня скрыть, пряталась я под кроватью от людского глазу. Об этом стало известно председателю, он сообщил в прокуратуру района. Прокурор пригрозил тюремным заключением. Пришлось с котомкой сухарей возвращаться обратно на лесоповал.

Когда подростки передают эти истории, происходит деидеологизация официального советского образа войны, который сегодня возрождается гораздо активнее, чем это было еще несколько лет назад, — прежде всего на уровне нравственных оценок. Нет работ, где звучало бы осуждение прадеда, сдавшегося в плен, и для наших авторов сегодня не имеет значения, был ли он при этом тяжело ранен или просто оказался в безвыходном положении, главное — тяжесть перенесенных испытаний. Такая же оценка звучит, когда речь заходит о бессмысленных жестокостях в нашей армии, о расстрелах так называемых дезертиров, о штрафбатах.

Отчасти поэтому им так трудно понять, где в рассказе об угоне или плене они сталкиваются с явной мифологией, где — с умолчанием, а где — с вытеснением, ведь все это связано с теми страхами, которые до сих пор испытывают многие рассказчики. Нынешним подросткам все-таки сложно осознать природу этих страхов. Их нисколько не удивляют истории прабабушек и бабушек, угнанных в Германию, когда те вспоминают о том, что все эти годы скрывали. Например, о возникавших порой человеческих отношениях с хозяевами-немцами. А вот реакция «своих» вызывает непонимание и возмущение.

Люди, воспоминания которых мы записали, попали в рабский трудовой плен в силу трагических обстоятельств. Но они, их семьи подвергались унижениям не только на чужбине, но и в их собственной стране. Их жизнь по возвращению домой была полна лишений и мытарств. Власть после войны создавала дополнительные препятствия в их и без того нелегкой жизни лишь за то, что они ста-

ли подневольными рабочими — рабами в трудовом плену. Этих людей в нашем обществе с их проблемами и переживаниями долго как бы старались не замечать. «…А мы молчали. Мы ведь никому не говорили, что в Германии были».

На примере конкретных судеб они узнают, что возвращение из плена часто вело прямым образом в ГУЛАГ:

Героя моей работы два месяца везли через всю матушку Россию, наконец привезли в Воркуту. Снова лагерь, но теперь советский: подходит парень, тоже заключенный-каторжник, и спрашивает: «А ты откуда приехал?» А он ему: «Из Германии, из концлагеря Гросс-Розен…»

Кстати, интерес именно к еще недавно запретным темам, к тому, что до сих пор не вписывается в официальную память, в той или иной степени чувствуется едва ли не во всех работах о войне, просто иногда нашим школьникам трудно добраться до правдивых источников. Надо еще помнить, что военные архивы до сих пор на самом разном уровне остаются едва ли не самыми закрытыми, и поэтому главный их источник — по-прежнему память.

Каким представляется им сегодня образ врага, немца, оккупанта?

Конечно, есть представление о безликой массе, о страшном нашествии, и здесь часто возникает патетика в духе 70-х, однако совершенно отсутствует пафос мести. Скорее можно увидеть стремление дифференцировать, улавливать все, что не входит в рамки лубочных образов. Проявление человеческих чувств и даже иногда взаимной жалости не вызывает удивления и воспринимается порой как нечто само собой разумеющееся.

В Боровском и Малоярославском районах жители не раз отмечали случаи нормальных, даже человеческих отношений между хозяевами и непрошеными постояльцами. Например, врач-хирург по собственной инициативе оперирует нарыв на руке местной жительницы. По рассказам, немецкие солдаты жаловались местной учительнице немецкого языка на свою подневольную жизнь… Русские женщины иногда по-человечески жалели этих немецких мальчиков. Так, во время бегства немцев из Боровского района в одной из деревень старушка подвезла к дороге, по которой мчались машины и техника, на санках молодого солдата с отмороженными ногами и хотела пристроить его к отступавшим. Сообразив, что больной никому не нужен, она кричала и пыталась доказать, что его оставляют на верную гибель.

Очень часты рассказы о немецких военнопленных: бабушки и дедушки сегодняшних конкурсантов — это послевоенные подростки, и им, конечно, запомнились вызывавшие недавно такой ужас враги в совсем ином виде:

Дальше шли солдаты. Это было просто ужасно. Худые, оборванные, наряженные в то, что они отнимали у русских, погибая от холода, хотя и было лето: клетчатые бабьи платки, телогрейки, огромные эрзац-валенки. Их надевали

поверх своих сапог. Шли они в таких эрзацах как паралитики. Даже не шли, а еле ползли. Многие были замотаны какими-то тряпками. Народ вокруг молчал. Более того — стояла звенящая тишина. Никаких выкриков. Было такое ощущение, что и зрители оцепенели от ужаса. Мимо них шли несчастные люди — тоскливые, безразличные ко всему, отрешенные. Несчастные солдаты, которые расплачиваются за то, что заставили их делать фашисты.

Война оставила следы в разных местах и регионах, и сейчас, спустя многие десятилетия, чрезвычайно интересно посмотреть на это глазами нынешних подростков.

В местах, бывших зоной оккупации, это история столкновения с врагом, это судьбы угнанных в Германию остарбайтеров и, конечно, партизанское движение. Кстати, как выясняют наши конкурсанты, очевидцы помнят не только немцев-оккупантов, но и венгров, румын и итальянцев.

История партизанского движения чрезвычайно мифологизирована, архивы до сих пор фактически закрыты, но память-то остается. Она весьма и весьма противоречива и часто также не совпадает с официальной советской картиной.

Теперь я пониманию, почему дедушка с бабушкой не любили вспоминать войну, а только плакали…Страшно не подчиниться немцам, но страшнее не подчиниться партизанам.. Может из-за этого страха вспомнить многие из нас и не видят всей правды… История народного партизанского движения необходима, но подлинная.

А что происходит с памятью о холокосте? Она очень сильно вытеснена. Здесь мы сталкиваемся не просто с молчанием памяти (мы видим, как сегодня буквально уже в последний момент нарушается это молчание и нарушаются табу, связанные с войной). Но история гибели евреев, которая проходила на глазах у многих свидетелей, в рассказах об оккупации фактически отсутствует. Это понятно. Даже роль наблюдателя в данном случае тяжела и неоднозначна, а в послевоенные годы делалось все, чтобы вытеснить память о массовом уничтожении евреев. Конечно, главные места, связанные с холокостом, теперь уже за пределами России, но есть ведь и российский юг: Краснодар, Ростов, Таганрог.

И все-таки особенно в этом году мы увидели попытки приподнять завесу молчания, докопаться до правды и разбудить даже «взрослую» память. Тогда из пассивных, хоть и внимательных слушателей наши конкурсанты превращаются в активных актеров истории. Такие работы, как бы мало их ни было, вселяют надежду.

Уже с самого начала меня затянуло: источник, с которым я начала работать, оказался очень интересным. Больше всего меня поразило отношение одноклассников к тому, что я решила заняться такой работой. Многие говорили, что-то вроде: «Тебе заняться нечем?» или «Кому это надо?». Некоторые ребята просто

удивленно раскрывали рот, услышав, о чем я пишу. Но их отговорки не убедили меня бросить все, а, наоборот, усилили уверенность в том, что это кому-то нужно. Это нужно именно им, тем ребятам, которые ничего не знают…

Моя цель — понять, что представлял собой оккупационный режим и как люди выживали в условиях «нового порядка». Я хочу понять, какие отношения были между людьми разных национальностей и почему они складывались именно так.

Конечно, питерские работы главным образом посвящены блокаде, а если о войне пишут подростки из Сибири, с Урала, это фактически история эвакуации (очень сильно изменившей жизнь этих регионов) или тяжелейшего труда — то, что на официальном советском языке называлось подвигом тружеников тыла. А на Дальнем Востоке и в Сибири возникает много рассказов о военнопленных японцах, о которых в Центральной России и не слыхивали. Если работа, например, написана школьниками из Калмыкии или Ингушетии, то в их памяти война — это прежде всего история депортации 44 года. Истории российских немцев — это тоже депортация и трудармия, которая мало чем отличалась от ГУЛАГа. А в Карелии память о войне — это память о финской оккупации, и, как показывают приходящие оттуда работы, эта память не просто жива, она возрождается. В Коми это ГУЛАГ, работающий на победу из последних зэковских сил.

Совершенно закономерно у наших авторов возникает вопрос не только о цене, но и плодах победы, о том, что ждало после войны тех, кто выжил, вернулся, и, самое главное, они видят, как эти люди живут сегодня:

Здоровье я растратила на торфоразработках в 41-м году, на лесоповале — в 42-м году. А в старости, когда меня замучили болезни, власти забыли мой труд. Умирать уже пора, а память мучает меня чувством обиды за голод, холод, непосильный труд. Я ежемесячно получаю пенсию — 2000 рублей, не хватает даже на лекарства.

Мучились как собаки, и не в зачет, работала всю жисть, работала за шиши… Потому что были бы мы грамотные, может, чего и было бы. А мы неграмотные. Что дадут, то и дадут. Вот как. И военные годы не пошли, ничего… вот и все. Пенсия? Сто восемьдесят… Тысяча восемьсот тридцать рублей… Ну мне хватит…

Слушая и записывая эти рассказы, школьники понимают, что «в зачет» этим людям и многим из их близких фактически ничего не поставили. Тем непомерней кажется тогда реальная цена победы, в том числе и семейного вклада в нее. Это, безусловно, рождает у наших конкурсантов чувство причастности, заставляет задумываться, прислушиваться и «ставить в зачет».

«в зале ожидания смерти»

«Мы находимся в зале ожидания смерти» Матвеев Курган в 1941–1943 годах

Максим Столбовский, Василий Хруцкий
Ростовская область, пос. Матвеев Курган, 10-й класс
научный руководитель О. И. Столбовская

Когда учительница истории предложила нам участвовать в конкурсе, мы выбрали тему войны. Но вначале нам казалось, что ничего нового мы не найдем, что наша работа будет похожа на обычный школьный реферат. И все глубже окунаясь в события, происходившие там, где мы живем, мы ощутили свою сопричастность к ним.

Очень мало осталось свидетелей тех страшных лет, которым в годы войны было больше 18 лет. Мы познакомились ближе со стариками, мимо которых проходили раньше, не всегда здороваясь. Мы изучили семейные архивы и расспросили родных, соседей. Работали мы также и в районном архиве. История поселка стала и нашей историей.

Самым трудным оказалось найти свидетелей. Мы столкнулись с тем, что не все очевидцы событий хотят поделиться с нами своими воспоминаниями. Некоторые говорят, что мы и не должны знать всю правду о войне, другие боятся последствий своей откровенности, есть и те, кто просто очень болен, и им не до воспоминаний. Однако многие нас просто ждали. Вернее, ждали тех, кого заинтересует настоящая правда о войне, с кем они могут поделиться. Мы слышали от них: «Почему же вы не пришли раньше?», «Теперь и умереть можно спокойно, я рассказал то, что не давало мне покоя долгие годы», многие из них не скрывали своего волнения и слез. Говорили о том, что мы первые, с кем они беседуют на эту тему.

Мы записали воспоминания 37 человек, живших в Матвееве Кургане и в районе в военные годы[1].

НАЧАЛО ВОЙНЫ. СОБЫТИЯ ДО ПРИХОДА НЕМЦЕВ 17 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА

Матвеев Курган перед войной стал красивым районным центром. Здесь были две школы — средняя и семилетка, кинотеатр, большой элеватор, молокозавод, железнодорожная станция. Некоторые улицы были вымощены каменной брусчаткой. Перед зданием райкома стоял памятник Ленину, в парке была стела погибшим за революцию в Гражданской войне и памятник Сталину. Среди парка был разбит розарий.

Мы представили себе поселок, где жили люди, каждый занимался своим делом, которое прервала война. И мы просили рассказать об этом, чтобы понять, как люди переживали последние мирные часы, как известие о начале войны раскололо их жизнь на две части — довоенную и военную.

Война быстро становилась суровой реальностью. Забрали на войну отцов, братьев, мужей, сразу опустел поселок. Вокзал превратился в особое для поселка место. Отсюда провожают близких на фронт. Вернутся ли они с войны? Увидятся ли с ними их семьи? Из Матвеева Кургана в 1941 году было мобилизовано 311 человек.

Из нашего района стали выселять немцев-колонистов, которых до войны здесь проживало очень много. Выселяли семьями, давали на сборы очень мало времени, почти ничего не разрешали брать с собой, заставляли распустить всю скотину. Надежда Ивановна Панченко, 1927 года рождения, вспоминает: «Очень обидно выселяли ротовских немцев. Со мной в классе училась немка, мы с ней дружили. Мне ее было жалко, но на вокзале, куда я пришла ее проводить, к ней не пустили. Их гнали штыками, на них сильно кричали наши солдаты, стоял плач и крик женщин и детей. Их загоняли в товарные вагоны, крепко закрывали там и не разрешали выглядывать из окошек под крышей». Это было непонятно и страшно, к колонистам здесь хорошо относились, и, даже когда началась война, никто в нашей местности не связывал гитлеровцев со здешними немцами. Депортация такими жестокими средствами, отношение к тем, кого считали своими, как к врагам, заставили усомниться в справедливости властей.

Война приближалась, новую среднюю школу оборудовали под госпиталь. Через поселок с запада, с Украины, гнали скот. Скоро и наши колхозники погнали свои стада на восток. Скот был недокормлен, утомлен, стоял рев, пыль до самого неба. Люди ехали на повозках, шли пешком в эвакуацию.

Дети не пошли учиться, их организовали на работы в помощь фронту. Школьники собирали металлолом, набрали целые кучи возле МТС, их не успели вывезти, и металл лежал там очень долгое время. Младшие школьники собирали урожай, а старших отправили рыть окопы. Все работали очень ответственно, надеялись, что помогают фронту.

Вспоминает Надежда Ивановна Панченко: «Когда немцы наступали, а здесь были еще наши войска, нас выгоняли копать противотанковые рвы. Это было для всех обязательно, хочешь не хочешь, иди. Ходили за восемь километров туда и восемь километров обратно пешком, рыли окопы. Также делали противотанковые кучи — насыпали на противотанковые мины большие кучи земли в шахматном порядке. Я и тогда не понимала, зачем. Немцы не глупые — зачем им ехать на кучи? Так и получилось. Этот участок немцы обошли стороной. Наша тяжелая работа пропала впустую. Нас подхваливали, обещали, что, кто хорошо будет работать, отправят отдыхать в санаторий, но какое там! Очень быстро прорвало фронт, и все обещальщики ушли и бросили нас на немцев». Работа на рытье окопов была опасной. Это был не только тяжелый труд, но и смертельный риск: «Немецкие самолеты летали над нами часто. Пролетит „рама“ — самолет-разведчик. Мы все врассыпную, кто в окопы, кто куда, а платки у всех девчат белые, видны далеко. Минут через 5–10 летят самолеты и бомбят». Надежда Ивановна вспоминает, что все очень старались, надеялись, что наши остановят немцев, что дадут им отпор. И когда враги все же захватили родные места, горечь была сильной.

В конце августа фашисты стали бомбить поселок и станцию. Сначала люди не знали, как себя вести при бомбежках. Лидия Николаевна Шаталова, 1937 года рождения, вспоминает: «Когда бомбили, мы сначала не знали, что это, и с братом кричали маме: „Огурчики летят!“ (бомбы), а зарево было на все небо». Евдокия Аврамовна Гребеняк, 1935 года рождения, рассказала, что «при первых бомбежках еще не знали, что делать, почти всегда они были неожиданны. Бомба упала во дворе, а мама в комнате купала сестричку Валю, ей было три года. Выпали стекла в окнах, одно большое упало так, что думали, оно зарежет Валю в корыте. Слава Богу, она осталась жива, только немного поцарапана». Люди искали укрытия в подвалах, рыли щели в садах. (Щель — это яма полметра шириной, а в глубину на рост человека.) Когда был близкий разрыв бомбы, то такое укрытие становилось могилой. Мог им стать и подвал, если было прямое попадание. Самым надежным укрытием во всем поселке оказалась «труба» — переход под железной дорогой на окраине поселка. Мария Васильевна Волощукова, 1928 года рождения, вспоминает: «При налетах мама кричала: „Быстро в трубу!“ Мы бежали туда. В трубе я оказалась чуть ли не снаружи, там уже много набилось людей со станции, гражданских и военных. Кое-как вползла внутрь. Какой-то военный крикнул: „Садись!“, чтобы не убила взрывная волна. Сидим в тишине, а потом рокот мотора, свист… Ждем — в нас попадет, мимо… Кто-то в тишине перед разрывом сказал: „Мы находимся в зале ожидания смерти!“».

После беседы с Марией Васильевной мы пошли в трубу. Мы часто пользовались этим переходом, когда ходили в гости к одноклассникам, живущим за железной дорогой. Теперь мы другими глазами посмотрели на мир из этой трубы. Как страшно жить, нет, не жить, существовать, поминутно ожидая смерти. Этот «зал ожидания смерти» оставил в душе глубокое впечатление. Так нашим землякам пришлось жить не один месяц, а вплоть до октября 1943 года, когда фронт ушел на запад и больше в поселок не вернулся.

Очевидцы рассказывают, что в 1941–1942 годах почти не видели наших самолетов. А вот немцы летали большими группами, несколько десятков самолетов, черные, страшные, среди дня. Летели низко, почти не опасаясь наших зениток. Чтобы усилить ужас, сбрасывали бочку с дырочками, она страшно завывала, пугая тех, кто прятался от разрывов. Причем свидетели не могут сказать, наши летчики или немецкие придумали сбрасывать такие бочки. Людям оставалось только молиться: «Слава Богу, день пережили!» — говорили, когда бомбили немцы, а здесь стоял фронт. «Слава Богу, ночь прошла, и мы целы!» — говорили, вылезая из канавы за поселком в 1942–1943 годах, когда бомбили наши. Гибли люди под бомбами. Привыкнуть к этому было нельзя.

Очень скоро жители Кургана заметили, что остались без власти. Все конторы опустели, начальники куда-то делись. Магазины стояли закрытые, нельзя было купить хлеба. Вспоминает Виктор Матвеевич Моисеенко (1929 года рождения): «Отец работал на элеваторе, на подстанции. Элеватор был метров тридцать, самый высокий в поселке. Помню, как отец жег партийные документы в котле. Потом пришли военные. Сказали: „Старик, иди домой, мы здесь хозяева“. И дали ему бумагу, что приняли имущество. Они разрешили людям, бывшим работникам, брать

зерно и муку. Элеватор взорвали так, чтобы он перекрыл железную дорогу, зажгли все склады с оставшимся зерном. Смрад и гарь стояли над поселком».

О том, что элеватор горел, когда еще немцев в поселке не было, вспоминают и другие очевидцы. Но в книгах мелькает информация, что элеватор зажгли немцы. «На станции „Матвеев Курган“ полыхал огонь. Отступая под ударами наших войск (речь идет о декабре 1941 года. — *Авт.*), немцы не успели вывезти зерно с элеватора и подожгли склады. Бойцы потушили пожар и спасли тысячи тонн пшеницы. Было приказано вывезти все зерно в тыл. Ночью в Матвеев Курган потянулись автомашины, подводы. Немцы подвергали их артиллерийскому обстрелу, но пшеница до последнего зернышка была спасена»[2]. Непонятно, ради чего рисковали жизнями людей под обстрелом немцев, потому что все свидетели, даже те, кто затрудняется сказать, когда именно был взорван элеватор, вспоминают, что всю первую оккупацию питались горелым зерном, который добывали на месте пожара. Кроме того, есть свидетельства, что еще года три, когда приходилось особенно туго, жители разыскивали там остатки зерна. Из записок Галины Васильевны Захарченко знаем, что немцы выпекали хлеб из этого зерна[3]. Так что вывозить нашим войскам было нечего. Остается предположить, что здесь мы имеем дело либо с мифом, либо с желанием в 1970-х годах во всей разрухе, бывшей в поселке, обвинить фашистов.

Очень интересным в рассказах нам показалось описание того момента, когда люди поняли, что наступило безвластие, которое продолжалось около недели. Нет ни милиции, ни райкома, никого, кто накажет. Дома начальников тоже опустели.

Люди пошли брать в колхозе все, что осталось: сеялки, сани, лошадей, коров. Брали все в магазинах и аптеках, запасаясь на будущее. Уже знали, что ничего хорошего от немцев ждать нельзя, от своих властей тоже ничего особенно хорошего не ждали. У простых людей было ощущение брошенности, ненужности.

Вспоминает Виктор Матвеевич Моисеенко: «На старой аптеке (что по улице Октябрьской) висел большой замок. А женщины хотели запастись лекарствами, все равно какими. И они подговорили нас, мальчишек, чтобы мы выбили в аптеке окна. Мы бросили камни, стекла вдребезги. Все повалили вовнутрь. Мы, мальчишки, искали мятные таблетки. Некоторые из нас покуривали, ими хорошо было зажевывать, чтобы родители не узнали. Там стояла лестница, чтобы доставать до верхних полок. Туда полез мой старший брат, ему было 14 лет. Он обнаружил там зубной порошок в бумажных пачках. Его там было очень много. Он стал разрывать пачки и посыпать им сверху баб, которые гребли в сумки лекарства. Потом он увидел огнетушитель и стал поливать из него ругающихся и плюющихся женщин. Какие они оттуда выскакивали „красивые“, я буду помнить долго! Белые, в пене!»

Нельзя осуждать тех людей, переживших смутные времена перед оккупацией, под обстрелом и бомбежками, которые продолжались, не прерываясь ни на день. Люди стремились обеспечить себе хоть какое-то будущее, чтобы не голодать. Однако некоторые не ходили туда, оставалась какая-то преграда в душе, какой-то внутренний запрет брать чужое.

«В середине месяца 1-й танковой армии врага удалось выйти к устью реки Миус и 17 октября занять Таганрог»[4]. В этот же день немцы вошли и в Матвеев Курган, который наши войска оставили без боя, боясь окружения. Немцы в поселок входили с двух сторон: с севера и с юга.

Мы хотим привести здесь воспоминания Антонины Алексеевны Ниценко, 1929 года рождения: «Видели, как сплошным потоком идут люди на восток — в эвакуацию. Бабушка и говорит:

— А давайте и мы эвакуируемся, что нам сидеть, раз все идут.

И мы взяли кое-какие вещи, на руки маленького братика (1939 года) и пошли по улице Кирова, на которой мы жили возле железной дороги, на восток… Дома на столе остался разрубленный поросенок из приблудных — прямо гора мяса. Мы взяли только немного сала. Мы увидели, как к военкомату во весь дух мчит тройка, с морд лошадей падает пена, а мужчина стоя правит. У военкомата он резко осадил коней и закричал:

— В Ротовке немцы!

Потом он увидел нас (было семь малышей, две женщины — мать и ее сестра, бабушка 56 лет) и говорит:

— А вы куда?

— В эвакуацию.

— А куда?

— А кто его знает.

— А дом у вас есть?

— Есть, и подвал есть.

— Ну и возвращайтесь, живите, кому вы где нужны. Тут очень опасно, немцы дороги бомбят, в спины людям стреляют, а у вас дети малые.

Бабушка и говорит:

— А давайте вернемся, в своем дому и смерть красна.

Ну мы и вернулись, мясо на столе никто не тронул».

Остались женщины с детьми одни, без мужчин, которые раньше всегда принимали решения. Они растерялись, не знали, что им делать, как сохранить детей.

Почти все вспоминают, как в первый раз увидели немцев, даже те свидетели, которым было мало лет. Вспоминает Надежда Ивановна Панченко: «Впервые увидела немцев 17 октября 1941 года. Мы с сестрой Марией пошли за сеном и увидели немцев с автоматами. Я очень испугалась. Ведь по радио говорили, что они сразу всех убивают и девочек насилуют. Я побежала домой и спряталась на чердак. Мама закричала: „Ты что это выдумала, слезай!“ А во дворе уже немцы — офицеры, холеные, чистые, не то что наши солдаты, те шли усталые и в пыли». Из воспоминаний Антонины Алексеевны Ниценко: «Мы имели огород за ГЭС (за поворотом реки; ГЭС построена в послевоенные годы. — *Авт.*) и с мамой резали там капусту. Вдруг, слышим, загудели танки. Побросали капусту, прибежали домой. А дома — полный двор немцев, требуют сало, яйки. Бабушка им говорит, что их нет, а мама сказала: „Да отдай, пусть оставят в покое“». Иван Григорьевич Столбовский, 1932 года рождения, вспоминает: «Немцы приехали на черных тяжелых тизовских мотоциклах со стороны Колесниково, которые выпускались в Таганроге и отправлялись в Германию. Брат Степан, который работал на том заводе, мечтал о таком. Вообще наши были без техники, а у немцев все сидели за рулем, даже пехота. Мы до войны много чего им отправляли — продовольствие, эти же мотоциклы».

Нам кажется, что эти рассказы почти не нуждаются в комментариях. Они точно передают атмосферу этого трагического момента — начала оккупации. Немцы занимали наиболее удобные дома, выгоняли жителей в сараи, в лучшем случае позволяли тесниться в кухне. Пришли тыловые части. Вспоминает Надежда Ивановна Панченко: «Немцы вели себя нагло, как завоеватели. Русских называли: „Руссиш швайн“. Не стеснялись женщин и детей. Посреди розария в парке устроили туалет открытый, поставили невысокие стенки, где-то с метр, вырыли ямы. Сидит немец в туалете, голова торчит из-за стенки, и лыбится на людей. Было стыдно и неудобно ходить мимо».

Сделали этот туалет специально в самом красивом месте поселка, чтобы унизить жителей и показать, кто тут хозяин.

Из рассказа Виктора Матвеевича Моисеенко: «Детям приказали сносить учебники в бывший Госбанк. Там сидели учителя и старшеклассники и рвали листы, где было упоминание о советской власти». Всякое упоминание СССР также тщательно уничтожалось.

Начались поборы с населения, все ценное забирали. Не только организованные команды тыловиков, но и простые солдаты грабили жителей для себя лично. Все очевидцы вспоминают, как по домам ходили немцы, брали что хотели в домах жителей. Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: «Немцы вели себя нагло, входили в дом с автоматами наперевес: „Партизан, коммунист ист?“ Заходят в каждую комнату, озираются по сторонам, копаются в сундуках, ищут хорошие вещи, если кто-то один что-то найдет, то молча быстро загребает в мешок и уносит на машину или в мотоцикл». Благополучие некоторых семей, подобравших бесхозный скот и набравших добра в магазинах, быстро закончилось. Впереди замаячил голод. Ковалева Валентина Федоровна, 1934 года

рождения, вспоминает: «Придут немцы, требуют кур, яйца, а мама нам: „Плачьте, дети!“ И мы плачем, бывало, немец и уходит»[5].

Появилась комендатура с фашистским флагом над нею. Вспоминает Елена Николаевна Белошенко, 1928 года рождения: «Мы жили рядом со зданием, в котором была комендатура… У нас в семье было трое девчат и мама, так мы боялись лишний раз выходить на улицу. Мама нас сажей намажет, в рванье оденет, прячет от немцев. Они красивых девчат первых в Германию отправляли, или еще куда — мы не знали, но знакомую так угнали еще в первую оккупацию». Е. Н. Белошенко рассказала, что у немцев работала команда наших военнопленных, они копали какие-то траншеи, их били, они были полураздетые и голодные. Жителям подходить к пленным запрещали.

Жить в Матвеевом Кургане все же было легче, чем в селе Троицком, что под Таганрогом. Там жила мать Лидии Николаевны Шаталовой, которая перед войной вышла замуж. Там стояли не фронтовики, а эсэсовцы, которые расстреливали коммунистов и евреев. Они жгли людей живьем, убивали, и ее мать не могла оттуда уехать. Она рассказывала, что людей там живыми закапывали в землю и земля трое суток шевелилась.

О том, что и в Матвеевом Кургане захватчики искали евреев, мы нашли сведения в записках Антонины Григорьевны Шелковниковой: «Подходит немец к русскому вплотную, начинает щупать голову, проверять строение черепа — не еврей ли он или не цыган ли? Это было со мной у вокзала, и там же проверяли так и других людей. Немецкий переводчик нам объяснил, что они ненавидят цыган за их лень и воровство, а евреев — за хитрость и безделье». Александра Александровна Хайло, 1918 года рождения, говорила, что ее немцы принимали за еврейку, потому что она была черноволосой и кудрявой, но ей удавалось доказать, что она русская.

Свою деятельность разворачивала комендатура, устанавливая «новый порядок». Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: «Возле нашей школы на столбе висела табличка: „За хождение после восьми вечера — расстрел“. Около вокзала такая: „За одного убитого немца — десять русских расстрел“. Легко немецкий солдат мог дать пощечину местному или пинка под зад».

В подвалах комендатуры сидели люди, ожидавшие своей участи.

В Ново-Николаевке был лагерь для военнопленных. Несколько раз через Матвеев Курган туда гнали пленных. Вспоминает Екатерина Григорьевна Добрица, 1922 года рождения: «Через поселок гнали пленных. И люди среди них узнали земляка. Сказали его жене, она пошла в Ново-Николаевку и взяла для мужа продукты, курицу жареную, вдруг удастся передать. Один немец, что охранял лагерь, взял продукты, а мужа отпустил, сказал, чтоб не пускала воевать». Этот лагерь просуществовал до полного освобождения района от оккупантов.

Неизбежно во время оккупации с отдельными представителями вражеской армии возникали какие-то личные отношения. Многие свидетели вспоминают,

что некоторые немцы давали им хлеб, показывали рукой на метр от пола и говорили: «Дома киндер», показывали фотографии семьи. Иван Григорьевич Столбовский вспоминает: «Наш дом стоял на окраине. Немцы оборудовали рядом зенитную батарею, в доме жил ее офицер. Он хорошо говорил по-русски, украдкой давал нам суп из гороха без картошки, который ели сами офицеры, консервы, раз даже угостил шоколадкой. Часто беседовал с отцом и, когда не слышали другие офицеры, сказал: „Нашего Гитлера и вашего Сталина надо столкнуть лбами и заставить драться вместо нас, простых людей. Пусть убивают друг друга до смерти“». Петр Егорович Журенко, 1927 года рождения, вспоминает: «У нас в доме жил немец старый, для меня он был как дедушка. Он был ветфельдшер, в офицерском чине, жил один в зале, а мы в другой комнате. Нас не обижал, меня просил держать лошадей при его осмотрах, за это давал иногда продукты». Вспоминает Николай Иванович Жерноклев, 1938 года рождения: «Мы с братом были двойняшки, только он темнее, а я светлее. Немцы относились к нам хорошо, удивлялись, что мы так похожи. Один немец очень подружился с нами, подарил нам по чайной ложечке, мне под золото, а Володе под серебро, часто угощал хлебом. Он потом специально заезжал к нам раненый, без ноги, когда возвращался в Германию из-под Сталинграда. Он говорил, что кровь там течет рекой, прямо по земле».

Надежда Петровна Саломащенко, 1924 года рождения, рассказывает, что однажды немец спас ей жизнь при бомбежке. «Мне надоело прятаться в подвале, и я решила заночевать на кухне. Немцы же совсем не прятались, при всех бомбежках спали в доме. У нас жили те, кто восстанавливал железную дорогу, умаются за день и спят. Налетели наши самолеты, я испугалась и побежала прятаться в подвал. Немец схватил меня за шиворот и положил на пол. Я плохое подумала, стала кричать, а тут бомбежка закончилась. Он встал и пошел. Мне говорят: „Он жизнь тебе спас“. Если бы я дальше побежала, как раз бы под разрыв угодила».

Вскоре жители разобрались, что среди оккупантов не все немцы по национальности: есть австрийцы, венгры, хорваты. Многие сносно говорили по-русски и относились к населению мягче, чем немцы.

Нашлись жители, которые захотели стать полицаями, служить немцам. Из записок Галины Васильевны Захарченко: «С помощью прихвостней-полицейских стали выгонять людей на принудработы: тушить пожар на элеваторе, восстанавливать железную дорогу, мосты. Людей сажали на открытую платформу и в сопровождении автоматчиков с собаками возили в Закадычное на восстановительные работы. Стала работать пекарня, выпекали хлеб из зерна, которое немцы смогли спасти от пожара на элеваторе. Этот хлеб имел запах гари и привкус горечи»[6].

Все полицаи преследовали свои интересы, стремились насладиться властью, побольше положить в карман.

Тогда же на территории района стал действовать партизанский отряд. Мы узнали, куда исчезли руководители района за неделю до оккупации. Их вызвали в об-

ком партии, объявили, что они мобилизованы в партизаны. При этом они сдали свои документы, партийные и комсомольские билеты на хранение. Александра Александровна Хайло показала нам справку, выданную ей в обкоме партии в 1943 году, где указывалось, что ее комсомольский билет находится на хранении. Всего их было в отряде около 30 человек. Во главе стояли руководители района и районных предприятий. Александра Александровна попала в отряд как член бюро райкома комсомола. Ей и Нине Гончаровой поручили работать в Больше-Кирсановке, разносить листовки, выполнять разные поручения руководителя, Александра Гудзенко (он был секретарем райкома партии). В районном архиве есть примерный список членов этого отряда, составленный со слов уцелевших партизан в 1970-х годах. В нем значится 28 человек.

Вспоминает Екатерина Григорьевна Добрица: «Я в первую оккупацию жила у родителей мужа на хуторе Добрицы. Тесть сделал на доме двойной фронтон, то есть на чердаке была потайная комната, которую никак было не видно — ни с улицы, ни с чердака. Там сделали нары, и там прятались пять человек — партизаны. Среди них были Гудзенко Александр (он был наш родственник — муж тети моего мужа), Афонов Василий (позже он был руководителем Таганрогского подполья) и еще не помню кто — все бывшие руководители района. Они по ночам уходили на свои дела, а днем скрывались у нас. Знаю, что они взорвали два эшелона с немцами в Закадычном, а что еще — не знаю. У нас полный двор немцев, а на чердаке партизаны. Очень страшно было. Мы им стирали, кормили их. Пятеро мужиков, не шутка! Большой был риск, а у нас дети малые. Еды не хватало, мы даже побирались одно время. Скрывали их месяца четыре». (Часть района не освободили в декабре 1941 года, там продолжалась оккупация до августа 1943 года.)

Нас заинтересовало, что почти все свидетели не говорят о действиях партизан как о нужном деле. Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: «Партизаны пускали ночью ракеты из-под железнодорожного моста. Наши самолеты весь поселок бомбят ночью. Немцев было в селе очень мало. Но наступает ночь, люди села берут коров за веревку, кое-какие вещи и идут в поле ночевать. Ибо прилетят самолеты, побросают свечи-ракеты на парашютиках, станет светло, летчикам все видно. Тогда они, сбросив сотни бомб, улетают. Немцев нет, зениток нет, одни жители и те в поле. Утром возвращаемся — дом разбит, кругом кучи земли и обломки. Сидим у соседей в подвале… Благодаря партизанам два месяца попусту бомбили наше село».

О страшных последствиях бомбежки вспоминает Надежда Петровна Саломащенко: «Когда наши в 1941 году ушли, то оставили здесь партизан — бывших партработников. Толку от них никакого не было. Здесь не было боевых частей немцев, таких, как я видела в Кривянке, в эвакуации. Там здоровые, сильные, молодые, а у нас старики железную дорогу восстанавливали. Еженощно наши пускали ракеты, и нас бомбили. Жили по ночам в погребе среди бочек с капустой, ноги отекли от такой жизни. Мама и отправила меня к родственникам в Красный Бумажник. Там не бомбили. Шли туда пешком, вдоль железной дороги. Часто нам встречались солдаты наши, выходили из окружения группами, человека два-три. Грязные, голодные, чем-то на зверей похожи».

Другие очевидцы рассказали подобное — таких свидетельств много. Как же тогда относиться к партизанам? Вроде бы идет война с врагом, партизаны часть этой войны, работают на уничтожение фашистов, но жертв больше среди мирного населения. Мы решили, что дело в масштабах их действий, и, возможно, если бы жители видели, что партизаны действительно причиняют большой вред врагу, отношение к ним у людей было бы иное. В самом же поселке страдали именно мирные жители. Но в книге читаем: «Активную деятельность развернули в тылу врага партизаны. Были созданы отряды в Неклиновском, Матвеево-Курганском, Азовском районах. …Особенно ценными были их сведения о дислокации немецких войск. В этом партизаны оказывали большую помощь командованию советских частей»[7]. Взгляды с разных сторон фронта на деятельность партизан — из штабов и из подвалов, где прятались жители, — оказываются противоположными. Раиса Степановна Горбаткова, 1929 года рождения, рассказала: «Нас бомбил наш земляк Кочубей Сергей. Он был летчик, здесь все знал и после войны хвалился, как точно он всегда попадал, когда ему приходилось бомбить здесь. Говорил, что сюда чаще всего посылали бомбить». Отношение к его подвигам у земляков было не слишком хорошим, хотя вслух, конечно, люди ничего не говорили.

Началось наступление под Москвой. 29 ноября 1941 года советские войска освободили Ростов. Перед отступлением фашисты стали жечь дома жителей Матвеева Кургана. Из воспоминаний Екатерины Ивановны Резниченко, 1929 года рождения: «Первым начали жечь наш край — улицу Разина. Мы увидели, что на соседней улице загорелся дом Чемикоса. Тогда еще не знали, что это немцы жгут, думали, случайно. Побежали тушить. У него был грудной ребенок, еле успели выскочить. И видим, что это немцы выводят скот, сами в черных комбинезонах, с факелами и канистрами с бензином, черные и страшные. Собаки лают, скот мычит, немцы-поджигатели не дают тушить, отгоняют автоматами. Началась паника. Мама с Валей, младшей сестрой, потерялись, мы их смогли найти только на второй день». Надежда Петровна Саломащенко вспоминает: «Команда здоровых, черных, в саже немцев подходит с факелами и с канистрами с бензином к дому. Почти все крыши из камыша. Подносят факел к крыше и стоят несколько минут, ждут, когда загорится как следует. Потом переходят к другому дому. Жгли дома три дня. К нам пришли от кладбища. Мы, пока к нам добрались, все вещи убрали в бочки в саду. Я выглянула из-за бочки — немец дал очередь. Они подошли к соседнему дому, там была полная бабушка, она стала просить, чтобы их не палили, так немец ее сильно толкнул, она упала. Но их дом не сгорел. У них был сын-полицай и дед, так они успели разобрать часть крыши, сгорел только фронтон. У нас остался цел потолок, была какая-то крыша. Мы жили так до 5 декабря, до эвакуации».

Матвеев Курган горел, как свечка. Все застлало дымом. Визжали собаки, плакали дети. От многих домов остались одни трубы. Видимо, в поджоге участвовали не только те солдаты, которые здесь были на постое, — пригнали и другие части. И некоторые очевидцы говорят, что немцы, жившие здесь некоторое время, предупреждали их или как-то содействовали спасению жилья. Вспоминает Надежда Ивановна Панченко: «Один офицер, который жил в нашем доме, позвал меня в сарай, где у нас хранилось сено, и жестами показал — я буду жечь (как

будто чиркает спичкой о коробок), а ты туши (топал ногами, как будто сбивал пламя). Мама услышала, стала меня ругать — а вдруг немец решил позабавиться? Но мы все равно смогли спасти дом, а сарай с сеном сгорел. Потом соседи, чьи дома сгорели, некоторое время жили у нас». Екатерина Ивановна Резниченко вспоминает: «На подворье Нецветовых был немецкий штаб. Когда наши наступали, они заминировали хату и хотели взорвать, а хозяйка была беременная, просила их не взрывать, негде ей будет дитя рожать. Они не взорвали, а наши пришли и разминировали, хата осталась. Есть и добрые немцы».

Перед уходом фашисты задумали угнать с собой некоторую часть жителей. «В конце ноября 1941 года немцы заставили взять вещи и уйти из дома с ними на запад, — вспоминает Иван Григорьевич Столбовский. — Наша семья дошла до улицы Пугачевой, скрылась из виду немцев, стала уходить в сторону. По темноте пробрались в сарай тети Даши Соседкиной. Там уже был полный подвал людей, у которых спалили дома. Однажды ночью туда пришли наши солдаты, ребята-разведчики. Все очень обрадовались, а Надежда Ивановна их знала и раньше, и стала им рассказывать, и показывала на их карте, где у немцев что находится. Она знала, как какие части называются и какие пушки где стоят. Меня это тогда поразило». О том, что немцы, отступая, заставляли жителей уходить с ними, вспоминали и другие свидетели. Не всем удалось избежать этого. Так пропала семья Корсуновых, соседей Столбовских, которую немцы в числе прочих угнали в 1941 году. Их судьба неизвестна.

МАТВЕЕВ КУРГАН НА ЛИНИИ МИУС-ФРОНТА 4 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА — 22 ИЮЛЯ 1942 ГОДА

27 ноября войска Южного фронта нанесли мощный удар по ростовской группировке врага с севера, востока и юга и 29 ноября освободили Ростов от фашистских оккупантов. 10 декабря 1941 года фронт прошел по реке Миус, по западной окраине поселка Матвеев Курган. Фактически сам поселок лежал на нейтральной полосе, находился в зоне перекрестного обстрела своей и вражеской артиллерии.

Здесь продолжали жить люди, которые не числились в списках войск, в том числе дети и женщины. Их принято называть мирным населением, но до мира было очень далеко, и они на своих плечах несли все тяготы жизни на фронте, не получая за это никаких наград, подвергаясь, так же как солдаты, смертельной опасности. Мария Яковлевна Бобкова, 1925 года рождения, вспоминает: «Стоял Миус-фронт. Мы копали окопы, где старый мост. Было страшно, копали ночью, немцы обстреливали сильно. Так мы хитрили — выкопаем по колено, присядем, как будто глубокий окоп вырыли, нас отпустят. А вечером опять тот же окоп докапывать приходится. Мы все были на списках, нас находили, отказаться было нельзя».

Окопы были в полный рост человека, в них сидели солдаты. Кухни находились у второй, а то и третьей нашей линии обороны, там же переформировывали войска. Вспоминает Надежда Петровна Саломащенко: «Старшина предложил

стирать белье солдатам. Мама и соседка стирали, я гладила на высоком сундуке. Было два утюга, один грелся на печи, вторым гладила. Очень тяжело было так целый день работать, утюги тяжелые, руки все время на весу, голодные сидели. Все были голодные, в том числе и солдаты. Рядом за домом соседей стояла кухня. Я видела, что там готовили. Чистили мелкую-премелкую картошку, как лесной орех, потом и чистить ее перестали — так, помоют немного и в суп. Туда еще немного крупы, и все, никакого жира. Была такая жидкость серого цвета. Нам предлагали за работу с этой кухни питаться, но мы редко оттуда еду брали, уж очень несъедобно. Поэтому и солдаты иногда траву, как и мы, ели по весне, а то и еду у жителей насильно отбирали».

Еду солдатам готовили в селе Поповка, в десяти километрах от линии фронта. Ясно, что доставка срывалась. Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: «Сварит повар, везет на лошади еду на фронт кормить солдат. Немцы заметят с горы, начнут бросать десятки снарядов, пока не разобьют ее. Лежит в стороне убитая лошадь, повар убит, разбросана каша. Солдаты снова голодные. Им приходилось воровать у жителей. Так, ночью без спроса увели нашу корову, зарезали ее и принесли маме варить мясо. Мама догадалась, спросила у них об этом. Они молчат. Молчит и мама, со слезами на глазах готовила им еду. Война есть война…»

Но большинство жителей вспоминают, как радовались нашим войскам, как хотели помочь, как солдаты их защищали и делились этой скудной едой, особенно с детьми. Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: «Однажды мы стояли в очереди за кашей к солдатской кухне вместе с подружкой Ниной Фатеевой. Нам солдаты не отказывали, но мы всегда становились сзади, чтобы сначала все солдаты поели. Получив еду в котелок, пожилой солдат подошел к нам и сказал:

— Идемте, детки, я вам дам кушать.

Мы пошли с ним. Он нам положил каши в чашки, дал по ложке, гладил нас по голове и любовно приговаривал:

— Кушайте, кушайте. У меня дома осталось трое деток, как они там?

Мы поели, поблагодарили его и ушли в подвал».

Мы нашли свидетелей, которые уезжали из поселка в эвакуацию всего на несколько дней, возвращались домой, видели все, что здесь происходило в то жуткое время. Многие, рассказывая, удивляются: как живы-то остались! Мы, слушая их, тоже этому поражались. Возникло чувство особого уважения к людям, которые пережили все это и остались людьми, смогли жить дальше, растить детей, строить на этой земле новые дома, работать и вообще сохранить рассудок. В памяти навсегда остаются те, кто ценой своей жизни спас тебя. Раиса Степановна Горбаткова вспоминает: «У нас в огороде была большая воронка от бомбы. Солдаты, которые жили у нас в доме, говорили, что дважды в одно место бомба не

упадет. Они прятались в этой воронке. И вот налетели фашистские самолеты, и мы с братом побежали с ними в воронку. И тут бомбы начали на нас сыпаться. И солдаты, фамилия одного была Деревянко, прикрыли нас с братом собою. Одного убили сразу, а Деревянко ранили в позвоночник, выглядывали белые жилы, как он поворачивал голову. Он страшно мучился. Мы отнесли его в перевязочный пункт на улице Кооперативной, он жил еще дня два, а потом умер».

Фронтовая жизнь имела свои законы. Здесь размещались разные войсковые части, их штабы, госпитали. Продолжались бомбежки — теперь уже бомбили немецкие самолеты, бомбили днем, по-прежнему летая большими группами. Немцы вели огонь с Волковой горы, стреляли тяжелые пушки по всему, что двигалось. Особенно сильно обстрел ощущали в центре поселка на единственной замощенной улице Московской, где во время распутицы сосредоточивались войска, а также по второй линии обороны на восточной окраине поселка. Даже выйти за водой к колодцу или за топливом из подвала здесь было опасно. Питались всухомятку. Выжить в этих условиях было очень трудно. На первой линии обороны у реки было легче, там меньше били немцы из тяжелой артиллерии, опасаясь попасть по своим позициям. Весь поселок у немцев был разбит по квадратам. Если видели с горы шевеление — солдат пройдет или даже собака пробежит, — снаряды летели туда.

Вспоминает Иван Григорьевич Столбовский: «Ранней весной 1942 года в нашем доме и в доме Климентьевых был полевой госпиталь. Мы в погребе жили. Здесь была вторая линия обороны, окопы шли извилисто, в степи, где сейчас дом Скороходов, был блиндаж. Сюда приносили и привозили на повозках раненых с передовой линии и со всего поселка. В нашем доме жили и работали врач и три медсестры. В нем было всего две комнатушки и кухня, так что в самом доме размещали только тяжелораненых и офицеров. А солдат раненых размещали в окопы, где они ждали, когда их отсюда куда-нибудь отправят. Часто умирали, потому что их было очень много, а медсестрички с ног валились, не успевали всех посмотреть и оказать помощь. Они же и мертвых хоронили, привлекая солдат и жителей. У каждого солдата был медальон, похожий на патрончик. В нем хранились его данные. Медсестры их собирали у мертвых. Хоронили здесь же, в окопах, и дальше по степи, используя одиночные окопы. До кладбища под бомбежками было не добраться. Так что здесь под домами и по огородам на нашей улице много мертвых лежит, никто их не перезахоранивал, так здесь и остались».

Мы впервые услышали о безымянных могилах под ногами и в дальнейшем стали специально расспрашивать о них. Нам открылись страшные вещи. Весь наш поселок, такой чистый, красивый и родной, стоит на костях. На могилах без крестов, без звезд и без памятных плит. На могилах, о которых все забыли, на могилах не только советских солдат, но и мирных жителей, и немцев, и румын, и казаков-предателей, одним словом, на могилах людей. Перезахоронений было относительно немного, только когда что-нибудь строили и вдруг натыкались на кости. Особенно нас потряс факт, рассказанный Еленой Николаевной Белошенко. Мы встретились с ней случайно, когда шли домой из районной библиотеки. Она, показывая на асфальт под ногами, сказала, что во время бомбежки

зимой 1942 года здесь на ее глазах погиб неизвестный солдат. Люди, которые находились рядом, его не знали, медальона у него не было. Его похоронили здесь же, в воронке, просто присыпали камнями и комьями мерзлой земли. С тех пор он тут так и лежит, под центральной улицей поселка. Как-то неудобно стало ходить по улице, зная, что где-то рядом под ногами могила. А еще мы подумали, что где-то у него остались родные, которые никогда не узнают, где покоится близкий им человек. Так вот она какая, настоящая могила неизвестного солдата, а вовсе не та, что у Кремлевской стены!

Но дети оставались детьми, им хотелось играть с подружками и друзьями, хотелось бегать по улице. Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: «Надоело сидеть в подвале и днем и ночью, побегу к подружке в ее подвал. Тепло, я надела сарафан красный и побежала. Метрах в трехстах она от меня жила. Не успела я прибежать, как три снаряда полетели на меня. Ох, и было мне от солдат! Они меня ругали, говорили, что я красным сарафаном немцам сигнал подала — бить сюда. Мне было стыдно». Иван Григорьевич Столбовский вспомнил, как убило Ивана Соседкина, на два года старше его. Дети играли на улице, перебегали из подвала в подвал через дорогу. Снаряд разорвался рядом с мальчиком. Ему пробило грудь насквозь. Его похоронили в их саду, на кладбище под обстрелом было не попасть. Сейчас это огород других людей. Это тоже забытые могилы жертв войны.

Нам рассказывали, что таких могил было много.

Нельзя сказать, что военное начальство не пыталось вывезти жителей с линии фронта. Но, расспрашивая людей об эвакуации, мы видели, что она еще больше увеличивала страдания большинства из них, что люди были не устроены на новом месте, что многие возвращались обратно, под бомбы и разрывы снарядов, но к своему очагу. Многие говорили, что после бомбежки самое страшное — эвакуация.

Вспоминает Надежда Петровна Саломащенко: «Пришли военные и приказали всем эвакуироваться. Кто не пойдет — вплоть до расстрела. 5 декабря 1941 года был снег с дождем, сильный ветер. Сзади и по бокам стреляют, а по дороге на Политотдельское сплошным потоком идут люди. Шли ночью. Повесили на спины котомки, бредем по каше из мокрого снега. Сбоку дороги, вижу, сидят дети, потерялись, плачут, сзади бежит мать и кричит, воют собаки, кричит скот. Я все спрашивала:

— Сколько мы прошли?

Мама отвечала:

— Километр… Два…

Я думала, не дойду до конца. Дошли до Кубрина. Поселили в большом пустом доме. Раньше там немцы-колонисты жили, которых в августе 1941-го выселили. Спали на полу, рядами, как были, в мокрой одежде. Жили так, пока не кончи-

лись продукты. Кормить нас там было некому. Вот и пошли мы домой обратно. А здесь — шаром покати, все, что оставалось, забрали для солдат. Я думаю, нас специально выселили, чтобы продукты забрать». Из воспоминаний Антонины Алексеевны Ниценко: «Нас пытались эвакуировать в Марьевку. Пришли туда, дождь со снегом идет, а крыши над головой никакой. Мама плачет, дети кричат. И солдатикам крыши нет, но у них хоть плащ-палатки, ими прикрылись, а мы под дождем со снегом мокнем и замерзаем. Мама попросила офицеров:

— Ради Христа, верните меня в мой подвал, мы там хоть 30 человек сможем жить, все крыша и еда кой-какая есть!

И нам выделили три подводы, с нами еще соседи поехали, нас вернули на фронтовую полосу. Тут мы и жили все время».

Вспоминает Любовь Корнеевна Авдеенко, 1934 года рождения: «В начале 1942 года нас погнали в эвакуацию. Маленькую Анюту (ей было четыре года) завернули в кожух и положили на телегу. Мы — мама и нас трое — шли сзади пешком. В спешке не заметили, как Анюта упала с телеги. Когда мать обнаружила это, хотела вернуться, а солдаты не пускали, потому что немцы там стреляли. Мать сказала:

— Убейте меня, а я вернусь за дитем.

И солдаты вернулись вместе с нами и нашли Анюту. Она мирно спала на дороге около старого кладбища по Московской улице.

Нас эвакуировали в Плато-Ивановку Родионо-Несветаевского района».

Неизбежно между хозяевами и эвакуированными возникали какие-то человеческие отношения, если удавалось устроиться в каком-то доме. Часто именно от них зависело, оставались ли эвакуированные пережить трудные времена в этом месте или же возвращались обратно. Из воспоминаний Екатерины Ивановны Резниченко: «Нас эвакуировали в Марьевку. Никто не пускает, на улице ночевали, погода — дождь со снегом. Утром сельский совет нас распределил. Хозяйка была гадюка. Нас пустили только в холодный коридорчик, дверь закрывали, тепла нам совсем не было. Мама родила Виктора, помыть негде, холодно, хозяйка не пускает в дом. Прошел военный, посмотрел, ничего не сказал ей. Я ему и говорю:

— У вас есть чувства?

Рассказала ему о маме и братике. Он приказал хозяйке открыть дверь в дом из коридорчика и, чтоб было тепло, не закрывать.

А вскоре и хозяйке пришло время ехать в эвакуацию, немцы наступали. Забегалась, у нее много схоронок с продуктами было, а взять нельзя. Осталась голой, как мы».

Особенно плохо, как вспоминают все наши очевидцы, к беженцам относились в казачьих районах Ростовской области. Там их считали иногородними, раз они не казаки, часто не пускали во двор. Раиса Степановна Горбаткова вспоминает: «В феврале 1942 года нас эвакуировали, мы шли пешком в сильный мороз ночью. Кругом стреляли осветительные ракеты. Дошли до Кубрина. В сарай затолкали 57 человек. Спали один на другом. Через какое-то время нас, восемь человек детей из Матвеева Кургана и бабушку 80 лет, посадили на грузовик и повезли в казачьи станицы под Персиановку. Подъехал шофер ко двору, мы просим воды, а казачка вышла и сказала:

— Нет тут вам воды, едьте дальше!

И она заперла колодец, он у них на замок запирался. Шофер ее долго просил, но она так и не отомкнула. Он подвез нас к роднику под горой, там мы напились. Он нам спускаться с машины не разрешил, а носил нам воду в котелке. С родителями встретились уже на квартире у хозяев, с трудом нас разыскали». О таком же отношении вспоминает Надежда Ивановна Панченко, Надежда Петровна Саломащенко и некоторые другие. Однако попадались и хорошие люди, которые понимали, что люди попали в беду, делились, чем могли.

Вспоминает Любовь Корнеевна Авдеенко: «В эвакуации жили у людей вместе с курганской семьей. Хозяйку звали тетей Капой. Мама очень болела малярией, не думали, что выживет. Солдаты поили ее хиной, она была вся желтая. Ей очень хотелось куриного бульона, она верила, что если поест его, то выздоровеет. Тетя Капа отдала нам свой отрез, который хранила с довоенного времени, а тетя Аксюта, другая женщина из Кургана, что жила с нами, сменяла его на хуторах на курицу. Мама поправилась».

Но часто война настигала беженцев и в эвакуации. Эвакуировали их всех недалеко, иногда в села и хутора Матвеево-Курганского района, иногда в соседний район, Родионо-Несветаевский. От линии фронта — не больше чем за 70–100 км.

Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: «Фронт остановился, атаки учащались. Командование приняло решение: выселить жителей. Мы не хотели уходить, но приказ есть приказ. Первый раз ушли ночью в Политотдельское. А там тоже обстрелы, еще страшнее, день и ночь бьет немецкая артиллерия. Мы ночью ушли домой. Снова пришли солдаты: „Уходите, вам здесь быть нельзя“. Пошли вместе с соседями тоже ночью. Ветер с мелким дождем, понуро бредут беженцы. Но куда идти? Подальше от линии фронта и все. Остановились в хуторе Бутенко, недалеко от Кубрино.

Через неделю в хутор нагрянуло много войск. Теснота, мы ушли в другую хатку, на окраину. Обстрелы страшные. Самолеты немецкие нагло над головами летают, бомбят. Много солдат убило. Копать ямы не успевали, да и обстрел мешал. Так убитых бросали в колодец. Я заглянула в один, испугалась. Там тела лежали в беспорядке, то рука торчала, то нога. До самого верха колодец был забит».

Как-то не хочется комментировать такие рассказы. От ужаса, которым веет от этих подробностей, кончаются всякие слова. Это правда любой войны.

Трудно сейчас рассуждать, виновны ли власти в том, что беженцы оказались так не устроены, что многие из них не имели никакой возможности прокормиться и вообще можно ли было все организовать лучше? Страна переживала тяжкие испытания. В оккупации и в районах боевых действий оказалось очень много людей. Наверное, вывезти, как-то спасти всех не было возможности. Но поражает равнодушие местных властей. Только в одном случае мы столкнулись с каким-то участием сельского совета, а так получается, что властям было не до проблем несчастных бездомных людей, эвакуированных в их местность.

Из эвакуации большая часть жителей вернулась, когда в те места, куда они были эвакуированы, тоже пришли немцы на гребне наступления на Сталинград.

Лишь немногие, у кого здесь не осталось жилья и кому удалось наладить отношения с хозяевами, вернулись после окончательного освобождения района.

ИСТОРИЯ АТАКИ 8 МАРТА 1942 ГОДА. ГЛАВА В ГЛАВЕ

На той самой решающей высоте 105,7 метра, или, как ее зовут у нас, Волковой горе, сегодня стоит памятник. Его видят все издалека. Это якорь высотой восемь метров. Нас всегда интересовало, почему он там находится? Ведь море не близко. Став старше, мы услышали в школе о трагических событиях, произошедших 8 марта 1942 года, но больше нам рассказывали о героизме моряков, штурмовавших эту высоту, чем о подробностях, связанных с гибелью, как мы считаем, напрасной, тысяч людей. И вот мы расспросили очевидцев, которые имели возможность наблюдать за атакой, изучили материалы печати, прочитали воспоминания военных. Но, как и прежде, мы смотрим на эти события глазами не военных, а мирных жителей, людей, живших здесь в это время. Может быть, взгляд немного однобокий, может, существовали какие-то оправдания массовой гибели лучших войск, может, профессиональные военные имеют другой взгляд. История этой атаки нас взволновала, не прошла она бесследно и для тех, кто в детстве наблюдал за гибелью моряков.

Мы приводим свидетельства детей, видевших эту атаку. Вспоминает Надежда Ивановна Панченко: «У нас стоял в доме штаб, ко мне хорошо офицеры относились, даже учили стрелять из пистолета. На чердаке сделали наблюдательный пункт — далековато от окопов, правда? Оттуда смотрели в бинокль на атаки. Мне тоже давали в бинокль посмотреть. 8 марта было хорошо видно, как морячки в черных бушлатах по белому снегу бегут на пулеметы. Очень много их погибло. Обещанные танки не пришли. Пойма долго была нейтральной полосой, убрать оттуда всех было нельзя, а когда наши отступали к Сталинграду, те, кто косил там сено, рассказывали, что трупы лежат очень густо». Петр Егорович Журенко вспоминает: «Мы с друзьями видели, как морячки бежали в атаку. Они прорвали фронт, но не смогли до конца удержать. Все поле было черным от погибших морячков. Мы сидели на трубах сгоревших домов и оттуда наблюдали».

Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: «В начале марта в поселок прибыли моряки-черноморцы. Красивые, молодые, уверенные в себе. Мама смотрит на них и плачет. Они говорят маме:

— Чего вы плачете, мы же моряки, мы победим!

А она им говорит:

— Эх, детки, немец вооружен до зубов.

Рано утром, почти рассвело, моряки переправились через Миус и пошли пешком по снегу в атаку на Волкову гору. До горы два километра. Я побежала к двухэтажному дому (бывшее общежитие механизаторов МТС). На втором этаже смотрел солдат в подзорную трубу и говорит мне:

— Посмотри, как моряки в атаку идут!

Я посмотрела в трубу, шли моряки в шахматном порядке. Их отлично было видно, ведь вокруг был белый снег. Ноги увязали в снегу и в грязи под ним, идти было трудно. Смотрю я в трубу и говорю:

— Ой, уже убитые лежат?

— Нет, это моряки свои бушлаты поснимали и идут в тельняшках.

На фоне белого снега их фигуры казались серыми.

— Почему выстрелов нет, снаряды не рвутся? — спрашиваю у солдата.

— А немцы утром не стреляют. Солдаты на ночь уезжают спать в село Латоново, остаются одни патрули на огневых точках. К обеду приедут, и завяжется бой. Мы это проверяли.

Так и получилось. К обеду прибыли не только солдаты, но и танки, и новые силы врага. К ночи бой утих. На поле боя остались лежать раненые и убитые».

Может быть, в записках Антонины Григорьевны действительно раскрыта причина относительно легкого завоевания Волковой горы до обеда 8 марта — то, что немцы ночевали в Латоново, и были только боевые охранения на высоте, которые и сообщили об атаке, а после обеда подошли основные силы с подкреплением.

Бои продолжались еще два дня, к 10 марта они были приостановлены. «В ходе трехдневных боев 68-я морская стрелковая бригада потеряла убитыми и ранеными 2100 человек. После неудачного наступления командир 68-й морской стрелковой бригады капитан второго ранга Г. К. Иванов был отстранен от командования бригадой, вместо него назначен полковник Шаповалов. …В итоге

боев с 8 по 17.03 68-я морская стрелковая бригада потеряла 2532 человека, в том числе убитыми 639 человек и ранеными 1893 человека»[8].

Такое бессмысленное и кровавое уничтожение тысяч воинов оставило глубокий след в душах жителей. Отстранение от должности казалось им несущественным и вовсе не наказанием за такую вину…

Сельсовет мобилизовал жителей, в том числе подростков, на захоронения погибших. Об этом нам рассказал Николай Платонович Моисеенко, 1929 года рождения. В захоронениях участвовал его друг, Михаил Еловенко, ему было 15 лет (к сожалению, сам Еловенко с нами разговаривать не стал, сказал, что вся правда о войне нам ни к чему, будем спать лучше и вообще лучше читать книжки, в них власть знала, что писать!). Но, несмотря на это, мы считаем, что делаем дело очень важное: как же мы узнаем правду, если нам ее не расскажут те, кто непосредственно участвовал в этих событиях? Николай Платонович Моисеенко рассказал, что на месте, где сейчас находится Мемориал, была большая воронка от авиабомбы. В ней хоронили убитых, в том числе и погибших моряков, и мирных жителей, и погибших солдат других частей. Мертвые тела кидали туда, и никто не считал, сколько их там, просто обрушивали края воронки, присыпали кое-как, и новых хоронили сверху, и опять присыпали. Для нас это стало открытием. В районном отделе культуры мы нашли «Информационный паспорт № 1 объекта историко-культурного наследия. Наименование памятника: Мемориал „Погибшим воинам“». В документе сказано, что «в братской могиле похоронено офицеров 45 человек, солдат, сержантов и старшин 400 человек. Автор (скульптор) Валентин Иванович Перфилов. Дата создания 1968 год». Но мы склонны верить людям, подтверждающим слова Николая Платоновича Моисеенко о том, что никто не считал мертвых в этой могиле. Мы имеем свидетельства, что там хоронили умерших жители окрестных улиц и во время сильных бомбежек, и позже, когда обессиленным от голода трудно было добраться до кладбища и копать там могилу. Некоторые говорили, что уже в 1943 году туда кидали и немцев, умерших во время боя во дворах у жителей. Да и моряков, и солдат, похороненных там, не считали. Никаких документов мы не обнаружили, а участники захоронения говорили, что никто из начальства ничего не писал, уж очень их мало было, начальников на линии фронта, да и бомбежки не прекращались.

Николай Иванович Бондаренко, 1937 года рождения, вспоминает: «Когда наших морячков побило на берегу, мы с другом (нам было лет по шесть-семь) возили на тачках мертвых на кладбище. Найдем где в поселке или за рекой мертвяка, погрузим на тачку — сначала голову грузим, потом ноги — и везем на кладбище… За один рейс давали рубль, хоть одного привези на тачке, хоть двух. Могли заработать за день пять-семь рублей, на четверть булки хлеба. А вшей на мертвых было! Крупные такие. Мать придет с работы (ее тоже куда-то посылали), выварит одежонку от вшей, высушит, а утром опять идем. Голодные были, а тут какой-то заработок». Трудно представить современного первоклашку за таким занятием — собирать мертвых и отвозить на кладбище за рубль под бомбежкой и обстрелами. Как тяжело и страшно было это делать маленьким детям!

Нам понятно отношение к умершим в 1943-м, когда главной задачей было их все-таки как-то похоронить и сделать землю в прямом смысле слова пригодной для обитания живых. Но сегодня, в пышности празднеств и фейерверков, мы опять забываем о мертвых, отдавших жизни за нас, за то, чтобы мы вообще жили. А между тем с высоких трибун слышим: пока не похоронен последний солдат, война продолжается. Можно ли считать, что солдат похоронен, если неизвестно вообще, сколько их там? Или же наспех зарытые окопы с мертвыми — тоже захоронения? Или же трупами наполненные колодцы? Или забытые могилы в огородах или под домами, построенными после войны? Или мирные жители, погибшие на линии фронта?

ВТОРАЯ ОККУПАЦИЯ МАТВЕЕВА КУРГАНА 22 ИЮЛЯ 1942 ГОДА — 17 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА

22 июля 1942 года в Матвеев Курган вошли немецкие войска. Началась вторая оккупация поселка. Вновь открылись комендатура, жандармерия, вновь появились полицейские из местных предателей. Снова полное бесправие, унижения от оккупантов, снова ощущение бессилия. Некоторые жители возвращались из эвакуации из мест, тоже занятых немцами. Вспоминает Надежда Ивановна Панченко: «В мае 1942 года нас вывезли в Кизетеринку. Казаки там нас принимали плохо, не кормили, говорили:

— Сталин вас привез, Сталин и увозит (имели в виду на кладбище, что мы поумираем все от голода).

И когда немцы стали наступать на Сталинград, жить там стало нельзя. Мы запрягли в маленькую тележку старую лошадь и корову (их никто не забрал, потому что они были старые и слабые), погрузили вещи и пошли навстречу немцам. Их колонны шли с танками, они ехали сверху, играли на губных гармошках, смеялись над нами и даже фотографировали, кричали:

— Сталин транспорт!

Мы шли пешком рядом, на тележку садились, только когда кто-то сильно устанет».

В здании конторы нефтебазы немцы открыли школу. Учителя были из Германии. Учили немецкому языку и биографии Гитлера. Учеников было немного, около 20 человек. Планировалось там учить детей до третьего класса, то есть давать начальное образование. На этом для русских оно должно было закончится. Но учение продолжалось месяца два, а с наступлением наших войск учителя уехали.

В августе 1942 года через Матвеев Курган проходили колонны наших военнопленных. Тяжело было видеть своих солдат в таком положении. Из воспоминаний Екатерины Ивановны Резниченко: «Услышали шум. Лаяли собаки, что-то кричали немцы, вообще был гул. Выскочили посмотреть. Возле пожарки по ули-

це Таганрогской шла колонна пленных. Ее гнали автоматчики с собаками. Ее начало было здесь, а хвост вился у Ротовки, шли в ряду по шесть–восемь человек. Жители прибежали и начали кидать в колонну продукты. Началась суматоха, немцы стали стрелять в воздух и по пленным, а нас отгоняли пинками. Но все равно колонна сбилась, началась свалка. Несколько человек сумели убежать. Пленным удалось спуститься в подвал по улице Разина, где жили соседи. Но охрана пленных оттуда вытащила и расстреляла во дворе, а соседей, правда, не тронули. Солдат этих закопали в огородах под шелковицей. Их никто потом не перезахоранивал, так они там и лежат. А вечером мы у своей коровы в яслях обнаружили солдатика, спрятали его, накормили, переодели, и ночью он ушел. Мама моя жила до 96 лет, умерла только два года назад, и часто его вспоминала, удалось ли ему выжить? Очень он ей тогда понравился, человек был хороший, сразу чувствовалось».

Раиса Степановна Горбаткова вспоминает: «Когда немцы гнали колонну наших пленных из-под Сталинграда, мама сказала, чтобы мы понесли им еды. Я набрала картошки, морковки, свеклы и бросала пленным. Подскочил немец и ударил меня кованым ботинком по ноге ниже колена. На третий день нога у меня воспалилась. У нас в хате поселились немцы, какие-то некрасивые все, толстые, рыжие и мордатые. Они ремонтировали мотоциклы. Я лежала в комнате на кровати, а потом зашел немец, увидел мою ногу, закричал:

— Век, век, шайзе! (вон, вон, гадость!)

Нас всех выселили в коровник, я лежала рядом с коровой, жили мы в хлеву и в окопе. Меня брат тягал в окоп во время бомбежки. Потом корову угнали немцы, стало нам совсем худо, пока не пришли наши. Я семь лет была прикована к постели, нога гнила, и я не могла потом долго на ноги подняться. Только когда голод кончился, в 1950 году, Бог помог на ноги встать».

Мы обратили внимание, что жители считали за доброту иногда просто то, что немцы их не трогали или что просили о каких-то услугах, а не приказывали хозяевам тех домов, где размещались. Вспоминает Антонина Алексеевна Ниценко: «У нас была дойная корова. Пришел молоденький офицер в портупее, посмотрел на деток и говорит:

— Млеко киндер? (дети молоко пьют?)

Мама сообразила, в чем дело, и предложила, что один день весь удой им будет отдавать, а один день мы его будем пить. Офицер обрадовался. И мы честно отдавали им через день столько молока, сколько надоится. А во дворе у нас была копна сена и копна соломы. Рядом по соседству находился комендант железнодорожный, и вот один шофер повадился в морозы машину радиатором затыкать в стог, чтобы она легче заводилась. Раз так сделал, второй… Мать забеспокоилась, что корова не станет есть вонючее от бензина сено, что тогда? Пожаловалась тому офицеру, что за молоком приходил. А он сказал, чтобы пожаловались коменданту, ведь он тоже молоко пьет. И мама, обмирая от страха, пошла к ко-

менданту. Тот выслушал через переводчика, ничего не сказал, а мать была рада, что вернулась жива. Больше тот шофер так не делал».

На восстановительные работы на железной дороге заставляли ходить и местных жителей. У людей просто не было выбора: или работать на оккупантов тут, или угонят в Германию. Этого боялись больше всего. Доходили слухи о мучениях в концлагерях, видели, как обращались с военнопленными немцы. Даже если повезет и попадешь к хозяину, а не в лагерь, то все равно будешь на положении раба. Иного отношения не ждали, видели, как здесь к местным относятся, но на родине все же проще, чем в чужом краю. Вспоминает Любовь Корнеевна Авдеенко: «Были девушки, которые, чтобы не угнали в Германию, гуляли с немцами. Им потом, когда пришли наши, за предательство дали по 10 лет лагерей, но они отсидели, живут себе благополучно до сих пор. А те, которых угоняли, многие погибли в концлагерях. Одну чуть не убил ее дед за то, что гуляла с немцами. Она от позора уехала в Краснодарский край к деду, а он узнал и чуть ее не придушил, родные отняли и прогнали — езжай, от греха, откуда приехала. Она вернулась обратно, и тут ее посадили». Мы расспрашивали, а не могло ли возникнуть настоящей любви, ведь все же люди. Но наши очевидцы говорят, что у таких девушек ухажеры сменялись, когда один уезжал в отпуск, или на фронт, или еще куда-нибудь, то сразу новый находился. Какая уж тут любовь!

Вспоминает Мария Васильевна Волощукова: «Была учительница немецкого языка, немцы заставили ее быть переводчицей. Потом, когда наши узнали, что она на немцев работала, ее расстреляли. Это было сразу после освобождения». Иногда люди не могли отказать не столько немцам, как своим же односельчанам, когда их выбирали старостами. Вспоминает Иван Григорьевич Столбовский: «Немцы захватят село, соберут людей и заставят выбрать старосту. И вот выбрали Беликова в Петровке. Беликова вызывают в комендатуру и заставляют отчитываться. Он, как только его избрали старостой, поразадавал колхозное добро людям, чтобы не досталось немцам. Когда его в комендатуру вызывали, он не знал, вернется домой или нет, поэтому меня с собой брал, чтобы я рассказал родным, если его не выпустят. Каждый раз как в последний к немцам шел. Когда наши пришли, он с котомкой пришел к нам:

— Где тут штаб, я пришел сдаться сам, потому что был старостой, чтобы меня не искали.

Его забрали, но где он, я не знаю. Не слышал, чтобы он сидел. У него сыны были большими офицерами в нашей армии».

Но были и случаи прямого предательства. Вспоминает Антонина Алексеевна Ниценко: «В августе 1942 под Ротовкой упал наш самолет, а летчику удалось спастись в кукурузе. Люди его прятали, а выдала одна дивчина с Таганрогской улицы. Его немцы куда-то увезли. Так когда наши пришли, ей дали 25 лет лагерей». Все рассказы оканчиваются именно так — предателей ждет возмездие. Может быть, здесь желание справедливого конца, как в детской сказке, может быть,

какое-то назидание нам от людей, столько переживших: даже минутная слабость в такие непростые времена будет наказана, а уж о предателях и говорить нечего! Их возмездие должно настигать везде, суд должен быть скорым и справедливым! Здесь мы узнали, что многие люди старшего возраста поддерживают до сих пор репрессии по отношению к предателям, считая, что Сталин был прав в жестком, даже жестоком наказании их.

Больше всего жители, рассказывая о предателях, говорили о казаках, служивших немцам. Мы видели, что здесь смешалось все: и давние притеснения иногородних на Дону, какими считали жителей нашего района — не казаков, и казачья надменность, и усердная служба оккупантам. Казаки в нашей местности патрулировали дороги. Вспоминает Лидия Николаевна Шаталова: «Мать вышла замуж перед самой войной в село Троицкое. Я жила у бабушки в Матвеевом Кургане. Меня возили на бричке туда-сюда всю войну. Самое страшное при поездке было нарваться на казачий полицейский пост. Служили там старые казаки, не годные для строя, но очень злые. Они могли убить ни за что, всегда устраивали обыск в вещах, кидали на дорогу детские мои вещички и заставляли подбирать из пыли и грязи. Но при немцах вели себя лучше. Бабушка, когда видела, что полицаи-казаки с немцами вместе, говорила: „Слава Богу, казаки вместе с немцами, даст Бог, уцелеем“».

О том, что происходило теперь на фронте, в стране жители не знали. Радиоприемники конфисковали еще в начале войны советские власти. Было разрешено только слушать радио по трансляции, но в оккупации оно не работало. Новости, которые печатались в немецких листовках, считали лживыми. Поэтому ловили любые слухи о событиях на фронте, самые невероятные, лишь бы они отличались от немецких листовок.

Наше внимание привлекли рассказы о румынах. Массы румын прошли через наши края сначала вместе с немцами на Сталинград, а потом были первыми вестниками того, что не все у врага ладно на фронте, раз союзники покидают его, да еще в таком виде. Вспоминает Антонина Алексеевна Ниценко: «Румыны в основном в кавалерии служили. Были очень красивыми, когда на фронт ехали. Усы, завитые в кольца, какие-то нашивки золотые на мундирах, лошади гарцуют с подрезанными хвостами. А обратно пошли зимой, бросили фронт под Сталинградом. Сопливые, в обмотках, грязные, вшивые. Немцы их били прикладами, потому что они пытались залезть в вагоны, чтобы уехать на запад. Гитлер их обманул: обещал отдать Украину под дачи офицерам, а потом отказался, вот они и пошли с фронта, подкузьмили Гитлеру!» Конечно, не совсем точно передает Антонина Алексеевна причины бегства румын с фронта. Поражение под Сталинградом было таким явным, что союзники поняли: это начало конца гитлеровской Германии. Румыны первые бросили фронт, еще до наступления Нового года. Иван Петрович Журенко рассказывает со слов своей матери: «Когда первые румыны стали уходить из-под Сталинграда, не дожидаясь января 1943 года, их тут встретили немцы и в Соленой балке расстреляли около 200 человек. Их никто не хоронил, долго еще кости находили в балке». Зима 1942/43 года в отличие от прошлой, слякотной, была морозной и снежной. В наших южных

краях заметало так, что иногда утром выходили через лаз в потолке на чердак и только потом могли откопать дверь от снега. А каково такой ночью в степи? Приходилось на постой проситься к жителям. Надежда Ивановна Панченко рассказывает: «Румын мы не боялись, хотя добро от них стерегли. Они очень боялись немцев, и стоило им сказать: „Комендант“, как они начинали вести себя прилично. Стучали, когда просились на постой. Мой маленький племянник, который только начал говорить, показывал: „То, то?“ (кто, кто? — и стучит в дверь), „Мыны, мыны“ (румыны, румыны)„». Однако, когда их было много, с хозяевами они не очень церемонились.

В нашей школе немцы открыли госпиталь. Раненых из-под Сталинграда было очень много. Часть из них умирала. Немцы для всех делали гробы, просто так не хоронили. Умерших офицеров старших чинов отправляли в Германию. Целые эшелоны с гробами видели люди: оттуда с пустыми гробами, туда — с мертвыми. Рядом со школой, по свидетельствам очевидцев, было 250–300 немецких могил. Их потом, когда пришли наши, выкопали и вывезли на скотомогильник. Несколько подвод было доверху груженных, и не один раз они вывозили трупы, ездили по поселку туда и обратно. Гробы использовали на растопку. И вновь оказывается, что мы живем на могилах — пусть и врагов, но людей. И, кстати, жителям, пережившим весь ужас оккупации, вовсе не понравилось извлечение мертвых из могил, все они говорили, что напрасно прах потревожили, мстить мертвым нехорошо.

Немцы, жившие на постое в Матвеевом Кургане, стали готовиться к отступлению. Было ясно, что фронт опять приближается. Участились бомбежки, жители снова надолго переселились в подвалы. Вспоминает Раиса Степановна Горбаткова: «Опять в 1943 году при отступлении немцы стали все жечь. Дома обливали керосином, зажигали изнутри, разбивали окна и кидали туда факелы. Пелагея Соседкина как раз рожала в то время, когда с двух сторон подожгли ее дом. Люди помогли ее вытащить, а она страшно кричала, не понять от чего, от пожара или от родов. Родился мальчик Виктор, но его уже нет, умер взрослым». О том, что опять специальная команда жгла уцелевшие дома, вспоминают и другие свидетели. Причем на этот раз они зажигали дома изнутри, спасти его от пожара было уже нельзя, громили каждый уцелевший дом.

Многие немцы, которые здесь стояли долго, понимали, что уже с хозяевами не встретятся. Вспоминает Моисеенко Виктор Матвеевич: «У нас был какой-то штаб. И адъютант молоденький любил с мамой беседовать. Когда они отступали, он заскочил к нам:

— Мама, скоро твой брат придет. Гитлер Сталинград капут!»

Период оккупации лег тяжелым пятном на биографии старшего поколения. Правды о том, как здесь жили оставленные во власти врага люди, руководители страны знать не хотели, подозревая, наоборот, всех своих граждан в предательстве. Потому так мало награжденных в нашем районе медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» или «За оборону Кавказа», так мало

отмеченных какими-то наградами. А между тем они были, как мы убедились, настоящими фронтовиками, не входящими ни в какие списки. Но эти фронтовики не могут надеть ордена ни на какие праздники.

МАТВЕЕВ КУРГАН НА ЛИНИИ МИУС-ФРОНТА 17 ФЕВРАЛЯ — 29 АВГУСТА 1943 ГОДА

Вспоминает Федор Федорович Ростенко (он живет и сегодня на улице Таганрогской рядом с нашей школой): «Сюда (показывает на дорогу) рано утром подошел броневик, на нем ехали капитан, старшина и солдаты, человек восемь. Дальше прямо за школой было несколько домиков, и до МТС было поле. Оттуда начали стрелять. Старшина поехал и привез шесть казаков. Они воевали за немцев. Офицер велел им вывернуть карманы, там были патроны, наши и немецкие. Мы, пацаны, крутились тут же и собирали их. Казаков увели и расстреляли в балке по Таганрогской улице сейчас же». О захваченных нашими войсками казаках вспоминает и Столбовский Иван Григорьевич: «Были доты и дзоты по пригорку, где сейчас улица Ростовская, возле современного элеватора. Немцы отошли на Волкову гору, а казаки остались и еще два дня стреляли оттуда из винтовок и пулеметов. Их окружили по лесополосе вокруг железной дороги, а с другой стороны выехали броневик и танкетка. Думали, что там немцы засели. Казаки увидали, что их окружают, и захотели сбежать к немцам на гору, выбежали из своих укрытий в лесополосу, там их и поймали. Их было больше 20 человек. Их пригнали в соседнюю с нами хату, допрашивали трое суток. Среди них были два малолетки, почти наши ровесники. Все были в казачьей форме, и мальчишки тоже. Все они стреляли в наших. Их расстреляли всех после допросов и захоронили в балке, где сейчас построен мясокомбинат». Эти расстрелянные казаки — тоже могилы у нас под ногами.

Армии Южного фронта упорно в течение нескольких недель стремились прорвать фронт, развить наступление. Войска несли большие потери, но сил выполнить поставленную командованием задачу не было. Вновь немцы закрепились по гребню Волковой горы, вели обстрел поселка с высоты. Но наши войска на этот раз свои укрепления не стали возводить в самом поселке, а заняли удобные позиции по холмам на восточной окраине Матвеева Кургана. Он оказался весь в нейтральной полосе — здесь не было ни немцев, ни наших, только жители, которых обстреливали и те и другие, бомбили и те и другие.

Хоронили мертвых на этот раз не в самом поселке. Мы нашли свидетелей таких захоронений. Вспоминает Валентина Федоровна Ковалева, которая во время войны жила в хуторе Борисовка: «При нашей армии в нашем доме был штаб, нас выселили из дома, мы жили у соседей. Видели машины с убитыми, которые приезжали, когда темнело. Мертвых привозили на грузовиках, накрытых брезентом. Всю ночь штабные работали, что-то писали, а рано утром их хоронили. Мы старались прийти, смотрели, искали родных. Копали ямы экскаватором, огромные, как силосные. Мертвых клали штабелями, один ряд на другой. В яму хоронили по 1000 человек. Там есть несколько таких могил, кладбище называется братское».

В архиве мы обнаружили протоколы о захоронениях воинов Красной Армии на территории Матвеево-Курганского района с № 11 по № 32, никем не подписанные, нет и дат их написания (других протоколов, например с № 1 по 10, нет, и архивные работники не смогли их найти в других архивах). Протокол № 26: «Братское кладбище, 98 могил, около 5000 воинов Советской Армии, погибших в годы ВОВ, расположено на юго-восточной окраине хутора Борисовка. Воины, погибшие в бою, привозились с передовой линии фронта и хоронились в феврале–мае 1942 года и в марте–июне 1943 года, среди захороненных пехотинцы, артиллеристы, моряки и кавалеристы 4-го кавалерийского корпуса. Звания и фамилии не установлены…» Это только один из подобных документов, но это одно из самых крупных захоронений. Почему написано, что люди неизвестны, хотя работал штаб, для нас остается загадкой. Но большинство мертвых здесь похоронены именно в 1943 году, хотя и в 1942 году потерь было не меньше. Только «по данным 1947 года, не включая территорию бывшего Анастасиевского района, погибло 20 718 человек»[9]. Это данные только о советских воинах, погибших на Миус-фронте (а мы уже знаем, что учтены не все), а мертвые немцы, румыны, казаки, воевавшие на том же Миус-фронте на стороне немцев, мы думаем, удваивают количество погибших здесь; а еще были и погибшие мирные жители! Поистине обильно полита кровью наша земля. Вот она та цена победы, о которой поется в песне: «…нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим»!

Антонина Григорьевна Шелковникова зиму 1942/43 года жила у бабушки в Латонове, болела тифом, очень тяжело пережила эту зиму. В ее записках рассказывается, как она переходила фронт, и мы можем вместе с ней мысленно проделать этот путь. Девочке было 12 лет. «В феврале рано утром раздался гул взрывов в Матвееве Кургане. Бабушка Мавра сказала:

— Иди домой, мамка тебя ждет. Смотри, вон идут меняльщики в город. Иди и ты с ними, но не на Курган, а через Ряженое, там гула не слышно.

Дала бабушка кусок хлеба, и я пошла. Снег подтаял, иду долго. Шлепаю в сапогах, сверху снег, снизу вода. Шла с тетями долго. Вот они повернули в город, я осталась одна в поле, и страшно, и нет. Вдруг сразу обрывается местность. Внизу — долина реки Миус, под горою — село Ряженое. Вдали в Матвееве Кургане огненные взрывы, гул. Видно, шел бой. Иду дальше, спускаюсь к берегу, перехожу мост, прохожу село. Кругом ни души. Страшновато, ни звуков, ни взрывов, ни людей. Иду за село к железнодорожной линии. На окраине дом. В белых халатах сидят два немца с пулеметом. Прохожу. Они молча поглядывают, но меня не трогают. Остановилась у железной дороги. Куда идти? Решила идти вдоль берега реки и железной дороги по посадке. Иду, в сапогах воды полно. Сяду, вылью воду и иду дальше. Оглядываюсь, нет ли немцев. Слышу звук танка за посадкой. Рокочет машина, остановилась и начала стрелять из пулемета в мою сторону. Вижу, впереди белый снег и веточки бурьяна падают, сбитые пулей. Страха нет ни капельки, а мысль мелькнула такая: вот убьют меня здесь немцы, а мама не узнает, где я. Я присела, посидела минут пять. Слышу, машина уехала обратно. Тишина. Я пошла дальше. Вижу хутор Колесниково, выхожу к нему через желез-

ную дорогу. Наши солдаты! Радость охватила. Свои ведь. Иду по дороге. Выскочил один солдат, подбежал ко мне, испугавшись, спрашивает:

— Ты откуда? Ты шпионка, да?

Я молчу. Он просит разрешения у командира отвезти меня в Матвеев Курган в штаб. Тот дает согласие. И мы вдвоем пошли. Ведет в штаб. Проводит мимо нефтебазы и школы. А штаб напротив нее. В Кургане много танков, солдат, везде машины. Шум, разговор. Уже вечереет. Заводят в штаб. Начальник на меня грозно закричал:

— Кто ты и откуда?

Я сказала, что была у бабушки в Латоново и шла домой.

— Что у тебя в мешке?

Я показала кусок хлеба и пуховой платок.

— Ты шпионка, да?

Я заплакала и сказала:

— Вон моя хата. Там мама.

Тогда он смягчил голос, поднес мне карту и спросил:

— Какие хутора проходила? Видела ли бочки с горючим, немцев?

— Да, видела, около хутора за горой. Имя его не знаю. Немцев мало, а бочек много.

Он что-то пометил в карте. Сказал мне:

— Спасибо, иди домой.

Мама, увидев меня, от радости закричала:

— Как ты прошла линию фронта и осталась жива?

Рядом с хаткой стоял танк. Мама вышла к танкистам и сказала:

— Уезжайте от дома, а то хата моя от грохота орудий развалится. У меня дети.

Танк уехал».

На этом записки обрываются. Но мы ощутили фронтовую обстановку, почувствовали страх маленькой девочки, в одиночку прошедшей линию фронта, по-

дозрительность, может быть и оправданную, военных по отношению к мирным жителям, встречавшим их как освободителей, как своих. Тем обиднее казались людям такие обвинения. Единичные случаи немилосердия по отношению к детям оставили глубокий след в их жизни. Раиса Степановна Горбаткова, у которой загноилась рана на ноге и которая потеряла способность ходить, рассказывает: «Врачи наши тоже были злые. Когда в 1943 году мама пошла в госпиталь, попросила, чтобы меня полечили, к нам пришла врачиха молодая, с накрашенными губами. Тогда все женщины совсем не красились, не до того было. Она посмотрела на ногу и сказала:

— Я шлюхе немецкой помогать не буду!

Она меня никогда не видела и ничего обо мне не знала, за что же она меня так обозвала и в помощи отказала? Мне всего 15 лет было, уже полгода я с кровати не вставала, какой немец на калеку глянет?!»

Мирным жителям, остававшимся здесь, нужно было как-то жить. Петр Егорович Журенко рассказывал нам, что большую часть поселка разминировали мальчишки. Даже был особый азарт: кто ловчее разминирует противотанковую мину? А новой модификации? Правда, были и жертвы. Так, Сергей Богославский с другом нашли мину нового образца, с шариками, пытались ее разминировать, обоих убило насмерть. Мины разряжали и для того, чтобы добыть тол, которым растапливали печку. Этим занимались даже старушки. Гибли люди от этого занятия, но мальчишек это не останавливало. Рассказывает Любовь Павловна Моисеенко, по рассказам своего мужа Александра Ивановича: «Ребята собирали патроны, складывали их в большой немецкий котел с тяжелой крышкой, зажигали под ним костер. Сами прятались. Патроны взрывались под тяжелой крышкой и грохотали. Им было весело. Саша уговаривал пойти с ними и старшего брата Леню, который боялся и никуда не ходил. Но тот не соглашался. И тогда Саша принес Лене взрыватель и уговорил потянуть за колечко, чтобы повеселиться. Леня потянул и был тяжело ранен, лишился глаза». Опасность еще долго подстерегала людей.

Вспоминает Антонина Алексеевна Ниценко: «Когда летом 1943-го прислали солдатиков — совсем молоденьких, таких, как мы, — где-то лет по 17, то мы с сестрой интерес к жизни почувствовали: как же, женихи! Мы рады, сидим с ними на завалинке, семечки щелкаем. Привезли катюшу, поставили на Северной улице. Офицер знакомый сказал, когда она будет стрелять в сторону хутора Дараганы. Мы с сестрой, чтоб видно было, залезли на кучу глины (была во дворе, чтобы печку мазать). И когда катюша выстрелила, мы хорошо все видели, тут начали немцы из пушек садить по тому месту, где катюша стояла, а ее уже там и нет. Мы стоим, смотрим, семечки щелкаем. А солдатики перепугались, на землю попадали лицом вниз, руками головы позакрывали, а один плакал: „Хочу к маме!“ Наша мама вышла, стала их обнимать, по головам гладить: „Ах, вы, курчата желторотые! Только от мамки, никогда на фронте не были!“ Мы-то на фронте все время жили, уже не боялись».

В июле 1943 года советские войска попытались прорвать фронт севернее Матвеева Кургана, но попытки эти вновь оказались неудачными. В самом же поселке до генерального наступления таких крупных операций не проводилось.

В первых числах августа Южный и Юго-Западный фронты получили приказ о подготовке нового наступления. Началось освобождение Донбасса. Очень интересно, что мы долгое время считали, что районный центр Матвеев Курган был освобожден 29 августа. Наши власти очень широко организуют торжества в поселке именно в этот день, а 17 февраля лишь последние два-три года как-то отмечается, но очень скромно. Может быть, в этом они и правы. Нельзя, наверное, считать полным освобождением день, когда опять вернулся фронт в поселок, и существование на линии фронта — не полное освобождение, а какое-то частичное. Будем и мы считать, что 29 августа Матвеев Курган перестал быть фронтовым населенным пунктом, что наконец можно было как-то начинать здесь мирную жизнь.

СИЛА ДУХА И ВОЛЯ К ЖИЗНИ

Вспоминает Антонина Алексеевна Ниценко: «Смерть обыденной была. Только друг другу говорили: „Слышала, Галка умерла?“ или „Знаешь, Витьку убило“. Долго не горевали, горя и так кругом было столько, что если все время горевать, то и жить не сможешь».

Во что же верили люди, что позволяло им жить? Все говорили о том, что тогда они были милосерднее и открытее друг к другу, что, несмотря на голод, соседи старались помогать другим, присматривали за детьми, делились последней едой, ходили в гости, часто отмечали как могли семейные праздники. Эта поддержка многим спасала жизнь, люди старались помнить добро. Действительно, перед лицом смерти, которая подстерегала на каждом шагу, неважными становились многие неприятности и мелочные счеты, из-за которых часто ссорятся даже близкие люди. «Сколько той жизни осталось, чтобы ссориться?» — слышали мы от наших собеседников. Нам кажется, что эта фраза родом оттуда, из тех военных лет.

Многих поддерживала вера в Бога. Вспоминает Любовь Корнеевна Авдеенко: «Нас с сестрами тетя Аксюта, с которой мы вместе в эвакуации жили, покрестила. Это было уже в Матвееве Кургане в октябре 1943 года. К бабушке Варе Бондаренко приехал тайно священник, покрестил всех нас у нее дома. Было так много детей, что тесно было стоять. Окна занавесили, чтобы никто посторонний не узнал. Крестные были из тех взрослых, что привели туда своих детей. У Анюты, у меня и у Дуси, которая на базаре торгует, одна крестная мать и один крестный отец. Если бы власти узнали, всем бы несдобровать. Но никто не выдал, Бог не допустил».

Мария Яковлевна Бобкова рассказала нам, как она работала в редакции, как в два часа ночи ходила принимать сводки Совинформбюро. Приемников не было, разрешили иметь только одному специальному человеку, он жил на улице Кирова. Она брала у него сводки, относила в редакцию, а наутро почтальоны разносили их по дворам. Она рассказала, как люди ждали вестей о наших победах, как радовались им. Мы думаем, что это тоже была сила, которая помогала выжить.

По Ростовской области специальные комиссии, работавшие в городах и районах области по учету нанесенного ущерба, составили 95,5 тысячи актов о материальном ущербе, причиненном предприятиям местной промышленности, колхозам и отдельным гражданам. Общая сумма убытка составила 20 миллиардов рублей[10].

В объяснительной записке Матвеево-Курганского военного комиссара к актам причиненного ущерба от 16 апреля 1943 года, составленным в селе Марьевка, сказано: «Разрушены полностью: Ново-Грековка, Ново-Ротовка, Ново-Марьевка, Александрфельд. Разрушены на две трети села: Матвеев Курган, Политотдельское, Больше-Кирсаново, Ново-Андрианово, Ряженое. В Матвеевом Кургане до оккупации было 1200 домов, осталось 30–40, остальные сожжены и уничтожены». Документ снабжен постскриптумом: «Составленный акт далеко не полностью охватывает все события и убытки, причиненные району, так как одна третья часть района еще находится в немецкой оккупации»[11].

Люди возвращались в родные места, в Матвеев Курган, после освобождения. Часто им просто негде было жить. Вспоминает Елена Николаевна Белошенко: «Когда немцев прогнали, мы вернулись. В ямах, где спрятали добро, ничего нет. Дома нет, сожгли немцы в 41-м. Выкопали мы, мать и три сестры, землянку, жили в ней до 1950 года». Лидия Кирилловна Чумаченко, 1936 года рождения, рассказывает: «Вернулись мы в поселок на родовую усадьбу на улице Восточной осенью 1943 года. От дома остались стены и часть крыши. Мы отгородили эту часть дома хворостом, завесили тряпьем, поставили там печку, так жили до конца войны».

Мы узнали, какой огромный материальный ущерб был нанесен нашему району. Здесь разрушили почти все. Эти материальные ценности — дома, предприятия, машины и оборудование — позволяли людям нормально жить, пусть и без большого достатка. Теперь же у них была не жизнь, а выживание. Последний документ привлек наше особое внимание: «О сборе семенного материала на посев в 1944 году»[12]. На заседании бюро райкома партии было решено «собрать из своих личных запасов возможное количество семенных материалов яровых культур. На второй день после собрания было сдано в коллективные хозяйства 1293 кг зерна и прочих культур». У голодающих людей, не имеющих возможности выращивать даже огород на линии фронта, собирали зерно для сева. Мы понимаем, что вся страна жила трудно, что, может быть, другого пути не было, но это кажется нам даже какой-то особой жестокостью. Все наши очевидцы вспоминают, что люди пухли от голода, умирали, что питались макухой, корой с яблонь, а по весне — всякой травой, и тем не менее власти смогли собрать столько килограммов зерна, забрать его на сев у голодных людей.

В протоколе № 19 заседания Бюро РК ВКП(б) от 3 декабря 1943 года с повесткой дня: «Отчет о работе отдела кадров» записано: «В районе имеется 99 человек инвалидов войны… 206 детей сирот и полусирот, родители которых погибли».

Далее в отчете сказано, как устроены эти дети: «В детские дома — 40 человек, в специальные ремесленные училища — 34 человека, в военную школу связи — 10 человек. Остальные дети оформлены в обычные детские дома»[13]. Нам кажется, что мы и сегодня платим по счетам той войны, за победу, которая «одна на всех».

КРАТКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Что нам дала эта работа? Мы поняли важность нашего труда: если не узнаем о лишениях людей в годы войны, если забудем о могилах под ногами, о жизнях, оборванных войной, то не узнаем и цены всего, достигнутого за годы, прошедшие после ее окончания.

Мы почувствовали себя исследователями: открытие нового, неизвестного, того, что власти раньше старались скрыть, принесло нам уверенность в своих силах. Мы поняли: правда, пусть горькая и трагичная, важнее каких-то соображений личной выгоды и других, которые кому-то кажутся более предпочтительными.

Мы стали больше ценить победу, тех людей, в том числе и детей, которые ее выстрадали и не сломались.

Мы узнали о могилах под нашим поселком, в буквальном смысле слова у нас под ногами, задумались над проблемой их перезахоронения. Хотя мы осознаем, что во многих случаях это, наверное, невозможно. Также нас потрясло количество погибших здесь людей, солдат, мирных жителей, немцев, румын, казаков и других.

Мы столкнулись с тем, что в нашем поселке очень немного людей имеют медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Это связано с тем, что власти не доверяли людям, которые были в оккупации. Но эти люди нуждаются в защите своих прав. Мы считаем, что детям войны надо дать льготы, не только тем, кто родился до 1931 года, но и другим, более младшим, особенно жителям фронтовой полосы. Эта мелочность государства по отношению к людям, много страдавшим, удручает, особенно когда мы слышим об успехах в экономике и бюджете с профицитом.

Мы хотели дать на этих страницах слово людям, которых никто никогда не спрашивал, как они жили, чьего незаметного подвига и жизненной стойкости не ценили ни власти, ни даже порой их дети. А ведь они были тоже фронтовиками, пусть не внесенными ни в какие списки. 60-летие Победы — это и их праздник, хотя они не смогут надеть орденов. Они тоже трудились для этой Победы, заплатили за нее ту цену, которую потребовала война. Фактически они заплатили своим детством, своим здоровьем, жизнями своих близких, погибших в то страшное время. Теперь и мы знаем об этом.

Примечания

[1] Мы всем им чрезвычайно благодарны за сотрудничество с нами, но особую благодарность выражаем Надежде Ивановне Панченко, Виктору Матвеевичу Моисеенко, Ивану Григорьевичу Столбов-

скому, Марии Васильевне Волощуковой, Надежде Петровне Саломащенко, Антонине Алексеевне Ниценко.

[2] Испытание верностью: Очерки о героизме воинов, боевом пути 339-й Ростовской Таманской Бранденбургской ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии. Ростов-н/Д: Ростовское книжное издательство, 1973. С. 27.

[3] Матвеево-Курганский районный архив (далее: Архив). Оккупация района. Дело № 20.

[4] История Донского края / Под ред. В. И. Кузнецова. Ростов-н/Д: Ростовское книжное издательство, 1971. С. 245.

[5] Записки А. Г.Шелковниковой, бывшей заведующей школьным музеем, написанные для детей-кружковцев примерно в 1985 году, хранятся в школьном музее.

[6] Архив. Оккупация района. Дело № 20.

[7] *Корольченко А.* Миусские рубежи: Очерки о местах боевой славы. Ростов-н/Д: Ростовское книжное издательство, 1971. С. 9.

[8] Боевая летопись военно-морского флота 1941–1942 годов. М.: Воениздат, 1983. С. 426–427.

[9] Архив. Ф. 9. Оп. 4. Д. 503. Л. 2.

[10] История Донского края. Ростов-н/Д: Ростовское книжное издательство, 1971. С. 269–270.

[11] Архив. Ф. 1. Д. 2. Л. 38.

[12] Архив. Ф. 66. Оп. 2. Д. 1. Л. 112 (протокол № 18 от 3 декабря 1943 года).

[13] Там же. Л. 143–144.

«Радио „Информбюро“ сообщило, что идут ожесточенные бои на улицах Сталинграда»

Ярослав Захарьев, г. Волгоград
11-й класс, научный руководитель Н. Е. Архипова

Человек, о котором я хочу рассказать, — моя родственница, судьба которой тесно связана с героическими и трагическими событиями в истории моего города. Это одна из моих прабабушек — Серафима Федоровна Воронина, старшая сестра моей прабабушки, Ирины Федоровны Ворониной. О судьбе Симы (так звали ее родные) семья узнала лишь через много лет после окончания Великой Отечественной войны — в 1973 году.

Семья Ворониных жила в Царицыне — Сталинграде. Ее глава — Федор Ерофеевич Воронин работал на мартене на металлургическом заводе «Красный Октябрь» с его основания французами в 1898 году. Завод расположен на правом берегу Волги, в семи километрах к северу от центра Царицына. К началу Великой Отечественной войны это был уже один из крупнейших металлургических заводов страны. Семья жила на улице Станичной, между двумя крупными заводами — «Красный Октябрь» и «Баррикады». В годы советской власти все пятеро детей Федора Ерофеевича получили высшее образование, чем родители очень гордились. В семье было четыре инженера и одна учительница русского языка и литературы — Серафима.

По воспоминаниям моей бабушки (Татьяны Петровны Лопатиной), запомнившимся ей из рассказов ее матери (Ирины Федоровны Ворониной), Серафима, старший ребенок в семье, прекрасно училась. Ее в виде исключения приняли в гимназию, после окончания которой она работала учительницей начальных классов. Позже Серафима поступила на заочное отделение Сталинградского педагогического института, диплом учителя она получила 25 июня 1941 года.

Когда фронт приблизился к Сталинграду, Серафима ушла из школы и поступила на завод «Баррикады», считая, что так она поможет защитить свой город. К началу кровопролитных боев на улицах города ей пришлось остаться с родителями, которые не могли эвакуироваться из-за ранения Федора Ерофеевича в ноги во время обстрела завода. После освобождения Сталинграда оставшиеся в живых соседи рассказали, что Сима была смертельно ранена и умерла, а о судьбе родителей никто ничего не мог сказать, их считали пропавшими без вести.

В 1973 году газета «Волгоградская правда» напечатала заметку, в которой сообщала, что в Волгоградский музей «Обороны Царицына и Сталинграда» поступил дневник неизвестной сталинградки. Его прислал бывший офицер, а после войны — учитель истории Я. И. Бридихин, который подобрал тетрадку, исписанную карандашом, освобождая в феврале 1943 года улицу Станичную. Он пронес ее через всю войну. Выйдя на пенсию, он решил передать эту тетрадь музею.

Тетрадь представляет собой дневник, где описываются страшные дни Сталинградской битвы в сентябре–октябре 1942 года. Запись заканчивается 25 октября 1942 года. На страницах тетради упоминаются фамилии и имена родственников, соседей, знакомых, по которым музей установил автора дневника. К сестрам Ирине Федоровне и Евгении Федоровне посыпались звонки: бывшие соседи, знакомые, да и сами сестры, сразу узнали сестру. Дневник сейчас хранится в музее «Сталинградская панорама», он является неопровержимым свидетельством страданий простых людей, оставшихся в пылающем городе.

Из «Хроники огненных дней. 17 июля 1942-го — 2 февраля 1943 года»[1]: «12 июля, воскресенье. 6-я полевая армия под командованием генерал-полковника Ф. Паулюса, выйдя к большой излучине Дона, вторглась в пределы Сталинградской области». 17 июля — официальная дата начала Сталинградской битвы.

Из воспоминаний секретаря обкома А. С. Чуянова: «19 августа Паулюс отдал приказ о наступлении на Сталинград. На всех без исключения улицах, во дворах, в городских садах и парках, у трамвайных остановок, на территории предприятий — всюду рыли земляные щели, сооружали блиндажи. К началу августа 1942 года в Сталинграде было вырыто 174 тысячи погонных метров щелей-укрытий, в них могли укрыться не менее 350 тысяч человек»[2].

Рассказывает моя бабушка Татьяна Петровна Лопатина (Алексеева) (65 лет): «Со слов мамы, Ирины Федоровны Ворониной, я знаю, что, когда фронт приблизился к Сталинграду, все население сооружало блиндажи, их называли „щели“. Соорудили и в нашем дворике такую щель. Отец и дядя были хорошими инженерами, они так укрепили щель, что разрушить ее могло только прямое попадание бомбы. В этой щели спасались при всех бомбежках члены нашей семьи и соседи. После освобождения Сталинграда родственники нашли ее засыпанной, откапывать боялись, так как везде было много воронок, боялись неразорвавшихся снарядов».

Из «Хроники огненных дней»: «23 августа, воскресенье. Выполняя приказ Гитлера, фашисты подвергли Сталинград массированной бомбардировке. В течение дня было произведено две тысячи самолето-вылетов. Город был разрушен, десятки тысяч жителей ранены и погибли».

Вспоминает моя бабушка Татьяна Петровна: «Мама много раз рассказывала мне о страшных днях августа–сентября 1942 года. Мне в то время было три года четыре месяца. Вот что я помню из этих рассказов. Когда немцы стали продвигаться к Сталинграду, все заводы перешли на особый режим работы. Рабочие и служащие сутками не выходили с завода, даже женщины, имеющие маленьких детей. 23 августа маму отпустили на несколько часов домой. Только вышли из проходной завода, началась бомбежка. Она с подружкой расцеловалась на прощанье и упала под какие-то кусты. Вокруг творилось нечто страшное, ужас охватывал от мысли о том, что с ребенком и родителями. Как только появилась передышка, бегом помчалась домой. Родные были в щели, я (Татьяна) завалена подушками, только начинают их снимать, я начинала плакать и кричать: „Закройте ушки, мне страшно!“ Мама убедилась, что все живы и назад — на завод.

Эвакуационный листок ей выдали 12 сентября. Прибежала домой, одела почему-то все самое нарядное — шелковое платье, летнее пальто, модельные туфли, в сумку положила дипломы — свой и мужа, Сима собрала кое-какие вещи в небольшой чемодан. И так с ребенком на руках и чемоданом мама пошла на берег Волги. Только спустилась, началась бомбежка. Вокруг много женщин с детьми, военных. На берегу лежали трубы большого диаметра, не успели выполнить какие-то работы. Кто смог — залезли в эти трубы. Остались живы. Выползли на воздух, уже почти темно. Последние лодки с военными отчаливают от берега, никого из гражданских с собой не берут. Женщины плачут, умоляют. Вдруг один военный сказал: „Возьмем вот эту женщину (маму), у нее самый маленький ребенок, но без вещей". Мама бросила чемодан, села со мной в лодку, и мы поплыли. Когда доплыли до середины Волги, стало совсем темно. Вдруг — гул самолетов, появились осветительные ракеты, стало светло, почти как днем. Самолеты летели так низко, что мама хорошо видела летчиков. Застрочили пулеметы. Солдаты стали прыгать в воду, лодка перевернулась, и мама со мной оказалась в воде. Я сразу пошла ко дну, мама нырнула, схватила меня и попыталась плыть. Сделала несколько гребков и почувствовала, что тонет. Но тут нащупала ногами песчаное дно (на Волге часто бывают перекаты дна), стала идти по дну и вышла на небольшую песчаную косу. Самолеты продолжали стрелять, она закрыла меня своим телом и так лежала, пока фашисты не улетели. По Волге продолжали плыть люди, кто на чем: лодки, плотики, бревна. Все стонало, кричало, звало на помощь. Какая-то лодка взяла и нас. Так мы оказались на левом берегу. Обстрелы продолжались до утра. Всех, кто добрался до Заволжья, собирали в оврагах до утра. Мама со слезами рассказывала, как я молилась, меня научила бабушка молитве „Живые помощи", часть молитвы я забыла и очень просила, чтобы мама подсказала. Но мама не знала ни одной молитвы. Так мы с ней и шептали: „Живые помощи, живые помощи..." За Волгой нас нашел отец, и мы уехали с заводом на Урал».

«Дневник сталинградки» начинается с 10 сентября 1942 года.

Из дневника Серафимы Ворониной: «10 сентября 1942 года. Четверг. Сегодня уже 19 дней, как мы сидим в окопе. Второго сентября опять сильно бомбили наш район. Сбросили бомбу в тонну в проулке у Мизина дома, захватила воронка несколько щелей, и погибло много людей. Дома вокруг разнесло все в щепки, и много домов так растрепало, что жить в них уже невозможно. Так было страшно, так страшно, что описать невозможно.

В магазины и рядом стоящий дом были сброшены зажигательные бомбы, и поднялся пожар. К вечеру поднялся ветер, так стало страшно: горят магазины, дом. Мужики сбежались, пожарники приехали, стали растаскивать горящий дом, затушили.

Мы со страху все ушли ночевать в яр, в нем Вася с Сергеем Ивановичем вырыли щель, а отца перенесли в щель во дворе.

Листовки немец бросает каждый день, но мне ни одной не приходилось читать. А разговоры идут разные про написанное: воззвание к гражданам, что жители

пусть ничего не боятся, будут работать, как работали, на своих местах. Не знаю, что будет с нами?

А дни стоят теплые, солнечные, ясные. Волга прекрасная, тихая, светлая, как зеркало.

Фронт находится недалеко, в Северном городке, на Мамаевом кургане и на Тракторном, за Мечеткой».

Северный городок — до сих пор существующая часть жилого поселка у завода «Красный Октябрь», примерно в 1,5 км северо-западнее бывшей улицы Станичной; Мамаев курган (высота, господствующая над городом, 102,0) примерно в 3 км на юго-запад от улицы Станичной; Тракторный завод (СТЗ) — в 10 км северо-восточнее улицы Станичной. Мечетка — речка чуть севернее СТЗ. На восток от Станичной, примерно в 500 м, — река Волга.

Из «Хроники огненных дней»: «13 сентября, воскресенье. Официальная дата начала уличных боев. Гитлеровская армия начала штурм Сталинграда. К исходу дня враг продвинулся на севере к окраинам поселков завода „Баррикады“ и „Красный Октябрь“. Разрушены основные цеха заводов. Начались бои в самом Сталинграде.

14 сентября, понедельник. Один из самых тяжелых дней эпопеи Сталинградской битвы. Противник бросил на город семь своих лучших дивизий, 500 танков, несколько сот самолетов, более тысячи орудий. Ценой больших потерь гитлеровцы овладели господствующей над Сталинградом высотой 102,0 — Мамаевым курганом, вокзалом Волгоград-1, прорвали оборону на стыке 62-й и 64-й армий и вышли к Волге.

15 сентября, вторник. Борьба за город велась непрерывно, днем и ночью. Теперь она развертывалась на улицах и площадях Сталинграда.

16 сентября, среда. Под прикрытием передового отряда 13-я Гвардейская стрелковая дивизия за две ночи (с 14-го на 15-е и с 15-го на 16-е) переправилась в Сталинград и неожиданно для фашистов ударила по врагу, после яростного боя отбросила противника из района центральной переправы, очистила от него многие улицы и кварталы, гвардейцы вышли на железную дорогу, захватили вокзал и овладели Мамаевым курганом. Борьба за эту высоту продолжалась с невероятным ожесточением до конца января 1943 года.

17 сентября, четверг. Основной удар противника приняла на себя 13-я Гвардейская стрелковая дивизия. В дивизиях осталось по 500–1000 человек. Резервов нет. Утром командующий 62-й армией В. И. Чуйков доложил Военному совету фронта, что части истекают кровью, резервов нет, тогда как противник все время вводит в бой свежие войска. К вечеру из резервов Ставки прибыли хорошо укомплектованные стрелковые и танковые части. На предприятиях Сталинграда ухудшилось положение с продовольствием, на СТЗ его осталось

всего на пять дней. СТЗ, не имея возможности выпуска новых танков, организовал особый ремонтно-восстановительный батальон, взялся за ремонт танков для фронта».

Из «Дневника»: «17 сентября 1942 года. Четверг. С 13 сентября, с воскресенья, идут сильные бои. Со стороны немцев летят мины, и с нашей стороны бухают тяжелые орудия, бьют из „Катюш“. С самого воскресенья пять дней бомбят пострашному. По ночам затишье, но спим тревожно, самолеты летают всю ночь. Самолет-разведчик вешает на парашютах фонари и освещает все пространство. Делается так светло, как днем. Разведчик все высматривает, а днем уже начинается бомбежка. Мы с мамой и знакомыми живем в балке, Вася вырыл там щель. Пять дней не вылезаем из этого убежища. Отец находится в щели дома, с ним знакомый — Сергей Иванович.

Из всех дней бомбежки самый страшный был вчера — 16 сентября. Какой был вчера ужас, какой ужас! Бомбил с восьми часов утра до восьми часов вечера, и все бомбил наш район, так как недалеко от нашей балки находится рабочий сад, а в нем стоят войска, машины. По саду и садил он. Вокруг находятся индивидуальные домики с садиками, тут же и наш дом. Вчера попала бомба в сад к Кузовым и упала у кухни, убило хозяина дома Илью Ивановича и двух красноармейцев. Илья Иванович бежал в щель, и по дороге его убило. Екатерина Александровна, его жена, сильно плакала. Вчера его схоронили в саду, в воронке упавшей бомбы. Боже мой, какой был ужас! Останемся ли мы живы? Если останемся, то постареем лет на 20.

К вечеру затихло, поужинали с мамой и понесли папе щей домой. Поднялась в гору, ночь была лунная, кроме того, по небу висели на парашютах фонари, было светло, как днем. Вдруг раздались выстрелы из ружей, и фонари потухли, их сбил снайпер. В районе центра города было большое зарево. Два дня горели нефтяные баки. Большое пламя было и по направлению к Федоровскому саду, там большой поселок, горело и там. Все разрушено, города не существует, одни развалины остались. Фронт в городе.

Приказ Сталина — не отступать и не сдавать Сталинград, а наши войска уже на Северном городке, на улицах поселка, на стадионе, в заводах. Немцы бросают листовки с призывом к красноармейцам, командирам, комиссарам сдаваться, им ничего не будет. Приказ Сталина — не отступать!

14 сентября информбюро сообщило о сдаче Новороссийска, как-то там наши сватья, живы ли? Кончаю писать, начинается стрельба. Закутываемся в подушки, одеяла и лежим ни живы ни мертвы.

Дни теплые, солнечные».

Из «Хроники огненных дней»: «19 сентября, суббота. Противник к исходу дня потеснил некоторые части центра 62-й армии. Авиация бомбит район завода „Красный Октябрь“, центр города, Бекетовку».

Из «Дневника»: «19 сентября 1942 года. Суббота. 12 часов дня. Вчера было тихо весь день. Мы с мамой из балки ушли домой в свою щель. Встала сегодня поздно, в девять часов. Собралась идти за водой. Мама не пускала, но я пошла. Вода в кранах на „Баррикадах“. Набрала воды, вдруг зашумели самолеты, я побежала бегом с ведрами, забежала в барак, в нем было две женщины, девочка и два красноармейца. Началась бомбежка, я прижалась в коридоре барака к углу, девочка легла на пол, женщины побежали по бараку, красноармейцы легли на пол. Штукатурка сыплется, грохот. Такой страх я пережила, что описать невозможно.

Когда ночью затихло, я схватила ведра с водой и бросилась домой. Добежала до своей улицы — дом Фоминых расщеплен, в него попала бомба. Заворачиваю за угол, и о ужас! Наш дом весь расщеплен, крыши нет, ставни сорвало, внутри дома штукатурка упала, балки попадали, шкафы расщеплены, стекла у горки выпали. Вошла в дом и вышла на улицу. Оказалось, что бомба упала у окон дома, в том месте, где посажена сирень. Собрали кое-какие доски с улицы во двор. Сосед помог забить забор, забили окна. Мама меня все уговаривает идти в балку к знакомым, но я никуда не хочу идти, будь что будет.

Вчера приходил молоденький красноармеец, говорил, что фронт находится в разных местах. Приказа отступать от Сталинграда нет, из-за Волги перебрасывают новое подкрепление. Много войск стоит на Матросской улице, на Большой Франции, на Малой Франции.

Дни стоят теплые, солнечные, как летние».

Завод «Красный Октябрь» был основан французами в 1898 году и назывался «Французский завод». Жилой поселок этого завода назывался «Большая Франция» (в нем жили инженерно-технические работники) и «Малая Франция» (в нем жили рабочие). Эти названия сохранялись несколько лет и после войны. В настоящее время он переименован в поселок «Металлургов».

Из «Дневника»: «21 сентября 1942 года. Понедельник. Десять часов утра. Сегодня праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Пришла Рита со своей девочкой, просятся к нам в щель, так как пещера в балке дала трещину, а соседнюю пещеру завалило, упала большая бомба. Рита, ее сестра Зоя и Галочка перешли к нам. У соседей Коротковых во дворе упала бомба и ранила их сына Володю. Бомбы упали во двор к Пахомовым, Левкиным. Приходили соседи Мокровы, говорят, что бомбят наш район из-за „зелени“, так как в ней прячутся „Катюши“, минометы, машины с боеприпасами. Что-то еще будет с нами дальше? Хорошо, что Женя с крестной уехали и Ира тоже. Останемся ли живы?

Вчера двое военных заходили напиться, мы спросили: „Скоро ли конец?“ Ответили, что сами не знают, ни у одного города так долго не стояли, как у Сталинграда. У каждого города стояли дней 5–6, а у Сталинграда стоят уже 30 дней. „Как у Севастополя?“ — спросила я. „Да, как у Севастополя, у него стояли 40 дней“, — ответили.

Сегодня уже 30 дней со дня первой бомбежки. 30 дней, как мы не вылезаем из щели. Что-то будет с нами?»

Из «Хроники огненных лет»: «С 13-го по 26 сентября немецко-фашистские войска потеснили 62-ю армию, ворвались в город, захватили значительную часть высот, в центре вышли к Волге, но овладеть Сталинградом полностью им не удалось. В Сталинграде сложилось тяжелое положение с продовольствием. Приняты особые меры по снабжению продуктами питания бойцов МПВО, рабочих заводских формирований и населения города. Лондонское радио передавало: „Наши симпатии к русскому народу растут с каждым днем. Нам хочется сражаться с такой же сумасшедшей энергией, с которой наши союзники ведут бои на улицах Сталинграда“».

Из «Дневника»: «26 сентября 1942 года, суббота. Одиннадцать часов утра. Ночью было что-то невероятное. Самолеты летали всю ночь, началась бомбежка. В три часа ночи стало слышно рубку деревьев во дворе. Оказывается, пришло много наших войск, разместились во дворах, стали рыть себе щели, и деревья срубили для прикрытия. Во дворе у нас было много брусьев для дров, их все растаскали для покрытия. Ну да ничего не жалко. Утром спросили пожилого бойца: „ Как нам быть? Уезжать или оставаться? Отгонят ли немца?“ Он сказал мне, что уезжать не стоит, за Волгой очень плохо, много народа. Немца отгонят скоро, пришло подкрепление с Дальнего Востока. Дня два–три и его отгонят. В городе немца нет и не было, несколько десятков десантников. Сейчас из города десант выбили.

Сегодняшний разговор с военным вселил в меня уверенность, что Сталинград не будет взят немцами, их отгонят. Полон двор военных, а на стадионе стоят дальнобойные орудия и минометы. Бухают всю ночь и весь день, вся щель дрожит. Словом, мы живем на фронте уже 35 дней.

Вчера ходила на „Баррикады“ за эвакуационным листком, на всякий случай не мешает его иметь, может быть, придется все бросить и бежать в чем есть. Как не хочется ехать, да и вещи жалко бросить, с таким трудом все это наживалось.

Не знаю, где наши: Женя с крестной и Игорьком, Ира с Петей и Танечкой, Вася. Где теперь знакомые и родные: Захаровы, Маруся и Нюра Несытовы, Матрена Васильевна, Вера с девчатами, Горшенины?»

Из «Хроники огненных дней»: «29 сентября, вторник. Обстановка в Сталинграде усложняется. Противник вышел в район СТЗ и начал мощное наступление на правое крыло 62-й армии. Сталинградский тракторный завод в эти дни стал основной ремонтной базой танков, доставляемых прямо с поля боя. Оккупирован немецко-фашистскими войсками Краснооктябрьский район Сталинграда».

Из «Дневника»: «29 сентября 1942 года, вторник. Девять часов утра. Третий день идет бомбежка, не вылезаем из щели. За водой ходим на Волгу по вечерам, так

как к вечеру немного затихает. В воскресенье была такая сильная бомбежка, что я решила уехать. Но Оля Жабина стала уговаривать, что ехать никуда не стоит, что переживать везде придется, а потому надо переживать в одном месте. В ней много оптимизма, с ней легче переживать страх.

В воскресенье убило шесть лошадей, и жители стали растаскивать их на еду. И мы с Олей пошли через стадион и нарсад. Весь нарсад разбили, летний театр сгорел, деревья выкорчеваны. Несколько раз нас останавливал патруль в саду и военные. Мы объяснили, что ищем убитых лошадей на мясо. Удивительно, но нас не задержали, сказали, что идти надо в садик около Сталинской школы (она уже сгорела). Пошли туда. Лошади были уже растащены, только у одной остался передок. Оля стала рубить, а я держать, но у нас ничего не получалось. Подошла Клавдия Тараханкина, отрубила нам и себе переднюю ногу. Свалили все в зембель и пошли назад. Но патруль нас не пропустил, пришлось обходить улицей ниже. Мать уже беспокоилась, решила, что нас забрали. На другой день ели борщ и пирожки с кониной. Оказалось довольно вкусно.

События на фронте плохие. Вчера прибежал молоденький красноармеец с Мамаева кургана, рассказывает, что в городе сидят автоматчики в разрушенных домах и строчат без перерыва, а на берегу находятся наши войска.

Бомбит все время, а в перерыве между бомбежкой садит минами. Вчера сгорел еще один мансардный дом, так было страшно, что мы с Олей и за водой не пошли. Сегодня уже 39 дней, как мы сидим в окопах, что-то будет с нами дальше?

Вчерашний красноармеец рассказал, что на днях наш самолет бомбил по своим. Еще рассказывали, что из-за Волги „Катюши“ били по Мамаеву кургану и много уложили своих. Что-то делается невероятное. Из всех разговоров только вчерашний красноармеец сказал правду, что положение на фронте плохое, остальные только успокаивают, что отгоним немца.

Немец идет упорно и главным образом берет воздухом. На нашем поселке тоже есть немецкие автоматчики. Слышна пулеметная стрельба. Мы сначала не обращали на нее внимание, но потом бойцы рассказали, что это стреляют немецкие автоматчики и подают самолетам сигнал, где бомбить.

Сегодня я шла к Марусе, и около дома Роговых лежит убитый красноармеец. Я от испуга шарахнулась в сторону. Бедный, бедный человек, сложил свою голову, где-нибудь у него есть семья.

Маруся вышла куда-то. Я сижу и записываю эти слова, может, кто-нибудь прочитает и узнает, какие страхи мы пережили и переживаем.

Вот сейчас летит самолет, сердце замирает, сирена самолета приостанавливает работу всех органов тела, все холодеет».

Из воспоминаний секретаря обкома А. С. Чуянова: «В светлое время суток над Волгой беспрерывно висят бомбардировщики, перед причалами то и дело поднимаются косматые столбы воды от взрывов. „Мессеры“ гоняются даже за одиночными лодками, остервенело поливают из пулеметов подходы к причалам. Тяжело смотреть ночью на горящий город с восточного берега. Просто не верится, что там есть люди»[3].

Из «Хроники огненных дней»: «1 октября — 9 октября. В начале октября борьба за Сталинград возобновляется с нарастающим ожесточением. Гитлеровские войска усиливают натиск в центре города. Одновременно авиация и артиллерия бьют по переправам, уничтожая паромы и баржи. Противник продолжает сильные атаки с высоты 107,5 — в направлении завода „Красный Октябрь“. Верховный Главнокомандующий потребовал от командующего Сталинградским фронтом А. И. Еременко принять все меры и обеспечить оборону Сталинграда, чтобы город ни при каких обстоятельствах не был сдан врагу. 62-я армия отражает массированные атаки противника при мощной поддержке авиации в районе поселка СТЗ. Войска 62-й армии ведут боевые действия против врага на рубеже — рынок, рабочий поселок тракторного завода, заводов „Баррикады“ и „Красный Октябрь“, на северо-восточных склонах Мамаева кургана, в районе вокзала Сталинград-1».

Из «Дневника»: «1 октября 1942 года, четверг. Весь день сильно бомбили. К вечеру затихло, но поднялись пожары. Горело два мансардных дома. Поднялся сильный ветер, и искры тучей неслись по направлению к нашим домам. Был такой ужас, такой был страх.

Добежала до Орешкина дома, я увидела, что у них загорелась крыша, искры летели тучей, и не только искры, но и головешки. Затушить не удалось. Орешкин дом загорелся, от него загорелся наш разрушенный, потом загорелся Жабин дом, Фомин. Образовалось море огня. Такой ужас, такой ужас, меня знобило.

Мы с матерью взяли продукты и побежали в мансардный дом к Анне Моисеевне. Всю ночь не спали. Отца оставили в щели, закрыли дверь плотно железными листами. В три часа ночи пошли проведать двор. Там было море огня. Старик-сосед растаскивал забор, чтобы не загорелся его дом.

Подошли к щели — она цела. Спросили отца, как он себя чувствует. Ответил, что хорошо. У щели начали тлеть брусья у входа, затушили их землей, натаскали валы земли к брусьям, закрыли щель и пошли обратно. Утром вернулись на свое пепелище. Все сгорело, но щель цела, отец жив, надо покопаться, может быть, что-нибудь осталось из вещей. Но копаться сейчас нельзя, так как все горячее, надо ждать, когда остынет.

Сейчас сидим в своей щели и решили никуда больше не ходить. Теперь кругом нас образовалось поле с обгорелыми печами. Сидим и думает, что будет с нами?

Красная Армия вся сдвинулась на берег Волги. На стадионе стоят зенитки, тяжелые орудия увезли. Коля настаивает на отъезде за Волгу. Оля против отъезда, так как за Волгой бомбят, и с собой ничего взять не сможем. Останемся ли живы? Говорят, что на поселке немец занял Краснооктябрьский мост.

Сегодня уже 40 дней, как мы сидим в щели. Бомбежка идет каждый день.

2 октября 1942 года, пятница, два часа дня. 41 день, как мы сидим на фронте. Конца не видно, каждый день идут бои. Мины летят каждый день, нельзя высунуть головы из щели. Сегодня утром только собрались завтракать, как начали лететь мины. Вдруг раздался страшный треск, гром, посыпалась земля с потолка щели, ну, думаем, пропали. Прошла минута, прояснилось — живы. Коля, выглянул из щели, оказалось, летела мина, ударилась в акацию, разорвалась, и осколки посыпались во все стороны. Если бы не было акации, мина упала бы на щель, и мы бы погибли. А мама каждый год настаивала срубить эту акацию, но я была против.

Утром ходили с Олей за водой на Волгу и вчера ходили. Самолеты летают, пули визжат, а за водой идти нужно, без воды не проживешь. Один день мы не ходили за водой и были целый день не пивши, невозможно было вылезть.

Шесть часов вечера. Вот уже вечер, а бомбежка не прекращается. С утра до двух часов летели мины, а сейчас началась бомбежка. Боже мой! Когда все это кончится? Сил уже больше нет никаких. Хорошо, что Женя, Ира и крестная уехали. Женя в Ульяновске, а Ира не знаю где, добралась ли она до Магнитогорска? Не знаю, придется ли нам увидеться, останемся ли в живых?

41 день сидим в щели, грязные, немытые, уже насекомые стали заводиться в голове и в белье. Все сожжено, все разбито, мы сидим в щели, которая находится в открытом поле, кругом груды угля, обгорелые печи. В подвале у нас все сгорело. Утром мама с Колей копались в подвале, отрыли немного тыквы, она испеклась, сегодня мы ее ели. Нашли один самовар, который растопился. В углу нашли бак, в котором была рожь. Придется еще покопаться, может быть, еще что-нибудь найдем.

3 октября 1942 года, суббота. 4–20 часов. Рано утром ходили за водой с Олей и ее матерью Александрой Федоровной. Только набрали воды, начали лететь мины на Волгу, бежали с водой бегом. Такой ужас мы переживаем, что описать невозможно, и когда конец будет, неизвестно.

Выстрелы немецких автоматчиков слышны по всему поселку. Бои идут ожесточенные, то немцы бомбят и сыпят из минометов, то наши начинают садить из „Катюш“ и тяжелых орудий. Сначала сердце замирало, все отнималось, а теперь все окаменело, сердце уже не болит, будь что будет.

Вовремя не уехали, теперь уехать невозможно, положимся на Бога и на судьбу. 42 дня сегодня, как мы переживает этот ужас. Кругом пожары, все горит. Сейчас

бомбит мансардные дома и Баррикадный район. Когда все это кончится? Сил уже нет терпеть, а деваться некуда. Вот опять летят самолеты. Захлопали зенитки.

Александра Федоровна занимается у нас варкой обеда. Ходит целый день по двору, варит у щели, как только летит самолет, Оля кричит ей: „Мама! Скорее в щель!“ Но Александра Федоровна не торопится бежать, а спускается в щель, когда самолеты пролетят или сбросят бомбы. Оля начинает ругать ее, а она так спокойно отвечает: „Что, он в меня, что ли, бомбы бросает, нужна я ему!“ И смех и грех на нее смотреть, такая она бесстрашная.

Бомбежка не прекращается. Оля всех подбадривает. Коля все время говорит, что надо уехать, а куда ехать, когда бомбежка идет целыми днями и мины летят так, что из щели вылезти нельзя.

Погода стоит чудная. Теплые летние дни и вечера.

4 октября 1942 года, воскресенье. Девять утра. 43 дня, как идут ожесточенные бои в городе Сталинграде и рабочих поселках. Сегодняшняя ночь была очень напряженная и жуткая. Накануне вечером ходили за водой на Волгу. До Волги дошли хорошо, а обратно шли под пулями. Был такой страх, ноги отнимались, еле дошли до дома.

А вечер был такой дивный, теплый. Волга красивая и тихая. Такая чудесная стоит погода. Дни жаркие, солнечные. Вечера лунные, тихие, только бы гулять да отдыхать, а мы не вылезаем из щели вот уже полтора месяца, и не видно конца.

Думали, что утром встанем и будет немец, но утром все было по-старому: зенитки стреляют в самолеты, начали бухать тяжелые орудия. С утра началась бомбежка.

В три часа ночи в напряженной тишине раздались звуки радио. Коля вылез на приступки слушать, потом Оля, потом я. Передавали сначала на немецком языке, потом на русском. После передачи раздались звуки музыки, чудная была музыка, по-видимому, передавало немецкое радио. Коля рассказал, что сообщили что-то о Воронеже, он не расслышал.

Пришел один боец за водой, принес полведра густого пшенного супа, спросили его: „Далеко ли фронт?“ Ответил, что отогнали немца, а сам в глаза не смотрит. Словом, положение плохое.

Коля прочитал сообщение «Информбюро» от 28 сентября, в котором сообщается, что идут бои в районе Сталинграда. Расплывчатое сообщение. На самом деле бои идут во всех рабочих районах и на улицах Сталинграда.

6 октября 1942 года, два часа дня. Боже мой, какое мучение, сегодня 45 дней, как мы находимся в страшных мучениях, когда конец нашим страданиям? Фронт в нашем районе. Отогнали немца или нет, об этом никто из военных толком не говорит.

Случилось несчастье, ранило Александру Федоровну. Она пекла хлеб на соседнем дворе, пролетела мина, разорвалась, и осколком ее ранило. Приглашали военную медицинскую сестру, она осмотрела рану, смазала йодом и установила в ране осколок. Сказала, что осколок может вынуть только врач. Александра Федоровна сильно стонет, говорит, что у нее сильно болит грудь и бок. Потом она кашлянула и мокрота с кровью, страшно испугалась. У нее мнение, что осколок находится в легких. Уговариваем ее, немного соглашается с нами.

Сегодня рылись с Олей в выходе. Все сгорело.

Очень жалко кастрюлю электрическую и медикаменты. Теперь заболеет кто-нибудь и лечить нечем. Оля говорит, что не надо ничего жалеть, лишь бы остаться живыми.

Нервы стали сильно напряжены, стала раздражительная, но слез нет, все окаменело.

А дни стоят теплые, солнечные, ясные. По народным приметам будет теплая долгая осень. Как бы хотелось уехать далеко-далеко, в лес, в глушь и отдохнуть от всех переживаний и волнений.

Каждый день ходим за водой под пулями, конца нашим мученьям не видно. Сейчас пока есть хлеб, а вот съедим, тогда не знаю, что будем делать, голодной смертью помирать придется».

Из воспоминаний секретаря обкома А. С. Чуянова: «5 октября противнику удалось овладеть Мамаевым курганом. На отдельных участках городского фронта защитники Сталинграда оттеснены на узкую полоску вдоль Волги. Ожесточенные бои ведутся за каждый метр земли, за каждый дом, улицу, цех, лестничную площадку. Только за 6 октября на боевые порядки 37-й дивизии, обороняющей Тракторный завод, противник сбросил свыше шести тысяч бомб. Кажется, силы защитников заводского района Сталинграда на исходе. Но нет, идут упорные бои перед заводом „Баррикады“, в цехах Тракторного, в поселке „Красный Октябрь“».

Из «Хроники огненных дней»: «14 октября, среда. Оккупированы Тракторозаводской и Баррикадный районы Сталинграда. Тракторный завод помогал танкистам 62-й армии восстанавливать подбитые танки до 14 октября 1942 года.

16 октября, пятница. Армия Паулюса продолжает яростные атаки в районах заводов. Судьба Сталинграда висела на волоске. В 13 часов Ставка Верховного Главнокомандующего приказала командующему Сталинградским фронтом немедленно усилить гарнизон островов на Волге — Зайцевский и Спорный.

17 октября, суббота. Из оперативной директивы командующему войсками Донского фронта: „Противник, прикрываясь прочной обороной с севера между Доном и Волгой, силами четырех–пяти пехотных и до трех танковых дивизий

ведет яростные атаки на Сталинград, стремясь овладеть заводскими районами… В течение дня войска 62-й армии вели тяжелые и кровопролитные бои…».

Из «Дневника»: 14 октября 1942 года, среда, 11–20 часов. Сегодня большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы. С утра началась бомбежка. Сидим и не вылезаем из щели. Нельзя согреть чаю, пожевали сухого хлеба и сидим. Всю ночь была бомбежка и стрельба, жутко было спать.

Эта война — необыкновенная война, воюют не в степи, а в городах и населенных пунктах. Немцы заняли город, Тракторный завод, наши находятся в Краснооктябрьском районе.

17 октября 1942 года, суббота, девять–десять часов утра. Боже мой, как мы остались живы, одному Богу только известно. Вчера была такая сильная бомбежка, ни одного дня не было такого. Бомбежка началась в десять часов утра и до пяти часов вечера. Щель дрожала, молились все. Боже мой, боже мой, что с нами будет, останемся ли мы живы? А конца нашим мучениям и страданиям не видно.

Сегодня 56 дней находимся в великом страдании, и конца не видно. Я не знаю, как мы остались живы. Это просто чудо.

Немец бомбил без отдыха, сыпал бомбами буквально, так вся улица изрыта воронками. Около Суховатиковых на середине улицы огромная воронка, тонная бомба сброшена.

Военные говорят, чтобы мы выселялись из щели, так как на стадионе находятся орудия и около них не разрешается быть частным лицам. Предлагают переехать за Волгу, там якобы есть машины для перевозки эвакуированных. Но это, конечно, только разговоры, никаких машин за Волгой нет, все переехавшие передвигаются собственными силами. Кроме того, военные говорят, что, если Сталинград будет оставлен, то с оставшимися жителями будет жестокая расправа, вплоть до расстрела, так как их будут считать предателями Родины, желающими перейти на сторону немцев.

Оля против переезда за Волгу, но перейти в другую щель, говорит, надо. Пошли с искать заводскую щель, нашли за вышкой около топливного склада, но переходить уже нельзя, началась минометная стрельба, теперь ждать до утра. Грязь, пыль, вши заели».

Из «Хроники огненных дней»: «19 октября, понедельник. Противник продолжает атаки танками и пехотой на всем фронте 62-й армии. Особенно сильные атаки при поддержке массированного огня артиллерии и минометов противник ведет на заводе “Баррикады„ силой до двух пехотных дивизий с 50–60 танками».

Из «Дневника»: «19 октября 1942 года, понедельник, десять часов утра. Два дня не писала. Не успела закончить записи, как поднялась сильная бомбежка. Упала бомба у нас во дворе, в щели стало так темно, все посыпалось с треском. Ну, ду-

маем, все кончено, погибли, засыпало. Оказалось, завалило выход, но не сильно, откопались, перешли в щель к Ленгасовым. Сейчас сидим в этой щели уже два дня. По ночам все время сыплет минами. Сегодня весь день идет осенний дождь, грязь невылазная. Целый день бьют из минометов, автоматов, снаряды летят, высунуть нос нельзя.

У нас кончилась вода, где будет брать? На Волгу идти нельзя, опасно, решили поискать воду в соседних погребах.

Проход нашей щели завалило, и дождь льет в проход, образовалась грязь. Никто не хочет ее выгребать, в щели стало холодно. Оля стала такая худая, что страшно смотреть. Коля, ее муж, не двигается с места, да еще ребенок только и знает, что целый день: есть, пить, писать и опять сначала. Это просто пытка. Я такая терпеливая, так люблю детей, но и у меня начинает лопаться терпение.

Мы все истерзались, измучились, вшей развели тучи.

Фронт находится в нашем поселке, Краснооктябрьском. Сейчас одна мысль у всех — остаться живыми, только живыми, ничего не жалко. Как я жалею, что не уехала с девчатами. Вещи осталась караулить, да ничего не укараулила, все сгорело. Мы находимся в кольце, Тракторный и Баррикадный районы заняты немцами, на Красном Октябре все сдвинуто к Волге. Отступать нет приказа, и бьются на небольшом клочке земли.

Наш район не узнать — все вспахано, бугры и ямы — страшно смотреть на улицу. Идет бойня, истребление людей. Это безобразная война. Воюют в городах, селах, превращая все в развалины, уничтожают мирное население. А мирного населения погибло много. Погибли наши соседи — все Орешкины: Василий, Николай, двое маленьких детей, а Тамаре перебило обе ноги, осталась жива одна Нина и старик. Жалко бедных погибших людей.

Вот и мы будем ли живы и дождемся ли конца нашим страданиям? Еще хлеб есть, а как съедим, что будем делать? Оля и Коля настаивают, чтобы всем перейти в общественную щель за парашютной вышкой, но нам нельзя бросить отца, а дойти он не сможет, во дворе грязь и идти невозможно. Без нас они не хотят идти».

Из «Хроники огненных дней»: «20 октября, вторник. Войска 62-й армии отбивали атаки врага в районе Спартановки, заводов „Баррикады“ и „Красный Октябрь“. В связи с прибытием в район „Баррикады“ 138-й дивизии И. И. Людникова враг усилил свою ударную группировку четырьмя пехотными и одной танковой дивизией.

21 октября, среда. Противник увеличил налеты авиации до двух тысяч самолето-вылетов в сутки. Под прикрытием авианалетов немецко-фашистские дивизии ведут бои за заводы „Баррикады“ и „Красный Октябрь“. Усилены атаки и бомбовые удары по переправе через Волгу.

22 октября, четверг. Политотдел 62-й армии в своем донесении сообщал, что войска армии в течение дня удерживали занимаемые рубежи. Однако противник постепенно занимал многие улицы и кварталы. Позиции гитлеровских войск настолько приблизились, что воины 62-й армии вынуждены были применить огнеметы, действовавшие на расстоянии 100 метров».

Из воспоминаний секретаря обкома А. С. Чуянова: «Напряжение всех сил защитников заводского района и центра города не спадало до 22 октября. Прижатые к Волге, обескровленные тяжелыми боями, части 62-й армии держались на узкой полоске земли. Казалось, еще одно усилие врага, и эта полоска будет разрублена. А это означало бы, что 62-я армия и остатки населения заводской части города обречены на уничтожение. Военный совет, штаб фронта, обком и горком партии делали все, чтобы этого не случилось».

Из «Дневника»: «22 октября 1942 года, четверг, десять часов утра. Шестьдесят один день (61) нашим страданиям и конца не видно. Сидим в щели Ленгасова три семьи: мы, Жабины, Сергей Иванович с Анной Максимовной. Отец находится в своей щели, и с ним ночует Коля. Фронт то приближается, то отодвигается, вернее, не фронт, мы находимся на фронте, а немца то отодвигают, то он опять придвигается.

Четыре дня идут ожесточенные бои, мины рвались около нашей щели, бомбы тоже рвались, мы сидели в щели и дрожали. Вчера ходили втроем за водой в балку. Мины рвались вправо от нас, бежали с водой бегом.

Сегодня затишье, но это затишье что-то страшит, мины летят, а бомбежки нет. Не дождаться конца страданиям. Вши заели, прямо сил нет. Вчера один военный сказал Оле, что осталось немного ждать, дней четыре–пять и все решится, немца разобьют. Но что-то плохо верится. Немец сидит на новом базаре. Что-то нас ожидает? Будем ли живы? Боже мой, как все устали и настрадались. Все стали злы, нервны, ругаются. Коля каждый день ругается с Олей, все очень устали.

С водой плохо, едим один раз в день. От воды в балке у всех расстроились желудки, да и привкус горьковатый.

Молюсь Богу, слов нет, сердце как в тисках. Боже мой, боже мой, как тяжело, когда конец нашим страданиям?»

Из «Хроники огненных дней»: «25 октября, воскресенье. Из боевого донесения Военного совета Сталинградского фронта в Ставку Верховного Главнокомандования: Бой в районе заводов „Баррикады“, „Красный Октябрь“ и Купоросное — Зеленая поляна отличается исключительной интенсивностью и напряжением с обеих сторон… Благодаря исключительному упорству войск 62-й армии, организованному и массированному огню нашей артиллерии, Р (реактивных систем) и авиации, наступавшему противнику в составе пяти дивизий, поддержанному сильной группой авиации, удалось продвинуться между заводами „Баррикады“ и „Красный Октябрь“ всего на 200–300 метров».

Из «Дневника»: «25 октября 1942 года, воскресенье, два часа дня. Три дня продолжается бомбежка, сил нет терпеть. Сидим в щели и не вылезаем, такая тоска, вши заели, ночью спим сидя, так как щель маленькая, а народу много. Пытка, сил нет терпеть, конца не видно. Спрашивали одного красноармейца, как положение на фронте? Ответил, что через пять дней все кончится, сегодня пятый день его предсказаниям. Сегодня спрашивала другого красноармейца, который ответил, что дело долго продлится. Боже мой, когда кончатся наши страдания? Кругом выжженная степь, так страшно, и каждый день пожары. Поселка Краснооктябрьского не существует, мы сидим в голой степи и каждый день бомбежка. В пятницу был такой страшный бой, думали, что не останемся живыми. Молимся Богу, просим его оставить нас живыми. Вылезаем из щели только вечером, и так страшно, так страшно. Кругом голая степь, изрытая ямами, развалины кругом. Мансардные дома все сожжены и развалились. Так долго тянутся события, 64 дня сегодня нашим страданиям. По-видимому, у немцев мало сил и у наших.

Вчера рано утром был у нас один старик и говорил, что Баррикадный район весь в руках немцев, остались наши войска на небольшой полосе: от железнодорожной линии и до Волги на полосе, на которой мы сидим. Мы сидим на самом огне, и идти некуда, сидим и ждем своей судьбы.

Пишу эти строки, а бомбежка продолжается. Сейчас бомбит завод, что-то горит там.

Верно, у немца сил мало, что он так долго не может нас взять. Наша армия стала в кольце, осталась небольшая полоска территории, не занятой немцами: Матросская улица с переулками, наша Станичная с ближайшими улицами и у Старого базара частица».

На этом обрывается дневник Серафимы Ворониной.

Из «Хроники огненных дней»: «31 октября, суббота. Воины 39-й и 45-й дивизий 62-й армии при поддержке авиации и артиллерии фронта решительно контратаковали врага и выбили фашистов из крупнейших цехов завода „Красный Октябрь“. Ожесточенные бои продолжались днем и ночью, но немецко-фашистские войска не сумели овладеть территорией всего завода и выйти к Волге.

7 ноября, суббота. Гитлеровские войска пытались прорвать нашу оборону и районе „Глубокая балка“ между заводами „Красный Октябрь“ и „Баррикады“. Бой длился весь день. Фашисты не сумели прорваться к Волге, их атаки были отбиты.

14 ноября, суббота. Глубина обороны войск 62-й армии от берега Волги до переднего края составляла 200–250 метров. С появлением „сала“ на Волге снабжение продовольствием, боеприпасами, перевозки пополнения происходят исключительно напряженно, а с учетом воздействия огня противника и его авиации положение с переправами становится близко к катастрофическому.

19 ноября, четверг. Началась стратегическая контрнаступательная операция под кодовым названием „Уран“ по окружению и разгрому фашистских агрессоров под Сталинградом.

31 января, понедельник. Немцы начинают переговоры о капитуляции. Ультиматум советского командования о немедленном прекращении огня и полной капитуляции южной группы немецких войск принят. Паулюс вместе со штабом пленен.

2 февраля, среда. В подвале механосборочного цеха Тракторного завода пленен штаб северной группы войск противника под командованием генерала Штреккера. Свыше 40 тысяч немецких солдат и офицеров сложили оружие».

Битва на Волге, продолжавшаяся 200 дней и ночей, завершилась.

«Дневник сталинградки» — еще одно свидетельство войны, ее беспощадности и чудовищной жестокости. В дневнике описывается тяжелое душевное состояние людей, как оптимизм сменяется отчаянием, отчаяние доходит до безразличия к своей судьбе, но прорывается вновь и вновь желание остаться в живых!

Когда я читаю дневник моей прабабушки, то меня поражают строки, когда после описания ужасов бомбежек, страха, убийств, следуют записи о том, как прекрасна Волга, какие чудесные стоят дни. Как хочется тишины, хорошо бы оказаться в лесу, где покой и красота. Это крик о том, как хороша жизнь и как молодой еще женщине хочется жить! Какая несправедливость, что жизнь «висит на волоске», что каждую минуту ждешь смерти. Серафиме в 1942 году было 37 лет. Не уехав вовремя, она позже не могла это сделать, под пулями ходила за водой, переживала все беды, выпавшие на долю оставшихся во фронтовой зоне людей. Она не совершила никакого подвига. И хотя память о ней живет только в сердцах родных, поклониться ей, как и другим простым людям, безвременно ушедшим из жизни во время войны, наш долг.

В Волгограде есть памятник мирным жителям, погибшим в Сталинграде. Он стоит на высоком берегу Волги на Набережной имени 62-й Армии. Это обелиск, на котором изображены силуэты женщин и детей. Сверху обелиск накрыт разорвавшейся бомбой. В памятный для сталинградцев день, 23 августа, к обелиску всегда кладут цветы.

Мы, родственники, не знаем могил Ворониных — Серафимы Федоровны и ее родителей, Федора Ерофеевича и Матрены Сергеевны. Этих могил нет. Как нет могил и тысяч других простых сталинградцев. По памятным дням и в день 25 октября (последняя запись в дневнике) мы, родственники, тоже ходим к обелиску погибшим родным.

Примечания

[1] Хроника огненных дней. 17 июля 1942-го — 2 февраля 1943 года. Волгоград, 1993.
[2] *Чуянов А.С.* На стремнине века: Записки секретаря обкома. М.: Политиздат, 1976.
[3] Там же.

Блики времени

Екатерина Ефимова, Ленинградская область, г. Тосно
11-й класс, научный руководитель И. А. Иванова

Часто ли мы задумываемся о своей семье? Как много мы знаем о своих предках? Помним ли мы хотя бы имена наших прабабушек и прадедушек? Кто-то помнит, а для кого-то это лишняя информация — по крайней мере, они так считают. И таких людей становится все больше и больше. Я думаю, что наши родные достойны любви и внимания, как никто другой. Вот почему я решила написать эту работу. Что из этого получилось, судите сами.

ДЕТСТВО

Шел 1918 год. Мрачный Петроград. Начало Гражданской войны…

В сотне километров от Петрограда находился небольшой рабочий поселок Дружная Горка. Туда и переехала молодая семья Александра Яковлевича и Евдокии Степановны. Александр Яковлевич был гравером по стеклу, и работа его заключалась в нанесении делений на шкалу термометров, которые, как и все стеклянные изделия, предназначенные для нужд лабораторий, выпускались на Дружногорском стекольном заводе, туда и был переведен из Петрограда Александр Яковлевич. Молодой семье была выделена небольшая квартирка в одноэтажном домике.

Экономика государства пришла в полный упадок. Не было хлеба. Все сбережения, накопленные за долгие годы, уже ничего не значили. Вскоре нищенская зарплата Александра Яковлевича сменилась на карточки, по которым семья получала еще более нищенское обеспечение. Спасали их только врожденная предприимчивость и энтузиазм Евдокии Степановны, благодаря которым она титаническим усилием воли подняла домашнее хозяйство. За несколько месяцев она перекопала маленький участок земли за домом, который достался их семье. На первую, хоть и скудную, зарплату они купили козу, за которой Евдокия Степановна ухаживала и которую доила, затем на кое-как накопленные деньги удалось приобрести корову.

К тому времени молодые ждали прибавления в семействе… Был почти полдень. Евдокия Степановна начала работать, но буквально через несколько минут почувствовала легкое недомогание. Пройдя несколько метров, она вдруг почувствовала резкую боль и, выронив серп, упала на траву. Так, среди колосьев, под открытым небом, родилась Тамара Александровна Гаврилова, героиня этой повести.

Она не очень хорошо помнит детство. «Я очень любила читать. Тогда по всей нашей небольшой школе ходила книга „Консуэло“… Для меня было большой удачей и радостью держать в руках потрепанную книгу, которую уже до меня с тре-

петом держали десятки ребяческих рук. Я с волнением прислушивалась к каждому незначительному шороху, когда по вечерам, без света (мама была экономной женщиной) вглядывалась в строки самой интересной, как мне тогда казалось, книги на свете…»

В школе у нее было много друзей, но лучшей подругой была Люся Крестель, предки которой, вероятнее всего, были немцами. Да это и неудивительно, ведь завод построил немец Ритенг и привез с собой из Германии рабочих, впоследствии женившихся на русских женщинах. Вообще в поселке было очень много людей с немецкими фамилиями. Например, мастерами на заводе были Шульц и Пецшке. Были там и поляки, и кого только не было… Евдокия Степановна была очень предприимчивой, и, когда Тамаре Александровне исполнилось 10 лет, они смогли накопить денег, чтобы построить свой дом. Он стоял на небольшом расстоянии от поселка, за рощей.

«Мать наша была очень строгой с нами, но мы все равно ее очень любили. В 19 лет она приехала из Архангельской губернии в Петербург. Наивная деревенская девушка оказалась в огромном столичном городе, готовом поглотить ее толпою прохожих, рабочих и революционеров… Трудно было не потеряться здесь. Вначале она была ученицей у портнихи, а затем ее взяли в горничные в дом знаменитых Коровиных. Ей было лет 26–27, когда она познакомилась с моим отцом. Он тогда только вернулся с Первой мировой. Да, много пришлось испытать ему: он был травлен газами, практически сутками лежал на льду и благодаря всему этому заработал себе туберкулез легких. Я не знаю, где они познакомились, мама не рассказывала нам об этом. Странно для рабочего того времени, но Александр Яковлевич не состоял ни в каких партийных организациях. Евдокия Степановна ходила и слушала выступления Ленина с балкона балерины Кшесинской, недалеко от Марсового поля. Особого восторга от выступления вождя мировой революции она не испытала, да и пошла-то туда только потому, что „все пошли“. Она была верующей женщиной, и революционные взгляды были ей чужды. Я-то тоже всегда верила в Бога, как и моя мать. В школе никогда не была пионеркой, да нас к этому и не принуждали. А то, что я верующая, так об этом никто и не знал, ведь я, естественно, старалась об этом не говорить». Так что в смысле революционной активности взгляды молодых людей совпадали. Но главное то, что она полюбила его и после двух–трех лет знакомства они поженились.

В 1933 году Тамара Александровна закончила школу. «Спустя некоторое время, в 1933 году, от туберкулеза умер мой отец, Александр Яковлевич. Наша семья потеряла кормильца, и моей маме стало еще тяжелее…» В этом году Тамаре Александровне исполнилось 14 лет. Детство кончилось.

НЕМНОГО МИРА, И… «ВОЙНА НАЧАЛАСЬ!»

В том же, 1933 году Тамара Александровна пошла учиться на лаборанта.

«При заводе находилось что-то вроде ПТУ. Тогда это называлось „фабрично-заводское обучение“, попросту — рабфак. Я там училась и одновременно работала,

проходила практику. Затем закончила курсы химиков-лаборантов с отличием и, конечно же, осталась работать на нашем заводе. Я работала в лаборатории, делала анализы стекла, определяла количество примесей и качество изготовленных изделий. Работа у меня была тяжелая, ответственная. Не дай Бог, что-нибудь не так рассчитаешь…»

Жизнь не была легкой. Жили опять-таки только за счет подсобного хозяйства. Смешно было надеяться на зарплату. Однажды мать предложила Тамаре Александровне прогуляться до поселка и зайти к ее подруге попить чайку. Она согласилась. «Когда мы вошли в прихожую к Евдокии (она была тезкой моей матери), я услышала незнакомый мужской голос. Оказалось, что это был новый жилец, снимающий комнату у Евдокии. Он приехал из Гатчины, закончив дорожно-строительный техникум, по направлению от начальства в наш поселок. Приехал работать. И жить. Он понравился мне. Стоит ли рассказывать дальше? Через год, в 1938 году, мы расписались в поселке Орлино. Интересно, почему не на нашей Дружной Горке, да? Дело в том, что тогда уже Гурий был председателем сельсовета и не мог расписать сам себя. Да, он уже стал солидным человеком».

Шел 1941 год. Июнь выдался теплым. Одним из таких солнечных воскресных деньков, а именно 22 июня, Тамара Александровна с мужем пошли на небольшой сельский стадион, где обычно происходили все хоть сколько-нибудь значимые события в поселке. Здесь собирались, когда приезжали какие-нибудь артисты или певцы из города, когда проходили импровизированные футбольные матчи между дружногорцами и жителями военного городка, находящегося недалеко от Сиверской. Атмосфера была праздничной, и все располагало к отдыху.

Но всеобщей радости не суждено было длиться долго… Около полудня из громкоговорителя пронеслось над головами страшное сообщение: «От Советского Информбюро…» Это объявление о начале войны прозвучало как приговор. Тамара Александровна и Гурий Федорович пришли домой опустошенные.

Прошли несколько недель ожидания… Ленинград обстреливался. Враг подступал к самому городу. Пришлось эвакуировать местное население. Для того чтобы получить распоряжение начальства, Гурий Федорович отправился в Гатчину. Тамара Александровна захотела узнать о том, что происходит за пределами Дружной Горки, и поэтому поехала вместе с ним. «Повсюду валялись убитые собаки, провода, вывернутые из земли столбы электропередач, битые стекла. Куда ни кинь взгляд, везде царило разрушение», — вспоминает Тамара Александровна. Никто не знал о том, какова должна была быть роль партизанского отряда, состоящего из руководителей сел и деревень Гатчинского района, влиться в который и приказано было Гурию Федоровичу. Он должен был двигаться по направлению к Ленинграду.

Приехав обратно в село, ошарашенная увиденным в Гатчине, под впечатлением приказа об эвакуации, семья Тамары Александровны собрала самое необходимое и вместе с партизанским отрядом покинула Дружную Горку. В любом случае

они не могли дольше оставаться в поселке, так как Гурий Федорович был коммунистом, ответственным должностным лицом, и в случае прихода немцев ему и всей его семье грозила неминуемая смерть. Подойдя к Ленинграду, они остановились в местечке Зайцево. Тут и началась очередная бомбежка деревни. Тамара Александровна вместе с сотрудником мужа выбежали из здания и спрятались в каком-то погребе, в то время как все остальные лежали на картофельном поле, по канавам, пытаясь спрятаться от оглушительного звука рвущихся снарядов и своих собственных криков…

«Фашисты наступали нам на пятки, отступать было некуда. Казалось, воздух пропитан запахом крови, я уже давно забыла каково это: ощущать свежий ветерок на коже, не вздрагивать от каждого постороннего звука, не бояться всего, постоянно ожидая удара, дышать обычным воздухом, который не был бы насквозь пропитан гарью и копотью, как, в общем, и все остальное: еда, одежда, все… Дан был приказ заминировать Киевское шоссе, у нас была даже взрывчатка, но… не было минеров, некому было заминировать дорогу. Пришлось отступать, не сделав ничего. Это огорчало нас, но мы были рады главным образом тому, что просто остались в живых…»

Они шли в большой город с надеждой, лелея в себе мечту о том, что здесь не будет страха, грохота разрывающихся снарядов и запаха гари, что будет еда и безопасность.

Ленинград — предел. Дальше идти некуда.

ЛЕНИНГРАД

Но чем же на самом деле встретил их Ленинград?

Холодными взглядами отчаявшихся людей, развалинами, хмуростью, царившей повсеместно: и на опустевших улицах, и в лицах прохожих.

«Мы сразу же пошли к моей тетке, жившей на улице Рылеева. Нельзя сказать, что она была гостеприимна, однако мы были обеспечены жильем на первое время, а это было уже большим достижением. Через несколько дней мы пошли по знакомым, навестить друзей и родственников. Тетка была хоть и разговорчивой, но в последнее время чувствовалась странная отчужденность, холодность… Мы с мужем давно догадывались, что она боялась того, что мы можем отнять у нее квартиру. Примерно через месяц она посредством какого-то своего знакомого устроила нам жилье практически в пригороде, в Красногвардейском районе».

Гурий Федорович устроился на работу в эвакогоспиталь. Тамара Александровна же сидела дома в ожидании прихода мужа. Это было мучительное ожидание, и, хотя длилось оно всего лишь неделю, ей казалось, что проходят годы…

Однажды Гурий Федорович пришел с работы и сообщил своей жене, что в госпитале требуются новые работники. Тамара Александровна была тогда готова

на любую работу, лишь бы не сидеть дома. На следующий день она пошла в госпиталь…

«Я хорошо помню это здание. Располагавшийся в здании школы госпиталь молчал. Было тихо, я помню, только изредка мне по дороге попадались медсестры с озабоченными лицами. Голые стены, огромный вестибюль… Я прошла в кабинет директора школы: там теперь располагался начальник госпиталя. Невысокий мужчина, с бородкой, в халате спросил у меня имя, фамилию, отчество, в общем, все как полагается. „У нас есть место лаборанта“, — сказал он. На другой день я, оформив соответствующие бумаги, приступила к работе. Женщина, старший лаборант, проинструктировала меня. Теперь я должна была брать кровь и желудочный сок у больных. Это ничуть не испугало меня, хотя я никогда в жизни этого не делала. Скоро я привыкла к своей работе. К запаху спирта, к тупым иглам. Много раненых, проносящихся перед глазами за восьмичасовой рабочий день. Меня могли вызвать в больницу в любое время дня и ночи… Моя мать жила с нами, хотя такого не должно было быть. Ее хотели эвакуировать на „большую землю“, как мы тогда говорили о территориях, не занятых врагом, считая Ленинград маленьким островком. Но я не могла позволить увезти маму. Весь ее организм был истощен тяжелой работой, которая была направлена на то, чтобы поднять нас с сестрой, ведь отец наш ушел из жизни, когда мне было всего 14 лет… Я боялась, что она не доехала бы живой до безопасного места, да даже если и доехала бы… Она ведь уже была старой и больной, ей требовался постоянный уход, а кто бы занимался ею там? Нет, я бы не смогла спокойно жить, если бы позволила увезти ее из Ленинграда. Была, конечно же, еще одна причина. Как только я представляла, какого огромного труда будет стоить найти ее после окончания войны (несмотря ни на что, мы все еще надеялись на победу наших сил), у меня сжималась сердце… Однако не было никакой возможности оставить мать вместе с нами, потому что она была иждивенкой и не работала. Но я собралась с силами и пошла к замполиту, к нашему второму лицу в госпитале, он проводил беседы с ранеными бойцами, грубо говоря, был психологом для больных. Я со слезами на глазах просила этого человека, которого все в нашем госпитале боялись как огня. Просила о невозможном — ослушаться приказа начальства и пойти навстречу 22-летней лаборантке, рыдающей и размазывающей по лицу слезы. Сложно было этому строгому человеку, привыкшему к общению с солдатами, к быстрым решениям, видеть напротив себя в маленьком кабинете девушку, способную так вот решиться и прийти к нему просить о… Это был риск — согласиться оставить в городе еще одного человека, хотевшего есть и пить наравне со всеми».

«Помню одну историю. Как-то, когда еще ходил транспорт, мы с мужем возвращались от знакомых. Было уже холодно, и мы очень хотели успеть на трамвай, а он как раз подходил к остановке. Но, к великому нашему сожалению, двери закрылись перед самым нашим носом. Тот факт, что придется стоять на холоде какое-то время, не обрадовал нас… Однако мы не успели огорчиться, потому что началась бомбежка. Проехав два квартала, тот трамвай взорвался».

«Вскоре началась блокада. Теперь бомбили постоянно, однако у нас, на окраине, гораздо меньше, чем в центре, где постоянно стоял грохот разрывающихся снаря-

дов… Появились карточки, по которым мы с мужем получали немного хлеба и крупы. Да и хлеб был странный, совсем не походил на тот, что мы ели до войны. В него добавляли жмыхи, картофельные очистки, да чего только не добавляли… Я знаю очень интересные вещи, которые мне рассказал один человек, рассчитывающий во время блокады ингредиенты, входящие в состав хлеба. Там был даже торф…»

«В госпитале во время тревоги мы должны были перетаскивать раненых в подвал, и хотя случалось это не так часто, но выматывало нас полностью. Началась зима. Холод. Голод. Снег и ветер. Я довольно-таки часто должна была отводить выздоровевших солдат в управление внутренних дел недалеко от Литейного моста. Трудно, очень трудно было идти так далеко, да еще и пешком, ведь не было электричества, не ходил транспорт. Машин нам не выдавали. Помню узенькую тропинку, какие бывают в деревушках, тянущуюся через весь город, а по бокам этой тропинки — трупы. Много-много людей, лежащих без движения. Кто знает: может быть, некоторые из них еще живы? Может, они только что упали, но не в силах подняться самостоятельно? Некому им помочь. Потому что ни у кого нет сил».

«Я иду через Литейный мост… А на мосту трупы. И под мостом трупы. И на льду тоже трупы. Мертвые везде… Особенно запомнилась мне мертвая женщина, лежавшая на льду лицом вверх. Она была красивая, и длинные черные волосы растрепались и примерзли ко льду…»

«Было очень тоскливо жить. Да-да, именно так. Это не было нормальной жизнью. Голод и холод очень сильно подкосили людей. Но не это было самым ужасным. Люди постоянно испытывали страх… Он никогда не покидал их, ни во сне, ни наяву. Преследовал повсюду, на улице, в промерзших домах. Голод можно было вынести, спасеньем от холода служило еле теплящееся пламя от горящих книг и щепок… но страх, страх нельзя было изгнать ничем… Идя по холодным улицам, в темноте, продираясь через сугробы снега, через темные дворы и необъятную ужасающую тишину, нельзя было убежать от себя, от того, что гложет человека изнутри, что постоянно заставляет оглядываться и вздрагивать…»

«Я помню наши фосфорные значки. Сплошная темнотища, никакого света. Светомаскировка по приказу. Ни из одного окна не должен был проникать свет. Иначе штраф. Да…

Нам выдали эти значки для того, чтобы мы могли видеть идущих на нас людей, чтобы не столкнуться с кем-нибудь и не упасть…»

А как ужасно было вечерами в холодном одиноком Ленинграде, где единственными прохожими оставались ветер и вьюга. Люди сидели в домах, грея руки над жиденькими огоньками, экономя тепло и свет. Это бездействие расшатывало нервы, сводило отчаявшихся людей с ума.

«Я спала у стены, закутавшись в одеяло, прижав замерзшие ноги к животу. Мои волосы, красивые и густые, моя гордость, были распущены и свободно лежали на подушке. Когда утром я попыталась встать, то почувствовала, что кто-то крепко

держит меня. Оказалось, моя гордость просто-напросто примерзла к стене. Сейчас это может показаться забавным случаем, но мне было совсем не смешно, когда муж большими ножницами отрезал клок волос, чтобы я могла встать с постели… Да, мои волосы… Красивые, черные, как смоль, кудри изрядно поседели за время войны…»

Голод в то время сковал всех. «Мои сотрудники рассказывали о том, как в те дни они ели столярный клей, размачивали и грызли кожаные ремни. До этого я не доходила, но приходилось есть лебеду, мокрицу, жмых, которым кормили скотину».

Как-то даже целых три или четыре дня хлеба не было вообще. Именно тогда погибла основная часть ленинградцев. Люди только пили воду и лежали. Очень многие опухли от голода и едва способны были передвигаться, Гурий Федорович ходил с двумя палками, опирался на них и только за счет этого не падал.

«Рядом с нашим домом был семиэтажный дом — общежитие для студентов и учащихся ПТУ. Какие ужасные мысли проносились в моей голове, когда я каждый день проходила мимо него и видела в прямом смысле горы трупов, увеличивающиеся с каждым днем, если не с каждым часом».

На улицах не было людей. Из-за сильного мороза никто не решался выходить на улицу. Поход за водой был равносилен подвигу. Тамара Александровна топила печь дровами, так как на окраине все еще оставались деревья, но в центре… в центре сжигали все: начиная с мебели и кончая книгами.

Много страшных историй хранит Ленинград. Историй о людях, съедающих кошек и собак. О людях, замерзающих на дорогах и погибающих под артобстрелами и бомбежками. «Моя хорошая подруга из поселка близ Дружной Горки, которая была угнана немцами в Эстонию на поселение вместе с семьей, рассказывала историю своей сестры, жившей в Ленинграде во время блокады. Она жила в коммунальной квартире с двумя соседками. У одной из них была собака. Когда хозяйка собаки ушла куда-то, две оставшиеся в квартире женщины изловили эту собаку и съели… Когда их соседка вернулась, они объяснили исчезновение питомца тем, что животное убежало через неосторожно приоткрытую дверь».

«Есть и еще кое-что пострашнее. У одной женщины был сын, который служил в действующих частях недалеко от города. Он получил разрешение навестить свою мать. Когда он вошел в дом, то удивился странной суетливости и неприветливости матери, старающейся, как ему показалось, поскорее выпроводить его из дому. Он не придал этому особого значения и подавил в себе эту мысль, ссылаясь внутренне на голод и страх смерти. Он и не знал, что как только мать закрыла за ним дверь, то сразу же бросилась к печи, где в чугунке у нее варилась крыса. Она с огромным трудом поймала эту нежданную в ее пустом доме гостью и сразу же решила сварить ее. Это было огромным счастьем для изголодавшейся женщины…»

«Как-то мне нужна была какая-то справка, и я пошла в ЖЭК, к паспортистке. Я заметила в углу мужчину и женщину, разговаривающих с участковым. Странный блеск в их глазах испугал меня. Обычно я не замечала такие мелочи, но сегодня это как-то бросилось мне в глаза. Паспортистка начала выписывать нужный документ, а затем незаметно наклонилась ко мне и шепотом заговорила: „Посмотрите на этих людей, — сказала она, — они съели своих детей, мальчика и девочку. Соседи заметили исчезновение ребят и сообщили в милицию. Теперь вот их привели…". Это был УЖАС!»

Воина проходила ужасно медленно… Дни тянулись однообразно и так долго, что, казалось, конца им не будет никогда. День Тамары Александровны, да и всех рабочих людей, был однообразен и полон страшных, мрачных мыслей. Гурий Федорович и Тамара Александровна просыпались около семи часов утра. Как трудно было снова встать, съесть малюсенький кусочек черного хлеба со странным вкусом и отправляться в темноту холодного утра в госпиталь, через вьюгу и холод, проникающий повсюду. Казалось тогда всем, что мороз господствует везде и нет такого места, где можно было бы согреться. Только когда приходили в госпиталь, то чувствовали приятное тепло, которое, как бы разливаясь по телу, отрезвляло, и Тамара Александровна просыпалась по-настоящему. Затем начиналась работа. Иногда день проходил нормально, без тревог и каких-либо происшествий, но бывало и так, что за весь день нельзя было даже присесть на пару секунд.

После работы она приходила домой. Сидела на холодном стуле и читала газеты, старые журналы, книги. Но свет приходилось экономить, ведь когда не стало электричества и кончился керосин, жир в коптилке берегли, как зеницу ока. Потом съедали еще один кусочек хлеба, запивали его несколькими глотками теплой воды и ложились спать в холодные постели, укрываясь одеялами и еще каким-то тряпьем, которое только могло согреть их исхудавшие тела…

И засыпали. Что страшнее: кошмар сна или ужас жизни?

«ПРОРВАЛИ БЛОКАДУ!» НОВАЯ ЖИЗНЬ

Но мучения 900 дней блокады завершились.

За это время у Гурия Федоровича погибла почти вся семья: брат пропал еще в Гатчине, отец умер от голода. Ни о каких похоронах, конечно, не могло быть и речи. Трупы просто выносили во двор и оставляли лежать до тех пор, пока специальный патруль не увозил их на Пискаревское кладбище в общую братскую могилу. Долго и мучительно длилась эта пытка голодом. Но она закончилась, и госпиталь, в котором работали Тамара Александровна с мужем, эвакуировали…

«В Выборге нас расположили на окраине города. Много тогда ходило историй о том, что финны ходят по городу и вырезают госпиталя. На ночном дежурстве

мы все не спали, дрожа от страха и прислушиваясь к каждому постороннему звуку и шороху…» В 1944 году Тамара Александровна родила здоровую девочку. Ни рост, ни вес тогда не измеряли, хорошо было уже то, что роды приняли…

«Я с мужем и матерью переехала в Ленинград. Там нам выдали ордер на комнату в коммунальной квартире в старом доме на улице Жуковского, в центре, так как тот дом у госпиталя, где я работала, предназначался на снос. По сравнению с нашим прошлым местом проживания эта коммунальная квартира показалась нам раем! Потолки пять метров, светло и просторно, да еще центр города…»

Началась новая жизнь. «Дочку я назвала Элеонорой, в честь Элеоноры Рузвельт. Руководствовалась я тогда тем, что они были нашими союзниками в войне, да и имя красивое… Соседей было у меня шесть человек, все люди неплохие. Первое время все еще сохранились карточки, по которым нам выдавали всякие крупы, подсолнечное масло, затем мясо и яйца… Я устроилась на работу на завод Лентеплоприбор комплектовщицей. Платили 300 рублей, нормально. Помню, как приходили к нам на работу профсоюзы, и мы должны были подписать какие-то бумажки, по которым с нас высчитывали часть зарплаты, это называлось „добровольные займы государству“. После войны-то любое существование казалось прекрасным. Мы с матерью и мужем ходили в театры и кино по выходным, тогда фильмы шли по три дня, каждую неделю — новая картина».

Время шло, и Тамаре Александровне хотелось вернуться в родное село, на Дружную Горку. «Моей дочери уже исполнилось два года, и мне хотелось, чтобы ребенок мог дышать свежим воздухом, хотелось покушать своих собственных овощей с грядки, походить в лес за грибами и ягодами. Земля тогда не продавалась, а только выдавалась небольшими участками».

Когда Тамара Александровна приехала на Дружную Горку, то не заметила абсолютно никаких изменений. Все было так же, как и до войны: те же старые сосны у въезда в поселок, те же дома рабочих, те же поля близ села, тот же кривенький мост через ручей…

«Участок наш теперь находился у самого въезда в поселок. Мы с мужем очень много трудились для того, чтобы построить дом».

В 1969 году вся семья переехала в новую трехкомнатную квартиру на улице Тельмана в Веселом Поселке. В этом же году у Тамары Александровны родилась внучка Яна. Сколько было радости! Тогда они уже полностью достроили свою дачу на Дружной Горке, где они могли отдыхать на выходных и летом. Яна играла там, а мы занимались огородом. Все было замечательно.

«Казалось бы, все в нашей семье хорошо. Прекрасные сообразительные детишки, у дочки хорошая работа (к тому времени она уже работала в зубной поликлинике), зять — золотые руки, всегда все в доме делал сам. Но вот было кое-что… Мой муж Гурий начал увлекаться выпивкой. Вообще до войны он не брал в рот ни капли спиртного, но в Выборге, в нашем госпитале, начал выпивать. Пона-

чалу он выпивал редко, по праздникам, или так, рюмочку перед обедом, но теперь… Теперь это приняло характер патологии. Он стал пить постоянно. Конечно, из-за этого ухудшилось его здоровье, он стал забывчивым. Мой муж умер в 1990 году, когда ему было 77 лет. Это случилось, когда моей правнучке исполнилось три года. Да-да, Яна родила девочку. Мне принесли ее из роддома в феврале 1987 года, был мороз, снег падал огромными хлопьями…»

Вот напротив меня сидит героиня этой истории, Тамара Александровна. Для меня — любимая прабабушка, для других — обычный человек. Сложно даже представить, что «девушка в синем бархатном платье» — это моя бабушка Эля, с которой я обсуждаю свои проблемы и радости. …Девочка Яна — это моя мама, а я — Катя. Да, та самая Катя, которую принесли в квартиру на улице Тельмана… Поселок Дружная Горка стоит, как и раньше. Все то же: вековые сосны у въезда, одноэтажные домики рабочих, небольшая роща и холмы, покрытые травой… Это — вечно. И на этом я ставлю точку в моем рассказе.

«Когда бой уже кончился…» О владимирских госпиталях, о смерти и бессмертии, о незабытых и забытых навсегда

Илья Зыков, г. Владимир
11-й класс, научный руководитель В. Г. Белова

Как-то раз я вместе с ребятами из школы вызвался помочь владимирской организации «Некрополь» в работе по уборке и благоустройству известного многим во Владимире Князь-Владимирского кладбища.

И вот мы приступили к работе. Вырезая шпателем траву между надгробными плитами, я невольно читал: «Хромов В. Н. — рядовой 1891–1941 годы, Плахотник А. Т. 1905–1945 годы» и так далее, сотни и сотни имен. Всего 1501 человек. Я почувствовал, что мое сердце сжалось от тоски, скорби по погибшим. Ведь известно, что за годы войны было убито 27 миллионов человек.

И я задумался… А ведь эта цифра могла быть намного больше, если бы не было таких учреждений, как госпитали, если бы в них не работали такие замечательные люди, как наши врачи, медсестры и многие другие, вложившие огромный труд, душу в то, чтобы помочь, спасти раненых, вытащить с того света солдат с очень тяжелыми ранениями. И мне стало стыдно перед самим собой за то, что я, родившийся и проживший 16 лет во Владимире, не знаю, были ли в моем родном городе госпитали. Сколько их было, где они находились, кто в них работал, кто всячески старался помочь находящимся в них раненым вернуться к нормальной, здоровой жизни? И я поставил перед собой задачу: как можно подробнее узнать обо всем этом.

Я ходил в библиотеки, консультировался со своими учителями истории, читал различные книги, справочную литературу, бывал в гостях у медсестер, работавших во владимирских госпиталях в годы войны, посещал музеи при школах, в которых размещались госпитали. Я обошел практически весь город в поисках зданий, в которых находились госпитали, некоторые даже сфотографировал. Сейчас в них размещены различные государственные и коммерческие организации, клубы и многое другое. В моей голове скопилось очень много информации, мыслей, которыми я хотел бы с кем-нибудь поделиться. И эту исследовательскую работу я решил написать для того, чтобы рассказать все то, что я узнал о Владимире в годы Великой Отечественной войны.

Уже в период Первой мировой войны на территории города Владимира действовали эвакогоспитали. Значит, к началу или непосредственно в ходе Великой Отечественной войны должна была сложиться система медицинского обслуживания арены боевых действий. В годы войны в действующей армии различались следующие военные госпитали:

— полевые подвижные (ППГ);
— сортировочно-эвакуационные (СЭГ);

— хирургические полевые подвижные (ХППГ);
— терапевтические полевые подвижные (ТППГ);
— инфекционные полевые подвижные (ИППГ);
— госпитали для лечения легкораненых (ГЛР);
— эвакуационные (ЭГ);
— контрольно-эвакуационные (КЭГ) и др.

Для города Владимира, где не было военных действий, основной задачей было развертывание военных госпиталей. Уже на следующий день после сообщения о нападении Германии на СССР во Владимире начинается этот процесс. Этой работой руководил местный эвакуационный пункт. По мобилизационным планам к приему раненых готовили четыре госпиталя.

О том, какие именно мероприятия пришлось провести в каждом из них, мы можем узнать на примере госпиталя № 1890. Приказ о развертывании этого эвакогоспиталя был издан 23 июня, ему отводилось здание четвертой средней и третьей начальной школ, располагавшихся по улице Луначарского, 13-а, площадью 1200 квадратных метров. По мобилизационному плану госпиталь был рассчитан на 200 коек. До 15 июля был произведен ремонт здания, побелено почти все помещение изнутри, отремонтированы и подготовлены главные помещения госпиталя: операционная и перевязочная, где должна была поддерживаться стерильность, организовано подсобное хозяйство за городом, оборудованы склады вещевой и аптечный, создан санпропускник на 50 человек с поточной системой приема раненых, оборудована суховоздушная камера на 50 комплектов обмундирования, в нижней части здания оборудован пищеблок с раздаточной, моечной и разделочной комнатами. Оборудованы кабинеты физиотерапии, лечебной физкультуры, зубоврачебный, лаборатория, общежития медсестер и хозкоманды на 50 человек. В бывшем школьном зале был оформлен клуб, являвшийся при необходимости резервом для размещения раненых.

Над госпиталем взял шефство Владимирский химзавод, к концу июля «мощность» была доведена до 500 коек, и 23 июля 1941 года госпиталь приступил к приему раненых. Почти все работники госпиталя находились на военном положении и, ухаживая за ранеными бойцами, жили прямо в госпитале.

Вот как вспоминает об этом времени фельдшер эвакогоспиталя № 1890 Шубина Н. П. «…В 1940 году я окончила фельдшерско-акушерскую школу. Год работала в городской поликлинике. Потом меня направили в э/г № 1890, где я работала фельдшером. В 1943 году, когда немцы были разбиты под Москвой, госпиталь продвинулся к фронту. В госпитале я обслуживала 200 коек с 700 ранеными. Раненых было очень много, и поэтому вместо коек делали нары или иной раз клали на пол солому, покрывали простынями и клали на эти „кровати“ раненых. Я многого не умела делать, поэтому приходилось учиться всему прямо на месте. В дальнейшем приходилось делать все операции: переливать кровь, накладывать гипс, делать уколы.

Всему этому я научилась быстро. Я сама отдавала кровь для раненых. Работа была очень трудная. Приходилось по трое суток не выходить из перевязочной. Бом-

бежек не было, но зато были частые воздушные тревоги, во время которых приходилось уводить и переносить раненых. А когда во время воздушной тревоги делали операцию, то и не выходили из операционной. Работали мы день и ночь. Спали мало. Ночью принимали раненых, обрабатывали их, а днем выпускали для эвакуации в глубь страны. Тяжелораненых оставляли в госпитале до выздоровления».

Существовал эвакогоспиталь № 1890 чуть более двух лет до 15 октября 1943 года. В 1943 году с продвижением фронта эвакогоспиталь побывал в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии. Победу работники госпиталя встретили в Дойчэлаве.

Самоотверженная работа по развертыванию госпиталей и приему первых эшелонов раненых смогла в какой-то мере смягчить катастрофу начального этапа войны. Достаточно вспомнить, что за период с начала войны по конец 1942 года было убито 2,5 миллиона и ранено 5 миллионов человек.

11 октября 1941 года во Владимир прибыл местный эвакуационный пункт — МЭП-113, эвакуированный из Тулы. В нем сосредоточилось все управление госпиталями Владимирского куста. Первоначально МЭП располагался в здании Первой советской больницы, однако вскоре рядом упала невзорвавшаяся бомба весом в 1000 кг, и, поскольку из-за близости промышленной зоны сотрудники эвакопункта ожидали продолжения налетов, было принято решение о перебазировании его в западную часть города, где МЭП занял помещение бывшего детского санатория по улице Большая Московская, 20.

Вообще в области существовало четыре эвакоприемника: Владимирский, Ковровский, Вязниковский, Гусевской, осуществлявших сортировочную работу.

В октябре 1941 — январе 1942 года из западных районов, и в первую очередь из Рязанской области, были перебазированы и развернуты во Владимире девять эвакогоспиталей, и к концу 1941 года их число в городе достигло двенадцати. В этот период резко возрос поток раненых, особенно во время контрнаступления под Москвой.

За полгода, с начала войны до конца 1941 года, только во Владимире было разгружено 112 вагонов скорой помощи с 53 тысячами раненых; было отправлено в тыл 96 поездов с 37 тысячами раненых. В 1942 году был принят 281 поезд и 86 тысяч раненых и отправлено 138 санитарных поездов с 61 тысячей раненых.

Прием раненых с военно-санитарного поезда производился в прирельсовом эвакоприемнике в стандартных домиках, где их сортировали по характеру и локализации поражений и распределяли по госпиталям согласно профилю.

Погрузочно-разгрузочная работа производилась на 24-м пути, разгрузка производилась без рампы с земли. Расстояние до госпиталя — 1,5–2 километра. Подъездная дорога к 24-му пути совершенно не пригодна для санитарного транспорта. Дорога под железнодорожным мостом была разбита, заливалась водами из

канализации, зимой лед наращивался, и проезд для санитарных машин делался невозможным.

Разгрузка производилась примерно тридцатью санитарами с привлечением сандружинников и учащихся. Для перевозки раненых к сортировочному госпиталю было прикреплено шесть санитарных машин, из них пять носилочных и один «люкс» на 25 сидячих мест. Так же использовался гужевой транспорт; ходячих больных направляют до госпиталя пешком в сопровождении сестры.

Вот как об этом вспоминает бывшая медицинская сестра, которая лично принимала и сопровождала раненых. В то время ей было 17 лет, и весь ужас войны оставил неизгладимые воспоминания. Юлия Николаевна родилась в семье железнодорожника. Перед самой войной она поступила в энергомеханический техникум. Но с началом войны, оставив техникум, Юля пошла на курсы медсестер. Считала, что каждый обязан что-то делать для фронта. Она была самой младшей на курсах. Ей было 17 лет, а рядом учились девушки постарше, женщины до 40 лет. Их учили хирургии, терапии, фармакологии, асептике и антисептике. В мае 1942 года часть девушек сразу отправилась на фронт, остальных распределили по владимирским госпиталям. Сначала Юля попала в госпиталь, который находился в здании больницы на улице имени Фрунзе. Потом ее перевели в другой — № 1888, который находился в здании бывшего клуба имени Молотова.

«…Эшелоны с ранеными шли из-под Москвы, подходили к станции ночью. Состав буквально дымился от крови и дыхания замерзающих людей. Выносят носилки, ставят на землю, на лице лежащего человека такая боль, такая мука. Вот он вздохнул и умер!» Это трудно забыть.

«К вокзалу подъезжали автобусы с двухэтажными нарами, на которые укладывали раненых. Сестры сопровождали их до госпиталей. В автобусах для перевозки носилки с лежачими. Ходячие скорчились в проходах. И опять такая боль, мука и надежда в глазах. Кажется, они сейчас сойдут с ума от боли и бросятся на меня. А я прижалась спиной к дверям и твержу: „Миленькие, родненькие, потерпите, сейчас приедем“». Для молоденькой девушки это было страшным испытанием — столько страданий видеть сразу! В госпитале раненых принимали старшие сестры, врачи. На втором этаже, в «желтом зале», находилась операционная. Вторая была внизу, под лестницей. Тесно стояли операционные столы, их было много. На столах лежали раненые в ожидании своей очереди. Хирургов тоже было много. Это были и владимирские врачи, и московские. Рядом, около столов, лежали отнятые руки, ноги… Тут же была и перевязочная. Однажды Юля испытала шок, когда ее попросили что-то принести из соседнего здания. Открыв дверь, она попала в темное помещение, споткнулась обо что-то. А потом, когда кто–то открыл дверь с улицы, она увидела, что споткнулась о трупы…

Девушки, окончившие курсы, были прикреплены к палатным сестрам, помогали им. Работали почти непрерывно. После короткого отдыха дома — снова госпиталь. Они видели столько страданий, что воспоминания тех лет не изгладили-

лись до сего времени. Особенно запомнился Юлии Николаевне Саша Саенко. «Привезли его тяжело раненного. Видимо, был он высокого роста, потому что кровать оказалась ему коротка, ноги не помещались на постели. Ранение в грудь было смертельным». Юлия Николаевна сидела возле него, пыталась читать сказки, развлечь разговором. А он вдруг попросил: «Очень озябли ноги, принесите мне валенки. Принесите валенки, — повторял он, — мне нужно идти». Юлия Николаевна пыталась укрыть парню ноги потеплее, а он продолжал просить валенки. Она побежала за врачом, но, когда они подошли, парень был уже мертв… Впечатление об этой смерти было настолько сильным, что Юлия Николаевна до сих пор помнит тот осенний теплый вечер в большой палате, где умирающий парень просил принести ему валенки…

Я слушал рассказ Юлии Николаевны, а на ум пришло стихотворение Людмилы Татьяничевой «Дежурная сестра»:

Лицо —
Почти бескровное.
Рука —
В сухом огне.
— «Среди долины ровныя»
Ты спой, сестричка, мне.
А на уколы нудные
Зря времени не трать…
Спой песню эту
Чудную, —
Ее мне пела мать.
В военный год
Под Рузою
Певала мне ее
Еще девчонка русая —
Спасение мое…
Ты этой песней приголубь
Меня в последний час.
Послушать
Про могучий дуб
Хочу еще хоть раз…
……
Лицо —
Совсем бескровное.
Устало сомкнут рот.
«Среди долины ровныя»
Сестра
Навзрыд поет.

Я прекрасно понимаю, что оно посвящено другой медсестре, та пела, а эта читала сказки, но сколько их по всей стране было рядом с тяжелоранеными бойцами.

В 1943 году Юлия Николаевна вернулась в техникум, позднее окончила Московский машиностроительный институт, была счастлива в браке, имеет прекрасных детей, внуков, но навсегда сохранилась в ее душе память о тех днях, когда на ее руках умирали молодые парни, когда весь воздух вокруг нее был пропитан страданиями. А дочь Юлии Николаевны — врач, и внук будет врачом!

Госпитали отапливались дровами, в заготовке которых оказывали помощь пригородные колхозы, и заботой начальника госпиталя было выбить участок для рубки поближе к городу. Приходилось экономить продукты, тем более что число раненых значительно превышало число коек и резервный запас пайков. Совершенно не хватало перевязочного материала. Бинты стирали, а руководство писало грозные письма в адрес тех, кто, по их мнению, недостаточно пользовался этим приемом. Процент стираных бинтов достигал 35-ти.

В августе 1943 года МЭП-113 и значительная часть госпиталей передвинулась на запад, ближе к фронту, и к концу войны во Владимире осталась лишь четыре госпиталя, из которых до конца войны просуществовало два.

Судя по «Книге памяти», во время войны во Владимире было 15 госпиталей, а в целом по области — 88. На всех зданиях, где во время войны располагались госпитали, установлены по решению городских властей памятные доски единого образца.

В ходе краеведческих исследований у меня возникло много вопросов. Практически все в один голос утверждают, что раненые поступали в город только поздно ночью, особенно в период боев под Москвой. Почему? Даже с учетом военного времени и загруженности дорог военными эшелонами на дороге от Москвы до Владимира с 1863 года было два полотна, то есть движение было двухсторонним. Время движения паровоза, то есть состава без электрической тяги, могло составлять 5–6 часов. Если загрузка раненых проходила в дневное время, то во Владимир они прибывали к середине дня. Возможно, составы с ранеными двигались только в ночное время, чтобы не попасть под авианалеты противника.

Эта мысль в какой-то степени меня успокаивает. Однако при той тоталитарной системе могла быть и иная установка, что-то вроде нежелания пугать население большим количеством жертв. Сталинское руководство боялось распространения правдивой информации. Получается, что составы с ранеными прибывали к городу в течение дня и стояли на запасных путях в ожидании разгрузки. Для многих солдат и офицеров именно здесь заканчивался последний бой. Тогда это страшно.

Но, попав в госпиталь, раненые оказывались окруженными заботой и вниманием. В госпиталях лечили, жители приносили подарки, щедро делились любовью и сочувствием. Маленький районный город Владимир, каким он был до войны, разместил 18 госпиталей в самое суровое время. Количество поступивших раненых за годы войны в четыре раза превысило число жителей довоенного времени. Это те, кто вылечился и уехал.

Однако на территории города остались 1,5 тысячи умерших солдат. Во время рассказов о них большинство опрошенных отмечают, что хоронили только ночью. Старожилы, которые были детьми, вспоминают, что целые вагоны умерших практически до глубокой ночи стояли на запасных путях. Хоронили их только по ночам. Это косвенно подтверждает и рассказ Юлии Николаевны Силаевой о тамбуре, заполненном умершими бойцами уже в госпитале. Если учесть, что госпиталь № 1888 располагался в нынешнем Доме офицеров, то это самый центр современного города, а тогда самый населенный городской район. По всей вероятности, умерших в госпиталях складывали в специально отведенных помещениях. Очевидцы вспоминали, что умерших советских солдат хоронили в длинных глубоких рвах. Их старались привозить ночью, на телегах. Сначала скидывали в беспорядке, но потом, видимо, об этом узнало местное население. Щадя чувства женщин, стариков и детей, чьи мужья, сыновья и отцы воевали на фронте, захоронения стали производить более цивилизованно. Однако гробов, торжественных церемоний тогда не было. Это было объяснимо, наверное, в сложных военных условиях. И все равно с этим трудно смириться. Если живые в нашей стране были винтиками, то мертвые и вовсе ненужная головная боль. Действия официальных лиц может оправдать только тот факт, что фронт подошел слишком близко.

Уже вскоре после окончания войны, в 1946 году, было решено отметить место захоронения солдат и офицеров памятником. 15 марта 1946 года была утверждена смета на сооружение памятника и благоустройство территории братских могил в северо-восточной части кладбища. Однако даже на скромный памятник у города не было средств. Предполагалось сделать обелиск деревянным, что удешевляло его сооружение, или передать изготовление одному из владимирских предприятий. Было принято еще несколько решений горисполкома о благоустройстве братского воинского кладбища. Известно, что в этом принимали участие комсомольцы города, солдаты гарнизона и даже заключенные владимирской тюрьмы. При подготовке к празднованию 20-летия со дня Победы горисполком принял решение о восстановлении разрушенной ограды воинского кладбища, предлагалось «оборудовать воинское кладбище в соответствии с проектом». Какой проект имелся в виду, из документа неясно. И лишь в 1972 году наконец вышло постановление благоустроить кладбище «в соответствии с рекомендациями градостроительного совета при управлении главного архитектора города Владимира». На проектирование и сооружение Мемориала братского воинского кладбища было потрачено три года. Его торжественное открытие состоялось 9 мая 1975 года.

Казалось, все сделано правильно, но я думаю, что самым приемлемым был бы первый проект с каменным обелиском. Созданный почти 30 лет спустя после Победы, новый проект не учитывал расположение захоронений. Получалось, проект сам по себе, а захоронения сами по себе. И чтобы эти две величины совпали, понадобились перезахоронения и братских могил, и ранее умерших мирных граждан. Кому это было надо: живым или мертвым? Скорее живым, но не для памяти сердца, а для помпезных отчетов. Выбитые имена на мемориальных плитах содержат много ошибок. Современные исследования показали, что сре-

ди похороненных в братских могилах есть и жители владимирского края. Самое страшное, что трое из них вплоть до начала XXI века считались без вести пропавшими. То есть родные и близкие возможно так и не узнали ничего о своих родных и попали под категорию лиц «родственники изменников Родины». Сталинская государственная система всегда предполагала худшее, а именно — плен, измену. Если бы каждого умершего в госпитале хоронили индивидуально и ставили на могилу хотя бы табличку с именем и номером, то потерять память о человеке было бы практически невозможно. Имя само по себе уже гарантировало бы память. Номер могилы дублировался в книге регистрации кладбища. Если даже бы деревянная дощечка потерялась, то по номеру в книге можно было бы найти место захоронения. Тогда в стране было бы меньше детей, отцы которых пропали без вести. Они, во-первых, не чувствовали бы себя детьми изменников Родины и, во-вторых, получали пособие за отца, который сложил голову за свободу Отечества.

Этим умершим от ран бойцам уже ничего не надо, кроме памяти, которая делает и нас более человечными и цивилизованными. Не покорными исполнителями приказов системы, а демократичными людьми со своей точкой зрения.

… И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
Но она — спасена.

Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас,

Нам свои боевые
Не носить ордена,
Вам — все это, живые,
Нам — отрада одна:

Что не даром боролись
Мы за Родину-Мать.
Пусть не слышен наш голос-
Вы должны его знать…

Александр Твардовский

Так уж сложилось, что город Владимир узнал и еще одну категорию лиц, для которых бой уже кончился. Это военнопленные немцы. Первые колонны пленных начинают поступать в город уже в декабре 1941 года. Местом их пребывания становится лагерь в пригороде. «Основная масса военнопленных находилась в лагере № 190. В его составе было открыто 32 лаготделения при заводах, торфоразработках, на лесоповале, на строительстве — там, где не хватало мужчин, призванных на фронт. За все годы через этот лагерь прошло 34 тысячи военноп-

ленных всех национальностей, в 1946 году численность заключенных лагеря № 190 составляла 10 тысяч человек. Во Владимире было четыре лаготделения. Находившиеся в них пленные работали на благоустройстве города, строили жилые дома, работали на строительстве здания управления внутренних дел, на кирпичном заводе. Самым крупным строительным объектом стал тракторный завод, где пленные сначала работали на возведении корпусов, а после пуска — рабочими в цехах и на конвейере. На этой огромной стройке немецкие пленные работали вместе с нашими рабочими, которые также жили в бараках, да и сами эти бараки находились по соседству с лагерной зоной»[1]. Где-то здесь, по воспоминаниям и предположениям очевидцев, лежат и они в пренебрежении и безвестности. Парадокс состоит в том, что это теперь та самая улица Мира, где расположена моя школа.

Территория лагеря была обнесена проволокой, но условия содержания не были очень строгими. Пленных водили строем на строительные работы, а в другое время они относительно свободно передвигались по городу. В памяти владимирцев осталось, как многие из них приходили к домам и просили поесть. Сами владимирцы в годы войны жили очень голодно, но все в один голос говорят, что выносили кто что мог: картошину, свеклу, какое-то печиво, которое наполовину состояло из травы и других примесей.

Юлия Николаевна Шамырева очень хорошо помнит, что к ним в дом периодически приходил один и тот же немец. Он практически не говорил по-русски, но, вероятно, понимал, как тяжело живется женщинам в этом доме, и откровенно еды не просил, но на своем языке пытался рассказать о своей семье и всегда показывал фотографию. Мама Юлии Николаевны его выслушивала и старалась чем-нибудь накормить. Так поступали многие жители города и пригородов. Жительница города Владимира Маргарита Ивановна Чурсина вспоминает один эпизод. Чтобы не умереть с голоду, детвора собирала съедобную траву. «Помню, бабушка сказала, как первая крапива пошла: „Все, девчонки, теперь не помрем“. Бабушка давала мне корзинку, ножницы, и я шла за крапивой. В то же время на этой горе лазали пленные немцы. Их было очень много. Видимо, варили они крапиву или еще что-то из нее делали, как и мы. Они все ужасно выглядели — плохо одетые, с обмотанными тряпками ногами. Смотреть на них было страшно… Я шла и думала, что они, наверное, уже всю крапиву собрали. Но потом нашла нетронутое место. Они тут же отошли от меня на солидное расстояние. Причем никто ими не командовал, просто они этот участок как бы мне оставили».

В голодном городе голодали и военнопленные, поэтому и побирались по домам. Но даже голодные, они продолжали добросовестно трудиться. Построенные ими дома тогда считались самыми удобными и красивыми. Их руками возведен Тракторный завод. Одного не помнят жители города Владимира: где и как хоронили военнопленных. Если учесть, что труд был тяжел физически, а пищи было мало, то смертность в лагере не могла не быть высокой. Многие высказывают предположение, что хоронили их там, где они работали. Другая версия: в оврагах на пустоши, теперь это территория университетского городка, даже в карьере, где позднее был возведен памятник В. И. Ленину. Т. В. Малышева сви-

детельствует: «Местная жительница вспоминала, что где-то в северо-восточной части кладбища в самом углу было отведено место под захоронения умерших немцев, но в настоящее время оно утрачено. Удивительно, что почитаемые за подвиг советские солдаты и немилосердно забытые немецкие географически лежат очень близко друг к другу на территории кладбища».

Война — это всегда ужасно. Это кровь, слезы, утраты, горе человеческое. Самое страшное, что она разделяет людей на своих и чужих, на друзей и врагов. В такой ситуации очень трудно остаться человеком, мудрым и гуманным. Особенно если в руках похоронка, если голодает и мучается собственный беззащитный ребенок. Однако история Великой Отечественной войны знает поразительные примеры сострадания и сочувствия к поверженному врагу. Русские женщины подкармливали немецких военнопленных, врачи оказывали им медицинскую помощь.

С тех пор прошло 60 лет. Сегодня я наблюдаю, как свадебные кортежи подъезжают к Вечному огню. Эта картина стала привычной. Захотелось разобраться — почему? В православной христианской традиции было принято обязательно приходить в день венчания к могиле того родителя, который умер, не дожил до радостного дня. Когда после войны сотни отцовских могил оказались разбросаны по русской земле и за границей, именно братские захоронения стали тем местом, где можно отдать дань памяти.

Примечания

[1] *Витманн Ф.* Роза для Тамары: Память о плене. Владимир, 2002. С. 118.

любой ценой

Москва слезам не верит
Воспоминания москвичей о городе в годы войны

Ацамаз Гагиев, Максим Ротермель, Андрей Ряшко
Москва, 10-й класс, научный руководитель А. В. Воронина

До начала 1990-х годов внимание исследователей было сосредоточено в основном на самой Московской битве. Повседневная жизнь города, как и вообще тыл, была на втором плане. Информация о реалиях жизни тех лет была закрытой темой. Мы уверены, что и сегодня имеем не совсем правильное представление о том, что же было на самом деле. Память каждого сохраняет свое, потому что у каждого была своя война, свои обстоятельства, свой кругозор. Очень много лет, даже зачастую десятилетий, так усердно рассказывали о войне в духе победных реляций, что сегодня даже ветераны не могут говорить другим языком. Они просто не помнят того, о чем раньше говорить было небезопасно. Они так долго это никому не рассказывали, что уже и забыли. Даже сегодня услышать правду нелегко. Правда для большинства людей того поколения одна: мы победили. Победили, потому что все было правильно. А все разговоры о неправильном — это очернение истории и осквернение памяти павших.

Если о человеке на войне уже немало написано, снято, то о том, что и как было в тылу, известно намного меньше. Вот об этом мы и постарались написать нашу работу, опираясь на мемуары, документы и воспоминания тех людей, которые еще могут рассказать о пережитом. Мы, наверное, последнее поколение, которое еще может поговорить с живыми участниками тех событий. Поэтому надо торопиться.

Наша работа посвящена Москве, которая уже летом 1941 года фактически стала прифронтовым городом. Более того, при всякой возможности мы старались собрать материалы о родной для нас Преображенке и прилегающих районах.

Что чувствовали, как выживали обыкновенные, невоенные люди? Как отражались на них трагические события начального периода войны? Как воспринимались ими официальные сводки и вообще сталинская пропаганда в целом? Смогли ли они по-новому оценить и понять предвоенную эпоху?

Даже спустя 60 лет мы не можем избавиться от мифов в нашем сознании, ведь та война — наша последняя святыня. Рухнет она, что же останется? Останется истина. А писавшие свои дневники много десятилетий назад москвичи не всегда даже и догадывались о ней. Но внутренняя честность, просто наблюдательность водила их пером, и поэтому сегодня эти дневники и воспоминания — это наш путь к истине.

В нашей работе мы использовали дневники военного периода Н. К. Вержбицкого, которые хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства (Ф. 2560. Оп. 3. Д. 15).

Николай Константинович Вержбицкий (1889–1973), член Союза писателей и Союза журналистов, прожил долгую жизнь — 84 года. Родился 6 декабря 1889 года (следовательно, в войну ему было 52–56 лет) в Петербурге, на Шпалерной улице, хотя родители его были из крестьян-бедняков, как он уверяет в своей автобиографии. Мать — из Тихвинского уезда, отец — из Мядельского уезда Белоруссии. Мать была прислугой, отец служил в Преображенском полку фельдшером. Николай остался сиротой в четыре года, но в его судьбе принял горячее участие столовавшийся у них студент Военно-медицинской академии, донской казак. Он устроил мальчика в прогимназию под Варшавой. Позже в Петербурге с помощью жены брата он попал уже в классическую гимназию № 11. Там он вступил в подпольный кружок. В марте 1906 года накануне выпуска его все же исключили из гимназии с «волчьим билетом». Это лишило его права учиться дальше. Вержбицкий очень рано стал печататься в левых газетах.

С 1911 года он был сотрудником знаменитого «Сатирикона» у А. Аверченко, в 1913 году — редактором журнала «Жизнь» в Москве, потом два года санитаром на фронтах Первой мировой войны. В 1916 году вернулся в Москву. Здесь и застала его революция. В тот период Вержбицкий был редактором частной газеты «Газета для всех».

«В декабре 1918 года по личному распоряжению Ленина был отправлен на Волгу, в район кулацких восстаний и помогал укреплению парторганизаций», — пишет он. В 1919 году работал в созданном по распоряжению вождя агитационном поезде ВЦИК во главе с Калининым. Ленин на всю жизнь остался для него великим авторитетом. Кроме всего прочего, было очень лестно, что сам Ильич звонил ему по прямому проводу, а в 1919 году лично принял.

В 1921 году вернулся в Москву, участвовал в организации кооперативного издательства «Московский рабочий», сотрудничал в «Крокодиле». Работал до 1937 года в информотделе «Известий». Что случилось после 1937 года, мы не выясняли. Сам он этого в автобиографии не пишет. Зато упоминает, что в 1941 году пошел добровольцем на фронт, но уже осенью из-за двусторонней грыжи был отправлен в тыл. Пропал и дневник № 1, который он вел с начала войны. В войну он потерял сына (расстрелян как изменник родины), жену (сошла с ума от горя), женился второй раз на Эдде Семеновне Медведовской.

Вообще начало его карьеры было столь блистательно, что можно подозревать какой-то крах, потому что в годы войны этот нестарый мужчина, в расцвете творческих сил, был никому не нужен, он не печатался в газетах, рисовал коврики, работал плотником в домоуправлении. Только в 1944 году стал получать продуктовую карточку как писатель, хотя состоял в горкоме писательской организации. То, что он был «не у дел», очевидно. Почему — мы сказать не можем. Но эта заброшенность человека, некогда встречавшегося и работавшего с первыми лицами государства, отложила свой отпечаток на характер и оценки автора.

После войны выступал с докладами и литературными воспоминаниями, был лектором Бюро пропаганды при Союзе писателей. Центральная пресса («Правда»)

даже отметила его 80-летний юбилей, опубликовав статью 9 января 1969 года. За свою долгую жизнь опубликовал более 500 рассказов, очерков, статей, фельетонов, 14 отдельных книг, в том числе об Армении, Грузии, Куприне, Есенине, которых знал лично, воспоминания о своей журналистской работе.

Но, вероятно, самое главное из его литературного наследия — это его дневник. Имеем ли мы право судить его автора? Нет. Но мы и не судим. Мы анализируем. Вержбицкий, безусловно, далек от наших представлений о хорошем человеке. Но он писал очень подробно, много подробнее других. В его дневнике много конкретных фактов.

При чтении этого дневника не покидает чувство, что от этих маленьких серых страничек веет сильным холодом. Автор не сопереживает, не сочувствует: он осуждает, рассуждает, описывает, как описывает ученый-биолог; выносит диагноз, как врач; рассуждает, как политик. Судя по некоторым фактам его биографии, которые попали на страницы дневника, по записям его второй жены, это был очень эгоистичный человек, очень высокого мнения о себе и своих способностях, человек, который выше всего ставил свое здоровье, свой раз и навсегда заведенный распорядок жизни. Неизвестно, умел ли он вообще сострадать. 27 октября 1941 года он с удивлением записал в дневнике: «Впервые по-настоящему ощутил, что я не наблюдаю, а участвую». Вот такие записки «наблюдателя» стали той канвой, на основании которой строился наш рассказ о жизни военной Москвы.

Со временем Вержбицкий, вероятно, стал всерьез считать свой дневник документом большой исторической важности. Во всяком случае явно рассказывал о нем другим людям, потому что встречаются записи о том, что его знакомые просят упомянуть о них на страницах этого исторического документа.

Мы также записали воспоминания старожила Преображенки Лидии Никитичны Комаровой, которая в детстве жила в Колодезном переулке, и устные рассказы Надежды Акимовны Растянниковой, проживавшей во время войны в доме № 24 по Преображенскому валу. Семьи этих женщин принадлежали к бедному фабричному населению района. В семье Растянниковых работал только отец (кстати, он был единственным и последним мужчиной-ткачом на фабрике «Красная заря»), у Комаровой отец рано умер, а мать работала уборщицей и воспитывала троих детей. Неудивительно, что воспоминания этих женщин сильно отличаются от того, что чувствовал и как жил обеспеченный журналист Н. К. Вержбицкий, хотя и обитали они буквально бок о бок. Кроме того, они мало задумывались над историческим смыслом происходящего. Голод и холод, страдания — вот что наполняет их воспоминания.

Тамара Андреевна Рудковская давно дружит с нашим музеем. Она автор многих опубликованных воспоминаний, хороший рассказчик. Ее детство прошло также на Преображенке, в доме № 17 по Преображенскому валу. Тогда в национализированных корпусах бывшего старообрядческого монастыря были уже коммунальные квартиры. Ее отец возглавлял созданную им спортивную организацию «Рыболов-спортсмен».

Впрочем, таких обеспеченных семей, как ее, на Преображенке тогда было немало, тем более что это был очень многонациональный район деревянных частных домиков. Многие здесь были кустарями-одиночками или работали в маленьких кооперативах. Вообще Преображенка была особым островком, прошлое не спешило отсюда уходить.

ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

Почему немцы выбрали для нападения самую короткую ночь в году? — В хорошее лето в эту ночь почти не темнеет.

В 1940 году Тамара Рудковская окончила школу и училась в Рыбном институте на ихтиологическом факультете. В это лето подрабатывала в детском саду, где заведующей была ее тетя. Детсад выехал на лето за город. В воскресенье отпросилась домой. На трамвайной остановке услышала страшные слова из громкоговорителя. Запомнились возгласы осуждения: зря, мол, Сталин поверил Гитлеру. Об этом же говорил еще до войны ее отец. В целом народ не принял и осуждал пакт, что вполне понятно. Тамара помнит полную свою растерянность в то утро, но ее, как и многих, не покидало чувство, что война будет где-то далеко, как финская. Тамара осталась в Москве, их семья решила не эвакуироваться. Так и получилось, что именно она записала и рассказала то, что помнила, о военной Преображенке, о своем дворе. Тамара заявила отцу, что немедленно уходит на фронт. Отец, бывший комиссар времен Гражданской войны, высказался резко против. Они поссорились. Уже на следующий день девушка отправилась в райком, который находился в Сокольниках. Весь первый этаж заполняла большая толпа молодежи, было много и девушек. Дежурный каждого вызывал по одному, очередь стояла даже на улице. Пожилой мужчина в форме твердо сказал: «Я твоего заявления не видел, порви. На фронт я тебя не пущу, родину можно защищать и здесь».

Записи Вержбицкого не случайно начинаются с трагического дня 16 октября: автор еще не знал всего, что случится в этот день, но уже ощутил, что ситуация критическая. Поэтому он не только как историк, но и как писатель подробно фиксирует все, что так или иначе характеризует события и обстановку того дня, даже казалось бы самые обыденные вещи: грязную, в репьях лошадь у телефонной будки, трогательное прощание на остановке красноармейца с женой, засыпанную сеном и навозом неубранную Преображенскую улицу. Защитники столицы в тот день выглядели очень угнетенно: по улицам шагали «разношерстные красноармейцы с темными лицами, с глазами, в которых усталость и недоумение. Кажется, им неизвестна цель, к которой они направляются. У магазинов — огромные очереди, в магазинах сперто и сплошной бабий крик». Выдавали по всем талонам за весь месяц, красноармейцам по одной буханке вне очереди: это была цена близкой смерти. Видимо, торопились успеть: что будет дальше, никто в тот день в Москве не знал. Метро не работало с утра. Трамваи еле двигались. От Калужской заставы до Преображенки ехали по 3–4 часа. Беспрерывно громыхали зенитки. Тревоги никто не объявлял, и никто не обращал внимания на взрывы: все были заняты хлебом насущным. По улицам тянулись грузовики

с эвакуируемыми: тюки, чемоданы, закутанные в платки люди. Они не знали, что многие из них лишаются родного московского крова навсегда: им не позволят вернуться в столицу. Страх гнал людей на вокзалы. Там уже не продавали билеты, а людское море было страшно.

Кто-то на улицах уже возмущался тем, что ничего не объявляется по радио: вокруг явно происходило что-то необычное. Даже расчет с рабочими за месяц вперед говорил сам за себя. Если сейчас спросить напрямую о том, что думал и чувствовал конкретный человек в те дни, редко можно получить откровенный ответ: «Мы верили… Я не помню уже, но немец так лез на Москву…» и т.д. Однако один очень характерный эпизод мы услышали от Н. А. Растянниковой. Она, тогда еще девочка-первоклассница, жительница дома № 24, среди деревянных домиков Преображенки, казавшегося каменным великаном, с тоской и состраданием наблюдала, как быстро все окрестные помойки заполняются портретами Ленина. Они были разбросаны повсюду около этих мусорных ящиков. И девочке было очень жалко несчастного «дедушку Ленина», о котором она уже успела выучить несколько стихотворений в школе. А вот портретов Сталина она не помнит на помойке ни одного. Это она утверждает. Факт очень интересный с психологической точки зрения. На наш взгляд, он говорит о том, что, во-первых, многие все же оценивали ситуацию прямо как критическую и откровенно предполагали сдачу Москвы: поэтому на всякий случай от портретов вождя революции избавлялись. Видимо, авторитет Ленина к тому периоду был не так уж и велик: его легко отправляли на помойку. А вот со Сталиным дело было труднее. Даже смертельная опасность не могла заставить людей выбросить его портрет, тем более так откровенно — на помойку: с одной стороны, соседи могли опередить в своей расторопности немцев, а во-вторых, нам кажется, это был просто патологический страх перед вождем, даже в «бумажном варианте».

На всех подъездах сняли и уничтожили списки жильцов. Эта мера, вероятно, также была сделана на случай возможной оккупации Москвы. Кто-то боялся за свои фамилии, кого-то по ним могли разыскивать.

По-разному и с разной степенью достоверности и осведомленности вспоминают об этом дне люди, но все повторяют заученное слово «паника». Безусловно, нам спустя столько времени трудно оценивать эти события. Но все же не совсем понятно, что же собственно происходило в тот день в Москве (не беря в расчет события на фронте). Людям объявили, что предприятия прекращают работать, что выдают деньги. Естественно стремление жителей закупить как можно больше продуктов в преддверии надвигающейся оккупации. Естественно и желание уехать, убежать, а что они должны были делать — сидеть и тихо ждать, наблюдать, что произойдет дальше? Люди спешно старались завершить то, что было в их силах до того, как наступит это неизвестное «завтра». Если же говорить о провокации, то с чьей стороны? И неужели даже по сводкам не было ясно, что положение вокруг Москвы критическое и никто не может ручаться за то, чем обернется завтра? Не говоря о том, что этот день вообще еще очень загадочен и многие его события необъяснимы, в том числе и остановка немцев у границы города. Ответы на эти вопросы все равно найдутся рано или поздно — обратимся

просто к здравому смыслу тех, кто жил тогда в Москве. Только чудо могло тогда спасти город. Почему-то все, кто остался в городе, стали искренне делать вид, что не понимают, что это было за помутнение сознания и что это все вдруг бросились бежать, ведь вроде ничего особенного не произошло, даже и не могло произойти. И кстати, некоторые в таком духе притворяются и до сегодняшнего дня.

Через три дня после «паники» Вержбицкий записал в дневнике: «16 октября войдет позорнейшей датой, датой трусости, растерянности и предательства в истории Москвы. И кто навязал нам эту дату? Этот позор? Люди, которые первыми трубили о героизме, несгибаемости, долге, чести. Опозорено шоссе Энтузиастов, по которому неслись в тот день на восток автомобили вчерашних „энтузиастов“ (на словах), груженые никелированными кроватями, коврами, чемоданами, шкафами и жирным мясом хозяев этого барахла».

Тогда в середине октября 1941 года весь гнев москвичей вылился против «бросающих свои посты шкурников». «Но почему правительство не опубликует их имена, не предаст гласному суду?»

О бегстве партийного руководства, о хищениях говорили много и громко: народ надо было успокоить принятыми мерами. Их приняли, а как и кто ответил, это уже вопрос совсем другой. «Все ломают голову над причинами паники, возникшей накануне. Кто властный издал приказ о закрытии заводов, о расчете с заводов, кто автор всего этого кавардака, повального бегства, хищения, смятения в умах. Кругом кричат, громко говорят о предательстве, о том, что „капитаны первые бежали с корабля“ да еще прихватили с собой ценности. Слышны разговоры, за которые три дня назад привлекали бы к трибуналу».

Да, люди заговорили, впервые за много лет открыто стали возмущаться на улице, просто чтобы наконец выговориться, как потом много лет в пустоту возмущались в бесконечных очередях. А тогда накопившееся в душе выплескивали в виде привычных «предательство, паника». Но, возможно, это была просто спешно объявленная эвакуация, в которой уже через два дня было стыдно и ненужно сознаваться.

Сын Вержбицкого Валя сообщил, что их завод был минирован, директор товарищ Муха «улетел с головкой. Расчет производился вне завода. Жгли чертежи. В результате на заводе имени Маленкова, где делают части танков, висит замок». «В продмаге на стене объявление: „Тов. косширши! За вами числится 2699 руб. 93 коп. Предлагаем явиться в трехдневный срок и представить отчет…“ Так ищут дезертиров-грабителей», — пишет возмущенный автор дневника. Как всегда виноваты стрелочники.

Рудковская к этому времени уже работала на Буженинской улице, на заводе, который до войны был гравировальным цехом и изготовлял галантерейную продукцию: пудреницы, портсигары. Теперь здесь собирали гранаты РГД-3. Ее работа заключалась в проверке соответствия шаблону — иначе грозила беда самому бойцу.

16 октября 1941 года начало смены на заводе — шесть утра. В этот день в цехах что-то странное. Станки не включены, рабочие тревожно шептались. Ждали директора, был приказ работу без него не начинать. Он пришел часа через полтора после долгого ночного совещания в райкоме, объявил, что завод эвакуируется, немцы в 20 км о города. Уходить можно по свободному пока шоссе Энтузиастов. Всем выдали трехмесячную зарплату. На заводе остались только коммунисты и комсомольцы, вероятно, для особого задания или готовили эвакуацию оборудования. Когда 17 октября А. С. Щербаков по радио призвал всех вернуться на свои рабочие места, она вернулась. И до сих пор в душе считает все это недоразумением, возникшим из-за паникеров, хапуг и трусов. Ни тогда, ни теперь она не может поверить в то, что Москву могли сдать, собирались сдать, что это было вполне конкретно, об этом приняли решение на том ночном совещании в верхах и поэтому предложили всем уходить из города, а не просто так все побежали. Просто сам факт сдачи Москвы, особенно после стольких лет всевозможных юбилеев, кажется столь кощунственным, что другого объяснения, как паника, почему-то к этому дню не находят. Не паника, а просто массовое бегство вследствие наспех отданного приказа.

В октябре 1941 года Москва стала настоящим прифронтовым городом. Линия фронта была в получасе езды на автомобиле. Все товарные станции были забиты составами и промышленным оборудованием — не успевали вывозить. Торопились уехать и жители. На станциях и подъездных путях — ящики с картинами и скульптурой, музейными ценностями. Ночами в небо поднимались сотни огромных огурцов — аэростатов воздушного заграждения. 5 октября — может быть, самый опасный день в боях за Москву. Начальника Московского областного УНКВД Журавлева вызвали в приемную первого секретаря Московского горкома и обкома партии Щербакова. Его кабинет находился на Старой площади. Все стены в кабинете были увешаны военными картами. После заседания ГКО сам он был очень встревожен: приняли решение начать подготовку к переводу на нелегальное положение групп московских партработников. Щербаков отдал распоряжение отобрать людей для нелегальной работы — на добровольном основании. Все родственники и близкие будущих нелегалов эвакуировались далеко из Москвы. Это было главным условием. Среди желающих оказалось немало женщин из московских райкомов. Спецлаборатории НКВД готовили фальшивые документы. Готовился органами и список объектов, «в отношении которых следует принять особые меры в случае возникновения критической ситуации». Таких объектов было насчитано более тысячи. 12 мостов, автобазы, Гознак, телеграф, ТАСС — все было обречено. Трудно себе представить, какие культурные и исторические потери понес бы наш город. Ликвидация предполагалась путем взрыва или поджога. Для этого были сформированы особые группы, привлекали специалистов по минированию. 20 тонн, то есть 20 тысяч кг, взрывчатки было приготовлено для Москвы. Комиссия по проведению «спецмероприятий» состояла из пяти человек, от НКВД СССР в нее входил И. А. Серов, от Московского НКВД — М. Журавлев, а также представители партии и наркомата обороны. Все эти мероприятия должны были проходить под личным контролем Журавлева. Он своим распоряжением от 20 октября 1941 года всем начальникам райотделов НКВД приказал «обеспечить проведение спецмероприятий».

19 октября 1941 года было опубликовано Постановление ГКО о введении в Москве и прилегающих районах *осадного положения*. «Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах западнее столицы поручена командующему Западным фронтом генералу т. Жукову, а на начальника гарнизона Москвы генерал-лейтенанта Артемьева возложена оборона Москвы на ее подступах… ГКО постановляет: с 20 октября ввести в Москве и прилегающих районах осадное положение. Воспретить всякое уличное движение как отдельных лиц, так и транспорта с 12 ночи до 5 утра… Нарушителей порядка немедленно привлекать к ответственности с передачей суду Военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте».

Неужели город устоит? Странно, что устоял.

Панические разговоры поутихли через дней десять, но, судя по записям в дневнике, продолжались так или иначе почти всю зиму 1941 года. «30 октября. Домоуправление, секретарша: „А все-таки немцы сильный, организованный народ, умеет воевать, работать, любит порядок. Наверное, зарплату выдают у них вовремя“».

Если бы не эти свидетельства очевидца, просто невозможно было бы себе представить, что москвичи, только что пережившие страшную опасность возможной оккупации и гибели Москвы (или они не предполагали, чем кончится дело?), могут так спокойно ставить на чашу весов рядом свободу и независимость своей родины и своевременную выдачу зарплаты. Безусловно, это говорит о том, что тогда не были известны зверства фашистов, люди слабо представляли себе, с чем им пришлось столкнуться, и главное, не так уж патриотично были настроены. Это сегодня, когда забылось многое из того, что помнить не хочется, осталась в памяти одна своевременная выдача зарплаты, это сейчас пенсионеры кричат о счастливом прошлом. А в конце октября 1941 года баба с мясорубкой в руке во дворе Колодезного переулка кричала другое: «На что мы страдаем? Пусть бы коммунисты дрались с фашистами за свои программы, а мы-то при чем?»

В городе 16 октября практически прекратилась жизнь учреждений. В сберкассах во мраке готовились к сожжению документов, в некоторых наркоматах (Вержбицкий посетил Наркомфин) никого не было. В полутемном ГУМе «купил три кило свеклы. О радость!» На родной Преображенке у мясомагазина увидел, как работники магазина тащили домой окорока. На фабрике им. Щербакова работники били директора, который пытался удрать с имуществом на автомобиле.

Даже неделю спустя, 23 октября, Вержбицкий в дневнике отмечал, что с неба «падает черный снег. Это остатки документов, сожженных в печах центрального отопления. Маленькие черные бабочки».

Из дневника Вержбицкого. «19 октября. Опять обман, опять прикрывательство. А сейчас мне сообщили, что у Абельмановской заставы толпа сама стала задерживать бегущих и выволакивать их из машин». Обратим внимание на то, что еще и 19 октября продолжалось бегство из Москвы. Поэтому «панику» нельзя ограничивать только датой 16 октября.

Сами Вержбицкие решили несмотря ни что остаться в Москве. Налеты фашистской авиации следовали один за другим. Кроме скупых сводок в газетах, отсутствовала всякая печатная информация, неизвестны были и постановления Моссовета, если они вообще были. Два дня не вывешивалась на улицах «Правда». Никаких сообщений или заявлений ни от ЦК партии, ни от Коминтерна не было вообще с начала войны.

Через 10–12 дней в Москве стали исчезать последствия несостоявшегося бегства. «28 октября. На улице стало чиннее, спокойней, чище… Тон в разговорах уравновешенней».

7 ноября 1941 года. «Невеселый праздник. По улице идет „демонстрация“ — две сотни женщин и мужчин, подтянутые поясами с лопатами и ломами на плечах. Холодно, ветер, падает тяжелый снег. Огромные очереди за картошкой и хлебом. Радио все утро хрипело и срывалось. Говорят, что это немцы „сбивают волну“… В параде на Красной площади участвовало несколько сот танков. Это очень успокоило москвичей. Хотя некоторые говорят: „Зачем они парадируют около Кремля, им нужно быть на фронте!“ Сталин сказал, что война продлится еще несколько месяцев, полгода, а может быть, и „годик“».

БОМБЕЖКИ

К 17 января 1942 года в Москве было развернуты 54 боевые позиции ПВО в пределах Садового кольца[1]. «Москва стала прифронтовым городом гораздо раньше, чем фашисты подошли к ее стенам, — со времени первого вражеского налета. А возьмем хотя бы налет в ночь на 10 октября. Налетело 70 вражеских самолетов, бомбы попали в Большой театр, Курский вокзал, Центральный телеграф. Разрушено было 50 жилых домов, убито 150 человек, ранено более пятисот. А всего таких налетов было 122… Москва стала не только кладбищем изрядной доли германской авиации, но и могилой тысяч мирных жителей фронтового города»[2].

Население вело себя самоотверженно. Рыли водоемы, заготавливали бочки с водой. С ведрами, корзинами, мешками, все таскали песок на чердаки, в подвалы, на лестничные клетки, к подъездам. Кстати, подъезды всех каменных домов постарались быстро засыпать плотно песком, чтобы дома к тому же и устояли. Для укрытия людей делались землянки, щели, бомбоубежища. Но в ряде районов эта работа была крайне плохо организована. Щели рыли без спусков и креплений — хоть прыгай вниз полтора метра. Не хватало лопат, и пришедшие после работы люди просто стояли и курили, не находя начальство.

Двенадцатого числа был издан приказ об обязательном привлечении всего работоспособного населения города к устройству траншей, расчистке дворов от заборов и сараев, чердаков от мусора и т.п. — до трех часов в день, а неработающее население — до восьми часов в сутки. Освобождались только беременные и кормящие женщины, врачи и больные. За отказ от подобных работ полагался штраф от 100 до 300 рублей (порядка средней зарплаты).

На Преображенке сохранилось немало бомбоубежищ. С помощью местных жителей мы смогли их разыскать их остатки. Сохранились они в основном в доме № 24 по Преображенскому валу, за ним на большой поляне, до сих пор незастроенной, и в некоторых домах по Щербаковской улице. Люди, как правило, хорошо помнят о бомбоубежищах и показывают их. Молодежь не особенно обращает внимание на эти отдушины, торчащие посредине дворов, а прежние входы принимает за входы в подвалы. В некоторых случаях это действительно так. Двери в эти бомбоубежища — подвалы — не всегда закрыты, поэтому нам удалось побывать в некоторых из них.

Сначала в городе было несколько видов бомбоубежищ: переоборудованные подвалы домов, специально оборудованные подземелья, землянки окопного типа и так называемые щели-траншеи, в которые можно было быстро спуститься (предназначались они в основном для прохожих). В середине августа щели отменили, так как они оказались неприспособленными для длительного пребывания в зимнее время ввиду отсутствия отопления.

Активно использовалось в годы войны и московское метро. Там прятались во время бомбежек, там располагались читальные залы некоторых библиотек, и метро еще всю войну исправно перевозило пассажиров. 21 сентября вышло специальное постановление об использовании метрополитена как бомбоубежища для проживающего вблизи населения. В первую очередь туда пропускали женщин с детьми до 12 лет, потом всех остальных. Почти во всех районах города были созданы комсомольско-пожарные батальоны по 250–300 человек для охраны строек, высотных домов и прочих важных объектов. Но они оказались плохо оснащены, их делами никто не интересовался. Дисциплина была очень низкой — драки, карты. Через пять месяцев их расформировали и заменили постоянными отрядами ПВО.

Бомбежки начались 21 июля, и тогда же — усиленная маскировка города. До этого были видны зарева пожаров, мчались куда-то, свистя, пожарные машины, но в целом город не знал, что такое бомбы. Тревогу не всегда подавали по радио, иногда слабой далекой сиреной.

В целом в городе сильно страдали от бомбежек деревянные дома и бараки. Их было много. Например, половина Преображенки были частные дома. Вдоль Яузы стояли еще и в 1950-е годы бараки, которые заливала река в половодье так, что ребята не могли переправиться в школу на соседний берег. За 21, 22, 23 июля в городе в результате бомбежек без жилья и имущества осталось более шести тысяч человек (особенно в районе Ленинградского, Хорошевского шоссе, Беговой улицы). Людей размещали в школы, общежития, «уплотняли» в дома, пытались наладить материальную помощь, бесплатное питание. Но людей были тысячи, многие остались только в том, что было одето на них. Каково им было жить в физкультурных и актовых залах, классах, где они спали прямо на партах, на полу, на матрасах. Керосинки, скученность, угнетенное, подавленное настроение, кучи разбросанных вещей, плачущие дети. Во многих местах люди не получили никакой помощи. Более сильные вытесняли слабых.

Первый массированный налет на Москву был в ночь на 22 июля, через месяц после начала войны. Бомбили Ярославское шоссе, Ростокино. Там сбросили более 10 000 зажигалок — и всего 55 пожаров, из них 46 потушили сами жители. Отчаянно боролись с зажигалками, это во многом спасло город от пожаров, ведь Москву, как и Ленинград, буквально засыпали тысячами зажигательных снарядов. Эту шипевшую гадость надо было схватить щипцами и бросить вниз — во дворе ждал песок — или опустить в бочку с водой. Дежурили на крышах даже дети. Вообще быстро перестали бояться. Уже 22 июля в Боткинской больнице медперсонал проявил героизм и самоотверженность, спасая больных: буквально под огнем выносили детей из корпусов больницы, где двери и окна выворачивало воздушной волной.

В августе было около 20 налетов, тревог — еще больше. За лето в Москве были разгромлены: несколько больниц, две поликлиники, три детских сада, театр Вахтангова, жилые здания и мелкие предприятия. Убито 736 человек, тяжело ранено 1444, легко — 2069.

Из дневника Вержбицкого. 12 августа сильно бомбили центр города: «Ужасные результаты. Сброшена тонная бомба у памятника Тимирязеву, в Брюсовском переулке, пробит Малый Каменный мост и многое другое».

Всю осень Москву нещадно бомбили. В основном тревоги приходились на ночное время, и люди были лишены возможности хоть немного поспать после тяжелого трудового дня. Из дневника Вержбицкого: «23 октября. Всю ночь сплошная пальба, без тревоги… Просыпаешься, слушаешь со стесненным сердцем и думаешь о нехорошем. Надо бы одеться, пойти в убежище, но на дворе темень, холод, сырость».

Из дневника Вержбицкого. Девочка в больнице говорит: «Я больше всех люблю папу, маму и отбой». «Вчера вечером бомбой разрушено три деревянных дома в Сокольниках около прудов. Ночью стрельба… 7 ноября 1941 года. Бомба упала на университет. Памятник Ломоносову повержен. Провалилась крыша Манежа. Выселяют жителей с Софийской набережной». К середине ноября из разбомбленного Замоскворечья стали переселять в восточные окраины города. Особенно уплотнился район Сокольников. Переселенцам, по словам Вержбицкого, разрешалось брать только узлы, поскольку невозможно найти транспорт.

ПРЕССА

Столкнувшись с этой темой, мы впервые задумались о том, как интересно было бы изучить московскую прессу военного периода.

На прессу в своем дневнике обращает внимание и Вержбицкий, как профессиональный газетчик. Он был ею очень недоволен, но по другим причинам, нежели мы. Тема шпионов и диверсантов его не трогала, вернее, он был уверен в существовании таких скрытых врагов. А вот мы обратили внимание на это в первую очередь. И считаем, что это оказало огромное влияние на сознание

людей того периода. Многие пожилые люди до сих пор с такой уверенностью говорят об этих диверсантах и шпионах, как будто они сами их вылавливали пачками. А таких несчастных, которые пали жертвой инспирированной газетами подозрительности или человеческой злобы и зависти соседей, было много. Даже очень много, если судить по этим газетным публикациям. Страшно было, наверное, выходить на общую коммунальную кухню, где взгляд соседа следил — не проявляете ли вы подозрительный интерес к чему-либо такому эдакому.

В популярной тогда газете «Московский большевик» появилась статья «Сеятель ложных слухов — пособник врага». В ней говорилось, что снисходительность к подобному явлению совершенно нетерпима, но имеются еще политически беспечные люди, по-обывательски относящиеся к своим гражданским обязанностям… Случайно услышав в трамвае, поезде, магазине клеветническое измышление, совершенно не задумываясь над «достоверностью», передают это родным, знакомым, соседям.

Московская пресса осенью 1941 года резко сменила тон, забыв слово «советский» и вовсю напирая на слово «русский». Это, на наш взгляд, было, по крайней мере, некорректно, потому что шла война, объединившая все республики. И Москву-то как раз защищали представители многих национальностей, в первую очередь казахи.

В конце ноября в прессе, в том числе и «Правде», которую читала вся страна, стали настойчиво появляться русофильские мотивы. Впервые за много лет заговорили не о «советском», а о «русском»: «Москва — святой город для каждого русского». На этот счет Вержбицкий заметил: «Взываем к чувству русского патриотизма, когда стало очень тяжело. О нем совсем было забыто в годы относительного благополучия». Видно, не срабатывали «советские» лозунги или в их действенности были так не уверены, что прибегли к испытанному временем варианту: любви к России, которая всегда была многонациональной страной. Впрочем, несомненно, упор делался именно на русское население. Появились подобные настроения и в дневнике Вержбицкого: «Великий русский народ… поражая героизмом своих братьев, говорящих на шестидесяти языках народов СССР…»

10 ноября 1941 года. «По Стромынке идут грузовики с хорошо одетыми, вооруженными, весело поющими людьми. По городу двигаются многочисленные, тепло и хорошо обмундированные бойцы среднего возраста. Настоящая армия, четко маршируют». Т. А. Рудковская вспоминала: «Как мы радовались, когда на улицах появились эти люди в белых полушубках, иногда с лыжами! Они были такие веселые, сильные. Мы так верили, что они отгонят фрицев, что эти сильные люди нас спасут! Чуть не целовали и не кланялись им. И они это чувствовали. Да, сибиряки спасли Москву, они принесли в город веру и надежду».

Запись в дневнике 14 декабря 1941 года: «Жена рассказывает: у них в цеху был митинг по поводу побед. Докладчик завопил возглас: „Да здравствует Красная Армия, ее вождь великий Сталин!“ В ответ раздался только один жидкий неуверенный хлопок (?!) Сравнить восторг рабочих по поводу побед: на Красный

Крест сдавали не по два рубля, а предлагали по пять–десять. Отношение к Красной Армии самое трогательное. Но возглас закончился именем Сталина. Откуда такой холодок?»

Да, видно, тогда были уже не те времена, когда люди падали в обморок от долгих аплодисментов. Расскажи сейчас такое ветерану — не поверит, он помнит другое, потому что *такого* тогда старались не замечать.

ПОГОДА

О погоде Вержбицкий, как истинный москвич, писал коротко, но каждый день. И он не ошибся в своих ожиданиях. Следующая зима была с постоянными оттепелями, в народе ее называли «сиротской». Но зима 1941 года удалась на славу. Это было большое испытание даже для местного населения. Что уж говорить о немцах, ведь в Германии зимой обычно морозов не бывает.

Морозы начались в первой декаде декабря. До этого были заморозки, земля сильно промерзала, но это была все же только холодная осень.

Если проанализировать таблицу погоды на декабрь с того числа, когда Красная Армия перешла в наступление, то окажется, что сильные холода (по российским меркам), то есть свыше 20 градусов, наступили только с 5 декабря (до этого уже с ноября холод держался на уровне –15 — –18 градусов). Продержались они всего несколько дней, ибо уже восьмого числа наступило сильное потепление, градусник не показывал ниже двух градусов мороза. Оттепель продолжалась до тринадцатого числа (шесть дней), после чего — опять мороз в течение двух дней, опять оттепель, и достаточно теплой оставалась погода до конца декабря. Таким образом, те, кто начали решительное наступление в декабре 1941 года на севере от Москвы, сумели очень точно использовать небольшие промежутки сильного мороза, который в декабре никогда подолгу не держался. В январе наступили по-настоящему лютые морозы. В феврале морозы резко отступили. К концу месяца наступили яркие, почти весенние дни с капелью. В начале марта вдруг ударили морозы, налетели метели. 6 марта было до –20 градусов, после небольшого потепления 15 марта «два дня свирепствовала метель с морозами вновь до 20 градусов. Нанесло сугробы. Стояли трамваи. Люди возвращались с работы в эту дьявольскую погоду пешком, делая по 5–10 км».

НЕМЦЫ

«Почему у нас не опубликовывают фамилии убитых? Почему немцы делают это?» Где же взять столько газетных полос для этих списков убитых, да и кто их поименно назовет, да что вообще могло бы случиться после публикации этого чудовищного некролога?

Подмечает автор вместе с остальным народом и то, что у немцев получается, а что нет. Вот уж действительно, что русскому хорошо, то немцу смерть. «Нехитрая вещь — валенок, но немцы не смогли его „освоить“. У некоторых плен-

ных на ногах — „эрзац-валенки“ весом в 3–4 кг на деревянной подошве, на гвоздях, с ремнями. Наш валенок весит полкило, одевается в полсекунды, мягок, тепел, дешев».

В связи с этим мы хотим вспомнить 17 июля 1944 года, когда колонны пленных солдат прошли под конвоем по улицам Москвы.

Тамара Рудковская в этот день собиралась в институт и наткнулась на оцепление вдоль Садового кольца. Стояли солдаты неплотно, через несколько метров друг от друга, с винтовками. Людей вдоль оцепления было немного: рабочий день. Стояли плотностью в несколько человек, но повсюду — насколько хватало глаз. Тамаре показалась вся эта картина страшной. Было ли у нее чувство ненависти? Нет. Но она уверяет, что ее губы все-таки шептали: «Гады и сволочи! Кто вас звал? Сами себя до чего довели… Зачем вы к нам пришли?»

Ночь накануне эти колонны плененных под Сталинградом немцев провели на ипподроме. С той стороны, от зоопарка, их и выводили на Садовое кольцо в сторону Москвы-реки. Тамара оказалась в числе первых, кто видел выходившие в свой скорбный путь колонны. Впереди шел генерал. Он шел совершенно один, впереди всех, строгий, прямой, подтянутый, в очках, с каменным лицом. И никого вокруг не видел. Шел с большим достоинством, как будто вел не тех огородных чучел, в которые были наряжены его солдаты, а настоящее войско. За ним по несколько человек в ряд шли офицеры. Как показалось Тамаре (и не только ей), они с большим любопытством (именно с любопытством) оглядывали все вокруг, город, людей. Дальше шли солдаты. Это было просто ужасно. Худые, оборванные, наряженные в то, что они отнимали у русских, погибая от холода, хотя и было лето: клетчатые бабьи платки, телогрейки, огромные эрзац-валенки. Тамара видела их впервые, хотя и читала о таких. Очень высокие, сплетенные из соломы, с огромными ступнями, просто чудовищно огромные. Их надевали поверх своих сапог. Шли они в таких эрзацах, как паралитики. Даже не шли, а еле ползли. Многие были замотаны какими-то тряпками. И вот такое войско вел человек с каменным лицом. Народ вокруг молчал. Более того — стояла звенящая тишина. Никаких выкриков. Было такое ощущение, что и зрители оцепенели от ужаса. Мимо них шли несчастные люди — тоскливые, безразличные ко всему, отрешенные. Несчастные солдаты, которые расплачиваются за то, что заставили их делать фашисты. И вдруг один из них очнулся. Рядом с Тамарой стояла женщина с маленькой девочкой на руках. Этот немец увидел ребенка, который остро напомнил ему собственную дочь. Он вырвался из ряда, бросился к ней и закричал: «Эльза! Эльза!» Он протягивал к ней руки и плакал… Девочка тоже испугалась и заплакала, женщина тоже и сильнее прижала дочку к себе. Немца оттолкнула охрана, но он долго еще оборачивался и плакал, и протягивал руки…

Об этом же дне нам рассказал и Владимир Константинович Верников, учитель московской школы № 426, который тогда был десятилетним мальчишкой, потерявшим на фронте отца. В его душе была ненависть. Они и кампания его сверстников встречала эту колонну на Таганке. Поскольку шествие нескольких ты-

сяч человек было долгим, они успели несколько раз сбегать на соседние огороды Таганской слободы и набрать там камней, комьев земли и проч. Каждый раз они возвращались и кидали это в немцев. Взрослые не одобряли этого и уговаривали перестать.

Из рассказа другого человека, работника московского ипподрома, фамилию которого мы не знаем (просто дядя Коля), хотелось привести другой пример. Уже в послевоенной Москве немцы, работавшие на стройках города, иногда ходили и побирались по домам. Во всяком случае к ним в дом, а жили они в районе Мещанских улиц, приходили. Отец дяди Коли потерял на фронте руку. Однажды, открыв такому пленному дверь, он поговорил с ним по-немецки (отец хорошо знал язык), потом попросил жену отдать немцу буханку. Немец заплакал и ушел. На вопрос удивленной жены отец объяснил, что, оказывается, они с этим немцем в свое время воевали чуть ли не друг против друга в соседних окопах. А теперь отец спокойно отдал ему буханку — оставшейся рукой…

ЭВАКУИРОВАННЫЕ И БЕЖЕНЦЫ

25 июня, через три дня после начала войны, в Москве было введено военное положение в соответствии с указом Президиума Верховного Совета. Под угрозой наказания по законам военного времени все общественные, культурные и развлекательные учреждения отныне заканчивали свою работу в 22 часа 45 минут. Воспрещалось движение всякого транспорта и пешеходов с 24 до 4-х утра. В Москву воспрещался въезд лицам, не прописанным на постоянное местожительство. Для работающих жителей пригорода вводились спецпропуска. Пункт пятого приказа начальника гарнизона столицы генерал-майора И. Захаркина запрещал фотографирование и киносъемку в пределах Москвы без специального разрешения.

Тем не менее уже летом 1941 года в городе стали появляться эвакуированные из прифронтовой полосы, беженцы, «пленные», как со временем стали они себя называть, побывав в оккупации.

Эвакуация в Москве началась еще летом. Сначала это были дети, потом важные оборонные заводы, потом эвакуация превратилась в бегство. Вскоре начался обратный процесс, потому что в глубинке оказалось еще труднее прожить. Многим не удалось вернуться в родной город никогда.

ЭВАКУАЦИЯ ДЕТЕЙ

В массовом порядке она началась в Москве в июле 1941 года. Эвакопункты создавались при школах. Организаторами на местах в основном выступали комсомольцы. Они помогали в перевозке детей на вокзал, покупали игрушки, воду. В Москве действовало обязательное постановление о детской эвакуации. Молодежь ходила по домам, агитировала родителей, вручала повестки. Таких случаев, как в Ленинграде — отвел ребенка в детский сад, а вечером садик уже уехал с детьми из города, — про Москву мы не слышали. Наверное, здесь не было такой

спешной эвакуации. Многие родители боялись отпускать детей в неизвестность. Так Н. А. Растянникова рассказывала, что ее неграмотный отец, человек простой, деревенский, переехавший в Москву только в 1920-е годы, не верил никаким обещаниям. Поэтому маленькую Надю он просто перестал пускать в школу, чтобы про нее, второклассницу, забыли. Когда стали ходить по квартирам, прятал под кроватью, не разрешал выходить из комнаты, поскольку жили в общей коммунальной квартире. Осенью решили из Москвы бежать к родственникам в деревню, но уехать уже не смогли: на вокзалах было вавилонское столпотворение.

По решению исполкома Моссовета от 17 сентября эвакуированные платили квартплату не более 50% в том случае, если сдали жилплощадь домоуправлению. Если нет, то все 100%.

Однако уже 22 сентября все в корне изменилось: вышло постановление Моссовета «О временном запрещении въезда эвакуированных лиц в Москву вплоть до особого распоряжения». Запрещалась их обратная прописка до особого разрешения. Пункт 4 гласил: «Обязать Моссовет не выдавать продовольственные карточки эвакуированным и самовольно вернувшимся». А это — голодная смерть. Разрешались посылки эвакуированным от родных — белья, обуви, одежды до 8 кг. Что такое 8 кг для человека, который оставил (читай, потерял навеки) все? Неудивительно, что эвакуацию потом все в один голос вспоминали как один долгий кошмар. Многие, наверняка, не предполагали, уезжая впопыхах, что все так обернется. Уехали — приехали. Но не тут-то было. В советской стране уехал — пиши пропало. На многие годы потеря прописки, жилья. Отъезд из города стал для москвича воплощением ужаса и почти конца жизни.

Вержбицкий по поводу эвакуированных знакомых пишет часто. Сами москвичи не сразу после панического 16 октября успокоились. Еще и спустя неделю многие мечтали уйти из Москвы. Кто-то уходил просто в никуда, забросив за плечи мешок с сухарями, другие мечтали уйти хоть пешком, но им мешали обстоятельства.

Из дневника Вержбицкого, 21 ноября 1941 года: «Из Уфы сообщают, что жить там плохо. Башкиры недовольны нашими беженцами. Многие из эвакуированных сумели вернуться и живут без прописки. Милиция и патрули тщательно проверяют документы на улицах и в магазинах, даже у женщин».

22 ноября. «Получил письмо от сестры из Горьковской области. Пишет, плохо».

24 ноября. «Со всех сторон слышится, что наши большевистские колхозники в глуби России не очень-то гостеприимно встречают беженцев. Чуть не забрасывают камнями».

14 июня. «Сестра пишет из деревни, что колхозники их, эвакуированных, ненавидят и презирают».

22 октября. «На Стромынке два несчастных оборванных до невозможности человечка. Закутаны в лохмотья. Можно подумать, что они подбирают на пути каждую рваную, грязную тряпку и накручивают ее на себя. Армяне из-под Еревана. Были в лагере для заключенных под Вязьмой, рыли окопы. Их разбомбили. Остались живы. Никому до них нет дела, добрались до Москвы, два дня не ели. Ищут какого-нибудь армянина».

Вот так, оказывается, обстояли дела с невольно освободившимися заключенными из разбомбленных лагерей: они были обречены на голод, если не голодную смерть. Никому до них не было дела. Сами себе были предоставлены и те, кто бежал из оккупированных районов. Эти люди стали в Москве «распространителями» тех нежеланных слухов, о которых так много писали газеты. Горожане слушали этих людей и не могли поверить в эту ужасную реальность. Немудрено: подобные рассказы и теперь нелегко слушать, и потрясают не только зверства немцев, но и жестокость местного населения. Откуда она, неужели за несколько месяцев оккупации можно до такой степени потерять себя?

8 января. «На улице гуськом беженцы из оккупированной местности. Кое-как одетые крестьяне, ноги укутаны в тряпки, головы — в рваные платки. Глаза испуганы. На вопросы отвечают неохотно».

9 января. «По улице гуськом оборванные крестьяне. Обросшие, дикие, в случайной одежде. Руки — в рукавах. Себя называют „пленные“. Это те, что побывали в оккупации».

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

В анализе московской военной повседневности мы в основном опираемся на дневник Вержбицкого. О быте, ценах, продуктах он сообщает, поскольку это много значило для него самого. Об окружающих людях он писал в основном с раздражением, все они чем-то его не устраивали, особенно молодежь и писательская среда.

Зима 1941 года. В Москве лютовали морозы. В комнате у Тамары Рудковской был собачий холод: спала в пальто и валенках. Огромный аквариум промерз до дна вместе с рыбками. Она вспоминает эпизод со сбором новогодних подарков для фронта. Собирали рабочие с ее завода. Теплые вещи, кисеты с махоркой, письма с пожеланием победы и одна пачка печенья. Работали тогда по 20 часов в сутки: четыре часа на дорогу и сон. Тамаре доверили отвезти подарки на сборный пункт во Всехсвятском. И сегодня по тому же маршруту можно доехать до Останкино. Промерзшие трамваи, холод, сковывающий дыхание. Тамара в огромных кирзовых сапогах с неимоверным количеством портянок, ватные штаны, телогрейка, треух — спецформа завода. Но варежки — из деревенской шерсти с пухом, довоенный подарок бабушки. Ими Тамара особенно дорожила. Более часа тащился трамвай, мечталось хотя бы о кипятке с солью, другого «чая» не было. Печенье в сумке жгло душу. Сначала она отвернула уголок — посмотреть. Потом не удержалась. Уже в длинной и долгой очереди (стояла почти

до вечера) на сборном пункте ее замучила совесть. Конечно, одна пачка печенья на фронте ничего не решала. Но все же… До того стало противно на себя, что во искупление содеянного сорвала Тамара свои пушистые варежки и отдала в подарок «какой-нибудь полевой медсестре».

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

После указа о затемнении города москвичи столкнулись с проблемой темноты. Это было неожиданно, непривычно, вселяло в сердца тревогу и неуверенность. Люди даже натыкались на улицах друг на друга. В конце ноября 1941 года в продаже появились светящиеся в темноте карточки, которые можно было прикрепить к одежде, стоили они 1 рубль 60 копеек.

Тогда же посыпались законы об экономии электроэнергии вместе с налогами на холостяков и бездетных. Были запрещены электропечи. Тем не менее с января 1942 года электричество стало регулярно тухнуть на 2–3 часа в день, его явно не хватало. Некоторые фабрики даже закрывались из-за нехватки. «В продмагах на прилавках нещадно коптят „лампионы“, сделанные из аптечных пузырьков, залитых керосином. Вместо пробки — жестяная бляшка, в ней дырочка, через дырочку продет фитиль-веревочка. А ведь до войны магазины были полны керосиновыми лампами. Куда делись?» (22 января 1942 года)

Уличное освещение возвратилось в город в январе 1944-го.

16 января. «Сегодня ночью загорелись фонари у нас на Стромынке, правда, в полсвета. Но какая это радость! Однако радио требует самого тщательного затемнения в окнах. Штраф от 500 до 1000 рублей. В фарах автомобилей щелки». В середине февраля осветился и родной для автора дневника Колодезный переулок. «13 февраля. Это уже зримый, очевидный и непреложный факт, что война идет к концу. Это убедительнее тысячи газетных строк. И я настроен сверхрадостно!» У самого автора за перерасход энергии отключили свет на два месяца (была и такая мера пресечения) плюс штраф на приличную сумму — в 900 рублей. Наверное, он много писал: «Работаю при коптилке. Уличный фонарик так мило бросает свой жиденький свет в мою комнату. Я шлю ему воздушные поцелуи. Это поймет тот, кто прожил много-много месяцев в полном мраке, кто в этом мраке ощущал всю чудовищность войны, кто набил себе шишек и фонарей… И рядом с этим неистребимое злорадство: 90% Берлина в развалинах…»

ОТОПЛЕНИЕ

Эта проблема стояла еще острее, чем электричества. Если без света хоть как-то можно было обойтись, то холод, как и голод, не тетка. К первой военной зиме в этом отношении подготовиться не успели. Она была не только холодная, но и очень снежная. Уже в декабре сбрасывали снег с крыш. В помощь вымотанным дворникам снаряжали особые бригады жителей. В декабре было издано постановление Моссовета об утеплении помещений, то есть необходимости забивать окна фанерой, чтобы не лопались трубы бездействующего центрального

отопления. Н. А. Растянникова вспоминает, что в их комнате в ту зиму замерзала вода в стаканах. Одеяло, прибитое к окну для светомаскировки, примерзло навсегда. Спали все вместе в одной кровати и в одежде. Маленькая девочка, которую никто не заставлял, сама вставала в этом леднике и собиралась в школу на вечно голодный желудок. В школе каждый день давали булочки. Часто это была единственная пища за сутки. Иногда ее приводила к себе домой подруга Лелька. Мать Лели работала на хлебозаводе, и у них дома всегда была гора буханок хлеба. Все же непонятно, откуда, каким образом можно было так воровать при всех этих законах, обещающих «расстрел на месте». Леля совала в руки подруге горячие булки. Для той это было просто целое состояние, ведь они дома ели суп из картофельных очисток, меняли последние вещи на Преображенском рынке на стакан муки, одну картофелину и т.д. А тут целые горы горячих булок!

Вержбицкий жил в деревянном доме. В таких домах с печкой люди страдали меньше, но и для них с конца февраля отпуск дров был прекращен до неопределенного числа. Женщины начали ходить за хворостом в парк Лосиный Остров. В парке в Сокольниках это делать было небезопасно. Вержбицкий отправился в трест зеленых насаждений. Но там ему объяснили, что весь сухостой уже срублен. Тогда он решил твердо дрова воровать, что как-то не к лицу писателю и другу Куприна. Но Вержбицкий был обижен на государство, которое не позаботилось о дровах. За эту зиму он сжег в печке чердачную перегородку своего домика, за что был оштрафован в мае на 100 рублей (средняя зарплата на заводе 500 рублей). «„Московский большевик“ как большую техническую победу отмечает изобретение настольной железной печки. Почему настольной? Чтобы не нагибаться? Глупо» (22 февраля 1942 года).

У Растянниковых в доме № 24 не только не работало отопление, но и отказал газ. Готовить стало не на чем. Приходилось часами стоять у счетчика, висевшего рядом с плитой, и бить по нему чем-то тяжелым. Вылетала искра, газ горел и пропадал. Так Надя варила картошку вечно больной матери. Или ночами спускались в подвал. Там на какой-то общей кухне ночью, когда горел газ, можно тоже было что-то приготовить. Сама Надя от холода, голода и всего прочего на вторую зиму заболела. Все ее лицо и руки покрылись водяными пузырями неизвестного происхождения. Она часами стояла на подоконнике, не решаясь броситься вниз, но жить ей уже не хотелось. Мать не обращала на это внимания или не придавала значения. Когда же все-таки соседка заметила странное поведение девочки, ее отвели в поликлинику. Оказалось, что это у нее от недоедания. Память в виде синеющих на морозе пятен осталась на всю жизнь.

БАНИ

Вопросы гигиены никто не отменяет в войну, более того, они приобретают особо острый характер, потому что мыться становится непросто. Во время бомбежки бани, например, нужно было покидать. А как их покидать, если ты только что намылился? Этот вопрос обсуждался горячо во время помывки. На деле никто бани не закрывал, и многие посетители так и не уходили. Дров не хватало. В бане иногда люди покрывались «гусиной кожей». У соседа Вержбицкого зимой

1943 года в предбаннике примерзли волосы, и их нельзя было расчесать. «Надо ходить в баню по субботам: народу много, тепла надышат», — писал Вержбицкий.

С осени 1941 года бани работали с перебоями, а в конце января 1942-го — вообще закрылись. Подобное повторялось той зимой несколько раз из-за отсутствия топлива. Но еще оставались парикмахерские. Они работали в определенном режиме, ведь у них уже отключили электричество. Ни о каких завивках и «шестимесячных» не было речи, но побриться — пожалуйста. Сегодня странно, неужели нельзя этого сделать дома? Но тогда в силу бытовых условий удобнее было побриться в парикмахерской. Март 1943 года: «…Мыло намазывают кисточкой, смоченной холодной водой (нет тока), пальцы у парикмахерши холодные, как у шимпанзе, изо рта у нее идет пар».

Мыло стало очень дорогим подарком. Мальчик на улице поет: «Ах, зачем я тебя полюбила? Победил ты, как фрица, меня! Подарю я тебе кусок мыла, хочешь — мойся, а хочешь — сменяй!»

Осенью 1942 года в аптеках города появились многозначительные объявления: «Продается средство от вшей». Вержбицкий в дневнике записал: «По Москве разгуливает „госпожа-вошь“».

Ребром встал вопрос соли, спичек и курева. Настолько это врезалось в память москвичам, что даже некоторые из наших родственников в перестройку, когда начали опять исчезать некоторые жизненно важные вещи, сделали такие запасы (вплоть до сухарей), что купленные тогда спички у них закончились только недавно.

В ноябре на Преображенском рынке у спекулянтов стакан махорки стоил уже 10 рублей. «Люди курят хмель, вишневый лист и чай. После чайной папиросы — рвоты и головная боль. В начале войны Мосторг с добра ума расшвыривал запасы табака. Он продавался везде и повсюду… Спички тоже были разбазарены возмутительным образом… И все это безобразие проходит у нас безнаказанно Мосторгу. Доколе?»

Почему-то советский человек всегда и во всем винил работников торговли. Неужели они решали вопросы карточной системы или они отвечали за вечный дефицит? Но именно они были выбраны в качестве непременных персонажей всех фельетонов, иначе кого же высмеивать? Потом их даже в мирное время стали расстреливать. Извечный вопрос: кто виноват? Ясно, что не Мосторг.

Спекулянтов наказывали: за пачку махорки — пять лет тюрьмы. Столько же бабе, продававшей папиросы вроссыпь. Продававшему на рынке папиросы товарищей по заводу — 10 лет с конфискацией. Тем не менее люди наживались на слабостях других. «Сосед уныло сообщил, что купил у спекулянта за 45 рублей 100 граммов махорки в тщательно запакованном пакете. Дома обнаружил, что внутри сено. „Я чуть с ума не сошел. А может быть, и сошел“… В аптеках нельзя купить сухой ромашки и шалфея: все пошло на курево, курят череду и дубовый

лист» (декабрь 1941 года). «В кино на экране актер закуривает папиросу. В зале кричат: „Оставь докурить!“».

Тамара Рудковская тогда была высокая, очень худая, почти зеленого цвета девушка: с началом войны у нее начался туберкулез. Однако в обеденный перерыв она часто с «козьей ножкой» демонстративно ходила по цеху. Самокрутка была совершенно пустая — просто кусок свернутой газеты. Рабочие сочувствовали такой молоденькой, но втянувшейся в курение даме, не забывали включить ее в список курящих на месяц: на заводе выдавали махорку — 1/8 от пачки. Тамара эту махорку относила на Преображенский рынок и обменивала на молоко.

Весной 1942 года на улице нередко можно было увидеть мужчин с лупой в руках: наводя солнце на растрепанную папиросу, они ее зажигали. Или «на манер средневекового запорожца куском стали высекали из камушка искры, чтобы заставить тлеть примитивный трут, сделанный из старого бинта» (Вержбицкий).

НОВЫЙ ГОД

Этот праздник москвичи отмечали, несмотря ни на что. Уже в середине декабря 1941 года нарасхват шли елочные украшения. ВЦСПС и Моссовет устраивали елки для детей в ста помещениях с концертами, подарками и встречами с красноармейцами. На улицах Москвы продавались зеленые елки из неоккупированного Подмосковья.

Но в середине декабря 1941 года Вержбицкий записал: «А в общем, в эти дни побед и разгрома немцев под Москвой не видно особенного ликования. Радуются все очень сдержанно. Москвичи еще только начинают по-настоящему понимать, какое бедствие ожидало их и от какого несчастья они освобождены. Такие величественные события доходят до нашего чувства и до сознания, когда время несколько отодвинет их в прошлое».

Трамвай тогда стал основным видом транспорта. Осенью перестали ходить подмосковные электрички, метро работало исправно, но оно охватывало мало районов.

Осенью 1941 года в Москве заметно поубавилось людей и машин. Даже в центре города можно было спокойно перейти улицу. «А милиционер все же стоит с бездельным белым жезлом на перекрестке и густо курит» (22 ноября).

22 ноября 1941 года Вержбицкий, часто бывавший в центре города, заметил, что «с мавзолея сняли дурацкий макет особнячка. Дворник сообщил, что Ильича увезли из Москвы на Волгу».

Граждане продолжали стоять в очередях и, несмотря на все предупреждения и угрозы газет, обсуждать происходящее и делиться своими сомнениями. За отсутствием правды было много небылиц. Появились антисемитские анекдоты. Некоторые говорили: «Скорей бы немцы пришли, кончилось бы это беспокой-

ство». Вот услышанный Вержбицким разговор трех женщин. Одна рассказала о том, что в подмосковном колхозе все встали на колени перед немцами. Другая на это заметила, что русский — извечный раб. Но третья возмутилась: Красная Армия весь мир освобождает, а она на 90% из русских! (январь 1941 года).

Ноябрь 1941 года. «На дворе втоптаны в грязь: детская кукла, доклад Сталина о конституции, кепка и ходики». Прямо символическая картина военной Москвы.

С весны 1942 года город начали убирать, особенно в мае, хотя сами майские праздники были объявлены рабочими днями. И только флаги и портреты вождей показывали, что в стране праздник. На московских улицах появились американские военные с какими-то черными треугольниками под воротниками, могучие и красивые американские пятитонки. Ждали весеннего наступления немцев. Но уже мало кто верил в его мощь. На нашей окраине чистили мостовые и дворы. Разрухи почти не чувствовалось, раненые дома подлечивали. Старались так, как иногда не получалось даже до войны. «Чинят мостовые и тротуары, восстанавливают заборы, красят их зеленой краской, приводят в порядок скверы, посыпают дорожки желтым песком, разбивают клумбы… В нашем переулке повесили на забор три урны для мусора. Этого не было ни в какие времена».

Еще с зимы 1944 года в Москве начались приметы мирной жизни. «На Преображенском рынке подснежники…» (1 мая) «Откуда-то появились кошки. Вчера они верещали на крыше» (27 июня). Домашние животные в Москве тяжело переживали войну. Уже в ноябре 1941 года появилось много бездомных, вернее, выброшенных породистых собак. Они грелись в магазинах, глядя на людей тоскливыми глазами. В Елисеевском гастрономе истощенная взъерошенная немецкая овчарка смотрела на всех голодными глазами.

Пережив тяжелую и голодную первую военную зиму, люди осознали, что их ждет долгая война, и стали готовиться к новым испытаниям. Летом 1942 года вся Москва взялась за лопаты и грабли. «Копают грядки, как попало и где попало. Видел три жалкие грядки у самого тротуара в Газетном переулке, у окон подвала, не огорожены» (14 июня 1942 года).

В групкоме писателей, как и на многих предприятиях, распределили огороды в городе и ближайшем пригороде. Мы слышали рассказ одной старушки на Преображенском кладбище, что им, тогдашним школьникам, выделили такие участки на кладбище близ нынешнего Олимпийского центра на проспекте Мира. Как страшно и неприятно было детям копать огороды на могилах! «В городе только мостовые и тротуары остались неприкосновенны, остальное под картошкой. В пригороде по воскресеньям чистый муравейник» (июнь 1942 года). Писателям выделили участки в районе подмосковного колхоза «Заветы Ильича», с мая там начались коллективные работы. «*В групкоме объявление*: „В воскресенье выезжайте на коллективный огород для окучивания картошки. Захватите с собой обыкновенные столовые вилки“».

Статья 79 УК РСФСР карает за огородные хищения до двух лет. Но ведь надо поймать! Второй военной зимой москвичи стали опухать от голода. Были не такие холода, как в предыдущую зиму, зато и паек резко сократили.

Особенно тяжело приходилось инвалидам. Они появились в Москве уже менее чем через год войны, страшные, обезображенные. Но к их виду москвичи привыкли быстро, перестали замечать, как повседневность жизни. Как это страшно, привыкнуть к виду человеческого страдания… Особенно много инвалидов и калек собиралось на Преображенском рынке, где они спекулировали чем могли. Иначе прожить им было невозможно. Об этих жертвах войны до сих пор не любят вспоминать, как и о калеках сегодняшних войн. Самое ужасное наследие войны — обреченные на медленную смерть никому не нужные калеки. Калеки-алкоголики…

С 17 июля 1941 года в Москве, с 18-го — в Ленинграде, с 19-го — в Московской области по приказу Наркомторга СССР вводилась карточная система «на некоторые продовольственные и промышленные товары» (приказ от 16 июля 1941 года).

18 октября уже с четырех часов утра люди занимали очереди за хлебом. Стояли по 5–6 часов. «В очередях драки, душат старух, давят в магазинах, бандитствует молодежь, а милиционеры, по два–четыре, слоняются по тротуарам и покуривают… нет инструкций. За несколько дней распродан весь препарат „Авариприн“ — семенная вытяжка на основе спирта. Около винных магазинов давка: продают дрянное разливное вино. В Черкизове в „Главспирте“ продавали водку — до смерти задавили двух стариков». Грустно: даже когда у стен Москвы стоял враг, люди насмерть давили друг друга в очередях за водкой. Интересно, возможно ли было такое в 1812 году?

Вот интересная картинка из дневника от 21 октября. Преображенская площадь. Полдень. Пережита «паника». Люди уже не мечутся, они выстроились опять в очереди. За облаками страшный пулеметный огонь. Гудят самолеты, дрожат стекла, в трехстах метрах от магазина на берегу Яузы «начинают гневно и оглушительно рявкать зенитки. Где-то бухают фугасные бомбы. Но ничто не изменилось на площади. Недвижно вытянулись очереди, особенно большая за портвейном (18 рублей 60 копеек пол-литра), не дрогнула и очередь за газированной водой. У витрины магазина кучка внимательно читает газеты под стеклом о том, что под Малоярославцем мы отступаем. На остановке юноша читает „Севастополь“ Ценского. Из рупора летят звуки „Богатырской симфонии“ Бородина. Плетется пьяненький. Красноармейцы тянут пиво. Куда делись в Москве нервные люди?».

И что героического в этих бесконечных очередях, кроме бесконечной безысходности и горя? «Портвейн в изобилии выброшен на рынок. Занимают тысячные очереди», — запись от 21 октября. А немцы у стен столицы. Откуда эти тысячные очереди, если по утверждениям люди работали по 10–11 часов? Непонятно. Как вообще успевали и работать, и стоять в этих очередях? «В Сокольническом парке около Зеленого театра с ночи собираются тысячные очереди

с мешками. Дают муку по пуду на карточку. Люди складываются и берут прямо мешками по 70 кило. Тащат на себе, вымазанные мукой до трамвая. Идет дождь, и мука на пальто превращается в тесто». В эти дни в магазинах Москвы еще можно было что-то купить: «Видно по всему, что правительство решило выбросить на рынок продукты с совершенно ясными целями. Но ни соли, ни спичек». Нам спустя 60 лет это представляется как еще одно доказательство готовящейся сдачи города. Только в этом случае, когда и речи не было о возможной долговременной блокаде, осаде, можно было позволить себе продать массу продуктов населению. А в городе люди были в неведении. Надеялись и боялись. Были и такие, кто откровенно злорадствовал. По воспоминаниям Растянниковой, один из жителей их коммунальной квартиры в доме № 24 каждое утро выходил на кухню и с ехидной улыбкой говорил: «Ну что, завтра по радио скажут Гутен морген?» Вероятно, это продолжалось не один день, потому что девочка запомнила соседа на всю жизнь.

Из своего военного детства Надя также запомнила длиннющие очереди, из которых она панически боялась уйти. Женщины, жалея несчастного ребенка, иногда уговаривали где-нибудь отдохнуть, но она никогда не уходила, видимо, твердо выучив железный закон советских военных очередей: обратно не пускали. Так и стояла часами. А мать все время болела, старшие сестры работали, отец был мобилизован, и вся еда ее и матери зависела от нее. «У меня цифры, сделанные чернильным карандашом на ладонях, запястьях, тыльной стороне ладони: 31, 62, 341, 5064. Это места, которые я занимал в разных очередях… у всех такие же „знаки антихриста“», — писал Вержбицкий.

В начале ноября прекратилась торговля по коммерческим ценам.

Конец ноября 1941 года. На Потешной улице на дверях одного дома объявление: «Вытрезвитель закрыт». Уже было не до таких заведений.

«В закусочной подозрительная публика и военные хлещут стакан за стаканом, мрачно всовывая жетоны, и ожидают, как голодные собаки у кости. Совершенно не чувствуется, что в 60–100 км идут потрясающие бои, полукольцо врага все теснее приближается к столице». Довольно неожиданно для наших представлений о тревожной осени 1941 года.

В конце декабря Мосвинбаза начала прием от населения пустой посуды из-под вина. На каждого москвича выдано по две бутылки вина. 11 января 1942 года: «Начали продавать водку. Сегодня возле нашего магазина стояла за водкой очередь в 500 человек. Стояла восемь часов. Привезли. Из очереди получило 400 человек. Остальное расхватали военные без очереди (200 человек)».

Описаний пустых прилавков полны многие страницы дневника Вержбицкого. Это была суть выживания, вопрос продуктов стал вопросом жизни и смерти.

22 ноября. «В ГУМе работает едва десяток магазинов — галантерея. Мрак, пустота, тишина».

24 ноября. «Старуха в трамвае: „Карточки-то дадены, да что на них накладено!“».

Почти всю войну не сходят со страниц дневника Вержбицкого колхозники, торгующие на Преображенском рынке. Порой он их просто ненавидит, сравнивая чуть ли не с предателями и пособниками фашистов. Приводит примеры возмущения и других граждан тем, что у кого-то есть продукты, но они их продают и наживаются, как проклятые частники. За ростом или падением колхозных цен Вержбицкий следил, как за сейсмографом на опасном участке.

Декабрь 1941 года. На рынке лейтенант ругает колхозницу за бешеные цены. (1 кг картошки — 10 рублей. Для сравнения: зарплата контролера ОТК — 500 рублей, то есть 50 кг картошки.) Женщина (или «баба», по Вержбицкому) кричит: «Не хочут, пусть не берут! Они сами набрасываются, как собаки! Рвут друг у друга. А нам никто не запрещает продавать по своей цене! Мы не государственные! Зови милицию, я не пужаюсь!»

«Мы не государственные!» — как много в этом слове…

22 декабря 1941 года. «У колхозников подешевела картошка. Так они отзываются на наши победы. Немцы отступают, и они отступают». Это уже почти угроза. Почему спекулянту за пачку махорки — пять лет тюрьмы, а колхознику, который дерет за 1 кг соленых огурцов 20 рублей, — ничего?

Эту разницу между человеком, своим трудом вырастившим урожай, и спекулянтом никто не хотел тогда видеть. Кондукторша зашла в перерыв на рынок, и гремит ее голос: «Ладно, пусть эти живодеры только отсеются, тогда правительство „уравняет“ их!» Как привычно и просто отобрать чужое и как трудно вырастить что-то самому. Это впервые понял на своем огороде Вержбицкий, собирая свой первый в жизни урожай. Он даже задумался (весной 1942 года): «А ведь в сущности мужики правы: кто дал нам право искать у них благородства? Цены устанавливаются стихийно». Летом 1942 года на Преображенском рынке появилась торговля «с рук чем попало».

Здесь все можно было продать, обменять на еду. Н. А. Растянникова серьезно считает, что этот рынок спас их семью от смерти, потому что хоть что-то, но продать здесь было можно, а значит, хоть что-то купить из съестного.

«На рынке милиционеры тащат и штрафуют несчастных старушек, вынесших продавать свое жалкое барахлишко, а ловкачи-спекулянты продают заводскую продукцию и полученное по блату из продмагов». Эта «барахолка» существует здесь до сегодняшнего дня. И до сих пор с ней борется милиция. До сих пор здесь такие же старушки со своим барахлишком…

«Поваренная военная книга». Интересно было бы такую выпустить, а еще лучше накормить по ее рецептам современного человека. Не исключено, что путь познания истории тоже лежит через желудок…

В войну москвичи очень быстро стали осваивать эти новые кулинарные рецепты. В марте 1942 года они уже знали, что «из мороженой моркови получаются недурные котлеты», летом поняли, что «морковная ботва — тоже пища и недурной материал для щей».

В аптеках продавались восстановители для волос, комнатные градусники, губная помада, кружочки для мозолей, самосветящиеся ромашки и ногтечистки. В канцелярских магазинах чернила стали продавать почему-то в огромных бутылях — по 15 литров. В галантерейных магазинах рядом с пудрой и духами (флакончик — 135 рублей, как ученическая зарплата на швейной фабрике) появилась примета времени — наконечники для костылей.

Мосскупторг возобновил широкую скупку у населения вещей (январь 1942 года). «…Потекут к нему вещички, спертые в квартирах эвакуированных», – пишет Вержбицкий. Он долго не мог понять, к чему сейчас деньги, что на них можно купить, кроме остатков галантереи. К зиме 1943 года понял, что «без блата, без товарообмена, без взятки сейчас ничего не делается. Богат только тот, у кого есть вещи. А вещей становится все меньше».

Летом 1944 года все усиленно искали примет окончания войны, страстно ждали победы к осени. Вот и дети меньше стали играть в эти военные игры. Новая примета: не играют, значит, война скоро кончится. «Мы исподволь незаметно входим в мирную жизнь», — пишет Вержбицкий. О войне напоминают салюты, которые теперь часто гремели над городом, отмечая победы нашей армии. В феврале на фасаде Дома СНК в Охотном ряду в люльках рабочие пульверизаторами сдирали разноцветную маскировку, на аллее Сокольников от метро к парку загорелись все фонари, как до войны. Город демаскировался. В городе расходилось огромное количество краски. «На каждом шагу видишь маляров со спринцовками, кистями, ведрами. Красят фасады даже маленьких домов. Поголовный внутренний ремонт в казенных помещениях. Все чистится, скребется, подновляется. На Тверской рабочие несут на плечах колоссальные, выше человеческого роста, заново позолоченные буквы для магазина. К вечеру уже сверкают надписи: балык, торты, свинина, шампанское. У трамваев около номеров снова появились разноцветные фонарики, определяющие маршрут. Это все очень веселит уличный пейзаж…» Но не надо обольщаться: для большинства московского населения все это так и осталось недоступным. В 1947 году был страшный голод. Никто и не думал отменять карточки, а коммерческие магазины, все эти балыки, шампанское, предназначались совсем для другой публики.

«У кино „Метрополь“ и у Пушкина с наступлением сумерек появляются фигуры советских (!) девушек с еле заметной улыбкой. Они рассыпаны по одиночке, стоят, как будто кого-то ждут. К ним подходят военные, быстро знакомятся и уходят. Иногда стоят военные с пакетами в руках. В пакетах сласти, закуска, вино. Перемигиваются с проходящими девушками, заговаривают и скоро отправляются куда-нибудь „весело провести вечерок“».

ЦЕРКОВЬ

О церкви в годы войны можно сказать много. Можно даже сказать, что не совсем по воле людей случилось то чудо, что произошло под Москвой зимой 1941 года. Но среди тех, с кем мы разговаривали, и тех, чьи дневники мы читали, не много найдется упоминаний об этом.

25–27 октября. «Почему до сих пор не переименовали площадь?» — вдруг задумывается старый атеист Вержбицкий, который мог иногда позволить себе с ностальгией вспомнить о старой чудотворной Тихвинской иконе. О расположенной рядом с его московской квартирой Преображенской церкви он вспоминает на страницах дневника не раз. Совершенно очевидно, что он часто заходил туда. Не исключено, что им двигал инстинкт историка: запечатлеть отношение людей к Богу в столь сложный исторический момент. Во всяком случае никакого сочувствия к верующим с его стороны в дневнике не ощущается. Церковь Преображения Господня, или Петра и Павла, снесенная в 1964 году, последней в Москве во времена хрущевских гонений, не пустовала в ту страшную осень: сотни две молящихся — это немало. Даже кондукторша с сумкой на плече в промежуток между рейсами заходит поставить свечку Николаю Угоднику.

В этом храме во время Пасхи с 4 на 5 апреля 1942 года побывало по подсчетам заинтересованных лиц до 6,5 тысячи человек. На ночном богослужении было столько народа, что молящиеся не могли поднять руку, чтобы перекреститься. Немало мужчин, молодежи и даже военных. В ту ночь впервые в Москве на время отменили комендантский час.

КУЛЬТУРА

Теперь мы хотели бы немного рассказать о культурной жизни столицы, которая не затихала несмотря ни на что. Правда, война сначала ограничила время работы всевозможных культурно-развлекательных учреждений. Потом стали мешать бомбежки. Хотя вначале, летом 1941-го, люди еще до конца не осознали того, что случилось, и пытались по-прежнему в выходные отдохнуть.

Надя Растянникова отправилась с подружками в соседний Измайловский парк культуры и отдыха. Как всегда, начали с аттракционов. Это было дешево и доступно. В те годы и много позже там был аттракцион, изображающий два самолета на перекладине. Эта перекладина вращалась, и пассажиры по очереди делали «мертвую петлю», повисая вниз головой. Вдруг загудела тревога. От страха дежурный нажал не на тот рычаг, и самолеты зависли в воздухе, не поворачиваясь ни в какую сторону. Все убежали в укрытие, а они с подругой всю тревогу так и провели в «мертвой петле», причем Надя вниз головой. Больше она никогда в жизни не подходила к аттракционам.

В дневнике Вержбицкий отмечает, что в первую очередь стали закрываться кинотеатры города. К ноябрю была закрыта уже половина, в декабре осталось только 37 работающих. Для москвичей, которые посещали кинотеатры регулярно,

это было очень заметно. Кино любили, без него уже не мыслили своей жизни. Мы знаем, что в годы войны решили обратиться к нестареющим примерам из русской истории, основательно забытым в годы бурного строительства нового общества. На экраны стали выходить фильмы о русских полководцах и исторических сражениях.

У Вержбицкого мы прочитали о другом неизвестном нам факте: в декабре 1941 года «по радио зазвучала симфония Чайковского „1812 год“, которая была запрещена двадцать четыре года, ибо в ней есть царский гимн „Коль славен“, „Славься, наш русский царь“». Дальше больше: в газетах появились статьи о том, как Емельян Ярославский (знакомый Вержбицкого), глава Всероссийского Союза воинствующих безбожников, вместе с комиссаром пьет чай в крестьянской избе под иконами и сетует по поводу разрушенного фашистскими вандалами Ново-Иерусалимского монастыря. (Как известно, монастырь был разрушен *нашей* артиллерией.)

В декабре огромным спросом пользовалась книга Тарле «Наполеон». Много задумывался и сам автор дневника об этой исторической личности, «чья предостерегающая фигура, чья судьба должна внушать безграничный страх перед вступлением в загадочную страну».

«13 февраля. В магазинах Могиза художественной литературы нет вовсе. Обменивают кой-какие современные брошюрки на учебники. На рынке „Наполеон“ Тарле стоит 25 рублей. Классики на вес золота» (для сравнения: 25 граммов перца — 25 рублей, 1 килограмм картошки на базаре — 20–30 рублей). 25 декабря. «Госполитиздат выпустил книгу „Записки“ Дениса Давыдова».

Это, конечно, неправда, что, «когда говорят пушки, музы молчат». Наоборот, к искусству иногда обращаются как к последней спасительной соломинке. Дух человека, а не только снаряды, — важное условие победы. Дух — это искусство, культура, это иногда даже относительная свобода от пропаганды. Не случайно, в годы войны было создано так много замечательных произведений.

В годы войны нередко Вержбицкий посещал букинистические магазины. Судя по его записям, они не закрывались, хотя и влачили жалкое существование.

В апреле 1942 года букинистические магазины стали покупать у населения книги без ограничения. Кого-то это спасло, возможно, от голодной смерти.

В 1944 году в Москву вернулись все театры, но билетов было не достать. Не достать и музыкальных инструментов. Плохонькая гитара в магазинах от 1000 до 2000 рублей.

Но люди мечтали о музыке, танцах. Январь 1942 года. «В гостинице „Метрополь“ открылся „Дансинг-холл“. Танцуют под джаз с 6 до 10 вечера. Об этом на стене вывешены плакаты с изображением танцующей пары. Он в смокинге, она в декольте», — пишет Вержбицкий.

Разумеется, очень небольшое число лиц могло позволить себе посещение «Дансинг-холла». Но и после тяжелых смен на заводах многие умудрялись ехать за билетами в театр и каким-то образом их доставать, даже когда половина московских театров была в эвакуации.

Молодежь особенно любила оперетту. Вержбицкий, 1 января 1942 года: «В Мюзик-холле оперетта (сборный коллектив). „Сильва“, „Роз Мари“».

22 марта 1942 года. «Днем на Большой Дмитровке около филиала Большого театра большая очередь за билетами на балет. Шныряют барышники. Спектакли идут при аншлагах». 20 мая открылся филиал оперетки, летний сад «Эрмитаж» и Измайловский парк культуры и отдыха.

1943 год. Страна получила новый гимн. Вержбицкий по этому поводу раздраженно записал 5 января 1944 года: «Новый гимн никто не напевает… тяжел, византийский. Многословен, длинный. Под него уже два года пели другими словами (гимн партии). Как это все коряво сделано. И зачем здесь Регистан? И за что ему 100 тысяч? И где же оказались хорошие, подлинные поэты и композиторы?»

СПОРТ

От Тамары Андреевны услышали мы и рассказы о спорте во время войны, хотя нам трудно было представить, что такое могло иметь тогда место. Думается, что и многие пережившие войну тоже не представляют себе никакого спорта в прифронтовой Москве. Вероятно, он все же был доступен достаточно обеспеченным людям, а не тем, что продавали последние крохи на Преображенском рынке, побирались у призывного пункта Студгородка, мерзли в нетопленых квартирах, работали (или, как тогда говорили, «ишачили») на заводах и проч. Но «спортивный» контингент был. О соревнованиях писала пресса. И пусть это не касалось большинства населения, может быть, им помогала выжить сама мысль о том, что где-то все идет своим чередом, как до войны, что есть надежда когда-нибудь вернуться к тому, что утеряно… Так, 27 ноября 1941 года в городе открылся шахматный чемпионат на звание чемпиона Москвы и продолжался полтора месяца. В декабре, когда немцев отогнали от Москвы, начались хоккейные состязания.

ВОЙНА И ЛЮДИ

О том, как меняла, обнажала война человеческие характеры, можно рассказать много и хорошего и плохого. Кто-то проявлял героизм и самопожертвование, которых и не предполагали в этом человеке.

В начале войны на производство стали брать новых работников. В основном молодежь из родственников тех, кто уже трудился на предприятии. Особенно трудно было молоденьким девушкам, почти детям. Они не могли работать ночью и моментально засыпали в перерыв. Брали и стариков, и школьников, и шпану, и домохозяек. Но молодежи было от 60 до 80%.

Тамара Рудковская работала в сортировке на заводе «Металлодеталь» на улице Буженинова. Молодые женщины, вчерашние школьницы, работали не разгибая спины по 10–12 часов, а в декабре иногда и по 20 часов, даже во время налетов никто не уходил в бомбоубежище. Проверяли по шаблону глубину рассверловки детали. От этого зависело, взорвется ли граната вообще или прямо в руках бойца. Все работницы делились на две группы: оторвы и маменькины дочки, но ладили между собой, вместе ненавидели фашистов и Салтычиху, как прозвали они бригадиршу. Шибко партийная, она буквально терроризировала всех своими окриками: «Не смеяться!», «Не облокачиваться на спинку», «В уборную часто не бегать!» А ведь и так старались изо всех сил. Работали буквально до упаду. Бригадирша же до того довела, что подбросили ей записку: «Молись, чтобы немцы не вошли в Москву. Тогда тебя точно повесим!» Завком, партком и прочие органы разбирались в этом страшном скандале. Но «политического дела» не получилось, не нашли виновника.

Вержбицкому только перейти Преображенскую улицу, и он легко мог бы познакомиться с тем, как живет «социалистическая молодежь». Еще до войны там было нечего есть (например, маленькое пирожное и яйцо Надя Растянникова увидела только в день 1 сентября, когда впервые пошла в школу). Там, на Преображенке и Семеновской, были целые кварталы, где жили воры одного профиля, и все знали это, в том числе и местные милиционеры. Вечером по местным дворам могли ходить только свои, и то с опаской. А фабричные бараки, где семьи отделялись друг от друга иногда просто занавеской? Весь кошмар жизни, которая потеряла свое прежнее русло, был бы у Вержбицкого перед глазами. Но он и ему подобные не хотели видеть того, что они построили. На этих рабочих окраинах Москвы жили тогда в основном те, что бежали из подмосковных деревень. Говоря откровенно, это были беженцы, только никто их тогда так не называл. Страх голода, потери работы, необразованность, пьянство и тоска у старших. Озлобленность, голод и блатная романтика у младших. Это был свой мир. Они почти никогда не покидали его, не уезжали дальше Сокольников. Выросшие здесь подростки и после войны всего 1–2 раза в жизни выезжали в центр города. Это был чужой, не их город, там они были изгои. А здесь был свой мир, пусть воров, бандитских шаек, малолетних проституток, которые водили мужиков к себе домой, где на соседней кровати мать делала вид, что спит. Или такая картинка праздника в преображенском дворе (по воспоминаниям Растянниковой): гармошка, вечные семечки, которые подолгу не падают с подбородка, удивительным образом превращаясь на женских лицах в «черную бородку», на лавочке сидит подвыпившая компания.

У Вержбицкого в 1941–1942 годах произошла семейная трагедия, хотя записи об этом в дневнике, как нам кажется, очень сухи.

«22 ноября 1941 года. Валю взяли на военную службу. У него зрение хуже моего. Возраст призывной». Через месяц с небольшим Валя вновь оказался в Москве.

3 января. «У Вали три смены белья (одна байковая гимнастерка, ватник, ватные штаны, рукавицы, кожаная обувь, валенки, ватная шапка, теплый подшлемник). Их учили полтора месяца только строю и стрелять из винтовки. Идут мар-

шевой ротой на пополнение. Стоят на путях в Москве вот уже четыре дня. Пища — сухари, 20 граммов колбасы, чуть сахару. Табаку не дают. Покупают по пять рублей за спичечную коробку махорки. В Йошкар-Оле продали черемисам за бесценок всю одежду».

16 февраля. «Только сегодня Валя с маршевой ротой отправляется на фронт. Сидел в Москве на колесах около месяца. Очевидно, на фронте не такая острая нужда в резервах».

Более о сыне, проводах его на фронт или посещении его в этом поезде ни слова. Через три месяца появится некоторое беспокойство. 12 мая 1942 года. «От Вали нет вестей никаких». 20 мая. «От Вали нет ни строки».

Записи 26 сентября сделаны по прошествии почти целого месяца, в течение которого автор потерял сына и жену. «Многомиллионная морда войны даже мне, незаметному москвичу, каждый день кажет свое отвратительное и страшное рыло. Пришла весть, что Валя расстрелян как изменник родины. Это он-то, хороший патриот. Какая-то трагическая нелепость. Мечтателя, анархиста, безвольного поэта с вечно улыбающимся лицом послали убивать. Какой он убийца? Жена содрогнулась, узнав о гибели, но промолчала, зная, что я не люблю причитаний. Но это молчание ей даром не прошло. Жену Вали с детьми хотели выслать из Москвы, но какой-то человеколюбивый прокурор задумался о ее судьбе и вызвал на допрос. Выяснилось, что она с мужем не жила полтора года. Вызвали и меня. Я подтвердил. Мар. Вал. остается в Москве».

И далее: «2 сентября ударил сильный заморозок. Погибли мои помидоры, огурцы, фасоль. Листья почернели и скрючились, ботва у картошки тоже погибла. 5 сентября жена пришла радостная и сообщила, что выполнила 240% дневной нормы. Вечером я обнаружил, что она лишилась рассудка. Потеряла память («душу»), говорила несуразное. Сонливость и волчий аппетит. Апатия ко всему. Несколько раз вспоминала: „Валя улыбнулся и пропал навеки! Да, у войны рот большой…“ После этого ежедневные хождения в поликлинику, диспансер, аптеку. Врач определил шизофрению («раскол души» по-гречески). Не добившись амбулаторного лечения, 21-го я отвез ее в больницу имени Ганнушкина. Больница переполнена, хорошо, что поместили в отделение для тихих. Кормят неважно. Свидание по воскресеньям. Собираюсь шить валенки. Сливочное масло и сахар уже не отпускаются по карточкам. В горкоме второй месяц не выдают табак». Далее о дровах, курсах для инвалидов-музыкантов, заготовке дров, о невыдаче жиров, мяса и рыбы, о спекулянтах-инвалидах на рынках. Наконец про жену — она умерла 29 октября. «Сегодня в два часа ночи в больнице имени Ганнушкина умерла от кровоизлияния в мозг жена Софья (Зося) Николаевна. Убил ее или во всяком случае привел к преждевременной смерти немец».

Совсем не так представляли себе советские люди, за очень немногим исключением, грядущую войну. Тем более тяжело дался им страшный переход от растерянности к мужеству и стойкости.

Но цена нашей победы еще неизвестна. Еще никто не измерил глубину тех страданий, в которые погрузилась наша страна. Как ни странно, чем больше проходит времени после войны, чем меньше остается в живых ее участников и свидетелей, тем больше появляется возможности узнать правду. Ее можно услышать от тех, кто, казалось бы, давно похоронил в своей памяти все подробности, о которых не принято было вспоминать.

Примечания

[1] Из воспоминаний командующего истребительной авиацией ПВО Н. А. Сбытнова (Москва военная. 1941–1945 годы: Мемуары и архивные документы. М., 1995. С. 83–84).

[2] Из воспоминаний зам. пред. Ростокинского райисполкома К. Д. Осипова о штабе ПВО в первые часы войны (Москва прифронтовая. 1941–1945 годы. М., 2001. С. 77).

И Мордовия могла стать прифронтовой

Антон Дригин, Республика Мордовия, г. Саранск
11-й класс, научный руководитель Т. А. Дригина

Моя работа посвящена всем тем, кто работал в 1941–1942 годах на Сурском рубеже, на торфоразработках, на лесоповале.

Источниками моей работы стали в первую очередь архивные документы, опубликованные и неопубликованные: директивы ГКО, постановления Совета народных комиссаров Мордовской АССР, республиканского комитета ВКП(б), материалы районных комитетов, судебно-следственных органов, записки Информационного отдела, документация 54-го Полевого строительства, в том числе обнаружена схема трассы «54-го Полевого Строительства по батрайонам 62–66 с указанием незаконченных участков работ». В оценке общественного сознания помогли письма с фронта, хранящиеся в семейных архивах Экемскиных (город Саранск) и Е. В. Никишовой (город Ельники), публикации газеты «Красная Мордовия» за 1941–1942 годы. Важной частью работы являются записи воспоминаний старожилов села Пермиси — строителей Сурского рубежа.

41-Й ГОД: ВОЙНА, ВЛАСТЬ И НАРОД

Уже больше четырех месяцев шла война. Враг подошел к Ленинграду и Москве. С этого момента мордовский край становится прифронтовой зоной. Устанавливается светомаскировка в городах и на железнодорожных станциях, готовятся отряды самообороны. За закрытыми дверями обкома партии принимается решение о создании партизанских отрядов в лесах западных районов республики: Торбеевском и Зубово-Полянском.

В каждом номере республиканской газеты «Красная Мордовия» печатаются утренние и вечерние сообщения от Советского Информбюро: «В течение 1 октября наши войска вели бой с противником на всем фронте. 29 сентября уничтожено 26 самолетов противника, наши потери — девять самолетов». А дальше огромный перечень потерь немцев: там и десятки уничтоженных танков, самолетов, бронеавтомобилей, орудий, складов с боеприпасами, сотни и тысячи убитых солдат и офицеров. Подобные сообщения читаем в каждом номере газеты «Красная Мордовия». А какие потери были у Красной Армии в 1941 году, например, в танках? Ответа мы не находим в газетах военного времени.

Из воспоминаний Веры Алексеевны Менякиной: «В августе 1941 года группу девушек из нашего села (Пермиси. — *А. Д.*) отправили в Саранск, а оттуда в теплушках повезли на строительство оборонительных сооружений. Наша группа оказалась под Ленинградом. Мне часто вспоминается, как девчонки, поедаемые гнусом, в болоте рыли окопы и блиндажи. Руки немели, спина болела, душа беспокоилась

о том, что мы не успели взять с собой теплых вещей, а, сколько будем работать, нам не сказали. Однажды утром нас погнали на станцию, погрузили в теплушки и повезли. Все подумали, что едем домой. Ехали больше недели, подолгу задерживались на станциях. И вот наконец выгрузили в поле, стало ясно, что нам вновь придется рыть окопы, только на этот раз во Владимирской области»[1].

Население мордовского края не могло понять, почему существует возможность, что линия фронта пройдет по их родной земле? Мобилизованные односельчане окопы роют далеко, не на территории Мордовии, а, по сводкам Советского Информбюро, враг несет большие потери. В архивах хранятся протоколы заседаний Мордовского республиканского комитета ВКП(б) под грифом «Совершенно секретно», ныне рассекреченные.

Так, в постановлении от 25 декабря 1941 года читаем: «…закончить организацию групп самозащиты по городу, …обеспечив их необходимым имуществом и инвентарем; обеспечить полное затемнение города и улучшить режим светомаскировки на железнодорожном узле… Злостных нарушителей светомаскировки привлекать к уголовной ответственности»[2].

Постановление издали, но народу не объяснили его значения. В городах и селах неразбериха и суматоха усугубляются газетными сообщениями такого типа: «Некая Рякина не затемняла окна. Военный трибунал приговорил ее к пяти годам лишения свободы»[3].

Начался новый виток доносов, репрессий. Одна из его причин — панический страх власти перед правдой, которая может подорвать веру людей в могущество партии и Сталина, а заодно расколоть общество. В материалах Мордовского рескома партии имеется множество информационных записок под все тем же грифом «Совершенно секретно» за 1941 год. О чем информировали местные политработники Реском? Начальник информационного отдела Савельев пишет докладную от 14 июля 1941 года, похожую на сбор сплетен и слухов или на откровенный донос. В ней говорится, что рабочий маслозавода Трескин, ранее осужденный, разносил слухи: «Германские войска бомбят наши города, а отпора не получают на расстоянии до Витебска»[4]. А домохозяйка Гордеева высказала сгоряча фразу: «Беспартийных гонят на фронт, а коммунисты прячутся в тылу, сидят, только пузо наедают»[5].

Секретарь Старошайговского района ВКП(б) Баленков строчит докладную записку в Реском партии о моральном состоянии района 8 ноября 1941 года: «Единоличник деревни Обуховка Цыплаков говорит: „Не верьте газетам, они врут. Наши потери на фронте больше, чем германские, а газеты изображают наши потери меньше, чем германские“»[6]. Высказывания, не соответствовавшие официальным идеологическим установкам и оценкам, трактовались или как враждебная деятельность, или как распространение заведомо ложных, провокационных слухов.

Чем хуже становится положение в стране — тем сильнее давление на народ.

Еще 26 июня 1940 года указом Президиума Верховного Совета СССР был введен восьмичасовой рабочий день и семидневная рабочая неделя, запрещающая самовольный уход с работы. За прогулы и опоздания устанавливалась уголовная ответственность. В начальный период войны в дополнение к ранее изданным были приняты новые документы: «Об ответственности за самовольный уход с предприятия», «О мобилизации на период военного времени трудоспособного населения». Местные «выдвиженцы», проявляя верность генеральной линии партии, с рвением оформляли дела в районную прокуратуру для привлечения к уголовной ответственности. На основании вышеназванных документов привлекли к ответственности жителей села Починки Большеберезниковского района: Козыреву И. П., Зимину П. П., Губалищеву Н. С., Губалищеву Т. Е., Соплякову М. Г.[7] Им вменялось в вину уклонение от работ на колхозном поле в течение десяти дней. Объяснений по причинам невыхода на работу не принимали.

Шла тяжелая кровопролитная война. Народ приносил огромные жертвы, расплачиваясь кровью за каждую ошибку властей, а судебных процессов не становилось меньше. Росло число осужденных.

В одном из райкомов ВКП(б) секретарь отправил докладную записку в Реском партии, в которой жаловался на медленную работу судебно-следственного аппарата. За неподчинение закону было осуждено шесть человек — единоличников и колхозников — на сроки от 5 до 10 лет тюремного заключения. Кого же привлекали к уголовной ответственности как бандитов, изменников, «врагов народа»?

Слушаю горестный рассказ Дудаковой Анны Семеновны 1924 года рождения, уроженки села Новое Зубарево Краснослободского района: «Зимой 1942 года по распоряжению председателя колхоза нас в сопровождении двух подвод, нагруженных сидорами с одеждой и съестным, отправили на лесоповал. Мы шли пешком двести километров. Было очень холодно, снежно и ветрено. Прибыли на станцию Торбеево. Пришла разнарядка идти нам лес валить. На лесоповале уже работали заключенные из Дубравлага. Наша жизнь, несмотря на то что мы были на свободе, ничем не отличалась от их жизни. Разместили нас в бараке на нарах, в котором имелась железная голландка. До рассвета нас выгоняли на работу. Шли в лес, неся с собой пилы, топоры. Работали дотемна. Обед всухомятку: съедали какой-то маленький кусочек хлеба. Когда мы возвращались, начиналась самое страшное: надо было испечь картошку в шипящей дымящей голландке. Моя картофелина находилась на самом краю и доставалась мне полусырой. А норму выполнять-то надо. Мои двоюродные сестры были старше меня и успели выполнить норму, их отпустили. Мне захотелось бежать. Четыре дня, обходя села, мокрая и голодная, я шла домой. Неделю прожила у двоюродных сестер. Поздно вечером решила вернуться домой. Родители хотели меня скрыть, пряталась я под кроватью от людского глазу. Однако все труды пошли прахом, так как пятилетний братик Пашка похвастался соседке, что „наша Нюрка давно уж дома и прячется под кроватью“. Об этом стало известно председателю. Соответственно он сообщил в прокуратуру района. Прокурор пригрозил тюремным заключением. Пришлось с котомкой сухарей возвращаться обратно

на лесоповал. Здоровье я растратила на торфоразработках в 1941 году, на лесоповале в 1942 году. А в старости, когда меня замучили болезни, власти забыли мой труд. Умирать уже пора, а память мучает меня чувством обиды за голод, холод, непосильный труд. Я ежемесячно получаю пенсию — 2000 рублей, которых не хватает даже на лекарства»[8].

Такие рассказы я услышал и от других старожилов села Пермиси. Ясно, за счет чего добивались трудовых достижений! В тылу, как на фронте, действовал непоколебимый закон «любой ценой»!

СУРСКИЙ РУБЕЖ

В октябре 1941 года враг готовился к решающему удару. Крупных резервов в районе Москвы в тот момент Ставка не имела. Государственный Комитет Обороны в ночь на 5 октября принимает решение о создании нового стратегического эшелона вооруженных сил в составе девяти резервных армий на линии Вытегра–Рыбинск–Горький–Саратов–Сталинград–Астрахань, в которую входили сурский и казанский оборонительные рубежи. Эта директива Ставки имела самое прямое отношение к нашей республике и ее жителям. Для проведения соответствующих работ по подготовке рубежа в Мордовию был отправлен 47-й военно-топографический отряд под командованием майора Михайлова[9]. Немедленно последовало распоряжение председателя Совнаркома МАССР Верендякина руководителям восточных районов республики: «Совнарком МАССР предлагает оказывать сотрудникам отрядов № 47 всемерное содействие и практическую помощь в беспрепятственном выполнении ими топографических работ»[10]. Если взглянуть на топографическую карту Республики Мордовия, то становится понятно, почему именно восточным районам было направлено это распоряжение. По юго-восточной части Мордовии тянется река Сура. Этот естественный рубеж и был взят за основу оборонительных сооружений.

Практически мгновенно в республике собирают топографов и специалистов-фортификаторов. А постановлением ГКО от 13 октября 1941 года формируются саперные армии (к середине января 1942 года их было создано десять), предназначенные для заблаговременного строительства в короткие сроки тыловых оборонительных сооружений. Большинство их состояло из 2–4 инженерных бригад по 6–8 батальонов в каждой.

Следующим постановлением, теперь уже СНК МАССР, от 17 ноября 1941 года в прилежащих к реке Суре населенных пунктах Кочкуровского района постоем расквартирована войсковая часть № 19. В дальнейшем в документах она фигурирует как саперная бригада № 19[11]. В постановление СНК расписано, кто, что и когда выполняет. Общая протяженность линии укрепления — восемьдесят километров; объем предстоящих работ оценивался в 4 миллиона кубометров земляных и 120 тысяч кубометров лесозаготовок и лесовывозки. Предстояло затратить два с половиной миллиона человеко-дней. По плану намечалось привлечь 67 тысяч людей, 50 тракторов, в том числе гусеничных, 4700 лошадей.

На выполнение задания ГКО были мобилизованы все людские и материальные ресурсы республики. Не оставалось ни одного колхоза, не пославшего своих представителей на строительство спецукреплений. Посланцам наиболее отдаленных районов пришлось проделать в суровых условиях более чем двухсоткилометровый путь. Были разработаны маршруты, где указывались время выхода (пять часов утра), движение в пути (двое суток, на третьи быть на месте)[12].

Явку мобилизованных рабочих и транспорта определили на 27 ноября 1941 года. Мобилизованных на строительство спецукреплений разместили в близлежащих селах.

Сегодня мы имеем возможность оценить действия власти по мобилизации населения на выполнение спецзадания. Так, за отказ выехать на строительство спецукреплений бюро Лямбирского ВКП(б) привлекло к уголовной ответственности И. Г. Белова[13]. А в докладной записке начальника Старошайговского районного отделения милиции НКВД читаем, что «граждане, отправляемые на оборонные работы, на сборочном пункте были веселы и танцевали»[14]. «Выдающаяся роль» Коммунистической партии выражалась в жестком администрировании. Эту же тенденцию мы наблюдаем и на строительстве Суркого рубежа. За каждым участком был закреплен батрайон — участок оборонительного укрепления. Например, на трассе 54-го Полевого строительства располагались батрайоны с 62-го по 66-й, которые включали в себя поселок Чаглы, село Тияпино, село Березники, деревню Николаевку, поселок Сельмеево, село Пермиси, поселок Пугачев. Определен был выход и график работы гужевой силы на участке. Обязали секретарей райкомов партий обеспечить мобилизованное население за счет колхозов продуктами питания, а лошадей — фуражом. Но снабжались строители очень плохо. Председателей колхозов обязывали, угрожали уголовной ответственностью, чтобы они вовремя доставляли хлеб и фураж. Строители требовали наказания председателей колхозов: «Мы плохо работаем, но почему Вы до сих пор не примите решительных мер к тем руководителям колхозов, которые до сего времени не привезли ни одного килограмма продуктов. И Вы подумайте, можно ли работать с 800 граммами хлеба и воды на такой тяжелой работе, где люди кайлят камень и глину, а когда и хлеба не бывает. С коммунистическим приветом, Барабанов»[15].

Но что председатели колхозов могли сделать, если у них оставалось совсем мало работников. Вот она, жертвенность деревни. С нее требуют все. Самому крестьянину в день оставалось 250–280 граммов зерна.

В селе Пермиси живет одна из участниц строительства — Анна Сергеевна Макушкина (1922 года рождения). 82-летняя пенсионерка рассказала нам свою историю участия в возведении укреплений Сурского рубежа: «Я была послана вместе с односельчанами на рытье окопов. Отправляли нас на работу засветло. До горы (Сурской. — *А. Д.*) шли пешком, с собой несли хлеб из листьев и лебеды, а некоторые, у кого была корова, молоко. До места работы добирались вместе, не делясь на отряды. По прибытию бригадиры распределяли нас на определенные участки. Наш бригадир делил норму по-разному: тем, кто посильнее, —

побольше, послабее — меньше. Всего пермисских отрядов было два. Командиром нашего поставили Родина Серафима Николаевича. Мужчин было мало, поэтому не брали на работу только женщин с малыми детьми, беременных и больных. Земля-то каменистая, промерзла на большую глубину, но, несмотря на это, нас заставляли рыть окопы и блиндажи в человеческий рост с потолком из бревен, к тому же маскируя их дерном. Все были обуты в лапти, а морозы доходили до 40 градусов. Чтобы не замерзнуть, разводили костры, грели свою обувку. Худо было тому, кто зазевается и подпалит лыко на лаптях. До вечера не близко, а норму выработать надо. Вечером возвращались домой, съев только лепешку из листьев. Инструмент с собой не брали. В обратный путь выходили затемно, часто мела метель, поэтому, чтобы не потеряться, шли гуськом. Придя домой, измученные, мокрые, голодные, в первую очередь высушивали лапти в печурке. В нашем селе поселили жителей западных районов, у них был свой командир и свой отряд, и они выполняли задание на своем участке. В каждом доме проживало по три–четыре человека, согнанных с западных районов. Им привозили продукты из родных сел один раз в неделю.

Военных на строительстве я не видела, но начальники приезжали нас проверять. Работали не покладая рук, но, несмотря на официальные обещания властей, денег нам не платили. Зато налоги драли за все и всем: мясо, масло, другие натуральные продукты, теплые вещи для фронта, деньги. Так что иметь хлеб из лебеды для нас было еще очень хорошо. У нас была надежда, что если быстро все сделаем на своем участке, то нам дадут отдых, поэтому работали до изнеможения. Однако нас перебросили на помощь отряду в район поселка Николаевка. В феврале все работы были завершены».

Я решил узнать, как сложилась судьба командиров пермисских отрядов, и встретился с сыном командира второго отряда Пузиным Степаном Степановичем. В основном он подтвердил рассказ Анны Сергеевны, но к этому добавил, что отца с другими односельчанами отправили на фронт, где Степан Григорьевич «геройски погиб, защищая Родину», под Сталинградом.

Какую же работу на строительстве спецукреплений выполнял бедный люд? Архивный материал дает нам полный перечень наименований работ в единичной расценке к смете, хотя, по свидетельству А. С. Макушкиной, оплаты труда не было. Расценки варьируются от 0,17 до 4,8 рубля за 1 м^3. Так оценивались «ручная корчевка пней в мерзлом грунте с очисткой от снега до 15 см, отрывание грунта, отрубание корней, переходы».За один пень основной массы деревьев — сосны, ели, осины, березы, липы, лиственницы и других — при толщине ствола до 30 см платили по 3,99 рубля[16]. И это за такую адскую работу на морозе 25–40 градусов на каменистой почве, глубина промерзания которой 160 см.

Я признаю мобилизационную роль партии во время войны, но считаю, что сталинская диктатура сделала наше общество очень похожим на феодальное. Феодалу ведь совершенно безразлично, сколько труда затрачено на те продукты, которые он получил от своих крестьян в виде повинностей и налогов. Так же и у нас в годы войны нисколько не считались ни с людскими потерями, ни

с ценой затрат труда, а работали в основном женщины, дети и старики, не всегда евшие досыта.

В романе «Прокляты и убиты» Астафьева братьев Снегиревых расстреляли в назидание другим. Это был поучительный урок новобранцам, а ведь братья, доведенные до отчаяния голодом, просто сходили домой за съестным и вернулись обратно[17]. Такая же ситуация была и на строительстве Сурского рубежа. В материалах Ромодановского райкома ВКП(б) хранится документ от 18 декабря 1941 года: «Начиная с первых дней декабря месяца со спецстроительства под предлогом отсутствия продовольствия люди стали дезертировать и по состоянию на 10 декабря 1941 года пришли в район 199, из которых возвращено 93 человека, из числа бежавших арестовано 10 человек, из них осуждено 4 человека». Эта четверка полностью состояла из женщин. Агарееву и Бикуреву, жительниц села Вырыпаево, осудили на десять и восемь лет, Журкиной и Пантюхиной, уроженкам деревни Пятино, дали по два года каждой. Остальным вручены повестки в суд на 22 декабря 1941 года[18].

А в это время шла Московская битва. Красная Армия с большим напряжением сил, с огромными потерями, как человеческими, так и боевой техники, выиграла эту битву. Бои за Москву зимой 1941/42 года отгремели. Синхронно с ними были сданы 19 февраля правительству МАССР оборонительные сооружения Сурского рубежа. В соответствии с постановлением ГКО от 26 марта 1942 года и директивой Штаба Поволжского Военного Округа от 22 мая 1942 года охрана, сохранность и поддержание постоянной боевой готовности фортификационных сооружений, возведенных на линии Пензенского тылового оборонительного рубежа, в состав которого входил Сурский рубеж, возлагается на местные органы власти.

Солдаты на фронте понимали, что опасность прорыва немцев весной 1942 года оставалась. Это показывает нам письмо Михаила Тимофеевича Экемскина, написанное 1 мая 1942 года в Боровске Московской области своим родным в Мордовию, где он достаточно квалифицированно дает рекомендации жене по строительству бомбоубежища: «Марина, случайно если будет подходить близко немец, то устройте убежище в таком виде: длина убежища 4,5 м, ширина сверху 1,75 м, снизу 1,25 м, глубина 1,5 м и настлать потолок, покрыть землей, с одного конца оставить проход»[19]. Осознание опасности было и в тылу, так как принятое в ноябре 1941 года постановление о подготовке истребителей танков по городам и районам оставалось в силе[20]. В архивах мы не обнаружили постановлений Обкома ВКП(б) и о роспуске отрядов самообороны.

История Сурского рубежа закончилась 19-го апреля 1944 года. Точку поставило инструктивное письмо начальника инженерных войск Приволжского военного округа, где было дано указание разобрать сооружения и реализовать материалы населению[21].

В мае 2004 года, проходя по обвалившимся окопам Сурского рубежа, я пережил чувство гордости за своих земляков. Чтобы представить труд землекопов, мы

очищали окопы от обвалов. От усталости мы валились с ног. А это только чистка окопа, тем более весной! Вспомнились руки Анны Сергеевны Макушкиной, стало ясно, почему они изувечены полиартритом. Какую же нечеловеческую силу надо было иметь женщинам и девушкам, чтобы вырыть окоп, построить блиндаж в мерзлой каменистой земле! И это было сделано…

Благодаря стойкости и героизму простых людей задание ГКО СССР по строительству Сурского оборонительного рубежа было завершено в установленные сроки. Но никто из тех, с кем мне пришлось беседовать, не упоминал о наградах за свой беспримерный труд. Главной наградой для них была Победа, ради которой они не жалели своих сил, а порою и жизни.

Примечания

[1] Воспоминания В. А. Менякиной записаны в селе Пермиси Большеберезниковского района Республики Мордовия в августе 2004 года.
[2] Центр документации новейшей истории Республики Мордовия (далее: ЦДНИ РМ). Ф. 269. Оп. 3. Д. 244. Л. 188–189.
[3] Газета «Красная Мордовия».
[4] ЦДНИ РМ. Фонд 1236. Оп. 2. Д. ? Л. 66.
[5] Там же. Л. 67.
[6] Мордовия в 1941–1945 годах: Сборник документов. Саранск, 1995. С. 138.
[7] Центральный государственный архив Республики Мордовия (далее: ЦГА РМ). Ф. 1707. Оп. 1. Д. 240. Л. 631–635.
[8] Воспоминания А. С. Дудаковой записаны в городе Саранске в июле 2004 года.
[9] Мордовия в 1941–1945 годах. С. 118.
[10] Там же. С. 122.
[11] Подвиг народный. Саранск, 1995. С. 98.
[12] Мордовия в 1941–1945 годах. С. 181.
[13] Там же. С. 189.
[14] Там же. С. 182.
[15] ЦДНИ РМ. Ф. 76. Оп. 1. Д. 124. Л. 89–90.
[16] *Ежов М.В.* Военно-техническое обеспечение фронта в годы Великой Отечественной войны: Народ и война. СПб., 1995. С. 129.
[17] Мордовия в 1941–1945 годах. С. 207.
[18] ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 80. Л. 16–22.
[19] Письмо М. Т. Экемскина хранится в семейном архиве Экемскиных. г. Саранск.
[20] ЦДНИ РМ. Ф. 269. Оп. 3. Д. 244. Л. 116–117, 122.
[21] Подвиг народный. Саранск, 1995. С. 103.

«Можно ли людям сказать, что все это не напрасно?» Партизаны Заполярья

Андрей Меньшенин, Мурманская область, г. Мончегорск
10-й класс, научный руководитель Е. А. Зубкова

Военные действия на фронте Заполярья начались 29 июня 1941 года. И я (как и каждый северянин) знаю, что защитники Заполярья — разведчики, пограничники, морские пехотинцы, летчики — отстаивали «насмерть» каждую пядь земли. В сентябре 1941 года защитники Заполярья окончательно остановили захватчиков в районе реки Западная Лица, и фронт стабилизировался в 48 километрах от Мурманска. Немцы закрепились здесь и к 1942 году создали тройную оборону, которая держалась до 1944 года. Затем начался разгром и изгнание врага.

Казалось, что я много знаю о боевых действиях в Заполярье. И вдруг в очередном номере городской газеты я увидел заметку о… партизанах Заполярья. Я и не знал, что у нас на Севере воевали партизаны. В моем представлении партизаны действовали на территории Белоруссии, Украины, Брянской области… У меня появилось много вопросов. Почему возникла необходимость в создании партизанского движения? Кто был организатором? Каким образом формировался отряд или отряды? Кто снабжал оружием, медикаментами, продовольствием, одеждой и т.п.? Результативны ли были их боевые действия?

Я начал действовать. Вначале, конечно, обратился в городскую библиотеку и нашел всего две книжечки о партизанском движении на Севере, но какие (!) — воспоминания партизан через 20 лет после окончания войны.

В списках партизан я искал фамилии моих земляков-мончегорцев. Я обрадовался, когда нашел три фамилии: Злобин Василий Александрович, 1916 года рождения, бывший слесарь комбината «Североникель»; Орлов Петр Григорьевич; Сергиевская (Филонова) Екатерина Алексеевна, бывший фельдшер комбината «Североникель». Сразу обратился в городской Совет ветеранов. Но таких фамилий на учете уже не было: я опоздал… Обратился в архив городской администрации и Музей истории города — нужной информации там не оказалось. Стало досадно, что наш Мончегорск не был линией фронта или территорией боевых действий (конечно, дай бог, что не был!).

Тогда я разложил карту Мурманской области и понял, что «все дороги ведут» в Мурманск — столицу нашего Заполярья, а от Мончегорска до Мурманска почти 200 километров. В Государственном архиве Мурманской области и Областном музее истории и краеведения я получил доступ к партизанским документам, которые использовал затем в работе. Например, партизанские дневники — тетради, где листочки исписаны простым карандашом; некоторые даже без обложки; уже очень ветхие, надписи стираются (понятно, в каких условиях они заполнялись); а поэтому хранение их затруднительно (даже не позволили отк-

серить). Здесь я узнал, что некоторые документы засекречены на 75 лет и к ним пока доступа нет. А детей в областном архиве к документам вообще не допускают, только в присутствии взрослого (желательно научного руководителя работы). Посетили мы и музей Партизанской славы в соседнем городе Полярные Зори и под впечатлением собранной информации даже прошлись по улице с названием Партизан Заполярья.

Но вот самое главное — найти живого участника событий — мне по-прежнему не удавалось. Тогда я обратился к автору заметки, с которой все и началось. Им оказался Виктор Александрович Тельминов — сын члена партизанского отряда Анны Николаевны Тельминовой. Виктор Александрович и стал для меня связующим звеном между прошлым и настоящим. Мы вместе отправились на Партизанский остров.

Путь на Партизанский остров очень сложный — за город Колу (он в стороне от Мурманска) по автотрассе 110–115 километров к финской границе, затем лесная ухабистая местность — сплошные камни разного калибра под ногами, идти практически невозможно. Сразу подумал: а как же здесь ходили партизаны, нагруженные оружием, боеприпасами, продуктами, а если еще несли раненых?!

«Остров Партизанский, находится под охраной государства», — прочитал я на табличке. И ощутил трепет… Встречает всех прибывших главный памятник «Партизанам Заполярья»: высокая каменная стела. На ней читаю фамилии партизан, 48 человек… Это те, кто погибли во время войны и… остались здесь. Всего в списках партизан 154 человека. 2004 год встретили из них только три, которые проживают в Москве, Ленинградской области, Вологде…

Я хочу понять: какие люди были, ведь некоторые из них — почти мои ровесники? Как на нашем севере могли воевать партизаны вопреки отсутствию всех, известных мне, необходимых условий для этого: густой лес, помощь местного населения и т.п.? Противником или помощником была для партизан природа севера? Каким был их быт? Как их обеспечивали хозяйственными принадлежностями, оружием, боеприпасами? Как чувствовали они себя в отряде? Партийная пропаганда, патриотическое чувство и только или что-то еще помогало держаться в невыносимых для человека условиях, стоять «насмерть»? Выполнима ли была партизанская присяга в этих условиях? Какие трудности испытывал командир отряда, ведь партизаны — не солдаты с армейской дисциплиной? Почему на всю оставшуюся жизнь главным в памяти командира отряда и других ветеранов стала их партизанская база, а не действующая армия, в которой многие из них служили до и после появления в отряде? Со всеми этими вопросами я шел по земле партизан…

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в партизанский отряд, принимаю присягу…»

К концу осени 1941 года гитлеровцы, не добившись решающего успеха ни на Мурманском, ни на Кандалакшском направлениях, перешли к обороне и начали

возводить долговременные оборонительные сооружения, укрепляя линию фронта и готовясь затем к наступлению. Тогда штаб Карельского фронта и Мурманский обком партии приняли решение приступить к формированию партизанских отрядов, чтобы встревожить врага и дать ему понять, что география Севера советским партизанам «по плечу» в любое время года. В этом решении я узнаю черты сталинского режима. Директива сверху — и выполнение «любой ценой». Во что это обойдется, тогда не знал никто.

Из воспоминаний командира партизанского отряда «Советский Мурман» С. Куроедова: «Было создано 12 отрядов на Мурманском направлении, но действовать пришлось только двум — „Советскому Мурману“ и „Большевику Заполярья“. Названия отрядов были определены Мурманским обкомом партии». Командиры и комиссары отрядов были назначены обкомом партии, в отряды были направлены специалисты — подрывники-минеры, радисты, медработники, хозяйственники.

Основу же отрядов составляли добровольцы — около 100 человек. В обком, райкомы и горкомы партии были поданы многочисленные заявления с просьбой о зачислении в партизанский отряд. Были примеры, когда люди записывались даже семьями: отец и сын, было несколько пар братьев. Но в отряд непросто было попасть. Отдавалось предпочтение людям, владеющим немецким или финским языками, охотникам и следопытам, хорошо знающим нашу северную тундру, лыжникам, сильным, выносливым людям, и, конечно, имеющим нужную военную специальность. А главное, не было ограничительных рамок по возрасту, как в армии. По характеру заявлений видно, что люди были настроены на быстрый исход войны и с негодованием стремились расправиться с врагом, хотя многие не держали никогда винтовку в руках.

Отряды носили статус комсомольско-молодежных. Средний возраст — чуть больше 20 лет. Но были и опытные люди старшего возраста: бывшие участники Гражданской войны, Финской кампании. Самому молодому партизану было 16 лет, самому старшему — 52 года. Мурманские рыбаки, мончегорские металлурги, апатитские горняки, кандалакшские лесорубы стали северными партизанами.

В июле 1942 года отряды были сформированы, определен район базирования и действий отрядов. После ускоренной военной подготовки неподалеку от Мурманска в тундре, с ночевками у костра, были назначены еще и «курсы поведения под обстрелом и бомбежкой»: Мурманск в то время сильно бомбили. Партизаны «проходили» курсы: тушили пожары, откапывали в заваленных щелях и под обломками зданий жителей города.

В ночь на 14 августа 1942 года отряды отправились к месту постоянной партизанской базы — высота «Ударная» в среднем течении реки Лотты около государственной границы. Этим четырехдневным походом они проверили свои силы. И вот 18 августа достигли высоты 137,2. На долгие 27 месяцев эта высота стала для партизан их лесным домом.

Читаю документы архивного фонда: «Главным объектом нападения была автострада Петсамо–Рованиеми, по которой шло снабжение немецких войск. Взрывая мосты, организуя засады на пути автоколонн, уничтожая мелкие гарнизоны, разрушая линии связи, партизаны тем самым должны были „парализовать“ эту основную коммуникацию противника»[1]. Да, это задачи партизанского характера: диверсии, засады, подрывы — чтобы «мешать» врагу и беспокоить, результативно «парализуя его силы». Партизанское движение ведется, как мне известно, на своей территории в период ее оккупации врагом. Но в нашем случае я обратил внимание на то, что автострада Петсамо–Рованиеми — это Финляндия, а значит, партизанам придется действовать на чужой территории! Вот уже и проявляется различие. Хотя задачи партизанские у всех одинаковы, но ведь в нашем случае выполнять их гораздо сложнее. Таким образом, анализируя деятельность северных партизан, я нашел еще несколько особенностей партизанского движения в Заполярье, значительно усложнявших выполнение оперативных партизанских заданий. На основании этого я позволил себе заключить, что…

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЗАПОЛЯРЬЕ — ОСОБЕННОЕ

Итак, первой особенностью, усложнявшей действия партизан, мне кажется, было то, что для выполнения задания им приходилось *действовать на территории чужого государства*, а отряды базировались на территории своей страны. Это предполагало многокилометровые походы до цели. Читаю воспоминания А. С. Смирнова: «В отличие от партизан Брянщины, Белоруссии и Украины мы ходили на боевые операции в глубокий тыл, порой за 300–350 километров от своей базы, на север Финляндии, преодолевая каждый раз линию обороны противника, представляющую цепь хорошо укрепленных, связанных между собой пикетов и опорных пунктов, расположенных вдоль нашей государственной границы»[2]. Поскольку чужое государство было еще и враждебным, то партизанам необходимо было передвигаться скрытно, чтобы не ввязываться в открытый бой до выполнения основной задачи. Ведь боеприпасы всегда были ограничены ввиду оторванности от базы.

Вторым различием было то, что *воевать им пришлось не только с немцами (гитлеровцами), но и с финнами (щюцкоровцами)*[3]. Это значительно осложняло деятельность партизан. Две разные нации: обмундирование, язык, поведение, оружие, тактика и стратегия военных действий. Ведь не секрет, что, прежде чем воевать с врагом, необходимо его «изучить». Например, по звуку автомата (у финнов автоматы «Суоми») партизаны могли различить врага и разработать тактику боя. А финским подразделениям «горных егерей» были не страшны северный климат и северная зима. Поэтому для партизан финны были даже более опасны, чем немцы. Из воспоминаний А. С. Смирнова: «Честно скажу, мы с уважением относились к финнам, как к солдатам. Немцев мы не боялись, в лесах они чувствовали себя скованно и не решались туда соваться. А финны, даже если их оставалось четверо–пятеро, продолжали преследовать нас»[4].

Поскольку действия партизан происходили на чужой территории и пути походов были разные, то третьей особенностью я бы отметил то, что *действовать*

им приходилось на незнакомой географической местности. Из записей командира отряда А. С. Смирнова после первого похода в 1942 году: «До нашей границы идти просто: карта поднята — и все ясно. Вот дальше… только схема… белый лист бумаги с координатной сеткой». Партизанам неизвестно было, что впереди — речка, овраг или болото. Не сразу и не все карты местности (как, например, в армии) были у них в наличии. Из воспоминаний партизан: «Наши действия осложнялись тем, что мы не умели ориентироваться на однообразной местности, а топографические карты оказались устаревшими»[5].

Следующая особенность: в районе действия партизан *не было гражданского населения, которое бы оказывало им помощь* и снабжало продовольствием, одеждой и т.п. Поэтому продукты, боеприпасы, запасную одежду, медикаменты и прочие необходимые предметы им приходилось носить с собой на длительные многокилометровые расстояния или отбивать у немцев. А для переноски раненых нередко брали с собой в походы оленей, даже был выделен человек по уходу за ними.

Читаю воспоминания А. С. Смирнова: «Действовали мы на территории государства, которое находилось в состоянии войны с нами, и поэтому население его было враждебно настроено к партизанам… Сложно нам было решать проблемы продовольственного снабжения и эвакуации раненых. Поход нередко длился месяц, а то и больше. Каждому партизану надо было взять с собой 300–400 патронов, 4–6 ручных гранат, 1,5–2 кг тола, термитные шары, мины… Брали 60 ржаных сухарей (из расчета полтора сухаря на день), шпик, соль, гороховый суп-пюре, концентрат каши. Поэтому вес рюкзака достигал 40–50 кг. Такая ноша затрудняла движение, изматывала силы… Но если с голодом как-то можно было бороться, то проблему эвакуации раненых мы по существу так и не смогли решить. Попытались использовать для этой цели оленей — безуспешно. И если летом ослабевшие от голода партизаны, меняясь через каждые полсотни метров, могли еще тянуть десятки километров на плечах самодельные носилки с ранеными, то зимой раненого укладывали на волокуши, сделанные на скорую руку из его лыж. Долго ли он мог пролежать при морозе 20–30 градусов, укрытый одной плащ-палаткой?!»

Пятой отличительной особенностью я определил *сам наш Север, вернее, его географию*: тундра, сопки, скалы, бурливые реки, многочисленные озера и болота, мошка и комары. На сотни километров бездорожье и глушь… Из записей А. С. Смирнова: «Пройдя часа три, поднимаемся на сопку. Насколько хватает глаз — болото. На север оно тянется в сторону долины реки Лотты, на запад — видимо, до самого шоссе. За болотом — мощный горный массив. Хвойный лес поднимается по хребту на несколько сот метров, выше — кустарник… Все это нам нужно пройти…» И ко всему еще непредсказуемая погода. Эти реки, озера и болота партизанам приходилось постоянно преодолевать на своем долгом пути, зачастую по грудь в ледяной воде. Из дневника политрука П. Евсеева: «Чуть забрезжил рассвет — двинулись в последний переход… Только бы добраться до перевала, думал я, а оттуда до базы рукой подать. Выкладываем последние силы, с великим трудом дотягиваем до перевала — и что же? За болотом снова та-

кой же перевал, путь до него нелегок, а высота „Ударная“ по-прежнему в далекой дымке… Когда поднимались на какую-то высотку, я оглянулся и поразился: казалось, это взбирается не боевой отряд, а плывет *ручей человеческой муки*…»[6] Такие переправы и переходы были на всем пути партизан в 6 тысяч километров, длившемся 27 месяцев.

Летом тундра «богата» еще одной примечательностью — комары и мошки. Из дневника политрука П. Евсеева: «Людям, не знающим тундры, трудно и представить, сколько здесь бывает мошки и комаров. А если добавить еще слепней, которые появляются в жаркие дни, то такая компания может заесть до смерти… Комары встретили нас в Мурмашах и провожали далеко за границу. Едва показывалось солнце, как они облепляли все, что не защищено. И не было никакого спасения. Помню, у Рестикента впереди меня шел Колычев. Его куртка, фуражка и накомарник, брюки и сапоги стали серыми, мохнатыми, будто их покрыли верблюжьей шерстью. Насекомые сидели один к одному, крыло к крылу, и старались прокусить ткань. Их укусы — настоящее наказание. Мазались всем, что было под руками: одеколоном, водкой, ружейным маслом. Натирались настоем табака, багульником и еще какими-то травами, но помогало мало. Казалось, на всем свете нет существа страшнее и кровожаднее. Лицо покрывалось сплошными волдырями, тело нестерпимо чесалось и горело, словно его облили кислотой… На одном из привалов сильно пострадал радист Борисов. Его лицо так опухло от укусов, что потеряло всякую форму. Глаза заплыли. Кончик носа едва выступал между вздувшимися щеками. Все старания Шуры Артемьевой сбить опухоль не давали результатов. Пришлось на двое суток отложить выход. Когда Борисов стал наконец открывать один глаз, отряд немедленно продолжил путь. Вели его под руки».

Непредсказуемость погоды заставляла на месте менять планы. Из записей А. С. Смирнова: «Тяжелее всего приходилось зимой. С ноября и до конца апреля, даже в мае, лежал снег. Морозы иногда достигали 30–35 градусов. На реках и озерах сплошные наледи, под снегом вода. Лыжи проваливались, валенки намокали, и все это тут же обмерзало, идти становилось совсем невмоготу. Погода менялась по нескольку раз в сутки». Переход за сутки мороза в оттепель и обратно в густой снег, продувные метели, сильные ветра, лютые морозы — испытание не для слабых. Больше суток на улице — уже приговор… Партизаны в одном из зимних походов находились около 20 суток, без костра. Это было страшно…

Поэтому я решил «записать» северный климат третьим врагом (если первый — немцы, второй — финны) партизан.

Итак, многокилометровые походы с тяжелой ношей без поддержки и помощи населения, сражения с тремя «стихиями» (немцы, финны, климат севера) для маленького соединения людей. У каких партизан это еще было? Могло ли предположить командование, организуя партизанское движение в Заполярье, что оно столкнется с такими сложностями? Склонен считать, что командование предполагало, какие жертвы это повлечет за собой. Но это никого не остановило. Советское время требовало героических поступков — «мы за ценой не постоим»…

УЧИЛИСЬ СТРЕЛЯТЬ И БЕРЕЧЬ БОЕПРИПАСЫ, «ДОБЫВАТЬ» И БЕРЕЧЬ ОРУЖИЕ

Читая дневник политрука партизанского отряда, я обратил внимание на то, какое плохое оснащение оружием было первоначально в отряде: «Вскрыли ящики и горько разочаровались. Думали, что дадут автоматы, карабины, пулеметы, „лимонки", пистолеты, а в ящиках оказались реставрированные винтовки „маузер". Ни одного автомата и пулемета. Гранаты — РГД, патронов мало, да и те ржавые… На наши претензии в штабе ответили: „Возьмете у немцев, и будут у вас автоматы и пулеметы. Сейчас Родина другого оружия дать не может».

И они «добывали» себе оружие. Очень ценился немецкий пистолет «Вальтер», считался офицерским оружием. Поэтому первый же, добытый при разгроме офицерского дома отдыха в 1943 году, подарили командиру отряда А. С. Смирнову. Поскольку действия партизан в большинстве своем носили диверсионный характер, то для врага их появление зачастую было неожиданным, а результаты — ошеломляющими. Опомнившись, каратели бросались в погоню. Здесь любая ноша тормозит. И поэтому добытое оружие иногда приходилось бросать: топить в реке, болоте… Но уж зато то, что удавалось доставить на базу, пользовалось особым вниманием.

К середине 1943 года оснащение оружием нормализовалось, и даже появились новые виды оружия. Из записей А. С. Смирнова: «6 августа 1943 года в 19 часов отряд в составе 53 человек вышел в свой седьмой поход. Мы взяли два ручных пулемета, по четыре штуки ручных гранат, автоматы (наши ППШ и немецкие), карабины, термитные шары и шашки, противотанковые гранаты — вооружились, что называется, до зубов». Кроме того, в арсенале партизан появились автоматические винтовки, пулеметы «Дегтярев», тол и даже «Брамит» — прибор для бесшумной стрельбы.

УЧИЛИСЬ ХОДИТЬ БЕЗ СЛЕДОВ

Партизанская война требует особого умения. Из воспоминаний командира отряда «Советский Мурман» С. Куроедова: «В партизанской борьбе успех дела, как правило, решала внезапность. Для этого надо было так проходить линию боевого охранения или вражеские контрольные тропы, чтобы противник не смог заметить нас. Летом мы широко развертывали отряд по фронту. Запрещалось идти след в след, сбивать мох, ломать сучья, бросать на землю окурки. В зимнее же время линию охранения проходили ночью или в ненастную погоду». А ходить партизаны должны по-партизански: легко, маневренно, аккуратно и бесшумно, не оставляя следов. Трудно приобреталось это умение. Из записей А. С. Смирнова: «Кто-то зацепился за торчащий из-подо мха корень и растянулся, гремя снаряжением и чертыхаясь. Кирилл Будник, задев ручным пулеметом за ветви дерева, производит невероятный шум. Впереди отряда идет разведка, которая то и дело докладывает: „Хорошо слышу шум идущего сзади отряда, он мешает что-нибудь услышать впереди"».

Кроме того, после первых же походов командир отряда отметил, что многие бойцы совершенно не умеют ориентироваться в незнакомой лесистой местности: теряются, блуждают и отстают от отряда. «Мы твердо договорились: отстал и заблудился — с места не уходи, замаскируйся и жди. Отряду легче найти одного человека, чем одному человеку отряд… Кроме того, во взводах, отделениях все партизаны были разбиты по парам. И друг без друга каждая пара — никуда. Все это стало непреложным законом партизанской жизни во время похода. После этого у нас не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь заблудился, отстал или совсем потерялся», — пишет командир в дневнике.

Учение давало свои результаты — отряд научился ориентироваться в любую погоду, передвигаться, не оставляя следов.

УЧИЛИСЬ БЕРЕЧЬ НОГИ И ОБУВЬ

Была проблема в отряде и с обувью. Сапог не хватало, носили ботинки с обмотками. Из дневника П. Евсеева: «Уйма хлопот с обмотками, все их клянут почем зря: на икрах плохо держатся, съезжают, разматываются на ходу. Попросил командование решить вопрос с сапогами…»

А зимой, конечно, валенки. И свой секрет (или совет) у командира: «Ноги коченели. Забывшись коротким, тревожным сном, я по привычке, приобретенной еще в Финскую кампанию, и во сне все время шевелил пальцами ног». И все-таки надежного способа, как сберечь ноги зимой 18 суток под открытым небом без костра на 35-градусном морозе, не придумал никто…

УЧИЛИСЬ ПОЛЗАТЬ

Из дневника политрука П. Евсеева: «Учились ползать по-пластунски без оружия. Оказалось, что для многих занятие это очень трудное: надо ползти, не поднимая головы и зада, по сырой земле. Неприятное ощущение». Никакое занятие не проходит даром. Настал день, когда политрук Евсеев записал: «Любой из партизан может километр и больше проползти, сливаясь с землей».

УЧИЛИСЬ МОЛЧАТЬ

«Забудьте, что у вас есть во рту языки… На полную катушку должны работать слух, нюх, зрение» — так приказал командир. Теперь языком партизан должны были стать условные сигналы и знаки. Изучали и применяли такие знаки. Рука, поднятая вверх на высоту головы, — «Внимание!» Вытянутая рука, поднятая вверх и резко опущенная, — «Стой, ложись!» Руки, вытянутые в стороны на ширине плеч, — «Открыть огонь!» Рука в сторону, на высоте плеча, несколько раз опущенная, — «Путь свободен». Разработали и сигналы: один короткий свист — «Стой!», два длинных — «Вперед!».

УЧИЛИСЬ МАСКИРОВАТЬСЯ

Политрук Евсеев в своем дневнике отмечает, что на занятиях вопрос о маскировке был спорным: «Одни доказывали, что это перестраховка. Она изматывает, прививает трусость, нерешительность, мол, каждому «апхчи» не наздравствуешься. Другие поддерживали: действительно, маскировка необходима — береженого бог бережет. Договорились, что маскироваться будем обязательно, но сообразуясь с местностью и обстановкой». Как это выглядело на деле, я узнал из записей А. С. Смирнова: «Легкий свист с головы колонны — все замерли на месте. И тут же неслышно растаяли: кто скрылся, прижавшись к стволу дерева, кто присел меж двух камней…» Или так: «Отряд, маскируя себя ветками берез, взятыми из леса, втянулся в болото и пошел…» Я подумал, что сама северная погода и природа — лучший маскировщик. Летом спасали партизан вещевые мешки, которые по цвету сливались с болотными кочками и принимали на себя основные удары бомбежек. В этом же случае помогали и скалы. Партизаны вспоминают, что, спрятавшись между ними, можно было отсидеться и передохнуть. А зимой даже командир, выйдя из палатки, не видел партизан — только снежные бугорки и богатырский храп. Вот вам и маскировка…

УЧИЛИСЬ ЯЗЫКУ

В отряде среди партизан было несколько карелов, которые отлично знали финский язык. При приеме в партизаны знание языка приветствовалось. Но вот немецкий приходилось учить. Из дневника политрука: «На ходу и на привалах партизаны учат немецкий язык. Уже знают, как сказать по-немецки „стой“, „руки вверх“, „сдавайся“, „вылезай из машины“, „стойте спокойно“, „тихо“, „ложись“, „кругом“». А кроме того, партизаны учились подражать языку… леса. Имитировали крики оленя, куропатки, утки. Сама деятельность партизан требовала этого: невидимость, скрытность, а потому неожиданность, внезапность, молниеносность нападения и исчезновения. Как неуловимые мстители…

УЧИЛИСЬ РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ

Из дневника П. Евсеева: «Для партизан костер — это сама *жизнь*: можно обогреться, сварить еду, обсушиться, хорошо отдохнуть. У каждого из нас была „великая“ *мечта*: разжечь побольше костров в заснеженном лесу, а когда растает снег, убрать угли и головешки и упасть на еловые лапы, под которыми дышит теплом земля. В этом мы видели свое *счастье*». Костер, землянка, лес, партизан — крепко связанная цепочка. И костер всегда на первом месте. Эту «мечту», «счастье», «жизнь» нужно было научиться использовать: разводить в любую погоду, причем костер должен быть бездымным и при необходимости быстро погашаться. Разработали свой северный партизанский способ. Из записей командира А. С. Смирнова: «Пришлось учить и помогать. Непростое это дело, в глубоком снегу, из низкорослой, изогнутой, насквозь промерзшей, твердой, как железо, тонкой березки развести костер. Многие вспоминали Дерсу Узала, который всегда носил в своем узелке „смолье“ для растопок — еловые или сосновые щепочки, густо пропитанные смолой. Такая растопочка быстро вспыхива-

ла даже в дождливую погоду и долго горела, разжигая сырые березовые дрова. Вот и мы строгаем тонкие березовые щепочки, прячем их за пазуху, потом используем как разжигу. Или ищем кустики можжевельника. Наш „заполярный кипарис“ обладает чудесным свойством быстро и жарко разгораться».

УЧИЛИСЬ ХОДИТЬ НА ЛЫЖАХ

Север, зима и снег. Для стремительных разведывательных, штурмовых и диверсионных действий зимних походов партизан, конечно, необходимы лыжи. И умение ходить на них было одним из условий при приеме в отряд. Партизаны понимали это. Понятно, что валенки не совсем удобная обувь для лыж. Партизаны отряда «Советский Мурман», карелы Антон и Лео Биргет, сшили специальную лыжную обувь из голенищ изношенных валенок. Партизаны называли их кеньками[7]. Кеньки, а также крепления — кожаные «наносники» (нашивались на валенки) позволяли мгновенно сбрасывать и надевать лыжи.

УЧИЛИСЬ ВЗРЫВНОМУ ДЕЛУ

В отряде были специалисты-подрывники, инструкторы минного дела. Но и им необходимо было в соответствии с местностью научиться применять свои знания с максимальной пользой для партизан. Нужно было детально изучить границы вражеских минных полей и характер минирования. Кроме того, необходимо было ознакомить партизан со взрывчаткой (мины, тол, термитные шары) и научить этим пользоваться, тем более что боеприпасы всегда были ограничены.

Задачей взрывников отряда было уничтожение мостов и дорог, проводной и кабельной связи, высоковольтной линии. Из воспоминаний партизан отряда: «Мы научились быстро уходить от места диверсии и ловко минировать свои следы, используя для этого гранаты Ф-1. Гранату привязывали к дереву или кусту, к чеке протягивали веревочку или проволоку, свободный конец прикрепляли на расстоянии за какой-нибудь предмет. Каратели, наталкиваясь на такие „сюрпризы“, теряли сразу по нескольку солдат и нередко отказывались от погони». У партизан выработался и свой метод взрыва мостов. Из записей командира А. С. Смирнова: «Метод взрыва мостов „на партизанскую удочку“ нами был многократно опробован. Он заключался в том, что под опоры моста закладывался заряд тола. Сюда же в общий заряд закладывалась толовая шашка от противопехотной мины с упрощенным взрывателем натяжного действия, а к чеке взрывателя привязывалась леска — полевой провод длиной около 70 метров. Она тщательно маскировалась и протягивалась в сторону от моста к сидевшему в засаде партизану. Специальная группа вела наблюдение за дорогой и подавала подрывникам сигналы. И вот по сигналу, в нужный момент (момент „клева“, когда по мосту проходила машина) подрывник рывком лески выдергивал чеку („подсекал удочку“)». Эти результаты давали о себе знать. На крупных мостах немцам пришлось выставить дополнительную охрану. Через каждый километр на столбах была предостерегающая надпись: «Внимание! Близко партизаны! Будьте осторожны!»

На основании одного из документов архивного фонда делаю выводы, что партизаны должны были обнаруживать и обезвреживать диверсионные группы врага, забрасываемые в наш тыл.

«Директива начальника Штаба партизанского движения Карельского фронта генерал-майора С. Я. Вершинина начальнику оперативной группы Штаба партизанского движения Карельского фронта при Военном Совете 14-й армии майору Г. И. Бетковскому о ликвидации диверсионных групп противника, забрасываемых на нашу территорию.

26 декабря 1942 года.

Немедленно ориентируйте командиров отрядов, диверсионных групп, что гестапо выбросило в разных направлениях полицейских предателей, одетых в лохмотья, вооруженных карманным оружием, с задачей пробираться в отряды для уничтожения командиров их... Приказываю:

1. Задерживать всех бродяг, учинять лично тщательный обыск и допрос, выводить в наш тыл, а при невозможности — уничтожать на месте.
2. <...>
3. Настоящий приказ довести до командиров отрядов, командиров взводов <...> Вершинин»[8].

Описание подобного случая есть в воспоминаниях командира отряда «Советский Мурман» С. Куроедова: «Как-то в тылу противника во время большого привала наш пост охраны задержал трех неизвестных людей. На допросе они заявили, что на днях бежали из немецкого лагеря, находящегося где-то на севере Финляндии. Однако их холеные лица, компас, обнаруженный в спичечной коробке, — все это настораживало. Те ли они, за кого себя выдают? Встал вопрос: что делать с пленными?.. Решили передать их пограничникам. Но как? Мы идем на задание, погранполк от нас в 40–45 километрах. Отправить с одним–двумя сопровождающими рискованно. Выделили для конвоя отделение Никифорова. Сразу хочу сказать, что пленные были доставлены по назначению. Пограничники провели соответствующую работу, и „бывшие заключенные“ подробно рассказали о том, когда и как их завербовали в немецкую разведку, с какой целью пробирались на советскую территорию. Командир погранполка выразил нам благодарность за поимку вражеских агентов».

Вообще с пленными были памятные случаи. Из дневника П. Евсеева: «Захватили на Шуорте (гора Финляндии) „языка“, работал на аэродроме. Пленный оставлен на попечении „медицины“ — Лиды Бочковой. Лида связала его, чтобы не убежал. Днем было еще ничего, а вот ночью девушка боялась. Для пущей надежности она на ночь привязывала пленного туго натянутой веревкой к себе, но фашист так трясся за свою жизнь, что не пытался бежать, вел себя пресмирно».

Сложность состояла в доставке пленного до назначения, ведь по пути нужно было беречь его и кормить, чего у них самих не было, а «подножным кормом», например сырыми грибами, он питаться отказывался. Что ж, иногда отдавали пленному последние остатки сухарей…

«ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ БЫТЬ ЧЕСТНЫМ, ХРАБРЫМ, ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ, БДИТЕЛЬНЫМ БОЙЦОМ…»[9]

Вот я и дошел в своей работе до вопроса: какие же люди были в отряде? Как они оказались партизанами?

Изучая архивные документы, анализируя дневники и тетради отряда, читая воспоминания партизан и газетные заметки, я все больше увлекался образом командира отряда «Большевик Заполярья» Александром Сергеевичем Смирновым. О нем одном и писать бы работу, но он не представлял себя в разрыве от отряда. Начав свой жизненный путь в деревне в 1916 году, с малых лет начал работать. Многодетная семья, рано без отца, уличные драки, лидерство среди мальчишек — вот его детство. Спасибо комсомольскому секретарю — наставил на путь истинный. Отправил учиться в Мурманскую совпартшколу. В духе того времени вся дальнейшая жизнь пошла по этому пути — комсомол, партия. Работал в отдаленных стойбищах, где единственный вид передвижения — лыжи и олени. В Финскую кампанию воевал политруком разведроты 112-го стрелкового полка. В 1940 году был назначен завом военным отделом Терского райкома партии (раньше не было военкоматов), где в 1941 году организовывал и отправлял мобилизованных на фронт.

Вызов в обком и новое назначение — командиром партизанского отряда. Кажется, уже такая большая биография, а было на ту пору новоиспеченному командиру всего 25 лет.

Смелый (лихой!), сильный, волевой (удалой!), жизнелюбивый человек, Смирнов стал для партизан образцовым и уважаемым командиром.

Даже враги оценили этого противника по достоинству. За дерзость, неуловимость, непредвиденность действий в боевых операциях финны на войне звали его «капитан Карокка», что в переводе означает Хитрый Лис. Об этом Александр Сергеевич узнал после войны на встрече с финнами по их приглашению. Бывшие егеря недоумевали: как можно было организовать переправу по их бурной горной реке Яурийоки, когда они держали партизан под прицельным ружейно-автоматным огнем? Однако командир Смирнов приказал вплавь форсировать эту реку, и при этом партизаны не потеряли ни одного человека. Финнов озадачил и другой случай. После разгрома партизанами гарнизона Магалло финны вместе с карателями организовали преследование и ждали партизан на выходе у болота, надеясь, что опередили их. Но, ожидая, сделали вывод, что уже опоздали: партизан нигде не было… Смирнов объяснил им через переводчика свою тактику: «Нет, вы не опоздали, вы поспешили. Когда вы, обойдя болото, подошли к подножию горы, мы сидели в нагромождении валунов, а я в бинокль наблюдал вашу суету и марш на восток, в сторону нашей границы»[10].

Во время войны, по данным штаба Карельского фронта, за поимку командира Смирнова немецко-финское командование обещало награду — 50 000 марок.

В воспоминаниях партизан северные партизанские отряды можно было назвать молодежными. Средний возраст — чуть больше двадцати. Что они видели в своей жизни? Образование 6–7 классов, фабрично-заводские курсы, завод. Они, кроме своего северного городка или деревни, страну-то свою не видели. Война «продолжила» их образование, «расширила» кругозор.

Вот как описывает свой отряд командир Александр Сергеевич Смирнов: «Немцы писали в своих газетах, что партизаны — это кадровые офицеры русских, почти все мастера спорта, а многие финны думали, что в отряде были агенты КГБ. Как они ошибались. Обыкновенные, сугубо гражданские шестнадцати-восемнадцатилетние мальчишки и девчонки, тридцати-сорокалетние рыбаки и металлурги — вот кто пришел в отряд. Разношерстно одетые, кто в стоптанных кирзовых сапогах, а кто в ботинках, с черными сухарями в рюкзаках».

В отрядах были и девушки-добровольцы. По 5–6 человек. Валя Дерябина, Шура Артемьева, Лида Бочковая, Женя Краснова, Аня Драгунова — медицинские и кухонные работники отрядов. Девушки наравне с мужчинами участвовали во многих тяжелых походах. А фельдшер Шура Артемьева — в 12 походах (из общих 13)! Но любимицей обоих отрядов была крошечная Паня Шорохова. Из воспоминаний партизан: «Однажды в отряд явилась маленькая девушка с круглым детским лицом. Это была комсомолка Паня Шорохова, слесарь Мурманской судоверфи. Ее окружили партизаны, посыпались дружные шутки и насмешки: „Слушай, крошка! Ты вероятно адресом ошиблась? Тебе, верно, нужен пионерский отряд или детский сад? А ты попала в партизанский отряд…“ За маленький рост, подвижность и оперативность Паню прозвали в отряде „Каплей“, „Шариком“, „Крошкой“»[11].

Паня закончила курсы санинструкторов, поэтому в отряде она была назначена санитаркой. Эта крошечная девушка изумляла всех своей энергией, выносливостью, живостью. Она стремилась доказать, что очень нужна отряду, и везде старалась быть первой. Из воспоминания командира отряда «Советский Мурман» С. Куроедова о боевом походе: «Надо было ускорить переправу. Но как? Ни выше, ни ниже по течению — ни единого мостка. Тогда санитарка Паня Шорохова не долго думая сняла сапоги и первой зашла в воду. За ней последовали все остальные». И в дневнике политрука П. Евсеева тоже есть запись о Пане в тяжелом походе, когда многие выбились из сил: «Передвигаемся еле-еле. А санитарка Шорохова прямо героиня: крохотная девушка помогает ослабевшим — ведет их под руки, тащит оружие».

Почему для нашей страны естественным было использовать женщин в войне? В воспоминаниях С. Куроедова есть такая фраза: «Да в походах без них никак не обойтись». А *каково* им в походах, кто-нибудь может представить?! Если так тяжело мужчине на войне, то молодой девчонке разве по силам эти испытания?

Думаю, мужчины не осознавали этого (или не хотели осознавать?). Во времена жесткой сталинской политики «не должно было быть слабых», а война не щадит никого…

Что осталось от Пани? Справка в партизанских документах: «Шорохова Паня Степановна — санитарка партизанского отряда „Советский Мурман“. Родилась в 1923 году в д. Кутерянка Архангельской области. В Мурманске с 1930 года. Окончила школу, ФЗУ при судоремонтном заводе МГМП. Работала токарем. В партизанском отряде с июля 1942 года. Награждена медалью „Партизану Отечественной войны I степени“. Погибла в бою 18 июля 1944 года».

ПОЛИТРУК ЕВСЕЕВ МЕЖДУ «ДВУХ ОГНЕЙ» — «СИСТЕМЫ» И СОВЕСТИ

Чем больше я читал и узнавал о партизанах, тем больше ощущал себя участником их партизанской жизни. Уже многих знал пофамильно и следил за их действиями: кого-то мысленно поощрял, кого-то, может, и осуждал… Но вот с одним человеком мне очень бы хотелось познакомиться. Это политрук взвода отряда «Советский Мурман» — Петр Александрович Евсеев. Я думаю, что он был очень хорошим человеком. Не знаю, какого он был возраста, но я обратил внимание на правдивость и открытость в отражении событий, честность и самостоятельность суждений на страницах его дневника… Без преувеличения и приукрашивания — как это присуще советским документам. Например, он очень смело пишет о недостатках в снабжении оружием и боеприпасами. Ведь в то время (в условиях сталинского режима) наличие таких записей могло быть для него опасным (стоить ему не только карьеры, но и жизни), если бы эти тетради попали в органы НКВД. Думал ли об этом политрук Евсеев, храня в землянке свой дневник? Благодаря дневнику я почувствовал, как трудно было новобранцам изучать партизанскую «науку», как учились все время (даже ночью были занятия и тренировки), чтобы перехитрить смерть, чтобы выжить, чтобы победить. Учились на ходу: торопил штаб, и через три дня уже был первый поход. В дневнике Евсеева я прочел фразу: «Неужели так мало мучеников на свете, чтоб еще создавать заполярных партизан?» И в этой фразе укор Евсеева-человека правительству и «системе»: что же вы так с народом?

Петр Александрович не побоялся писать в дневнике о своих спорах с комиссаром, объяснял, почему считает неправильными его методы работы. Возможно, Евсеев видит в комиссаре «кабинетного работника», приказы которого обусловлены требованиями директив, а не пользой дела: «Некоторые его установки вызывают у меня внутреннее раздражение. Он считает, что сейчас главное в воспитательной работе — „боевые листки“. Надо, мол, выпускать по нескольку номеров в день. На мой взгляд, это лишнее. Он считает, что нам, комсоставу, надо больше делать самим, меньше надеяться на других. Мне кажется, что надо в первую очередь приучать активно работать коммунистов и комсомольцев. Он считает, что основной вид закалки — утренняя физзарядка. А, по-моему, главное — тренировать ребят на выносливость. С большими перегрузками. А наша зарядка — скорее, забава… Попытался высказать свои сомнения вслух, но получил отбой. Приказ есть приказ».

Но политрук не сдается: «Мы с Колычевым (командир взвода. — *А. М.*) решили, несмотря на это, поступать так, как считали нужным… Хотя, конечно, авторитет комиссара следует повышать». Я уже отмечал ранее, что боевая обстановка во многом заставляла партизан действовать самостоятельно, не оглядываясь на инструкции сверху. Был ли в этом риск вызвать недовольство начальства? Безусловно, да. Но в условиях смертельной опасности такое поведение было оправдано. Но здесь проявление инициативы и самостоятельности в принятии решений тоже могло обернуться против политрука. Наверное, в этом плюсы и минусы партизанской жизни: хоть назначения и приказы все «сверху», хоть и под контролем обкома и штаба фронта, а можно «поступать так, как считали нужным». Вот такой он, политрук Евсеев.

Я отдаю должное Петру Евсееву, что при своей должности он смог так проводить политическую работу, что сохранил и здравый смысл, и независимость.

Тяжелые условия партизанской жизни по-разному сказывались на людях. Кто-то терпел, понимая, что сейчас ничего не изменишь и не это главное, а кто-то не выдерживал: сдавали нервы.

Из дневника П. Евсеева: «Вернулся из похода „Большевик Заполярья“. Ребята рассказали, что у них также не хватило продовольствия, голодали еще больше нас. В один из дней случилось ЧП. Отряд заплутал, и командир Смирнов отдал приказ беречь продукты. Но нашелся вор, который оставил пять или шесть человек без единого сухаря. Его судили всем отрядом, приговорили к расстрелу.

Вечером, когда ложились спать, Колычев завел разговор об этом случае:

— Что ты по этому поводу скажешь?

— А что тут говорить? — ответил я.

— Своего ведь…

Я поднялся, свернул козью ножку, закурил, чтобы собраться с мыслями и найти правильный ответ.

— А что такое свой?

— Не знаешь? — ехидно спросил Иван.

— Ты что, не согласен с приговором всего отряда?

— Если откровенно, то с расстрелом не согласен. Надо было довести до базы и здесь судить.

— А что от этого бы изменилось? А насчет „своих“ и „чужих“ вот что скажу. Может, ты читал, как один зимовщик в Арктике сам себе ногу резал. Обыкновен-

ным ножом. Представляешь? Когда его спросили, почему он это сделал, он ответил: „Здоровая нога своя, а с гангреной — хуже, чем чужая“. Вор — это та же гангрена. „Свой“ или „чужой“ определяются не по паспорту или обмундированию, а по делам.

…Разговор завяз. Конечно, нам обоим было ясно, что вор совершил тяжкое преступление. Колычев понимал вину партизана, как и я, но он в открытую сомневался в правильности приговора, а я выкручивался, хотя в душе радовался, что у нас такого не случилось». И я очень близко ощутил, как это страшно, быть на войне, когда она корежит судьбы людей, когда люди превращаются в нелюдей.

26 РАЗ МЕЖДУ ВРАЖЬЕЙ ЗЕМЛЕЙ И РОДИНОЙ (ПЕРЕХОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ)

Туда. От партизанской базы до границы шли два дня, на третий день переходили государственную границу.

Напряженно начинался каждый из тринадцати походов. Но впечатления о первом переходе были наиболее яркими, потому что каждый «открыл» для себя границу. Как семнадцатилетний Володя Астахов, партизанские «диверсанты» думали, что вдоль границы тянется «колючка» или какой-нибудь забор. Из дневника отряда: «Оказывается, ничего такого нет. Даже не заметили, как перешли. Только комотряда сообщил по цепи: перешли, мол, и теперь находимся на чужой территории».

Уже на «той» земле отряд рассредоточивался и шел рассыпным строем. Такой порядок обеспечивал партизанам круговую оборону на марше. Обычно шли без привала несколько часов, и за все это время никто не произносил ни звука.

Прошло чуть более полгода с первого перехода, когда к лету 1943 года на пути партизан уже на подходах к шоссе, в лесу и на болотах появились завалы, а вокруг хуторов — заборы из бревен с амбразурами для стрельбы. Значит, о партизанах уже знали все. «Мы ходили на виду у всей Финляндии, и эхо партизанских взрывов разносилось по всему ее северу» — так вспоминали партизаны в книге «Костры партизанские…» Но враждебное окружение ощущать было очень тяжело, зная, что помощь ни откуда не придет. 13 раз партизаны «отрывались» от Родины, уходя выполнять ее задание.

Обратно. Поэтому, выполнив задание, — скорее домой. Возможные пути возвращения партизан часто перекрывались карателями. Они устраивали настоящую охоту за партизанами. Поэтому у партизан на обратном пути задача была запутать следы и уйти как можно дальше. 13 раз возвращались они с вражьей земли, каждый раз отрываясь от преследователей, сопровождаемые немецким самолетом-разведчиком или бомбардировщиком, ожидая впереди вражескую засаду.

«ЧУВАЛЫ» И «СИДОРЫ»

Перед каждым походом на базе начинались сборы вещевых мешков. В условиях Заполярья, где на сотни километров ни одного населенного пункта, каждый партизан должен был тащить на себе полуторамесячный запас продовольствия, оружие, боеприпасы, словом, «целое хозяйство». Руководство отрядов ломало голову, какие продукты включить в походный рацион, чтобы они были легкими и питательными, долго бы хранились и употреблялись без приготовления. Из дневника партизанского отряда: «15 июня 1943 года. Снова готовим мешки к походу. Килограмм под 35–40 получается. Поэтому и назвали их партизаны „сидорами“[12]. Как взвалишь такой на плечи, сразу и сядешь. А его надо нести…»[13]

Что же старались положить в мешок в первую очередь: «Мешки или, как партизаны окрестили их „сидоры“, получились тяжелыми и объемистыми. Кроме продовольствия на 15 дней, в каждом из них — 5 толовых шашек, 2 гранаты, 50 патронов, 2 термитные шашки, 2 бутылки с зажигательной смесью, бикфордов шнур, запалы… Многие ребята, надеясь на фрицевские галеты, втихаря сокращали продовольствие и увеличивали боезапас…»

Чего же не должно быть в рюкзаке? Запрещалось брать с собой в поход какие бы то ни было записи, фотоаппарат. В походе партизаны не должны были иметь при себе документов. Кроме того, уходя в тыл противника, никто не брал с собой бритвенных приборов.

«Когда-нибудь наши „сидоры“ в музей повесят», — считали партизаны. И, как оказалось, были правы. По крайней мере, в музее Партизанской славы города Полярные Зори Мурманской области на стенде закреплен партизанский „сидор“ — большой серый мешок почти с меня ростом. Он действительно достоин здесь находиться — как вещественное доказательство всех трудностей, которые достались на долю партизан Заполярья.

ПЕРЕХОДЫ И ПЕРЕПРАВЫ НА ПУТИ В 6 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

В каждом походе предстояло пройти 250–300 километров. Это несколько недель пути. И зачастую сразу же, не отдохнув, приходилось выполнять задание либо непредвиденно вступать в бой.

Как это было летом. Из дневника политрука П. Евсеева: «В первый день похода шли очень медленно и тяжело: за сутки не более 10–15 километров. Отряд растянулся. Многие вырубили длинные палки и шли, сгорбившись, опираясь на них, как на посох. Каждые 1,5–2 км привал: партизаны ложатся на землю и отдыхают по 20 минут… Ночевали в негустом лесочке, без огня, прямо на земле. Спали часа четыре, не больше».

Возможно ли ползти с таким неподъемным «сидором»? «Груз за плечами прижимал к земле», — вспоминают партизаны. Я допускаю, что кого-то даже мог

и придавить такой груз. А над головой нести такой груз на вытянутых руках, идя вброд по воде, представляете? «Тяжело», — пишет политрук. Разве все трудности опишешь?! Как тут не упасть…

Партизаны забирали у ослабевших «сидоры» и оружие, подставляли свое плечо и продолжали путь. Слово «усталость» стало в их обиходе постоянным: усталостью было «пропитано» все тело, усталость «не давала» подняться, усталость «прибивала» к холодной земле… Из записей А. С. Смирнова: «Я и сам чувствую, организм перестает повиноваться и требует отдыха. Гляжу на светящуюся стрелку компаса и ничего не вижу; слушаю, что говорит подошедший Семенов, и не слышу; стараюсь понять смысл сказанного — и не понимаю — ужасное состояние…»

Осенние походы несли с собой и дополнительные препятствия — дожди, холодный северный ветер. А водные преграды преодолевать нужно было по-прежнему.

Как это было зимой. Глубокий и рыхлый снег, скользкий лед, а под ним, возможно, вода, стужа, полгода сплошные сумерки — вот преграды для зимних переходов. Здесь и экипировка другая — лыжи, маскхалаты, валенки и олени с кережами[14]. Кережи грузились медикаментами, иногда дополнительно боеприпасами и продовольствием, чтобы хоть как-то разгрузить партизан, а в конце похода олениной пополнить рацион. Но, как вспоминают партизаны, после первых же зимних походов от оленьих упряжек в дальнейшем пришлось отказаться, так как при наличии упряжек с оленями непредсказуемая зимняя погода Заполярья лишала отряд всякой маневренности.

Зимний поход начинался от базы по льду реки Анномы. Затем путь лежал в лес. Снег был здесь рыхлый и глубокий. Из записей А. С. Смирнова: «Лыжи проваливались, идти стало тяжело. Приходилось торить лыжню, все время сменяя друг друга. Впереди шли самые выносливые и крепкие партизаны… А так как нас было более ста человек, да еще кережи с оленями, то в глубоком и рыхлом снегу оставалась торная дорога. Мы шутили на привале, что, мол, немцы, обнаружив с самолета нашу лыжню, поднимут панику, подумав, что советская дивизия обходит их с правого фланга…» Затем лес редел и переходил в низкорослый березняк с частыми озерами и болотами. Идти здесь было легче: ровная местность, да и снег уплотнен ветром. Но на болотах и озерах к прежним трудностям марша прибавлялись новые: под снегом во многих местах из-за неустойчивой северной погоды оказывался не лед, а вода. Из воспоминаний начштаба отряда П.Семенова: «Это беда. Лыжи сразу намокли, а некоторые партизаны замочили и ноги. Скользящая поверхность лыж покрылась бугристой коркой льда. Пошли медленнее, то и дело прощупывая палками и обходя стороной подозрительные участки… Идти на таких лыжах дальше совершенно невозможно. На берегу скребли их ножами, проклиная все на свете».

Но, кроме этого, маневренность лыж сковывал и мокрый густой снег, который налипал на них при оттепели. А оттепель часто бывает у нас в Заполярье после мороза. По два дня разведчики отряда шли, не снимая лыж, по трое суток партизаны не знали сна, четверо суток и более, бывало, терпели без костров и горя-

чей пищи. Если же появлялась возможность сделать привал и развести костры, то их прятали в снежные ямы и маскировали еловым лапником. Затем в такой ямке устраивались на ночлег по 2–3 человека, укрывшись плащ-палатками. Короткий сон чередовали с побудками для согревания, «гимнастики» и растирания ног… И снова шли — шли безостановочно. На некотором расстоянии друг от друга, чтобы в случае засады не всем сразу попасть под огонь. Около 6 тысяч километров в таких условиях пришлось пройти партизанам за период своей боевой деятельности.

БОЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ

Первый поход 1942 года длился с 22 августа по 25 сентября. Он носил разведывательный характер в тылу врага. Партизаны ознакомились с районом будущих действий протяженностью 1000 километров, установили места расположения многих пикетов на границе, разведали, где легче всего пройти линию обороны.

Ночью определили расположение вражеских пикетов по дыму (видимо, топили печки или жгли костры). Тогда же заминировали контрольные тропы и броды. Группы отряда «Советский Мурман», дойдя до дороги Печенга–Рованиеми, приступили к работе. Одна группа уничтожила автомашину, другая взорвала мост, третья — телефонно-телеграфные столбы и линию связи, четвертая — линию высокого напряжения, снабжающую электричеством немецкие объекты. Все это имело большое значение. Так вражеская территория впервые услышала эхо партизанских взрывов. А партизаны отряда «Большевик Заполярья», увидев крупный обоз щюцкоровцев, впервые вступили в бой.

13 декабря 1942 года представитель штаба партизанского движения привез приказ для второго похода. Выход назначался на 17 декабря. Задачей похода было нанести внезапный удар по зенитным батареям и аэродрому противника в районе Сальмиярви. От партизанской базы до района Сальмиярви примерно 300 километров. Как вспоминает комотряда «Советский Мурман» С. Куроедов: «В сводной группе из двух отрядов — 120 человек. Шесть оленей тащили за нами кережи. Мы, как гусеничный трактор, оставляли после себя торную дорогу… С самого начала наш первый поход осложнила погода: три дня шел снег с дождем. Он забивался под капюшон маскхалата, слепил глаза, сек лица. Валенки и одежда намокли, а затем, как только ударил крепкий мороз, „сели“, стали жесткими и тесными. Маскхалаты превратились в ледяные панцири».

Отход партизан был тяжелым. Чтобы сбить с толку преследователей, шли на юг более 12 часов без отдыха. Люди валились с ног. Из воспоминаний командира сводного отряда этого похода С. Куроедова: «Уже три или четыре дня мы обходились без горячей пищи. Но теперь при температуре –35 градусов и резком северо-восточном ветре окоченевшие люди стали отставать. В конце суток устроили большой привал. Но снова без костров: место почти открытое. Сразу все и всех замело снегом». Спать на таком сильном морозе было трудно. Мало кто знает, что на холоде даже во сне мышцы дрожат. Партизаны шутили: „Если бы не умели дрожать, давно бы замерзли“».

Анализируя свидетельства очевидцев и партизанские документы, я старался составить более полную картину и объективно определить причины трагедии этого самого тяжелого партизанского похода, получившего название «ледовый». Из дневника политрука П. Евсеева: «Утром 27 декабря разведка доложила, что отряд преследуют три группы противника. Куроедов отдал приказ нашему взводу атаковать центральную группу преследователей. В 9 часов 25 минут мы напали на фашистов, которых было не более 15 человек. Колычев выбрал удачное для удара время, когда противник стал располагаться на привал. Немцы не ожидали нападения. В первые же секунды чьей-то меткой пулей был убит офицер. А через десять минут вообще все было кончено: девять фашистов убиты, двое тяжело ранены».

К вечеру отряд вышел на озеро. Сзади слышались голоса немцев. Не оставалось ничего другого, как пересекать озеро. Евсеев отмечает в дневнике, что метров двести все шли нормально. Но на середине озера под снегом оказалась вода. Лыжи сразу обмерзли, партизаны сбросили их и остальную часть пути шли по колено в мокром снегу. «Только успели перейти озеро, как появились фашисты. Но спуститься на озеро они не решились. Преследование прекратилось, но они выпустили вверх три красные ракеты, значит, из виду не потеряли…»

А впереди партизан ждали новые испытания. Крепчал мороз. Валенки после этого озера промокли насквозь, замерзли и не сгибались в подъеме и «теперь разламывались». Появились больные и обмороженные. «Руки и лицо растирали снегом, спиртом, суконками, но это не спасало» (из дневника партизанского отряда). Вспоминает Иван Шнюков: «Достал из вещмешка консервы и сухарь на двоих. Хотел подкормить Сашу Незговорова. Открыл банку, а там все замерзло — лед. Пока возился, руки закоченели, взять ничего не могу. Рукавицы-то у нас мокрые, как и валенки. Шура (медсестра. — *А. М.*) посоветовала мне потереть руки снегом. Это помогло, но ненадолго, в дальнейшем пальцы примерзли к рукавицам. Я заметил: стоит подморозить кончики пальцев, как тут же чернота появляется с обратной стороны, за ногтями. …А в мокрых валенках ноги спасали таким образом: на привалах перематывали портянки. Часть посуше шла к стопам, а мокрая — к голенищу. Но через некоторое время и это не помогало. Отсыревшие валенки от мороза так „садились“, что совсем сжимали ноги. Перематывание портянок уже не спасало. Согреться можно было только в движении, про костры все давно забыли. Спали, укрывшись плащ-палаткой, по 2–3 часа в сутки».

В этой ситуации начало сказываться моральное и физическое истощение людей. Из воспоминания комотряда С. Куроедова: «Комсомолец Саша Ефремов запросился в кережу — тот, кто ложился туда, обрекал себя на смерть, замерзал через несколько дней или даже через несколько часов. Помню последний разговор с Сашей. Он стоит у лыжни, я подхожу и спрашиваю: „В чем дело, почему не идешь?“ А он просит: „Товарищ командир, расстегните мне пуговицы…“ Ефремов так закоченел, что не мог расстегнуть брюки…»

На партизан нашло безразличие. Евсеев пишет в дневнике: «Я заметил, что у Михаила Мурина, шедшего рядом, веки сомкнуты. Он спал, продолжая двигаться по

инерции. Вскоре я и сам почувствовал, будто уплываю куда-то. Потом споткнулся и поймал себя на том, что заснул. Шли будто пьяные, покачиваясь из стороны в сторону». Командир увидел такое состояние отряда и приказал идти к лесу, чтобы отдохнуть и попытаться обсушиться. Но не успели расположиться с кострами, как послышался гул вражеского самолета. Пришлось все погасить и предпринять только короткий отдых.

Сделали еще два перехода и оказались на небольшой высоте в густом сосновом лесу. Здесь они решились впервые за полмесяца развести настоящие большие костры и встретить новый, 1943 год. Из дневника П. Евсеева: «Мороз 35 градусов. А у нас — долгожданный костер. Даже посветлели лица. Появились котелки, вешалки с одеждой. Разулись, сушим валенки. Комиссар объявил: „Через три часа наступит Новый, 1943 год. Разведка сообщает, что ничего опасного пока нет… В честь Нового года разрешаю израсходовать по одной пачке концентратов и по банке сухого спирта на человека". Встречали Новый год по всем правилам. Через носовые платки и разные тряпки выжали из „жми-дави"[15] почти по 100 граммов буроватого спирта, вонявшего денатуратом, воском и еще чем-то… Выпили за Победу!»

Не удалось тогда вволю насладиться теплом костров, небесный гул снова возвестил об опасности… Дальнейший выход на Кучин-тундру был для партизан мучительным. Их бомбили и обстреливали из пулеметов немецкие самолеты. На «хвосте» все время висели каратели, от которых то и дело приходилось отбиваться. Ко всем бедам прибавился голод. Из воспоминаний С. Куроедова (в этом походе он командовал сводным отрядом): «Еды никакой: у кого сухарь-два, у кого крошки, а у некоторых и того нет. Едят снег… Люди опухли от голода, обморожены, а надо идти еще не менее 60 километров».

Я подумал, что это был предел человеческим возможностям. Как можно в таком физическом состоянии еще нести оружие и быть готовым к бою? Как в этих страшных условиях они не сошли с ума?! Подтверждение своим мыслям нашел в дневнике партизанского отряда: «2 января 1943-го. На утро мороз до 40 градусов. Двигаемся к границе. Местность пересечена болотами… Днем стало известно, что исчез боец Мозаков из группы Колтакова. Разведка Чеканова вышли на поиски. Товарищ Мозаков был обнаружен в 5–6 км в западном направлении. Конечности рук и ног были обморожены до такой степени, что кожа на руках висела, как оборванные тряпки. По-видимому, т. Мозаков был не в своем уме, и на вопрос, куда он направляется, отвечал: „Был дома" и благодарил командира, что тот его отпустил. „Теперь я всегда буду заходить домой…" Привели его к костру и старались отогреть… На самой границе в 100 м на нашей территории похоронили т. Рязанова. Он умер не столько от обморожения, сколько от ослабления сердечной деятельности».

Дневник политрука П. Евсеева свидетельствует нам, что на очередном привале заболел еще один боец. Он побрел куда-то, не разбирая дороги. Партизаны догнали его, спросили: «Куда направился?» Он ответил: «В ресторан. Разве вы не чуете запах печеного хлеба?» Ребята поняли, что он тяжело болен: «Послушай, если здесь и есть какая-нибудь столовая, то только для гражданских, туда не

впускают с оружием». Он без сопротивления отдал автомат, гранаты и финский нож. Его уговорили потерпеть и идти вместе со всеми. Партизан стал раздавать всем остатки своих сухарей, каждого встречного брал под руку и уговаривал пойти с ним, обещая как следует угостить. К утру он скончался… С. Куроедов вспоминает, что отряд растянулся на добрых десять километров. Замерзшие, измученные, оборванные, кто на двух лыжах, кто на одной, кто с одной палкой, а кто и вовсе без палок, все передвигались из последних сил. «С трудом преодолевали любой бугорок на тропе, любую ямочку. Часто было слышно, как гремели лыжи. Это значило: кто-то из партизан упал…» Усталость и стужа подкосили многих. Из дневника партизанского отряда: «Мы даже образовали своего рода „похоронное бюро“, которое обязано было фиксировать смерть, изымать снаряжение, личные вещи и хоронить мертвых».

Петр Евсеев пишет в своем дневнике, что не мог больше наблюдать ужаса этого «ледового» похода и пошел к комсоставу отряда. Но комиссар (которого так недолюбливал Евсеев) ему ответил: «Не надо паниковать, политрук. Держи себя в руках. Штабу все известно. Но ты ведь понимаешь, что надо идти как можно быстрее. В этом спасение. Идти, пока есть силы». И я чувствую, что не все свои раздумья политрук доверил дневнику. Я думаю, у него тоже были вопросы, как и у меня: «А если ни у кого уже нет сил?!», «Если Штабу все известно, как могли допустить такие страшные потери? Почему не организовали спасение самолетами (допускаю, в тундре негде сесть, но сбросить теплые вещи и продукты можно), оленьими или собачьими упряжками, наконец?», «Есть ли прок в этих жертвах? Где и в чем боевой результат этой операции, чтоб можно было людям сказать, что все это не напрасно?» Политрук остался без ответов на свои вопросы…

С неимоверными трудностями 2 января отряд вышел на Кучин-тундру. Кучин-тундра, ставшая для партизан «временной базой» в этом походе, принимала все новых обмороженных. Командиру доложили, что четыре человека при смерти, 56 — с различными степенями обморожения, 18 человек не могут двигаться. Обмороженных расположили у костров и следили, чтобы переворачивать. Из воспоминаний И. Шнюкова: «Все беспокоились друг о друге, помогали чем могли. Я такой дружбы и взаимопомощи ни до, ни после нигде не встречал». Снова воздушный гул предупредил о том, что надо ждать «гостей». Костры пришлось погасить. Командир принял решение: раненых и обмороженных оставить у костров, а тех, кто еще может двигаться, направить на базу за продуктами и помощью.

Из воспоминаний А. С. Смирнова: «Я и комиссар Селезнев остаемся на месте с ранеными и обмороженными. Я никогда не забуду той ночи. Кое-как сделали в снегу окопы и заняли круговую оборону, хотя многие стрелять не могли: обморожены руки. Костры опять развести не сумели — „пропитанная“ сырым снегом и „прибитая“ морозом березка никак не разгоралась. Сидим, пощелкивая зубами. Комиссар шутит: „Если бы не умел дрожать, то давно бы замерз“. И, содрогаясь всем телом, прохрипел: „За одну кружку крепкого чая полжизни не жалко“. Снова появились самолеты, сбросили бомбы и улетели… Выдвигаем по лыжне, откуда пришли, дополнительный пост из двух человек. Один с обмороженными ногами мог стрелять, другой с обмороженными руками мог ходить.

Договариваемся, что при появлении немцев они кричат: „Ура!“ и стреляют. Всем остальным делать то же самое: кто может ведет огонь, другие кричат „Ура!“».

Я сижу в теплой уютной комнате и анализирую эту картину предстоящего боя. Мне кажется все это нереальным и напоминает детскую игру в войну — стрелять никто не может, потому что в детской игре — оружие игрушечное, а здесь у взрослых обморожены руки, зато можно громкими криками «Ура!» пугать врага. Смешно?! Тогда было не до смеха. Отчаяние граничило с безумием. Три десятка партизан, измученных голодом, холодом, усталостью и болью, готовились принять, может быть, последний в жизни бой.

Из воспоминаний А. С. Смирнова: «Под утро наш дозор открыл стрельбу: появилась первая группа противника. Поднимаем шум. Немцы озадачились. Подойти не решаются, видимо, ждут подкрепления… И мы тогда подумали, что нам надо уходить на базу самим. Помощи ждать долго». Они уложили раненых и обмороженных на волокуши и двинулись в путь. Люди еле передвигались, «норовили спрятаться под елку или упасть в сугроб, чтоб больше не подниматься. Ни звуков, ни разговоров, только болезненный тяжелый хрип». Скорее, это шли не люди, а страшные привидения, подумал я. Одичавший, безумный вид.

К утру удалось оторваться от немцев на значительное расстояние и дойти до соснового леса. Из записей А. С. Смирнова: «Впервые за 20 дней не таясь, развели настоящие большие костры. Много!!! Стали кипятить снег и с жадностью пить горячую воду. Те, кто думает, что на морозе согревает спирт или водка, глубоко ошибаются. Это только сначала, когда выпьешь, кажется, тепло, а через некоторое время зябнешь сильнее, чем прежде. А вот кипяток, да еще заваренный „пакколой“[16] (есть такие наплывы на березе), это прелесть, блаженство! Он не только согревает, но и наполняет человека бодростью. Это я по себе знаю…»

Так закончился этот самый страшный поход партизан Заполярья с 17 декабря 1942 года по 7 января 1943 года. Тогда не хватало сил у живых, чтобы хоронить мертвых в земле, их хоронили в снегу. Тот, кто остался жив, навсегда запомнил ледовый поход и зиму 1942/43 года.

Из рапорта командира сводной группы партизанских отрядов «Советский Мурман» и «Большевик Заполярья» начальнику Штаба партизанского движения при Военном Совете Карельского фронта комбригу С. Я. Вершинину:

От 17 января 1943 года.

«…Потери.
Вышло в поход — 119 человек.
Из них похоронили — 23 человека: 15 человек — убито, 1 — расстрелян, 7 — замерзло.
Отправили в госпиталь — 60 человек: 56 — с обморожением, 4 — с ранением.
Вернулись на базу — 36 человек.
Куроедов»[17].

После госпиталя некоторые партизаны по возможности вернулись в отряд. Кроме того, в марте 1943 года пришло пополнение — 20 человек.

Партизаны «докучали» врагу, заставляя считаться с собой, отвлекали фашистов на себя, не позволяя снимать с этого участка фронта вражеские силы, прореживали ряды противника, нарушая его планы и ослабевая мощь.

Зима 1944 года… По приказу Штаба партизанского движения сводное соединение отрядов «Большевик Заполярья» и «Советский Мурман» в составе 112 человек 22 января выступили в поход. Я не мог не возмутиться… Как? Снова в поход зимой? Как же так, ведь прошлый «ледовый» поход «забрал» половину отряда?! Какой смысл опять повторять трагедию?.. Но Штаб партизанского движения Карельского фронта требовал активных действий, Мурманский обком партии ждал боевых успехов, управление НКВД по Мурманской области торопило с разведданными. Что же получается: никаких выводов, никаких корректирующих разработок по зимнему периоду? Нет, о состоянии людей никто не думает, нужны только результаты… Задачей операции было провести тщательную разведку и разгромить находящуюся в соответствующих координатах перевалочную базу снабжения батальона противника. Об этой базе не было почти никаких сведений ни у пограничников, ни в штабе. Лишь известно неточное месторасположение и что рядом находится батальон 1200 щюцкоровцев, отличных лыжников. Командиром сводного отряда был назначен А. С. Смирнов.

Тяжелые зимние походы «ставили» каждому из них особую оценку прочности. Через много лет на партизанских слетах партизаны вспоминали этот поход и с сомнением спрашивали друг друга: «Да неужто мы тогда прошли 98 километров без сна, без отдыха? Как же хватило сил? Как и где они брались?» Заботы друг о друге помогали им не поддаваться слабости, в отряде даже бытовало слово «браток» — так они стали дороги друг другу.

«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» КАК ПОСТОЯННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАРТИЗАН В ПУТИ

Авиация противника «докучала» партизанам на всем пути их продвижения. Это стало проявляться в первом же походе. Из дневника политрука П. Евсеева: «Раздалась команда „Воздух!“ Самолет был случайным, тревога напрасной, но она выявила и нашу неорганизованность. Некоторые, побросав мешки, убежали без оружия и без одежды. Пришлось серьезно побеседовать с паникерами».

Вражеские самолеты выслеживали партизан, сообщая своим координаты их местонахождения. Партизаны вспоминают, что, сколько бы они ни шли, почти все время над ними «висел» двухфюзеляжный самолет-разведчик «фокке-вульф» или «рама», как они его называли. Появление «рамы» у них ассоциировалось с последующим появлением преследователей.

Самое ужасное, когда команда «Воздух!» заставала партизан при переходе болота. Из записей А. С. Смирнова: «Ясно слышно прерывистое подвывание са-

молета. У меня похолодело в груди: „Этого только не хватало…“ Правее разглядел небольшой островок с высокими кочками. „Всем направо, быстрей! Лежать, не шевелиться, пока не будет команды. Лицо, руки, светлое спрятать!“ — крикнул я. Люди залегли прямо между кочек, забросав себя илом. Самолет внезапно выплыл из-за леса и пошел на нас. Мы замерли. Это был хорошо знакомый „фокке-вульф“ — „рама“. Мотор ревел как раз над нашими головами. Казалось, вот-вот раздастся пулеметная очередь или свист бомбы. Никто не шевелился, никто не поднял головы даже после того, как самолет пролетел наш островок. „Значит, не обнаружили“, — очень хотелось так думать. Но „рама“ долетела до края болота, пошла над склонами гор и опять низко-низко над болотом, но теперь уже над тем берегом, куда мы шли. Затем улетела в сторону Лотты, снова вернулась. И так в течение двух или трех часов. Все эти часы мы лежали в мокрой гнили, не шевелясь. Над нами кружили мириады комаров, забивали глаза, рот, нос, уши… Кошмар! Это было страшно! Наконец гул самолета затих».

Хорошо, что летом вот так можно было укрыться и спрятаться от воздушного преследования. Но зимой я представляю, что пилот обнаруживал не только следы, но и самих партизан.

ГОЛОД КАК ИТОГ ИСПЫТАНИЯ И ПОХОДА

Партизаны вспоминают, что очень трудно было рассчитать и распределить количество продуктов на такой дальний поход: все не предугадать. Поэтому уже в первом походе политруки вынуждены были проводить беседу на тему «Экономьте сухари», так как кое-кто сразу же проявил недисциплинированность: вместо половины сжевал по целому сухарю. Ведь, поскольку костры разводить запрещено, питались большей частью всухомятку. Кроме того, когда прошел дождь, увидели, что вместе с одеждой сухари и концентраты от сырости тоже стали набухать. И опять политрукам пришлось в который уже раз заводить разговор о хранении и экономии продуктов.

Я подумал, что это был первый поход партизан, может быть, поэтому так трудно было соблюдать распределение продуктов по норме. Ну не могли еще партизаны настроиться на эту свою мизерную норму. Но меня удивило, как надеялись на взятие продуктов у немцев (ведь не магазин и не склад). Вероятно, располагали какими-то сведениями.

Как этот вопрос решается дальше, Евсеев описывает в своем дневнике. Провели операцию по выполнению боевого задания и повернули обратно, в сторону своей базы. На привале «выяснилось, что продуктов уже ни у кого нет. Выдали из общего котла по четверти сухаря на день, по 50 граммов концентратов на троих и по кусочку формованного сахара. Надежды на немецкие продукты не сбылись… Партизаны голодали. Из мешков вытряхнули все сухарные крошки, но есть их было невозможно: примесь тола сразу вызывала тошноту. Ссыпали все крошки в котелок, налили воды. Сухарная масса всплыла, осторожно зачерпнув, переложили ее в другой котелок. Это хлебное месиво раздали раненым… Прихо-

дится экономить, а экономить нечего… Предупредили под угрозой расстрела НЗ не трогать. Идти осталось около 100 километров. Путь длинный, нелегкий, но голод не „тетка“. Я все думаю: выдержим ли?»

Неудивительно, что с немецкими продуктами ничего не вышло: первый поход, не все рассчитали. Хотя, я замечаю, что еще не крайность — «НЗ не трогать». О проблемах с продовольствием читаю и в дневнике партизанского отряда, который вел помощник командира по комсомольской линии Иван Мужиков:

«Днем встретили стадо оленей. Эх, убить бы хотя одного на взвод. Запросили разрешения у Куроедова. Связной передал: „Не стрелять!“. „Мясо“ убежало от голодных партизан. Это очень нам не понравилось. Самолеты продолжают утюжить тундру, по-видимому, все еще ищут нас… Едим ягоды и сырые грибы. Ужасно мучаемся без соли. О ней чуть ли не легенды складывают. Грибы без соли опротивели. Начались поносы, появились признаки дистрофии: ребята стали пухнуть…

Снова встретили оленей. На сей раз, не спрашивая никого, Зайцев одной пулей уложил животное. Освежевали оленя и начали делить. Разложили все на пять кучек. Зайцев отвернулся, а Казаринов, показывая на кучку мяса, спрашивал: „Кому?“. „Первому взводу“, — отвечал Зайцев. „Кому?“ — „Разведке“. „Кому?“ — „Штабу отряда“ — и раздавали дальше. Сырое мясо Катя Филонова (наша мончегорская медсестра. — *А. М.*) есть запретила, и Куроедов пообещал скоро устроить привал с кострами. Нести оленину поручили самым надежным, как драгоценный груз»[18].

Вообще я наблюдаю: человек может привыкнуть ко всему. Вот отмечаю, что партизаны привыкли и к стрельбе, и к бомбежке, и к изнурительным походам. Но вот к сырым грибам, без соли — это невозможно.

В интервью с Юрием Александровичем Смирновым (младшим сыном командира отряда А. С. Смирнова) я задавал вопрос: «Как осуществлялось снабжение партизан продовольствием? Что ему известно об этом?» Ю. А. Смирнов ответил, что, как ему известно из воспоминаний партизан, снабжение шло от пограничников. Целенаправленно на ближайшую погранзаставу доставлялось продовольствие (и все остальное) от штаба армии, а уже пограничники на санях оленями привозили все на партизанскую базу.

И все-таки, что же из продовольствия было на базе? Чем кормили партизан?

Оказывается, меню у партизан почти одно и то же — что в походе, что на базе. Разве что по целому ржаному сухарю (в походе была норма половинка на день, затем четверть). Сделали партизаны вывод из первого похода по продуктообеспечению? Конечно. П. Евсеев в дневнике отмечает, что эту тему даже разбирали на партсобрании. Наметили брать в поход оленей и иметь запас продовольствия на временных базах. А также стараться решать этот вопрос в тылу врага при разгроме немецких обозов, автоколонн, баз, складов и т.д.

На деле эти планы не всегда сочетались с возможностями. Поэтому голода в походах никогда не удавалось избежать. Он был постоянным «сопровождающим», доводящим иногда до безумия и ЧП.

Выручали партизан и рыбные озера-реки. Из воспоминаний Н. Ефимовского:

«Однажды, когда мы возвращались с „языком“ на свою базу, кончились продукты. Ох, и хватили же мы голодухи! Как всегда, перешли на подножный корм, но ни у кого не оказалось и щепотки соли. Пленный категорически отказался есть пресные грибы.

Миновали государственную границу, остановились у речки Яурийоки, и здесь А. С. Смирнов наловил столько рыбы, что хватило накормить всех. Но к этому богатому рыбному столу опять же не было соли. Мы знали, что километров за 6–8 отсюда должны быть разведчики 82-го погранполка, и командир отряда послал меня с несколькими ребятами занять у них соли. Местность я знал… Заметили дымок от костров. Подошли. Увидели нас пограничники и ахнули: мы походили скорее на бродяг, чем на партизан. Бывший североморец Ваня Лукьянов так оброс за поход, что выглядел шестидесятилетним дедом.

Я изложил пограничникам цель нашего визита. Те сначала отговаривались: нескоро будем в полку, а соли у самих на 3–4 дня. Но потом сжалились над „стариком“, как они на полном серьезе назвали Лукьянова. А ему было всего 24 года!»

Меня не отпускает мысль, почему нельзя было доставлять продукты партизанам в пути самолетом?! Хотя бы зимой, ведь рация есть… Я понимаю, что преследователи — на «хвосте» и недопустимо обнаружение отряда, но ведь можно сбросить где-то в условное место и не на пути отряда… Не может быть, это нельзя было решить. Думается, что командование не принимало это во внимание. Просто бросили людей на выживание.

«А ГДЕ ЖЕ ЗДЕСЬ ЖИТЬ?»

Меня удивило это обстоятельство: людей отправили в лес, где никакой базы-то и нет. Кто побеспокоился о том, где они будут жить? И даже не дали времени на обживание, сразу направили на выполнение задания. Казалось, это не расстроило командира А. С. Смирнова. Значит, он знал, что ожидает партизан, и принял это как должное. Встречалась мне прежде такая фраза — «по законам военного времени». На это, я предполагаю, многое списывали. Видимо, здесь тот же случай. Сдержанно, даже по-военному сухо, пишет он в своей книге воспоминаний о первых шагах по базе: «Вступили на высоту 137.2. Отныне здесь будет наша основная база… Прибыл командир 82-го погранполка подполковник Николаев. Его полк занимал оборону на другом берегу — на высоте „Ударной“. Вместе с ним Куроедов и я обошли всю высоту. Он подсказал, как лучше расположить землянки, где сделать КП отрядов. До выхода в тыл противника оставалось четыре дня. Делаем разбивку землянок. Заготавливаем сухостойный лес, которого на высоте предостаточно. А пока штаб расположился под густой разлапистой

елью. Готовимся к первому боевому выходу». Будучи всю жизнь на партийной работе, А. С. Смирнов привык выполнять приказы партии, а не осуждать их. Я так предполагаю.

ВОПРОС ОБМУНДИРОВАНИЯ

Ворочаясь ночью в землянке на грубом жестком широком деревянном «ложе», я долго не мог уснуть. Для сна были приготовлены спальные мешки, но я просто расстелил их и лежал сверху. Мне было как-то неуютно и чуждо. Я прислушивался к тишине и думал. Как давно была война… И вот сегодня, через много лет, я смог представить (понять трудно), как жили здесь люди. В таких условиях можно переночевать по необходимости одну (от силы две) ночи, но чтобы 27 месяцев здесь спать? Не нахожу, вопреки воспоминаниям партизан, ничего здесь ни комфортного, ни приятного. Подумалось: кто из партизан здесь тогда спал, чье это было место, в чем и на чем они спали, чем укрывались? О спальных принадлежностях никто из партизан не вспоминает… А вот об одежде и обмундировании партизаны часто вспоминают.

В дневнике П. Евсеева этот вопрос прослеживается на протяжении некоторого периода: «20 июля 1942 года… Люди пооборвались, ходят на занятиях в лохмотьях, даже стыдно. Разъясняю: погодите, все будет, будем альпийские мундиры носить. Но кое-кто начинает ныть. Комотряда говорит, что с обмундированием пока трудно, но скоро должны получить новое».

«1 августа 1942 года… Сегодня получили обмундирование. Комсоставу выдали суконные гимнастерки, диагоналевые брюки, белье, куртки „хэбэ“, пилотки без звездочек, кирзовые сапоги. Рядовым — все обмундирование из хлопчатобумажной ткани и ботинки с обмотками. Ботинками недовольны, просят сапоги… Новое обмундирование многим не по росту. Весь день пришлось подгонять его, перешивать».

«17 сентября 1942 года… Мы в походе… Партизаны идут, опираясь на палки. Обмундирование — лохмотья, обувь перевязана бечевками, проводами, ивовыми ветками».

«22 сентября 1942 года… Чинили обувь, одежду. Сапоги и ботинки за поход раскисли и у многих буквально развалились. Одежда тоже порвалась».

«12 ноября 1942 года… Получили хорошее обмундирование: ватные костюмы, валенки. Командному составу выдали шерстяные свитера, полушубки».

«…На привале у меня была задача — предупредить каждого партизана, чтобы не спалили у костра обмундирование…»

Я заключаю, что практически очень трудно сберечь одежду, если все время находишься в экстремальных (как сейчас говорят) условиях. В походе у многих рвалась обувь, одежда висела клочьями. Ведь в походе ни бани, ни стирки, ни мастерской… Полтора месяца…

В воспоминаниях многих партизан девушки в отряде оказались не только его украшением, а надежной опорой и в некоторых случаях даже примером в трудной партизанской жизни.

Из дневника П. Евсеева: «Помню, когда девушки прибыли в Росту, комиссар наставлял меня: „С ними надо держаться твердо, спокойно, тактично. Без шуток, без грубых слов. Надо больше заботиться о них, оберегать от обид и лишних тягот". Вспоминаю, как Федунов выдавал им обмундирование: "Значит, так. Снимите свои гражданские шмутки, переоденьтесь в новую форму. Обмундирование не первый сорт, сшито не на вас, но выглядеть в нем вы должны опрятно. Посмотрите, можете перешить, если время будет. Обязательно носить подворотничок. Подошьете его так, чтобы не вылезал и чтобы все-таки видно было. Ремень пряжкой направо. Гимнастерка чтобы не висела, как у… — тут Федунов запнулся, подбирая слово. — …Как у бабы, — невинным голосом подсказала ему одна. — Мы же все понимаем".

Как-то на общем построении Куроедов подал команду: „Кругом!" Но одна девушка запуталась и повернулась через правое плечо. Командир рассердился: „Товарищ боец, сколько раз вам надо объяснять, что поворачиваться следует через левое плечо". А она ему удивительно спокойно: „Какая разница, не пойму? Мы не солдаты, а партизаны. Неужели из-за этого Гитлера не разобьем?"

Да вот и сегодня после ужина зашел в землянку к девушкам и оцепенел: одна красит чем-то губы, другая пудрится, третья подвязывает волосы нарядной лентой. Это в лесу-то, после такого трудного похода? Многие наши мужчины даже бриться не хотят, не умываются по три дня, только бы выкроить лишнюю минуту для отдыха, а они даже „марафет" наводят. Вот тебе и слабый пол!

Когда возвращался домой, встретил девушку, у которой в ушах болтались серьги. Я тактично посоветовал снять их. „Хорошо, сниму. Но все говорят, что они мне очень идут. Это правда, да?"

А вчера утром около штаба повстречался с двумя девушками из соседнего отряда. Они прошли, не поприветствовав меня. Я остановил и в шутливой форме сделал замечание. И услышал в ответ: „Разве в свободной обстановке девушки должны первыми здороваться с мужчинами?"

Они были разные, у каждой свой характер, своя судьба. Но все выглядели подростками: острые локти, выпирающие ключицы. Мне казалось, не выдержать им тяжелых испытаний. Но я глубоко ошибался. Многие из них в действительности оказались значительно сильнее и выносливее мужчин».

Беда состояла в другом. Партизаны вспоминают, что командирам и комиссарам отрядов девчата доставляли уж очень много хлопот. Ведь где девушки, там и любовь… Приходилось держать на расстоянии тех парней, кто старался «поближе

познакомиться с девушками». Но молодость везде диктует свои права. И на войне, где все чувства обострены опасностью, ее голос иногда звучит очень громко… И даже не во власти командиров помешать любви.

Из воспоминаний С. Д. Куроедова: «15 июля мы получили сообщение из отряда Смирнова, что взрывом мины партизану Андрееву оторвало ногу, военфельдшер Шура Артемьева получила осколочные ранения в лицо. Больше всех переживал мой связной Виктор Толстобров. Еще бы! Ведь Шура Артемьева была его симпатией. На мой вопрос: „Когда будет свадьба?“ Виктор неизменно отвечал: „После войны“ и напевал:

Одержим победу,
К тебе я приеду
На горячем вороном коне.

О свадьбе я напоминал Виктору неспроста. У нас уже была подобная история. Командир второго взвода Иван Колычев влюбился в Лиду Бочковую».

Куроедов вспоминает, что когда Колычев впервые обратился к нему с просьбой о свадьбе, то вначале, растерявшись и рассердившись, отчитал Колычева за непонимание обстановки: ведь война идет. Сейчас не может быть любви. Куроедов собрал все командование отряда и от негодования решили «списать Колычева и Бочковую из отряда за неправильное поведение в быту». Но потом, переметнувшись с решением, придумали «отправить в ЗАГС в Колу». И сами же остановили себя: «А кто в поход за них пойдет? Пока они до Колы доберутся да обратно, месяц пролетит…» Озадачившееся командование отряда в полном составе решало, что делать с возникшей вдруг любовью. И наконец, как вспоминает Куроедов, в итоге предложили влюбленным написать рапорт о вступлении в брак.

Командиру партизанского отряда
«Советский Мурман»
Старшему лейтенанту т. Куроедову
От командира второго взвода Колычева И.И.
Рапорт
Довожу до вашего сведения то, что я, командир второго взвода Колычев Иван Иванович, с 20 апреля 1943 года на добровольно-обоюдном согласии вступил в брак с санитаркой отряда Бочковой Лидией Ивановной.
Колычев
20 апреля 1943 года

Рапорты, как вспоминает Куроедов, были молча прочитаны всеми обитателями землянки, в том числе и пришедшим за боевым донесением майором Бетковским, представителем штаба партизанского движения фронта. Реакция у него была такая же, как вначале и у командования отряда — негодование, смех, затем решение: «Не докладывайте о любви генералу: боюсь, не поймет. От приглашения на свадьбу не откажусь!» Что оставалось делать — Куроедов приказал готовиться к свадьбе.

На другой день о предстоящей свадьбе узнали оба отряда и даже пограничники. Еще бы! Первая фронтовая свадьба в Заполярье!

Из воспоминаний А. А. Федунова: «Получив приказ, я тут же развернул кипучую деятельность. Для свадьбы выделили самую большую землянку, убрали из нее нары. В этой же землянке отгородили крохотную каморку для новобрачных. Лучший баянист отрядов командир взвода Анатолий Казаринов и наша „Капля“ принялись разучивать свадебные песни… Приготовил список предполагаемых подарков. Зная, что, где и у кого лежит, избавил всех от мук выбора. Пользуясь случаем, пограничникам отправил с посыльным записку, которая намекала, что хорошо бы подарить новобрачным две лампы „летучая мышь“, пять комплектов постельного белья, две пары сапог (одну сорок второго, другую тридцать восьмого размера), 20 литров керосина и десять погонных метров брезента. …Встретившись на тропинке с командиром отряда „Большевик Заполярья“ Александром Сергеевичем Смирновым, посетовал, что, дескать, свадебное платье невесте и пошить-то не из чего. Да и в хозяйстве ни топора, ни пилы. Как они будут жить?.. Я знал, о чем говорить. В тот же вечер Смирнов передал мне цветастую трофейную штору, которой вполне хватило на платье невесте, а также топор и небольшую финскую пилу — для вручения непосредственно на свадьбе».

Сам факт свадьбы был очень удивителен и для меня. И мне понятны чувства командира. Ведь каждый партизан — это боевая единица. Все и вся на борьбу с врагом, для защиты Родины! Но мне представляется, что люди, которых война лишила привычного уюта, многих житейских радостей и возможностей, вдруг всколыхнулись этой любовью. Вспомнили, что жизнь продолжается…

Понял, я думаю, и командир отряда. Поэтому тост его был таким:

«Сегодняшнее событие не предусмотрено никакими уставами и положениями о службе в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Как офицер и командир, скажу, что не знаю, правильно ли мы поступаем. Как коммунист и человек, я понимаю возникшую взаимную симпатию партизан, товарищей Колычева и Бочковой. В отряде они лучшие из лучших. Верю, что и в дальнейшем они будут достойно защищать Родину. Будут продолжателями и защитниками дела Ленина и Сталина. Предлагаю выпить за Родину! За товарища Сталина! За победу над врагом!»

Все хорошо сложилось у этой пары, как вспоминают партизаны, в октябре 1943 года Лидия Ивановна покинула отряд, как будущая мама. После войны супруги Колычевы жили в Мурманске. У них большая счастливая семья.

ТРАГЕДИЯ ВЕРЫ ПОЛЯНИНОЙ

Я прошел подальше и увидел… глубокий прямоугольник, напоминающий… могилу.

«Здесь была могила молодой партизанки Веры Поляниной. Ты видел эту могилу около Памятника при входе на базу. Это особая история. Девушка любила мо-

лодого партизана, а он женился на другой. Она и застрелилась, в бане. Отряд, наверное, осудил ее за этот поступок, поэтому здесь и похоронили. Вообще этот случай какой-то скрытный. Я и сам толком ничего не знаю. Это уже через много лет после войны на одном из слетов Михаил Орешета убедил партизан перенести могилу. И теперь около Памятника ее отдельная могилка…»

Мы начали спускаться вниз. У меня услышанная история не выходила из головы. Ведь я считал своей задачей разобраться во всем, что происходило с партизанами. Да, вопросы продолжают оставаться нераскрытыми. Неужели срок тайны — 75 лет (как в областном архиве)? Попытаюсь сократить его…

Итак, проанализировав имеющуюся информацию и сопоставив факты, я обратил внимание на свадьбу другого отряда «Большевик Заполярья». Крупицы информации и все-таки, думаю, что я оказался прав. Именно эта свадьба не для всех была радостной. Одна из девушек — Вера Полянина, по воспоминаниям партизан, также испытывала любовь к Колтакову. Но не нашла ответного чувства. Свадьба же отняла последнюю надежду… Партизаны избегали этой темы в своих воспоминаниях. Лишь отмечают, что Вера была «очень красивая, блондинистая, стройная», жизнерадостная, веселая, певунья.

Обратился я и к документам архивного фонда, где обнаружил и переписал вот такую характеристику. «Характеристика на Полянину Веру Андреевну. Рождения 1923 года Вологодской области, Устюжинского района, б/парт. Образ. 7 кл. За время пребывания в спецшколе показала себя не вполне дисциплинированной, несерьезной, пререкалась с начальством. Может участвовать в боевых операциях под строгим контролем командного состава. Начальник спецшколы подготовки: (роспись, печать) Июль. 1942 год»[19].

На основании этой характеристики я представляю Веру своенравной, нервной, импульсивной. Склонен предположить, что все-таки у девушки был сложный характер. Возможно, что и характеристика спецшколы могла быть недостаточно объективной. Может быть, поводом был здесь личный конфликт с начальством. Вера так и не вжилась в эту суровую военную пору. По всему, она со своими проблемами оказалась непонятой и не принятой в отряде. Еще и это, думаю, послужило ее решению лишить себя жизни… Поступок Веры не нашел жалости и сочувствия… Видимо, не было у нее и близкой подруги, с которой можно было бы поделиться своими проблемами. Допускаю, что отряд осудил ее за самоубийство, расценивая это как проявление малодушия и… предательства. Ведь во время войны каждый партизан должен защищать Родину, а не ставить на первое место свои личные переживания. Ее похоронили как изгоя. В этом трагическом факте отражается характерное для того времени отношение к человеческой жизни как к чему-то малозначительному. Вот и результат: отдельная могила.

А истина так и осталась в 1944 году… Уже в наше время могила Веры Полянина заслуживает внимания и ухода. Потому что виновной мы считаем войну…

Все началось с маленькой заметки в городской газете, а теперь я знаю о партизанах достаточно. И многое могу рассказать…

Я вот что пришло мне в голову. Раньше (60, 40, 20 лет назад) можно было все подробно узнать и спросить по этой теме. *Было у кого*. Но система замалчивания не позволяла рассказывать правду. Поэтому все в их рассказах для нас было окружено ореолом патриотизма и героизма. Все на алтарь Победы! Ведь Победа стала идеологической опорой того режима.

А сегодня… Пришло время «взорвать молчание». Задуматься и о причинах, жертвах, приказах, результатах. Пришло время спросить о *цене Победы*. А спросить-то, узнать *уже и не у кого*… Остались только документы. А в них не вся правда… Ведь они тоже порождения сталинской системы. А некоторые из них остаются недоступными и сегодня.

Некоторые мои вопросы остались без ответа, ведь война продолжает скрывать от нас тайны. Я понял, что деятельность партизан Заполярья — это не только героическая страница нашей истории, но и часть их личной жизни. Деятельность партизан Заполярья была полна лишений и опасностей. Едва ли мы с вами можем сегодня представить те испытания, которые выпали на их долю.

Они совершали многодневные марши-походы, а потом бросались в бой, даже не отдохнув. А за поход расползались от пота, истлевали гимнастерки, «размочаливалась» обувь и разваливалась на ногах. А ноги растирались в кровь (через столько километров их никак не уберечь), от пота и усталости «горели» ступни. Глаза воспалялись от переутомления, и видимость расплывалась красными кругами. Страшная усталость пропитывала все тело.

Лежали без сна на голой земле, часто под ледяным дождем или снегом. А морозы, несколько дней без костра отнимали и здоровье, и жизнь. Снежными могилами отмечен их путь. Питались в основном сухарями, которые раздирали пищевод, да и только. Насытиться было невозможно. Люди ели снег и сырые грибы. Так было надо. Чтобы дойти…

До осени 1944 года никто из регулярных воинских подразделений не переходил границу. А партизаны Заполярья переходили ее 26 раз. Впереди чужое враждебное государство, а значит, неизвестность и опасность. Это маленькое соединение людей должно было надеяться только на себя, на товарищескую взаимовыручку в отряде (несли «сидоры» друг друга, вели ослабевших, делились последним сухарем, «брали огонь на себя», защищая отход отряда). Отсюда — партизанское братство. Это было настолько дорого, что осталось на всю жизнь. Быть партизаном стало для них значительнее всякой должности.

«Можно людям сказать, что все это не напрасно?» — задает нам вопрос командир А. С. Смирнов в своей книге. Сегодня мы и пытаемся в этом разобраться.

Примечания

[1] Государственный архив Мурманской области (далее: ГАМО). Ф П-20. Оп. 1. Д 41.
[2] *Смирнов А.С.* Партизаны Заполярья. Мурманск, 1989.
[3] Щюцкор — добровольческая военизированная организация Финляндии, созданная в помощь армии для обороны страны. Шюцкоровцы также несли и пограничную службу.
[4] Мурманский вестник. 1996. 27 апреля.
[5] Костры партизанские: (Сборник воспоминаний партизан, фотографии и документы). Мурманск, 1973.
[6] ГАМО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 41.
[7] Кеньки — специальная лыжная обувь, сшитая партизанами из голенищ изношенных валенок. Эти войлочные легкие удобные «ботинки» с крючкообразными носками позволяли быстро сбросить с ног лыжи. Это часто спасало жизнь.
[8] ГАМО. Ф. П-366. Оп. 1. Д. 1. Л. 122.
[9] ГАМО. Ф. П-366. Оп. 1. Д. 1.
[10] Мурманский вестник. 1996. 27 апреля.
[11] Полярная правда. 1969. 18 октября.
[12] Сидор — вещевой мешок, рюкзак внушительных размеров.
[13] ГАМО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 41.
[14] Кережи — фанерные лодочки или лыжные волокуши с оленьей упряжкой для транспортировки раненых.
[15] Жми-дави — партизанский «коньяк». В металлической банке смешивали парафин со спиртом. Затем ложкой выскребали на тряпку и выкручивали долгожданную влагу, оставляя парафин сухим. Спирт, выдавленный на тряпку, разбавлялся брусничным соком. Это было праздничным угощением
[16] Паколла — березовый чай (кипяток, заваренный наплывами на березе). Хорошо согревает в мороз.
[17] ГАМО. Ф. П-366. Оп. 1. Д. 1. Л. 90–94.
[18] ГАМО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 41.
[19] ГАМО. Ф. П-19. Оп. 1. Д. 59.

«Деревянные кони» войны

Семен Богатырев, Игорь Чертов, г. Киров,
10-й класс, научный руководитель Г. А. Кропанева

В истории последней войны есть малоизвестные, пропущенные страницы. Одна из них связана с судьбами таких воинских формирований, как лыжные батальоны. Мы стремились найти материалы о лыжных батальонах, о кировчанах, сражавшихся в них, об их участии в битвах Великой Отечественной. Мы также собирали сведения о кировском предприятии по изготовлению и поставке лыж, о том, в каких тяжелых условиях приходилось работать в тылу.

Почему наше внимание привлекла именно эта тема? Во-первых, в самом областном Кирове и в районных городах области (в городе Слободском, например) формировалось большое число лыжных батальонов, как из добровольцев, так и по мобилизации.

Во-вторых, в нашем городе изготавливали лыжи, которые шли на фронт. Когда началась война, область приняла 117 предприятий, эвакуированных из прифронтовых районов, среди которых была и Петрозаводская лыжная фабрика. Именно тогда в Кирове стали производиться лыжи, и Кировский деревообрабатывающий комбинат превратился в предприятие, которое сейчас известно всей стране как Нововятский лыжный комбинат. Он и теперь делает отличные лыжи самых современных моделей.

В-третьих, Великая Отечественная продолжалась долгих четыре года. Значит, на протяжении четырех зим можно было использовать лыжи как средство передвижения и маневрирования. Но, к сожалению, это малоизученная страница истории. Мы попытались найти некоторые материалы о лыжных батальонах.

В кировских архивах нам удалось найти некоторые документы, связанные с лыжными формированиями. Но их немного. В основном это списки бойцов-добровольцев. Поэтому работа основана на интервью с ветеранами, а также на данных историко-краеведческой литературы, мемуарах, письмах, газетной и журнальной публицистике[1].

«КАК ЭТО С НАМИ БЫЛО...»
ИСТОРИЯ ЛЫЖНОГО КОМБИНАТА В 1941–1945 ГОДАХ

Хорошо знакомый сейчас всей стране Нововятский лыжный комбинат первоначально не был связан с производством лыж; он строился и работал как деревообрабатывающее предприятие.

Рассказывает Александр Афанасьевич Парфенов, ветеран комбината: «В мае 1932 года в десяти километрах от города Кирова, на левом берегу реки Вятки, начали строить деревообрабатывающий комбинат (ДОК). В те времена не было никакой техники, машин. Строительство шло вручную: лопата, тачка, топор, пила. Прибывшие на стройку рабочие размещались в округе по деревням. 1 сентября 1933 года — дата рождения ДОК. С 1936 года комбинат выпускал продукцию: силосные башни, стандартные жилые дома, парниковые рамы, пиломатериалы, дверные и оконные переплеты, табуретки».

Кировская область оставалась тыловой, а из западных областей страны эвакуировали в глубокий тыл все, что можно было эвакуировать; что нельзя — уничтожали. Выполнялась задача: ничего не оставлять врагу. Так, в августе 1941 года встал вопрос об эвакуации Петрозаводской лыжной фабрики. Фабрика эта вступила в строй в 1931 году. К 1940 году на ней работало 537 рабочих, 39 инженерно-технических работников и 42 служащих. Лыж было выпущено за 1940 год 329 007 пар.

А. А. Парфенов вспоминает: «В августе 1941 года Кировский ДОК передают ГЛАВЛЕСОЭКСПОРТУ для организации производства лыж на службу армии. Для помощи в этом деле к нам была эвакуирована Петрозаводская лыжная фабрика вместе с рабочими и частью оборудования». Начало выпуска лыж было назначено на 15 октября 1941 года.

ВЕТЕРАНЫ НОВОВЯТСКОГО ЛЫЖНОГО РАССКАЗЫВАЮТ...

В условиях военного времени в цехах работали в основном женщины и подростки. Ребята в 13, 14, 15 лет становились к станку наравне со взрослыми. Мы встретились с некоторыми ветеранами, начинавшими работать на комбинате еще школьниками, и попросили их рассказать, как они пришли на производство.

Вспоминает Тамара Александровна Белых: «В 41-м мне было четырнадцать. Я тогда в школе не училась, четыре класса закончила, а потом война началась. Отец на фронте. Семья была три дочери, отец и мать. Сестра старшая на окопах в Череповце работала. Другую мобилизовали в ФЗО и увезли в Новосибирск. Я младшая была, и меня забрали. Мать слепая была. В ФЗО набирали так: если не явился человек, забирают отца или матерь, кто дома, и держат в тюрьме, пока не найдешь дочь. Принуждали насильно, забирали как на фронт. Я хотела укрыться, неделю пожила в Татарке у маминой сестры. Мама пришла, ревет...

Нечего было надеть, надо было в Киров идти десять километров. Я полпути прошла, у меня подошвы у ботинок отпали. Я привязала веревкой и так и шла туда, куда забирали, грязно, осень (41-го года). А не пойдешь — тебя судить будут. Вон некоторые сбегали — так по шесть месяцев давали, сидели на Хлыновке.

Меня в ФЗО оформили, нашли мне ботинки сорокового размера (на девочку тринадцати лет!). Ну в ФЗО обмундирование дали, как на фронте, — юбку и гим-

настерку, как военным. В этом и ходили. Взяли в школу ФЗО и обучали здесь. Через шесть месяцев выпустили на производство. Некоторых увозили в другой город, а нас оставили в Кирове на комбинате.

На комбинате тогда ящики под гранаты делали. Раньше здесь лыжи не делали. Только когда из Петрозаводска приехали в эвакуацию, они нас обучали. Обучение давалось тяжело. Соберут нас в конторке, и рассказывает работница постарше, что надо делать. Рассказывает на словах, посмотреть негде».

Рассказывает Таисия Васильевна Степанова: «Я расскажу, как начала работать на комбинате. А нам в деревне очень тяжко было. Отец парализованный, брата взяли на фронт. Позднее и сестру взяли на фронт. Надо как-то из деревни в район ездить, так тяжело было, очень тяжело было. Я в город приехала, когда мне было двенадцать лет. Я училась здесь в пятом классе. И стала работать на комбинате, потому что было очень трудно жить. Сестра у меня здесь жила, работала в детском саду. Сестра с четырнадцатого года. Мужа ее взяли на фронт. В июле месяце забрали ее мужа, а в ноябре уже убили. А какие он трогательные письма писал! Мальчик у нее остался, полгодика. Жили с сестрой с ее семьей. Малыш умер: заболел. Она второй раз не выходила замуж: верная была. И потом все время в садике работала. А когда в седьмом училась — я уже начала работать на комбинате. Я с 28-го года, мне было тогда четырнадцать лет. Я работала вечером, неполный день, потому что училась: четыре часа работала, а то и шесть; а остальные училась».

Из воспоминаний Александра Афанасьевича Парфенова: «Я до войны три класса закончил. У нас семья была большая — семеро детей. Старший брат был в армии, еще до войны. Началась война — сначала отца забирают, потом другого брата забирают. Как жить? Старше меня брат пошел в ремесленное училище, через полгода (в четырнадцать лет) я пошел в ремесленное училище при заводе № 41, чтобы немножко матери облегчить жизнь. Куда иду, не знаю, лишь бы пропитаться. Там я учился два года: день занятий, день работаю. Делали табуретки, и 30% от стоимости себе: зарплата такая была. Потом стали посылать нас на завод на практику, там уже платили 50%».

Рассказывает Владимир Александрович Грухин: «На комбинат пришел в ноябре 1943 года в двенадцать лет. В семье был старшим из четырех детей. Гордился: у меня была хлебная карточка. Год работал учеником слесаря — по шесть часов в день. А потом уже работал слесарем в лесопильном цехе. Учился уже после войны».

Комментарий. Поразительным показался нам такой факт: никто из ветеранов не сказал о том, что мотивом поступления на работу было желание помочь фронту, мечта приблизить победу. Все рассказывали, что помогали семье (как правило, многодетной) или пытались сами просто-напросто *выжить*. Другой вариант: попали в школу ФЗО (фабрично-заводского обучения) по принуждению, против воли.

Молодежи из системы школ ФЗО на комбинате было немало. Сюда в сентябре 1942 года была эвакуирована школа ФЗО № 30 из Сталинграда. Трудностей на

долю ребят выпало много: учиться им было негде — здания не было, да и жить практически негде было. Зимой часть учеников разместили в летних домиках пионерского лагеря в лесу, а часть некоторое время жила даже в гараже комбината. Ребята сами строили для себя учебное здание и жилье, а закончив строительство, приступили к работе на комбинате: сколачивали упаковку для противотанковых мин и другую тару.

«МЫ БЫЛИ ГОЛОДНЫМИ ПОСТОЯННО...»

Лейтмотивом всех рассказов, которые нам довелось услышать, было упоминание о хлебе. Все в один голос говорили, что мечтали досыта поесть хлеба, что мучительнее всего была не тяжелая работа, а чувство голода, которое испытывали всегда.

Из воспоминаний Т. В. Степановой: «Деньги на комбинате платили. Мало, конечно. Не помню, сколько. Помню только, что 600 граммов хлеба давали. Это много считалось. Я на ужин приду с работы, а сестра сварит картошку, потолчет прямо с кожурой. На комбинате хлеб был по карточкам. А мы — подростки, мы ведь наравне с рабочими не считались, потому что мы еще и учились. Нам давали еще и горячие обеды: каша овсяная, на воде, конечно… Мы очень рады были. А нас хвалят: вы, ребятки, старайтесь! Вы постараетесь, дак вам по две порции дадим. И все старались!»

Рассказывает В. А. Грухин: «Я получал хлебную карточку — 600 граммов. О зарплате, конечно, речи не было: деньгами платили крайне мало. А было еще так называемое горячее питание по талончикам: 100 граммов хлеба и каша. На обед идешь с котелочком, не с тарелками: в котелок — первое, а в крышку — кашу. А чтобы получить талон на раздачу, идешь в кассу, а в кассе очередь, а в руке карточка на жиры, на мясо и на крупы. Например, сегодня двадцать третье, и тебе на двадцать третье талончик отрежут, и, кроме того, еще и деньги доплатишь. И есть-то не успевали: на работу идешь — хлеб с собой возьмешь. Голодными были всегда, а были такие моменты, что карточку подал, а там тебе и на двадцать четвертое случайно вырежут (очень уж маленькие карточки были), и придешь в столовую, а тебе скажут: „А ты чего пришел, у тебя уже за двадцать четвертое съедено“. Самое страшное наказание за опоздание было то, что хлебную норму урежут на 25%. Мы старались не опаздывать. Часов тогда не было. Знали время по гудку. Один раз в час. Пробило двенадцать ночи, я близких разбудил, мол, шесть часов, пошлите скорее в столовую. А там часы были электрические, пришли, а времени оказалось без пяти час ночи. Ну мы и пошли спать. Дак если бы сытые были, так разве пошли бы?»

Вспоминает А. А. Парфенов: «Картошку к лету где-нибудь раздобудешь, а варить-то где? Ведь мы в комнате жили 48 человек, прямо на заводе в цехе. В подводе отопления высверлили дырку (отопление паровое было), образовался котлованчик, картошечку в сеточку положишь, к трубе привяжешь, поваришь на пару, так и ели».

Из рассказа Т. А. Белых: «Когда была в школе ФЗО, нас кормили. 400 граммов хлеба на весь день. Горячего питания не было. Обед был полчаса… Теперь Богу молюсь, как это хорошо жить стало, сейчас ведь можно хлебом досыта наесться! А тогда несешь пайку и думаешь, вот если сейчас откушу, меня разманит, я всю съем. И терпела. Дома-то ведь тоже есть хотят. Один раз несла я молоко в Киров и буханку хлеба выменяла на молоко. И нет сил, я не могу идти. В канаву упала. А машин-то не было. На лошадях ездили по трассе. Я думаю, как-то надо встать, идти. Еле-еле я встала, и донесла, и даже не куснула. И эту буханку втроем съели, и никто не наелся».

Пайка хлеба и картошка спасали наших военных сверстников от голодной смерти. Они до сих пор сохранили к хлебу благодарное, трепетное отношение и в один голос говорят, что ни одно современное лакомство не желанно так, как в войну хотелось хлеба. Таисия Васильевна Степанова призналась, что после войны стеснялась ходить в комбинатовскую столовую обедать: «Мне стыдно, что я так много хлеба ем». И еще все они мечтали выспаться.

Т. А. Белых: «Работали по 12 часов. В восемь часов вечера заступишь — до восьми утра. Домой приду (десять километров пешком до деревне Варсеги), а к восьми вечера опять идти надо. И маме помочь надо. Выспаться не успевали. Так и работали. Неделю — в первую, с восьми утра, неделю — во вторую, с восьми вечера. Сверхурочно подростков не оставляли».

В. А. Грухин: «Нас было четверо в семье, мать работала в колхозе. На работу к восьми часам. Работали по шесть часов (как малолетние). А спать очень хотелось подольше. И однажды нас мать разбудила, а мы думаем, еще полежим, и заснули. Потом проснулись от стука в окно. Соседка кричит, вы что, с ума сошли, почему корову не ведете. Я смотрю на часы: 11 часов!!! А еще раз опоздал — привели в завком и хотели судить. А тут у меня тетя вмешалась: мол, нельзя несовершеннолетнего судить. Не судили, но, самое страшное, отобрали 25% хлебной карточки. Если рабочий набирал в сумме 21 минуту опозданий, его судили. С этим было очень строго. Иногда рабочим приходилось работать без сна по 36 часов (три смены по 12 часов подряд). Наградой за хорошую работу было помещение на Доску Почета или увеличение выдачи хлеба по карточке до 1000 граммов. Однажды в награду дали по одному килограмму соленой капусты. Жили голодно и бедно. И носить тоже нечего было».

Т. В. Степанова вспоминает: «Одеваться было не во что, зять ушел на фронт, и от него остался пиджак. Вот я в этом пиджаке и ходила. Бурки мне сосед сшил, и рваные галоши подвяжу, в этом и ходила. Вот такая обувь была. Потом однажды на комбинате босоножки на деревянной подошве выдали, так и ходили по деревянной мостовой до работы: тук-тук-тук». А. А. Парфенов: «В ремесленном выдали хлопчатобумажный костюм. Всюду в нем ходил. Если дырка появилась, приклеил тряпочку — и пошел».

И еще все ветераны вспоминают, как работали на комбинате немецкие военнопленные. Т. В. Степанова: «Работали в цехах женщины и подростки: и девоч-

ки, и мальчики были. И мужчины работали, но их мало работало, потом не стало. А потом работали немцы, военнопленные. У нас в цехе они были: монтировали палки лыжные. Один немец был, так он по-русски хорошо говорил, главным у них был. А жили они в землянках, и ходили все чесались: у них блохи были. А я спросила однажды, почему чесались, говорю: „Вши?“, — а он: „Нихц“, — и показывает, как блохи прыгают… Это на всю жизнь запомнилось: как старые встречаемся, так все вспоминаем. А немцы нам все фотографии показывали, что у них там есть: семьи, дети. К ним относились в основном хорошо. Только некоторые люди злились. Их не притесняли. Кормили их квашеной капустой, картошкой с водой. Сестра с детьми из детского сада однажды в лес пошла гулять. И как-то один мальчик закричал: „Анна Васильевна, здесь под кустиком дяденька лежит, дяденька лежит“. Умер. Немцы часто умирали: и от болезней, и от истощения. Хоронили их: выкопают яму, кинут его туда и закопают. Ничего не ставили, общая могила. Мне запомнилось (о немцах), что они такие серьезные были, с ним говоришь, а он на тебя так смотрит внимательно, боязливо. Работали они очень старательно».

Так завоевателям приходилось делить тяжелую судьбу с теми людьми, которым они принесли столько бед и страданий.

КАКИЕ ОНИ БЫЛИ, ФРОНТОВЫЕ ЛЫЖИ?

Конечно, нас интересовал и сам процесс изготовления лыж, и их внешний вид. Чем отличались лыжи 41-го года от современных?

Из воспоминаний А. Т. Деменко: «После эвакуации наша задача была в кратчайшее время приступить к выпуску лыж. Оборудование и вся оснастка для лыжного производства еще находились в пути. Подготовленная первая партия лыжных брусков-болванок, как их называли тогда, была обработана и загнута на неприспособленном оборудовании. Для того чтобы загнуть эти заготовки, надо было пропарить носок. С этой целью мы приспособили обыкновенную бочку, оборудованную змеевиком, подвели пар.

Были пропарены, загнуты и высушены первые 100 пар лыж. Благодаря этим лыжам были изготовлены шаблоны и приспособления для дальнейшей обработки лыж. Выпускалась другая нужная продукция — ящики под мины и гранаты, аэросани.

В основном был тяжелый физический труд. Механизация отсутствовала. Станки были старые, все с ручной подачей. Опилки выносили ящиками, а рейку охапкой носили в котельную. Доски к станкам подносили вручную».

Рассказывает Тамара Александровна Белых: «Загибали болванки в четвертом цехе, а потом уже переправляли к нам в пятый. Лыжи были очень толстые. На войну в основном спортивные лыжи отправляли. А я работала на фрезере с восьми вечера до восьми утра! Тяжело! Другая девушка шкурила лыжи, помню, что Верой ее звали. Там не было ни вентиляции, ничего, дак она больно мало пора-

ботала, даже война не закончилась, так и умерла молодой, даже замуж не вышла. Все делалось вручную. Потом лыжи отправляли смолить и смолили тоже вручную. Подыши-ка этой смолой! Ой, нечего и говорить! Работали только подростки и женщины. Но все ведь для войны делалось. И все, что делали, сразу отправляли на фронт и грузить в вагоны нас же заставляли!

А еще я на фуганке работала. Еще ребенком себе палец отрезала. Доски-то были стылые, а слесарей-то не было, и ножи точить некому, а доска у меня как покатись! Так палец и отрезала. А девушка за мной работала — ей все четыре пальца на правой руке отрезало фуганком. Ограждения практически не было.

После войны я вышла на долбежный станок, отверстия для ремней, для креплений долбила. Вот так всю жизнь на лыжах и проработала в пятом цехе с 44-го и до 82-го года».

Из воспоминаний Таисии Васильевны Степановой: «Сначала я работала в шестом цехе. Мы таскали доски. Делали заготовки. Делали ящики под мины. Мы подростки, маленькие еще были, мы колотили эти доски в ящички, а до верстака далеко, эти ящички подставляли и на них становились. Сколачивали из досок ящики и грузили в вагоны. А была маскировка, впотьмах, возьмем палку лыжную и идем на ощупь…»

Оказывается, армейские лыжи 41-го года значительно отличались от современных. Они были значительно тяжелее, массивнее, шире нынешних спортивных и массовых лыж.

А. А. Парфенов: «Массивные лыжи очень были. Сплошной один брусок! Вот так доску взяли, загнули так — и все. Эти доски часто кривились. Делали широкие лыжи „Турист“. Но не типа охотничьих, они миллиметров восемьдесят, наверное. Крепления — петли, резинку наклеивали. Петли надевались на валенки или на сапоги. Крепления на комбинате не делали, их готовыми получали. Отправляли вагонами. Куда? Раз „Турист“, знали, что на фронт идут. На лыжах не делали никаких наклеек, знаков».

Рассказывает Галина Александровна Блинова: «Армейские лыжи отличаются шириной, во-первых. Ширина у них 80 мм (для сравнения: ширина беговых лыж — от 45 до 55 мм, у охотничьих — до 120 мм). Первые лыжи были такие массивные. Вот обыкновенная доска, лыжная заготовка называется, ее загибают, потом обрабатывают, шлифуют. И называли тогда „лыжная болванка“. Из березы делали. Березу распиливают на доски на шпалорезных станках, потом делают обрезную доску, доски сушат в сушилках, и потом из сушилки поступает сухая заготовка. Загибали их с помощью специальных станков — „утюжков“».

Фронтовые лыжи никак не оформлялись, не красились, на них не было никаких опознавательных знаков. За годы войны ДОК изготовил 350 тысяч пар лыж, более 100 тысяч кубических метров пиломатериалов и другой продукции, кроме того, был организован ремонт поломанных на фронте лыж и палок. Этот факт

нас чрезвычайно заинтересовал. Нам казалось, что сломанные лыжи в военное время никто собирать и ремонтировать не будет. Однако ветераны комбината в подробностях объяснили нам, как осуществлялся ремонт. Собирали лыжи специальные трофейные команды. На комбинат поступали целые вагоны лома. Добавляли недостающие части и специальным клеем соединяли их. Служили отремонтированные лыжи долго, как новые. Неспециалисту невозможно было определить место соединения. Выбрасывали лыжу только тогда, когда сломан был носок.

Были и специальные, единичные заказы, требовавшие срочного изготовления и напряжения всех сил. Из воспоминаний А. Т. Деменко: «В 1943 году в январе было особо важное задание: изготовить 300 штук саней специальных, загнутых с обеих сторон. Трое суток мы не выходили из цеха, и 300 штук саней большого размера были изготовлены в намеченный срок. Оказывается, эти сани нужны были фронту для передвижения „Катюш" при решающем наступлении под Сталинградом и другими городами. Кроме саней, были срочные заказы на изготовление специальных лыж длиной около полутора метров, загнутых с обоих концов, тоже для передвижения снарядов».

Когда шел спецзаказ, и подростки работали по 24–36 часов.

Таким образом, мы рассмотрели обратную, тыловую сторону военной медали, связанной с нашей областью.

«БЕЛАЯ СМЕРТЬ» (ФРОНТОВЫЕ БУДНИ ЛЫЖНОГО БАТАЛЬОНА ГЛАЗАМИ РЯДОВОГО БОЙЦА)

Готовую продукцию лыжного комбината грузили в вагоны и отправляли на фронт. Кто же воевал на лыжах? Лыжи использовались во многих подразделениях. Зимой они нужны были пограничникам, разведчикам, партизанам, действовавшим в тылу диверсионным группам, пехоте (стрелкам).

Из пехотинцев-лыжников формировались лыжные батальоны. Осенью 1941 года по постановлению Государственного Комитета Обороны в военных округах были созданы лыжные полки. Были созданы они и на территории нашей области. Это 71-й, 275-й и 283-й.

Кировский обком ВЛКСМ направил в них 1700 комсомольцев-добровольцев.

В Государственном архиве социально-политической истории Кировской области (ГАСПИ КО) хранятся именные списки таких формирований из добровольцев комсомольского возраста. Юноши 1922–1923 годов рождения призывались из разных районов нашей огромной области. Списки представляют собой таблицы с большим количеством граф (год рождения, образование, год вступления в ВЛКСМ, место жительства, место призыва и т.д.). Особенно нас заинтересовала графа «Оборонный значок». Чаще всего в этой графе стояло

ГТО. Сведения об этом значке, оказывается, были обязательными. Почему? Что это за значок?

Вот что нам удалось выяснить, расспросив родителей и заглянув в специальную литературу. Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (комплекс ГТО) был введен в стране в 1931 году. Каждый молодой человек имел возможность и должен был стремиться сдать испытания, которые подтверждали бы уровень его физического развития и подготовленности. Комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) вводился во всю сеть военного обучения комсомольцев и особенно допризывников. Испытания проводились районными советами физической культуры по заявкам (или спискам) кружков физкультуры. Сданные испытания заносились в билет физкультурника. Лица, успешно прошедшие испытание, награждались значком ГТО разных степеней.

Программы и технические правила предусматривали 23 вида зачетных испытаний на результат, в том числе: бег на короткие и длинные дистанции, метание гранаты, плавание, упражнения на силовую выносливость, лыжные гонки, греблю на лодке, езду на велосипеде 10 км по шоссе и проселку; для мужчин был введен норматив — поднятие груза (мешка) весом 32 кг с земли на плечо.

Кроме того, оценивалось пребывание в противогазе в течение 10 минут, оказание первой помощи в объеме, предусмотренном особым положением, знакомство с основами советского физкультурного движения, знание основ самоконтроля, умение правильно выполнять комплекс упражнений без снарядов (зарядкового и гигиенического значения).

Таким образом, для юношей, которые призывались в лыжные батальоны, значок ГТО было очень важным свидетельством как умений и навыков ходьбы на лыжах, так и общей физической выносливости.

КАК ЭКИПИРОВАЛИСЬ БОЙЦЫ-ЛЫЖНИКИ?

Вот, например, как был одет, вооружен и оснащен боец лыжного батальона в Финской войне 1939–1940 годов: «Одеты мы были так: нижнее бязевое белье, шерстяные кальсоны и рубашка, бумажные, цвета хаки, брюки и гимнастерка. Поверх — шинель, плохо подогнанная по росту, шапка-буденовка, подшлемник, каска, на ногах валенки. Снаряжение: лыжи с мягкими креплениями, вещмешок, в нем яловые сапоги, лыжные ботинки с креплениями, плащ-палатка, противоипритные сапоги (по полпуда весом), противоипритная накидка. На поясном ремне: котелок, фляга, две гранаты, два капсюля-взрывателя, саперная лопатка, два патронташа, сумка с патронами (кажется, 100 патронов в обоймах). Противогаз через плечо. Вооружение на взвод разведки: гранатомет (какого-то древнего образца винтовка, а на ствол надевалась граната), у командиров — револьверы, у остальных — пятизарядные обычные винтовки. Стрелковые роты кроме винтовок и револьверов имели на вооружении ручные пулеметы Дегтярева, станковые пулеметы „максим“ и минометы (кажется, 37 мм), но без мин»[2].

Когда прибыли на место, «сняли шинели, буденовки, надели ватные брюки поверх валенок. Брюки сверху белые, из какой-то плотной ткани (типа плащовки), внутри синяя фланель. Куртка: на рукавах манжеты, снизу пояс. Вместо буденовок дали ватные колпаки из того же материала, что и куртка с брюками. Ну и еще маска с прорезями для глаз и рта. На руки, в дополнение к шерстяным перчаткам, полученным в Шуе, выдали варежки с одним пальцем. И сказали, что это одежда строго секретная»[3].

А вот это снаряжение рядового бойца 7-го лыжного батальона 283-го лыжного полка, воевавшего под Москвой зимой 1941/42 года:

«Одели нас хорошо: ватная куртка, теплое нижнее белье. Лыжи были уже с нами. Лыжи, кайло, лопата. Я был пулеметчик, и у меня был еще и ручной пулемет. Как хочешь, так и таскай, тебе дали, вот и носи. У лыжников были маскировочные белые халаты. Но на себе тащишь ручной пулемет, автомат, вещмешок, сумку с гранатами (две противотанковые, две маленькие)» (из рассказа С. А. Стяжкина).

ГДЕ И КАК ВОЕВАЛИ ЛЫЖНЫЕ ЧАСТИ?

В наиболее полных и авторитетных трудах по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн сведения о лыжных формированиях очень скупы и ограничиваются лишь упоминанием: «В целях сокращения сроков формирования и сколачивания стрелковых соединений, а также для повышения их маневренности и облегчения управления ими осенью 1941 года было сформировано значительное количество отдельных стрелковых бригад. Кроме того, формировалось большое число отдельных лыжных батальонов»[4].

Наше внимание привлекли также упомянутые в справочниках по истории Великой Отечественной приказы Ставки Верховного главнокомандования осени и зимы 1941–1942 годов:

17 ноября 1941 года Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) издала приказ № 0428, в котором ставились следующие задачи. В тылу немецких войск разрушать и сжигать дотла все населенные пункты на расстоянии 40–60 км в глубину от переднего края и на 20–30 км вправо и влево от дорог. Использовать для этой цели авиацию, артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью. Для взрыва и сжигания населенных пунктов создать в каждом полку «команды охотников» по 20–30 человек («выдающихся смельчаков за отважные действия по уничтожению населенных пунктов представлять к правительственной награде»)[5].

Следовательно, этим приказом определяется использование лыжников в составе диверсионных групп. Как нам кажется, это одна из самых трагических страниц истории лыжных объединений. Рейды по тылам противника завершались, как правило, гибелью батальона.

Зимой 1941/42 года во время боев под Москвой были проведены новые мобилизации в лыжные формирования. 21 января 1942 года ЦК ВЛКСМ принял постановление «О мобилизации лыжников из комсомольско-молодежных лыжных формирований в Красную Армию». Мобилизации подлежали 10 000 человек. Велика была роль лыжных формирований в битве за Москву.

В конце ноября 1941 года близ Загорска сосредоточилась Первая ударная армия. Перед ней Ставка Верховного Главнокомандования поставила цель: остановить продвижение противника в загорском направлении, разгромить и отбросить его назад, за канал Москва–Волга. Эта задача была возложена на 50-ю стрелковую бригаду, части 29-й бригады и 1-й лыжный батальон. В состав Первой ударной армии входили восемь лыжных батальонов, сформированных на территории Кировской области. 50-я стрелковая бригада почти полностью укомплектована кировчанами…

Лыжные батальоны действовали в основном как стреловые. Однако им приходилось выполнять и специальные задания. В маскировочных халатах лыжники проникали в тыл врага и дерзкими налетами вносили панику в его ряды, перерезали коммуникации.

Новая наступательная операция Первой ударной армии началась 10 января 1942 года в районе Волоколамска. Сложные задачи стояли перед лыжниками. «В прорыв в направлении Шаховской, — пишет в своих воспоминаниях маршал Г. К. Жуков, — был введен кавалерийский корпус И. А. Плиева с пятью лыжными батальонами». Донимал мороз свыше 30 градусов. Лыжники освободили Жуково, Елизарово, Иосово, Шубино, Толстиково, Симакино, Лотошино и другие пункты. Наша «снежная кавалерия» — лыжники — неустанно преследовали врага: они перерезали гитлеровцам пути отхода, встречали их огнем из засад, нанося огромные потери.

Когда контрнаступление наших войск приостановилось, лыжным батальонам было приказано приступить к ночным действиям, систематически применять ночные атаки на населенные пункты, занятые врагом. Дело в том, что с наступлением холодов и больших снегов немцы группировались в населенных пунктах и близ дорог. Своими атаками на эти пункты лыжники постоянно держали немцев на морозе — изматывали их[6].

Кировские лыжные батальоны, наступая, к концу 1941 года продвинулись на 120 километров. Однако большие потери понесли и сами. Вот выдержка из рапорта командира 5-го батальона Плясунова и комиссара Колесова от 26 декабря 1941 года: «5-й отдельный лыжный батальон действует в составе 1-й армии с 26 ноября. К началу боевых действий он имел 566 человек личного состава…

Первый наступательный бой батальон вел 5–6 декабря за Яхрому. Город был взят. Потери батальона — 31 человек.

12 декабря батальон вел 18-часовой бой за село Борисоглебское. Село взято, но батальон понес большие потери — 155 человек убитыми и ранеными.

15 декабря, действуя самостоятельно, вели бой за села Сидорково, Языково и Гончаково. Села взяты. Потери — 13 человек.

16 декабря мы вели бой за Петровское. Село занято. Число убитых и раненых — 21 человек.

С 17 по 19 декабря батальон совместно с другими частями вел ожесточенные бои за Покровское. Противник использовал танки, совершал контратаки. Село взято, но с большими потерями — убито и ранено 96 человек.

22 и 23 декабря в бою за село Ошейкино батальон потерял 31 человека, но село взял.

С 24 по 26 декабря, действуя совместно с другими частями, батальон вел бой за Плаксино и потерял 81 человека.

В настоящее время осталось 138 человек…»

Не было ни одного дня без боя, ни одного дня передышки. Для приведения батальона в боевую готовность просим пополнить его людским составом и вооружением[7].

РАССКАЗ РЯДОВОГО БОЙЦА ЛЫЖНОГО БАТАЛЬОНА

В составе 7-го отдельного лыжного батальона 283-го лыжного полка 50-й стрелковой бригады Первой ударной армии Северо-Западного фронта воевал кировчанин Степан Александрович Стяжкин[8]. Его рассказ помог нам увидеть войну глазами рядового бойца-пулеметчика, сражавшегося на лыжах под Москвой и под Старой Руссой зимой 1941/42 года. Мы приводим его полностью, без изменений.

«Тяжелые воспоминания. Я с 23-го года. Я призывался 11 сентября 41-го года. Первую военную зиму я воевал в лыжном батальоне. Он формировался в Кирове из кировских комсомольцев-добровольцев. Наш батальон насчитывал 550 человек.

12 ноября 41-го года — общее построение всего лыжного 283-го лыжного полка. Из этого полка формировались батальоны. Было сформировано 12 лыжных батальонов. Все только вятские. Командовали наши вятские командиры, бывшие преподаватели, директора маслозаводов, молокозаводов. У нас командир взвода был преподаватель из Зуевского района. Его убило. Также был директор маслозавода Рякин. Его тоже убило.

Присягу дали, учеба закончилась. Медкомиссий не было. Построение, тревога, ночью нас подняли — мыться в бани. Одели нас хорошо: ватная куртка, теплое нижнее белье. И уже к пяти утра мы были все помыты.

Нас построили, приехал член Военного совета, сказал напутственную речь. В это время под Москвой немец уже обошел Москву с севера. Там есть семнадцатый

шлюз, он его форсировал, это было в районе города Яхрома (текстильный комбинат). Немец захватил этот городишко, перешел канал и вышел на нашу сторону. Здесь есть Перемиловские высоты, он на эти высоты сразу. Но и мы сразу же приехали в город Дмитров Московской области. Нас высадили, и приказали: „Рыть окопы!“

Лыжи были уже с нами. Лыжи, кайло, лопата. Я был пулеметчик, и у меня был еще и пулемет. Как хочешь, так и таскай, тебе дали, вот и носи.

Была середина ноября. Земля морозная, вырыли сантиметров по двадцать, и тут команда: „Отставить! Выходи строиться, пошли дальше!“ Немец перешел канал „Москва–Волга“. Население смотрело на нас, как мы их огороды роем. Тут же все бросили — и вперед, чтобы выбить немца.

Два раза мы выходили, два раза немец нас загонял в этот лес. На третий раз мы все же немца выбили с Перемиловых высот. Нам помог наш бронепоезд из Загорска. Он их расстрелял, и они ушли за канал „Москва–Волга“. Мы на этих высотах закрепились, окопы вырыли. И там сидели до общего наступления 5 декабря. Мороз был. Жили в домах, в подвалах в этой деревне Перемилово. Там в подвалах костры разведешь. Ну спалишь дом… Греться-то надо.

Потом 5 декабря приказ: „Приготовиться к общему наступлению!“ Пошли через канал. Там ополченцы сделали неприступную стену, чтоб танки не прошли. Через эту стену перевалили со всем снаряжением и заняли деревню Князе-Вязниково. И пошли в наступление. Идти только вперед, вперед, вперед. Вот и вышли в большое село Теряева Слобода. Там немец укрепился, задача — выбить немца. Мы задачу выполнили, потеряли 15 человек. Эти 15 похоронок ушли в Кировскую область. Это был первый разгром немцев.

У лыжников были маскировочные белые халаты. Были одеты хорошо. Но на себе тащишь ручной пулемет, автомат, вещмешок, сумку с гранатами (две противотанковые, две маленькие). Самое основное это был сон, как бы выспаться.

И второе, как покушать. Нас обслуживала кухня, она приезжала два раза в сутки, утром и вечером. Вода, хлеб, каша, махорка, сахар, спиртное (100 граммов). Национальности были разные: были и удмурты, и чуваши, и марийцы.

Командиры были человечные люди, но они мало пожили. Нашего ротного из деревни Сырцево мы звали „душа-человек“. Нас бомбили под Старой Руссой, налетело 40 немецких юнкерсов. Мы в ямах, воронках от бомб, попрятались. Один солдат заорал: „Больно! Не могу! Умираю!“ Ему разорвало всю грудь. И командир решил ему помочь. И пока он перебирался на помощь, ему оторвало голову — и все. Остался бы на месте, все равно того солдата не спасти было. Это все человеческая душа. Следующий командир отправил нас учиться, и сказал: „Ребенки, вам еще жить“. Благодаря ему я пошел учиться на связиста. Ночевали в снегу. Лесом идешь, привал, из веток сделаешь шалаш, плащ-палатку. Костров жечь нельзя — маскировка. В чем одет, в том и спишь. Но мы не замерзали

и не болели. Были и финские лыжные батальоны. У нас была сформирована десантная лыжная бригада, которая участвовала на Северо-Западном фронте. Эта бригада встречалась с финнами. Финны превосходили нас во всем! Он подъедет к елке, у него крепления были жесткие — Rotofella, он лыжи снял, раз, и там, наверху. Снял винтовку, „чих“, спрыгнул на лыжи и растаял. Наши лыжники не могли даже сравниться с финскими лыжниками („как небо от земли“)».

Здесь интересно привести фрагмент воспоминаний бойца лыжного батальона Павла Шилова, участника Финской войны 1939–1940 годов: «На переговорах после окончания войны вот что случилось: финский офицер показал, как наши бойцы ходят на лыжах, — невероятно наклонился и, опираясь на палки, враскорячку прошел метров 20–30. А потом показал, как финны ходят на лыжах: оперся на палки, подпрыгнул и побежал, словно олень. Так закончились переговоры»[9].

С. А. Стяжкин: «Те были умнее нас, хитрее нас, они нас мутузили здорово. Пусть никто не говорит, что у немцев не было лыжных батальонов. И говорить, что мы были умнее их, нельзя. Но у немцев был недостаток: они не привыкли к русскому морозу! С наших убитых бойцов они снимали валенки, шапки.

Мы нуждались в постоянной доставке лыж. Мало ли — на бревно наехал, лыжа пополам, тут ее и оставляешь. Мы знали, что лыжи нам привозят из Кирова, с лыжного комбината.

Заградотряды были и в первую зиму. Мы вели бой, поселок Ленинский отбивали. Немец пошел с полком пехоты и с несколькими танками в атаку. Был приказ: Стоять на месте и ни шагу назад! А у нас все челюсти смерзлись. Скажи „мама“, ты не скажешь „мама“! Командир повел нас в землянку погреться. И потом заградотряд, два пулемета: „Стоять на месте, командир, ко мне!“ Командир подошел, говорит, пошел отогреваться, там заставу оставил. Что за разговор был, это я не знаю, но разрешили отогреться. Еще шаг, и они бы нас двумя пулеметами расстреляли. Надо же отогреть солдат, мы же не отступали, не бежали. И я видел своими глазами заградотряд, стоял и ждал, когда нас пропустят в землянку. Я считаю, что в заградотрядах не было необходимости, это было жестоко».

В ЧЕМ ТРАГЕДИЯ ЛЫЖНЫХ БАТАЛЬОНОВ?

Нечеловеческая выдержка и выносливость требовалась на войне от всех бойцов без исключения. И все-таки для лыжников некоторые испытания были особенно тяжелыми.

Во-первых, это испытание расстояниями: многокилометровыми маршами, переходами со всем снаряжением, с полной боевой выкладкой. Нас поразили воспоминания полковника М. Н. Трушкова, уроженца Кировской области, начинавшего воевать в лыжном батальоне. Он утверждал, что после изнурительных, изматывающих переходов участвовать в бою, в атаке, в прямом столкновении было облегчением.

«Начал я свои боевые будни с февраля 1942 года, когда, после пятимесячного пребывания в запасном лыжном полку, в составе маршевой роты я был направлен на Северо-Западный фронт, под Старую Руссу. Здесь нашу лыжную роту, в которой я исполнял обязанности заместителя политрука, влили в состав 29-го отдельного лыжного батальона. В тот период в соответствии со складывающейся обстановкой наш батальон почти ежедневно перебрасывался с участка на участок, и мы совершали переходы по тридцать и более километров в сутки с полной выкладкой.

Первый месяц пребывания на фронте для меня был самым трудным. В последующие месяцы и годы мне пришлось многое видеть, пережить, участвовать во многих боях, быть в разных переделках. Дважды был ранен серьезно, так что пришлось в общей сложности полгода лежать в госпитале, трижды был ранен легко, но таких трудностей, как в первый месяц пребывания на фронте, я не испытывал. Все было трудно: идти, не зная конца пути, нести тяжелую ношу, терпеть боли от разных потертостей.

В те дни я впервые узнал, что значит сон на ходу, что засыпать можно моментально, по команде „привал“. В те дни я узнал цену снега как обогревающего средства, защищающего от морозов и снежных бурь. „Ночевали“ мы в снегу, точнее не ночевали, а отдыхали, потому что ночью, как правило, шли. Лишь два раза за весь месяц нам пришлось ночевать под крышей — спали в сараях. Это было верхом блаженства…

В те дни я особенно остро ощутил необходимость для солдата такого качества, как физическая выносливость. Бесконечные переходы и трудности имели в смысле морально-психологической подготовки бойцов к первым схваткам с врагом определенное положительное значение. Если судить по себе, то они делали предстоящие впереди бои с противником в какой-то степени даже привлекательными, потому что, во-первых, во время боя не надо бесконечно идти, а во-вторых, после боя, как мне представлялось, должна обязательно наступить перемена в образе действий батальона. И если ты останешься живой, рассуждали мы, то почувствуешь облегчение в результате этой перемены. Если окажешься раненым, „отдохнешь“ в госпитале. Ну а если убьют, то… На войне всегда кого-то убивают. Во всяком случае я с нетерпением ждал, когда же нас бросят в бой»[10].

Во-вторых, это пытка морозами, особенно в первую военную зиму 1941/42 года. Ведь зачастую бойцы-лыжники ночевали под открытым небом, нередко у них не было сил даже снеговую яму вырыть. В лучшем случае ночевали в шалаше из веток. И очень редко под крышей.

В-третьих, отсутствие горячего питания. Ведь пехоту все-таки кормила полевая кухня. Лыжники, действовавшие часто в глубоком вражеском тылу, в лучшем случае ели мерзлый хлеб, галеты и консервы. В-четвертых, лишение полноценного сна. Лыжбаты совершали переходы и диверсионные операции главным образом ночью. Днем чаще всего это был не сон, а короткий отдых.

В своей монографии «Сотворение Победы» П. Е. Козлов так пишет о драматической судьбе лыжных формирований: «Лыжные батальоны придавались стрелковым бригадам для усиления и поддержки. Командование последних использовало их по своему усмотрению и чаще как стрелковые подразделения, не считаясь с особенностями, организацией, тактическим предназначением. Из-за этого лыжные части не могли эффективно проявить себя.

К тому же командиры бригад ставили лыжбатам большие задачи, а заботиться об их обеспечении продовольствием и боеприпасами считали излишним. Особенно в трудном положении лыжники находились, когда действовали далеко от армии, на флангах и в тылу противника…

Транспортные средства других частей их не обслуживали, своих врачей в батальонах не было, своевременная помощь раненым отсутствовала. Все это ставило лыжников в безвыходное положение, осложняло их действия, мешало успеху. Чтобы создать свои органы управления и снабжения, лыжбаты и были сведены в бригады.

Армии получили директиву, в которой дальнейшее использование лыжных батальонов как стрелковых частей считалось нецелесообразным и предлагалось использовать их впредь только в таких действиях, где требуется особая подвижность и быстрота, главным образом для дезорганизации тылов и коммуникаций врага»[11].

«Другая проблема — сильнейшие морозы, порой свыше тридцати градусов. В глубоком снегу обувь и одежда сильно намокали, сушиться негде. Спать приходилось тоже в снегу. Бывший боец 3-го батальона А. Беляев пишет: „Вначале все было нормально: выроешь снег, положишь сучьев, растянешь плащпалатку и ложишься один к одному. Потом дело стало хуже: уже не было сил разрыть снег. Спать приходилось прямо на открытом ветре“. У каждого второго — обморожение. Но десантники не складывали оружия. Вели активные диверсионные действия. За месяц они прошли на лыжах не меньше пятисот километров по вражескому тылу и все время спали в лесу. Можно со всей определенностью сказать: держались только силой воли.

В апреле бригаду преследовали неудачи. Немцы направили против лыжников несколько новых фронтовых частей. С воздуха неотступно контролировали движение обессиленных десантников самолеты. Приход весны принес новые огорчения. Днями шли по размякшему снегу. Лишь утром иногда примораживало лыжню. Передвигались, можно сказать, босиком: протертые, дырявые валенки не спасали людей от распутицы. Дыры затыкали тряпьем, травой, но вода проникала. И ко всему — голод, который усиливался. Каждый потерял не менее десяти килограммов в весе — кости, обтянутые бледной кожей.

Изорванная в клочья одежда. Черные обмороженные лица.

Переносить трудности помогала десантникам и фронтовая дружба. Больных и раненых не оставляли: вывозили через линию фронта на самолетах или на „волокушах“.

Действия бригады характеризовались множеством фактов героизма и отваги...»[12]

К трагическим итогам судеб лыжных частей нужно отнести и то, что документы об их боевых действиях практически отсутствуют в архивах. Учет погибших и раненых в этих формированиях почти не велся, часто соединение в результате успешного выполнения операции просто таяло без следа. Нелегко восстанавливать вехи боевого пути лыжных батальонов.

Многое из того, что мы узнали, нам по-прежнему трудно, почти невозможно себе представить. Например, нам трудно представить, каково было передвигаться на лыжах с оружием. Для этого требовались люди с хорошими физическими данными. Эти люди обладали сильной волей и выдержанным характером, ведь даже спортсмену трудно двигаться по снежной целине, по бездорожью, с полной боевой выкладкой, порой сутками без сна и отдыха. Для нас лыжи — это как раз в основном удовольствие и отдых.

Подводя итоги, мы можем сказать: тыловая Кировская область участвовала в ходе Великой Отечественной войны и людскими ресурсами, и производственной продукцией как местных, так и эвакуированных предприятий. Одним из важнейших следует считать производство армейских лыж на деревообрабатывающем комбинате.

На основании архивных и устных источников было установлено, что в Кировской области были сформированы три лыжных полка. 283-й лыжный полк состоял из 12 лыжных батальонов, которые участвовали в течение зимы 1941/42 года в обороне Москвы, в боях под Старой Руссой и в районе Демянска.

Примечания

[1] Нам очень помогли работы вятского историка-краеведа, кандидата исторических наук, доцента Петра Ефимовича Козлова. Петр Ефимович — участник Великой Отечественной войны, потерявший под Сталинградом правую руку. Более 40 лет он занимался историей участия уроженцев Вятского края в главных битвах последней войны. Он много работал в Центральных военных архивах, располагает он и богатейшим личным архивом. Его монография «Сотворение Победы», вышедшая в Кирове в 1995 году, является лучшим памятником воинам-кировчанам и труженикам тыла Вятского края. Именно в этой книге мы нашли материалы, помогающие восстановить фрагменты пропущенных страниц военной истории, связанных с судьбами лыжных формирований. Самыми ценными источниками послужили интервью с ветеранами Нововятского лыжного комбината и с бойцом лыжного батальона С. А. Стяжкиным. Исключительно ценные сведения мы получили в Музее истории Вятского государственного гуманитарного университета.

[2] *Шилов П.* Тогда не было моды награждать // Родина. 1995. № 12. С. 64.

[3] Там же. С. 65.

[4] Вторая мировая война (1939–1945): Военно-исторический очерк / Под ред. ген.-лейт. А. Платонова. М., 1958.

[5] Великая Отечественная война: Справочник. М., 1990.

[6] *Козлов П.Е.* Сотворение Победы: Книга Памяти / Под ред. В.А. Никонова. Киров, 1995. Т. 16. С. 104.

[7] *Козлов П.Е.* Снежная кавалерия // Кировская правда. 1980. 12 апреля. № 85.

[8] Интервью взято 6 января 2005 года.

[9] *Шилов П.* Тогда не было моды награждать // Родина. 1995. № 12.
[10] *Трушков М.Н.* Первый месяц на фронте. (Начало боевого пути) // Ветераны войны вспоминают. М., 1970. С. 71–73.
[11] *Козлов П.Е.* Сотворение Победы: Книга Памяти / Под ред. В.А. Никонова. Киров, 1995. Т. 16. С. 104–105.
[12] Там же. С. 118–122.

Уникальные подразделения Оленетранспортные батальоны в годы Великой Отечественной войны в Заполярье

Мария Соколова, г. Мурманск
10-й класс, научный руководитель С. Б. Корнаухова

Открываю книгу Евгения Халдея «От Мурманска до Берлина». Перелистываю страницы. Вот на корабле отряд морских пехотинцев Северного флота — очевидно, этот снимок сделан перед высадкой десанта, — и вдруг вижу фотографию оленя. И дальше снова — разведчики в маскхалатах. Артиллеристы… Возвращаюсь к фотографии с оленем. Случайно она здесь, среди героев различных родов войск? Понимаю, что нет. И хочется узнать, а за что такая честь нашему северному оленю. Почему среди ста мгновений войны Евгений Халдей запечатлел и этот, поместил его в свой военный фотодневник?

Для меня фотография северного оленя стала отправной точкой, я решила узнать, что делали олени на войне.

В книге Алексея Киселева «Война в Заполярье» об использовании оленей на войне всего два абзаца. Читаю скупые строки: «В первую военную зиму во всех дивизиях 14-й армии стали организовываться оленетранспортные подразделения. В них служили саамы, ненцы и коми. Оленей часто использовали не только для отправки раненых и доставки военных грузов, но и при заброске разведчиков в тыл врага, для вывоза подбитых самолетов и их экипажей и для поддержки связи с пограничниками. Оленеводы спасли жизнь многим солдатам и командирам 14-й армии и Северного флота. За годы войны вывезли с передовой более 10 000 человек, доставили на фронт по бездорожью 17 000 тонн боеприпасов и военных грузов, эвакуировали из тундры более 160 вынужденно севших и подбитых самолетов, кроме того, переправили для выполнения боевых заданий около 8000 военнослужащих и партизан, многих — в дальние тылы врага»[1].

В голове появляется множество вопросов. Кому и как пришла идея использовать оленей на войне? Были ли подобные случаи их использования в других войнах? Как доставлялись сюда олени из далеких Ненецкого автономного округа и Коми АССР? В каких операциях приняли участие? Как была организована транспортировка боеприпасов, орудий, эвакуация самолетов по заснеженной тундре, в условиях бездорожья? Что стоит за всеми этими официальными данными? И самое главное, кто они, эти герои-оленеводы?

К сожалению, специальная литература, посвященная участию в боевых действиях оленетранспортных батальонов, лыжных бригад в нашем Мурманском книжном издательстве не издавалась, и найти ответы на вопросы я не смогла. Тогда и пришло решение дополнить по возможности картину военных событий чем-то новым и рассказать об этих уникальных подразделениях.

Работая над рефератом, я изучала историческую литературу, работала с фондами Мурманского областного краеведческого музея, анализировала официальные документы и фотоматериалы военной поры. Но ответов на все вопросы не находила. Сухая хроника, статистика, а что за ней? Понимала — конкретные жизни людей, на своих плечах вынесших все тяготы военной поры, сурового климата на протяжении трех лет, четырех месяцев и девяти дней, что шли боевые действия у нас на Севере. Стало понятно, что необходимы свидетельства очевидцев, непосредственных участников событий.

Важность своей работы, я вижу прежде всего в сохранении исторической памяти. Это благодарность людям, подвиг которых, на мой взгляд, и в годы войны, и в наши дни не был оценен по достоинству.

ФОРМИРОВАНИЕ ОЛЕНЕТРАНСПОРТНЫХ БАТАЛЬОНОВ

Тундра… Болота. Голая, покрытая скалами земля. Долгая зима с буранами и метелями. Армия в таких условиях испытывала значительные трудности в снабжении. Обильные снегопады на двое–трое суток могут задержать автомобильный и гужевой транспорт, который с нетерпением ждали солдаты на передовой, раненые в эвакогоспиталях, артиллеристы на огневых позициях.

В годы Великой Отечественной войны в обороне Советского Заполярья принимали участие уникальные подразделения, уникальные не только для Красной Армии, но и для армий других стран. В военных билетах наших бойцов появилась запись «ездовой оленевод». Речь идет об оленетранспортных дивизионах.

Впервые в Красной Армии олений транспорт показал свою жизнеспособность еще во время Финской войны. Тогда-то и были разработаны основные положения по использованию оленей в войсках.

Выгоды оленьей упряжки были неоспоримы: на санях легко по бездорожью проникнуть в тыл врага. Северный олень неприхотлив к пище, не требует специального ухода, сам добывает себе корм. И в тундре, и в лесу он всегда найдет себе пропитание — серебристый ягель. Кормом для него служат трава, листья, которых много под ногами. Олень никогда не нарушит тишины — даже раненый, он не издает ни звука. И, что немаловажно, ни одно крупное упряжное животное не сможет пробежать по снежной целине десятки километров за сутки. А олень очень вынослив. Форсированным маршем олени способны преодолеть до 80 км в сутки.

Правда, организовать и опробовать все задуманное до начала войны так и не успели. Пришлось спешно собирать оленьи подразделения, когда уже шли бои. В частях искали людей, знакомых с оленеводством. В ноябре 1941 года для 14-й армии Карельского фронта, действовавшей на Мурманском направлении, оленеводы сформировали первые три транспорта, состоявшие целиком из оленьих упряжек. Каждый из таких транспортов обслуживали 154 человека, в том числе 77 солдат-оленеводов, 15 оленегонных собак, 76 легких нарт, 270 грузовых

нарт. В последующее время было создано еще четыре транспорта. Всего за годы войны оленеводы-ловозерцы передали армии и флоту 5900 транспортных оленей, 1600 комплектов упряжи к ним, 1119 нарт.

Дневники и воспоминания бывших бойцов оленелыжных батальонов и транспортных бригад помогают воссоздать картину того, как формировались и двигались по тундре и лесам оленьи эшелоны. В первые дни войны в армию мобилизовали более 120 саамов Ловозерского района. Первоначально оленеводов призывали в действующую армию на общих основаниях, но вскоре для них нашлось более привычное занятие. Повестки из военкоматов предписывали призывникам-саамам являться к месту сбора с оленями. Ветеран войны В. Канев вспоминает: «На нартах своим ходом. По свежему снегу (было это в ноябре) добирались несколько дней до станции Пулозеро. Там нас, наших животных погрузили в товарные вагоны, повезли в сторону Мурманска. Здесь баржами переправили через залив. Снова запрягли оленей и двинулись к фронту. Остановились в двадцати километрах от передовой. Так я стал бойцом второго оленетранспортного отряда»[2]. Обнаружив, что положенного количества оленей в Мурманской области не хватает, 20 ноября 1941 года Государственный Комитет Обороны постановил: «Призвать из народного хозяйства Архангельской области, Коми АССР, Ямало-Ненецкого автономного округа: каюров — 1400 человек, оленей — 10 000 голов, нарт — 500 штук. Направить призываемых в распоряжение Архангельского облвоенкомата со сроком прибытия не позднее 1 января 1942 года. Обеспечить продовольствием и фуражом на путь следования. Каюров направить в исправной одежде и обуви».

Ноябрь и декабрь — самое суровое время в тундре. Полярная ночь, крепкие морозы, пронизывающие метели, глубокие, еще не скованные настом снега, сотни тысяч километров белой пустыни без населенных пунктов — все это затрудняло движение. В Москве было принято решение гнать оленей «попасом», то есть своим ходом, не отрывая от кормления. Но если первому эшелону ягеля хватало и он двигался с заданной скоростью, то оленям второй, а тем более следующих команд, шедших след в след, приходилось подбирать жалкие ягельные остатки. Корма катастрофически не хватало, животные быстро тощали. Командированные комиссары грозили военным трибуналом за каждого потерянного оленя. Это считалось вредительством! Поэтому каюры, голодая сами, не смели пустить на мясо ослабевших животных, а бережно укладывали их на нарты (и без того перегруженные) и везли их дальше. На свой страх и риск, невзирая на проклятия, щедро сыпавшиеся от комиссаров, ненцы вторых эшелонов стали сворачивать в сторону от проторенного пути: искали и находили богатые ягелем участки тундры. Это спасало животных, но задерживало продвижение.

Как вспоминает Б. В. Преображенский, «подъем команд и отдыхавших пастухов производился в шесть часов, завтрак — с семи часов, затем часа два занимал подгон стада к чуму и юркование быков (выбор оленей для запряжки в сани) — все это делалось еще почти в темное время. С 9–10 часов до 18–19 часов — в движении. На легковых нартах ехали мобилизованные, на грузовых-вандеях находились ящики с грузом, тюками, шестами от чумов, кухонной утварью, лари с про-

дуктами и другим имуществом команд. Позади шли слабые быки с пастухами». Поскольку главной заботой были олени, их сохранность, каждую сотню быков, свободных от работы в упряжке, гнал дежурный пастух с одной–двумя лайками. Во время остановок пасли оленей также по сменам. Эшелон № 4 — уже в конце января 1942 года, а эшелон № 5 — в начале февраля были на подходе к Архангельску. И хотя переход занял вместо одного месяца целых два, закончился он в общем-то благополучно. Все ездовые быки четвертого эшелона были признаны вполне работоспособными.

А в это время в окрестностях Архангельска шло комплектование оленелыжных батальонов. В ноябре 1941 года в формировании и переброске оленьего стада в Архангельск принимал активное участие Егор Николаевич Ледков. В то время он работал оленьим пастухом в Индигском совхозе. Егор Николаевич так вспоминает о событиях тех дней: «Сначала мы ничего не могли понять, зачем столько оленей гонят по тундре в Архангельск. Сопровождавшие нас военные говорили, что будут организовывать воинские подразделения. Мы так и не понимали, какие из оленей могут быть воинские подразделения? Среди нас были ненцы, коми, а также и русские. Некоторые русские жили с детских лет в тундре; они умели управлять оленьими упряжками. Было нас около ста человек… Присоединили нас к батальону, и в течение месяца мы стали проходить тактическую подготовку. Несется оленья упряжка, вдруг пулеметы застрочат. Тут олени сразу в сторону бросаются или вовсе станут, как к земле приросшие. Мины через нас летали, залпы пушек послушали. Выкапывали в снегу траншеи, целиком с упряжкой в траншею входили. Смотрят вокруг — ни оленей, ни людей нет, а мы в маскировочных халатах в траншеях. Внезапно в эшелон нас погрузили. Впервые в жизни олени в вагоны пошли. Спрашиваем у начальников: „Куда везут нас?“ — „Воевать! — говорят. — Фашистов бить“. Везли мы в Мурманск из Архангельска около тысячи оленей-быков. Все олени уже были обученными. Не боялись выстрелов»[3].

После непродолжительной, но напряженной учебы, в частности действиям в тылах врага, личный состав оленелыжного батальона, а также и олени были переброшены по железной дороге в город Мурманск. Алексей Леонидович Ледков, мобилизованный в лыжный полк из Надыма, вспоминал: «На Мурманск в товарных вагонах направили. Олени у нас ослабли совсем, шатаются. Командиры придумали одевать торбы с сеном оленям на головы — ешь, мол, не хочу! А они, родимые, сено-то не едят!!! Когда из вагонов выгружались, четвертая часть погибла уже…»

В начале марта 1942 года в 14-ю армию Карельского фронта прибыли 12 оленелыжных батальонов и разместились в районе зверосовхоза. Три из них убыли на другие участки фронта (в распоряжение 10-й армии). Из оставшихся девяти батальонов с 6 по 11 марта были сформированы две бригады.

Основным видом транспорта в бригадах были оленьи упряжки. Но олени были сильно истощены и к работе непригодны. Они шли с грузом от Печоры до Мурманска 2600 километров. В пути 222 оленя пали от истощения, а 710 выбракованы на забой. Из 4532 оленей до зверосовхоза дошли лишь 3600.

Должности солдат-оленеводов были укомплектованы из местного населения: саамов, которые хорошо знали уход за оленями, умели находить для них ягель, свободно ориентировались в тундре. Оленьи транспорты обеспечивались вьючными седлами, специальным снаряжением. Общая численность оленей только в 14-й армии достигала в годы войны 5 тысяч голов. Несколько меньше — в 19-й армии.

В конце 1941 года фронт на Мурманском и Кандалакшском направлениях стабилизировался. Однако линии сплошной обороны не было. Через бреши в тыл врага отправлялись разведывательные группы, партизанские отряды, войсковые подразделения. В зимнее время по глубокому снегу пройти в тыл можно было только на лыжах или на оленьих упряжках.

19 марта 1942 года обе бригады прибыли на фронт и заняли оборону на открытом левом фланге 14-й армии на 7-километровом участке от озера Ножъявр до реки Лебяжки.

Узнав о создании оленьих частей и подразделений, гитлеровское командование поставило особые задачи авиационным частям по уничтожению движущихся на формирование оленьих стад, посылало специальные отряды диверсантов для истребления транспортов. Но, несмотря на все их усилия, транспорты продолжали работать.

ФРОНТОВЫЕ БУДНИ 1942–1944 ГОДОВ

По крупицам, разрозненным фрагментам воспоминаний ветеранов, по фотодокументам мне удалось представить себе, как воевали в 1942–1944 годах оленетранспортные бригады.

В красноармейских книжках бойцов за тот период времени сделана только одна запись: «Участник боев на Мурманском направлении в составе 14-й армии Карельского фронта с 1942-го по 1944 год. В обороне и участник боевых выходов по тылам противника». Война принимает здесь позиционный характер и основная работа — рейды по тылам врага.

Условия жизни личного состава бригад были экстремальными. Бойцы ютились в снежных ямах, покрытых ветками и плащ-палатками. Дров не было, сырые ветки кустарника не горели. Теплого обмундирования и обуви не хватало. Продовольствие и боеприпасы подвозили с перебоями. Многие бойцы заболевали. Усилился падеж оленей. До половины личного состава ежедневно направлялись на расчистку дорог в расположение 10-й гвардейской дивизии. Это сильно выматывало бойцов физически и морально. Были даже случаи самоубийства.

Но главное, для чего были созданы бригады, выполнялось. Был установлен режим работы оленьих транспортов. После часового режима движения делался десятиминутный перерыв для отдыха оленей, осмотра упряжки, состояния нарт

и груза. Пребывание оленей в упряжке ограничивалось восемью часами в день, а через четыре рабочих дня устраивался однодневный отдых.

Рассказ Алексея Ледкова: «Нас всех разбросали: кого в лыжные батальоны, кого при оленях оставили. К боям приказали готовиться. Нарты, хореи, оленей маскировали: все белой тканью зашивали, белой краской красили. Маскировку оленям я сам шил. Олени сперва отряхивались, мешал им халат. Сначала дальнобойные снаряды к батареям возили. А в майские праздники перед батальоном пошли, командиры сказали, что фашистов мы напугать должны! Вот тогда-то нас первый раз серьезно разбомбили. Много оленей, людей погибло…» Свою первую награду медаль «За отвагу» Алексей Леонидович Ледков получил совершенно экзотическим способом. Он вызвался промчаться на своей упряжке перед опорным пунктом врага, чтобы, вызвав огонь на себя, обнаружить его огневые точки. Все проверив и рассчитав, он разогнал оленей и, привстав на нартах, с гортанным криком, как положено, выскочил на открытое место и пролетел перед изумленными немцами так, что «сзади только пурга прошла». Опомнились фашисты, заговорили пулеметы, но с опозданием, уже вслед…

Стрелок Первого оленьего транспортного батальона Филипп Александрович Филиппов вспоминает, как отнеслись вначале к их оленьим обозам фашисты: «Решив, что это ездят туда-сюда крестьяне-оленеводы, они их просто игнорировали. И только спустя время „раскусили“ суть этих челночных поездок. И тогда стало небезопасно курсировать даже в темное время»[4].

Способ перевозки был самым различным. Материальная часть артиллерии и минометов транспортировалась на нартах, специально для этого приспособленных. Например, для перевозки четырехорудийной батареи горных 77-миллиметровых орудий с 560 снарядами требовалось 315 оленей, 82 грузовых и 30 легковых нарт. Если же 77- и 45-миллиметровые орудия требовалось переместить на близкое расстояние, его просто устанавливали на лыжи и буксировали за оленями.

Превратив полярную ночь и бездорожье в своих союзников, оленелыжные батальоны занимались не только транспортными операциями. Они участвовали в разведке, наступлениях, крупных рейдах в тыл врага. В 1942 году аэродром гитлеровцев, расположенный в Петсамо, был разгромлен оленелыжным батальоном. Ефим Иванович Горбунов вспоминает: «Для нападения выбрали самую темную пору. Мела сильная поземка. Бойцы в белых халатах. Оленей не слышно. Это не лошадь, которая неожиданно может заржать и испортить все дело. Подобрались незаметно, переждали, пока фашисты улягутся, а потом внезапно налетели. Уничтожив охрану, взорвав самолеты и склад горючего, растворились в снежной круговерти незаметно, как и нагрянули. Попробовали нас догонять, да куда там!»[5]

Особое место в перевозках занимала эвакуация раненых. Такая эвакуация проводилась в радиусе 7–10 километров, то есть от переднего края до полкового медицинского пункта. Полковому медпункту для этого предавали взвод оленьего транспорта. Для санитарного транспорта олени использовались даже во вре-

мя десантных операций. С передовых позиций вывозили раненых, а обратно перебрасывали боеприпасы. Один из бойцов-оленеводов из Ловозера — А. Сорванов рассказывал: «Много раненых на войне наши олени спасли. Раненый человек, потеряв много крови, замерзает. Оленья шкура тепло хорошо держит. Завернешь раненого в шкуру, положишь на нарты и везешь»[6].

На оленях мчались офицеры связи, доставлялась срочная почта. С целью рекогносцировки местности на них ездили и генералы, в том числе и сам командующий 14-й армией Владимир Иванович Щербаков. Даже командующий фронтом К. А. Мерецков не гнушался проехаться вдоль фронта на оленьей упряжке, правда, отмечал капризность этих животных.

Большую помощь оказывали олени и авиации. Почти у каждого оленевода было по одному и даже по два «крестника» из летчиков. Подобьют где-нибудь над снежным полем наш самолет, кто летчика заберет, кроме них? Анатолий Иванович Рожин вспоминает: «В 43-м году мой взвод занимался вывозкой моторов с подбитых самолетов. А каждый из них весил не менее полутоны. Выручила изобретательность канинских оленеводов и в особенности Василия Степановича Белугина. Они соорудили большую нарту, на которую при помощи стягов и слег погружался снятый с самолета мотор, а дальше уже дело было за хорошими постромками и оленьей тягой. Впрягать в такую нарту приходилось до двадцати оленей».

Олени отлично проявили себя и в морских операциях. Е. И. Горбунов вспоминает: «Однажды мы проводили крупный десант в тыл противника. Сопровождали десантные операции олени. В двух–трех километрах от берега мы накреняли верхнюю палубу корабля и таким образом сбрасывали их в воду. Причем олени доплывали до берега быстрее шлюпок»[7].

Подразделения блестяще оправдали надежды. После буранов и снежных заносов фронтовые коммуникации оказывались непроходимыми даже для гусеничного транспорта. Но не для оленей. Бывали случаи, когда, оказавшись в ледяной воде, олени передними копытами ломали и дробили ледяную кромку, пробивались к прочному льду и, выпрыгнув, вытягивали нарты.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОЛЕНЬЕГО ТРАНСПОРТА В ХОДЕ МУРМАНСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

28 апреля 1942 года началась трагическая Мурманская наступательная операция. О ней написано достаточно. Но вот какая роль отводилась в ней оленям, известно мало. Об участии 5-й и 6-й отдельных лыжных бригад в указанных боях мне удалось узнать из документов, присланных из Подольского архива С. Е. Максаевым, воспоминаниям ветерана 31-й оленелыжной бригады С. И. Пасканного, письмам, которые в те дни шли с фронта родным.

Бои шли в исключительно трудных условиях. В ходе боев олени благодаря выносливости и большой проходимости оказали неоценимую помощь нашим подразделениям, обеспечивая их всем необходимым.

О майских боях 1942 года вспоминает в письме, присланном в гимназию, ветеран 31-й оленелыжной бригады Сергей Иванович Пасканный: «Весной 1942 года в Заполярье намечалось наступление… Но вследствие изменившейся погоды, из-за сильных метелей, бушевавших несколько дней, были отрезаны пути снабжения, нарушены связь и взаимодействие, части остались без боеприпасов и продовольствия, нарушилась эвакуация раненых, и бои пришлось прекратить и остановиться. На оленьих упряжках были эвакуированы в тыл сотни бойцов. Среди лесистых сопок и озер, не зная устали, работали оленеводы — ненцы, коми, саамы, русские. Они спасли жизнь не одной сотне наших воинов. Да, это были для необстрелянных солдат и офицеров первые бои, это были тяжелые бои в условиях бездорожья и безжалостной, капризной северной погоды. В этих боях основную часть потерь, а они были большими, части бригады понесли от непогоды. Много было замерзших, обмороженных. Это было жуткое и страшное зрелище, когда ты видел, как гибнут твои товарищи, замерзая, и ты не можешь им помочь. У всех нас попримерзли маскхалаты, полушубки и ватные брюки, все мы ходили как мерзлые сосульки, голодные и холодные, так как не с чего было разжечь костры, а лыжи, которые мы жгли, их хватало ненадолго. Вот так бригада и я приняли свое первое боевое крещение. Это мне запомнилось на всю жизнь, хотя были и впоследствии и более жаркие схватки, но этих „холодных“ боев никогда не забыть. Вот вам один из моих первых памятных боев, в которых я получил сильное обморожение ног».

С 28 апреля по 10 мая 1942 года 6-я оленелыжная бригада потеряла убитыми 309 человек, пропали без вести — 562, замерзли — 25, ранены — 440, обморожены — 58, заболели — 97. Общие потери бригады 1491 человек, то есть более 53 процентов личного состава8. Несмотря на понесенные потери, бригада значительно потеснила противника и закрепилась на высоте 221 и левом берегу реки Западная Лица.

Воспоминания Александра Ивановича Денисова, бойца оленетранспортных отрядов, помогают воссоздать картину, например, высадки десанта на мыс Пикшуев в апреле 1942 года. Первая сложность состояла в том, как погрузить оленей на боевые корабли, но еще сложнее было их высаживать. Ветеран вспоминает: «Высаживать оленей было непросто. Сначала их обвязывали концами и опускали в шлюпки. Потом стали их сбрасывать за борт. И они поплыли за теми, которые в шлюпках. Ну а нарты связывали цепью и буксировали»[9]. Воспоминания С. Шерстобитова об этой операции позволяют уточнить детали. Предложение о высадке оленей внес Николай Хатанзей. Именно он предложил связать сани цепочкой и тянуть их на берег, а олени, увидев это, сами поплывут за санями. 75 саней были спущены в воду, с берега их тянули длинной веревкой. 200 оленей по трапам ринулись за санями и резво поплыли к берегу[10].

Эта операция проходила в сложных погодных условиях. Метель, резкое похолодание, шквальный ветер. Начались сильные обморожения среди бойцов морской пехоты. Вот тут и помогли олени. В музее Северного флота есть «История 12-й бригады морской пехоты». В этой самодельной тетради из грубой серой бумаги военной поры есть описание десанта на мыс Пикшуев. Об оленьем десан-

те несколько строк: «Приготовлены были 50 оленьих упряжек с нартами для перевозки раненых». Но за этими цифрами жизни спасенных бойцов.

Пятнадцать суток 12-я бригада вела тяжелый бой с превосходящими силами противника. В эти дни оленеводы водили упряжки по открытой местности, под огнем врага. Олени нуждались в корме, а ягельные участки обстреливались. Сержант Данилов первым полез на скалы собирать ягель. С. Шерстобитов пишет: «Когда подморозило, вокруг образовался не пробиваемый копытом лед-наст. Олени голодны… Оленеводы лезут на скалы, собирают ягель оленям. Крошат снег топором, чтобы напоить животных. Катер — „охотник“ — доставил нам рыбную муку. Тем же катером отправляем под видом раненого нарочного к начальнику тыла 14-й армии: „Просим немедленно доставить 500–600 килограммов овсянки! Ягель закован морозом, олени голодны!“ Через семь часов из Полярного катер привез тонну овсяной крупы. Олени жадно едят крупу, повеселели…»[11]

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ: УЧАСТИЕ В ПЕТСАМО-КИРКЕНЕССКОЙ ОПЕРАЦИИ

В октябре 1944 года, когда наши части громили фашистов, лучшие бойцы — оленеводы с упряжками оленей — были переданы 126-му легкому стрелковому корпусу. С 6 сентября по 6 ноября 1944 года 31-я оленелыжная бригада в составе 14-й армии участвует в боях за Петсамо, Никель, Рудники, Киркенес, совместно с другими частями фронта освобождает Советское Заполярье и вступает на территорию Норвегии.

Части соединения скрытно обходили оборонительные рубежи противника с флангов. На этот раз животные шли под вьюками. В каждом по два ящика артиллерийских снарядов. Покрытые плащ-палатками воины, а также олени на осеннем фоне тундры хорошо маскировались. Перед бойцами была поставлена задача: выйти в глубокий тыл противника и перерезать развилку дорог на Никель, Ахмалахти, Печенгу, уничтожить вражеский аэродром Луостари. Переход проходил в условиях полного бездорожья, по болотам и скалистым сопкам. Реки Титовку и Печенгу форсировали в ледяной воде. Олени шли без нарт, навьюченные грузом. Удар по врагу с тыла был ошеломляющим. Перекресток был захвачен и удержан. Немцы в течение четырех суток пытались любой ценой вернуть утраченные позиции. Успешно был захвачен и аэропорт. Все это обеспечило успех наступления 14-й армии на Петсамо. 15 октября Верховный главнокомандующий объявил всем воинам 31-й оленелыжной бригады благодарность.

ПОДВИГ ВОИНОВ ОЛЕНЕТРАНСПОРТНЫХ БАТАЛЬОНОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ

О боевой работе солдат-оленеводов — ненцев, саами, коми — можно бы рассказать много. Но я ограничусь выдержками из воспоминаний самих участников обороны Заполярья, хорошо раскрывающих вклад в это дело наших солдат на нартах.

Бывший сержант Егор Егорович Захаров дополняет своим рассказом историю оленьих отрядов. «…Предложили мне с оленями отправиться. Нас-то обучать можно, да и быстро обучали. А попробуй-ка оленей обучить! Слыхал я, что кавалерия воюет. Про Семена Михайловича Буденного в школе рассказывали. Я и про Ворошилова и про Котовского книги читал. Но как оленей обучать? В 10-й Гвардейской дивизии были ветеринарные врачи и зоотехники. Они всю жизнь имели дело с оленями, они и помогли. Кто наловчился на оленях кухни отвозить, кто за санитаров был. Даже несколько девушек-саамок было. Помню, Скобелеву все хвалили. Она оленями управляла. Больше всего я участвовал в боевых походах в тыл врага. Вместе с нами были ненцы, коми, русские. Привезли потом и уральских манси. Они тоже в оленях разбирались. Врывались мы к врагу неожиданно, и сразу же начинался бой. Особенно тяжело было ходить в разведку на оленях, когда стояли большие морозы»[12].

Много интересных подробностей о быте той поры удалось узнать из интервью Юрия Ивановича Корякина. И хотя он служил связистом в 77-й отдельной морской стрелковой бригаде, участвовать совместно с оленями в боевых выходах ему случалось.

Я спросила его об особенностях войны на Севере.

Юрий Иванович рассказал: «Линия фронта была стабильна почти два с половиной года, мы даже окопы отрыли, хотя долбить мерзлоту можно было только кайлом или ломом. Фланги же были свободны — озера, болота. Ты видела кино „А зори здесь тихие“? — Хорошая картина. Ну вот тут такая же местность. Безлюдье. Учитывая оголенность флангов и нашу любовь воевать зимой, как только становились болота и озера, начинались различные поисково-диверсионные операции за линией фронта. Собиралось два–три взвода, то есть 60–90 человек, я с радиостанцией, и мы ходили по немецким тылам. Ходили на лыжах, иногда с нами были олени, которых использовали для перевозки боеприпасов и раненых, собак никогда не брали — они лают, заразы. Причем мы ходили довольно далеко, к самому Рованиеми, и в такие дни, когда никакой немец воевать не будет. Ну, например, Новый год в 43-м и 44-м я встречал за линией фронта. Выходили числа двадцатого декабря, чтобы к Рождеству быть в глубоком тылу. Какой немец будет в Рождество воевать? А русские будут. Нападали на немецкие гарнизоны или опорные пункты, минировали дороги. Всегда соизмеряли свои силы, поэтому срывов было мало. Разведданные редко бывали достоверными: оказывалось, что опорный пункт совсем не такой простенький, как докладывала разведка, или гарнизон не пятьдесят, а двести человек. Это были очень трудные походы: и холодно, и боязно, и тяжело.

Попробуй почти три недели прожить на морозе в 20–30 градусов! То-то! Хотя мы были довольно хорошо одеты: валенки, стеганые штаны, маскхалат, тулуп, потом телогрейка, гимнастерка, тепловое байковое белье, а под ним еще и обыкновенное полотняное. Водку давали и кормили — 100 граммов хлеба в сутки на человека. Тушенка была американская. Вкусная зараза! Большая банка — в ней свиной жир, который можно было намазывать на хлеб, а в середине кусок мяса

с кулак. В общем, голодными не были… сало, сухари. Даже коптилки были, так называемые „жми-дави“. Это такая баночка, типа консервной, в которой находился разведенный в спирту стеарин. Если зажечь эту смесь, она горит бесцветным пламенем. Можно было подогреть еду или вскипятить воду. Но чего спирт жечь-то — его пить надо! Поэтому вываливали в тряпочку и отжимали — граммов пятьдесят спирта получалось, а поскольку баночек давали несколько, то выпить можно было вполне прилично, хотя и противно, конечно, а оставшийся воск тоже горит».

— Расскажите, как «языков» брали?

— Много пленных старались не брать: с ними хлопот не оберешься. Желательно, конечно, офицеров, от солдата как «языка» толку мало. Пленные шли с нами на лыжах и даже тащили раненых. Лыжи у немцев были более удобные. У нас валенки и мягкие ременные крепления, а у них были «персы», то есть теплые ботики с загнутым носом, который вдевался под скобу на лыжах. Когда мы приходили, к нам присылали аэросани или оленьи упряжки, которые увозили пленных на допрос, а раненых — в госпиталь. Усталость была безмерная, чудовищная усталость, чудовищная…

Так вот оказалось, что во время войны действия армейских оленетранспортов были очень эффективны. Оленеводы ехали по горам и болотам; плыли запряженные олени через реки и озера и морем в десантах без единого звука; олени не лают, не воют, не ржут, не стонут; олени помогли выстоять и защитить родной край.

В своих мемуарах командующий Карельским фронтом К. А. Мерецков писал: «Боевые операции в Заполярье являлись в истории Великой Отечественной войны уникальными, ибо нигде более нам не доводилось обороняться и наступать в такой природной зоне». Уникальным был и транспорт, который использовал советский солдат!

Примечания

[1] *Киселев А.А.* Война в Заполярье. Мурманск, 1995.
[2] *Дранишников В., Жданов В.* Саамы на фронте // Этих дней не смолкнет слава. Мурманск, 1995.
[3] *Воскобойников М.* В атаку идут северяне // Звезда. 1975. № 4.
[4] *Михняк Т.* На упряжке — через Мурман // Ловозерская правда. 1994. 23 мая. С. 1.
[5] *Кузнецов Е.* Батальоны идут сквозь пургу // Человек и Север. 2002. № 2(3).
[6] *Зайцев И.* Оленетранспортные подразделения // Наука и жизнь. 1995. № 4.
[7] *Кузнецов Е.* Батальоны идут сквозь пургу // Человек и Север. 2002. № 2(3).
[8] *Журин Л.* В бой на лыжах и оленьих упряжках // Мурманский вестник. 1997. 24 октября.
[9] *Дранишников В., Жданов В.* Саамы на фронте // Этих дней не смолкнет слава. Мурманск, 1995.
[10] *Шерстобитов С.П.* На фронте — олений транспорт // В боях за Советское Заполярье. Мурманск, 1982.
[11] *Шерстобитов С.П.* Оленеводы в морском десанте // На страже Заполярья. 1990. 17 мая. С. 4.
[12] *Воскобойников М.* В атаку идут северяне // Звезда. 1975. № 4.

Между молотом и наковальней Война, народ и власть, партизаны и цена Победы

Юлия Ивкина, Анна Ковалева, Псковская область, г. Великие Луки
10-й класс, научный руководитель: А. А. Лукьянов

Не так живешь, как хошь, а как жизнь сложится…
Хоть это все позади, а помнить надо: если все токо современное брать, а прошлое выкинуть, то никакой истории не останется. И будешь звать: «Правда, где ты?», а она тихонько: «Я здесь, но боюсь отозваться»
Слова русской крестьянки.
Усвятский район, Псковская область

О сопротивлении гитлеровцам в нашем городе говорит запись в дневниках начальника германского генштаба генерал-полковника Ф. Гальдера: «14 декабря 1941 года. 176-й день войны. Положение с железнодорожным транспортом. Значительно уменьшилось количество прибывающих эшелонов. Причины — диверсии партизан. В Великих Луках сожжены паровозо- и вагоноремонтные мастерские».

К размышлению над проблемами, связанными с партизанским движением, нас подвигли письма, адресованные Вере Ивановне Ивановой (по этическим соображениям фамилии действительных участников событий изменены), известной в нашем городе по встречам с молодежью как ветеран партизанского движения в Великолукском крае. Письма написаны в 1990 году бывшим работником УНКВД по Калининской области, по словам В. И. Ивановой, начальником особого отдела калининских партизан Шураевым Николаем Антоновичем, проживавшим в это время в г. Твери. Приводим одно из них:

ПИСЬМО ЧЕКИСТА

«Партизанская война — это народное дело. И все мои попытки найти руководящую и направляющую роль партии, в частности, на Калининской земле мало дали утешительного. Почти никто не остался с народом своего района, города. Всех уже из Калинина посылали в свои районы как провинившихся. Да и штаб партизанского движения создали только в июне 1942 года. А кто же до этого руководил и вдохновлял партизан? Кто были эти люди?

А кто стал вдохновлять после 1942 года? Кто окопался в этом штабе? К сожалению, это стали обычные военные чиновники с их привычками к приказам.

И когда сейчас превозносят партизанский корпус, партизанские бригады как военные формирования, мне это кажется „маскарадом“, попыткой, одеть седло на корову и скакать на ней. Что мог сделать корпус с легким стрелковым оружием против немецкой дивизии „СС“ по охране тыла армии или линейной диви-

зии с ее вооружением. После рейда корпуса никто не посчитал, сколько деревень немцы сожгли? Сколько людей повесили и расстреляли после этого рейда? А сейчас это надо подсчитать и взвесить, чего больше было — пользы или вреда.

Немецкие документы (отчеты) помогут в этом очень, точно подсчитать. Такая возможность есть.

Есть документы Великолукского отделения „Ц“ (Цепеллин — филиал „Абвера“), где есть оценки противником наших реальных действий, представляющих действительную опасность для них, есть документы „ГФП“ и полевой жандармерии, есть документы „Ортскомендатуры“, организации „Тодт“ и др. Все это можно сейчас затребовать, если надо, то даже из Вашингтона пришлют (из Библиотеки Конгресса США), где есть документы гитлеровского Генштаба. Вот там самая реальная оценка наших ударов по врагу, насколько они были ощутимы и их реальный результат. Иногда думаешь: за одного убитого солдата или подорванного мотоциклиста немцы три деревни спалили и 15 мужиков расстреляли, детей в огне сожгли. Разве это равноценно? О мотоцикле наши в отчет дают, а о последствиях ни слова. А у немцев все учтено: и кого убили, и сколько спалили за это „действо“ партизан.

Мы провели такие расследования по Ржеву и району. Как в зеркале увидели себя и поняли, почему немцам удавалось создавать отряды „ЕК“ (самообороны) от партизан. Они отлично использовали психологию людей в свою пользу. Причем все это в их документах. Я был поражен, насколько они пунктуально отчитывались и о своих „хитростях“ доводили начальству. Вот бы по Великим Лукам кто занялся… В конце концов все это будет сделано. Сейчас это доступно. И мы получим реальную „Цену Победы“…

10 июля 1990 года»[1].

В своем письме бывший работник УНКВД поднял очень важную проблему — действенности партизанских атак, их цены для жителей оккупированных мест и достоверности тех сведений, которые мы имеем о действиях партизан и подпольщиков. А надо ли нам молодым знать об этом? И надо ли разбираться в действительных делах людей, живших и действовавших в то время? Может быть, это и нормально, что люди, рассказывающие приукрашенные истории о своих делах, приходили к нам на уроки мужества! Имеем ли мы право говорить об этом?

Действия партизан, о которых идет речь в вышеприведенном письме, происходили на территориях тогдашних областей: Калининской (ныне Тверской), Смоленской, Ленинградской (ныне районы Псковской области, бывшие с 1944-го по 1957 год в составе Великолукской области), Витебской области. И поэтому большой удачей для нашей исследовательской работы стала встреча с фольклорными материалами Е. Н. Разумовской, которая вместе со студентами музыкального училища при Ленинградской консерватории работали в этих местах[2]. Благодаря этим записям мы увидели, как воспринимали русские крестьяне события тех лет, и ощутили, что пришлось им вынести на своих плечах.

Д. И. Филимоненко, 1895 года рождения, д. Церковище: «Другей раз пришлось голосить, как мужиков на войну уводили. Женщины тогда караул кричали. Шли по большаку, детями обставленные, и голосили. Я тогда мужа, сына и двух братьев провожала — никто не вернулся. Мы всего с войны приняли, сколько горя претерпели — и все под ногу…

Полицаев выбирали на общем собрании, чтоб порядок был, чтоб хлеб и мясо поровну делили. Потом их зря убили. А партизаны? Какие у нас партизаны? В болоте прятались, ничего не делали. Прийдут ночью, все отберут, что хотят».

К. В. Паничев, 1904 года рождения, д. Есипово: «А эти завоеватели начали раздевать всех подряд: у кого сапоги, у кого часы отбирали. Гитлер воли им дал — что хотели, то и делали. За одного немца по 25 русских убивали: поставят в строй, 25 отсчитают и в расход. А тот, кто убил, уходит… Вот у нас учитель был, директор школы Михаил Степанович Пятернев. По два часа на каждом собрании за советскую власть говорил, а немцы пришли, стал на них работать. Поставили его старшиной волости. Ну, потом, конечно, наши его расстреляли».

Т. Д. Симаньков, 1925 года рождения, д. Михайленки: «Здесь фронт проходил, четыре раза переходили то к немцам, то к нашим. В Будницкой церкви прятались, неделю сидели в церкви. Потом в Усмынь нас выселили. Вернулись домой — один быльник (сорная трава — *Авт.*) до потолка. От Велижа до Витебска на 100 километров деревень не осталось: все сожгли. И народу погибло много: немцы придут — вешают, партизаны придут — корову требуют, не дашь — стреляют. Партизаны разные были: которые по совести, а которые грубо обращались, хуже немцев — не партизаны, а хулиганы. Ночь дрожишь: вдруг придут? Боялись и тех и тех…»

Т.П. Фадеева, 1905 года рождения, д. Осмоловичи: «Я в войну с семилетней дочкой была у партизанах в Шалбовском бору. Немцы сделали облаву. Мужчин всех убили, а женщин с детьми отправили в концлагерь. Я в трех концлагерях два с половиной года провела. В Люблине жили под открытым небом, совсем не кормили. Дочка умерла с голода. Что там было, умом нельзя представить…»

В этих воспоминаниях отразилась общая судьба русских и белорусских женщин, оказавшихся на оккупированной территории. Все они проводили на фронт своих мужей, сыновей и братьев. Почти все они не вернулись с войны. Еще раз мы сталкиваемся с трагедией народа в той войне: старост и полицаев во множестве даже выбирали, чтобы действовало местное самоуправление. Удивление вызывали у самих жителей крутые перемены, происходившие с людьми, которые при советской власти проповедовали одно, а с приходом немцев быстро переориентировались на другое. Значит, то, от чего так быстро отказались, было притворное, не имеющее настоящей основы. Из всего видно, что кто-то презирал немцев, а кто-то с некой благодарностью относился к ним. И к партизанам тоже отношение всякое было: кто-то жил с ними в лесу, а кто-то боялся их. Среди своих, наверное, тоже находились те, кто притеснял своих земляков, выдавал их немцам — предатели. Боялись и тех, и других, и третьих. И тяжелая беспросветная голодная жизнь с безжалостной властью.

Собеседники членов экспедиции музыкального училища уже ушли из жизни. А мы захотели услышать свидетельства живых участников событий, связанных с оккупацией, ближайших к городу мест. Это нам позволили сделать хранящиеся в архиве Великолукского отделения «Мемориала» записи интервью с жителями города Великие Луки Жуковым Петром Ивановичем и Новиковой (Жуковой) Евгенией Алексеевной. В время войны они были еще детьми, но многое помнят из жизни своих семей в эти годы.

СУДЬБА ДВУХ СЕМЕЙ

Петр Иванович Жуков родился 16 января 1929 года в деревне Шеклино, в настоящее время проживает в деревне Пропастниково. Евгения Алексеевна Новикова родилась 16 декабря 1929 года в деревне Шеклино, живет в городе Великие Луки.

Алексей Петрович Жуков — отец Евгении Алексеевны и Иван Петрович Жуков — отец Петра Ивановича с семьями до войны жили в деревне Шеклино и были колхозниками. 23 июня 1941 года И. П. Жуков призван в Красную Армию и погиб на фронте. Отец Жени не был мобилизован по состоянию здоровья.

Петр и Женя перед войной успели закончить четыре класса школы в деревне Макарово. Немцы пришли в Шеклино уже примерно в середине июля. Их техника грохотала на дороге Невель–Великие Луки. Но еще до их прихода, власть, по-видимому, развалилась, так как жители окрестных деревень, безнаказанно разграбили находившийся здесь магазин. Начали ночью. Петр Иванович вспоминает: «Я пришел уже на следующий день, в обед, и мне досталось: три бутылки водки, 70 пачек „Беломорканала“, 200 пачек сигарет „Норд“, махорка „Шапшан“, карандаши, перья, ручки, но все это я нашел уже вокруг магазина в кустах». Небольшой немецкий гарнизон разместился в деревне Фенино, расположенной у железной дороги Великие Луки–Невель в нескольких километрах от Шеклино. Появился староста деревни «Ванька Косой», крупный сильный мужчина, которого по косоглазию не взяли в армию. Появились и полицейские с винтовками. Это были молодые парни 1924–1925 годов рождения, знакомые всем с детства Выбирали ли старосту или его назначили немцы, почему молодые парни пошли в полицию, — рассказчики сказать не могут. «Может, привлекало владение оружием, может — угрозы отправки в Германию или на какие-то другие работы».

И почти сразу появились «окруженцы», вернулись и некоторые мужики, мобилизованные 23 июля, в том числе и Иосиф Филиппович Прокофьев, будущий отчим Петра Ивановича. В деревне около тридцати человек «окруженцев» осели в «примаках». У Марии Дмитриевны, матери Петра, стал жить хороший сапожник Серафим, у старосты — хороший портной. У этих людей родные места были далеко, в основном в Сибири. Они хотели одного: пережить войну и вернуться домой. Недалеко, в деревне Клевники, на дороге Невель–Великие Луки, был лагерь для военнопленных. Они голодали, и жители носили им еду.

Были «окруженцы» и с оружием в лесу. Об это рассказывала жительница деревни Пропастниково Анна Подшивкина, 1927 года рождения, которая сама носи-

ла им еду. В конце ноября староста направил «окруженцев» в Фенино, якобы на строительные работы, и немцы их расстреляли. Но направил не всех, например, Серафима не направил. Но потом он ушел в партизаны и погиб, бросая гранату в окно дома, она отскочила от рамы и разорвалась в ногах.

Колхоза не стало, и осенью сами убирали хлеб с полей и разбирали по домам. Убрали даже лен. Немцы ничего не забирали. Лошадь семье Евгении Алексеевны досталась от окруженных армейских частей. Землю разделили, и весной 1942 года уже сами сеяли, кто что мог и хотел.

Днем в деревне находились полицейские и приходили немцы. Полицейские собирали по домам продукты, самогонку и устраивали вместе с немцами гулянки, на которые собирались местные девушки и молодые женщины. Немцы тоже ходили по дворам днем и требовали молоко, масло и яйца. Женя помнит такой случай, когда зашел немец и увидел кусок масла, разделил его на пять частей (нас было в этот момент четверо в доме) и взял себе пятую часть. Однажды немцы хотели отобрать корову, но мать собрала детей, плакала, упрашивала, и они оставили, не забрали. Ночью являлись партизаны, и от них тоже приходилось прятать коров и свиней, которых они хотели забрать. У семьи Петра корову партизаны все же забрали. Ему запомнился такой эпизод, что партизан, уходя, выпил последнюю крынку молока и забрал из-под подушки спрятанные там кожаные сапоги. Ночью партизаны поджигали дома, где жили семьи полицейских, бросая в окна бутылки с горючей смесью, был случай, что сестра одного из них открыла огонь из пулемета по партизанам. В одну из ночей был подожжен и дом Петра: видимо, перепутали, так как рядом, с обеих сторон стояли дома семей полицейских. Ели успели с матерью и младшим братом выскочить, а собака сгорела вместе с домом. Пришлось жить в оставшемся целым хлеву.

Немцы в январе 1942 года приехали в соседнюю деревню Соколово, а там в одном из домов находились партизаны. Они ножом зарезали немецкого офицера и ранили солдата и скрылись. Забрав труп и раненого, немцы уехали. Через три дня, вспоминает Петр Иванович, как раз в ночь под Рождество, через их деревню на лыжах и повозках проходил финский карательный отряд. Они окружили деревню Соколово и стали расстреливать людей в каждом доме, а затем подожгли деревню. Спастись сумели только два человека. Зарево хорошо было видно всем жителям деревни.

Летом 1942 года по указанию немцев под надзором полиции шесть молодых ребят 15–16 лет были назначены перевозить из деревни Макарово в деревню Фенино разобранную школу, которую немцы использовали для строительства укреплений. Среди этих ребят был и брат Евгении Алексеевны — Егор. Небольшой обоз, сопровождаемый местным полицейским, засада партизан встретила в высокой ржи. Полицейский был сразу убит, а возчиков партизаны увели с собой, но до базы отряда не довели. Остановились в ближайшей деревне и гуляли всю ночь, Егора заставили играть на гармони, под утро всех расстреляли. Партизан привел житель деревни Ленька, Егора Косого сын, ушедший в партизаны. После войны он появился в родных местах, но вернувшиеся с войны родственни-

ки убитых сказали ему, что если он немедленно не исчезнет из родных мест, то будет убит ими. Ночью Ленька ушел, и его больше не видели.

Описанные выше события нам еще раз показывают, какой дорогой ценой досталась нам эта победа. Страх царил в каждой душе. Страшно не подчиниться немцам, но страшнее не подчиниться партизанам. Страшно оставаться на месте, но страшно и идти в лес. Страшно смотреть на все несчастья, которые совершаются на твоих глазах, но невозможно их и не видеть. Возникает вопрос, кого больше боялись: немцев или партизан? За что партизаны убивали своих, да к тому же детей? И как к ним теперь относиться? А если поставить себя на место тех 15-летних ребят, которых потом расстреляли как изменников, предателей, врагов? Разве у них был другой выбор? Тогда зачем так строго судить о людях, которых немцы принуждали работать на себя?!

История народного партизанского движения необходима, но не искаженная, а подлинная. И нельзя терять время. Пока еще жива народная память, непохожая на книжную, но все меньше остается свидетелей. Прежде всего мы, школьники, должны опросить своих бабушек и дедушек. Кто-то жил в оккупации, кто-то воевал на фронте или в партизанах, кто-то трудился в тылу. Бабушка одной из нас — Андреева Александра Андреевна — не любила вспоминать войну. Ей было 13 лет, когда пришли немцы, а наши отступали, им пришлось покинуть родной дом и уходить в другие деревни. Жили и в лесу и в банях.

Через год умерла ее мать, моя прабабушка, и моя бабушка заменила мать своим четверым сестрам и трем братьям. Было очень голодно, приходилось просить милостыню. Часто ребята, жившие с родителями в своих домах, обзывали их «побирушками» и бросали камнями. А от голода умерли младшие: сестры Нина и Евгения, брат Иван. Остальные выжили, но черной полосой остались в памяти всех эти страдания, потому и не любила вспоминать бабушка годы войны и лишь горько плакала!

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

Неожиданными и страшными стали для нас материалы о партизанах, опубликованные в мае 1992 года в газете «Псковская правда» под рубрикой «Неизвестные страницы войны». Автор публикации приводит данные материалов следственного дела из архивов КГБ: «О незаконном расстреле советских граждан участниками оргтройки Новосельского района» (ныне Стругокрасненский район Псковской области).

Ленинградский обком ВКП(б) в октябре 1942 года создавал на оккупированной территории сеть межрайонных подпольных партийных центров. Руководителем Псковского центра был назначен В. Ф. Михайлов. На территории партизанского края для руководства хозяйственной и политической жизнью стали создаваться оргтройки. Выполнявшие функции советских и партийных органов, они в то же время призваны были выполнять и карательные функции, расправляясь с изменниками родины и пособниками оккупантов[3].

Шифрограмма из Ленинградского штаба партизанского движения (ЛШДП). «Совершенно секретно. Снятие копий воспрещается: Беляеву, Герману, Орлову, Афанасьеву. Беспощадно уничтожайте предателей — бургомистров, волостных старшин, начальников полиции. Их имущество конфисковывать. Дома сжигать. 2 февраля 1943 года. Никитин»[4].

Синельников, командир 2-й партизанской бригады, показал: оргтройки были организованы в ноябре 1943 года по указанию ЛШПД. Штаб утверждал и их состав. Оргтройка Новосельского района состояла из: председателя — Дурыгина Н. П. (бывший начальник районного отдела НКВД), заместителя председателя — Лебедева Г. К. (бывший председатель сельсовета) и члена — Григорьева П. А. (бывший участковый милиционер). «На совещании оргтроек я говорил, что применять репрессии к немецким пособникам можно только после утверждения приговора командиром и комиссаром бригады, которым они были подчинены. К членам семей применять репрессии не разрешалось: следовало вести за ними наблюдение и только в случае антисоветской деятельности принимать к ним меры пресечения, да и то после моего с комиссаром утверждения. К детям применять репрессии вообще не разрешалось. На Дурыгина, помню, поступали жалобы по поводу грубого отношения с женщинами, по поводу изъятия у населения вещей и продуктов, но наши встречи с руководителями оргтроек были редки, проверить решения я не имел возможности. Мои партизаны задержали однажды в лесу Дурыгина и Гаранина, которые назвались партизанами, мол, работаем по поручению Псковского центра. Я сообщил в штаб, и мне подтвердили, что там они значатся. Потом их влили в мое подчинение»[5].

Из указаний штаба партизанского движения видно, какое значение руководство придавало уничтожению «предателей». Но сразу возникает вопрос: как они определяли предателя? Как доказывали предательство? Скорее всего, очень много людей подверглись уничтожению ни за что. Конечно, по словам командира бригады Синельникова, предусматривалась определенная процедура, но кто выше партийного центра, члены которого сами были рядом и участвовали в действиях оргтройки?

В Жуковской роще есть поляна с возвышенностью в центре, называемой Городец. Именно здесь в последние дни немецкой оккупации поселились в землянках жители деревни Жуковичи, а в доме под холмом у лесника Калинина обосновался штаб Новосельской оргтройки с членами псковского межрайонного подпольного центра и отрядом партизан при них. Именно здесь разыгралась кровавая трагедия.

Автор публикации в «Псковской правде» рассказывает о том, что в первом томе на третьем листе обнаружил заявление Николаева Василия Семеновича. Он просил проверить незаконность действий Дурыгина М. П., Лебедева Г. К. и Григорьева П. А. и прилагал список жертв.

Первой в списке значилась Евдокия Финогенова из Жукович. Настоящая ее фамилия Федорова, в девичестве Малькова. Она 1921 года рождения, калининская. За-

муж вышла в Ленинграде, но перед войной приехала с маленьким сыном на побывку к родителям мужа. Начальник штаба отряда Бизунов рассказал следствию: «Я познакомился с Дусей в августе 1943 года. Доложил о ней Дурыгину и Акатову. Они пригласили ее к себе и стали давать задания. Но после третьего посещения Пскова ее обвинили в связи с немецкими органами, арестовали и по решению оргтройки убили». Показания Акатова: «Прямых улик о связях ее с немцами у нас не было, но подозрения не исключались, мы решили ее казнить. Сказали партизану Андрею Васильеву по прозвищу „Малютка“, чтобы умертвил ее без шума, так как в окрестных селах находились немцы». Показания свидетельницы — повара отряда: «Я слышала, как Андрей Васильев лично упросил Дурыгина зарезать Дусю. Он увел ее в лес. Вдруг мы услышали крик. Вместе со всеми я побежала туда и увидела, что Евдокия стоит в одном белье, около нее стоит Акатов, а Андреев перерезает ей горло. Она с хрипом кричала о пощаде, но Акатов приказал добить ее».

Второй в списке значится Софья Семенова. Настоящее имя Софья Семеновна Темкина. Она врач. Прибыла в Палицы из Ленинграда до войны. 25 лет, белокурая, без выраженных еврейских черт. Жила с двумя детьми (своим ребенком и сестры) и няней, родственницей. Жила при амбулатории за счет приношений благодарных пациентов.

Показания учительницы Надежды Михайловны Смирновой: «О том, что она указывала дома партизан, когда немцы жгли Палицы, не могу подтвердить». Показания командира отряда 2-й партизанской бригады Екимова: «Она лечит и партизан, но никого не выдала. Она знала наше местонахождение, но не выдала немцам». Показания фельдшера А. П. Степанова: «Жила она бедно. Связь с немцами имела через пожилого офицера. К ней в Палицы приходил Гаранин В. И., командир располагавшегося в роще отряда, Софья призналась, что он ухаживает за ней, но он ей не нравится. Расстреляли ее якобы за то, что нашли в сумочке пропуск для поездки в Германию». Один из свидетелей: «Гаранин вызвал Софью к себе в отряд. Он пригласил ее к себе в палатку. Раздался выстрел, я выскочил из палатки и увидел лежавшую на пороге Софью Семеновну, она хрипела. Как потом рассказывал Гаранин, он хотел пристрелить ее незаметно, оружие держал за спиной, но пистолет дал осечку — убил вторым выстрелом».

Третьим в списке стоят Терентьевы из деревни Речки: мать Александра и дочь Мария, муж которой, офицер Красной Армии, воевал на фронте. Сосед, Александр Шелгунов, вспоминал: «Их дом стоял напротив моего. В тот вечер они долго сидели у меня. Мария горевала, что мать политрука грозилась (из семьи, с которой состояли в неприязненных отношениях): „Вас скоро партизаны казнят“. Они ушли. Утром решил их навестить и увидел, что мать лежит около боковой стены, а дочь напротив — пристреленные автоматными очередями. Немцам они не служили, связи с ними не имели. Матери приписали агитацию против ухода жителей в лес на Городец. Вещи в избе были разбросаны, сундуки раскрыты, старая одежда валялась на полу. Остальное имущество партизаны увезли с собой».

Четвертые: мать с семилетним сыном и ее деверь — 17-летний паренек из деревни Коты. Она — Светлова Елена, он — Петров Алексей.

На листе № 155: донос — заявление соседки Дмитриевой Евдокии. «Прошу принять меры к гражданке деревни Коты Светловой Елене, так как она собирается эвакуироваться с немцами, о чем лично слышала от нее. Что и удостоверяю. 18 декабря 1943. К сему (неразборчивая подпись)». Тот, кто доставил Светлову по заданию Дурыгина, рассказал: «Когда привели ее с сыном в дом Ивана Калинина, я хотел доложить о выполнении задания, но они, члены оргтройки, были очень пьяны». Есть копия постановления оргтройки, подписанная Дурыгиным, Лебедевым и Григорьевым. «Муж Светловой Светлов Н. А. 1911 года рождения, будучи в бою, сдался в плен немцам и добровольно поступил на службу в немецкую армию, оказался изменником Родины. Сама Светлова саботирует (так в тексте) мероприятия по восстановлению советской власти, проводимые Оргтройкой, собиралась уехать на жительство и работу к немцам, склоняла на это других граждан. Петров Алексей, брат Светлова, служил в местной немецкой охране железной дороги, сестры добровольно уехали на работу в Германию. Учитывая, что вышеперечисленные являются членами семей изменников родины и что лично саботируют, даже собираются выехать с немцами, постановили: Петрова А. А., Светлову Е. М. и ее сына 1937 года рождения расстрелять с конфискацией имущества».

Сколько здесь лжи! Следствие 1954 года установило, что Дмитриева никакого доноса не писала. «Пришли ко мне в землянку после расстрела два партизана, написали что-то и велели подписать, но я отказалась, и они ушли», — показала бывшая соседка, дальняя родственница погибшей. Мать же убитой рассказала: «Сын Коля попал в плен, служил у немцев, другой сын Митя служил в партизанах, как и Леша. Иван был на фронте. Дочерей насильно угнали в Германию. Алексей не служил у немцев — на охрану железной дороги ходили все деревенские по очереди, не только он. Елена много помогала партизанам: они часто приходили. За что их убили, не знаю. Зерно, одежду — все забрали партизаны. Трупы я нашла после освобождения в Жуковской роще на Городце, лежали в одной могиле, мальчик сверху. У всех разбиты головы».

На следствии Григорьев признался: «Допрос вел Дурыгин, я не присутствовал, но решение подписал, не вникая в суть дела, не читая. Мне, как бывшему работнику НКВД, было поручено заниматься оперативной работой по борьбе с изменниками и предателями родины. Полномочий и правил никто не давал, руководствовались партизанскими законами, своей совестью и речью Сталина от 3 июля 1941 года. Факты предательства устанавливали путем опроса населения. Документов первое время не оформляли, лишь с декабря после совещания оргтроек в бригаде Синельникова стали вести записи, но иногда, смотря по обстоятельствам, расстреливали и негласно».

Одна из свидетельниц вспоминает рассказ отца, который присутствовал при допросе Светловой: «Особенно было жаль мальчика, — говорил он. — Он все время плакал и просился домой, а в это время в соседней комнате гуляли изрядно подвыпившие партизаны. Лебедев плясал, приговаривая: „Веселимся назло врагу!“»

Читая показания, замечаешь, что расстреливали большей частью молодых женщин. Быть может, за то, что они — женщины, и за то, что молодые, но история

гибели Андрея Федоровича Борисовского — черноморского моряка, командира боевого отряда — говорит о другом. Дурыгин не переносил непокорности и у мужчин, особенно таких, чья деятельность была ему укором. Присвоить заслуги других — еще один мотив, которым нередко руководствовался хозяин Жуковской рощи.

«Борисовский — советский парашютист. Организатор боевого партизанского отряда в Новосельском районе. Я участвовал с ним с ним во многих операциях, — говорил следователю один из бойцов его отряда. — Мы пришли к нему впятером. Его отряд был невелик, но действовал с марта 1943 года по август весьма успешно. С отрядом Дурыгина мы встретились случайно, вернее, отыскали его. У них было пять человек, плохо вооруженных, винтовки ржавые, почти без патронов (у нас просили). Дурыгин говорил, что партизанит с 1941 года, но о действиях их я ничего ни от кого не слышал.

Молва о партизанах пошла с появлением Борисовского. Дурыгин невзлюбил Борисовского, это я понял, когда в религиозный праздник Ильин день он пришел к нам, попросил меня, Никитина и Панова сходить в деревню Камень к его знакомому (он гнал для оргтройки самогон), сказал, чтобы мы взяли с собой Борисовского и по пути его убили. (Поручил это Никитину.) Поскольку Михайлов, руководитель партцентра, от имени штаба партизанского движения отстранивший Борисовского от командования отрядом, якобы за мародерство, сказал, что командовать отрядом будет Дурыгин, то мы приняли просьбу как приказ. В пути Борисовского убить не удалось: он вел себя настороженно».

В следственном деле есть выписка из партархива Ленинграда: «Борисовский А. Ф., 1911 года рождения. Старший сержант, старшина отдельного морского батальона 253-го дивизиона, командир взвода 650-й роты, образование семь классов. С 27 декабря 1942 года — боец группы Фокина, с 15 января 1943 года — в отряде Иванова, с 19 мая 1943 года — у Михайлова». И приписка: «За неоднократные факты проявления бандитизма расстрелян 24 июля 1943 года. Михайлов»[6].

В то же время среди копий шифрограмм есть такая: «Дайте боевую характеристику Борисовского для представления награде 16 сент. 1943 г. Никитин»[7]. Весьма странно, что в штабе согласились признать бандитом парашютиста-десантника.

В заключительном акте следственной комиссии записано: «В качестве командира группы Борисовский с мая по август находился в подчинении Михайлова В. Ф. Партизанами характеризуется смелым, энергичным, деятельным командиром, побуждавшим Дурыгина активнее вести борьбу против оккупантов»[8]. Не в этом ли причина?

Итак, о Строкиных. Жил с женой Анной на хуторе Каталка в устье реки Пскова мельник Иван. Родители его, Алексей Иванович и Фекла Ивановна, жили в Кубасове. Сестра Ивана Анна вышла на свою беду в 42-м году замуж в деревню Заходцы за начальника полиции Колядунской волости Васильева Николая, по прозвищу Большаков. Отряд Дурыгина расправился с начальником полиции

(его, выползавшего из горящего дома, добил прикладом Лебедев). Жена Анна сумела убежать с грудным ребенком благодаря партизану — постовому, посоветовавшему уходить к отцу. К отцу же вернулась из Молодей и другая сестра — Валентина. Жили с ними еще Александра с грудным ребенком, да 90-летний дедушка Егоров Михаил.

Рассказ о гибели Строкиных поведет Александра, единственная оставшаяся в живых свидетельница жуткой трагедии:

«В 12 часов дня к нам приехали пьяные партизаны Дурыгина — Лебедев, Егоров и Сергеев. Вошли в дом. Отец подшивал валенки, мама что-то вязала. Лебедев поздоровался со всеми, подошел к отцу и сказал: „Алексей Иванович, я очень уважал и любил тебя, но сейчас я приехал расстреливать вас“. Он посадил меня, отца и маму на скамейку посреди избы. Я сидела с ребенком между ними.

— Где Анна? — спросил Лебедев.

— Она больна, лежит на кровати с грудным ребенком, — ответил отец.

Лебедев приказал ей встать, заорал и толкнул к порогу, а Егоров выстрелил из винтовки и убил ее вместе с сынишкой — ему было семь месяцев — насмерть. Я вскочила и бросилась к двери, а Лебедев из автомата стал стрелять в отца и маму. По мне они тоже стреляли из винтовки, но я убежала в кусты, не попали. Стрелял Егоров — у него была винтовка, у Лебедева автомат и наган, у третьего оружия я не заметила.

Как мне потом рассказал дедушка, моя дочь Валя была на печке. Она соскочила и хотела бежать за мной, но Егоров выстрелил в нее и ранил в руку. Дочь упала лицом вниз. Егоров добил ее выстрелом в голову. Пуля вылетела через правый глаз. Сын, ему было два с половиной года, спрятался под кроватью за мешками с зерном, дедушка лежал на кровати. Брат Иван был убит в тот же день около деревни Выводы в кустах, а жена Анна Давыдовна (она старше брата) расстреляна на мельнице. Ее фамилия Бударова. Других братьев — Василия и Дмитрия — расстреляли где-то в партизанах. У отца имущества не было, а у Ивана забрали все подчистую».

Что же рассказал следствию Лебедев, явившийся, кстати говоря, на допрос с бельем и сухарями: «Оргтройку организовали по решению штаба. По ее постановлениям мы уничтожали изменников родины. Документы оформляли очень редко. В конце 1943 года по моему указанию и при моем участии была расстреляна семья Строкиных. Мною лично, насколько я помню, была расстреляна Бударова Анна. Остальных в присутствии понятого Сергеева Михаила расстрелял Егоров Федор. Решение о расстреле я принял самостоятельно: Строкина Ивана — за то, что был когда-то старостой, сестру Анну — за то, что была женой полицейского. Я не думал ее убивать, но, когда мы Анну пытались увести, ее отец схватил топор и пытался меня зарубить. Это увидел Егоров и убил отца, потом закричала мать, убил и ее. Анна была убита вместе с ребенком, а раненую девочку, чтоб не кричала, пришлось добить из винтовки. Бударову я скосил из автома-

та. Никто из них у немцев не служил, кроме Ивана — мельника, он был старостой. Их расстреляно восемь человек — по приказанию Дурыгина. Никаких последствий после расстрела мы не имели. Решения я принимал исходя из того, что они могли уйти к немцам, а если бы не ушли, то все равно вредили бы партизанам. Возможно, я поступил с Бударовой неправильно. Пьяным я не был — мы выпили в Выводах бутылку самогонки на троих. О том, что старик не брал топор, — неправда. Он схватил одной рукой топор, второй меня за грудки. Я оттолкнул его и дал приказ стрелять»[9].

Чтобы проследить судьбу остальных Строкиных, послушаем жену Василия Наталью.

«С шестью детьми я жила в деревне Беляево. Моего Василия в армию не взяли из-за плохого зрения — сапожничал, катал валенки, работал в сельском хозяйстве. Пришел Лебедев и взял в партизаны, велел прихватить сапожный инструмент. Муж иногда приходил домой, помогал по хозяйству. Перед отступлением немцев одел новые кожаные сапоги, черную тужурку, меховую шапку и сказал, что отряд уходит на новое место и он не скоро покажется дома. Это было за неделю до прихода Красной Армии. Когда она пришла, мне передали, что Сафронов нашел в лесу около стога сена труп моего мужа. Одежды на нем не было. Обуви тоже — лежал накрытый тужуркой, ее передали мне. Убит Василий выстрелом в голову.

После освобождения стали восстанавливать колхозы. На собрание приехал Формашев. Он сказал, что мужа убили немцы и я, как многодетная мать, могу получить пособие. Пошла в Новоселье к Лебедеву, попросила его оформить документы. Он стукнул кулаком по столу и закричал:

— Пошла вон, паразитка! Если хочешь получить документы, иди к Дурыгину!

Я пошла к тому.

— Тебе, Строкина, никакого пособия не будет.

— Почему?

— Твой муж — изменник.

— В чем его измена?

— Он изменял тебе, имел двух жен. Уходи! — и не стал со мной разговаривать. После этого я уже не ходатайствовала о пособии».

«Одного Строкина, — признался Григорьев, — я лично расстреливал по приказанию Дурыгина на хуторе Лукино. Он был в нашем отряде бойцом — выстрелил ему в затылок, когда он стоял на посту. Второй Строкин тоже был расстрелян партизанами нашего отряда»[10].

Список жертв можно продолжить. Есть копия шифрограммы от 18 марта 1944 года. «Расстреляно мною во второй ЛПБ 120 человек. Тайных агентов 16, предателей, изменников сов. Родины, расстреляно среди мирного населения 110. Нач. ООНКГБ Сергеев». Наверное, в это число вошли и расстрелянные Дурыгиным и его заместителем. Дурыгин за свою работу был награжден орденом Красного Знамени. Вот текст его наградного листа:

«Товарищ Дурыгин безвыходно работал в условиях подполья. С тремя товарищами он провел большую политмассовую работу среди населения, создав базу для организации отряда в количестве 108 человек. За июнь, июль отряд организовал 6 крушений поездов на железной дороге Псков–Ленинград, уничтожил 4 паровоза, 26 вагонов. Взорвано 7 мостов на шоссейной дороге, уничтожено 10 км линии связи, разгромлено Степановское волуправление. 26.08.43 г. разбита штабная машина, убит генерал инженерных войск, 6 старших офицеров. Мелкими засадами уничтожено 3 офицера, 2 унтера и 10 солдат. Наряду с боевой деятельностью товарищ Дурыгин проводит партийно-политическую работу среди населения. В августе создал 2 подпольные парторганизации. Тов. Дурыгин достоин представлению правит. нагр. Ордена „Красного Знамени“

Подпись Михайлов.

Утверждаю: тов. Дурыгин достоин правительственной награды.

Матвеев»[11].

Но правда была иной. Лист № 36 (Формашева Ольга): «Дурыгин, Лебедев, Кольцов систематически пьянствовали, иногда с ними выпивала и я. На хуторе Лукина Дурыгин писал отчет о якобы организованной мною подпольной группе. Она не создавалась — это обман для показа активности оргтройки».

Лист № 90. (Маляев М.): «Факты изготовления самогона имели место. Я отпускал муку около 15 пудов. Пил руководящий состав, угощали приезжавших командиров. Пил Лебедев, я, Кольцов, Григорьев, Бизунов и Дурыгин. Он часто говорил: „В армии пьют водку, а нам можно самогонку“».

Лист № 108. (Кириллов): «Сильно пил Дурыгин, Бизунов, Тихов, Лебедев. Среди партизан были случаи грабежа. Борьбу с этим оргтройка не вела».

Лист № 110. (Формашев): «Руководители систематически пьянсвовали, а Дурыгин вообще никогда трезвым не был. Самогон варили в Духовщине».

Лист № 120. (Денисов С.): «До лета 43-го года оргтройка никаких боевых действий не вела: у них не было оружия. Просто скрывались от немцев. Шесть или семь винтовок были зарыты в лесу».

Лист № 225: «Немецкий генерал был убит не ими, вернее, он даже не был убит, а только ранен, да и не ими. Мы пошли на молокозавод, в пути случайно

обстреляли машину. Генерал был ранен (я слышал стоны). Документы взять не удалось: пришли немцы. Разведчики потом говорили, что все в машине оказались живыми, трое ранены. Дурыгин никакого отношения к этому случаю не имеет».

Немцы пришли на Городец. Они зверски расправились с населением, забросали гранатами землянки, расстреляли около десятка жуковских мужиков, похороненных позднее на холме, угнали женщин и детей под конвоем, раздетых и разутых по снегу и морозу в Новоселье. Часть жителей двое суток, спасаясь от немцев, сидели под елкой: убежали в глубь леса. Скот, хлеб, вещи — все немцы забрали, землянки сожгли. Оргтройка с отрядом позорно бежала, не сделав ни одного выстрела — даже часового снять позабыли, его немцы убили. С того времени они стали базироваться на хуторе Лукина.

О пережитом можно написать многое — жители Жукович оказались меж молотом и наковальней в положении, охарактеризованном персонажем фильма «Чапаев»: «Белые придут — грабят, красные придут — тоже грабят, куда бедному крестьянину податься?»

Наш комментарий. Из вышесказанного мы видим, как исполняли свой долг те, кто якобы организовывал в этих местах партизанские отряды. Они пьянствовали, боевых операций долгое время не вели, когда надо было защитить народ, который они сами обязали прийти к ним, позорно бежали, не сделав ни одного выстрела по врагу. Зато убивали беззащитных. Когда им задают вопрос зачем, они лишь могут ответить: «Мы подозревали», «Дурыгин приказал». Они ходили по домам и, чтобы оправдаться, собирали подписи против соседей. Мы, со своих позиций, сегодня должны поставить вполне закономерный вопрос: «Кто позволил таким работать в оргтройке?» И нам ясен ответ: это власть, которая бросила людей на растерзание немцам.

Заключение следственной комиссии: «Исходя из материалов дела усматривается, что действия Дурыгина, Лебедева, Григорьева, совершенные им в бытность руководства партизанских формирований, являются преступными, поэтому предлагаю:

1. Обстоятельно допросить Дурыгина по материалам дела.
2. После допроса, если не будет выдвинуто ходатайство о проведении дополнительных следственных действий, считать целесообразным привлечь к уголовной ответственности по ст. 193–17(б), 193–28 Дурыгина, Лебедева, Григорьева.
3. Считать нецелесообразным проведение очных ставок между свидетелями и Дурыгиным, Лебедевым, Григорьевым, а также между ними.
4. Считать нецелесообразным привлекать к ответственности по данному делу Акатова и Гаранина, ряд действий которых является тоже преступными.

Утверждаю: ген.-полк. Серов И. А. — зам. мин. В. Д.

С указанными предложениями согласен»[12].

На момент допроса (прибыл по распоряжению МВД СССР в город Псков в конце 1953 года) Дурыгин Николай Петрович, 1906 года рождения, гражданин СССР, член КПСС с 1932 года, награжден орденами и медалями, работает заместителем начальника лагпункта в Озерном лагере МВД СССР в городе Тайшет Иркутской области. Воинское звание — старший лейтенант.

Инспектору отдела кадров УМВД пришлось выяснять причину неявки Дурыгина на второй допрос. Он пишет: «Дурыгин остановился у родственника Гаврилова. На допросе был, но во второй раз не явился. В связи с этим т. Трепаленко пошел на квартиру, где проживал Дурыгин. В прихожей встретил Гаврилова, который сообщил, что Дурыгина дома нет, что он сам не может попасть в свою квартиру, так как ключа от нее на месте, где он хранился, нет.

Через полчаса Гаврилов с помощью клещей открыл дверь, зажег свет и обнаружил Дурыгина висящим на брезентовом ремне с петлей на шее.

В записной книжке, найденной у Дурыгина, имеется запись: „Москва. Маленкову. В Пскове меня терзают без вины напрасно. Прошу вашего вмешательства. Партизан Отечественной войны Николай Дурыгин“.

На основании изложенного полагаем: считать, что Дурыгин Н. П., боясь ответственности за совершенные им преступления в период пребывания на оккупированной территории, 26 декабря 1953 года покончил жизнь самоубийством. Дальнейшее рассмотрение по материалам прекратить, переписку сдать в архив».

И никто не понес за зверства наказания. Остальные дожили до естественной смерти[13].

С содроганием мы читали эти факты. Возникают вопросы: за что и почему? Почему происходило подобное беззаконие? За что людям такое, разве недостаточно того, что их терзали гитлеровские «сапоги»? Теперь понятно, почему наши бабушки и дедушки не любили вспоминать о войне, а только плакали.

Примечания

1 Выдержки из писем работника УНКВД по Калининской области. Личный архив А. И. Сизова.
2 Звенья: Исторический альманах. М., 1991. Вып. 1. С. 113–162.
3 Не придать забвению: Книга памяти жертв политических репрессий. Псков, 1998.
4 Псковская правда. 1992. 22 мая.
5 Там же. 20 мая.
6 Там же. 21 мая.
7 Там же.
8 Там же. 22 мая.
9 Там же.
10 Там же.
11 Там же.
12 Там же.
13 Там же.

Оружие слабых
Крестьяне деревни Брехово в годы войны

Корсакова Александра, Корсакова Полина
Тверская область, Кимрский район, п. Приволжский
9-й и 11-й классы, научный руководитель Р. Р. Корсакова

Победа в Великой Отечественной войне — заслуга и крестьян. Деревня воевала, вот только оружие было свое, особое. Какое? Ответ на эти вопросы мы хотели найти.

Мы часто слышим: «Старшее поколение (наши бабушки, дедушки) привыкли надеяться на государство, его помощь». Что, на самом деле государство так помогало своим гражданам?

Видим, как пренебрежительно относятся к людям деревни, особенно старшим, которые и одеты «не так», и говорят «не так», и вообще не вписываются в городскую жизнь, где надо работать локтями, быть нахрапистым. Они не привыкли, не умеют ходить по кабинетам чиновников, стесняются потревожить своим вопросом важную даму из Пенсионного фонда, собеса, нотариальной конторы… Их драгоценные справочки бережно завернуты в носовой платок (в целлофановом мешочке). Таких бабушек легко выпроваживают, отпихивают, просто не замечают в кабинетах, в автобусе они молча будут стоять, не требуя места. Городские еще как-то приспосабливаются, они не боятся постоять за себя, чаще общаются с городскими «высокими» властями. «Деревня»… Деревенский, значит, слабый?

С другой стороны, мы видим, что в деревне, в своем доме, в поле, такая бабушка, пусть и с палочкой, — царь и бог. На ней все: работа, забота, общение с властью, не всегда «приятное». Чаще от властей приходиться «обороняться».

Своей родиной мы считали и считаем Рязанскую область (там родились наши мама, бабушка, дедушка), хотя живем в Тверской, чужой для нас. Но получилось так, что одна тверская деревня стала нам ближе. Все дело в том, что мы держим коров. А корова — это сено, молоко. Сено мы заготавливаем около этой деревни. Оказывается, деревня действительно интересная, с богатой историей. А называется эта деревня *Брехово*. Стоит на берегу реки Хотчи, притока Волги. Вокруг поля, леса.

Итак, для исследования мы выбрали именно эту деревню и историю взаимоотношений ее жителей и власти.

Выбранное нами время — «классический» период сложившейся в рамках колхозного строя системы взаимоотношений крестьян (колхозников) и власти, конец 1930-х — 1940-е годы. До конца 30-х годов разрушалась старая система взаимоотношений, формировалась новая система повинностей, новая деревня.

В 50-е годы — новые резкие изменения (укрупнение колхозов, переход к зарплатной системе и т.д.), которые почти «добили» деревню.

С другой стороны, конец 30-х годов — время, когда «привыкли вроде, ничего было… Зажили вроде…». Краткий миг, когда не было острой необходимости драть с крестьян последнее. Использовала ли власть, государство этот миг для поддержки деревни и ее жителей? Потом война, победа. Чья это победа — властей или народа? До сих пор мы слышим от старших: «Если б не Сталин, победы не было». Может, действительно, только сила приказов, указаний, устрашений принесла победу? Благодаря властям, несмотря на их действия или вопреки им выжили наши герои — крестьяне, вытащили страну?

КАК НАМ РАССКАЗЫВАЛИ

Мы почти не задавали вопросов. Только слушали и записывали. Иногда нам разрешали записывать на диктофон («Пиши-пиши, я всю правду говорю!»). Почти всегда спрашивали о нашей цели. В то же время разрешали использовать диктофонные записи на уроках истории и краеведения (попросила об этом мама). *Никто* нам не отказал в беседе, не выставил за дверь. Наоборот, после долгих рассказов предлагали угощение. Нам кажется, что наши собеседники ждали возможности рассказать, поделиться, высказаться.

Почти *все* начинали так: «Да если все рассказывать, книга получится…»

ФОНДЫ РАЙОННОГО АРХИВА

Мы работали в Кимрском районном архиве. Исследовали фонд Бреховского сельского совета (есть документы с 1940-го по 1954 год).

Мы попытались отыскать следы колхоза, который находился в деревне, но такого фонда не нашли (после многочисленных укрупнений-преобразований-переименований документы колхозов редко сохранялись). Страдают от этого 70–80-летние бабушки, которые приходят за справками в архив, смотрят на архивистов с такой большой надеждой («Доченька, помоги, я уж ничего теперь не знаю, не понимаю в бумагах-то!»), а уходят ни с чем. Мы это часто видели, когда работали рядом с архивистами.

Поразили документы военных лет соседнего с деревней Гадовского спиртзавода. Впечатление такое, что спирт, водка играли роль боевых снарядов. Их требовали отгрузить в первую очередь, ими расплачивались, ими награждали… В самое страшное время (1941 год), когда фронт был почти рядом и уже окопы копали, бухгалтеры аккуратно вели свои записи, подшивали документы (правда, бумага хуже стала и вместо чернил — карандаш).

Фонд райисполкома богат протоколами с трескучими, повторяющимися фразами. Мы отметили огромное давление районной власти на председателей сельских советов.

Наши споры. Александра: «Что-то у нас получается, что все плохо было при советской власти. Не может этого быть».

Полина: «Ну если так выходит! Вот, посмотри: голод. Раскулачивали кого хотели, в колхоз загоняли. Люди-то говорят сами!»

Александра: «Люди могут ошибаться. Может, они просто забыли про хорошее, что было? И вообще как-то у нас кусками выходит, отрывочками».

Полина: «Ну если они так вспоминают! Вот мы и посмотрим, что они помнят, а что забыли».

События в стране. Финская война. Мы нашли местную газету от 30 ноября 1939 года (в макулатуре!), на первой странице — большая статья «Ответ советского правительства на ноту финляндского правительства». Внизу сравнительно маленькая заметка: «Новые провокации финляндской военщины». На последней странице: «Эвакуированное из финляндских городов население возвращается домой».

Такая далекая, маленькая страна. Такая короткая, «маленькая» война.

Ее часто забывают и упомянуть. В деревне о ней своя память: «А сын председателя колхоза, дядя Ваня, попал на фронт, Финская война началась. Потом пришел без обеих ног» (Г. И. Жигалов).

«Мой пришел с войны, вот так нога отрезана, одна пятка осталась… В Финскую был. Он на эту, большую, не попал, а был в Финскую», — говорит М. И. Новикова.

Пришлось потом мужу Марии Ивановны и председателем работать (а кому еще, всех мужиков забрали) и на искалеченной ноге ходить на работу за пять километров, уже после войны.

Пришлось столкнуться с последствиями еще одного действия властей.

В мае–июне 1941 года из Прибалтики, Молдавии, Западной Украины в Сибирь были депортированы «социально чуждые элементы». Не все были доставлены до места. Кто-то, видимо, сбежал. И оказался на Тверской земле. Практически безо всего, в полной власти местных жителей, которые могли «заложить», просто выгнать, не дав ничего.

«Когда Прибалтику присоединили, много сюда бежали, заключенные они были или нет, я не знаю. Попадались многие. Прибалтику наши оккупировали или как, не знаю, перед войной. Латыши к нам приходили. Ночевали. Накормим, напоим. А кто они — не знаем, из Прибалтики. Не убивали их» (Г. И. Жигалов).

«Латыши. Они убежали, в лесу скрывались, а есть-то надо! Они по-русски не говорили. Зайдут в крайнюю избу — а мы на краю жили — зайдут, картошки дашь, хлеба (хлеб сами пекли). Мука была, да у нас все было! А придут — что уж, жалко хлеба? Молока дашь кринку. Молока у всех было много: все коров держали. Их ловили, конечно. Приезжала милиция сколько раз. А они не будут все на одном месте сидеть, дожидаться. Вот стемнело — пришли и уходят. А мы знали что ли, что они латыши? Это уж после нам сказали. Это, говорят, латыши, эстонцы. А мы ведь ничего этого не знали. Их не боялись. Раньше никто не боялся, мы и не знали… Что нас, будут убивать, что ли? А что приютили — а мы откуда знаем, кто это? А что ж, будешь говорить, что ли? Да хоть кому и скажешь, а они все умели молчать. А как же? Друг на друга не докладывали, не стучали. А латыши — может, они из армии убежали, может, дезертиры какие» (Г. И. игалов). Как в русской сказке: пришел человек — накорми, напои, спать уложи, а потом спрашивай, кто. Советская власть внесла поправки: лучше не спрашивать вообще, кто, откуда, зачем. Не знаешь — меньше и спрос. Милиция придет, спросит. «А мы не знаем ничего!» Не так просты бреховцы в своем поведении с милицией, районной властью. Ведь знали наверняка, что за люди приходили, кому есть-пить давали (сейчас-то нам говорят, что это из Прибалтики люди). Понимали, что надо и язык держать за зубами.

Отработочная система. К предвоенному времени сложилась система, при которой крестьянин (колхозник) был обязан государству: работать, платить, отдавать… Экономические стимулы здесь не действовали, были просто не нужны, ведь колхозники *обязаны* были все это выполнять (а ведь было еще мирное время, благополучное, как его вспоминают наши соавторы). Первая обязанность колхозника:

Трудодни. Законодательно нормы выработки трудодней были оформлены в 1939 году. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК «О мерах охраны общественных земель от разбазаривания» вводился обязательный годовой минимум выработки трудодней, который колебался от 60 до 100 для каждого трудоспособного члена колхоза. Его невыполнение влекло за собой исключение из колхоза и лишение права пользования приусадебным хозяйством[1]. В районной газете от 27 февраля 1941 года опубликованы примерные нормы выработки и оценка дневной нормы в трудоднях на основных полевых работах в колхозах Кимрского района на 1941 год. Заработать трудодень — это значит трудиться не один день, а больше, так как были коэффициенты (меньше единицы) для каждого вида работ. И все практически бесплатно. Работа в колхозе — это еще далеко не все. Колхозники несли *повинности*. На них была, выходит, вина. За что? За то, что деревенские? При раскулачивании еще как-то можно было, «притянув за уши» аргументы, сказать, что, мол, нажил добро неправедным путем, это твоя вина. И в чем вина предвоенных колхозников? Может, просто название такое, а все дело в государственной необходимости? Но как ни назови, повинность остается повинностью: бесплатным принудительным трудом. Как объясняла свои действия власть (если объясняла), чем отвечали на местах?

Трудовая повинность. Из районной газеты от 22 июня 1941 года: «План дорожного строительства выполнить до уборки, так как план дорожного строительства является одним из важнейших мероприятий в системе социалистического строительства (вот и все объяснение, в одно предложение со словом „должен“. — *Авт*.). Всего по району в дорожном строительстве ежедневно должно работать 540 подвод, а работают 140–160 подвод. Некоторые председатели колхозов отказываются и не хотят выделять рабочую тягу и силу для дорожных работ, отговариваясь тем, что лошади заняты (разгар лета, сенокос, полевые работы, лошади нужны позарез, уж мы это знаем. К тому же отдать лошадь — отдать и возчика, а люди в деревне летом ох как нужны! Председатели не „отговариваются“, а говорят правду, пытаются объяснить свое и колхозное положение, да кто бы их слушал в районе). Не хочешь — крутись как хочешь, а мы, районные инспекторы, посмотрим. Хотя, скорее всего, над этими районными властями тоже была власть. Вот и перекладывали груз ответственности. Крайний — председатель и его колхозники. Свободное до уборки время должно быть использовано с тем расчетом, что план дорожного строительства по району должен быть выполнен полностью. Инспектор райсовета Стрекалин».

Но мужик — он всегда и везде мужик, он и трудовую повинность постарается использовать по делу:

«В Белом Городке дорогу строили. Все собирали по полям камни для дороги-каменки, на фундамент камни шли — ставили мужики под углы дома. На шоссе возили. А хорошо придумали с камнями — поле очистят, заодно и дорогу сделают. За работу эту не платили. Считалась трудповинность».

Натуральные повинности. Натуральные повинности вводились к концу 1940 года на все основные продукты сельскохозяйственного производства. Госпоставки производились не только с колхозов, но и с приусадебных хозяйств колхозников, единоличников. Обязательные поставки имели силу закона и подлежали безоговорочному выполнению в строго установленные сроки. Невыполнение обязательств влекло судебную ответственность[2]. «Мясо не будешь платить — опишут корову… Раньше как платили? Кур нету — яйцами плати, овец нету — шерсть плати, коровы нету — плати, все-все плати. Да, было такое, уводили корову. Это до войны так было… Уполномоченные ходили», — вспоминает Жигалов Г. И.

За укрытие источника дохода плательщики налога законом 1939 года привлекались к уголовной ответственности. Имущество такого «недоимщика» описывалось[3]. Переписчики скота несколько раз в год наведывались, пересчитывали, что своим трудом и горбом нажил, чтоб потом налогом обложить. Конечно, первая мысль — не пустить, утаить.

Денежные изъятия. Хоть и не платят практически в колхозе деньги, но денежки государство с колхозников требует. Кроме обязательных платежей государство для изъятия денег придумало *заем*.

Из районной газеты от 31 мая 1941 года: «Подписываясь на заем, трудящиеся выражают свой патриотизм, свою любовь и преданность советскому правительству, большевистской партии и вождю народов товарищу Сталину… Именно потому что трудящиеся нашего города и района понимают всю ответственность за свою родину и хотят и впредь укреплять экономическую и оборонную мощь страны социализма, они с каждым годом все больше и больше отдают свои сбережения взаймы государству». Видимо, не совсем «больше и больше», если появляется такая интересная заметка в районной газете «За коллективный труд» 30 января 1941 года: В… сельсовет часто поступают жалобы трудящихся на тех, кто злостно не вносит или задерживает обязательные платежи. Указывают трудящиеся в своих письмах и на то, что неактивно проводится в колхозах сельсовета сбор взносов подписке на заем».

Председатели колхоза становились крайними в подписке на займ (правда, если только не перекладывали его тяжесть на своих колхозников): «Нашего председателя колхоза Котова ругали всегда в райкоме. Он же не давил на нас. Понимал, что взять неоткуда. Вот и не давил. А его там ругали. Приезжали уполномоченные. А Котов, председатель, мурыжил их, тянул. Вот и держат его всю ночь. Отец вот так всю ночь тоже просидел, подписался все же на 200 рублей», — рассказывает Грудин Н. Я.

«*Паспортная система*». Еще один способ унизить деревню и ее жителей. С 1932 года начали выдавать паспорта. Но только не колхозникам (исключение — Московская область, отдельные районы Ленинградской). Нет паспорта — куда пойдешь, кто тебя примет на работу? К тому же свободный выход из колхоза не предусматривался Примерным уставом сельхозартели, который был принят 2-м Всесоюзным съездом колхозников-ударников 17 февраля 1935 года и утвержден конечно же СНК и ЦК ВКП(б).

«Я из колхоза никуда. Я все время в колхозе. Меня, правда, мама хотела куда-то устроить. А паспорта не давали никак. У меня метрики не было. Кто ближе к артели, мог туда устроиться. А мы, дальние, куда мы? Никуда…» — размышляет Березкина А.

Но все же были случаи, когда молодые колхозницы отстояли свое право уйти из колхоза, распорядиться своей жизнью. Из воспоминаний Поленовой К. В., которой было тогда примерно 26 лет: «В 1937 году 12 января ушли на Гадовский спиртзавод с Орловой Татьяной. Четыре месяца проработали на заводе, ушли сами без справки опять в колхоз. Весну проработали в колхозе, не идем на наряд. Неделю не идем, подали заявление, чтоб отпустили. Собрали колхозное собрание: „Задаром работать не хотим!“ Мужики здравые были, разрешили уйти. Мы опять в Гадово на завод, на транспорт».

Не были забитыми люди, если не боялись открыто выступить за свои права получать за труд, работать там, где хотят. Да и те «здравые» мужики не побоялись поддержать девушек.

Наши выводы. Предвоенное время — сравнительно благополучное (по мнению наших соавторов). Большой урожай позволил выдать наконец колхозникам побольше зерна (но не денег). Деревня привыкала к колхозной жизни, отыскивая в ней черты былой общины (колхозные праздничные обеды, «артельный» труд). Власть, государство продолжало «ужимать» жизнь крестьян: лишила их церкви, возможности самостоятельно выбрать место жительства и работы, права самим распоряжаться своим хозяйством, временем, деньгами. Контроль со стороны властей усиливается. Между тем самая близкая к крестьянам власть, колхозная, в нашей деревне старается смягчить давление районной, областной и выше.

В бесплатном принудительном труде искали хоть какой-то смысл. Стимул в работе находили в соревновании (кто больше и быстрее). Унижение от проверок, переписей, поборов выливалось в агрессию против инспекторов налоговых, а то и против тех, кто под руку подвернулся. Многие копили гнев, сдерживаясь. Сохраняется память о единоличном хозяйстве, передается детям, которым не пришлось застать то время. Помнят о раскулаченных. Хранят переписанные от руки молитвы.

ВОЙНА

Немцы до деревни не дошли, здесь было сравнительно «тихо». Но фронту деревня своих мужиков отдала.

«Я как-то считал — порядка шестидесяти человек на фронт ушли», — говорит Н. Я. Грудин. К. Лебедева вспоминает с болью, с причетом: «Война, вот… Мы провожать давай. Все собрались, стоим, провожаем дядинек. А оне и говорят: „Не плачьте! Три месяца, мы немца сейчас придем и разобьем!“ Из Волосова, из Минина — много их было… „Разобьем! А вы, — говорят, — давайте помогайте“» (с сеном, хлеб надо убирать). М. И. Новикова: «Полно уходили! В каждом дому брали. Всех мужиков убили! Всех в Грозине и в Брехове. Всех забрали, никто не вернулся. Только вернулся Котов, безногий, да мой инвалид, еще с Финской. Все. А то, остальные, никто не вернулся. Все погибли…»

Погибших к концу войны было много.

«Мужа у Надьки Осокиной, бригадирши, не было, убили на войне. Не пришел. У нас мало кто пришел с войны. Особенно 26-й год. Весь положили под Ржевом“, — говорит Г. И. Жигалов.

Почему такие потери? Поколение сыновей (подростки военного времени) имеют свое объяснение.

Как и чем воевали. «Их же взяли в самом начале войны, они необученные. Без винтовок и на танки. Молодежь-то и гибла. Голову высунут — и нету», — объясняет Н. Я. Грудин. «Котову прострелили ногу. Пока везли — отморозили.

А прострелили почему — винтовки не хватило. Деревянную дали. На весь взвод — 5 штук. Остальным дали деревянные. Под Тулой и попали», — говорит Т. И. Жигалова.

«Ну чего им было — 18 лет. Брали в Кимры, военкомат, записали, отсылают в Калинин, обувают-одевают и сразу на фронт. Никаких учений почти. Если попадали (брат мой попал) в школу — эти еще более-менее. А те ничему не обучены, сразу попадали. А кто более-менее пробыл — те вернулись. И вся наша область Калининская такая, самая большая, больше всех пострадала», — поясняет Т. И. Жигалова.

Поколение сыновей одной из причин гибели отцов и старших братьев считают их необученность, их плохую вооруженность. Кто виноват в этом? Конечно, война есть война, всего не предусмотришь, но потерь, по мнению наших соавторов, было бы меньше, если бы власть действовала как надо. Рассказывают о причинах гибели уже спокойно, без надрыва. Видимо, от властей иного и не ожидали.

Фронт близко. К началу октября 1941 года, когда после падения Киева, Орла, Брянска угроза захвата Москвы стала страшной реальностью, в Кимрах было объявлено осадное положение. Главная угроза нашествия на город Кимры виделась в основном со стороны Клина и Дмитрова. Отсюда ждали не только фашистов, но и в случае подрыва плотины полного затопления города[4]. Главный стратегический объект нашей округи —железнодорожный мост, сама дорога Москва–Ленинград.

Мы многих спрашивали: «Вы боялись, что немцы придут? Боялись, что они победят? Думали об этом?» Кто молчал, кто сводил на другую тему. Только один ответ, Зиновьевой В. А., нам удалось получить: «Немцев у нас не было, вот, наверно, и не боялись, что они придут. И не думали даже, что могут прийти». Может, сработал в памяти какой-то защитный механизм, спасающий от страшных воспоминаний? Ведь бояться было чего, фронт был близко.

Война войной, а как была дискриминация деревенских, так осталась и в войну. Вот только на фронт брали наравне со всеми, а то и вперед других, «забронированных».

Денежные изъятия. Война усилила повинности с колхозников.

«*Налог*: 36 рублей и 1,5 тысячи военный налог. Телку продали ночью, вот и деньги», — вспоминает Т. Ф. Гречкина. Почему же ночью? А потому что телка «переписана», ею распоряжаться не можешь. Вот только «по-тихому». И деньги-то не себе — государству. Фронту, для победы… Кроме обязательного налога, были облигации. Кроме облигаций, требовали помочь освобождаемым районам: «Около половины колхозников района не приняли никакого участия. Ряд прав-

лений колхозов… собрали мизерные отчисления Нелидовскому району… Район имеет все возможности, чтобы дать в 2–5 раз больше»[5] (из выступления т. Жукова, секретаря РК ВКП(б). «Все возможности, чтобы дать в 5–6 раз больше». Интересно, как он считал?

«А налог — ужас какой. Работаю-работаю, с молоком-то вот из Жуковки схожу, все молоко продам, схожу на работу, гонят. А что, только на налог молоко было, вот. Яйца. 50 штук отдай за лето. Куры-то не сейчас кладутся! Тогда-то, что я им дам? Когда тую, когда голодные останутся. Чего я брошу курам-то? Очистки если только. Намешаю очистки с чем-нибудь… Оне и не больно едят. Вот и не клались… А ты налог отдай…» — чуть не плача, говорит М. И. Новикова. Конечно, мы понимаем, что отдают всегда неохотно, но здесь-то речь о другом — нечего было отдавать! В протоколах Кимрского районного совета мы нашли решение, что «семьи погибших на фронте освобождаются от уплаты налогов» (из решений райисполкома за 1941 год), но по всему Бреховскому сельсовету нет сведений об освобождении какой-либо семьи погибшего от налогов.

Выкручивались как могли, помогал выкрутиться и председатель, ставший, как нам кажется, чуть не отцом родным своим деревенским. Сколько вспоминают прошлое, столько мы слышим о Котове, председателе, только хорошее, все вспоминают его с теплотой: «хороший дядька»…

Трудовая повинность. В мирное время у государства была бесплатная, безропотная рабочая сила — колхозники. В войну эту «силу» использовали по полной программе. Трудовая вахта доводила до гибели: «Отца на войну не взяли. Отправили на трудовой фронт. Пришел потом, заболел, умер. 55 лет ему было», — говорит А. Березкина.

Колхозники действительно не роптали. Мы, по крайней мере, явных признаков этого не увидели. Руки крестьян сооружали аэродромы, рыли окопы, чистили дороги, валили лес, корчевали пни на топливо. Да еще много чего, не считая работы в колхозе. Посмотрим, как все было.

Для областной власти колхозники — всего лишь «рабочая сила». Безликая, безъязыкая, бесправная. Приказал, и пойдет. Войной можно оправдать необходимость налогов, займов, бесплатного каторжного труда, но почему бы не обратиться по-человечески? Областная, да и районная власть не утруждает себя этим… Выслушаем и «рабочую силу»: «И наш отец, да и все, ездили, делали — Иваньково где было — аэродромы, в войну. И вот на лошадях на три недели, на месяц, тебя угоняли. Едешь на своей лошади и строишь», — говорит Жигалов Г. И. Отец Жигалова — инвалид по зрению. Но кто на это смотрел?

Вспоминает А. Березкина: «В войну мы работали и аэродром делали в Борках: камни возили, песок. Все на лошадях ездили… А самолет летит: „Ой, самолет летит, немецкий!“» Работа была опасной, могли и бомбу на голову сбросить.

Окопы. «В соответствии с указанием Военного совета Калининского фронта от 9 апреля 1942 года исполком облсовета и бюро обкома ВКП(б) постановляют:

1. Для восстановления старых и постройки новых оборонительных рубежей, проходящих по территории Калининской области, обязать председателей исполкомов городских, районных советов, секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) выделить в распоряжение инженерных войск Калининского фронта и управление Наркомата обороны СССР в порядке *платной трудовой и транспортной повинности*... на срок с 20 апреля до 5 мая сельское население...

2. К трудовой повинности привлекаются мужчины в возрасте от 16 до 55 лет, женщины в возрасте от 16 до 45 лет...»[6].

В колхозе решали посылать на такую трудовую повинность девушек, женщин, у которых еще нет детей, хозяйства или есть кто-то, кто может присмотреть за домом. О. Кондратьева рассказывает, словно оправдываясь: «В Пелагеинской окопы мы копали, за Кимры нас гоняли. У меня и две книжечки есть. Одна — за работу в тылу, другая — в совхозе работала. Так что не гуляли...» Окопы — не щели-укрытия, а большие, глубокие, с перекрытиями, с переходами... Тетя Оля, рассказывая, даже достала коробочку с документами, не для того, чтобы погордиться, похвастаться. Было что-то другое: чувствовалась обида, что ее труд и труд таких же, как она, не ценится. Потом мы поняли: кто-то позавидовал «большой» пенсии. Она действительно выше, чем у остальных местных пенсионеров.

Лесозаготовка. Отработочная повинность сельского населения также включала «безусловное выполнение установленных заданий» по заготовке леса. С конца 1920-х годов преследовалось через суд невыполнение норм выработки в лесозаготовительной компании[7].

«Лес пилить? Да всех посылали, большинство женщин, да и детей посылали. Пилили, возили сюда, в Гадово. Топить-то надо, завод же был. Тут штабеля были. Возле железной дороги. Поезд едет, берет отсюда лес, паровозы ездили на дровах — угля-то не хватало, — брали дрова, затаривались и едут дальше. А люди наши возили, особенно зимой. Летом не проедешь. Одни почти женщины. И завод тоже нуждался в топливе, вот дровами и топили. Угля не было. Всю войну работал», — рассказывает Г. И. Жигалов.

Дорожная повинность. Трудоспособные колхозники ежегодно должны были отработать бесплатно шесть дней на дорожных работах. Уклонение каралось штрафом, который взыскивался без суда. Из постановления исполкома облсовета от 12 ноября 1941 года: «В целях обеспечения движения автогужтранспорта по дорогам Калининской области в зимнее время исполком райсовета решил: обязать исполкомы райсоветов организовать подготовку в зимнее время дорог на общем протяжении 761 км, с применением тракторной снегоочистки на протяжении 352 км и конной (на колхозных лошадях) 409 км, (большая часть — на

лошадях да на колхозниках), …ввести обязательную трудовую повинность и гужевую по устройству и установке плетней и других приспособлений по снегозащите и зимнему содержанию дорог, на каждой дистанции (10–20 км) создать постоянные дорожные бригады из числа трудоспособного населения в составе 20–25 человек и закрепить за каждой бригадой по 10–15 колхозных лошадей…»

«Для очистки дорог (18 ноября 1941 года) колхозам выделить бригады: 2 лошади и 4 человека».

Легко районным властям указывать количество лошадей, людей, вольно ему было вводить повинности. Конечно, конечно, война есть война, но ложилось все на плечи баб да девчонок: «А то, милая моя, на снег: зиму-то нас, было, снег расчищать посылали. До Нерли доехать надо, а от Нерли до нашей 15 километров. Да там, наверно, километров десять, до шоссейки в Углич. В войну из Москвы в Углич возили заводы, фабрики. Вот мы расчищали снег. Зимой назначали — каждый день! — по десять человек. Метелица не метелица, а поезжай. Там надо расчищать, а то машины не пройдут. Расчищаем — укутаемся, в шалях ходим — кульки! Снежищу! Уйма! Бежит дядька: „Если завтра война, всколыхнется страна, а мы врага разобьем жестоко!“ Он бегает, эту песню поет!.. Проводим дядьку, побежит в другую бригаду… А машины едут! Мы кричим: „Чего везете?“ — „Заводы! Москву бомбят!“ Так и присядем все… Девчонки были такие-то вот, как вы…» (из воспоминаний Лебедевой К.). Тетя Клава, вспоминая этот эпизод, даже засмеялась. Вот какой, кажется, пустяк: бежит дядька, песню поет боевую. А настроение поднял так, что до сих пор помнится… Лебедева К. и Кондратьева О., рассказывая о трудовой и других повинностях, говорят: «гоняли».

Мария Ивановна Новикова — из тех, кого «гоняли» на трудповинность: «А войну-то я уже забыла… Возила песок, потом и бревна возила, я уже забыла, на станцию возила. Ездили пятью лошадями, пошлют оградку разгораживать в Белове (в войну ломали церковную ограду). Камни возили на железную дорогу из Белого Села. Церковь стоит, мы оградку расколачивали. На мост. На эту дорогу. Лошадей пять нас поедет (нам кажется, Мария Ивановна не случайно оговорилась — действительно, бабы работали «лошадьми»), мужики с ломами все, и мы поедем». «Мы, бывало, завидовали, кто остался в войну с ребятишками, а мужья на войну ушли. Их никуда не трогали, а мы, незамужние, по всем командировкам нас и гоняли», — говорит А. Березкина. Получалось, что приходилось ездить на всякие работы практически одним и тем же: «Работали. Повестки все время давали (повестки-то мы сейчас уж выкинули все). Дадут повестку — пошлют, отработаем 3–4 месяца. Только домой успеешь приехать — опять повестка, на другую работу». О. Кондратьева: «У нас в сельсовете Чернов Петр. Дрягалка его звали. Иной раз пришли, милая моя, подошвы все отвалены у нас, мочалом завязали. Только пришли домой — он опять нам повестку! И все время так! Ой, ой, ой!»

Обидно им теперь, что опять государство унижает их: «Дали только трудкнижку, а на лекарства льготы нет», — говорит А. Березкина. Потерялись документы колхоза, в котором она работала в войну. И таких много, сказали нам в архиве. Приходили и при нас пожилые женщины, просили помочь архивистов. Те даже не обещают.

Трудповинность — самая тяжелая работа — вдали от дома, без еды, без корма лошадям. Думай о пропитании сам. Самое «теплое» место на спиртзаводе, где работали соседи наших бреховцев, а то и родственники. О спиртзаводе всегда ходили легенды, как о райском месте (жидкая валюта ценилась всегда, а на спиртзаводе спирт, по мнению окружающих, лился рекой). Однако и здесь, на заводе, даже на техническом совещании обнаруживается много любопытного.

Из протокола технического совещания работников спиртзавода от 26 апреля 1943 года (присутствовало 23 человека): «Вопрос 4. Почему смена работает 12 часов, а оплата только за 8 часов? …8. Будет ли спецодежда? …10. Будут ли продукты для лесоразработок? …15. Мыло поступает только для болота, будет ли мыло другого назначения? …17. Почему не делают выходных дней и не оплачивают их?»[8]

Вернемся в деревню, в колхоз.

Отправка лошадей в пострадавшие районы. «В целях оказания помощи в проведении весенне-полевых работ колхозам, пострадавшим о немецких оккупантов, исполком облсовета и бюро обкома ВКП(б) постановляют: обязать председателей райсоветов и секретарей РК ВКП(б)… не позднее 5 мая 1942 года *отобрать* в колхозах здоровых лошадей и направить их с полным комплектом упряжи и ездовыми, из расчета одного на 2–3 лошади, в освобожденные районы для использования на полевых работах на срок до окончания сева…»[9]

Нет лошадей, что делать? Власть, областная, районная, всегда имеет совет, всегда знает, что делать. Вот и отсутствующих лошадей приказывает заменить другой тягловой силой.

Из постановления исполкома облсовета и бюро обкома ВКП(б) от 28 апреля 1942 года: «Учитывая напряженное состояние с тягловой силой во многих колхозах области и необходимости быстрейшего пополнения недостатка в тягловой силе в кратчайший срок, исполком облсовета и бюро обкома ВКП(б) постановляют:

— утвердить план выращивания бычков-воликов в колхозах области на 1942 год в количестве 80 тысяч голов…
— обязать исполкомы райсоветов и РК ВКП(б) в декадный срок утвердить и довести до колхозов план выращивания бычков-воликов…

Учитывая исключительно тяжелое положение с тягловой силой в колхозах и большую нагрузку на лошадей в предстоящий весенний сев, пленум обкома ВКП(б) требует от РК ВКП(б), райисполкомов, политотделов МТС и совхозов немедленно… приступить к обучению работам *коров*, *быков*, *нетелей*, с тем чтобы с первых дней сева крупный рогатый скот колхозов и колхозников был использован на полевых работах. 20 января 1943 года»[10].

«Утвердить… довести до сведения… требует… немедленно…» — кажется, что все постановления областной и районной власти написаны по одной схеме. Более того, создается у нас мнение, что люди, сидящие в высоких кабинетах, рассчитывают, что победить в войне можно многократным повторением этих слов. Кабинетная жизнь — отдельно, жизнь людей, колхозников — отдельно…

Настоящая жизнь была другая, не всегда по приказам властей, но именно здесь, в этой жизни, приближали, как нам кажется, победу: «В войну пахали на себе. На носилках носили навоз в поле, лопатой копали», — из записей воспоминаний В. Ф. Гречкиной.

«Мы изо всех сил. У нас и лошадей-то отобрали, так мы на себе! — рассказывает К. Лебедева. — Взяли коляску лошадиную, положим мешок и тащим. Кто за оглоблю, кто за пружину, кто сзади прет! Вот. С горы-то хорошо она ездит, а в гору никак. Ой, таскали-таскали эту коляску, теперь говорят: „Пахать!“ На себе опять. Таскали плуг изо всей силы: тетка одна держит за рогачи, а мы прем. А камни! Камнистое поле-то! Теперь вспахали: „Я больше не пойду! Измоталась!“ Прям никак не могу пахать! Ну прям все болии-ит! Ну нас и отменили, стали женщины пахать. Потом уж стали этих, быков учить… Быков, коров — нам всем прикрепили: кому быка, кому корову… О-о-ой, господи-и-и, мука-то! Утром рано встанем, приведем их, запряжем, поедем… Ка-а-к только слепни побежали — и быки наши все побежали в лес. А мы сидим наверху, с сеном, с возом, а они несутся! А оттуда никак не выгонишь. Ой, и смех и грех!… Вот еще горе какое наше было, а?… О-о-ой, вот наша жисть какая! Какая молодость-то была, а!»

Трудодни. В 1942 году в связи с условиями военного времени обязательный минимум трудодней был увеличен в полтора раза и не пересматривался до середины 1950-х годов. Колхозники, уклоняющиеся от работ в общественном хозяйстве, несли судебную ответственность[11]. В войну не уклонялись от работы в деревне Брехово. Работали бабы, пацаны на совесть. Бабы — главные работники, «тягловая сила».

«В войну на лошади пахала. Лошадь — как ее — Вьюга! Так целину подымала! Поедешь на Вьюге, тогда у нас корова-то была, вот молока возьму, да дерунов, и так с обедом я пашу. Привинчивала ножик к плугу, чтобы резал пласты. И подымала. Поле подняла! И не в зачет все!» — из рассказа М. И. Новиковой. «Косили косами, домой не уйдешь, пока не скосишь. А сено в копны, разваливали, в копны, потом в сараи. А еще председатель придет, поглядит, как мы набиваем. Плохо набиваем — заставлял переделывать!» — говорит О. Кондратьева

Не надо было их подгонять, они сами все «везли», весь колхозный воз, еще и отказывались от более легкой работы. И высоких слов не говорили, да и сейчас не говорят. Работали изо всех сил, вот и все высокие слова. Иногда, правда, мат проскакивает. Но жизнь была такая. Вот и Мария Ивановна чуть не выругалась, рассказывая нам о том, как получала «проценты»: «Работали до темной ночи.

Сено с фонарями разважживали. Опосля после работы — сено огребать. До темной ночи делали. С фонарями. Картошку возили, с фонарями, эти, проценты. Я уж забыла, сколько процентов получала, забыла».

Пацаны. Девчонки, мальчишки — вторая тягловая сила в колхозе.

«Дети работали. И с лошадьми мы, и гумно чистили: как ножичком срывали землю заступом. Мы — девчонки, мальчишки», — вспоминает В. А. Зиновьева.

«После того, как сожнут поле, — продолжает Н. Я. Грудин, — школьников посылают собирать колоски. Кто в мешок, кто в корзину. Шелушили потом, считали зерна. Победители под знаменем пионерским. Шишки сосновые собирали. „Товарищ Сталин“ с идеей — лесополосы в степях. Вот семена и собирали. Сушили. На прополку школьников посылали».

Г. И. Жигалов: «Раньше в войну в колхозе-то как? Всех заставляли. И нас, маленьких, 12–10 лет, — лошадей гоняли. Работали. Снопы, на лошадях ездили, приучали всех. Кто не достанет подседловать, помогут, нагрузят и ездят».

Работа в колхозе была для ребят в войну делом обязательным: «В войну председателем в нашем, соседнем с Бреховом колхозе, стала женщина, местная. Бригадир позвонит в железку — иди на работу. Не придешь — только если заболеешь. А в бригаде у нас одни девчонки», — говорит В. А. Зиновьева.

Голод. Мы спрашивали о голоде. «Голодали. Всем досталось хорошо. И родителям — работали задаром, и дети голодные. А то шую давали! Шую! Отбросы! Теперь и глядеть на нее не будут, а мы в жернова мололи и ели. Отходы от ржи. Давали, мололи и ели. Вот. В войну».

Школа. Мы собрали маленькую коллекцию школьных фотографий разных лет. Есть и военная: у стены школы, под окнами, стоят, сидят сорок детей, один класс. С ними сидит учительница в темной одежде. Дети одеты по-разному, мальчики без головных уборов. Некоторые девочки в платках (не шаленках). Босых не видно, некоторые в валенках. Учительница той поры, З. П. Агурьянова, рассказывала: «Классы тогда, в войну, были по 36 человек. Дети спешили домой, помогать родителям. Обувь — галоши — подвяжут веревочкой, а то босые. Не мог ходить босой — бери задание на дом. Валенки — одни на семью. Одежда вся самодельная, фабричной не было. Учились хорошо, тянулись к знаниям».

Школа в войну потеряла учителя: «Возле школы ельник: в 1941 году посадили вместе с учителями. Учитель — Петр Прохорович, из Красного Холма. Его потом взяли на войну, он не вернулся, убили», — вспоминает Е. Матюнина. Елки эти сейчас выросли в настоящий лес, стоят стеной. Вот только школы уже нет, место заняли дачники. А место красивое. В деревне, в колхозе отношение к шко-

ле было трепетное. Даже районная власть заботилась о школе: топливо, ремонт, пособия покупали, деньги на все выделяли.

Медицина. «Смертность населения в районе превышает рождаемость, особенно в летний период, бань почти нет» (Из выступления на заседании райисполкома в 1945 году зав. здравотделом Александровой)[12]. Смертность, конечно, будет превышать рождаемость: к концу войны силы на исходе, питание никакое. Труд каторжный. Рождаемость низкая? А откуда высокой взяться?

Медики определили наличие в районе сыпного тифа. Принимались меры: «По сыпному тифу: принято решение райисполкома обходить семьи, делать резенсекцию, производить учет, налаживать работу бань»[13]. Т. И. Жигалова, рассматривая школьную фотографию, нашла и себя, в плотно повязанном платке. Платок из-за вшей. Таких девочек в платочках много. Бань в деревне, да и в округе было мало, мылись в печке.

Наши выводы. Итак, что делали власти и чем отвечали крестьяне в годы войны?

Власть давала плохое оружие, не успевала обучать военному делу — плохо обученные, плохо вооруженные солдаты гибли, домой возвращались немногие.

Власть давила налогами — колхозники по-тихому продавали скотину. Семьи погибших власть не освобождала даже от части налогов — крепились, платили полностью. От сборщика облигаций прятались. Усилили трудовую повинность — почти не роптали, списывая давление властей на военную необходимость. Не платили за работу, не давали питание на трудповинности — работали голодные. Посылали на лесозаготовки — работали. Посылали исполнять дорожную повинность — работали, хоть и злились. Забирали лошадей — впрягались в плуг сами, пахали на коровах, быках. Увеличили минимум трудодней — злились, но работали. Район отказал в помощи многодетным (менее восьми детей) — надеялись на себя, мог помочь председатель. Не давали лес — крепились, понимали необходимость беречь лес. Нечего было есть в деревне — пытались уехать в город. Власть заставляла работать и платить больше, чем в предвоенные годы. Колхозники почти не роптали. Работали. Как скажут, даже больше. От уплаты непосильной скрывались. Работали изо всех сил, все от малого до старого, так как видели необходимость. Власть действовала приказами, угрозами, только требуя, требуя, требуя. На человеческое слово власти были скупы. Или приказ, или лозунг.

ВОЙНА КОНЧИЛАСЬ?

«А война-то кончилась — и не верится! Ой! — чуть не плача вспоминает К. Лебедева. — Мы тогда навоз возили, на ферме. У одной девчонки всех убили братей. Она плачет, плачет! Мать умерла, отец умер, а ей десять лет, девчонке этой. Жила она у тетки… Ой, а мы, ну-ка, радость какая! Война кончилась! Война кончи-

лась — все потише будет!...» В войну крепились, сдерживали при людях свои слезы. Отгоняли прочь. Объявили о Победе, боль от потерь родных нахлынула с новой силой. «„Война кончилась“, — объявили. Все обрадовались Незнамо как... Вернулись только двое. И в Грозине никто не вернулся. Ни в Брехове. Котов вернулся да мой хозяин. И все. И на Красной Горе никто не вернулся, ни в Жуковке... Молодняк весь забрали, и никто не вернулся, все погибли. Вот и все», — говорит М. И. Новикова. В списках из домовой книги Бреховского сельсовета за 1944–1946 годы есть запись «демобилизован» напротив шести фамилий. Мы расспрашивали о них. Оказалось, демобилизованные, пришедшие с войны чуть раньше других — инвалиды.

«Парни пришли с войны! Вот какие наши парни-то! А так — никого нету, с кем мы гулять-то будем? — объясняет тетя Клава Лебедева. — А ведь война была, мы все, девчонки, за инвалидов пошли, и безногие, и глухие, и безрукие — всякие. Всех подобрали, да. А что ж, они виноваты, что ли, которые такими с войны пришли? У нас один был, глухой-глухой, а хороший парень был, пошла девчонка замуж за него. И внутри все перебито было. А вот недавно помер. Все жили хорошо... С инвалидом, да. А хороших-то и не было! Мало хороших-то. Хорошие пришли, так они вон уехали, в Москву да за Москву, когда война-то кончилась...»

Уезжали хорошие, то есть здоровые, парни, мужчины, пришедшие с войны. Видимо, фронтовые друзья рассказывали о более «складной» жизни где-то еще, может, звали к себе. Так или иначе, бывшие солдаты, еще не осев в родном колхозе, уезжали. Кто-то в плен попал, освободили, да на работу никуда не брали потом. Приходилось уезжать на новые места, где принимали. Деревня теряла и этих. К. Лебедева рассказывает о судьбе такого парня и своей судьбе: «А я гуляла с парнем... пять лет! Война кончилась — пять лет с ним гуляла! Хороший парень. Технику кончил, Калязинскую, а устроиться нигде не устроишься. Нигде не берут. Он был пленный. Попал в плен. Вот из-за плена его никак не брали. Он взял и уехал. Уехал, ой, забыла, в какой город-то... Далеко.. Мне он не писал. Я думала, что он теперь уж все, забыл меня, взяла и замуж вышла. Посватали. Только вышла замуж, а он и приехал! Ну чего же, вот вышла — живи... В Казахстан он тогда, парень-то мой, уехал! В какую далищу! Казахстан... Знать, не судьба. Я до сих пор все жалею... Вот он приезжает туда, в деревню, а мы не видимся. У меня там, дома, нет никого. Я одна осталась. А у него там был отец... Приедет, все сюда собирается. Ему говорят: „Куда ты? У нее там семья, ребятишки. Куда ты пойдешь?“ Его ругали: „Не ходи!“ А я говорю: „Пригласил бы — я бы пошла“. Ушла бы, не стала бы здесь жить. В Казахстане, там, наверно, хорошо, а? Вот такая наша жисть, девчонки». Тетя Клава до сих пор, вспоминая, «жалеет» этого парня. У нее даже глаза заблестели. Развела людей «жисть».

Солдаты, которые задержались в армии после победы, присылали домой письма, свои «победные» фотографии. Матюнина Е. И. показала нам такое фото: трое солдат, один с аккордеоном сидит на стуле, смотрит на двух товарищей, стоящих около него. Те облокотились на спинку стула, улыбаются, смотрят на своего «аккордеониста». Внизу — от руки, печатными буквами: «В День Победы». Парни молодые, веселые. Одежда: гимнастерка с погонами, галифе, начищен-

ные сапоги. На гимнастерках — медали, знаки. Возвращались солдаты, да скоро умирали. Война сказывалась.

Вернемся к самым первым послевоенным годам, когда продолжалось сталинское время. Строгая жизнь?

Мы довольно спрашивали своих соавторов о репрессиях. Вот что нам сказали: «Сразу после войны сажали за колоски. Нарвешь колосков сколько-то, тебя председатель увидит (особенно если плохой председатель), если выроешь свеклину, вот и под суд… Дядя Вася Бобров, председатель, брата жены чуть не осудил. Родственники же… Вытащили сколько-то моркови. Зачем она тебе и нужна? Вот его, Борьку этого, чуть не посадили. Толька (портной был), дали ему год. Сидел. За что? Нарвал колосков чего-то после войны. Суд был… Мы на заводе работали, вот опоздаешь в месяц на 22 минуты — судят. Вот раньше и выходили на работу. Боялись. Зачем нам суд нужен? Это после войны, и долго так было. И мы никто не опаздывал, никогда». За частушки не сажали в нашей округе, а за колоски-морковь сажали.

А мы поняли: в послевоенное время, даже самое строгое, в деревне можно было воровать. Если действовать «по-умному», осторожно. «Осторожное воровство» — оружие, которое взяли в свой «арсенал» в первое послевоенное, а особенно в последующее время деревенские. И пусть власть грозила, например, «за кражу льнотресты последующая отдача людей под суд» (из выступления судьи на заседании райисполкома), колхозники делали выводы и старались не попадаться, если решались на воровство. «Умнели».

«После войны спокойно могли посадить, — рассказывает Н. Я. Грудин — Вот троих за пуд овса посадили у нас в деревне, поехали в Кимры, а есть надо что-то, вот продали на троих пуд овса. Посадили, дали по семь лет. Они, правда, вышли раньше: амнистия после смерти Сталина… А могли так и сидеть. Кто заложил? Не знаю… Наверно, наши и заложили…»

Жизнь колхозная. Это только кажется, что с окончанием войны облегченно вздохнули в деревне. Не совсем так.

«После войны, года два, плохо было. В войну еще не так. Более-менее. А после… Ну все — разруха… Отец чуть не помер у меня. Из-за голода. У отца истощение было. А я как раз в отпуск приехал. Привез и хлеба, и масла. Нам на месяц отпуск дали и полностью паек. Карточку оформляем, получаем и в деревню едем. Тут вся деревня в ремесленном училась. И вот приехал, немножко откормили отца», — рассказывает Г. И. Жигалов, который жил в это время в городе, работал.

М. И. Новикова: «В войну еще более-менее. А 2–3 года потом — совсем голодные. Ничего и не было. В колхозе не оставалось уже ничего: работаешь-работаешь, а толку никакого. Ни денег, ничего. Тут уже ничего не справляли. Колхозы жили так, как придется, — выживали. Но только скотина была своя — вот чем и жили!»

Районная власть (может, по указке областной?) закрывала все возможности, лазейки для помощи голодающим колхозникам.

Власти изуверски пересчитывали все хозяйство, чтобы выгрести все, что можно. Объясняли это необходимостью. Поднимать страну из разрухи, восстанавливать хозяйство. Но народ-то не дурак, видел, как, собрав молоко, сборщики налогов снимали сливки себе в рот! Дядя Коля Грудин говорит: «Телят-то не было, их конфисковали сразу после войны… Все были переписаны».

Колхозники умудрялись выкручиваться, чтоб как-то выжить, даже выучить детей. Жили за счет своего хозяйства, точнее, что останется после налогов: «Деньги стали давать в колхозе, когда совхоз стал. А то не было, — объясняет Н. Я. Грудин. — Что продадут с урожая — лук, помидоры — носили на рынок, в Белый Городок, после войны. Огурчик свежий, малосольный — туда. Налоги платить надо ведь? Этот — в расход. Деньги не давали, а налоги платить надо. Молоко ходили продавать, тоже в Белый Городок. Сам ходил, продавал. Яички. Молоко от каждой коровы сдавали 380 литров. Был в деревне приемный пункт, потом и в Белый Городок возили. В церковь, „освящать“ — в церкви молокозавод был. Молоко переработают, привозили оттуда обрат. Ели. Сами. Закажет кто, привезем. Телят поили. Овец держали — шерсть нельзя было продать. Обязательно сдать. Овцу режешь — шкуру обязательно сдать. Яйца сдать. Сколько-то оставалось. Черно-белые, красноватые, дымчатые коровы были. 50 кг мяса. Овец постригешь — носки связать не с чего. Брали больше, чем Мамай. Чингисхан 10% брал. А у нас…»

Дядя Коля не один раз нам говорил, что государство зря не запретило рассказывать о действиях Мамая. Народ же может сравнить размер мамаевского налога и сельскохозяйственного натурального при советской власти и сделать вывод. Кроме налога продолжали подписывать на заем. Осталась после войны и трудовая повинность.

Мирное время не отличалось от военного по трудовым повинностям. «Трудповинность и все. Иди и работай, куда пошлют» (Гречкина).

Посылали после войны убирать убитых: «Посылали и подо Ржев. Убежишь — тебе разряд срежут. Что хотели, то и делали. Поднимали и сельское хозяйство, в Оленинском районе. Были во Ржеве. Там сильные бои-то были, там убирали, это все, трупы-то. Бывало, берешь, а там и тела-то нет, одна шинель. Кидали на телегу, всех вместе, наших, немцев. А уж потом куда их, не знаю» (Жигалов Г. И.)

Наши выводы (действия властей — ответ крестьян). Власти волокитили, не давали инвалидность — колхозники (даже их дети) добивались своего упрямством, видимо, от отчаяния. Помогали соседи. Власть имитировала выборы, ставя своего председателя — колхозники злились, ругались, при случае мстили. Депутатам-начальникам не верили, к ним не обращались. Властям не доверяли. Старались держаться от властей в стороне, стараясь «не замазаться» обще-

нием с властью, участием во власти. Власти загоняли в партию — не отказывались, но увиливали. Обнаглевших, грабивших инспекторов били, могли убить совсем. Власть закрыла церкви — привыкли обходиться без церкви. Не дает власть косить сено — научились воровать. Косить по ночам, отстаивая матом и топором свое-чужое добро. Нет сена, нет оплаты — решаются на отъезд. Заем: председатель увиливает, отнекивается, а власть давит. Налоги: людям нечем платить — власть отнимает последнее.

В первые послевоенные годы власти продолжали жить и действовать военными методами. Но в деревне остались женщины, старики да дети, за которых некому было заступиться. Разутые, раздетые, голодные, они продолжали работать, работать за себя и погибших мужиков, ничего не получая за свой каторжный труд. Накапливалась усталость, копилось озлобление, выливавшееся в мат, а то и убийство представителей ненавистной власти. Нет, не надеялись крестьяне, «слабые», на помощь власти, а спасались от ее действий.

На помощь властей, районных и областных, не надеялись даже потенциальные доносчики, предпочитавшие молчать, чтоб не стать изгоем в деревне.

Формой протеста стало выталкивание детей в город: учиться, работать, замуж — любым способом, только вытолкнуть.

В 50-е годы людей все-таки заставили работать плохо, нерадиво, предпочесть работу на стороне, нежели в колхозе.

Появилось браконьерство, самовольные рубки, варварское отношение к природе. Мы считаем, что так люди выражали, выплескивали свой протест против всего: унижения, грабежа, нищеты, несвободы.

Если властям еще как-то верили в войну, до войны, был энтузиазм соревнования, то теперь этого нет.

Власть на протяжении десятилетий мало меняла свои методы давления на крестьян: все те же кнут (раскулачивание, высылка, усиленный налог, угроза суда и увода за долги скота), пряник (приближение к власти, публичное чествование устно или через газету, почетные грамоты), принцип «разделяй и властвуй» (приветствование доносительства и доносчиков, выдвижение во власть, в партию, науськивание деревенских друг на друга), короткий поводок (паспортная система, бедность и нищета, зависимость от власти), промывка мозгов (фактический запрет вероисповеданий, пропаганда только одного взгляда на жизнь и власть всеми средствами — от плаката в доме газетной статьи до уроков в школе), вранье, утаивание правды, отсутствие человеческого отношения к собственному кормильцу — колхознику, крестьянину.

Чем отвечал крестьянин?

Терпением, молчанием, покорностью, уходом в работу сначала. Озлоблением, агрессивностью, высмеиванием, дурачеством, созданием легенд о мстителях, уходом в работу, но уже в своем хозяйстве позже.

Потом уклонением от работы, нерадивостью, браконьерством, пьянством, исходом их деревни.

О ЖИЗНИ СЕГОДНЯ

Наши соавторы — люди достаточно пожилые, повидавшие многое, хотя редко кто из них выезжал далеко от родной округи. Жизнь их продолжает не баловать. Да вот только жизнь ли виновата? Может, это власть, государство продолжает относиться к ним так, как и прежде, в те «клятые-переклятые» годы!

Из разговора двух подруг, Кондратьевой О. и Березкиной А. (у тети Оли в гостях):

Тетя Оля: «Плохо было. А теперь и внимания на нас не обращают, говорят: „Подумаешь, какое дело — в войну работали!“»

Тетя Тоня: «А теперь нас ни во что не считают. Спрашивают медаль. А какая медаль? В войну отработала — в колхоз вернулась. А в колхозе за пустые палочки работала. Пришла в сельсовет: „справка мне нужна, на льготные лекарства“. „Ничего нету, езжай в Кимры“. А я не знаю там ничего… В сельсовет пришла, говорят: „Ничего у нас нет, ничего не даем“. Я говорю: „У меня и документов нет“. Мне: „А есть у тебя фотография?“ А тогда и не фотографировали…»

Тетя Тоня: «Ну у тебя есть льготы какие-то за работу в тылу. А у меня этого нет, только трудовая. А по ней не дают, только по квартире льготы. Нужна тыловая».

А дело в том, что документы колхоза, где работала Березкина, утеряны. Льгот поэтому она не получает. Рассказывая, она спокойна, нет зависти к более «удачливой» подруге. Голос ровный. Но от этого еще более стыдно. Нам.

Мария Ивановна не стесняется в выражениях (говорила она на улице, у дома своего). Обидно ей за свое мучение, которое «не в зачет»: «Мучились как собаки, и не в зачет, работала всю жисть, работала за шиши… Потому что были бы мы грамотные, может, чего и было бы. А мы неграмотные. Темные люди, неграмотные. Нам скажут, чо и говорить. Что дадут, то и дадут. Вот как. И военные годы не пошли, ничего… вот и все. Пенсию хорошую не заработали. Пенсия? Сто восемьдесят… Тысяча восемьсот тридцать рублей…. Ну мне хватит»… Мария Ивановна, как почти все люди ее поколения, путается в нулях. И хоть сказала она в конце «мне хватит», понимаешь, что ее труд действительно пошел «не в зачет».

Почти оправдывается и тетя Клава Лебедева за свою большую пенсию: «Вот, говорят: „Пенсию вам дают!“ Правильно дают, нам есть за что! Мы всю войну без копейки!»

Тетя Клава Лебедева жалуется на здоровье: «Сама болею, одышка, да давление. Не могу ходить далеко. Давление, голова. Таблетки за таблеткам. Вот наши дела какие. Осталось одно вспоминанье. И война… все дело наделала… Сколько денег одних на нее пошло… А деревни… пустые!..

Сейчас бегают ребятишки — сытые, чистые, не знают, чего поесть. На улице поглядишь — мороженое, пирожное, а мы и не пробовали. А теперь бы поела — зубов нет, нельзя есть».

Наши герои (героини) о своей жизни. Тетя Тоня: «Другой раз сидишь, плачешь, как вспомнишь. А и плакать нельзя. Могу совсем ослепнуть. Теперь уж чего? Одна память осталась…»

Мария Ивановна: «Теперь никого в деревне-то нету, одна я живу. Все уж загнулись, а я живу…»

Тетя Оля: «Теперь чего уж, теперь все уж прожито, наплевать уж. Теперь уж как-нибудь потихоньку дожить».

Тетя Клава: «Какая наша жисть… Не надо никакой войны, спаси и сохрани. Живите спокойно. Нам-то всем досталось…

Мы здесь ходим такие все бабушки — от силы пять лет, все помрем. А вам надо жить. Вы старайтесь. И глядите. За нами тоже все глядели. Глядели и учили. Мы слушались. Вот так… Вот все».

Примечания

[1] *Репина Е.А.* Словарь кимрских деревень от «А» до «Я». Кимры, 2004. С. 35.
[2] Менталитет и аграрное развитие России. М., 1996. С. 157.
[3] Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938–1946 годы. М., 1948.
[4] 55 лет Московской битвы // Кимрская жизнь. 1996. 5 декабря.
[5] Кимрский районный архив. Ф. 16. Оп. 1. Ед. хр. 145. Л. 83.
[6] Страницы народного подвига. М., 1974. С. 191.
[7] Менталитет и аграрное развитие России. С. 156
[8] Кимрский районный архив. Ф. 357. Ед. хр. 29. Л. 7.
[9] Страницы народного подвига. С.135.
[10] Там же. С.143.
[11] Кимрский районный архив. Ф. 16. Оп. 1. Ед. хр. 145. Л. 97.
[12] Там же. Л. 71.
[13] Там же. Ед. хр. 116. Л. 39.

война и гулаг

История, рассказанная фондом Р-1368

Никита Меситов, г. Тула
10-й класс, научный руководитель П. В. Понарин

Все документы и материалы, рассмотренные ниже, до недавнего времени находились под грифом «совершенно секретно», и доступ к ним мы получили совсем недавно — в середине 90-х годов XX века. Прежде всего, это документы фонда Р-1368 Государственного архива Тульской области (ГАТО) под названием «Управление Проверочно-Фильтрационного Лагеря № 0308 НКВД СССР». Эти абсолютно новые для нас источники позволяют восстановить повседневную жизнь заключенных, их быт, настроения и, что особенно важно, отношение спецконтингента к сталинскому режиму и войне. Документы позволяют также ответить на вопрос, «кто и как охранял лагерь», потому что сквозь скупость официальных докладов, отчетов и директив пробиваются реальные факты и лица охранников.

Несмотря на прошедшие десятилетия, для всего российского общества это новая, неизведанная и неизученная тема. Не должны эти материалы так и пылиться на полках, никому не нужные и не востребованные. Они помогут рассказать правду о жизни в таких вот лагерях в военное время.

Я думаю, что эта тема позволит разобраться в том, что творится в подобных проверочно-фильтрационных пунктах, возникших спустя полвека на территории Северного Кавказа, понять, что нарушение прав и свобод человека на территории многострадальной Чечни имеет давние корни. Те «нововведения», которые практикуются по отношению к узникам современных «фильтров», были придуманы не сейчас, а энкавэдэшниками в 1941–1945 годах.

Для меня история ПФЛ № 0308, существовавшего в 1944–1946 годах на территории Тульского края, стала обратной стороной войны, темной и очень неприглядной. Думаю, что сегодня многим людям в нашем российском обществе в преддверии 60-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне не хотелось бы вспоминать, что в глубоком тылу советской армии был ГУЛАГ и были проверочно-фильтрационные лагеря, была рабская сила под названием «спецконтингент», строившая шахты, комбинаты, заводы и фабрики. Получается очень неудобная картина войны, ломающая привычное отношение к войне: «плохие фашисты, хорошие наши». Оказалось, что и «наши» были разными.

ЧТО ТАКОЕ ПФЛ № 0308?

Лагерь был создан в 1944 году, но первые лаготделения появились в конце 1943 года. После создания он довольно быстро развивался. На основании архивных документов можно установить, что к 1 февраля 1945 года лагерных подразделе-

ний насчитывалось десять. Центр лагеря находился в городе Туле (18-е лагерное отделение). Лагерные отделения находились от центра (Управления) на расстоянии от 12 до 72 км.

Основной вид производимых работ — это работа в шахтах по добыче угля. Лаготделеления расположены от шахт на расстоянии от 150 м до 2 км. Работа велась по восемь часов в три смены. Жилье было: бараки и землянки[1].

К концу февраля в ПФЛ находятся уже 8563 человека, из них женщин — 357 человек, детей — 10. Лаготделение № 18 в Туле было единственным строительным подразделением ПФЛ и одновременно являлось пересыльным пунктом.

Численность спецконтингента постоянно изменялась — то возрастала, то убывала.

В июне 1945 года насчитывалось 9 лагподразделений с общей численностью 9330 человек, из них 10 женщин. Это был своеобразный апогей в истории ПФЛ. Возможно, освобождение западных территорий приводит к увеличению числа лиц, которых стоило «проверить» и «отфильтровать».

Осенние и зимние месяцы 1945 и 1946 годов в лагере выдались нелегкими, что отразилось на численности обитателей концлагеря: сокращаются лагерные отделения и уменьшается количество заключенных. В октябре было пять лагерных отделений (6247 человек), которые обитали в 47 утепленных деревянных палатках, 14 землянках, 7 бараках каркасно-засыпного типа. В ноябре-декабре происходит сокращение лаготделений с пяти до трех.

Землянки, бараки, палатки… а можно ли было жить в таких условиях? Что же на самом деле представлял собой проверочно-фильтрационный лагерь № 0308? Посмотрим, что говорят обнаруженные документы. 5 ноября 1945 года начальник Санитарного отделения лагеря капитан медицинской службы Токарева сообщает начальнику лагеря полковнику Ходасу об ужасающем санитарном состоянии двух лаготделений — 11-го и 24-го:

«Лагерное отделение (11-е. — *Н. М.*) состоит из двух зон. Территория обеих зон из-за отсутствия твердого покрытия крайне загрязнена. Спецконтингент грязь с территории заносит в общежития (палатки и землянки), которые из-за резкого недостатка воды не моются. Спецконтингент в течение последних двух месяцев в бане не мылся, стрижка волос не производилась в течение последних двух месяцев — почти все найдены заросшими и грязными… Все лично мною проверенные на вшивость в выборочном порядке оказались массово завшивленными… Из-за завшивленности и загрязненности спецконтингент поражен в значительном количестве кожным заболеваниями, что ведет к его ослаблению и потери трудового фонда.

Мною было проверено питание. Во время пробы 3 ноября в завтрак установлено, что пища была приготовлена плохо, а именно суп приготовлен из неочищен-

ной и частично гнилой картошки и поэтому имел кисло гнилостный запах и был крайне неприятным на вкус…

На лагерном отделении очень много больных (до 40 человек), точное количество выявить не представилось возможным (так как они помимо стационара находились непосредственно в бараках и не были учтены).

Несмотря на такое количество тяжелых больных и отсутствие возможности лечить их в условиях лаготделения, больные в центральный лазарет лагеря не доставляются»[2].

Такая же картина была и в лаготделении № 24. Лагерный врач Токарева отмечала в своем рапорте, что больных никто не госпитализирует. Из 137 человек, находившихся в оздоровительной команде, большинство (дистрофики) нуждалось в немедленной помещении в лагерный лазарет, иначе они могли умереть.

Я думаю, что именно такие жуткие условия приводили к уменьшению численности обитателей лагеря, способствовали превращению здоровых людей в неизлечимо больных «доходяг».

На основании документов можно сделать также вывод, что численность ПФЛ прямо зависела от событий на Восточном фронте: он пополнялся по мере продвижения советских войск на Запад. Заключенные лагеря в течение 1944–1946 годов использовались на самых тяжелых работах. Лагерь состоял из отделений, многие из которых располагались далеко от Тулы, и, таким образом, ПФЛ № 0308 не только входил в обширную империю ГУЛАГа, но и являлся своеобразным «государством» на территории Тульской области. Большинство обитателей ПФЛ составляли бывшие военнослужащие, оказавшиеся в немецком или финском плену.

Интересно, что в состав спецконтингента входили также женщины и дети, особенно много их находилось в лагере в феврале 1945 года — 357 человек. Возможно, это были жительницы оккупированных территорий, заподозренные в связях с немцами, или советские женщины, служившие в частях Красной Армии и попавшие в плен.

Помимо них в лагерном отделении № 12 (село Бегичево под Богородицком) содержались крымские татары. Крымские татары составляли также основу 11-го и 25-го лаготделений. Были и представители мирного, гражданского населения, пережившего оккупацию.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ «СПЕЦКОНТИНГЕНТА»

«Спецконтингент» ПФЛ № 0308, как я уже упоминал выше, работал в основном на шахтах по добычи угля или на стройках. Рабочий день делился на три смены по восемь часов. От лагеря до шахты было как минимум 2–3 км пути, который заключенные проделывали пешком, без какой-либо теплой зимней одежды.

Скупые слова документов позволяют восстановить картину ужасающей лагерной повседневности.

Лагерный рацион был скудным. Вот пример того, чем питались заключенные. По лагерям ГУЛАГа в июне 1944 года была разослана директива, которая предписывала лагерному начальству следить за питанием спецконтингента: «В связи с наступлением летнего периода и направлением значительных групп военнопленных на работы в подсобные хозяйства и на лесозаготовки, а также в связи со сбором грибов для заготовки на зимний период, имеется реальная угроза отравления ядовитыми грибами со смертельным исходом, в случае поедания таковых военнопленными, при ослаблении надзора со стороны охраны и непринятием срочных мер по оказанию неотложной помощи со стороны медсостава»[3].

В другой директиве от 20 июня 1944 года говорилось, что с наступлением весенне-летнего периода в нескольких лагерях зарегистрированы случаи отравления военнопленных со смертельным исходом корнями, стеблями и листьями дикорастущих ядовитых растений, например, *веха ядовитого*. Корень веха ядовитого по виду напоминает редьку. Вкус листьев и корня напоминает петрушку. Поэтому его и принимали за съедобное растение. Что же предлагалось делать командованию лагеря?

«Провести разъяснительную работу среди военнопленных о недопустимости употребления в пищу растений без разрешения врачебного надзора…

Предупредить военнопленных, что при обнаружении случаев употребления ими дикорастущих растений, будут применены по отношению к ним меры дисциплинарного воздействия»[4].

А в отчетах начальники лаготделений стремились показать, что с питанием в их зонах все обстоит благополучно. Я обнаружил, что с осени 1945 года происходит медленное ухудшение физического состояния заключенных. Отчеты санитарного состояния лаготделений за каждый новый месяц начинаются со слов: «… мы имеем по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение физического состояния спецконтингента…»

Конечно, это объяснялось ухудшением питания, происходившим вследствие того, что лагерь снабжали со значительными перебоями. Вместо жиров, мяса и рыбы, как правило, привозили неполноценные заменители (в основном яичный порошок), мерзлый и порченый картофель. Кроме того, отсутствовала какая-либо одежда и обувь по сезону. Лагерные врачи считали, что простудные заболевания были особенно характерны для заключенных из прибалтийских республик (преимущественно латышей), а в таких условиях простудные заболевания и даже небольшие травматические повреждения вели к различного рода осложнениями, к инвалидности и нередко к смертельному исходу.

На лагерных отделениях № 11 и 12 при тресте «Скуратовуголь» ощущался острый недостаток воды (использовалась техническая или дождевая вода). Это

приводило к росту числа кожных заболеваний, таких как пиодермия, фурункулез.

Заключенных использовали на работах без выходных. Если учесть, что на некоторые шахты приходилось идти 2–3 километра, а также ожидать выхода на поверхность всех работающих, то занятость на работе увеличиваласьс восьми до десяти часов.

Тяжелая работа, усугублявшаяся непогодой (холод, распутица), подкашивала даже самых выносливых заключенных, входивших в группы № 1–2 (самые здоровые, способные работать в шахте): «… особенно отразилось ухудшение физического состояния на самой полноценной 1-й категории, в которой соотношение к общему числу 53% в декабре 45-го года снизилось до 36% в январе 1946 года»[5].

Это означало, что 3-я категория (крайне ослабленные) стала еще более многочисленной. Она составляла 338 человек. Эти люди использовались для нужд лагеря или на поверхностных работах на шахтах: «…хотя и более легких, но, учитывая плохую одежду и обувь, поверхностные работы в зимних условиях являются трудом также тяжелым».

Повседневным явлением стала дистрофия среди заключенных.

Начальник САНО ПФЛ Токарева, одна из немногих, кто била тревогу в декабре 1945 года: «На мое имя продолжают поступать рапорта от начальника Санчасти 11-го лагерного отделения, что начальник лаготделения майор т. Пятышев не представляет транспорта для направления больных в Центральный лазарет, вследствие чего больные умирают в то время, как в условиях лазарета их можно было бы спасти.

Одновременно я имею сигналы о том, что количество дистрофиков и ослабленных на 24-м лагерном отделении и особенно, на 11-м лагерном отделении непрерывно растет.

Начальники лаготделений игнорируют Ваши указания, выводят дистрофиков на работу.

При таком положении это может дать в ближайшие дни катастрофически высокую смертность.

Учитывая, что начальники лагерных отделений №11 и №24 не ведут действенной борьбы за сохранение физического состояния контингента, что может в конечном счете привести к массовой смертности (особенно 11-е лагерное отделение)…»[6].

По данным врача Токаревой октябре 58% больных заключенных умирали непосредственно на лагерных отделениях и даже имелись случаи смертности

не в стационарах, а непосредственно в бараках (на 11-м и 12-м лагерных отделениях). В своем подавляющем большинстве больные доставлялись в центральный лазарет в таком запущенном состоянии и с таким запозданием, что влекло за собой их очень длительное лечение, а в отдельных случаях поздняя доставка в центральный лазарет (с воспалением легких, дизентерией и другими тяжелыми болезнями) приводила к смерти в первый же день поступления.

Токарева считала, что своевременное направление больных в центральный лазарет лагеря, бесспорно, сократило бы количество смертельных исходов, так как стационары санчастей на лагерных отделениях «не полностью приспособлены к лечению тяжелобольных», а по-моему, там просто не лечили. Начальники лагерных отделений не давали транспорт. По мнению Токаревой, смерть заключенных непосредственно в бараках являлась совершенно недопустимой и по каждому случаю такой смерти необходимо назначать расследование с привлечением виновных в негоспитализации умерших к самой строгой ответственности. Могло ли это осуществиться на практике? Представляла ли ценность жизнь «изменников родины»?

Начальник САНО Токарева, по-видимому, старалась честно выполнять свои врачебные обязанности и спасала заключенных. Возможно, что выжившие в ПФЛ № 0308 были благодарны именно ей за медицинскую помощь, терпение и настойчивость. Однако смертность в лагере росла стремительно и в итоге стала обыденным явлением (в месяц умирало 50 человек, по официальным данным, но, сколько было нерегистрированных смертей, никто не скажет).

Настоящим бедствием для лагеря стала эпидемия брюшного тифа. А почему это произошло?

Документы свидетельствуют, что кипяченой воды не было, уборные для спецконтингента и личного состава также были переполнены и не очищались. Дрова для топки бань отсутствовали, и больных невозможно было помыть перед тем, как положить в лазарет. В некоторых случаях наблюдалась такая картина. Из акта об обследовании 8-го лаготделения: «Отбросы и нажига высыпаются около корпусов. …Мусорных ящиков нет. Помойной ямы не было и нет.

Уборные переполнены, фекальные массы разлиты по территории в 1,5 метрах от уборных, что способствует обильному выплоду мух, распространению заразных желудочно-кишечных заболеваний и зловонию на территории зоны.

…Все щели нар забиты клопами. Борьба с клопами не ведется, в корпусах грязно.

…Оконных форточек нет»[7].

Клопы, вши, нехватка медикаментов — все это приводило к распространению брюшного тифа и других инфекционных заболеваний. Хотя руководство ГУЛАГа придерживалось того мнения, что инфекционные болезни могут быть умышленно занесены в глубь страны врагом, а потому необходимо проявлять бди-

тельность в борьбе с инфекцией, прежде всего с сыпным тифом, который именовался в шифрах инфекционных заболеваний под номером пять[8].

В апреле 1946 года в ПФЛ № 0308, на 18-м лаготделении, разразилась эпидемия брюшного тифа[9]. Лагерь угрожал всему городу, и, чтобы локализовать инфекцию, в городской больнице Семашко для заключенных было выделено 35 мест. Ликвидация брюшного тифа шла медленно, люди умирали, и руководство лагеря вынуждено было принять строгие меры: был создан эпидиотряд, под домашний арест отдан начальник санотделения 24-го лаготделения Соловейчик, начальнику лаготделения майору Скосарю обещано привлечение к судебной ответственности. Их лаготделение считалось, по документам, рассадником инфекционных заболеваний. Можно представить, что там творилось!

Да и в целом ПФЛ был, можно сказать, гиблым местом. Отдельного изолированного помещения для инфекционных больных лагерь не имел: помещались они в одном здании со здоровыми, но только с той разницей, что для больных было выделено семь камер с отдельным входом. Причем в этих семи камерах размещались не только инфекционные больные, но и терапевтические и хирургические. Полной изоляции больных от здоровых не было: здоровые военнопленные свободно заходили к больным. Не редки были случаи, что после общения с ними отправлялись на кухню, где готовилась пища. Кухня для приготовления пищи находилась в антисанитарных условиях, она представляла собой проходную в помещение для жилья. Повара и их помощники спецодеждой обеспечены не были. На кухню обычно заходило много посторонних лиц.

433 человека находились в лазарете. Из них у половины одни и те же заболевания. Их всего два: дистрофия да воспаление легких, от того что даже хоть какой-то зимней одежды не было. А потом смерть, так как ослабленный дистрофией организм просто не мог справиться с болезнью. Да и лекарств не хватало, лазарет постоянно был переполнен. Он вмещал в себя вдвое меньше, чем в нем обычно находилось заключенных. В ноябре «количество коек» в центральном лазарете, который находился на 18-м лаготделении, составляло 220, а болело вдвое, а иногда и втрое больше. Получается, что люди спали друг на друге.

В лагере не было самого элементарного, того, что необходимо человеку для выживания — то есть одежды, одеял, лекарств и т.п. Люди, помещенные в лагерь, могли надеяться только на свои силы, им приходилось выживать. Мало того, спецконтингенту приходилось еще работать и перевыполнять план.

«ПОЛИТИКО-МОРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СПЕЦКОНТИНГЕНТА В ОСНОВНОМ ЗДОРОВОЕ...»

Обитатели ПФЛ № 0308 находились под жестким идеологическим контролем, так как, по мнению лагерного начальства, должны были искупить свою вину перед Родиной бескорыстным трудом и преданностью политике партии и правительства, а для этого они должны были стать настоящими советскими граждана-

ми. Основной задачей лагерных «воспитателей» являлось «оздоровление политико-морального состояния заключенных, искоренение пораженческих и антисоветских настроений среди спецконтингента».

Из отчета о проделанной политико-воспитательной работе по лаготделению № 8 за июнь 1944 года со спецконтингентом: «Политико-воспитательная работа со с/контингентом лаготделения проводилась вокруг вопросов выполнения плана по добыче угля, освоения производства вновь прибывшим составом, развития соцсоревнования и стахановского движения…»[10]

Каким же на самом деле было «политико-моральное состояние спецконтингента», находящегося в проверочно-фильтрационном лагере № 0308 в годы Великой Отечественной войны?

Ежеквартальные отчеты и доклады о политико-моральном состоянии и трудовой дисциплине среди бывших военнослужащих или спецконтингента, исправно предоставляемые начальниками лаготделений начальнику лагеря полковнику Ходасу, помогли мне ответить на этот вопрос.

Прежде всего хотелось бы рассказать о той идеологической обработке, которой подвергались заключенные лагеря.

Главное, заключенных заставляли изучать произведения Сталина. Всех обязывали читать его книгу о Великой Отечественной войне, а также доклад «отца народов» к 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции от 6 ноября 1943 года и непременно историческое «выступление по радио т. Сталина 3.VII. 41 года»: «В помощь углубленному изучению книги тов. Сталина для всего коллектива б. военнослужащих проведены доклады, беседы, лекции, политинформации и т.д.: докладов за этот период проведено 4»[11].

Для «воспитания» заключенных использовались и массовые мероприятия, прежде всего митинги. Митинги за колючей проволокой проводились обычно к датам. Например, «26-я годовщина Великой Октябрьской Революции», «20 лет без Ленина под водительством т. Сталина по Ленинскому пути», «26-я годовщина РККА», «Год коренного перелома в ходе войны». Восемь митингов за квартал было проведено на тему освобождения советских городов от немецко-фашистских оккупантов.

Очень популярной формой работы со спецконтингентом были беседы на историко-патриотические темы, в том числе о Великой французской революции, 9 января 1905 года, а также политинформации, беседы, читки газет.

В своих квартальных отчетах лагерные начальники пытались показать, что жизнь в лагерных отделениях ничем не отличалась от жизни на воле. Также демонстрируются популярные кинокартины о прославленных революционерах и народных героях или комедии, ставятся сценки и спектакли лагерной самодеятельности. Но, я думаю, руководство ГУЛАГа на самом деле не стремилось разнообразить

жизнь заключенных, а только использовало всевозможные методы для воспитания спецконтингента в советском духе, в том числе кино и театр, самодеятельность.

Другой особенностью идеологической обработки заключенных стала организация социалистического соревнования и стахановского движения на всех лаготделениях, прежде всего между бригадами, задействованными на строительстве шахт и добыче угля.

«Участие» в социалистическом соревновании подавалось в отчетах как пример здорового политико-морального состояния спецконтингента той или иной зоны. Например, о настроениях среди бывших военнослужащих, находящихся на 30-м лаготделении (в районе поселка Болохово, 30 км от Тулы) осенью–зимой 1944 года, в документах говорится так: «Все б. военнослужащие за исключением нескольких лиц активно участвуют во всех проводимых политических мероприятиях, и политико-моральное состояние б. военнослужащих в основном здоровое. 80% всего контингента охвачено социалистическим соревнованием, а угольная группа охвачена соцсоревнованием на 100%…»[12]

Лагерное начальство в воспитательной работе делает ставку на стахановцев из числа спецконтингента, так называемых «лучших людей», которые «систематически перевыполняют индивидуально свои производственные задания» на 175–120%. Например, на лагерном отделении № 18 рост во втором квартале 1944 года пополняются ряды стахановцев: «Количество стахановцев в апреле месяце было 323 человека, а в мае 337 человек. Лучшие люди — стахановцы лагеря Бубликов, Кочетников, Шолохов, Блохин и Любимов, которые систематически повышают производительность труда от 125 до 150%…»

Лучших людей стараются выделить и примерно поощрить: «Лучшим людям, работающим честно и добросовестно, выдавалось лучшее белье, обмундирование, обувь и постельные принадлежности. Необходимо отметить, что лучшие люди л/отд. из б/военнослужащих, выполняющие и перевыполняющие производственные задания, нами были отмечены на вечере трудовиков 5 февраля 1944 года, на котором для 29 человек был устроен в клубе при торжественной обстановке, улучшенный обед, с выдачей по 200 граммов водки каждому.

Кроме того, лучшие люди спецконтигнета систематически получали непосредственно на шахтах дополнительное питание, водку…»[13] Кроме водки и дополнительного пайка лагерное начальство поощряло передовиков спецодеждой.

Основная же масса заключенных, не получившая «хорошей спецодежды», ремонтировала то, что носила. Однако и это не спасало от холодов и непогоды. Нательное белье и зимняя одежда отсутствовали.

«Многие рабочие, сознавая ответственность и долг перед родиной, зачастую идут на работу в изорванной обуви, чтобы не допускать прогулов, простуживаются и болеют (до 50 человек в сутки. — *Н. М.*).

Не все рабочие имеют спецовку, а у некоторых одежда настолько дряхлая, что никак не защищает от холода. Белье рабочие почти не имеют, а те, кто частично имеет белье, оно не стирано 6–8 месяцев из-за отсутствия смены и представляет засаленную клеенку»[14].

Также не было верхней одежды, брюк, гимнастерок. Рабочие были вынуждены ложиться в постель в том, в чем работали в шахте.

Не было часто и обуви, и ее приходилось снимать с выходных рабочих и обувать тех заключенных, которым не в чем было идти в шахту. Отрицательным «производственно-бытовым явлением» назывался невыход на работу по незначительным причинам: «…под видом болезни, хотя болезни никакой нет. Под видом отсутствия обуви, хотя обувь есть»[15].

Так лагерные начальники хотели оправдать бедственное положение заключенных, зависящее от них.

Нерегулярное снабжение мылом приводило к тому, что рабочие не могли помыться, выйдя из шахты. Шахта положенных 0,4 кг мыла рабочим не выдавала. Такая картина наблюдалась на 30-м и 9-м лаготделениях.

На мой взгляд, люди, заключенные в проверочно-фильтрационный лагерь, имели небольшой выбор. Они могли или ударно работать в надежде получить дополнительную пайку, одежду, а соответственно выжить и вернуться домой. Или же они могли сопротивляться, отстаивать свои права, что грозило карцером, переводом на тяжелые работы (допустим, на удаленные от лаготделений шахты, к тому же и затопленные водой). В дальнейшем подобное поведение приводило к дистрофии и неминуемой гибели. Получалось, что выбирать спецконтингенту особенно не приходилось. Так и пополнялись ряды «стахановцев» и «лучших людей».

В инструкции начальника лагеря своим подчиненным даются следующие практические советы: «Промышленные товары, дополнительное питание, водка, дополнительный сухой паек по приказу начальника комбината „Тулауголь“ № 56 в руках умелого руководителя — начальника лаготделения — это рычаги для воспитания людей в духе стахановского труда, для оздоровления контингента и, конечно, в свою очередь для выполнения плана добычи или строительства»[16].

Чем же оборачивалось «оздоровление контингента»?

Обратной стороной мифа о передовиках лагерного труда становились следующие случаи: «Благодаря бесконтрольности и отсутствию порядка стахановцы, получающие вино, напиваются пьяными, устраивают дебоши. В результате — карцер»[17].

В этом же документе (начало 1945 года) сообщается о повальном пьянстве не только среди лагерной «элиты», но и личного состава, который к тому же скупал водку у стахановцев. В лагере процветало воровство и хищения промышленных товаров, продуктов питания.

А история с займами? Из курса «Истории Отечества» я узнал, что Советское государство прибегало к подобному способу выкачивания денег из населения в самые трудные минуты своего существования, например в период индустриализации или Великой Отечественной войны. Все граждане, «разделявшие политику партии и правительства», обязаны были подписаться на государственный займ, в том числе и спецконтингент.

В третьем квартале 1944 года проводилась кампания по сбору средств в фонд помощи детям фронтовиков и подписка на 3-й военный заем, носившая «добровольный» характер: «Все б/военнослужащие (30 лаготделения. — *Н. М.*) отзываются на проводимые партией и правительством мероприятия активным действием и участием. Проводимый сбор денежных средств в фонд помощи детям фронтовиков (до 7000 рублей) показал хорошее идейно-политическое настроение коллектива. Сообщение по радио постановления правительства о выпуске 3-го военного займа было встречено всеобщим одобрением… Подпиской охвачено 100% с/контингента, наличными внесено 12,850 рублей, всего на сумму 47,000 рублей…»[18]

По моему мнению, лишая людей заработанных денег, лагерное начальство окончательно переводило их на положение рабов. Бывали случаи, когда заключенные не желали отдавать свою зарплату и выражали недовольство. Это квалифицировалось как «отрицательные политические проявления».

Так, двое бывших военнослужащих отказались от приобретения билетов четвертой денежно-вещевой лотереи. Один из них заявил: «Ну его (выругался матом), кто выдумал эти лотереи», не взял деньги, хлопнул дверью и вышел вон. Другой «…швырнул на стол все деньги в сумме 596 рублей, выругался матом, вышел из комнаты и хлопнул дверью». После длительной беседы с контрразведчиком оба «дали слово, что не допустят такой ошибки, и тут же после беседы получили зарплату…» После чего приобрели билеты на 50 рублей каждый[19].

Люди, побывавшие на оккупированной территории, как, например, уроженец Курской области Мартынцев, при немцах работавший сторожем склада в лесхозе, говорил так: «При советской власти, когда проводят подписку на заем, то берут за горло. Когда проводят собрание, а ты будешь голосовать против, то тебя сразу заберут в НКВД. При немцах ничего этого не было»[20]. (Мартынцев прибыл в лагерь 12 февраля 1944 года.)

Начальники лагерных отделений рапортовали о «хороших» настроениях обитателей ПФЛ: «политико-моральное состояние спецконтингента в основном хорошее… Некоторые проявляют ненависть к немецкому фашизму, стараются исправить свое темное прошлое производственной работой и вступить снова в ряды Красной Армии»[21].

Но, скорее всего, желание большинства спецконтингента поскорее попасть на фронт объясняется невыносимостью лагерных условий существования, надеждой на то, что на фронте будет полегче.

Однако попадались заключенные с «низким политическим уровнем», которые не хотели на фронт и портили благополучную картину квартальных отчетов: «Политико-моральное состояние среди основной массы спецконтингента здоровое, антисоветских выступлений не было. На общем собрании при обсуждении обращения коллектива з-да им. тов. Сталина с воодушевлением приняли на себе обязательство выполнить план к 27-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции выше на 120%… Но среди лучших есть в лагере люди и отставшие с низким политическим уровнем, высказывают недовольство лагерным режимом, почему они находятся в лагере, такие лагеря они видели у немцев, а почему в СССР имеются такие лагеря и т.д.»[22]

Жизнь в советском лагере в годы войны была настолько тяжела (болезни, вши, голод, клопы, непосильный труд, издевательства вахтеров и комендантов), что бывшие военнослужащие естественно сравнивали ПФЛ с немецким пленом и приходили к выводу, что, во-первых, такие лагеря они встречали у врага, а во-вторых, иногда даже у немцев жилось легче.

Так двое заключенных не выполнили нормы на рытье котлована и «там же в группе других рабочих из спецконтингента заявили: „Нормы не выполнили“, восхваляя фашизм, выражаясь: „У немцев легче было работать за 100 г хлеба, чем в Советском Союзе за 600 г.».

От своих слов во время беседы не отказались, за что получили по 10 суток строгого ареста.

Содержание в ПФЛ № 0308 было бессрочным. Спецконтингент находился в нем «до конца проверки», используясь как дешевая рабочая сила на объектах ГУЛАГа. При этом от заключенных требовали соблюдения воинской дисциплины, как обычных военнослужащих: «…на замечание коменданта Рождественского о необходимости б/военнослужащим приветствовать офицерский состав Явников Иван Яковлевич 1911 года рождения, 4 класса образования заявил: „Почему вы от нас требуете по уставу дисциплину; ведь мы кто такие? Тюремщики! Преступники! Без формы и выправки… какие мы товарищи, разве товарищей водят под штыком? Я больше этим разговорам не верю, уже год, и нас до сих пор не проверили. Разве за этот период нельзя было проверить, а не водить нас как преступников?»[23]

В 19-м лаготделении (из 807 заключенных 735 человек были гражданскими) недовольство проверкой осенью–зимой 1944 года носило массовый характер: «Имели место случаи массового проявления недовольства содержанием в лагере, тем более со стороны спецконтингента содержащегося по году и больше… причем со стороны лиц, занимающих руководящие должности как в шахте, так и в лаготделении…»[24]

В документе говорится, что 63 человека в разговорах не скрывали неудовольствия по поводу сроков нахождения в лагере. В числе их был Владимир Федотович Морозов (беспартийный, из Ленинграда), содержащийся в лагере с апреля 1943 года. В лагере он исполнял обязанности начальника корпуса. 23 октяб-

ря 1944 года, будучи пьяным, разломал нары, а когда его начали успокаивать, заявил: «За что меня мучают в лагере уже два года». Такого рода заявления были и со стороны горных мастеров.

Таким образом, в лагере находилось немало заключенных, которые не скрывали своего недовольства длительной проверкой и изнурительным трудом, но: «С этими людьми принимались надлежащие меры, беседовали и проверялись в течение долгого времени»[25].

Изучая документы, я увидел, как рушатся мифы о Великой Отечественной войне. Например, о том, что все советские люди, включая заключенных ГУЛАГа (в том числе узники проверочно-фильтрационных лагерей), рвались на фронт «добить и уничтожить врага», хотя советская пропаганда старалась заставить бывших военнопленных чувствовать себя виноватыми перед родиной, стремиться искупить свою вину или на каторжных работах, или на фронте: «Латышев Александр Васильевич, 1919 года рождения, уроженец Воронежской области, сержант, 5 классов образования, сказал: „Скоро мы пойдем на мясорубку, уже с Косой Горы 24 л/отд. взяли 200 человек, вот так и нас заберут, переоденут, винтовку в зубы и на фронт, на передовую, в запечатанных вагонах, а там известно, как с „нашим братом“ поступят, заставят штурмовать идти прямо в огонь, а сзади будут контролировать, попробуешь отстать — пулю в лоб получишь!“»[26]

Заключенные боялись снова попасть на передовую в качестве «пушечного мяса», к тому же они не доверяли официальной информации о положении на фронте.

Многие, увидев войну собственными глазами, очень критически оценивали то, что передавало Совинформбюро: «30.05.44 года б/военнослужащий Горбачев Петр во время чтения газеты „Правда“, где была опубликована сводка Совинформбюро о взятии нашими войсками больших трофей, говорил, что это все не правда и наша печать врет и преувеличивает настоящее количество»[27].

Также бывшие солдаты РККА задавались вопросом: что это за война без пленных? Многие из них вспоминали тяжелое начало войны — 1941 год: «Нам разъяснили, что в плен сдаваться нельзя, а надо стреляться, а сами повыдвигались. Генерал армии Малиновский, это я хорошо знаю, под Харьковом в 1941 году около 85 тысяч нашего „брата“ сдал немцам, а сейчас, видишь, командующий армией. А нас дураков сюда собрали и держат за проволокой, сказали бы, в чем мы виноваты…»

На 12-м лаготеделении находились бывшие военнослужащие, побывавшие в плену в Финляндии. Для того чтобы приукрасить картину квартальных отчетов, командование зоны решило использовать для этого настроения этой группы: «По возвращении из финского плена бывшие военнослужащие, полные благодарности Красной Армии, освободившей их от финских издевательств, и полные любви в своей родине, рабоче-крестьянскому правительству. Их патриотический порыв выражается в огромном желании опять вступить в ряды РККА… Подано 217 письменных и устных заявлений от б/военнослужащих с просьбой направить их в ряды РККА.

Доказательством высокого патриотического духа является систематическое стремление спецконтингента к повышению производственного плана…

Доказательством этого является также и то, что после возвращения из плена б/военнослужащие открыто заявляли о тех лицах, кто, будучи в плену, продался финнам, издевался рука об руку с финским командованием лагерей над советскими военнопленными»[28].

Но вместе с тем в документах содержится информация о том, что советских солдат встретили на родине более суровые испытания. Они считали, что над ними издеваются хуже, чем в Финляндии, и стремились объявить забастовку.

Особой идеологической обработке подвергались в ПФЛ № 0308 крымские татары. Они помещались в лаготделении № 12 в селе Бегичево Богородицкого района Тульской области, лаготделениях № 11 и № 25. Использовались жители Крыма в основном на шахтах. Их привезли в Тулу в июне 1944 года, но они не владели шахтерскими навыками, а потому план не выполнялся.

Среди крымских татар росло массовое недовольство, ведь они не имели сведений о местонахождении своих семей. Лагерное начальство, чтобы избежать дальнейших волнений, уверяло заключенных, что непременно уведомит о местонахождении семей, когда появится информация.

Крымские татары считали, что с ними поступили несправедливо: «… имеются неудовольствия со стороны некоторых лиц тем, почему их держат за проволокой и водят на работу под охраной; почему их семья эвакуируется из Крыма; почему их плохо одевают и обувают — они считают, что все это неправильно»[29].

В личных разговорах (август 1944 года) крымские татары приходили к выводу, что советская власть не заботится о них, так как разлучила с семьями. Многие из них не надеялись увидеть после освобождения из лагеря своих жен и детей живыми.

Лагерное начальство приняло меры для успокоения заключенных. Татарам было разъяснено, что «советская власть везде и всюду заботится о советских людях».

Жизнь в ПФЛ заставляла одну часть заключенных подчиняться условиям лагерного существования, других сопротивляться, бороться за свои права. Наиболее активно это делали крымские татары, предпочитая медленной и мучительной смерти в шахте гибель от пули вохровца во время побега. Активное сопротивление оказывали и бывшие красноармейцы.

Основной формой неподчинения лагерному начальству был отказ от работы. Отказывались от работы по разным причинам. Спецконтингент лаготделения № 15 протестовал против выхода на работу потому, что шахта, на которой работали заключенные, была водообильна, а потому часто затопляема. К тому же на ней очень часто случались обвалы.

Бывшие офицеры РККА говорили охранникам, что им на шахте работать не положено и получали за это 10 суток строгого и 5 суток простого ареста. За саботаж в лагере давали 15 суток строгого ареста. 13 апреля 1944 года группа из 56 бывших офицеров за отказ от работы была переведена с лаготделения № 8 на лаготделения № 18. Эту группу изолировали, возможно, для того, чтобы избежать серьезных волнений среди заключенных.

Часто заключенные отказывались от работы потому, что не желали идти под конвоем. Рядовой Сухацкий Василий Васильевич, 1924 года рождения, 16 апреля 1944 года отказался выйти на работу, за что был подвергнут простому аресту на трое суток с исполнением обязанностей и, когда на следующий день направлен на работу, повторил отказ, заявляя, что под конвоем на работу не пойдет, такой же отказ был и со стороны бывшего военнослужащего Лободы Петра Федоровича.

Случались в лагере и побеги. Вот как это происходило: «В январе месяце 1944 года четвертого дня б. военнослужащий Филатов совершил из лагеря побег, 19.I. начальник л/о капитан г/б т. Абрамович откомандировал двух б. военнослужащих на поиски за Филатовым. Последний ими был обнаружен в г. Георгиевске Ставропольского краю. После чего они вместе все втроем отправились в л/о № 30. Но доехав до станции Прохлады Кабардино-Балкарской АССР, Филатов обратно совершил побег, а вместе с ним также совершил побег Шебзухов Али. Вернулся лишь один Дронов И. В. (который был вооружен револьвером). Таким образом, ни Филатов, ни Шебзухов до сих пор не обнаружены»[30].

Победа в Великой Отечественной войне отразилась и на сознании заключенных. Возможно, по этой причине летом–осенью 1945 года из ПФЛ №0308 было совершено 34 побега[31].

ВОХРОВЦЫ

Изучая историю ПФЛ № 0308, я обращал внимание не только на жизнь заключенных, но и быт противоположной стороны — личного состава или иначе охраны. В документах я обнаружил свидетельства, показывающие часто весьма неприглядное лицо охранников, от самых старших до рядовых вахтеров. Среди этих людей попадались негодяи, которым доставляло удовольствие издеваться над заключенными. Таких, правда, было немного.

Выше я уже рассказал о начальнике санитарного отделения лагеря капитане Токаревой, спасавшей заключенных не только от болезней, но и произвола начальников лаготделений. Надеюсь, что документы не обманывают и так было на самом деле.

На 1 января 1945 года военизированная охрана составляла 738 человек, из них: старшего начсостава — 17 человек; среднего — 15; сержантского — 63; рядового — 643 человека[32]. Таким образом, большинство составляли рядовые вохровцы, набиравшиеся из проверенного спецконтингента. Охранников не хватало, потому что эшелоны с заключенными прибывали каждый день, особенно на-

пряженными выдались май и июнь 1944 года: «Для обслуживания с/контингента л/отд. в несении караульной и конвойной службы, соблюдение режима, был подобран вахтерский состав в количестве 58 человек из числа лиц с/контингента, заранее проверенных ОКР „Смерш“ и допущенных к несению караульной службы… Караульная служба обеспечивается в 3 смены»[33].

В военизированную охрану Тульского ПФЛ отбирались люди, не проявляющие антисоветских настроений, испытывавшие «желание отправиться на фронт и добить немецкого зверя в его собственной берлоге». Единственным отрицательным явлением было то, что охранники жаловались на плохое обмундирование, отсутствие различия во внешнем виде между заключенными и вохровцами.

Охранники, даже среднего и высшего звена, были малообразованными: высшее образование было только у одного человека, 30 человек имели среднее образование, а все остальные 700 охранников имели низшее образование.

Возраст охранников ПФЛ № 0308 был разным, однако основную часть — семьсот с лишним человек — представляли люди в возрасте от 21 до 41–50 лет. Очень часто в вахтеры набирали инвалидов, не способных владеть оружием в силу физических недостатков.

Охрану лагеря постоянно идеологически воспитывали.

Перед личным составом 12-го лаготделения (на нем большинство составляли крымские татары) осенью 1944 года ставились фантастические задачи: «Мобилизовать и научить спецконтингент новому виду производительных работ — добыче каменного угля… Распропагандировать спецконтингент, находящийся более двух лет на территории захваченной немецкими оккупантами, привить ему фанатическую ненависть к фашистам и любовь к советской родине»[34].

Однако, несмотря на все усилия командования лагеря, к зиме 1945 года дела с дисциплиной и несением службы обстояли неважно, что проявилось в большом количестве побегов: «Большое количество побегов с/к (42, из них 19 только задержаны) и правонарушений (правонарушений со стороны личного состава 325) говорят о низком уровне состояния воинской дисциплины и службы…»[35].

Руководство лагерных отделений объясняли в отчетах, направляемых в Москву, что лагерь испытывал недостаток в надежном комсоставе, охрана набиралась спешно, из числа спецконтингента, «часто морально разложившегося». Злостные нарушители (охранники) отправили в штрафные роты сроком от одного до трех месяцев (всего 11 человек).

Мне кажется, для работы в охране ПФЛ «смершевцы» специально отбирали молодых, малограмотных, беспартийных, нередко «морально разложившихся», рассчитывая на их рвение и стремление зарекомендовать себя перед начальством. Но получался другой результат: пьянство, побеги заключенных, драки.

Случаи «нарушения воинской дисциплины» также фиксировались в отчетах, например: «1.05.44 вахтер Абдрашников Н. Д. б/п б/военнослужащий сопровождал двух человек спецконтингента на работу в колхоз для ремонта с/хозяйственного инвентаря. Вахтер Абдрашников оставил на работе этих людей, а сам напился водки и утерял наган. После этого он был арестован на 10 суток и снят с работы вахтера»[36].

Но и офицеры также не являлись образцом поведения, так как постоянно пили, занимались мародерством, отнимали вещи у спецконтингента. Общей бедой являлось пьянство, симуляция и невыход на работу, вымогательство денег на выпивку и спецконтингента. Особый случай произошел на 8-м лаготделении, когда капитан Бессонов вынес из зоны лагеря портрет т. Сталина и продал его. Это уже пример того, как офицеры расхищали лагерную собственность. Кстати, летом–осенью 1945 года воровали все и все: промышленные товары, продукты, водку. В лагере процветала подпольная торговля ворованными медикаментами.

Случались и совершенно курьезные случаи. Вот чем обернулась самовольная отлучка и пьянство дежурного коменданта Кирюшова: «Кирюшов Александр Васильевич, 1925 г. рождения, б/п, образование имеет 7 классов, сделал самовольную отлучку (в свободное от дежурства время) в Болохово и там напился до пьяна.

Возвращаясь из Болохова, Кирюшов в л/отделение не мог попасть, а с дороги вернулся обратно в Болохово и, зайдя в дом к незнакомым совершенно гражданам, лег на полу и уснул. Хозяева дома заявили в милицию, и в результате при проверке у него был изъят револьвер (револьвер затем был нам возвращен)»[37].

Встречались и случаи группового пьянства. Два офицера — лейтенант Ярошенко и капитан Воробьев — пошли гулять в ближайшую деревню в свой выходной день. Там они напились, возвращались поодиночке. Двое неизвестных встретили Ярошенко, избили, отняли пистолет. И это июнь 1944 года.

О лагерной охране можно говорить много, но самой яркой характеристикой тех, кто охранял ПФЛ № 0308, являются слова советского солдата, повидавшего финский плен: «Здесь издеваются хуже…»

В 1946 году Проверочно-фильтрационный лагерь № 0308, находящийся на территории Тульского края, перестал существовать. Немногим позже исчезли и остальные такие же лагеря, разбросанные по всей нашей стране.

Моя работа посвящена людям, оказавшимся в самом бесправном положении в 1941–1945 годах, потому что государство сделало их изменниками и потенциальными врагами, пытаясь переложить вину за поражения и колоссальные потери в войне на плечи советских граждан. Героев моей работы объединяет одна судьба, которая привела их в концентрационный лагерь на Тульской земле.

В моей работе соединились политические репрессии и война, потому что две эти линии постоянно переплетались в истории нашего общества, семей, судьбах людей.

Примечания

[1] ГАТО. Ф. Р-1368. Оп. 3. Д. 5. Л. 1
(далее ссылки приводятся
без указания названия архива и номера фонда).
[2] Оп. 3. Д. 4. Л. 9.
[3] Оп. 3. Д. 1. Л. 25
[4] Там же. Л. 27.
[5] Оп. 3. Д. 8. Л. 2.
[6] Оп. 3. Д. 4. Л. 13.
[7] Оп. 3. Д. 4. Л. 46.
[8] Оп. 3. Д. 7.
[9] Оп. 3. Д .3. Л. 11–11 об.
[10] Оп. 3. Д. 10. Л. 1.
[11] Оп. 3. Д. 9. Л. 1.
[12] Оп. 3. Д. 11. Л. 3.
[13] Там же. Л. 82.
[14] Там же. Л. 34, 34 об.
[15] Там же. Л. 45.
[16] Оп. 3. Д. 12. Л. 1.
[17] Оп. 3. Д. 11. Л. 8 об.
[18] Там же. Л. 123.
[19] Оп. 3. Д. 9. Л. 17.
[20] Там же.
[21] Там же.
[22] Там же. Л. 2 об.
[23] Там же.
[24] Оп. 3. Д. 11. Л. 126.
[25] Там же.
[26] Оп. 3. Д. 10. Л. 1 об.
[27] Там же.
[28] Оп. 3. Д. 11. Л. 141 об.
[29] Оп. 3. Д. 9. Л. 87.
[30] Оп. 3. Д. 11. Л. 4–4 об.
[31] Оп. 3. Д. 15. Л. 30.
[32] Оп. 3. Д. 10. Л. 51.
[33] Там же. Л. 2.
[34] Там же. Л. 50.
[35] Там же. Л. 51 об.
[36] Оп. 3. Д. 11. Л. 7 об.
[37] Там же. Л. 30.

Звено ГУЛАГа
Из истории Ярегских нефтешахт (1941–1945)

Валерия Ветошкина, Анастасия Ишимова, Максим Сварник
Республика Коми, г. Ухта, п. Ярега, 11-й, 9-й и 11-й классы
Научный руководитель Е. А. Долонина

Мы живем на Яреге с рождения. Многое знаем о шахте, о людях, об улицах маленькой Родины. Мы знаем, что наш поселок известен не только в России благодаря основному богатству — тяжелой нефти. Добыча тяжелой нефти — работа непростая. Особенно сложно было тем, кто появился здесь первым.

Раньше, говоря о шахтах, восхваляли ударный труд (а он был действительно ударным) людей, приехавших сюда по зову сердца. И только с началом перестроечного процесса, когда стали доступны многие закрытые в архивах документы, к истории Яреги добавились страницы, напрямую связанные с историей ГУЛАГа.

История Яреги похожа на истории других населенных пунктов, возникших как звено ГУЛАГа. Вначале здесь создавался лагерь, к которому пристраивались дома вольнонаемных. Сам лагерь возник как промысел по добыче нефти. Осваивать и начинать добычу тяжелой нефти пришлось самым бесправным, согласия у которых никто и не спрашивал: заключенным. Их трудом, их руками строились шахты и поселок. Результатом этой работы стало создание мощной сырьевой базы на территории республики. В 1939 году шахта № 1 дала первую нефть, а в 1941 году было добыто 25 тысяч тонн, в 1944 году — 101 тысяча тонн, в 1945 году — 143 тысячи тонн. В 1942 году началось строительство шахт № 2 и № 3. Из 550 тысяч тонн нефти, добытой в республике за годы войны, 400 тысяч тонн дала первая в стране нефтяная шахта.

Главным источником для написания данной работы стали книги приказов начальников шахт по личному составу за 1939, 1941–1955 годы. Эти книги до сих пор не использовались в исследованиях по истории поселка. Они находятся в архиве нефтешахт.

Книги приказов позволяют восстановить жизнь ОЛПа (отдельный лагерный пункт) с 1939 года.

ЖИЗНЬ НА ОЛПЕ

В 1939 году здесь уже было несколько нефтедобывающих колонн, строительная колонна, автотранспортная колонна, колонна горняков-шахтостроителей, механическая группа, электрогруппа, конюшни гужевого транспорта[1]. Непосредственно на ОЛПе-4 кроме производственных помещений имелись: телефонная станция, радиоузел, санчасть, магазин, столовая и клуб для вольнонаемных. Жили в палатках и бараках. Количество палаток нам установить не удалось, но их существование подтверждают несколько приказов. В 1941 году имелось 40 ба-

раков (на 200 человек каждый) и так называемый режимный барак. Были построены бетонитовый и кирпичный заводы, имелась своя электроподстанция.

В достигнутых успехах велика доля заключенных, помышлявших не об орденах, а только о том, как бы выжить. Заключенные сами создавали все необходимое для жизни и работы. Даже колючую проволоку вокруг зоны натягивали сами.

Несмотря на постоянное пополнение контингента лагеря, в рабочих руках была большая нужда. Тем более что в начале смертность, по-видимому, была высокой.

Мы, правда, не обнаружили данных о количестве выбывающих по состоянию здоровья или в связи со смертью. Только в двух приказах за 1941 год мы нашли данные о том, что люди умирали. Один приказ назначает наказание за несвоевременное вскрытие трупа, другой — за 10-дневную задержку с погребением трупа. И все. Ни размеров кладбищ, ни точного места их нахождения нам установить не удалось. Именно в начале строительства лагеря возникли пять кладбищ для захоронения заключенных. И это притом, что по сравнению с другими лагерями ОЛП № 4 имел более мягкий режим. Со временем кладбища росли. «Беда в том, что там даже могилок не сохранено. Ямки, в основном в грунте, не копались. Разрывали мох и сантиметров на 30–50 глубиной откапывали яму и прятали трупы, иногда в ящике, кое-как сколоченном из горбыля, а иногда в нательном грязном лагерном белье с биркой вокруг большого пальца левой ноги. Проходил месяц, два. Осадки и ветер осаживали могилку, и зачастую ноги торчали изо мха. А через 2–3 года черепа иногда висели на усохшем ельнике», — вспоминал бывший заключенный Ляпкало И. К.

На месте этих скорбных мест теперь распаханные поля прежнего совхоза и дачи. Но примерные их местоположения мы попытались обозначить на карте, используя для этого письменные воспоминания бывшего заключенного.

Говоря о смертности среди заключенных, мы опираемся также на устные воспоминания живущей и сейчас бывшей сотрудницы цензорской службы лагеря. Она считает, что умирали заключенные в основном от истощения: «Кормили плохо: овсянка, суп-баланда».

Умирали еще от полученных на производстве травм: «Однажды при постройке коровника кто-то уронил с крыши на голову стоящего внизу заключенного лом. Я сообщила об этом родным, те чуть не завели судебное дело. Начальство меня наказало и предупредило, что официально заключенные могут умереть только от болезни. Да и вообще, сообщать о смерти заключенных родным не следует, ведь они никому не нужны. Хоронили сами заключенные, причем постоянной похоронной команды не было. Это были просто разовые поручения. Исполнители всегда торопились, поэтому не копали могилы глубоко, а просто разрывали мох. На могиле ставился деревянный колышек с номером, но уже через год и следа от него было не найти». Еще в 50-е годы жители поселка могли четко указать места захоронений. Родители строго наказывали детям не ходить туда, где на бугорках растут маленькие елочки. Одно из кладбищ находилось рядом с доро-

гой на Ухту. Сейчас на этом месте стоит «домик газовой службы». Бывший узник ГУЛАГа Ляпкало, уехавший отсюда в 70-е годы, предложил увековечить память погибших памятными знаками в виде черных крестов высотой 4–5 метров, сваренных из металлических труб и установленных вдоль Ухтинского тракта с надписью: «Здесь покоится прах безвинных замученных лагпункта № 9, 31-й буровой, 3-го промысла, Крохаля, Пионера…»

Почему мы обратились к столь печальному моменту? Потому что считаем, что не было необходимости идти на такие жертвы ради каких-то шахт. Хотя понимаем, что установившийся тогда в стране тоталитарный режим оправдывал любые жертвы.

Исследуя бытовые условия заключенных, начнем с жилья. Первые заключенные жили в палатках. Затем основным видом жилья в лагере стали каркасно-засыпные сборно-щитовые бараки. Тепло они не хранили. Чтобы зимой морозы не добивали слабеющих заключенных, бараки утепляли и штукатурили. Но делали это крайне медленно. В 1941 году имелось 32 барака, рассчитанных максимум на 200 человек каждый. Бараки оснащали двух- и трехэтажными нарами, печью-буржуйкой. Отопления в бараках не было. В 1946 году политических заключенных перевели в отдельные бараки. Также существовал барак усиленного режима (БУР).

Дров не хватало. В одном из приказов читаем: «Заключенным организовать самозаготовку дров для отопления бараков» (приказ № 11 от 8 января 1941 года). Поначалу остро ощущалась нехватка питьевой воды. Ее выдавали по норме. Также не хватало электроэнергии, строительных материалов. Вводился режим экономии, обязательный для исполнения как вольнонаемным, так и заключенным. Призывали, даже заставляли, экономно расходовать топливо, пар, электроэнергию.

Чтобы обеспечить шахты здоровыми и крепкими работниками, должна была существовать налаженная система питания. Но, судя по ряду приказов, ее не было, хотя начальники шахт старались принимать меры по улучшению порядка питания: до 1941 года составлялись ежедневные сведения для довольствия, после — декадные списки, причем довольствие производилось в соответствии со средней выработкой производственных норм за предыдущую декаду.

Талоны на питание делились на 1-й котел, 2-й котел, талоны для слабкоманды. При перевыполнении плана на 180% заключенные зачисляли на получение премиального блюда. По воспоминаниям Г. М. Соболевского, сильно истощенных заключенных направляли в лагерный санаторий — слабкоманду. Жили они в оштукатуренном бараке, относительно теплом. Хлеба давали здесь на 300 граммов больше, еда была получше. Спали на сенниках, имели простыни, подушки, одеяла. Попасть в слабкоманду было очень трудно. Там было всего пятьдесят мест. Определяли туда на целых два месяца, и многим это спасало жизнь. Тот, кто был ослаблен и не мог выработать норму, питался очень скудно, не мог восстановить силы и погибал, так как даже за свои деньги не имел права

купить хлеб. В марте 1941 года были установлены нормы выдачи хлебного пайка в соответствии с процентом выработки от 600 г до 900 г (плюс 300 г можно было купить за наличный расчет, если выполнил выше 125%). По нормам выдавался и сахар. Продукты можно было получать посылками из дома. Но до многих посылка могла не дойти — она доставалась уголовникам раньше хозяев.

По воспоминаниям Г. М. Соболевского, кормили заключенных два раза в день: на завтрак давали суп, на обед — суп и ложку овсяной каши. Из иван-чая в столовой варили борщ. Основу супа также составляли: немного картофеля, капуста, различные крупы (в основном овес), турнепс, репа. В военное время для обеспечения лагерного населения продовольствием на зиму был создан лагпункт Синдор, задачей которого была заготовка сена, ягод, грибов, выращивание картофеля. Все заготовленное на месте сушилось, замачивалось в изготовляемых там же огромных бочках.

В рацион питания входили ягоды и грибы, которые в обязательном порядке собирали сами заключенные. Существовали штатные охотники и рыболовы, которые занимались ловлей рыбы и охотой. Добыча должна была пополнять рацион заключенных, но, скорее всего, оказывалась на столе лагерного начальства или охраны.

В годы войны изменились нормы питания для заключенных. Обед в основном состоял из гороховой похлебки. Дополнительно за перевыполнение нормы выдавалась пачка махорки. В 1944 году нормы выдачи хлеба увеличились до 600 г за выполнение 80–90% работы, 800 г за выполнение 90–125% работы. В 1941 году начальники отмечали, что качество приготовляемой для заключенных пищи было низким, совершенно отсутствовали овощи, хвойный настой не выдавался.

Врач, фельдшер, санитары, среди которых были поначалу только заключенные, как могли боролись не только с болезнями, но и с антисанитарией в лагере. Бараки кишели клопами. Вшивость была распространенной бедой, с которой боролись, проводя санобработку трижды в месяц. Боясь эпидемий, начальство приказывало делать прививки всему лагнаселению от брюшного тифа, паратифа, туляремии. Культоргам колонии вменялось в обязанность проводить разъяснительную работу о целях и значении прививок. Для борьбы с цингой выдавался противоцинготный паек, а санитары готовили специальный противоцинготный напиток. Мы нашли приказ о награждении рационализатора, предложившего специальные вальцы для раздавливания хвои для приготовления противоцинготного настоя, премией в 250 рублей (приказ № 275 от 4 июня 1941 года). Для поддержания чистоты в лагере в 1944 году создаются санитарные тройки с функциями борьбы за санитарию и гигиену.

В лагере было полно крыс. Многие из них были величиной с кошку. Были случаи, когда заключенные ловили их и ели, из-за чего и разгорались эпидемии.

Судя по приказам, у заключенных на руках имелись некоторые денежные суммы. На деньги играли в карты. Карточная игра была запрещена начальством,

деньги в случае разоблачения изымались в пользу государства. Карты изготавливались из любого материала, даже из похищенных из библиотеки книг. Приказы по наказанию за игру в карты встречаются часто. Наказания были разными: арест от одного до десяти суток с выводом на работу или без, выговоры отказчикам на производстве, перевод на общие работы, постановка на вид с удержанием из премиального вознаграждения (премиальное вознаграждение — это премия за переработку и экономию времени и материалов, оно зависело от нормы выработки заключенного). Практиковали денежные штрафы, лишение премиального вознаграждения и ларьковых продуктов за различные нарушения, в основном за мелкий материальный ущерб.

Случалось, заключенные подогревали себя спиртным, дрались. Бывало, драки заканчивались смертью. Такое времяпрепровождение встречается в основном у заключенных уголовников. Кражи, грабежи, хулиганства, драки были так часты, что начальство создало на ОЛП № 4 свой БУР (барак усиленного режима). Была и штрафная зона.

Политические, спецпоселенцы, трудармейцы находили себе более достойные занятия. Почти все оканчивали профессиональные курсы, некоторые обучались в горно-нефтяном техникуме. Польза от этого была очевидная. Помимо получения профессии за успешное окончание курсов выдавали премвознаграждение, бушлат или телогрейку первого срока. Отличникам учебы дополнительно давали 20–30 рублей премии.

Зачастую свободное время заключенных загружалось лагерным начальством. За летнее время каждый заключенный должен был собрать 15 кг грибов, 10 кг ягод. Причем людей, не сдавших указанное, рассматривали как нарушителей труддисциплины. Отдыхом считалась и работа по посадке картофеля, заготовке силоса из дикорастущих трав и веток. Не подчинявшихся приказам наказывали арестом. Странным показался нам июньский приказ 1946 года об отлове амбарных крыс и сдаче их высушенных шкурок в каптерку. Для чего нужны были эти шкурки?

Из приказов можно увидеть, что на ОЛПе активно велась культурно-массовая работа. По праздникам участники художественной самодеятельности показывали в лагерном и поселковом клубах концерты, спектакли. Популярными были пьесы Островского. В 1941 году при КВЧ работал джаз-оркестр, участников которого премировали деньгами (от 10 до 30 рублей) и одеждой. В лагере имелась библиотека, книги можно было брать в барак под запись. По воспоминаниям, много читали политические. Судя по ряду приказов, в лагере иногда показывали кино. Стараясь не пропустить зрелище, некоторые заключенные убегали с работы, за что получали до трех суток ареста.

Как складывались взаимоотношения между заключенными? Было всякое: драки, хулиганство в бараках и на работе — явления привычные для лагеря. Встречались случаи злоупотребления служебным положением заключенных, занимавших ответственные посты. Коменданты из заключенных, «нарушая революционную законность», избивали заключенных, обирали их, покрывали

хулиганов и злостных отказчиков от работы, создавали благоприятные условия для уголовников.

Нередко обманывали хлеборезы, недовешивая хлеб, выдавая его мокрым. Жаловались на поваров, «не докладывающих блюдо», ворующих продукты. Заключенные часто жаловались на воровство. Крали в лагере все: и вещи, и продукты, и предметы быта. Ворованное перебрасывали за зону. Получали за это деньги и продукты. Крали в бараках, производственных помещениях, столовой, клубе, даже в конторе. Объяснялось это ослабленным надзором.

Относительно благополучными были отношения между политическими. Контакты между заключенными и вольнонаемными запрещались категорически. Работали вместе, в одной бригаде, и вольнонаемные и заключенные, но после работы их пути расходились. За связь с заключенными сурово наказывали. Вольных женщин, вступивших в связь с заключенными, высылали за пределы промысла в 24 часа. Для вольнонаемных мужчин причиной наказания могли быть сделки по покупке у заключенных вещей, совместное распитие спиртного, связь с заключенной женщиной. Но в этих случаях наказания были мягче, в основном ограничивались предупреждением.

Случались побеги, вернее, попытки к побегу. Беглецов отлавливали, отличившихся при поимке награждали. В приказе от 23 мая 1941 года читаем: «За проявленную инициативу по предотвращению группового побега з/к Семину объявить благодарность с занесением в личное дело». Там же: «Дежурному коменданту з/к Аксенову за оказание помощи ВОХР при обнаружении и задержании беглеца объявить благодарность и премировать 15 рублями». Беглецов ждала режимная зона или барак, а материал на них передавался в ОЧО для привлечения к уголовной ответственности.

Лагерный контингент неоднократно менялся. Среди заключенных появлялись поляки, корейцы, немки. Здесь также отбывали срок азербайджанцы, армяне, грузины, турки, татары, удмурты, мордва, украинцы, белорусы, молдаване, евреи, финны. Они старались держаться в лагере своими национальными группами.

Условия жизни вольнонаемных были тоже очень суровыми. По воспоминаниям Анны Дымовой, одной из первых комсомолок, прибывшей на шахту 16 августа 1939 года, кругом шумела тайга, поблескивало болото. Машина 10 часов ехала от Ухты до ОЛПа, то и дело вязла. Сам поселок состоял из семи небольших домов-общежитий. Вновь прибывшим выдавали сапоги, спецовку. Благоустройством поселка занимались сами. Отопления в бараках не было, дров не хватало, поэтому было приказано организовать самозаготовку дров для отопления бараков. Остро ощущалась нехватка чистой воды, электроэнергии, многих строительных материалов. Вводился режим жесткой экономии, обязательный для исполнения как вольнонаемными, так и заключенными.

В 1939 году Коми обком комсомола принимает решение о направлении на Ярегу 50 юношей и девушек. Воспоминания тех, кто был первыми, свидетельствуют

о том, что отбор среди молодежи в коми селах был очень строгий, от деревни по два человека. Поселили недалеко от шахты в бараке-общежитии по пять человек в комнате. Через две недели обучения на специальных курсах отправили на работу в шахту. Бригада состояла из 11 человек, таких же молодых ребят. Работали вместе с заключенными, про которых уже тогда знали, что они без вины виноватые, поэтому относились к ним хорошо. Было много поляков. Все работы велись вручную. Даже вагонетки с породой катили вручную. Зарабатывали сдельно. Выполняли по 180% плана, поэтому получали 360 рублей. Однажды, поднявшись из шахты после ночной смены, узнали, что по радио выступал Молотов и объявил о нападении Германии на СССР. В сентябре вся бригада ушла на фронт. Вернется на Ярегу только один.

В годы Великой Отечественной войны увеличилась продолжительность рабочего дня для заключенных до 12 часов с одним или двумя выходными в месяц для тех, кто работал на поверхности, на всех подземных работах вводился 8-часовой рабочий день без выходных. В 1941 году положение с одеждой у заключенных настолько ухудшилось, что было разрешено выписывать из дома личные вещи, возвращались хозяевам изъятые ранее вещи, хранившиеся в кладовых. Зимой в целях предупреждения обморожений среди заключенных был составлен следующий порядок вывода на работы: в морозные дни запретить вывод при –35 градусах при отсутствии ветра, при –30 градусах при умеренном ветре, при –20 градусах при сильном ветре. «Не вывод» на наружные работы производили за счет ближайших выходных или организовывали внутренние работы в лагере. Простои в работе не допускались.

От ослабленных, чей труд не мог быть использован, избавлялись, переправляя на дальние командировки. В приказе от 18 декабря 1941 года читаем: «Люди слабкоманды были направлены на командировку Ыджид без уведомления хозчасти и без проверки вещевого довольствия совершенно разутыми и в сожженных бушлатах». И это в декабре! Судьбу этих людей предсказать нетрудно.

Положение заключенных в военное время стало тяжелым, поэтому все чаще предпринимаются попытки побегов как индивидуальных, так и групповых, причем случались побеги с использованием автотранспорта. За побеги и подготовку к ним наказывали арестом от 5 до 10 суток с выводом на работу и последующим направлением в режимный барак командировки Ыджид. Кроме активных форм сопротивления заключенные допускали членовредительство, за что наказывались десятью сутками ареста с выводом на работу, а после водворялись в штрафную зону на два месяца.

Что касается труда вольнонаемных, то приказ № 450 от 31 октября 1941 года объясняет многое. В нем говорится о том, что в целях нормальной работы матерей-производственниц работа детских яслей будет продолжаться с 7 утра до 12 часов ночи. Дети под присмотром, матери могут трудиться хоть круглосуточно. Вся жизнь должна была быть отдана производству. В сентябре 1943 года разрешен прием на работу 16–17-летних.

О жизни вольнонаемных мы узнали не только из книг приказов. Помогли и письменные воспоминания Кошкиной А. А. Еще мы встретились и побеседовали с двумя женщинами — старожилами поселка. Одна — Юлия Федоровна Рочева (Мазова), 1925 года рождения, прибыла на Ярегу осенью 1941 года после окончания ФЗУ в Ухте и работала слесарем в ремонтно-механической мастерской. Работать было тяжело, рабочий день — 10 часов — выматывал таких, как она, 16-летних девчонок. Очень хотелось спать, некоторые девочки засыпали на ходу. Попадая из дома в непривычные условия общежития, на тяжелую работу, на небольшой паек, некоторые девочки не выдерживали и убегали с Ярег и. Одну из подружек Рочевой, Марусю Голубеву, убежавшую с шахты, разыскали, вернули, судили. Она получила семь месяцев тюрьмы, отсидев, снова пришла работать на шахту. Такие случаи были не единичными. Беглецов из вольнонаемных приравнивали к дезертирам. Работали вместе с заключенными, которых на работу приводили из зоны по специальному охраняемому коридору. К слову, будущий муж Рочевой тоже отбывал срок. Получил его в армии вместе с командиром. Дали 11 лет, потом пересмотрели дело и снизили срок до 7 лет, которые он отсидел полностью.

История второй женщины иная. Зинаида Иосифовна Ковальская, 1920 года рождения, прибыла на Ярегу вслед за мужем. История мужа обычна для того времени. Служил в охране Кремля, был осужден на 1,5 года, отбыл срок и уехал работать на север, в Княжпогост, где женился, а оттуда на Ярегу. В мае 1943 года мужа призвали в армию. В июне 1943 года у Ковальской родился сын. Ни отец ни сын никогда не увидят друг друга, отец погибнет через шесть месяцев после призыва. Зинаида Иосифовна осталась с мамой и младенцем. Недолго работала цензором в зоне. Ей приходилось выписывать судебные направления за опоздания на работу. Она возмущалась, что за пятиминутное опоздание отдавали под суд. Таких не сажали в тюрьму, а в течение 1–6 месяцев высчитывали из зарплаты определенную сумму. Она утверждает, что уголовников в зоне было мало, в основном — 58-я статья, все очень хорошие люди — политические. Заключенные мало отличались от вольных, ходили в своей одежде. Но их всегда сопровождал какой-то особый лагерный запах. Вспоминает она одного из заключенных, художника, который всегда был голоден и поэтому постоянно рылся в поселковых помойках, был очень изможден и худ. Мы нашли в книге приказов один приказ от 6 ноября 1946 года, в котором указывалось, что за расхищение красок, выданных на культнужды, художника заключенного Данильчика Ивана Яковлевича водворить в изолятор на 10 суток. Может, это и есть тот самый заключенный? Осталось еще одно страшное воспоминание — о мобилизованных в трудармию немках Поволжья. Когда их привезли, смотреть на них было ужасно, всем выдали оранжевые чулки и белые телогрейки. Выглядели они так, что сердце разрывалось. Однажды Зинаида Иосифовна везла сына в коляске (коляска была самодельная, деревянная, громыхала на ямках) мимо немок. Те, увидев малыша, заплакали, очевидно вспомнив о своих, с которыми их разлучили. После рождения сына она начала работать в школе, жили они в бараке, занимая одну комнату. Вместе с ними проживали в бараке еще восемь семей. Семья считалась красноармейской. Но никакой заботы со стороны начальства не было, несмотря на обнаруженный нами приказ № 138 от 29 марта 1943 года. По это-

му приказу все население поселка, начальство, а также работники пошивочной и обувной мастерских должны были оказывать всемерную помощь семьям красноармейцев. Однако оказывать помощь, судя по воспоминаниям, не торопились. На наш вопрос Зинаиде Иосифовне, чем помогли ее семье, мы получили такой ответ: «Однажды получили миску семенной картошки, мелкой-премелкой. Да еще дали приданое после рождения сына — 20 метров простой ткани черного цвета. Особенно плохо было с молоком. В магазин передавали 1,5 литра молока в день. Кто успевал купить, был счастливчиком».

Бытовые условия вольнонаемных были немногим лучше, чем у заключенных. В 1941 году во время проверки капитаном госбезопасности товарищем Здунисом отмечалось: «Общежития в/н состава содержатся грязно, рабочие и служащие, живущие в общежитиях, не соблюдают элементарных санитарных правил, в столовой в/н состава грязно». В общежитиях было много клопов. И такие заключения не единичны. Спутниками жизни были вши. Для борьбы со вшивостью требовали организации санитарной обработки (три раза в месяц) и поголовной стрижки всех волосистых частей тела как у заключенных, так и у вольнонаемных. Для заключенных был составлен график пропуска через баню, которую обеспечивали оборотным бельем и мылом. При КВЧ была создана в 1943 году санитарно-бытовая секция для проведения систематической работы по санитарно-гигиенической профилактике. Эта секция проводила регулярные ударники по уборке территории промплощадки и лагпункта. На ударники выходили все незанятые в данный момент вольнонаемные, заключенные, мобилизованные немки. Невыход на ударник приравнивался к невыходу на работу.

Чистую питьевую воду вольнонаемные получали по талонам и за деньги. Стоило ведро очищенной воды девять копеек. Банные дни были обязательными для всех, мылись побригадно по графику. Для заключенных отказ от бани мог стать причиной для наказания в виде водворения в штрафную зону на две недели.

Среди ушедших на фронт было немало заключенных, получивших свободу сразу после начала войны. Новые рабочие и инженерные кадры прибывали по направлению НКВД. Их труд, как и по всей стране, отождествлялся со службой в армии, требования к нему становились более строгими. Возрастной ценз для устройства на работу был снижен до 16 лет на ряд профессий при условии прохождения медосмотра и сдачи технического экзамена.

За годы войны несколько раз менялся лагерный контингент. Прослеживается взаимосвязь с событиями на западе и востоке страны. Среди заключенных появлялись поляки (их было немного, а в августе 1941 года по амнистии некоторые выехали за пределы нашей республики как добровольцы формирующейся на территории СССР Польской освободительной армии), китайцы, корейцы, жители Харбина (около 30 человек), мобилизованные немки, собранные в колонну. Немки прибывают на ОЛП № 4 в начале 1943 года. Затем поступает еще партия. Их надо было разместить, поставить на довольствие. Но жилье оказалось не подготовлено, печи не завезены, стекла в окнах не установлены, не оборудованы места для сна и туалеты. Плохо была продумана

организация питания. Все это могло вызвать недовольство, начальство этого опасалось. Но напуганные немки были согласны на любые условия и никогда не роптали. Всего работающих на шахте немок было около 150 человек. Точных данных нам найти не удалось. В приказах 1943 года часто встречаются фамилии Кан, Ким, Ли, Мун, Нам, Пак, Тен, Цой, Юн. В июне 1943 года на нефтешахту № 1 будут переданы вместе с учетными книжками 105 трудармейцев корейцев или китайцев. В приказах о поощрениях за добросовестный труд чаще других встречались именно они.

Интересно, что в 1946 году в числе прочих группа мобилизованных немок была награждена премиями за хорошие производственные показатели и активное участие в общественных мероприятиях в честь 8 Марта. Причем в приказе говорится об ударном труде женщин в годы войны, когда они, «не покладая рук, ковали победу над врагом». Странно, ведь в годы войны к ним относились почти как к врагам. Спустя год после войны оценили их заслуги, но свободу не вернули. Только в 1947 году получат они желанную свободу в связи с демобилизацией с мест переселения. Мобилизованные немки были первыми, кто получил возможность в 1944 году поправить ослабленное здоровье в оздоровительной команде и в оздоровительном пункте. После них начальство разрешило зачислять туда и заключенных на 15 суток в качестве награды за высокие показатели на производстве, соблюдение лагерного режима и примерное поведение в быту.

Мы попытались выяснить, по каким статьям получали срок заключенные, опираясь на данные приказов по ОЛП № 2 (нефтешахта № 3). 58-я статья встречается чаще остальных, иногда как самостоятельная, иногда с дополнением другими статьями. Части 58-й статьи встречены почти все. 58-1 «а» (измена Родине, средний срок — 10 лет); 58-1 «б» (измена Родине военнослужащим, средний срок — 15 лет); 58-2-11 (участие в антисоветском заговоре, 10 лет, участник антисоветской группировки или организации, 15 лет); 58-2-5-9 (политический бандитизм, повстанцы); 58-6 (шпионаж, 10 лет); 58-7 (вредительство, 15 лет); 58-8 (терроризм, 9 лет); 58-10 (антисоветская агитация, 10 лет); 58-12, 1 «в» (член семьи изменника Родины, 10 лет); 58-14 (контрреволюционный саботаж, отказчик, членовредитель, беглец, 10 лет); 58-19 (10 лет). Рядом со многими фамилиями стоит аббревиатура: КРТД, СВЭ, КРД, СОЭ, СОЗ, АСА, КРА. Несколько раз встречены такие записи: «помощь немецким захватчикам» (8 лет), «изменническое поведение в оккупации» (5 лет). Присутствуют сроки, полученные по указам: 7.8.1932 (расхищение собственности); 4.6.1947 (об усилении охраны личной собственности граждан, за хищение государственного и общественного имущества); 10.8.1940 (хулиганство); 26.11.1948 (побег из мест обязательного поселения, самовольный выезд); 26.6.1940 (прогулы, самовольный уход с предприятий и учреждений). В приказах указывались не только статьи, но также начало срока и конец срока. По этим данным нам удалось установить, что большая часть шахтеров из заключенных на момент их работы в шахте не отбыла еще половины срока, то есть была удобна для обучения и продолжительного использования в качестве рабочей силы. Тем более что возраст большинства заключенных был от 20 до 40 лет. Редко встречался возраст 18 лет или за 50 лет.

За годы войны трудовой фонд Ухткомбината претерпел изменения не только количественные, но и качественные. В 1945 году он насчитывал 30 001 человек. Из них 11 084 заключенных (37%), 8198 вольнонаемных (27,3%), то есть заключенные не составляли уже абсолютного большинства, как в других лагерях Коми АССР[2]. Хотя еще в феврале 1945 года заключенных было больше. Можно сделать вывод о том, что состав рабочих шахт стал изменяться к концу 1945 года, то есть после победы, когда стали поступать демобилизованные солдаты. Заметно стало преобладание вольнонаемных работников и на шахтах с 1946 года.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА СТРОИТЕЛЕЙ И ШАХТЕРОВ НЕФТЕШАХТ

При написании этой главы особенно важными были книги регистрации несчастных случаев, отчеты об авариях на шахтах. Эти материалы долгое время были секретными, с их содержанием не знакомили даже родственников погибших шахтеров. Анализируя документы, мы пришли к выводу, что ОЛП-4 не был простым лагерем. Его назначение — строительство и эксплуатация важного промышленного объекта — нефтешахт. Это не канал и не простой лесоповал, для работы на которых была важна не квалификация, а физическое здоровье.

В начале строительства людские силы не берегли, так как работа была простая, да и пополнения долго ждать не приходилось. Постепенно, обучив людей, к кадрам стали относиться бережнее, стремились повышать их квалификацию, создавая условия для более продуктивного труда. Но потребности времени заставляли начальников одновременно с этим экономить на технике безопасности. Складывалась ситуация абсурда. Ради быстрых результатов не жалели никого и ничего. Сначала начальство получало выговор за промедление в работе и отстранялось от должности, затем, забывая, что людей надо беречь, оказывало давление и заставляло работать быстрее, несмотря на потери. Результатом такого рывка было выполнение или перевыполнение плана и как следствие — награждение начальства правительственными орденами и медалями.

К 1941 году на строительстве шахты работали специалисты, подготовленные из «лагнаселения». Такие специалисты пригодились особенно в военное время, когда вольнонаемные стали уходить на фронт. Текучесть кадров достигла максимума в 1942 году. В 1943 году на производство стали набирать с 17 лет, ставя в качестве условий физическое здоровье и знание правил техники безопасности. Сроки курсов сокращались до 1–2 недель. Проверка знаний по технике безопасности становилась формальной. Главным для руководителей в это время было добыть как можно больше нефти. Отсюда и большое количество случаев нарушения техники безопасности, травматизм, смертность на рабочем месте.

В книгах регистрации несчастных случаев зафиксированы самые разнообразные травмы: травмы головы, конечностей, грудной клетки, внутренних органов. Зафиксированы следующие виды травм: ушибы и переломы конечностей, раны лица, ран глаз, ушибы спины, переломы ключиц, ушибы головы, травматическая ампутация пальцев или ногтевых фаланг.

Большая часть травм определялась как легкие, хотя, читая акты о несчастных случаях и расследования производственного травматизма, приходишь к выводу о серьезности «легких» травм. Подсчитав количество травм, можно сделать вывод, что случаев травматизма было больше среди заключенных.

Травмы чаще получали во время работы под землей, чем на поверхности. Если верить документам, 40% случаев травматизма происходило по вине пострадавшего, в 30% — по вине других, в 30% были виноваты обе стороны. Кто-то пострадал во время взрывных работ, кто-то попал под вагонетку. Получали травмы во время подъема или спуска в шахту, при неправильном обращении с орудиями труда, при падении кусков породы, перемещении тяжестей. На каждую травму составлялся акт о несчастном случае, связанном с производством. Хотя и здесь были недостатки, что отмечалось в ряде приказов. Особенно много нарушений выделено нами в 1941 году. Отмечалось: несвоевременная информация о произошедшей аварии, растянутое на 5–10 суток и небрежное оформление материалов и актов расследования. Формулировки лаконичны и не вскрывают в полной мере обстоятельств, причины и виновников аварии.

Полученные травмы отрывали от работы на разное время, в среднем на лечение отводилось от 4 до 52 дней. Пострадавших определяли на лечение в медпункт на ОЛП-2 (нефтешахта № 3), в амбулаторию поселка, в больницу Сангородка, в больницу Ветлосяна. Заключенные лечились на ОЛПе, с серьезными травмами — на Ветлосяне. Вольнонаемные проходили лечение в амбулатории поселка, с тяжелыми травмами — в Сангородке. Потом составлялась сводная таблица, в которой травмы делились на легкие, средней тяжести и тяжелые, указывались и смертельные случаи.

Чаще всего оказывались травмированными люди молодые, получение травмы ломало всю их дальнейшую жизнь. Приведем случай, один из многих. 7 июля 1945 года несчастный случай произошел с мобилизованной немкой Екатериной Антоновной Арнольд. Рука Екатерины Антоновны попала на вращающиеся шестерни подъемной машины. А включила машину без предупреждения работница- практикантка, находившаяся на рабочем месте второй день. Как можно было оставить без присмотра неопытную девушку? Екатерина Антоновна получила тяжкое увечье (на левой руке восемнадцатилетней Арнольд отрезало все пальцы). Травматизм среди женщин был очень высокий, так как женщины выполняли мужскую работу.

ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ

В годы войны условия труда и быта ухудшились. Изменились и меры наказания. С 1941 года фиксируются новые меры наказания для заключенных: привлечение к уголовной ответственности (новый срок), водворение в штрафную зону сроком до шести месяцев, лишение права получать посылки сроком до трех месяцев, лишение права переписки. Воровской элемент помещался в изолятор, а неисправимых переводили в центральный штрафной пункт. Наиболее злост-

ных сажали в БУР (барак усиленного режима) на хлеб и воду в холодном помещении, без теплого бушлата. В августе 1941 года на шахтстрое завершилось строительство подконвойной зоны с изолятором и бараком усиленного режима. В 1941 году нарушителей стало так много, что в приказах их помещали списком от 18 человек и больше. С началом войны к уголовной ответственности в соответствии с приказом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года стали чаще привлекать вольнонаемных. По приговору суда они могли быть водворены в лагерь на положении заключенных. По правилам военного времени заключенный, освободившийся в годы войны, прикреплялся к производству лагеря по вольному найму до конца военных действий. С таких спросить за нарушение было легче, как и вернуть туда, откуда вышел.

Мало изменилась в эти годы система поощрений. «На местах с учетом особенностей военного времени широко применяются рекомендованные ГУЛАГом новые формы трудового соревнования — введение стахановских и фронтовых вахт, трудовых салютов, лицевых счетов по выпуску сверхплановой продукции в фонд Главного Командования»[3].

Однако выполнить план было непросто. В 1941 году шахта не дала ожидаемых результатов. Неудачно, несмотря на все усилия, начинался для шахтеров и 1942 год. Низкая производительность труда беспокоила руководство республики. Страна нуждалась в нефти и нефтепродуктах. Их надо было дать любой ценой. Постановления шли одно за другим.

1941 и 1942 годы для нашей страны были годами огромных потерь и неудач на фронте. Требовались огромные усилия всей страны для победы. Но если вдуматься, что ставили в вину? Текучесть кадров. А как иначе, ведь идет война, и шахтеров каждый день отправляют на фронт, и в книгах приказов появляются списки мобилизованных от 2 до 20 человек, а в нескольких приказах есть списки на 65 человек. На фронт уходят и многие освободившиеся. Подготовить замену за короткий срок было сложно. Брали на работу женщин, подростков. К ответственной работе снова начали допускать заключенных. И торопили, торопили… Не думая о людях, добивались выполнения плана, пренебрегали техникой безопасности. А условия жизни и работы в годы войны ухудшились не только у заключенных, но и у вольнонаемных. Недоедающие, недосыпающие, плохо обученные люди на таком опасном предприятии просто не могли сразу работать так, как хотелось бы начальству. Надо было привыкнуть, научиться, приобрести опыт. Надо было подготовить молодежь «к специфическим условиям работы в шахте».

Эти проблемы будут решать. Уже в 1943 году шахта не только выполнит план, но и перевыполнит его. Благодаря грандиозному напряжению сил «производительность труда в 1943 году по сравнению с 1941 годом поднялась на 80%, а в 1944 году рост производительности труда превысит довоенный уровень почти в два раза. Выработка на одного рабочего за годы войны возросла с 5600 рублей в 1940 году до 10 500 рублей в 1944 году»[4]. Производительность труда будет увеличиваться и после войны.

Остается только удивляться тем героическим усилиям, которые прикладывали рабочие для достижения рекордных результатов. Так, получая максимальные результаты при минимуме затрат, вошел в экономику СССР ОЛП-4. Здесь мы встречаем знакомые черты хорошо продуманной системы: бесплатный труд, привлечение самих заключенных к контролю за собой, тяжелые условия труда и быта, полное бесправие, строжайшая экономия во всем. Стимулом к труду становилась увеличенная хлебная пайка, возможность переписываться с домом, но главное — красный флаг, который заключенные и вольнонаемные должны были признать главной наградой.

Примечания

[1] *Морозов Н.А.* ГУЛАГ в Коми крае, 1929–1956 гг. Сыктывкар: Издательство СГУ, 1997. С. 35.
[2] Там же. С.41
[3] Вклад заключенных ГУЛАГа в победу в Великой Отечественной войне // Новая и новейшая история. 1996. № 5.
[4] Там же.

Встречи с прошлым и настоящим
Немецкие и японские военнопленные глазами жителей Елабуги

Алия Сафина, г. Казань, 11-й класс
Научные руководители Т. П. Крашенинникова и Е. М. Шувалова

Мы к военнопленным неплохо относились.
Они от нас доброжелательными уехали.
Из интервью с З. Ш. Камаевой

Город, в котором я живу, имеет древнюю историю. Он хранит память о многих людях, которые сделали его известным во всей России, и даже в мире. Этот город — Елабуга. И все-таки в истории каждого города имеются страницы, которые до сих пор не прочитаны. К таким страницам относится пребывание в Елабуге немецких и японских военнопленных, которые оказались здесь в годы Великой Отечественной войны и после нее. Только в последнее время стали известны подробности о лагерях для военнопленных. Исследования проводили как российские ученые, так и немецкие и японские[1]. Архивные документы и воспоминания стали публиковаться на страницах журналов, а в Германии даже прошла выставка фотографий, которые были сделаны немецкими военнопленными во время пребывания в нашем городе. В местной елабужской прессе также было опубликовано несколько отрывков из воспоминаний тех, кто работал в лагерях для военнопленных. Таким образом, история лагеря для военнопленных № 97 в городе Елабуге стала достоянием гласности, и на сегодняшний день продолжают публиковаться архивные материалы, ранее засекреченные, об истории этого лагеря[2].

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Управление по делам военнопленных и интернированных было создано по приказу НКВД СССР от 19 сентября 1939 года в составе Народного комиссариата внутренних дел. Основная задача ГУПВИ — обеспечивать прием, содержание и лечение военнопленных вражеских армий. В 1942–1943 годах на территории Советского Союза начинается строительство специальных лагерей для военнопленных. Один из них, лагерь НКВД № 97, появился в Елабуге, небольшом городе, расположенным у впадения реки Тоймы в Каму, в 14 км от железнодорожной станции Тихоново и в 215 км от Казани. В лагере содержались немцы, венгры, итальянцы, румыны, а позднее и японцы. Первые партии военнопленных немцев прибыли в лагерь еще в конце 1942 года, особенно большой наплыв был в 1943 году, после поражения фашистской армии под Сталинградом. Первые партии военнопленных японцев прибыли в лагерь в январе 1946 года. Лагерь просуществовал до 1948 года. При расформировании лагеря часть военнопленных направили в другие лагеря, часть — репатриировали на родину.

Военнопленные в основном были заняты на лесозаготовках и торфяниках. Для каждого, занятого на этих работах, была определена норма выработки. Специ-

ально для этой цели создавались лесоучастки. У лагеря был свой закрепленный земельный участок и подсобное хозяйство — свиноферма, огород. Огород был расположен за Троицким кладбищем, а свиноферма находилась в районе училища культуры.

Я все время задавала себе вопрос: как относились к военнопленным и как воспринимали «врагов» елабужане? Если не задумываться над глубиной этого вопроса, то ответ лежит на поверхности: «хорошо» или «плохо». Если это враг, тогда, конечно, «плохо». И это оправдано, так как враг пришел на нашу землю, причинил нам много горя и страданий, мы его не звали. Но, когда задумаешься над проблемой человеческих отношений, простые ответы и объяснения уже не устраивают.

Конечно, «нормальных» отношений быть не могло. Одни были за колючей проволокой, другие жили мирной жизнью. Но все-таки люди существовали в одном пространстве, значит, отношения были: прямые или косвенные, явные или скрытые, служебные, а может, и личные…

Первое упоминание о немцах, которые находились в Елабуге, я услышала из уст моей мамы. Тогда мне было всего лет десять. Как-то, гуляя со мной по улицам нашего города, она сказала мне: «А вот эти здания после войны строили немцы». Память воскресила прежние мои знания о немцах. Это относится к тому периоду, когда я и моя семья проживали в Таджикистане. Там нашими соседями по дому тоже были немцы. Это были наши, «русские немцы». Отношения у нас были замечательные, мы были соседями, национальность в нашей дружбе не имела никакого значения, потому что мы были гражданами одной страны, мы жили вместе. Может быть, и здесь речь шла о «русских немцах», которые приехали для того, чтобы строить наш город?

Но, оказывается, мама имела в виду тех немцев, которые содержались в лагере для военнопленных в Елабуге во время и после окончания Великой Отечественной войны. Но для меня война ассоциировалась всегда с понятием «фашисты», а не «немцы». Фашисты — это значит «враг», «война», «военные сражения».

А тут мирный город, находящийся в глубинке, в котором «враг» строит «наши» дома. Ничего не могу понять. Почему именно немцы? Как они тут оказались? Почему они строят дома? Мое изумление невозможно описать. Эти вопросы тогда остались без ответа, но мысль о присутствии немцев в нашем городе меня не покидала. Вопросы требовали ответов. Итак, я начинаю вести поиск.

ИЗ МОЕГО ДНЕВНИКА

«Вчера, 7 августа ходила в библиотеку. Во-первых, познакомилась с елабужскими газетами „Новая Кама“ и „Вечер Елабуги“. В основном публикации краеведческого характера. Кое-что узнала об истории лагеря для военнопленных № 97. Как будто окунулась в ту эпоху».

Все-таки через какое-то время я нашла то, что искала. Это статьи про военнопленных немцев и японцев. У меня, когда я увидела первую из них, даже дыхание перехватило. Но этого мало: 4–5 статей, очень коротких и сухих.

Я нашла и воспоминания Тамары Михайловны Гребенщиковой[3], в девичестве Плотниковой. Она окончила курсы немецкого языка в Кировском пединституте и в годы войны работала переводчицей в лагере военнопленных офицеров № 97 в Елабуге. Из воспоминаний Т. М. Гребенщиковой[4]: «Утром 31 мая 1943 года пароход из Кирова прибыл в Елабугу, за мной прислали машину-газик. Управление лагеря военнопленных находилось через дорогу от зоны монастыря в двухэтажном здании. Меня посадили на скамейку у здания управления. Я сидела, глазела по сторонам в ожидании рабочего дня. К девяти часам стали приходить мимо меня женщины-служащие — молодые, стройные, на головах косынки, в белых халатах, волосы у всех были острижены наголо. „У меня снимут волосы, — подумала я. — На кого я буду похожа“. Наконец пришел начальник лагеря Кудряшев, подхватил мой багаж и повел меня в зону военнопленных. Все пространство от второго этажа приземистых корпусов, с четырьмя башнями, откуда виднелись вооруженные конвоиры, было заполнено пленными в чистых немецких мундирах. Все были молоды, не старше тридцати. Бросалось в глаза, что все они были одинакового роста — выше среднего.

Немцы, прибывшие из-под Сталинграда в Елабугу, привезли с собой полный набор болезней и килограммы вшей. Тифом заразился и медперсонал, обслуживающий военнопленных, вот почему все были острижены наголо. Головы все были обвязаны яркими косынками».

Тамара Михайловна стала переводчицей. Она вспоминала, как однажды провела на допросе 36 часов, допрашивали офицера абвера: «Несколько раз мои глаза закрывались от переутомления. Тогда мне давали кусочек шоколада».

Но через призму взгляда Тамары Михайловны немцев не воспринимаешь как врагов, появляется даже симпатия. Вот и маленький пример человеческих отношений: «Однажды в лагерной бане я потеряла щеточку для ресниц, которой красила свои рыжие ресницы (как и все) сажей. Когда я вернулась поискать ее, находившийся там немец спросил, что я потеряла, и обещал эту щеточку найти. На следующий день я услышала разговор вахтеров: тот военнопленный вырвал у лошади клок волос из хвоста лошади, за что и был посажен в карцер. Щеточку, он, разумеется, сделать не смог».

Интересно, что чувствовала Тамара Михайловна в тот момент. К сожалению, в опубликованных воспоминаниях об этом нет ни строчки, только факты, хотя и сами факты такие интересные, что позволяют наконец-то почувствовать то время, ощутить его. Может быть, сама Тамара Михайловна считала, что лучше воздержаться от оценок, а читатель сам рассудит.

Она вспоминает, как питались военнопленные: «Три раза в день получали порцию хлеба по 200 граммов, а население Елабуги — 400 граммов в день. Из чер-

ного хлеба немцы изготовляли великолепный торт. Для этого надо было принести 15 яиц и кусочек сливочного масла. По виду он был как настоящий. Некоторые люди из обслуживающего персонала заказывали эти торты у немцев». Неужели это разрешалось? Как выносили эти торты? А как заказывали, через кого? Так хочется задать массу вопросов, но это всего лишь газетная публикация.

Еще одни сюжет, который описывает Тамара Михайловна: военнопленный просил разрешения у начальника лагеря навестить в роддоме «жену». Команда из пленных немцев, сформированная для заготовки дров, ночевала с разрешения конвоиров и в домах местных жителей. Так молодой немецкий офицер попал в дом к Люсе Иващенко, которая теперь находилась в роддоме, и он просил разрешения ее навестить. Как писала Тамара Михайловна: «Позже я узнала от женщины, лежавшей в палате с „женой" военнопленного, что она стала настоящей его женой и впоследствии уехала вместе с ним в Германию»[5]. Вот такие истории рассказала на страницах газеты бывшая переводчица. И чем больше читаешь таких воспоминаний, тем больше вопросов возникает.

Я решила обратиться в Совет ветеранов города Елабуги. Ведь остался, наверное, кто-то из ветеранов, кто помнит это время и захочет о нем рассказать. Николай Иванович Трапезников из Совета ветеранов внимательно меня выслушал и сказал: «Если вас интересует пребывание немцев и японцев в Елабуге, то начните вот с чего. Есть такая книга „Исцеление в Елабуге", написана одним из бывших военнопленных Отто Рюле. Ознакомьтесь с ней. Потом вам надо встретиться с моим братом, Александром Ивановичем Трапезниковым — участником Курской битвы, штурма Кенигсберга. Он конвоировал пленных японцев в Елабугу. Также жива еще одна фельдшерица, работавшая и с японцами, и с немцами, Зайтуна Камаева, она многое может рассказать». Еще он посоветовал зайти в Елабужский государственный музей-заповедник, где могут храниться документы о пребывании военнопленных в городе.

Из моего дневника: «15 августа. Я поехала в Нижнюю часть города, чтобы разыскать Зайтуну Камаеву».

Передо мной стояла бабушка, ниже меня ростом, щуплая, в домашнем халате. Лицо все в морщинках. Удивлена. Пригласила в дом, когда узнала, что от ее хорошего знакомого Трапезникова. Дома было чисто. Старая мебель: трюмо, комод, ящики, старый телевизор, шкаф. На стене ковер. Подаренным цветам была рада. Небольшая суета. Как? Что? Кто? Зачем? Откуда? Я все объяснила, сказала, что очень хотела бы взять у нее интервью.

— Так вы будете снимать меня на камеру? — спросила она.

— Да, если можно.

— Конечно, конечно, только тогда подождите немного. Я сейчас переоденусь.

Достала парадный костюм с медалями. При этом постоянно что-то говорила, объясняла, чувствовалось, что волновалась.

Биография Зайтуны Шигабутдиновны Камаевой: «Я сама из крестьянской семьи, с 15 лет работала в колхозе. Закончила среднюю школу, потом приехала в Елабугу, чтобы учиться в медицинском училище, которое закончила в 1937 году.

С началом Великой Отечественной войны меня мобилизовали с первого же дня. Была направлена в Казань, работала в госпитале до 1943 года. Когда работала в тылу, все время писала заявления о том, что хочу отправиться на фронт, но мне все время отказывали, говорили, а кто же здесь работать будет. По семейным обстоятельствам (брат умер, а мать заболела) меня отпустили в Елабугу. Здесь была сильная нехватка кадров. В лагере для военнопленных вообще некому было работать. Стала работать в лагере для военнопленных немцев из армии Паулюса, разгромленных под Сталинградом. Затем сюда стали поступать японские военнопленные, с ними работала. В 1947 году сопровождала японцев в бухту Находка в Японском море. Мы сами наблюдали, как они пищу варили. Дежурили около котла товарного вагона. В вагонах было очень дымно. Со слезами выходили оттуда. Мы приехали к морю. Все живы, здоровы. Никто не подох, паразиты. Я не очень-то интересовалась дальнейшей их судьбой».

Последняя фраза буквально ошеломила меня. Ничего плохого не говорила, а тут на тебе… По-видимому, боль, причиненная войной, не утихла до сих пор. Война повлияла на всю жизнь Зайтуны апы. Наверное, у нее были другие планы, другие мечты. Война все перевернула. И она помнит это. Вот и было: снаружи — так как положено, внутри — нелюбовь.

Из рассказа Зайтуны апы: «Японцы здесь умирали. Но сейчас у нас дружба, конечно. И вот после стольких лет они опять приехали и взяли останки тех, кто остался покоиться в нашей земле. Когда они приезжали, нас приглашали, вечер устраивали… Благодарили, спасибо сказали. Среди приезжих были и сами бывшие военнопленные, и их дети, сыновья. В то время еще врач Нечаева была жива. Мы вдвоем были, они нас в ресторан пригласили. Выступали, говорили, если бы не вы, то нас бы здесь в живых не было.

С немцами дружба у нас. Немцы тоже приезжали. А сейчас немцы уже не приезжают, японцы останки забрали и тоже не приезжают. И делать им тут нечего. А так я думаю, их никто не любил. У меня старший брат погиб на фронте. Но, несмотря на свое личное отношение к немцам, я все равно их лечила. Раз уж меня заставили. После этого стала работать в военно-политическом училище, а затем перешла на работу в школу милиции. Здесь получила звание старшего лейтенанта милиции как медицинский работник. А при Хрущеве с нас все звания сняли. Я, как вольнонаемная, стала работать фельдшером. В школе милиции проработала до 1989 года. Сейчас живу одна. Замуж я не выходила. Все время была среди мужчин, вроде как муж и не нужен был. Одна я… Никого нет. Близких тоже нет, померли все, а я была самой младшей. Вот такая история».

Из интервью с Камаевой: «Внутренне, я думаю, никто их не любил (военнопленных немцев и японцев. — *А. С.*). Я к ним не была расположена. Положено лечить — лечила, что поделаешь. Снаружи мы пытались не показывать наши на-

стоящие чувства. Относились не как к фашистам, а как к людям, которые не по собственной воле взяли оружие в руки. Мой профессиональный долг велел мне выполнять, как бы там ни было. Медики сами болели и брюшным тифом, и дизентерией. Когда немцы с Долохова (железнодорожная станция — *А. С.*) с вагона в Елабугу пешком шли, то по дороге с двух сторон были вырыты траншеи, чтобы инфекция не распространялась.

У немцев и тиф, и вши были. Полковники, высший состав был. У них все шубы вшами кишели. Вшивые, грязные, больные, вши прямо и по нам ходили. Несмотря на то что мы были в специальных комбинезонах, но все равно, если одна вошь попадет, укусит — и все. Две сестры и врач заболели. У немцев тоже врачи были, и там где вторая зона (под женским монастырем), когда сами поправились, то уже сами стали лечить. Мы только наблюдали и руководили их работой. Контроль должен был быть обязательно, так как среди них фашисты были, которые угрожали антифашистам. Самые преданные Гитлеру могли остальным что-нибудь сделать. В лагере также был клуб. Офицеры туда приходили, собирались слушать пропагандистские речи, которые должны были излечить их от лживых суждений и приверженности к фашизму. Помню, что они на нарах спали. На нарах был соломенный матрац, покрытый белой простыней. Спускаясь со второго этажа или переходя в другое помещение, приходилось переходить через лежащих немцев, вечером идешь — еще вроде бы жив, а утром смотришь — место уже свободно. Значит, умер. Уколы делали, не от души, конечно, но все же делали. Кормили их хорошо, так как это был офицерский состав и паек у них был, следовательно, офицерский. А пробы-то медики ходили снимать с удовольствием. В 1943–1946 годах был голод, а в лагере было столько еды… Немцы сами топливо заготавливали, в лес ездили. Было два помещения: нынешний учебный корпус школы милиции, там немцы жили, столовая где есть там и была. Когда немцы приезжали, меня попросили показать, где что было, но я отказалась. Амбулатории уже нет, а стационар, в котором лежали больные, является сейчас служебным помещением. А если посмотреть в целом, то мы к военнопленным неплохо относились. Они от нас доброжелательными уехали».

Вот так я впервые встретилась с живым «участником» тех событий.

Из моего дневника: «Сегодня, 19 августа, встречаюсь с Александром Ивановичем Трапезниковым. До этого прочитала его воспоминания, опубликованные в елабужской газете. Интересно, что даст мне встреча с автором».

Из рассказов Александра Ивановича Трапезникова: «Родители мои, Иван Николаевич Трапезников и Елизавета Семеновна, были простыми крестьянскими людьми. Я, можно сказать, всю жизнь учился. До войны окончил два курса елабужского педагогического училища, а после войны — третий курс и стал учителем начальных классов. После этого окончил исторический факультет Пермского педагогического училища заочно, а в 1970 году окончил опять же истфак, но только уже Казанского педагогического института и тоже заочно. Я воевал и на Курской дуге и Кенигсберг штурмовал, а служил я в спецподразделении, где мы „Катюши“ обслуживали.

Войну закончил в звании радиста-разведчика, еще два года служил в Восточной Пруссии. Только после этого домой вернулся, в Елабугу. После войны у меня не было профессии. Я пошел работать вахтером в лагерь военнопленных японцев.

Здесь было два лагеря, два отделения, которые охраняли японцев: в женском монастыре была первая зона, там, где школа милиции, — вторая зона. В основном это был офицерский состав, очень умные, образованные, интеллигентные. Если лагерь военнопленных немцев строго охраняли, там стояли вышки, то японцев содержали не так строго. Они знали, что Япония — далеко, за тысячи километров и им некуда было бежать. Охранникам давали по 100–300 человек, и с ними мы ходили в Малый бор за дровами за 5 км от лагеря. Японские военнопленные были очень дисциплинированными, они впрягались в тележки по 20 человек, тянули веревки и так „вели“ телегу по шоссе. Когда они ехали, то всегда говорили или пели одну поговорку: десять из них говорили: „Ас-су, ас-су“, а десять других отвечали: „Ото-сан, ото-сан“. Таким образом они вели строй, везли телегу. В лесу они пилили сухостой, грузили его на телегу и везли обратно туда, где жили. А мы, как охранники, просто шли рядом и наблюдали за подчиненными.

Вообще я считаю, что японцы отличались высокой культурой, трудолюбием, у них были невероятные способности.

1947 год был очень тяжелым. Был голод, а в нашем районе выдался неурожай. Рабочим давали по 400 г хлеба и больше ничего: живи как хочешь. Поэтому народ и крапиву собирал, на луга ходил, дикий лук ел, варил. А военнопленных японцев кормили очень хорошо. Когда я приходил к ним в столовую, следил за порядком и видел, что им давали и первое (суп), потом второе (капуста, лук, каша). Русской традиции еды японцы не понимали. У нас ведь как: сначала первое жиденькое поешь, а потом второе: мясное или еще что-нибудь. А они это все смешивали в одну чашку и ели.

Я помню японскую свадьбу. Дело в том, что один из японских полковников приехал с женой и дочерью. Родители решили выдать ее замуж. Точнее, она сама выбрала себе мужа из военнопленных — из их части подполковника. Так получилось, что я увидел их свадьбу. Они шли и что-то очень громко произносили. У них был свой оркестр, и я часто наблюдал, как они выступали: духовая музыка, много гитар, балалайки, рожки. Они давали концерты своим же товарищам. Вообще я в лагере работал семь месяцев. После я понял, что японцев скоро домой будут отправлять, написал заявление и ушел. Ушел заканчивать мое недоконченное образование педагогического училища».

И тут я задумалась, уже второй раз я встречаюсь с тем, что к японским военнопленным отношение было более лояльным. «Мои герои» не участвовали в советско-японской войне 1945 года, которая длилась всего «чуть-чуть» по сравнению с Великой Отечественной войной.

Из моего дневника: «27 августа. И вот я в музее-заповеднике. Действительно, в фондах музея хранятся документы по интересующей меня теме. Во-первых,

копии газетных публикаций о военнопленных немцах и японцах. Во-вторых, подлинные документы врача Нечаевой, работавшей в лагере. В-третьих, документы личного характера. Это прежде всего открытки и письма бывших военнопленных, которые они присылали в адрес Нечаевой. Целый клад, сокровище, которым цены нет. Однако поработать мне не удалось, так как в это время в музее проходили чтения, посвященные памяти Марины Цветаевой».

Интересно, что Александр Иванович Трапезников убежден, что перед отправкой на фронт, всего за несколько дней до кончины Цветаевой, именно ее он видел в Елабуге. Вот как он описывает встречу с «незнакомкой»: «На ней было длинное черное пальто. Она была одета не так, как елабужане, именно поэтому я обратил на нее внимание. На голове у нее была горохового цвета беретка или шапочка, волосы подстрижены под кружок, шагала она не так быстро».

А вот тексты писем на немецком языке от бывших военнопленных. Один из них, Р. Шумахер вспоминает, что он попал в лагерь в 23 года и находился там пять лет (1944–1948) и ему очень нравилась Вера Лисенкова, к которой он заходил в лагерный госпиталь: «Но я был всего лишь военнопленный и не хотел создавать трудности для нее». Музей хранит и письма родственников бывших военнопленных в адрес доктора Нечаевой, работавшей в лагере: «Вы помогли не только моему мужу, вы помогли стольким немцам». А один из бывших японских военнопленных написал в своем письме в адрес бывшего врача Нечаевой: «Я молюсь за Ваше здоровье». Вот такая история. На первый взгляд напрашивается словосочетание: «Благодарный военнопленный». Наверное, в условиях возвращения к нормальной человеческой жизни многое было переосмыслено и той и другой стороной.

Когда в декабре я вновь вернулась к фондам музея, нашла интересную информацию в воспоминаниях одного военнопленного — Вильденхайна. Они были опубликованы в Германии, а в Елабугу присланы копии. Он вспоминал трагические случаи, когда при попытке к бегству был застрелен один из военнопленных. Но ведь бежать было бессмысленно, считает автор. Что это было? Провокация, когда не выдержали нервы у конвоира, или действительно случайность? Ответа на этот вопрос в газетах я не нашла. В книге Отто Рюлле таких эпизодов нет. Там наоборот много хороших слов в адрес советских врачей и медицинских сестер: «В таком состоянии слова ободрения, услышанные от советской девушки, растрогали меня. Ведь последние месяцы я окончательно отвык от какого-нибудь проявления человеческого сочувствия». И далее: «А как назвать самоотверженный труд доктора Волковой, еврейки по национальности, которая спасала жизнь многим сотням пленных. Разве это не высшее проявление гуманизма? Ведь многие военнопленные причастны к бесчеловечным преступлениям». Также он восхищался мужеством врача Малевицкой, которая сама заразилась тифом и долгое время находилась в опасности: «После болезни ее черные волосы вылезли, и она никогда не снимала с головы желтого платка. Пленные называли ее желтой бабочкой».

Из моего дневника: «6 ноября. Разговариваю со своим дядей Ренатом Абдурашитовичем Сафиным. Рассказываю о своем поиске, о документах, о встречах с за-

мечательными людьми. Сожалею, что таких встреч не так уж и много. И тут мой дядя говорит: „Алия, а наша соседка, Евгения Дмитриевна, во время войны в Елабуге жила. Она, наверное, тоже может тебе рассказать о каких-то эпизодах“».

И вот мы стоим на улице и разговариваем с тетей Женей. К ней приехала в гости ее сестра, Тамара, так что нас уже трое. А тут и дядя подключается к съемкам. Оказывается, его тоже заинтересовал мой рассказ и он хочет помочь мне в моем исследовании.

Из рассказа Евгении Дмитриевны Кривелевой и Тамары Петровны Бессмертовой. Евгения Дмитриевна: «Когда война началась и стали поступать первые военнопленные, нам по 10–11 лет было. Дети еще ведь были. Немцы были холеные, чистоплотные, трудолюбивые, но и не были рядовыми солдатами. Скорее всего, это был офицерский состав. Это было видно по их поведению. Здесь у нас крестьянская земля была. Нас в поле выводили горох дергать, пшеницу, колоски собирать учили. Вон там (показывает рукой. — *А. С.*) от Набережной до реки Тоймы, там они (то есть военнопленные. — *А. С.*) турнепс садили. Сейчас там все заросло, а тогда все было засажено капустой, морковью, все там было. Я тогда в классе четвертом училась. Мы в школе учились, на переменку выбежим и кричим: „Япон, япон, дай турнепс“. А там такой ров был по периметру засаженной территории-то, чтобы никто не ходил. А он нам говорил: „А русь, русь смотрит“, мол, нельзя давать (имеется в виду, что за ними наблюдали русские охранники и они боялись вступать в переговоры. — *А. С.*) А сам потом тихонько брал и кидал нам через арык турнепс. Он такой вкусный был. А сейчас и не хочется его есть-то. А в то время… Лучше не было ничего. Весь их участок был засажен. А после того как военнопленных не стало, стали сажать овощи для интерната. У японцев там шалаши были. Мы вечером иногда выходили и кричали: „Япон, япон, дай капусты“. Они не выходили. Мы даже обманывали, будто коров пойдем искать: „Япон, япон, коров ищем. Ты не ругай, не ругай“. А сами подойдем ко рву, а их нет. Вот наберем капусты, моркови и убежим. Вообще они нам много кидали и все время приговаривали: „У нас тоже такие есть“. Показывали руками маленьких детишек: „Тоже есть“. Сами как будто в одну сторону смотрят, а сами нам кидают. Канавы были большие, не перешагнуть. Мы их так и звали: „Япон, япон, дай турнепс“. Они хорошо были одеты. Мы супротив них нищими были. И видать то, что и сытыми были, так как могли даже нам хлеба бросить. А тогда голод был. Хлеб ценнее золота был. А мы вот выбежим и иной раз даже не кричим. Бегаем вдоль рва, они нам и кидают. Ничего плохого о них сказать не могу. Их ведь на поле немного было, человека 3–4.

Когда я училась в пятом классе, видела, как их с парохода гнали на зону. Жили они в женском монастыре. У нас здесь недалеко был овраг, весь в деревьях. Там они и отоплялись. Но они нас никогда не обижали. Что попросим, всегда давали. „Дай нам веток, дай нам веток. Топиться будем“. А они нам: „Русь, Русь», — мол, увидит, ругаться будет“. Берите, дескать, и убегайте. Мы и таскали. Очень большой лес был, густой. Мы после них сучки, ветки собирали. Всегда они старались нам оставить. Ничего плохого о них сказать не могу. Не знаю, как другие. Один раз даже домой принесла кусочек хлеба. Нас тогда пятеро детей бы-

ло. А мама увидела и сказала, зачем ты, мол, взяла. Это ведь он, японец, значит, свой кусочек принес и кинул».

Вот такие детские воспоминания. Когда я задала вопрос, а относился ли кто-нибудь из ребятишек к военнопленным враждебно или у взрослых обида на них была, тетя Женя даже удивилась: «Конечно, горестно было родителям. Они говорили, вот, мол, наших убивают там, а вы у них милостыню просите. А нам то что, мы ведь дети были. Лишь бы дали и все. Моя мама ко всем хорошо относилась. Так ведь они тоже были мобилизованы. И наши тоже, тоже ведь не все с радостью на войну шли».

Из моего дневника: «Сегодня 7 ноября. Для ветеранов, да и для многих советских людей это по-прежнему любимый и знаменательный праздник. А мы договорились с Александром Ивановичем Трапезниковым сходить на кладбище, где похоронены военнопленные, и он обещал показать мне могилу того японца, в захоронении которого он участвовал».

Из рассказа Александра Ивановича Трапезникова: «Первыми здесь появились немецкие военнопленные в 1942 году. Вот оно, немецкое кладбище; здесь было похоронено 645 немцев. В 1942 году их было мало, ведь война началась в 1941 году, и в разных частях постепенно набирали по десятку, по два десятка, по три десятка и привозили. А лагеря были уже определены. Елабугу выбрали, потому что внутри России. Немцы никуда не могли убежать, через всю Россию куда уйдешь. И там, где была возможность, их размещали. Здесь был в основном высший состав. Это я не помню, я слышал, потому что в это время сам воевал».

Мы подходим с Александром Ивановичем к стелле. На ней надпись: «Здесь покоятся венгерские военнопленные, погибшие во Второй мировой войне». Александр Иванович говорит: «Вот видите, даже венгерские здесь еще есть. Но в основном здесь были немцы. Вы посмотрите, что здесь творится…» Подходим к могильному кресту: «Вот это крест немецкий. Здесь раньше очень красивая надпись была по-немецки и по-русски. Все это срубили и сдали в металлолом… Ужас. А это уже плиты. Здесь немцев хоронили не как японцев, по отдельности, а по два, три, пятеро. Это в основном братские могилы у немцев. Видите, номер даже есть. Есть номер». «Да, — отвечаю я, — 96-й, а дальше 97-й. Александр Иванович, посмотрите, здесь стоит крест и даже написано, кто похоронен». «Вы правы, — отвечает Александр Иванович. — Обратите внимание, этот крест католический. Здесь немцы в основном католики были».

Александра Ивановича крайне огорчает и возмущает тот факт, что участились кражи памятников, которые сдают в металлолом: «И ведь кто-то принимает металл, неужели не видит, а ведь этого делать нельзя».

На вопрос, кто ухаживал за немецкими могилами, Александр Иванович ответил: «Это только началось лет пятнадцать тому назад. Ухаживали в основном из школы милиции, заставляли наших курсантов, солдат. Стали постепенно приводить кладбище в порядок. А так, конечно, безобразие было.

Если говорить о моем личном отношении к пленным немцам, то они все равно для нас остались врагами. Войну прошел. Вы понимаете, в каждой семье не досчитались из-за этой войны. Вот у меня 10 товарищей ушло на фронт, и в живых остался только я один. Я ведь из-за учебы задержался, ушел на фронт практически последним из деревни Поспелово, а всех еще в 1941 году забрали. И вот пока я там был, каждый день, каждую неделю приходили похоронки. И все время во всей деревне во всех концах был слышен плач. Убитые, убитые, убитые… Похоронки. Женщины рыдают, и пожилые, и молодые. Эх… У меня пустота. Слишком дорого стоила нам эта война».

Переходим на японское кладбище. Александр Иванович продолжает: «Примерно 6–7 лет назад в Елабугу приезжала делегация японцев, они эксгумировали останки своих погибших соотечественников и увезли их на родину, в Японию. А вот это памятник еще того времени, когда здесь кладбища организованного как сейчас еще не было. Здесь иероглифы должны быть. Сейчас нет…» Я обращаю внимание на то, что иероглифы на памятнике есть, но они все закрашены синей краской.

«Да, да, увидел, — говорит Александр Иванович. — Кому это надо было замазывать. Ну, народ… Смотрите, а плит-то нет. Значит, кто-то их забрал уже. Они были небольшие. На каждой стоял номер. Везде, в шахматном порядке по периметру ограды были расставлены. Недавно, видимо, увезли, когда устанавливали памятник новый. И названия там были. Общая могила, как у немцев, тоже была. Японские делегации несколько раз приезжали в Елабугу. Тогда еще разруха была, их милиция охраняла… И вот они обходили плиты по номерам и оставляли подарки, кому вино, кому сигареты, кому еще что-то. Видимо, они знали обычай погребения и поминок своих умерших людей».

На месте, где были захоронены японцы, сейчас стоит памятник, его архитектор — японец, которому было в то время 86 лет и он был одним из военнопленных Елабуги. Он привез с собой стеллу, на которой написано по-японски «Помяните души усопших». Надписи сделаны на русском и японском языках: «Памятник японцам, умершим на этой земле, с мыслями о мире, в память о тех, кто возлагал надежду на возвращение на родину, умер на этой земле после Второй мировой войны в 1945–1956 годах, воздвигнут этот памятник».

Дата — 30 октября 2002 года. От правительства Японии. Вот мы пришли и помянули.

Стоит опустевшее без могильных плит японское кладбище. Только два памятника — старый, закрашенный синей краской, и новый — напоминают о том, что здесь было.

Нашла ли я ответы на интересующие меня вопросы? Наверное, да или, точнее, я только приблизилась на несколько шагов к пониманию такой сложной вещи, как отношение к «врагу». Я встретилась с настоящими участниками и очевидцами тех событий, увидела прошлое их глазами и попыталась их понять.

И по-особому воспринимаются слова Зайтуны Камаевой о том, что они к военнопленным неплохо относились. Неплохо, это емкое слово, значит, могло быть и хуже. И наверное, было, потому что чувство ненависти и мести могло быть в душах тех, кто потерял на этой войне дорогих и близких людей. Но они сдерживались, а может быть, прощали. Конечно, не все — вот, бывший военнопленный Вильденхайн упоминает о случаях самосуда со стороны конвоиров.

Память избирательна. Как сказала Евгения Дмитриевна, ее детские воспоминания воскрешают только хорошее. Равиля Раисовна во время последней беседы сказала, что часто слышит в Елабуге от пожилых старушек такие слова: «Сейчас столько лет прошло. Все заживает, все сглаживается. Сейчас к ним по-другому уже относимся. Тоже же люди».

Развеялся, к сожалению, миф о том, что военнопленные немцы строили в Елабуге дома. Этого не было. Как говорила Зайтуна-апа, они строили только сарайчики или шалаши в лесу, а дома нет. И позже многие подтверждали, что немцы дома не строили. Тем более что в лагере содержался офицерский состав. Так откуда же взялся этот миф? Ведь он тоже в известной степени имеет положительную окраску: натворили бед — пусть теперь строят. Память сохраняет хорошие воспоминания чаще, чем плохие, иногда она и рождает вот такие мифы.

И напоследок. Есть притча о кольце Соломона, на котором была надпись «Все пройдет». Услышала я ее, когда мне было всего лет 6–7. Тогда смысла фразы я совершенно не понимала. И только сейчас начинаю приближаться к этому. Время все сглаживает, боль утихает, плохое забывается, хорошее остается. Каждый имеет право на прощение: простить самому и быть прощенным. Не каждый этим правом пользуется. Кто-то так и живет с болью в сердце и душе. Но это тоже их право — право помнить именно так.

Примечания

[1] Последние пленники Второй мировой войны: Документы из фондов ЦК КПСС о репатриации японских военнопленных // Исторический архив. 1993. № 1; *Безбородова И.А.* Иностранные военнопленные и интернированные из СССР: Из истории деятельности Управления по делам военнопленных и интернированных НКВД–МВД СССР в послевоенный период (1945–1953 гг.) // Отечественная история. 1997. № 5; *Точенов С.В.* Лагерь № 48 // Отечественная история. 2001. № 4.

[2] *Литвин А.Л.* Японские военнопленные: спецлагерь на Каме // Эхо веков. 2002. № 3–4.

[3] Вечер Елабуги. 1999. 25 августа.

[4] Родилась Тамара Михайловна в г. Кирове в 1922 году.

[5] Вечер Елабуги. 1999. 1 сентября.

это было

Спасенная из «ада»

Александра Трихичева, Мурманская обл., г.Мончегорск
8-й класс, научный руководитель Е. А. Зубкова

Слово «холокост» я слышала впервые на уроке истории и решила, что должна как можно больше узнать про эту трагедию. Я читала, смотрела фильмы. Так я познакомилась с историей холокоста, масштабами этой трагедии и со спасителями евреев — Праведниками народов мира. Про них я читала с особым восхищением, потому что они помогали обреченным на гибель евреям зацепиться за ниточку жизни, они внушали людям надежду, несмотря на смертельный риск не только для себя, но и своей семьи.

Но вдруг я узнаю, что бабушка моей одноклассницы Оли Яровой с 1995 года носит звание «Праведника Народов Мира». В годы войны она спасла свою школьную подругу — Басю Шварц. А мне даже в голову не могло прийти, что в нашем городе, на территории которого не было холокоста, могут жить такие люди. Но, к моему огромному сожалению, выяснилось, что Олина бабушка умерла, а мама Оли не знала подробно эту историю. Она рассказала мне, что Антонина Яровая была человек немногословный, сдержанный, много об этой истории не говорила, потому что не считала свой поступок героическим. Но в моих руках оказалась послевоенная переписка Антонины и Баси, диплом Праведника Народов Мира и фотографии медали. Также Оля собрала и другие материалы, связанные с этой историей. Это документы, полученные из Еврейского фонда христиан-спасителей, из отдела Праведников Народов Мира, из института «Яд Вашем», но и этого было явно недостаточно, чтобы по деталям восстановить историю спасения Баси Абрамовны Шварц, да и переписка после смерти Антонины Яровой прервалась. Но Олина мама рассказала мне о существовании тетради со свидетельскими показаниями, хранящейся в архиве института «Яд Вашем». Ведь присвоение звания «Праведника Народов Мира» — это очень долгая и сложная процедура, требующая свидетельских показаний как от спасителей, так и от спасенных. Это почетное звание присваивают только тем, кто бескорыстно помогал, спасал людей.

Мы поставили перед собой цель отыскать заветную тетрадь и с надеждой найти ее решили обратиться в институт «Яд Вашем». И вот благодаря помощи сотрудников Фонда «Холокост» и института «Яд Вашем» мы получили долгожданную тетрадь со свидетельскими показаниями. В это время, к счастью, пришло письмо от Баси Абрамовны Шварц. Долгое время, почти три года, она не давала о себе знать, и мы уже думали, что ее нет в живых, но, к нашей радости, она жива, сейчас ей 83 года, но жива-здорова и все очень хорошо помнит. Так как Бася Абрамовна живет далеко и личная беседа состояться не смогла, то основным источником для меня стали материалы дела о Праведнице Мира Яровой (Самборской) Антонине и другие собранные документы.

Меня поразила одна фраза Баси Абрамовны: «Не могу объяснить, почему я осталась жива…» Я решила проследить историю «чудесного» спасения девушки из «ада» и ответить на этот вопрос за Басю. От чего зависит жизнь человека? А ведь из своего села Бася осталась жива единственная.

Она пишет: «Наше село Студеница называли местечком: еврейских семей было больше восьмидесяти». Подумайте, больше восьмидесяти семей, а остался в живых только один человек. Теперь я понимаю, почему Бася считает свое спасение «чудесным». А как местное население относилось к евреям? Бася вспоминает: «Слово „жид" мы ни разу в жизни от односельчан не слышали». Значит, отношения были дружеские или хотя бы невраждебные, и у Баси среди украинцев было много друзей. Ничто не предвещало беду, но 22 июня 1941 года война нарушила мирный уклад жизни. Враг продвигался стремительно, уже 10 июля немецкие части вторглись в Каменец-Подольскую область: «10 июля 1941 года немцы захватили город Каменец-Подольский, а наше село — 13 июля. С этого дня начались одни мучения. На следующий день украинские националисты вывесили лозунги: „Хай живе Степан Бандера", „Хай живе Адольф Гітлер", „Геть жидів та комуністів", „Жидам забороняется выходить в село"», — пишет Бася.

Я задумалась над лозунгом «Геть жидів та комуністів». Устанавливая новый порядок, фашистам надо было создать опору среди местных жителей. А этот лозунг, разжигая ненависть к евреям, должен был расколоть общество и привлечь на сторону фашистов тех, кто был недоволен советской властью по тем или иным причинам, и людей, которые были непрочь поживиться за счет имущества своих еврейских соседей, нажиться на чужом горе, проявить себя хозяевами.

Оккупировав Каменец-Подольскую область, фашисты установили новый порядок, который ограничивал свободу евреев. Например, указ «Жидам запрещается выходить в село». Да еще Бася пишет: «Сделали в селе немецкую комендатуру. Собрали всех евреев и дали им указания нашить шестиугольные звезды на одежде, а позже они приказали уже нашить на одежде, спереди и сзади, желтые знаки в форме круга». И эти желтые круги стали знаками позора и унижения! Каково было Басе и ее родственникам и знакомым? Поставьте себя на их место, когда ты не имеешь никаких прав, даже на жизнь, когда ты вынужден подчиняться и выполнять самые грязные и бессмысленные работы. Эта участь постигла Басю и других евреев их местечка: «Нас, молодых девушек, брали каждый день на работу в комендатуру: мыть полы, убирать, белить и всякие другие работы». Никто ни у кого не спрашивал, хочет он работать или нет, их использовали как рабочий скот, не платили, не кормили, обрекали на голодную смерть, ведь местному населению запрещено было продавать евреям продукты и вообще как-то помогать. Но, несмотря на запреты и угрозы, находились те, кто оказывал помощь. Бася пишет: «Евреи боялись выходить в село, но крестьяне заходили к евреям и меняли хлеб, муку на одежду».

Да, жить было тяжело, но еще тяжелее было смотреть, как страдают твои родные. По отношению к евреям власти допускали произвол и насилие: «Когда ворвались к нам в дом шуцманы и стали грабить, я побежала в комендатуру и нем-

цу пожаловалась… Я почему испугалась? Шуцман мою маму стал бить. Я такого стерпеть не смогла и ударила по лицу негодяя».

Бася рисковала не только быть побитой, ее могли просто убить! Но, на ее счастье, немец проявил к ней снисхождение, оказался не таким жестоким.

На оккупированной территории начались массовые казни.

«28 августа 1941 года был учинен первый погром в Каменце-Подольском. Десять тысяч наших евреев убили тогда… Одна женщина, что смогла убежать, рассказала, как расстреляли мою сестру Молку Бланк с детьми Борей и Донечкой. Маме я ничего не сказала. Она все расспрашивала: „Что же ты плачешь доченька?“ Я отвечала: „От горечи нашего времени, мама“».

Какой силой характера обладала Бася! А ведь она могла упасть, разрыдаться, рассказать все матери, и, может, ей стало бы легче, но маме тяжелей, а она не хотела усиливать ее страдания. Бася промолчала.

А жить становилось все страшнее: «В апреле месяце 1942 года меня и моих сверстников забрали на работу в Совий яр, а жили мы на квартирах в селе Крушановка, в 12–15 км от нашего села. Родители были дома и нас на выходные дни отпускали домой. В Совом яру мы строили дорогу Старо-Улица — Каменец-Подольский. 18 июля 1942 года (суббота) нас отпустили домой… 20 июля все ребята вернулись в Крушановку на работу, а я не пошла, хотела еще побыть с родителями. Мама очень волновалась за меня, что я не пошла, но я ее успокоила, что мне бригадир ничего не скажет, ибо я ему помогаю решать тригонометрические задачи. 21-го числа я ушла и попрощалась с родителями, и оказалось, что навсегда. Столько лет прошло, но все забыть не могу, пишу и плачу. 23 июля 1942 года (четверг) моих родителей и всех студеницких, старо-улицких евреев расстреляли. Завели всех в лесок и расстреляли: отдельно могила мужчин и отдельно — женщин с детьми». Невозможно представить весь тот ужас, который пережила Бася, понять это выше человеческих сил. Девушка потеряла своих родителей, которых до этого злосчастного дня так оберегала, не огорчала, утешала, и вот их нет. Конечно, Бася понимала, что скоро и ее постигнет та же участь. Но что делать? Куда бежать?

«В воскресенье, 13 сентября, вдруг открывается утром дверь, на пороге немец и полицай: „Быстро, быстро одевайтесь!“ Мы очень испугались, но оделись как-нибудь, и нас повели на площадь. Всех собрали евреев, которые работали там».

Бася хорошо понимала, зачем их собрали, но тут, казалось, судьба подарила ей шанс на спасение: «На площади меня увидел другой полицай. Фортушняк Володя, он вместе со мной занимался в восьмом классе и говорит: „Бася, я так сделаю, чтоб ты ушла“. Но я сразу отказалась, ибо я не могу уйти одна, оставив своих родственников». Как? Почему Бася не пыталась спастись? Какими мотивами она руководствовалась? Может, Бася решила разделить участь с друзьями и родными, может, слишком много близких для себя людей уже потеряла и не хотела

ни с кем расставаться, может еще не оправилась от шока после смерти родителей. Мне трудно понять ее состояние, чувства, мысли в тот момент, когда Басю вели на расстрел: «Привели нас в лесок, поставили рядом с ямой и приказали раздеться. Голые мы стояли — и ребята, и девочки. Нас еще не расстреляли, а украинцы уже разбирали сброшенную одежду».

Украинцы налетели на одежду евреев, как коршуны на добычу, ничуть не проявляя жалости к жертвам. Как могло случиться, что жившие десятки лет мирно как добрые соседи люди превратились во врагов. Просто война — это страшное испытание, она выявляет истинные качества людей, делит на «своих» и «чужих». Мы видим, что многие поддерживали фашистов из желания поживиться за счет жертвы.

Казалось, что смерти уже не миновать: «Но в это время подъезжает на мотоцикле какой-то немец и говорит что-то другому. Потом слышим приказ, назад одеваться. Вся одежда была уже смешана, как могли так и оделись, и повели нас пешком 50 км в город Каменец-Подольский, в лагерь, где находились евреи из кругом лежащих местечек. По дороге в Каменец-Подольский издевались над нами, били, стреляли над головами. Ночью нас привели в солдатские казармы, и в них жили евреи. Когда нас привели туда, не было, где иголку бросить, так было тесно. Каждый день нас водили на работу, то на железную дорогу, таскали рельсы, то на уборку разваленных еврейских домов. Водили нас на работу полицаи-шуцманы. Кушать нечего было, и у меня стали опухать ноги».

Вот оно гетто, вот здесь начинаются адские мучения и кончается жизнь. Здесь люди выполняют самые тяжелые работы, голодают, отсюда почти нет выхода. Но люди сопротивляются, они борются за жизнь, и это уже немалое мужество. Как же они сражаются за свое существование?

«Мои друзья мне говорят: „У тебя есть много подруг среди украинцев, может быть, как-то выбраться и пойти в село за продуктами?“ Вот мы собрались и посоветовались, что я пойду в Колодиевку к своей подруге Ольге Радецкой, две другие девушки пойдут в Крушановку и в Старо-Улицу, а Яша Фасман и Сеня Лернер пойдут в село Рогизну и каждый что сможет, то и принесет. И вот 28 октября (среда) 1942 года, когда нас повели на работу в старый город, мы поодиночке начали выходить из колонны, желтые знаки оторвали и пошли. Договорились мы встретиться 31 октября (суббота), чтоб вместе могли как-то зайти в лагерь». Вот так они боролись за жизнь. Убегали за продуктами, причем не только для себя, а для всего гетто, то есть помогали другим выжить как могли. Бася к тому же говорила по-украински без акцента.

Но вот однажды Бася очередной раз отправилась за продовольствием: «Добежала я до Колодьевки, постучала к подруге Ольге Радецкой. Впустили меня, укрыли на печке. Хоть и страшно родным Оли было, а держали меня в доме и собрали целый мешок с мукой, хлебом, салом. Очень просили: „Не возвращайся в гетто! Кроме смерти там, Бася, ждать нечего“. Я другого и не ждала, но как же я в доме останусь? Для Радецких это опасно, и в гетто ждут. Надо идти».

Почему Бася решила вернуться, вернуться навстречу смерти, когда кажется надо было бежать, прятаться, спасаться?! Но в гетто ждут… Там умирают от голода, надо идти. Бася не могла оставить друзей в беде! Но на обратной дороге она узнала одну страшную новость: «По дороге я шла еще с одной женщиной, все думали, что я украинка и навстречу шел нам мужчина и говорит: „Всех евреев из лагеря сегодня расстреливают“. Можно представить мое состояние, но я и виду не подаю, иду дальше…»

Конечно, даже испуганный взгляд мог выдать Басю, но она снова проявила свою силу характера и не растерялась.

«Когда подошла к городу, я этой женщине говорю, что я хочу отдохнуть. Она ушла, и я стала поджидать этих двух девушек и мальчиков. Девушки не пришли, ибо их там расстреляли (это мы уже потом узнали), а мальчики пришли, и тут я им говорю, что будем делать, ведь весь лагерь 6600 человек сегодня расстреливают. Плачем вместе и какой выход? Что делать? Я им говорю: „Вернемся вместе, что-нибудь придумаю, пойдете со мной к моей подруге в Студеницу, а там увидим“. Так и решили. Возвращаемся, а по дороге едет немец на повозке и останавливается возле нас. Я им сказала, чтоб они молчали, а я буду говорить. Немцы не очень узнавали, кто еврей, а кто украинец, поэтому, когда он меня спросил, что я в сумке несу, он посмотрел и уехал. Ребята испугались и говорят: „Ты иди вперед, а мы сзади, а в селе Демшине возле первой хаты встретимся“. Я пошла вперед и смотрю, они тоже идут, потом я с горы зашла в лесок, а их не видно. Смотрю, смотрю, а их все нет. Пришла я в село Демшино, сижу возле хаты, попросила будто воды напиться, чтоб их подождать, и в это время останавливается машина, и хозяин этого дома заходит. Я его спрашиваю: „Вот не видели двух ребят в такой-то одежде?“ А он отвечает: „Это жиды были, их расстреляли в селе Китай-городе“. „Какие жиды? Я других ребят ожидаю из нашего села“. А сама еле держусь, чтоб не разреветься и упасть».

Я задумалась над фразой «это жиды были». Слово «жид» на польском языке обозначает «еврей», но в данном случае несет очень оскорбительную окраску, как будто евреи с их точки зрения — это не люди. В чем они провинились, за что вдруг эти украинцы так их возненавидели? Я думаю, что на самом деле они не давали себе отчета, почему они не любят евреев. В обществе существовали антисемитские настроения на бытовом уровне, которые усиливались под влиянием политики нацистов, разжигавшей ненависть к евреям.

Теперь представим состояние Баси, когда она услышала, что потеряла последних друзей, которых только что видела, разговаривала с ними, спасла от немца, теперь и их нет. И вот, когда Бася осталась одна, надо было искать любые пути к спасению. И сделать это ей помогли несколько знакомых, а также незнакомых людей.

«Уже темно стало, и я пошла в Студеницу к моей подруге Самборской — Яровой Антонине».

Конечно, Бася была уверена, что ее примут, ведь с Антониной они дружили с детства и у них были самые теплые отношения. В одном из писем Бася пишет: «Мы с Тосей Яровой были подругами с детства, она украинка, я еврейка, но мы об этом никогда не думали».

И в другом письме: «Когда всех растреляли в Каменец-Подольском гетто, я ни одной минуты не сомневалась, что Тося, ее мама и бабушка меня спрячут. Столько лет прошло, а я все помню. В 1944 году, когда освободили нашу территорию от немцев, я вернулась в село и опять пришла к маме Вашей, ибо я осталась одна, родители расстреляны, дом развален, ничего не было у меня. Это благодаря таким людям, как мама, бабушка я выжила… Ночью я пришла и не стала стучать в дом, а зашла в сарай, где корова помещалась. Села и сижу, а утром зашла Тосина мама, тетя Надя доить корову. Я ей тихонько: „Тетя Надя“. А она: „Кто здесь?“ Я: „Бася, всех сегодня расстреляли, а я осталась одна“. Она говорит: „Боже мой, Басинька, что делать?“ Вынесла мне одежду Тосину, я одела и зашла в квартиру и сразу на чердак. У них было страшно жить, ибо дом был возле немецкой комендатуры…» Семья Антонины Яровой, пряча в своем доме девушку, подвергала себя смертельной опасности, тем более что рядом была немецкая комендатура. «Мы рисковали жизнью всей семьи», — писала сама Антонина Яровая. Но тогда почему все-таки люди шли на риск, что ими руководило? В листе свидетельских показаний Антонины Яровой я нашла ответ: «Никаких денежных взаимоотношений между нами не было и не могло быть. Только чисто человеческие, добросердечные отношения».

Да, сколько смелости, человечности надо было иметь, чтоб пойти на такой поступок, на который пошла семья Антонины. Тетя Надя даже не задумывалась, а сразу переодела и спрятала Басю. Какие меры предосторожности принимали Бася и ее спасители, ведь их могли выдать? В свидетельском листе Антонина Яровая говорит: «Никто кроме семьи об этом не знал, даже соседи, которые могли продать нас всех».

Этот поступок семьи Антонины Яровой Бася никогда не забывает и в своих письмах всегда благодарит подругу. Но Антонина совсем не считала свой поступок героическим, хотя он требовал немало мужества. Наверное, она не могла поступить иначе, недаром говорят, что друг познается в беде, а она не могла оставить Басю в такой ситуации.

Так и жила некоторое время Бася в доме Яровых, но долго оставаться там было опасно и она пошла дальше: «Потом ночью через лес ушла к другой подруге в село Колодиевку, к Ольге Радецкой. Там тоже немного пожила, ведь надо было делать так, чтоб никто, даже самые близкие родственники ничего не знали».

Бася не расписывает подробно, как помогла ей Ольга Радецкая, но в свидетельском листе Ольга пишет: «Тогда, с октября 1942 года, она стала прятаться у знакомых. Ночью приходила к нам, мы ее принимали, согревали, кормили, переодевали в крестьянскую одежду (моей матери) прятали на печке». Ее семья, как и семья Антонины Яровой, рисковала жизнью ради Баси. Но шла ли помощь от чистого сердца? Ольга Радецкая ответила:

«Ни о каких денежных факторах и речи не было. Все мы были бедные, а она особенно. Я и мои родители спасали девушку по доброй совести».

Семьи жили бедно, и все-таки, когда Бася пришла к ним в первый раз из гетто за продуктами, они поделились с ней, дали хлеба, муки, не только для нее, но и для других узников гетто. Басю прятали, переодевали, и все держали рты на замках, ведь никто не знал, что можно ожидать от своих соседей, знакомых и даже родных.

Своему чудесному спасению Бася обязана прежде всего подругам и их родным, с которыми у нее всегда сохранялись теплые, можно сказать, родственные отношения. Антонина Яровая пишет: «Во время и после войны у нас оставались самые дружеские, родственные отношения».

Так же говорит Ольга Радецкая: «С тех пор и до этого времени в нас дружелюбные отношения. Она приезжала ко мне, переписывались, и теперь она живет в Израиле, мы продолжаем переписку. Нашу дружбу мы сумели пронести через свою жизнь до сего дня».

Такие взаимоотношения должны быть между всеми людьми независимо от их происхождения.

«Потом я от них (Радецких) ушла в село Гута-Чугорское к моему хорошему другу Николаю Петруку. Я думала, что он дома и поможет мне во всем, но оказалось, что его немцы забрали на работу в Германию. Его родители оказались очень хорошими и меня не выпустили никуда и спрятали на печке».

Бася не хотела оставаться, но родители Николая Петрука никуда ее не выпустили.

Она пишет: «Никто не знал, что я нахожусь у них, даже родная дочь приходила к ним и не знала, что я на печке сижу. Я за них очень боялась, ибо еще был младший брат Дмитрий 14 лет, но он тоже молчал».

То что Дмитрий знал о Басе, было настоящей угрозой для всей семьи, но мальчик 14 лет промолчал. Каждый из басиных спасителей, кто прятал ее у себя, как минимум отрезал от себя кусок, ведь во время войны даже одного человека было непросто прокормить. А в худшем случае спасители евреев платили за это жизнью.

Со слов Баси, был еще один спаситель, сыгравший важную роль в ее судьбе, о нем она узнала от Петруков:

«Однажды они как-то узнали, что Иван Онуфрийчук из села Чабановки дал документы одной учительнице, что она украинка, и она уехала с этими документами. Когда я это услышала, я сразу за это схватилась, ибо Ивана Онуфрийчука я очень хорошо знала и решила вечером пойти к нему. Он сразу понял, зачем я пришла к нему, и обещал мне сделать документы. Не знаю, чтобы было со мной, если б

он не сделал документы? Через несколько дней я пришла к нему, сидела в погребе, чтоб меня никто не видел, и 11 декабря 1942 года я получила от него такой документ: Васильевская Ольга Николаевна, по национальности украинка, 1921 года рождения. Направляется на ст. Ваннярка к своему брату. Подпись гебитскомиссара и печать. Я взяла этот документ и вечером ушла к родителям Николая, а утром 12 декабря 1942 года я с этими документами ушла».

Теперь у нее была возможность передвигаться, искать работу. Иван Онуфрийчук дал Басе шанс на жизнь, вернул ей долю свободы. Но при этом все равно сохранялся риск, что в ней опознают еврейку и донесут. А Иван Онуфрийчук за помощь Басе и другим евреям поплатился жизнью. После войны Бася пыталась найти его, и тогда она узнала, что по доносу он был расстрелян.

Но вот Бася, получив документы, отправилась в город Бар: «Все не описать, как добралась зимой в город Бар. Пришла я 14 декабря в город Бар и сразу подошла к немцам, чтоб меня пропустили. С одной стороны Бара немцы, с другой — румыны. Посмотрели документы и говорят: мы тебя не пропустим, зачем тебе идти к румынам. Я плачу, прошу пропустить, а они меня не пропустили, на следующий день то же самое».

Басины слезы мне понятны, ведь она шла в Бар, чтобы попасть в Румынию, путь был сложным, так как на улице зима, да и Бася говорит: «Все не описать, как добралась зимой в город Бар». А ее не пропустили. Тогда зачем она преодолевала этот путь?

Что теперь делать? Где найти средства к существованию? «Решила пойти на биржу труда и устроиться на работу в Бару. Пришла на биржу, а они говорят, надо разрешение от гебитскомиссара. Я пошла, показываю документ, а в это время переводчица-украинка пишет ему по-немецки: „Das ist eine jud“. Он мне: „Jud, jud“. Я ему: „Не понимаю, что вы говорите“. Тогда он: „Жид, жид“. Я ему в ответ: „Если бы я была жидовкой, неужели бы я пришла к вам“. Я на украинском языке разговаривала».

Жизнь Баси висела на волоске, ведь одна фраза «das ist eine jud» могла означать для девушки смертный приговор. Но она не растерялась, а проявила находчивость и разумно ответила, тогда гебитскомиссар дал разрешение, что Басю могут направить на работу.

«На бирже я сказала, что у меня три класса образования, и меня направили на табачную фабрику, складывала табак в ящики. Нашли мне квартиру, и так я работала. Однажды хозяйкина сестра говорит мне: „Знаешь, у нас на плодоовощном заводе работают две женщины, они говорят, что украинки, но, по-моему, они еврейки“».

Сестра хозяйки догадывалась о национальности двух женщин, но не доносила на них, на эту девушку можно было положиться. Вот так люди могли помочь даже тем, что молчали, не доносили. Бася рассказывает: «Как-то раз Люба, сестра мо-

ей хозяйки, молодая девушка, как я, говорит мне: „Я иду к ним в гости, иди со мной“. За все время я никуда не ходила, а это было в июле месяце 1943 года, и я решилась пойти с ней». Бася не чувствовала себя в безопасности, несмотря на то что у нее были документы и она отлично разговаривала по-украински.

«Когда я этих женщин увидела, и как они разговаривают, я поняла, что они еврейки. Плохо разговаривали на украинском языке. Любе я, конечно, сказала, что она ошибается, а сама через неделю пошла к ним одна. Разговорились, и говорю им: „Все говорят, что вы еврейки, надо убегать отсюда“. И я им сказала, что я тоже еврейка (наверное, была моя ошибка) и давайте вместе убежим».

Бася говорит, что совершила ошибку, действительно, возможно, они выдали Басю. Почему, я так и не поняла! А может, выдал кто-то другой, кто заподозрил в ней еврейку.

К счастью, Басе благодаря незнакомому мужчине удалось спастись. А было это так: «15 сентября 1943 года пришла на завод моя знакомая Аня, которая работала со мной на табачной фабрике, и говорит: „Оля, идем в Балки за мылом“. Я ей говорю: „Разве нас пропустят?“ Она говорит: „Пропустят“. Я сказала директору завода, чтоб он меня отпустил, и он разрешил мне пойти с ней. Нас пропустили, и, казалось бы, уже лучше, надо уходить, но я была без документов и решила, если меня не тронули, я опять вернусь. Накупили мыла и возвращаемся. Сразу надо зайти в будку к румынам. Зашли в будку, и в то время были еще люди в будке. Один мужчина дотронулся до меня и говорит: „Можно вас на минутку?“ Я ему: „В чем дело?“ Мы вышли, и он говорит мне прямо: „Вы еврейка?“ Я молчу, а он говорит, что он только из завода и меня ищут. Не возвращайтесь, ибо только что убили женщин и мальчика». И эти несколько слов спасли Басю от смерти.

«Я вызвала Аню и говорю ей, что я еврейка и больше туда не буду возвращаться. В Балках жил брат Ани, и я к нему пошла. Он дал мне адрес к его знакомым евреям, которые жили в городе Копайгороде Винницкой области. Там евреи жили в гетто, очень тяжело там было. Но там не убивали… 20 марта 1944 года нас освободила Советская армия, и мы могли опять свободно дышать, учиться и трудиться».

Но сколько человек так и не дожили до этого дня — трудно представить! Бася пишет: «Когда я получала паспорт, меня спросили: кем хочешь быть — еврейкой или украинкой? Я ответила — еврейкой и опять стала Шварц Бася Абрамовна».

Да, на пути Баси встречались и спасители и предатели. К сожалению, предателей было гораздо больше. Они даже не осознавали, почему не любят евреев. В обществе существовал бытовой антисемитизм, усиливающийся под влиянием фашисткой пропаганды. На это и опирались нацисты. Я убедилась, изучая литературу, что среди исполнителей страшных казней было много местных палачей. Без участия местного населения в уничтожении евреев, выживших было бы гораздо больше.

Басе удалось спастись благодаря своему самообладанию. Ни в одной ситуации она не растерялась, всегда себя сдерживала, контролировала, ведь выражение испуга, растерянности на лице Баси могли сразу ее выдать.

Но главная причина, по которой Бася выжила, — помощь и поддержка со стороны ее друзей, знакомых, а также незнакомых людей. Только по свидетельским показаниям я установила, что 15 человек проявили участие в судьбе Баси и помогли ей выжить. Каждый помогал в силу своих возможностей… Кто-то приютил, кто-то накормил, кто-то переодел, кто-то сделал документы, кто-то предупредил, а кто-то просто промолчал, не донес. «Это люди с большой буквы», как говорит сама Бася.

Антонине Яровой, Ольге Радецкой, Ивану Онуфрийчуку и семье Петруков комиссией «Яд Вашем» были присвоены звания «Праведников Народов Мира». На их имена на территории всемирно известного музея Катастрофы в Иерусалиме, на аллее мира высажены деревья.

Для того чтобы спасти еврея, в то время требовалось немало душевных сил и характера. Опираться можно было только на членов семьи, и то не всех. Ведь даже промолчать было не так-то просто.

Я все больше и больше восхищаюсь людьми, которые принимали участие в спасении Баси, людьми, которые жертвовали своей жизнью и жизнями близких. И одна из спасительниц — бабушка моей одноклассницы! Мне захотелось выяснить, а какой была Антонина Федоровна в повседневной жизни?

В первую очередь мне было интересно узнать, в какой семье воспитывалась Антонина Федоровна. С этим вопросом я обратилась к Олиной маме: «Моя бабушка, это мама Антонины Федоровны, она девятисотого года рождения. Они были в свое время очень богатые. Практически все село украинское, все жители этого села были у них в наймах (вот как говорили на Украине) в общем, в работниках.

Их, естественно „раскуркулили“, все у них отобрали. Поместье, в котором они жили, взяли под сельсовет, позже уже под школу, а им отдали прадедушкину слесарную мастерскую, где он любил в свободное время починить, построгать. Вот это был наш дом, куда меня привозили в глубоком детстве. И время-то было такое, что особенно образование получать было некогда и негде. И к тому же, вы понимаете, отношение всех вокруг к нашей семье, потому что из богатых. Не любили и чуть ли не камни в спину бросали, стоило пройти. Но при всем при этом моя бабушка, мама Антонины Федоровны, даже в старости, когда я ее знала, была женщиной очень такого твердого характера, очень волевая. Вот она очень держалась крепко за жизнь руками. Она работала звеньевой в колхозе, при своем происхождении, так скажем антисоветском, тем не менее все равно занимала пусть маленькую, но руководящую должность. К ней прислушивались.

А вот бабушка, Надежда Самборская, о которой я сейчас рассказывала, вышла замуж за адвоката, в прошлом дворянина, с высшим образованием в то время.

Антонина Федоровна родилась в 20-м году, очень страшные годы, последствия Гражданской войны, репрессии. Это все-таки украинская глубинка, и тем не менее Антонина Федоровна получает медицинское образование, фельдшера. На то время это было довольно высокое медицинское образование. Она не была врачом, она не имела высшего образования, но даже сейчас фельдшер выше, чем медсестра.

Всю жизнь, будучи замужем за кадровым военным, ездила за ним по военным городкам, по гарнизонам. В то время когда другие жены офицеров не работали, Антонина Федоровна работала всегда, везде. Она работала медиком в военных госпиталях гарнизонных».

Теперь мы имеем примерное представление о семье Антонины Федоровны. Благородство, спокойствие, выдержанность и уравновешенность — это не просто похвала любящей дочери Антонины. Спасительница Баси обладала этими качествами в реальной жизни. Антонина Федоровна была человеком спокойным, решительным, способным проявить самообладание. Становится понятным, почему она и ее мама и бабушка без колебаний предоставили кров, еду, одежду перепуганной девушке, чудом уцелевшей, пережившей потерю всех родных и близких. А ведь рядом, через дорогу, находилась немецкая комендатура, к тому же мама Оли сказала: «Тоня была фельдшером, почти врачом, тогда, в то время, к ней приходило очень много немцев, это было просто очень опасно. Сами понимаете, на чердаке еврейская девушка, внизу три женщины, три поколения, и постоянно немцы в доме».

А какой была Антонина в домашней обстановке? Почему так важно, что именно в домашней? Потому что человек может по-разному вести себя в общественных местах и дома. На людях он может скрыть какие-то черты характера и проявить себя с лучшей стороны, а дома расслабиться и показать себя таким, какой он есть на самом деле со всеми преимуществами и недостатками. Выяснилось, что Антонина Федоровна обладала еще одним важным качеством — интеллигентностью. Мама Оли рассказывает: «Я не помню, чтобы она сильно на чем-то своем настаивала, повышала голос. Папа у нас был фронтовик, всю войну прошел, подполковник, должность у него была командирская, поэтому, конечно, в доме был хозяин он однозначно. И даже когда что-то решать надо было, какие-то вопросы, то мама решала их очень нежно, очень так тихо, они даже ссорились шепотом на кухне, чтоб мы не слышали».

Хотелось бы также отметить, что вся семья — это люди способные сопереживать горю и страданиям других людей. Когда мама Антонины Федоровны, Надежда, неожиданно обнаружила Басю в своем сарае, то, не задумываясь, решила спрятать на чердаке. А другой сначала подумал бы о том, что может его ожидать, спрячь он еврейскую девушку. Надежда могла столкнуться с несогласием своих родственников, но этого не произошло. Их семья тоже пережила ряд тяжелых потерь и понимала, что значит остаться без любимых людей. Мама Оли рассказала нам: «Отец бабушки очень молодым умер. Ехал на поезде, заболел тифом, и сняли с поезда, и он умер». Так Антонина Федоровна потеряла отца, но это не

единственная ее потеря. Олина мама рассказала мне еще один факт из биографии своей мамы: «Я еще хочу сказать, что в 18 лет Антонина Федоровна вышла замуж за Павла Ефимовича Ярового. Он был в их школе учителем. Молодой, интересный, очень веселый, украинец, с такой ямкой на подбородке, черноглазый. Он полюбил Тоню, она была очень худенькая, очень миловидная. Миловидной она была, кстати, всю жизнь. И женился. В 39-м году у них рождается мальчик, назвали они его Боря, в том же году Павла Ярового забирают в Красную Армию, а потом началась война, и домой он уже не вернулся. А мальчик маленький, Боречка, к сожалению, в полгодика умирает от двухстороннего воспаления легких, пневмонии, тогда ее не лечили. Умирает прямо на руках у своей 19-летней мамы». Антонина Федоровна через все это прошла и еще находила в себе силы помогать Басе.

А какие отношения у Баси и Антонины складывались в послевоенное время? С этим вопросом я обратилась к маме Оли: «Ой, девочки, я вам говорю, это настолько близкие люди, семьями дружили, мы встречались. В Студеницах никого у тети Баси не было, все были расстреляны, и вообще из всего этого села она одна уцелела. Приезжала со всем своим семейством к нам домой, к моей бабушке. И мама приезжала всегда в Одессу к тете Басе, и были дружны очень с родственниками тети Баси, дальними, потому что близких никого у ней не осталось, все были расстреляны. Вот такие отношения всю жизнь. Я очень хорошо знала тетю Басю, она ко мне относилась как к своей дочери. Мы жили в Днепропетровске, а тетя Бася со своими близкими жила в Одессе, но тем не менее все равно мы встречались, в той же Студенице».

Вот такие родственные отношения были у Антонины и Баси всю жизнь. Для Баси Антонина была не просто подругой, а еще и спасительницей. Но Антонина совсем не считала себя таковой. Хлопотала о дипломе и медали «Праведницы Народов Мира» Бася. То, что Антонина не считала себя героем, доказывают слова ее дочери: «Антонина Федоровна никогда подробно не рассказывала о тех тяжелых временах, так чтоб мы сели семьей вечером за чаем и вспоминали, такого не было, потому что каждое воспоминание — это рана кровоточащая. Они, конечно, с годами уже зарубцевались, но это все равно больно вспоминать, тяжело».

Действительно тяжело вспоминать о тех временах, но все-таки, если бы Антонина Федоровна гордилась своим поступком, она бы непременно о нем рассказала своим детям. Поэтому я сделала вывод, что для Антонины Федоровны ее поступок не был героическим. Она считала, что так должен поступить каждый уважающий себя человек, для нее не было другого выбора, как только приютить еврейскую девушку. Только проникните в смысл названия награды Антонины: «Праведник Народов Мира». Праведник, человек, живущий по законам Божьим, именно такой была Антонина Федоровна. И для нее это было так естественно, что ей и в голову не приходило считать себя героиней.

Я попыталась осмыслить и представить масштабы трагедии холокоста через судьбу еврейского населения села Студеницы. По словам Баси Абрамовны, до войны в местечке проживало около 80 еврейских семей. Если представить, что

в каждой семье было хотя бы по два–три ребенка, то фашисты только в этом селе уничтожили примерно 320–400 евреев. Но я предполагаю, что эта цифра была гораздо больше, ведь семьи были многодетные, а еще надо учесть и бабушек и дедушек. И из всех выжить удалось одной Басе. Я открыла для себя масштабы преступлений нацистов, одной из жертв которых стал еврейский народ. А возможно ли повторение трагедии? Есть ли опасность возрождения фашизма, или это трагедия прошлого тысячелетия?

В нашей стране историческая память о холокосте постепенно стиралась. После войны проводилась политика замалчивания и отрицания холокоста. Это выражалось в том, что запрещалось, чтобы на памятниках была надпись, говорящая именно о еврейских жертвах. Власти этого не допускали. Конечно, среди жертв были и русские, и белорусы, и украинцы, но ведь ни один народ не истреблялся так планомерно и целенаправленно, как евреи. На памятниках, поставленных на местах расстрела, исключалось вообще присутствие какой-либо еврейской символики, а надпись была стандартная: «мирные советские граждане».

Но холокост все равно оставил свой след: в обществе продолжал существовать антисемитизм, не официально, но он существовал. Права евреев ущемлялись, их могли не принять на работу, в учебное заведение, только потому что у них в паспорте написано «еврей». Конечно, в объяснении указывались другие причины, но евреи чувствовали неполноценность, недаром многие уехали жить в Израиль, а другие «поменяли национальность», сделав русские паспорта. Сегодня многие, даже взрослые люди, ничего не знают о холокосте. Я попыталась выяснить, что известно об этой трагедии учащимся восьмых классов, было опрошено 59 человек. Из них только 11% всего лишь слышали о холокосте, а остальные даже слова такого не знают. В анкетах на вопрос «Что ты знаешь о холокосте?» — я обнаружила такие ответы: «Я ничего не знаю о холокосте». Или: «Это журнал». Однако в речи восьмиклассников присутствуют такие слова, как «жид» или «еврей», естественно, с негативной окраской. Но откуда они берутся и какой смысл школьники вкладывают в эти слова? Я думаю, что никакой, они просто считают, что «еврей» — это оскорбление. А почему, даже не задумываются! На учебниках и стенах подъездов рисуют фашистскую свастику. Даже для эмблемы школьной газеты в анкетах несколько человек нарисовали свастику.

А хотят ли школьники вообще знать о холокосте? К моему сожалению, я выяснила, что всего 40% восьмиклассников хотят узнать об этой трагедии. А остальные? Оказывается, что для многих эта проблема не представляет интереса. Я не думаю, что все они жестокие равнодушные. Возможно, это последствия политики умалчивания, которая проводилась на официальном уровне. Я считаю, что это опасно. Я пришла к выводу, что холокост — это всечеловеческая трагедия, трагедия каждого из нас, а не только евреев. Как сказал Михаил Гефтер: «Никогда не бывает геноцида против одного народа. Геноцид всегда против всех». Тогда унижали евреев, а кого унижают сегодня? Кто сейчас предстает в «образе врага»? Из 59 восьмиклассников 26 человек питают ненависть к другой нации. Я выяснила, что у 85% «образ врага» представляют лица кавказской национальности. 36% затрудняются ответить, почему они испытывают неприязнь или не-

нависть. У остальных почти все ответы повторяются: «Наглые, злые… Стесняют россиян… Пристают на улицах». По большинству ответов можно судить, что личная неприязнь у большинства школьников формируется в результате влияния чужих мнений: друзей, родителей, знакомых. Мне встречались и необдуманные ответы. Например: «Их говор дурацкий». Но еще больше я удивилась, когда в одной анкете прочитала такой лозунг: «Россия — для русских». Подобные лозунги я слышала из уст некоторых политиков, и восьмиклассник просто повторяет его. И это, на мой взгляд, особенно опасно.

Итак, какую бы форму ни приобретал геноцид, какой бы маской он ни прикрывался, он существует и представляет нам угрозу. Сегодня возрождение фашизма — это реальность, это опасность. Не надо сидеть сложа руки и думать, что беда обойдет тебя стороной. Я открыла для себя эту истину, хотелось бы, чтобы она открылась и другим, чтобы мы научились извлекать уроки из собственной истории.

Память и предупреждение

Татьяна Никитина, Мурманская область, г. Мончегорск
10-й класс, научный руководитель Е. А. Зубкова

Уже с самого начала меня затянуло: источник, с которым я начала работать, оказался очень интересным. Больше всего меня поразило отношение одноклассников к тому, что я решила заняться такой работой. Многие говорили, что-то вроде: «Тебе заняться нечем?» или «Кому это надо? Пусть другие своими евреями занимаются, а ты все равно этим никому не поможешь». Некоторые ребята просто удивленно раскрывали рот, услышав, о чем я пишу. Но их отговорки не убедили меня бросить все, а, наоборот, усилили уверенность в том, что это кому-то нужно. Это нужно именно им, тем ребятам, которые ничего не знают…

Моя цель — понять, *что представлял собой оккупационный режим* и как люди выживали в условиях «нового порядка». Я хочу понять, *какие отношения были между людьми разных национальностей* и почему они складывались именно так.

Работа основана на дневнике 15-летнего мальчика Романа Кравченко, написанном в оккупации, в городе Кременце на Волыни. Этот источник можно назвать уникальным, ведь это свидетельство очевидца событий, довольно полное и достоверное, а главное то, что велся дневник с первых дней оккупации, с июля 1941-го по январь 1944 года. Для меня дневник интересен и тем, что вел его 64 года назад мой ровесник. Я попыталась не только посмотреть на события его глазами, но и показать свое личное отношение к тому, что происходило в Кременце с приходом фашистов.

Я думаю, что во время оккупации дневник был своеобразной отдушиной. Ведь сказанная вслух мысль могла привести к страшным последствиям. А дневник стал как бы другом, которому можно рассказать все. О том, что 15-летний Ромка Кравченко ведет дневник, не знала ни одна душа, даже родители не догадывались. У Ромки было несколько источников, из которых он получал информацию. Он видел, что происходило вокруг, слушал радио, читал немецкие газеты. Роман записывал то, что впоследствии окажется бесценным историческим материалом.

В интервью Роман Александрович рассказал, как сложилась судьба дневника. «Я вел этот дневник все время оккупации, то есть с июля 41-го по январь сорок 44-го года. Я собирался закопать его, в общем, запрятал на чердаке в нашем доме родительском. Но когда я оказался на фронте, то я понял, что о нем может вообще никто не узнать, поскольку на фронте убивают. И я написал об этом дневнике отцу. Он его нашел, почитал и пришел к заключению, что его надо передать Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию зверств немецко-фашистских оккупантов. Была такая комиссия во время войны и после войны

в течение ряда лет. Этот дневник таким образом оказался в Москве, а затем в числе документов Нюрнбергского процесса. Потом, когда дневник возвращали, об этом было письмо из Федеральной прокуратуры, извинялись за задержку с возвратом дневника, поскольку она была связана с Нюрнбергским процессом. Дневник мой отец передал в местный историко-краеведческий музей. Это небольшой город на Украине Кременец, теперь это Тернопольская область. И дневник находится там…» Значит, мечта мальчика сбылась, и впоследствии дневник был представлен советским обвинением на Нюрнбергском процессе.

Но, имея такую огромную историческую ценность, дневник не стал достоянием общественности, не стал доступным широкому кругу читателей. Только в 1998 году автор издал собственные мемуары, куда включен и дневник, но совсем маленьким тиражом. Сам Роман Александрович в шутку называет их «мемуаразмами». Мемуары доступны только узкому кругу друзей. Роман Александрович с радостью согласился на то, чтобы я использовала дневник и его воспоминания в своем исследовании. Он очень хочет, чтобы люди узнали о дневнике, чтобы он получил широкую огласку.

В процессе работы с дневником я попытаюсь представить картину событий с первого дня оккупации. Роман Кравченко пристально следил за жизнью в гетто в его родном Кременце. В этом гетто находилась еврейская девочка Фрида (в дневнике он называет ее Ф.), одноклассница Ромки, «его первая любовь». Кременец повторил судьбу многих других городов, занятых фашистами, именно поэтому по сведениям, содержащимся в дневнике, можно судить о том, что происходило на всей оккупированной территории Союза.

«*17 июля 1941 года*. Утром ходил к Ф. В городе висит распоряжение: всем евреям носить на рукаве белую повязку с шестиконечной звездой. Они превращаются в рабов Германии. Бедная Ф., что с ней будет? …Очень тяжелое время. Переживем ли мы его? А как должны себя чувствовать евреи, Ф.? Она говорит, что хотела бы, чтобы ее убили…»

Первым из мероприятий — идентификация евреев. Для этой цели они вынуждены были носить отличительные знаки. Дело в том, что регистрация и обозначение евреев создавали особое отношение к ним. Эти меры имели прежде всего огромное моральное и психологическое значение. Теперь они были будто пришельцы с другой планеты.

«*18 июля 1941 года*. Был в городе, видел Ф. Она стояла в очереди за хлебом. Она в последнее время очень плохо выглядит. Сказываются бессонные ночи, когда с минуты на минуту ждешь, что ворвутся националисты или немцы и начнут бесчинствовать. Бывали случаи, когда они ночью врывались в дом и требовали девушек. Разве этих разбойников и грабителей можно сравнить с бойцами Красной Армии?! У немцев практикуется такая система. Приходишь к офицеру и говоришь, что тебя ограбил немецкий солдат. В ответ офицер дает тебе в морду и отвечает, что солдаты Германской империи не грабят, грабить могут только большевики. Вот так освободители!»

Спустя многие годы Роман Александрович в интервью вспоминал: «Мы были семиклассниками, мы дружили с ней. Мы оказались в 39-м в советской школе. Даже в первые недели оккупации, когда еще этот режим еще не был в полной мере введен, мой отец приводил эту девочку к нам домой. А потом были приказы надеть повязки со звездой Давида. Потом, значит, желтые латы десятисантиметровые. И просто стало невозможно уже встречаться и тем более оказаться на улице вдвоем. Это было смертельно опасно. Вначале мы этого не понимали. Были отдельные факты, они описаны в дневнике, когда в одном доме нашли молодую еврейскую женщину, которую прятали уже после этого всеобщего истребления. Это закончилось тем, что хозяина расстреляли тут же и ее тут же застрелили. Она была брошена просто на улице, труп».

Из записей видно, что немцы не церемонились с евреями, устраивая беспорядки, погромы. Все это считалось нормальным положением вещей. Евреи лишились всяческих прав, фактически они стали «рабами Германии», как отмечает Роман Кравченко, а значит, просить защиты и помощи им было не у кого.

«*20 июля 1941 года*. …Стоял в очереди за хлебом. Хлеб получить почти невозможно, распорядители — «милиция» — пропускают первым делом своих знакомых, потом нахалов, которые лезут вне очереди. Потом только очередь. В очереди стоит еврей, он близко к заветной двери с выбитыми стеклами. Подходит «милиционер» и ставит его в конец очереди. Проходит полчаса, и картина повторяется. В конце концов он идет домой, где верещат голодные дети».

Возможно, кто-то удивится, но именно этот отрывок дневника поразил меня больше всех остальных, включая сцены расстрелов и издевательств. Все описано так просто и так глубоко.

«*23–25 июля 1941 года*. …23-го была созвана в гестапо вся еврейская интеллигенция, их всех там задержали. Теперь часть выпущена, часть расстреляна. В общем уже арестованы в Кременце более 600 человек».

Начинаются убийства евреев. Немцам мало моральных унижений и оскорблений, избиений и всяческих издевательств над евреями. Теперь настал час физической расправы, убийства. Арестованные, по-видимому, тоже будут расстреляны. Почему первыми стали представители еврейской интеллигенции? Может быть, именно из этих людей создавались так называемые юденраты, контролирующие действия еврейских общин и несущие также полную ответственность за действия евреев.

«*21 августа 1941 года*. …Теперь самая важная новость: мероприятие № 2 против евреев. Вывешено объявление на еврейском и немецком языках, следующего содержания: с 20 августа евреям запрещается ходить по тротуарам по причине большого движения. Для них достаточно мостовой. Дальше. Если еврей встречает на своем пути немца, он должен его обходить на расстоянии четырех метров. Если это распоряжение будет нарушено, то при первом случае еврейская общи-

на обязана будет уплатить 10 000 рублей. При повторном нарушении все евреи подвергнутся выселению из города. Не будем это наказание комментировать, и так все ясно…»

Для евреев ввели правила, абсолютно чудовищные с точки зрения любого нормального человека. Это было сделано для унижения и оскорбления, а также для того, чтобы был лишний повод для репрессий. Эти распоряжения также ставили своей целью «разделить» евреев и всех остальных, поставить еврейское население на положение значительно более низкое, чем положение других жителей Кременца.

«*29 сентября 1941 года*. …27-го введены новые «знаки отличия» для евреев: желтые круги диаметром в 10 см на груди и спине. Вид препротивный. Что будет дальше и чем это все кончится?..»

«Знаки отличия» изменили, по-видимому, для того, чтобы они больше бросались в глаза. Как уже было сказано выше, идентификационные знаки в разных населенных пунктах выглядели по-разному. Их внешний вид зависел от фантазии местных чиновников. Опять же — еще один повод для репрессий. Наверняка не все евреи успевали следить за столь быстро меняющимися приказами и распоряжениями, менять повязки в соответствие с требованиями, а это позволяло фашистам лишний раз наказать «нарушителей закона».

«*23 октября 1941 года*. С самого утра узнал новость местного значения: „кто-то“ поджег синагогу. Ночью я слышал стрельбу. В это время синагога уже горела, а стреляли немцы, от восторга. Они, по-видимому, совершали вокруг нее „танец дикарей“. Утром, когда вокруг синагоги собралась толпа, пришел офицер, сказал всем отойти. Вынул гранату, с фасоном поплевал на нее и бросил в окно. После этого обвалилась крыша. Между прочим, очень хорошо работали пожарные: они стаскивали внутрь горючие материалы (наверное, для того, чтобы скорей догорела: новый способ борьбы с пожарами)».

24 октября 1941 года. …Поговаривают, что в Кременце заводят гетто для евреев. Они в панике. По слухам, взять с собой можно будет только одежду, кровати, постель. А они ведь поступали правильно: продавали все и меняли на продукты. Теперь — крышка…»

Следующий этап борьбы с евреями — гетто, закрытая часть города, где они должны были проживать. На территории СССР существовали два типа гетто — закрытые и открытые. В данном случае речь идет о закрытом гетто. Перед изоляцией евреев у них изымались все ценности, а список разрешенных вещей был очень ограничен. Люди, понимая, что их имущество будет отобрано, в спешке меняют все на продукты, которые, по крайней мере, не пропадут, а будут съедены.

«*31 января 1942 года*. …Евреям отдан приказ очистить десять улиц, на которых живут немцы. Это — до 14-го. А в течение следующих шести недель в городе будет организовано закрытое гетто.

В город противно выйти. Картины, какие не повторяются. Люди молча оставляют свое добро. Для них выделены самые грязные, густо заселенные улицы. В городе 10 тысяч евреев. Если всех их упаковать в эти улочки, то одно можно сказать наверное: тиф…»

Гетто — не просто временная изоляция для людей. Для них выделены самые грязные, густо заселенные улицы, в которых невозможно выжить. Очевидно, что люди обречены на смерть. Даже для 15-летнего мальчика это ясно. Люди, которых переселяют в гетто, не сопротивляются, понимая, что сопротивление бесполезно, а возможно, еще и потому, что цена сопротивления могла быть слишком дорогой — жизнь родных и близких. Людей буквально загоняли в гетто, словно животных в загон. У меня просто не возникает других ассоциаций. Но, кроме уничтожения евреев, создание гетто преследовало и другие практические цели… Удобнее было контролировать действия евреев, так как не приходилось следить за ними по всему городу. И легче грабить, когда имущество сосредоточено в одном месте.

Среди немецких пособников оказалась специально созданная еврейская полиция. Местные называли их «серафимами», «херувимами», «протодиаконами», как бы издеваясь над их верой и набожностью, а может, и из-за знака в виде креста. Почему некоторые евреи шли на это? Возможно, потому, что им обещали определенные привилегии, а возможно, их просто поставили перед выбором: в полицию или на смерть… Как установил историк Илья Альтман, «помимо перечисленных выше функций (регистрация, учет, расселение в гетто, сбор контрибуций, коллективная ответственность за поведение общины), юденраты отвечали за поставку рабочей силы, оплату труда, распределение продовольствия и организацию питания, социальную помощь и медицинское обслуживание, взимание налогов и штрафов, обеспечение чистоты и порядка в гетто, деятельность мастерских, магазинов, рынков, разрешение административных дел. Важной функцией юденратов, согласно приказу немецких властей, стала подготовка списков для переселения в гетто (в том числе в другие, более крупные населенные пункты), трудовые лагеря, а также на депортацию».

«*13 февраля 1942 года*. Переселение в гетто все еще продолжается. Они перевозят решительно все, вот что удивительно. По-моему, удовлетворительное объяснение только одно: наш комиссар знает цену деньгам. Надо ведь пользоваться случаем, пока есть возможность, а он — парень не промах».

Новый комиссар действительно разрешил перевозить в гетто так много вещей для того, чтобы они не пропали, не были разграблены местным населением. Он знает, что евреям в гетто не выжить. Так зачем же утруждать себя сбором имущества по всему городу, когда после уничтожения евреев все останется в гетто целым и невредимым и нужно только прийти и взять все что твоей душе угодно.

«В связи с гетто все евреи должны побрить головы, а женщины — постричь помужски. Представляю, каково расставаться с бородой ветхозаветному раввину… Вчера наблюдал у парикмахера тяжелую картину: туда пришла очень ин-

теллигентного вида еврейка с чудной густой косой. Когда парикмахер отрезал ее, с женщиной произошла истерика.

И еще. Еврейские девушки «на гвалт» выходят замуж: комиссар потребовал от еврейской общины поставить для немецкого публичного дома 60 девушек. Пока есть двадцать, остальные повыходили замуж. Не знаю, что комиссар на это. Тут, по-видимому, большую роль сыграют опять-таки «сребреники».

Публичный дом — еще одна дикая идея немецкого командования. Девушки выходят замуж в надежде избежать этого. Думаю, что если бы фашисты действительно захотели создать публичный дом, им не помешало бы замужество девушек. Им, людям без всяких нравственных принципов, людям, которые, не задумываясь, могут убить ни в чем не повинного человека, было бы на это решительно наплевать. В любом случае немцы оказались бы в выигрыше. Они получили бы или девушек, или деньги, откуп за них.

«*22 февраля 1942 года*. …Наша бывшая Широкая, потом Мазепы и теперь Риттерштрассе принимает необычный вид, одна ее сторона отходит к гетто, там загораживают все улицы и переулки заборами, забивают досками все окна и двери… Одна сторона улицы живая, рестораны, милиция пьяная шумит, другая — забитая, мертвая, отвратительная. И есть люди, которые радуются этому новому облику города. Гетто огораживают со всех сторон, вход будет, кажется, только со стороны сгоревшей синагоги.

И еще о публичном доме: так и открутились, это обошлось в 60 000 рублей, по тысяче за каждую».

Сооружение гетто идет быстрыми темпами. Евреи будут жить в мире, совершенно отличном от того, в котором живут все остальные. Уже сейчас эта разница, этот контраст бросается в глаза. Есть люди, которые радуются этому. Скорее всего, эти люди просто не понимают, что происходит, или не хотят понимать. Они рады тому, что сами живы, а на всех остальных им глубоко наплевать.

«*1 марта 1942 года*. Вчера в четыре часа гетто закрыли. Теперь ни войти, ни выйти нельзя без специального разрешения. Такие разрешения только у тех, кто работает на предприятиях города. Проводятся последние мероприятия по полному отделению евреев: заколачивают все двери и окна, выходящие на „христианские“ улицы».

Евреев полностью изолировали, у жителей гетто нет теперь связи с внешним миром, теперь они «другие», живущие в каком-то своем маленьком мирке, лишенные всяких прав, не знающие того, что с ними произойдет в следующую минуту. Теперь жители гетто полностью зависят от немцев — они не могут общаться с местным населением, не имеют возможности достать какие-то продукты им приходится обходиться средствами, взятыми с собой в гетто… То, чего опасался автор в начале дневника, произошло.

«*28 апреля 1942 года*. …Но вот картина, свидетелем которой я был вчера. Большая партия евреев под эскортом „архангелов“ возвращалась с работы, человек четыреста. У входа в гетто их задерживает „милиция“ во главе с жандармом в каске. Жандарм с проклятиями выволакивает из толпы десять жертв. Крики, шум. Жертв окружает „милиция“ и уводит. Вот и все. Они не вернутся. Вчерашней ночью из гетто забрали 300 человек, их тоже вывезли. Эти события вызвали такую панику, что остальные, отработав свое время, остались на предприятиях ночевать, боясь возвращаться домой.

Но это не все. Известно, что немцы, испытав какое-нибудь новшество на евреях, немедля переходят и на „свободное население“…»

Становится ясно, что власти не информируют население о своих действиях. Группу евреев схватили и куда-то увезли. Народ паникует, потому что знает, что если что-то испытали на евреях, то скоро перейдут на остальное население города. Это своеобразный способ запугать местное население, парализовать страхом, подчинить их себе.

«*20 июля 1942 года*. …Опять начинается нажим на евреев. Им приказали выдать из своей среды 300 коммунистов. Кажется, все это кончится так, как в Ровно, где в настоящее время евреев нет совершенно, если не считать нескольких десятков специалистов, которых до поры до времени пощадили».

«*8 августа 1942 года*. …В городе ожидается еврейский погром. Все данные говорят за то, что он должен произойти в ближайшее время. В городе имеется шесть грузовиков, принадлежащих гебитскомиссару. На них устроили высокие загородки из досок. В городе опять появилось гестапо; они одолжили на предприятиях около сотни заступов и лопат. Ясно?»

Готовят грузовики, на которых устанавливают загородки из досок, для того чтобы перевозить людей, приготовлены около сотни лопат, в городе — гестапо. Именно гестаповцы совершали массовые убийства евреев, поэтому их приезд — верный признак приближающейся трагедии. Все факты говорят о том, что в ближайшее время жителей гетто уничтожат. Даже для 15-летнего мальчика очевиден исход всего происходящего.

«*Вечером* объявлено что-то вроде осадного положения. Ходить можно только до шести. Днем был в городе. По нашей главной улице Широкой — Риттерштрассе ходить нельзя, там масса милиции. Они стреляют, если в гетто кто-нибудь выглянет в окно или появится на улице… По некоторым сведениям, утром вывезли около 1500 человек — врачей, инженеров, ремесленников. По-видимому, вывезли тех, кого не будут расстреливать. Говорят, в гетто есть оружие, оттуда отстреливались, даже будто бы убили жандарма. Жаль, что только одного».

Автор дневника предполагает, что вывезенные утром из гетто врачи, ремесленники и инженеры — это те, кто не будет расстрелян. Как уже упомянуто выше,

они некоторое время послужат немецкой армии, нуждающейся в специалистах. Жители гетто отстреливаются. Просто поразительно, как измученные, изголодавшиеся, обреченные на смерть люди находят силы бороться. Роман выражает сожаление о том, что убит только один жандарм. Вообще в его словах на протяжении всего дневника присутствует немалая доля иронии и злорадного ехидства по отношению к немцам.

«Стрельба, замолкшая днем, сейчас опять усилилась. Что будет ночью?

Эта сволочь имеет наглость называть себя христианами, у них даже на поясной пряжке надпись „Gott mit uns“ — „С нами Бог“. Если он есть, то хорош же Бог, который смотрит на все это спокойно».

Замолкшая днем стрельба снова усилилась, что свидетельствует о приближении трагедии. Спустя много лет после описанных событий Роман Александрович напишет, что тогда, когда писался этот дневник, он не верил в Бога. Но как же сильно тогда было его негодование по отношению к нацистам, если он, неверующий, убежденный атеист, вспоминает о Боге, записывая эти строки.

«Слышен пулемет. Что должны чувствовать люди, обреченные на смерть, забившиеся по углам своих домов? Жуткая тишина. Ясно доносятся пощелкивание револьверов, короткие пулеметные очереди и тяжелые удары шуцмановских винтовок. Предстоит тяжелая ночь. Если они решили защищаться, это может продолжаться и целую неделю: попробуй повытаскивай их из всех погребов в этом грязном, в закоулках, квартале…»

Пулеметные очереди, пощелкивание револьверов, удары винтовок — в гетто пытаются сопротивляться, защищаться.

«*11 августа 1942 года*. Последний акт трагедии в нашем городе подходит к концу. Пишу о вчерашних событиях. Вчера не мог, не был в силах.

За вчерашний день расстреляны около пяти тысяч человек.

У нас за городом — старый окоп, длиной около километра. Окоп Якутского полка, стоявшего в нашем городке при царе. Там производят экзекуцию.

Вывоз из гетто начался приблизительно в три часа утра и продолжался до поздней ночи.

Ужасное зрелище! Ворота гетто широко открыты, и за ними — очередь обреченных, по двое в ряд. Подъезжает автомобиль, очередь в молчании подвигается, первые пары укладываются на дно грузовика, следующие — на них, так — в несколько слоев. Полное молчание — ни говора ни плача. Пьяные в стельку шуцманы подгоняют отстающих прикладами, ими же утрамбовывают лежащих в грузовике. Грузовик отъезжает, дает газ и мчится за город.

Навстречу ему едут такие же грузовики с высокими дощатыми бортами, наполненные одеждой. На ней сидит „милиционер“, с довольным видом играет дамским зонтиком. Вид у него довольный недаром: полные карманы часов, пять вечных перьев, несколько костюмов и каракулевое пальто он оставил по дороге в верном месте. Кроме того, он выпил по крайней мере литр.

Грузовик мчится за город. Четыре шуцмана, стоящие по углам, то и дело матерятся и опускают приклады на спины лежащих.

И вот место назначения.

Грузовик останавливается, обреченные сходят, раздеваются тут же, мужчины и женщины, и по одному движутся ко рву. Ров наполнен телами людей, пересыпанных хлорной известью. На валу сидят два раздетых по пояс гестаповца, в руках пистолеты.

Люди спускаются в ров, укладываются на трупы. Раздаются выстрелы. Кончено. Следующие!

Не знаю, что может чувствовать человек в свою последнюю минуту, не хочу думать, можно сойти с ума.

Были такие, кто пробовал сопротивляться, не хотел раздеваться, не хотел входить в ров. С ними кончали на месте и сбрасывали в яму.

Вот она заполнена, милиция присыпает ее землей.

Очередь движется к следующей, места всем хватит.

Вот один, раздетый уже догола, пригибаясь к земле, побежал по полю. Гестаповцы ухмыляются, следя за ним. Он отбежал уже метров двести. Тогда оба, спокойно прицеливаясь, начинают стрелять. Через несколько минут и его сбрасывают в яму.

Видели человека, который, направляясь к яме, жевал хлеб.

Милиционеры, единственные непосредственные свидетели всего этого, после нескольких минут пребывания там, трезвеют. Их заряжают новой порцией алкоголя.

Гестаповцам заряжаться не надо.

Им это не впервой.

Они забрасывали еще живых людей гранатами в ямах в Ровно и наблюдали потом, как земля двигалась под напором шевелящихся тел, это на них не действовало. Они расстреливали бесконечные ряды людей, выстроенных над дорожными рвами в Киеве. Они перед погромом в Дубно отделили всех специалистов,

предложили им выбрать по одному ребенку из своих детей и возмущались, впадали в бешенство, когда эти несчастные отказывались работать, прося, чтобы их расстреляли вместе с семьями.

Один за другим едут автомобили. Уже вечер, они не так наполнены — на дне сидят женщины, девушки, дети. Одна бессмысленно улыбается. Другая поправляет платочек на голове. Да вы же через десять минут будете убиты, поймите это, сопротивляйтесь наконец!!! Нет.

Люди в апатии, лишь бы скорее кончилось, лишь бы скорей. Так действуют голод, побои.

Вот едет Арек З., мой приятель. Сидит с края, голова опущена за борт машины, он смотрит на камни мостовой, мелькающие под колесами. Каждый камень ближе к цели, ближе к концу жизни человека, не видевшего еще жизни. Я не забуду его лицо, лицо человека, который знает, что через несколько минут будет мертв, а через час его тело, разъедаемое хлоркой, будет покрыто еще несколькими слоями тел. Надо быть в положении этих людей, чтобы перечувствовать все то, что чувствовали они, по крайней мере, те из них, кто мог еще думать и чувствовать.

Теперь в гетто идет самый разнузданный грабеж. Грабит „милиция“, грабят под ее покровительством все кому не лень. Пройдет несколько дней, приступят к разрушению гетто. Через несколько месяцев на месте, где жили и волновались семь тысяч человек, будет ровная площадь.

Вчера уничтожили евреев в Бережцах. Сегодня гестапо уехало в Почаев и Вишневец. Там сегодня происходило то же, что у нас вчера».

«Вчера не мог, не был в силах», был морально измотан. Не каждый человек смог бы наблюдать за происходящим, а записывать эти страшные события — тем более.

«*17 августа 1942 года*. …Истребление подходит к концу. Вчера везли еще две машины, преимущественно женщин и детей. Их, видимо, понаходили в погребах. В гетто оставлены несколько десятков человек, их задача — закапывать трупы. Не знаю, на что они надеются, выполняя свои обязанности.

При советской власти город Кременец достиг своего наибольшего развития, вот данные:

1939 год — 28 000 жителей (польские данные)

1941 год — около 14 000 жителей (они так сообщают, но я сомневаюсь, было ли столько).

После уничтожения 8200 евреев в городе остается около 15 000 человек.

Был город Кременец, стал городок Кременец.

Это превращение произошло не в результате войны, лишь перекатившейся через него, а в результате правления мудрых германских властителей».

Несколько евреев оставлены в гетто для того, чтобы закапывать трупы. Возможно, они делают это потому, что им пообещали оставить жизни, а возможно, их просто заставили, не оставив права выбора. Страшно даже представить себе, что они чувствовали при этом. Кто-то закапывал своего соседа, кто-то — просто знакомого. Автор приводит некоторые цифры, касающиеся населения города Кременца. По сравнению с 1939 годом в 1941 году население города сократилось в два раза. Роман обвиняет фашистов в их преступлениях, его слова полны ненависти и горькой иронии. Он отмечает, что истинной причиной гибели стольких людей стала не война, а немецкие власти. И такие выводы делает 15-летний мальчик!

«*19 августа 1942 года*. Сегодня везли Ф.

Не могу отдать себе отчета в моих чувствах. Очень тяжело, стыдно. За людей, которые смотрят на это с безразличием или злорадством. „Что он жалеет жидов? Идиот!“

Чем Ф. хуже вас? Да она в десять раз превосходит тебя, одного с другим, во всех отношениях!

Единственная девочка, с которой я был всегда искренен, а так отрадно иметь друга, который понимает тебя и соглашается с тобой. Она была хорошая девочка и храбрая. Она ехала стоя, с гордо поднятой головой.

Это было полчаса назад, в шесть часов тридцать пять минут 19 августа 1942 года — я уверен, она и умирая не опустит голову.

Ф., знай, я помню тебя и не забуду и когда-нибудь отомщу!

Моя „первая любовь“, оставившая по себе самые чистые воспоминания. Она была моим идеалом.

Последний привет от Ромки!

Когда пишу, из тюрьмы доносятся выстрелы. Вот опять! Может быть, он был предназначен Ф.? В таком случае ей теперь лучше. Нет, ей теперь никак.

Не могу представить: Ф., раздетая, тело засыпано хлоркой. Раны. Привалена кучей таких же тел.

Ужас, какой ужас».

Этот отрывок — один из самых ярких, самых трагичных в дневнике. Здесь Ромка описывает гибель любимой девочки — Фриды.

В своих воспоминаниях Роман Александрович написал: «Я сидел на нашем пригорке, поджав ноги к подбородку, охватив колени руками. И мы встретились взглядами, когда грузовик проезжал мимо. Стоя она могла разглядеть среди крон деревьев крышу нашего дома. Вероятно, она попросила шуцмана разрешить ей подняться. Ведь они же должны были все лежать. Вниз лицами. А она стояла, спиной к кабине. И смотрела в сторону нашего пригорка. У нее были светлые волосы и темные серьезные глаза. В школе, тогда, в 41-м, намечались косички. А сейчас она была коротко острижена. Но они все равно развевались на ветру, ее волосы. Мы встретились взглядами. Она могла сказать „прощай, Ромка“ или просто взмахнуть рукой. И тогда, возможно, было бы два трупа вместо одного. Но она только смотрела. Она пощадила меня. Ее нет. А я с этой картиной, выжженной в памяти, живу. Живу, живу…» Автор очень любил Фриду, о ней он вспоминает и по сей день… Поражает то, как еще совсем юная девочка принимает свою судьбу. Осознавая скорое приближение смерти, она спокойна. Фрида видит Ромкин дом в последний раз, но, несмотря на это, не машет ему рукой и не говорит слова прощания, понимая, что тем самым подвергает жизнь дорогого ей человека смертельной опасности. Ее поступок — поступок взрослого человека, а не девочки, только начавшей жить.

Позже в своем интервью Роман Александрович рассказал: «Но я знаю, и потом я узнал от отца уже после войны, что отец в самый такой вот трудный момент, когда их всех загоняли гетто, и отец тогда пришел к ее родителям и предложил ее спрятать. Но она сама отказалась, у нее была еще сестренка, она не захотела с родными расставаться».

«*21 августа 1942 года*. Вчера расстреляли всех, кого накопили в тюрьме. Судить о числе расстрелянных можно только по тому, что после окончания экзекуции из тюрьмы везли пятитонку обуви, машина была заполнена до краев.

Значит, вчера погибла Ф. …»

Немцы не приняли должные меры для того, чтобы скрыть следы преступления, а возможно, мер и не принимали. Убийства совершались открыто и ни от кого не скрывались. Масштабы трагедии были таковы, что спрятать трупы при любом желании было невозможно. Особенностью уничтожения евреев на территории СССР было то, что их уничтожали открыто. Это должно было способствовать преодолению страха перед советской властью в целом, ведь весь мощный пропагандистский аппарат был направлен на отождествление еврейского населения и советской политической системы.

В интервью Роман Александрович рассказал, что на месте гетто был создан парк. «Мой отец потом занимался тем, что парк на этом месте разбивал. Так что там прекрасный парк в этом городке, и под этим парком лежат сколько угодно костей».

Я знала о холокосте еще задолго до того, как познакомилась с дневником Романа Александровича. Многое читала в учебниках, в справочной литературе, но

дневник позволил поставить себя на место Ромки, вместе с ним пережить моменты, описанные им. Вообще я человек, которого довольно трудно выбить из колеи. Я редко плачу над фильмами, не принимаю близко к сердцу трагические события, о которых пишут в книгах, рассказывают по телевизору. Но некоторые эпизоды дневника просто не выходили у меня из головы в течение довольно долгого времени. А от одного отрывка, в котором Ромка описывает, как еврея выгоняют из очереди, навернулись слезы на глаза. До сих пор тяжело перечитывать его. Казалось бы, не самый трагичный, не самый страшный эпизод…

Дневник Романа Кравченко также содержит немало информации о деятельности национальных группировок на территории Кременца и об отношении местного украинского населения к евреям и русским. Он отрицательно относится к местным националистам, считает их врагами, предателями, в дневнике постоянно высмеивает и издевается над ними, их неудачи и промахи мальчик считает своими маленькими победами, радуясь каждому такому случаю. Позже в своей книге он напишет, что склонность подшучивать ни к селу ни к городу не раз подводила его, но все равно тянет, ведь с шуткой в душе легче живется. Спустя годы его неприязнь ко всяким проявлениям национализма только усилится.

«*12 июля 1941 года* …Утром пошел в город. По дороге видел, как воздвигали арку: ES LEBE DIE UNBESIEGBARE DEUTSCHE ARMEE! — Да здравствует непобедимая германская армия! Такую же арку возводили и для встречи большевиков и, возможно, те же энергичные „встречиватели“. В воззваниях призывают помогать „фюреру“ в его борьбе с „московською навалою“. Pozta pantoflowa доносит о занятии Киева, чему я, впрочем, не верю…»

Гитлеровцы нередко получали поддержку со стороны местного населения. Немецкие захватчики сулили им независимое государство и различные блага цивилизации. Советская власть отождествлялась в глазах националистов с врагом, притесняющим их интересы. Ромка тонко подмечает, что такую же арку возводили и при встрече большевиков, по-видимому, и тогда ожидая от новой власти новых благ. Местные «встречиватели» готовы сотрудничать с любой властью ради выгоды.

Фашисты многое обещали украинским националистам, но, как видно, обещаний своих выполнять вовсе и не планировали. Поддержка со стороны местного населения им была нужна тогда, когда они еще только захватили эти территории и не освоились на новом месте. Но потом, когда новый режим укрепился, острая необходимость в помощи местных пособников отпала, и к ним стали относиться так же, как и ко всем остальным жителям оккупированного Кременца. Независимость, на которую они так рассчитывали в обмен на сотрудничество, пособники так и не получили. Более того, теперь они лишились даже тех прав, которыми обладали до прихода гитлеровцев. Ромка явно не сочувствует националистам, только и успевая подколоть их.

«*14 августа 1941 года*. …Ну, господа националисты, ваша очередь! Приступаю к речи.

— Панове! Честь имею вас поздравить с воцарением на наших землях української державності, с торжеством нашої святої справи и так далее, тому подобное, прочее, остальное (несмолкаемые крики „слава!“). Мы присоединены к Гросдойчланду.

Представляю себе их вытянутые хари и наслаждаюсь.

То, что я сейчас записал, не объявлено еще официально, однако ожидается со дня на день. И очень хорошо. По крайней мере, не будет видно этой „милиции“ с ножами у пояса и рожами, которые просят кирпича…»

Вот так, Украина станет частью Германии, а значит, ни о какой независимости не может идти и речи.

«*29 июля 1941 года*. …Второе известие совершенно обыденное. Ростислав видел, как немцы избили местного „милиционера“ до полусмерти и истечения кровью. Он не по их вкусу распоряжался в очереди. Притом его обругали украинской свиньей.

Некоторые из местных сторонников немецкой власти уже начали понимать, что же на самом деле сулят им новые правители, но только испытав это на собственной шкуре. Что же, постепенно начинает вырисовываться истинная цель прихода фашистов, и это, увы, не объявление Украины суверенным государством…»

«*2 августа 1941 года*. Вчера вышел первый номер новой газеты. Она называется „Крем'янецкий вісник“, но кременецких вестей в ней как кот наплакал. Вообще, все, что написано там, можно было предугадать, даже не дотрагиваясь до нее: вся газета занята описанием „більшовицьких мордів“, похвалами Гитлеру и компании. С фронта ни одного слова. Это неудивительно: нельзя же писать об отступлении или неудачах. Сейчас, когда пишу, слышен отдаленный гул канонады…»

Местная газета служила не для того, чтобы сообщать жителям Кременца достоверные события, а была, скорее, способом антисоветской агитации. В газете теперь печаталось то, что нужно было немцам, то, что им было выгодно сообщать жителям. Ромка пишет, что слышит гул канонады, значит, ситуация на фронте менялась, а в газете об этом ни слова. Это говорит о том, что в этих сражениях фашисты терпят поражение, ведь если бы успех был на их стороне, об этом давно уже было бы известно. Роман хорошо понимает механизм подобной подачи материала в местной печати. Но он умело извлекает информацию даже из такого источника, читает между строк. Местные газеты — это один из источников информации, который Ромка использует, чтобы узнать новости о положении на фронте. Стремление быть в курсе событий — это одна из причин, побудивших его совершенствовать свой немецкий, вспоминал он позже.

«*30 августа 1941 года*. Сегодня к нам пришла одна из оставшихся советских. Она, по-видимому, не успела уехать отсюда или не хотела, но скорее первое. Судя по разговору, не должна была бы остаться. Она состояла в комсомоле и те-

перь нигде не может устроиться на работу. Ей везде тычут ее русскую национальность… Она удивляется: „Выдумывают какое-то разделение наций…“ — это советское, обруганное советское воспитание! Она не представляет себе, что могут быть какие-то различия между нациями, что не все они равны. И еще: „Вот в Советском Союзе все могут работать, даже должны…“ Звучала в этом нотка тоски. Но все покрывала гордость. Ругайте, мол, сколько хотите, и все же я предпочитаю Советский Союз. Хорошо, что она об этом говорила с Ростиславом и вообще у нас, а не где-нибудь на улице. Пропала бы. Она, по-видимому, „неизлечима“. Молодец!»

«*8 сентября 1941 года*. Бьет ключом государственная жизнь. Партии появились. Грызутся. Есть „бандеровцы“, есть и „мельниковцы“. Одни повесят объявление, другие бегают и срывают. Сразу видно, что имеется какое-то государство, или намек. Стреляют одни других понемножку. Бандеровцев погнали из восточных областей, они из шкуры лезут в западных. А немцам больше ничего и не надо. Пускай, мол, себе грызутся — мы пользоваться будем и пользуемся».

Опять ирония по поводу «бурной государственной жизни». Ромка пишет о националистах не как о серьезных политиках, а как о детях, которые от нечего делать ссорятся между собой.

«*13 сентября 1941 года*. Вчера вечером сюрприз, первый класс! Новый приказ на немецком и украинском языке. Начинается словами: „Кременец и его 12 районов являются ГЕРМАНСКИМ комиссариатом“. Дальше: „ВСЕ политические партии запрещаются; всякая политическая агитация, В КАКОМ БЫ ТО НИ БЫЛО НАПРАВЛЕНИИ, считается преступлением против Германии. Вся власть в городе переходит к германским властям“.

Кременец является германским комиссариатом — значит, прощай „велика, соборна лівобережна і правобережна“.

Все политические партии запрещаются — значит, прощай ОУН. Всякая агитация считается преступлением — значит, говорить о самостийной Украине громко не рекомендуется. Вот это чисто по-немецки решительное объявление. Если еще, как последствие этого приказа, закроют „орган Крем’янецкого комітету ОУН“, я буду почти удовлетворен».

Пока «бандеровцы» и «мельниковцы» ломали голову над тем, кому же достанется вся власть, немцы не долго думая запретили всякие политические партии, объявив себя хозяевами Украины. Вот такой неожиданный ход для националистов. Здравомыслящие люди-то давно поняли истинные цели германских властей. Даже 15-летний Роман — не исключение. Теперь Ромка торжествует! Его политический прогноз сбывается.

«Говорят, пятнадцатого откроется средняя школа. Я скучаю по школе, но в такую меня совсем не тянет. Прошли хорошие времена! Тут будет зверский национализм, закон божий и проч. И мирись со всем этим! Эх, черт возьми…»

Война затронула все сферы жизни, включая и школу. Враждуют не только взрослые, дети тоже не остались в стороне, и Ромка все это прекрасно понимает, осознавая, как тяжело ему теперь придется в школе, а учиться так хочется. В интервью Роман Александрович рассказал: «Вот я оказался в такой школе. Через, там, два–три месяца ее закрывали, потом другую открывали, опять закрывали. В итоге я десять лет в школу не ходил. Только что три года в оккупации и семь лет военной службы…» Действительно, порядки менялись почти каждый день, поэтому о нормальном образовании не могло идти и речи. Но дети хотели учиться несмотря ни на что и ходили в те школы, в которые была возможность ходить.

«*19 сентября 1941 года*. Отнес заявление, 22-го буду сдавать экзамен. Ой, что с нами будет! Ясно, что дирекция пожелает принять в школу как можно меньше „инородцев“. Ничего, мне не впервой: я уже сдавал в польскую государственную гимназию и срезался, им не понравилась моя слишком не польская фамилия. Как-нибудь да будет, а пока надо зубрить украинский».

Ромка понимает, что его шансы на поступление в школу чудовищно малы, ведь он русский. Националистические настроения были сильны и в школе, что явно не сыграет в его пользу.

«*22 сентября 1941 года*. Сегодня писал диктовку. Им пришлось хорошо потрудиться, пока подыскали подходящий текст, он был очень труден. Кроме того, диктовавший прилагал все усилия к тому, чтобы ввести нас в заблуждение. Поэтому и у меня штук пять ошибок. „Посредственно“ будет.

Собрались мы в школе к восьми часам. Ждали до девяти (во всех школах и во все времена полагается собирать учеников за час, а то и за два раньше срока), а потом нас погнали как баранов в церковь. Причем директор, Веселовский (порядочная сволочь, хотя и принадлежит к „украинской интеллигенции“), произнес:

— Учниі, які належать не до православноі віри, можуть, якщо хотять, залишитися. Православні ідуть обов’язково. — И православные пошли обов’язково[1].

…Еще немножко о Веселовском, директоре гимназии.

Происходило это еще при поляках, в Кременецком лицее. Преподавателем украинского был там вышепоименованный Веселовский. Ученицей в одном из классов — Филимонова, русская. И вот на уроке Веселовский затевает с Филимоновой спор:

— Вы все кричите „русская литература, русская литература!“ Гоголь? Гоголь — украинский писатель. Пушкин? Пушкина нельзя назвать представителем русской литературы. Пушкин — арап!“»

Как видно по записям из дневника, Ромка не просто недолюбливает своего директора, он издевается над ним и высмеивает ему подобных, поддерживающих

новый порядок. Каждый эпизод, относящийся к Веселовскому, — настоящий анекдот. Директор, по-видимому, не упускал возможности поспорить с русскими учениками еще до прихода немцев. Но не всегда такие споры ему удавалось выиграть, ведь зачастую аргументы, которые он приводил в свою защиту, были просто смешными. Автор отмечает, что именно такие люди, как Веселовский, служили опорой новому порядку.

«*30 сентября 1941 года*. Сегодня начались занятия. Конечно, директор выступил с подходящей речью. Дурак, форменный дурак. Как всегда и всюду, выразил надежду, что школа будет лучшей на Волыни и т.д. Кроме того, как и следовало ожидать, запретил ученикам говорить где попало не по-украински. Из нашей старой школы туда попали два учителя: Клеоновский и Бопре. Бедный Бопре! Не зная украинского, он помогает себе отчаянной жестикуляцией. Не принят ни один поляк. Мне, по-видимому, помогла моя украинская фамилия. Хотя сегодня они разочаровались. На первом уроке записывали национальность и вероисповедание. Я записан русским, единственный в классе…»

В школе установлены строгие порядки, запрещено говорить не по-украински. Ромка отмечает, что попал в школу только благодаря своей украинской фамилии. Я полагаю, что Роман с некоторым вызовом подчеркнул в анкете свою национальность, ведь он мог спрятаться за украинскую фамилию. Тем самым он вызвал огонь на себя. Теперь ему трудно придется, ему всюду будут при случае тыкать национальностью.

«*2 октября 1941 года*. Хожу в школу. Тоска ужасная. Не знаю, выдержу ли хоть месяц. Очень тяжело. Директор, подобного мерзавца еще не видал, старается на каждом шагу отравить жизнь. Когда я записался русским, он взбесился и сказал, что я, наверное, из-под Москвы или Тулы, что считаю себя русским. Он прекрасно знает папу и знает, откуда я родом. Учитель анатомии вошел в класс, уселся и провозгласил: „Людина э твір божий“. Вот так анатомия! Отдыхаю на математике, которую преподает наш старый учитель Клеоновский…»

Мальчик пишет, что в школе всячески пытаются отравить жизнь, а все из-за национальности. Обучение по отдельным предметам не выдерживает никакой критики.

«…И не знаю, чего ждут от Гитлера господа местные националисты. Среди них нет, кажется, ни одного человека с мозгами. Они верят Гитлеру, как Богу. Не знают, дураки, что у него язык без костей и то, что он произносит в своих речах, принимают за чистую монету.

Хотя то же самое и господа российские националисты. Вот, как они представляют себе будущее: война кончается, немцы воздвигают на трон какого-нибудь Романова (из немцев) и великодушно оставляют Россию. Начинается „возрождение“: культурная и церковная жизнь бьет ключом, „мчится тройка удалая“ и т.д. Идиоты…»

Роман иронизирует по поводу поведения националистов, не понимая, как можно быть такими дураками и верить всему, что говорят, всему, что обещают. У националистов разных мастей, несмотря на разные лозунги, общий стиль поведения: угодить власти и добиться желаемой цели.

«*27 октября 1941 года*. У нас в потоке работали военнопленные. Все без исключения поранены. С одним заговорил. Кормят их так: один бурак в день. Изредка дают 100 граммов хлеба. Спросил, откуда он. Оказалось, „из Сибири, из Восточной“».

Все военнопленные изранены, их, видимо избивают. Кормят плохо, выживать трудно.

«*21 января 1942 года*. …Улицы, которые с приходом немцев получили названия Мазепы, Петлюры, Богуна и проч., с сегодняшнего дня все переименованы в немецкие — Риттерштрассе и т.д. Представляю себе настроение господ „патриотов“ и прихожу в умиление».

Еще одно разочарование для местных патриотов. Улицы, названиями которых они так гордились, переименовываются в немецкие. В Кременце уничтожается все, что хоть как-то напоминает о прежней власти. Теперь хозяева здесь немцы, значит, и улицы должны носить соответствующие названия.

«…По-моему, теперь 80% населения за советскую власть. Удивительно быстро у него меняются убеждения.

К местным дядькам немцы относятся очень интересно, разговаривают с ними наглядным способом, а именно — соприкосновением руки с лицом. Способ очень простой и понятный…»

Если раньше немцы хотя бы создавали видимость того, что мирно существуют с местным населением, то теперь они вообще не церемонятся с людьми, позволяя себе оскорблять и избивать их. Ведь никакого наказания за этим все равно не следовало, это даже поощрялось, ведь таким образом демонстрировалось превосходство «высшей германской расы».

«*9 апреля 1942 года*. …Между прочим, еще деталь, касающаяся жизни наших вольных казаков: у них введена панщина. Присылают старосте из города бумажку: выделить столько-то подвод на неделю в такое-то учреждение, на фабрику или торфяник. И вот берет такой дядько запас хлеба, сала (этого у них хватает, не то что у нас) и отправляется отбывать повинность своей немецкой „родине“. А попробуй не поехать, через пару дней является в село немецкий карательный отряд и наводит порядок…»

Оккупационный режим отразился и на жизни «рядового крестьянина». Здесь речь идет о крестьянах, жителях села, которые должны были отбывать обязательную трудовую повинность. В случае невыполнения приказа их жестоко наказывали. Снова ирония по поводу долгожданной свободы, связанной с новым «порядком».

«*21 апреля 1942 года*. Теплынь, солнце, весна. Было два свободных от занятий дня по случаю именин Гитлера. Сегодня были на молебне в церкви по этому же поводу. По случаю тех же именин получили по 200 граммов хлеба сверх нормы. В речи своей наш директор очень много кричал о том, что нам дал Гитлер. По-моему, только эти 200 граммов хлеба сверх нормы».

Многие взрослые люди разочаровались в немцах и теперь настроены враждебно по отношению к ним. А дети впитывают настроения взрослых, родителей, как губки. Теперь они тоже против Гитлера и его пособников. Многие высказывают свои мысли вслух, ставя себя под угрозу. Ромка же, несмотря на то что он еще подросток, трезво оценивает ситуацию и не пытается казаться умнее в глазах сверстников, он не трус, он осторожен, считая такой риск бессмысленным. Он доверяет свои мысли дневнику, надеясь, что его записи послужат в будущем целям возмездия, справедливости.

«*25 апреля 1942 года*. Ну и жизнь. Человек боится на улицу выйти, а если выходит, то крадется под заборами как побитая собака. Наряду со всем этим они имеют наглость говорить о какой-то новой Европе, о „великом европейце“ Гитлере, который-де принес нам освобождение. Даже на портретах его, которых теперь развелось без счета, написано: „Гитлер — освободитель“. Он нас, действительно, освободил от жизни и наградил вечным страхом…»

С помощью многочисленных плакатов и портретов с надписями местных жителей пытаются убедить в величии Гитлера и германской армии. Роман возмущен такими циничными заявлениями о свободе, цену которой поняли уже многие, испытав на собственной шкуре.

Как среди взрослых, так и среди детей, встречаются предатели и желающие угодить начальству. Невозможно вообразить, как тяжело было детям учиться в таких условиях. Но насколько сильно было желание получить образование, устроиться в жизни. Приходилось терпеть эти унижения.

«*17 июня 1942 года*. …Сегодня на уроке литературы причислен к лику святых гетман Мазепа, а поэт Пушкин назначен жандармом. Все это произвел наш несравненный Веселовский. Представьте себе такую физиономию перекошенную, с усами, в серебряной ризе и с сиянием над головой: святой угодник божий гетман Иван Мазепа. Как божественно звучит! А бедный Александр Сергеевич Пушкин, наряженный в жандармский мундир, только и знает, что мучить несчастных малороссов…»

«*15 июля 1942 года*. „Добровольные экскурсии“ на продолжительное время в Германию опять усилились. Милиция и жандармы настолько любезны, настолько себя утруждают, что заходят к обреченным на экскурсию прямо домой, и то ночью. Для более приятной неожиданности их останавливают на улице, за ними заезжает авто, как за банкирами. Только грузовое. И их отвозят на станцию».

Вопреки ожиданиям фашистов люди не клюнули на рассказы о райской жизни за границей, поэтому их пришлось вывозить силой. Иронизируя по поводу «доб-

ровольного выезда», Ромка подчеркивает, что люди были отправлены на принудительные работы в Германию против своей воли. Люди прячутся, сопротивляются, их приходится вылавливать в самых неожиданных местах.

Германия остро нуждается в рабочей силе, так как все трудоспособное население страны воюет на фронте. Для продолжения войны стране необходимо увеличивать мощности оборонной промышленности, производить танки, снаряды и тому подобное. Это требует наличия рабочей силы и выносливости. Немцы посчитали, что выполнение тяжелой, грязной, монотонной работы не к лицу представителям высшей расы, поэтому привлекали для подобных работ население оккупированных территорий.

Кременец — один из тех городов, в котором за все время его существования не раз менялась власть. Роман Александрович вспоминает: «До 39-го года это была польская территория. В итоге польско-советской войны 1920 года граница „эмигрировала" на восток. Там жили украинцы, поляки, русские, даже чехи. Такие места. Кочевал городок, бывал в составе Речи Посполитой, Российской империи, межвоенной Польши. В Гражданскую, так чуть не восемнадцать раз хозяев менял».

«*9 октября 1942 года*. ...После уничтожения евреев все стало тихо, спокойно. Но вот опять „в воздухе пахнет грозой": прекратились всякие слухи, а их распространяют у нас преимущественно поляки. Теперь они притаились и ждут: по-видимому, у немцев на очереди репрессии против поляков. Наиболее уважаемым среди них был в городе ксендз И. Он больше недели как арестован и несколько деятельных лиц вместе с ним».

Этого и следовало ожидать. Если немцы уничтожили евреев, то наивно верить, что они на этом остановятся.

«*12 октября 1942 года*. Недавно была объявлена мобилизация на работы в Германию. Проведена она преимущественно среди сельской молодежи, и вот каковы ее результаты и последствия: молодежь скрывается в лесах, присоединяется к партизанам. В Германию никто не едет. Но последствия трудно описать. В села, не доставившие назначенного числа людей, приезжают ландвирты (дословный перевод — хозяева земли русской) с карательными отрядами. Придя в село и не найдя там никого достойного внимания, они забирают все достойное внимания, а село поджигают. Больше всего таких случаев происходит в Лановецком районе, где местный ландвирт известен своей зверской жестокостью. Это последствия, так сказать, физические, но есть и моральные, и эти в противоположность первым положительны. Действия немцев усиливают ненависть к ним крестьянства, они же усиливают и ряды партизан, которые, где только могут, наносят ущерб немцам».

Роман подробно описал, как часть местного населения относилась к немцам сразу после их прихода и как изменялись их настроения под влиянием обстоятельств, перемен на фронте. Напрасно украинские националисты надеялись на

провозглашение Украины независимым государством, фашисты не оправдали возложенных на них надежд, тем самым заработав себе еще больше врагов.

«*19 октября 1942 года*. Самым волнующим является в последние дни вывоз в Германию. Высылают всех, кто зарегистрирован как неработающий. Повестки получают даже домашние хозяйки. Дома уныние: „карточка“ грозит мне и маме. Мне, как учащемуся несуществующей школы, маме, как домохозяйке».

«*20 октября 1942 года*. В последнее время резко сократилось число писем от вывезенных в Германию. Последние письма очень похожи по тексту: „Больше писем от меня не ждите, увидитесь со мной тогда, когда с дедушкой и бабушкой“. А дедушка и бабушка уже давно „в раю“. Люди, возвращающиеся оттуда — убежавшие или отосланные по болезни (тем особенно повезло), — рассказывают ужасы: рабочие мрут от голода. Надо надеяться, что мир узнает когда-нибудь об этих злодеяниях и злодеи понесут заслуженное наказание».

Кременец в годы оккупации понес большие людские потери не только по причине уничтожения огромного количества евреев, но и потому, что очень многих жителей города вывезли на принудительные работы в Германию. Немцы пытаются заставить людей добровольно отправляться на работы под предлогом того, что условия жизни в Германии значительно лучше, под предлогом приобщения их к немецкой культуре: «Сулят всякие блага, немецкую культуру, 130 рублей в месяц родителям». Но, несмотря на все обещания, желающих нет, ведь люди не понаслышке знают, какая судьба ждет их на чужбине. После того как из города вывезли всех трудоспособных людей, принялись за школьников и домохозяек. Немцы, видимо, очень нуждались в рабочей силе, раз использовали для этих целей женщин и детей.

«*29 октября 1942 года*. Вчера опять слушал Москву. Попал на известия, в которых говорилось о Сталинграде. Потом читали письма вывезенных в Германию, откуда-то из Кельна. С этими письмами я хорошо знаком, тут какие ужасы ни напиши, все будет правда. Правда, что их там кормят отбросами, что они умирают от голода. Все правда!»

«*10 декабря 1942 года*. …Рассказывают, что советские пленные проходят в лагерях переобучение, получают обмундирование и отправляются для несения вспомогательной службы — конвоиров при транспортах, милиции и т.д. В связи с этим припоминаю о *существующем будто бы* советском приказе, в котором говорится, что все сдавшиеся в плен бойцы Красной Армии считаются изменниками Родины и будут караться как таковые. Да, тех, кто теперь служит Германии, действительно, можно считать изменниками. Но ведь много таких, кто попал в плен помимо своей воли, раненых и других. *Как поступят с ними?*»

Речь идет о приказе Ставки Верховного Главнокомандования № 270 16 августа 1941 года. Роман, хотя и не имел возможности читать советские газеты, слышал об этом приказе. Скорее всего, от тех же военнопленных или от немцев, которые ссылались на приказ, чтобы склонить к сотрудничеству попавших в плен.

Роман высказывает опасения за судьбу советских военнопленных, которые по сути оказались в безвыходном положении: они не являются гражданами Германии и одновременно объявляются врагами у себя на родине. Он ясно выражает свое отношение к приказу. По его мнению, изменники те, кто пошел добровольно служить фашистам, но считает несправедливым наказывать тех, кто попал в плен не по своей воле.

В ходе работы с материалами дневника я изучила все стороны жизни маленького города в условиях оккупации, проследила, как менялось отношение населения к «новому порядку» с первых и до последних дней. Настроения у различных групп были разными. Сначала приход немцев некоторыми был воспринят с радостью, так как смена власти пробуждала у них надежды на лучшее будущее…

В годы оккупации очень сложные отношения складывались между представителями разных национальностей. В годы войны изгоями стали евреи. Фашисты убивали их, потому что истребление евреев входило в их политическую программу. Но ведь евреи в немалой степени пострадали и от действий населения оккупированных территорий. Большинство населения Кременца не испытывало жалости к этому народу. Им завидовали, ведь среди евреев было много зажиточных и даже богатых людей. Человек склонен завидовать чужому успеху, богатству соседа, положению в обществе. Кроме того, эта зависть подогревалась фашистами, широко использовавшими антиеврейскую пропаганду среди местного населения. Таким образом, создавался образ врага… Рядовые обыватели в большинстве если и не помогали немцам в истреблении евреев, то были к этому равнодушны, думали, что это далеко от них, что их это никогда не коснется. Некоторые выдавали евреев, потому что боялись, боялись за свои жизни или потому что хотели любой ценой извлечь для себя выгоду, нажиться на деньгах и имуществе этих несчастных людей.

И уж совсем мало было таких, как Ромка, людей, которые были дружны с евреями и даже пытались спасти их ценой собственной жизни.

Вы спросите, как сложилась дальнейшая судьба Ромки Кравченко — мальчика, написавшего дневник. Можно сказать, что ему повезло, ведь, несмотря на то что война лишила его возможности учиться, он многого добился в жизни. «В семнадцать я ушел воевать. …Город был освобожден, была мобилизация. Призыв был объявлен. У меня была бронь. Ну каким-то образом в восстановленном горкоме комсомола знали, что мы были семьей, которая, так сказать, не запятнала себя сотрудничеством с немцами, и мы — брат и я — мы просто были вызваны туда. Потом было объявлено, что мы приняты в комсомол без всяких наших заявлений. Когда в армии оказался, это не захотели признавать. Ну как, из Западной Украины везут неизвестно кого. Поэтому меня там вторично уже вызывали, принимали в комсомол. Когда я весной 45-го оказался в Германии, то меня стали использовать как переводчика. В итоге я уже в составе Советских оккупационных войск Германии пять лет служил в Германии переводчиком. …Мой командир получил приказ в течение трех часов собрать и при сопровож-

дении отправить меня в штаб, откуда потом группа вот таких солдат… которые были в контакте с местным населением вот таким образом с Германии отправили, одних — в Коми на лесозаготовки, а других — в Донбасс на восстановление шахт. Вот я оказался в Донбассе осенью 49-го года. И там оказался стройбат, вот, и в этом стройбате меня сразу стали использовать как чертежника — тоже неплохо». Служа в армии, Роман Александрович даже закончил вечернюю школу. «Потом оказалось, что там есть вечерняя школа. Я сначала туда подпольно ходил, а потом по стечению обстоятельств получил от командира разрешение. И пошел я, естественно, в последний класс. Ну я пришел. „А сколько ты закончил?“ Я говорю: „Девять классов закончил“. — „А какие документы?“ — „Какие документы? Оккупация, война — никаких документов“. Ну хороший человек написал на моем заявлении: „Взять с месячным испытательным сроком“. Таким образом я закончил десятый класс. Закончил и даже почти с медалью. Медаль мне не дали, потому что сказали, ты фронтовик, у тебя и так много медалей». На вопрос, отразилась ли жизнь в оккупации на его карьере, Роман Александрович ответил:

«Ну, безусловно, безусловно, я это чувствовал. …Не оказался в рядах КПСС, хотя не просился, честно говоря, не просился». Приехав на север, Роман Александрович стал работать в лаборатории Академического института, где получил довольно высокую должность, несмотря на то что был беспартийным. Он до сих пор удивляется, как такое могло произойти. «Поскольку я, когда сюда приехал, был единственный молодой специалист-физик, то… руководил организацией лаборатории, и в итоге через, там, через парочку лет я был назначен ее заведующим. Вот я 33 года заведовал лабораторией в Академическом институте, и это, конечно, было нетипично. Я, беспартийный, — за главного». Сейчас Роману Александровичу 78 лет, он работает в Академическом институте.

Рассказывая о том, как сложилась судьба Романа Александровича, нельзя не сказать о судьбе его отца, который оказал очень большое влияние на сына. «Отец — инвалид Первой мировой, бывший царский офицер. Это слово не было в почете в Советской России. Впрочем, в той Польше тоже оказался не мед. Если бы меня спросили сегодня, кем был отец, я бы ответил: он всю жизнь был неприспособленцем. Может быть, именно это качество сохранило ему жизнь при двадцати сменах власти, что выпали на его долю: ни для одной из них он не был до конца своим. Он всегда сохранял элемент сомнения в той казенной версии благополучия, которую провозглашали очередные апологеты. Видимо, в условиях этих столь частых перемен единственным приемлемым для отца способом приспособления было оставаться самим собой». Ему до конца дней припоминали его «царское прошлое». В последнем интервью Роман Александрович сказал, как режим отразился на судьбе отца: «Отец был царский офицер. И конечно, он, имея такую запятую в биографии, не пользовался симпатиями у советской власти. Как и следовало ожидать. То есть его все время донимали тем или иным способом». В судьбе отца были ситуации, когда его происхождение могло стоить жизни. Об этом Роман Александрович пишет в своих мемуарах. «Правда, могло (точнее, должно было) кончиться раньше, в восемнадцатом — в братской могиле у монастырской стены или в последних числах июня 41-го, во дворе тюрьмы

на Дубенской, но что-то в той бездушной машине дало сбой, не сработало, и отцу были отпущены еще годы жизни, в Кременце, среди родных. Возможность умереть в своем доме, в окружении близких, полагаю счастьем. Оно было отцу даровано». Отец был для Романа непререкаемым авторитетом, «он знал все».

Спустя несколько десятков лет после описанных в дневнике событий Роман Александрович Кравченко скажет: «Я знакомился с различными национализмами — польским, украинским, российским, с фашизмом и антисемитизмом не по литературным источникам. Знакомился в жизни, на практике, на собственной, как говорят, шкуре… Задали бы мне в ходе какого-нибудь интервью вопрос, что я больше всего люблю, я бы, пожалуй, задумался. Но на вопрос, что я больше всего ненавижу, ответил бы мгновенно: национализм. Если шире, то любые проявления нетерпимости. Многое к человеку приходит с годами, постепенно складываются привязанности, симпатии, антипатии. Неприятие национализма сформировалось с детства, под влиянием виденного и испытанного».

Примечания

[1] «Ученики, которые принадлежат не к православной вере, могут, если хотят, остаться. Православные идут обязательно. — И православные пошли обязательно» (*укр.*).

«виноват,
что не застрелился»

lagerausweis nur

OST
Kirchhundem 4 36

Четыре альбома…

Марина Ахметова, Елена Шаронова,
Челябинская область, г. Магнитогорск, 11-й класс
Научный руководитель О. А. Гакина

В этом году я — Елена Шаронова — уже заканчиваю школу. Времени сейчас мало, но отказываться от любимого занятия я считаю просто непростительным, то, к чему душа лежит, нельзя оставлять ради практицизма… Поэтому работу в этом году я пишу уже не одна, а с моей подругой и одноклассницей Мариной Ахметовой.

Когда наша научная руководительница Ольга Александровна Гакина предложила нам эту тему, мы были не в восторге. Казалось бы, что интересного можно написать на уже давно избитую тему любви? Рассказы наших бабушек и дедушек кажутся нам сказками, прекрасными иллюзиями… И кто бы мог подумать, что эта история так тронет нас.

Эту историю любви нам рассказала дочь Виктора Михайловича и Елены Евгеньевны — Виктория Викторовна Волкова, у которой мы побывали в гостях. Также много сведений мы узнали из репортажа журналистки Лидии Разумовой (племянницы Виктора и Елены Разумовых). Мы познакомились с частью семейного архива Разумовых.

Нам удалось увидеть и даже заснять «четыре альбома любви», в которых была запечатлена вся жизнь Виктора и Елены Разумовых. Эти альбомы Виктор Михайлович начал делать после смерти жены. Он запирался в своей комнате и подолгу не выходил оттуда, на вопросы детей отвечал, что скоро они все узнают… После смерти Виктора Михайловича четыре альбома с фотографиями попали в руки дочерей. На первой странице рукой отца было выведено посвящение: «Дорогим моим детям — Вике и Тане, внукам — Алеше, Диме и Сереже. Рассказ в фотографиях о бабе Лене и деде Вите (с пояснениями деда Вити)».

Эти альбомы стали своего рода завещанием для детей, экскурсом в историю жизни своих родителей.

Еще одна важная деталь: судьба Разумовых очень схожа с историей героев фильма Григория Чухрая «Чистое небо». Когда Виктор Михайлович смотрел эту кинокартину, он не мог сдержать слез и говорил своей жене: «Лена, этот фильм про меня».

«ГОРПРОМУЧ»

Жизнь человека складывается из стечения случайных, казалось бы, обстоятельств.

Родилась Леля Плаксина 20 апреля 1916 года в городе Кушва (ныне — Свердловской области). Именно Леля, а не Лена, и потом на протяжении всей жизни ее

называли именно так, таким она человеком была: милым, добрым, веселым… Мать — учительница, отец — горный техник. В 1921 году отец Лели умер от туберкулеза, и у матери на руках осталось двое детей: пятилетняя дочь Лена и сын Александр, которому тогда было всего три года. Семья переехала в Нижний Тагил, где жили родственники матери. В 1931 году мать Елены отправили на педагогическую работу в Магнитку. Когда в июне 1931 года, закончив семилетку, Леля отправлялась к маме и брату на далекий Магнитострой, вряд ли она полагала, что именно здесь, в городе, где не были еще толком определены улицы и жилые кварталы, ждет ее «комсомольское братство горпромучников» и встреча с единственной на всю жизнь любовью…

Впрочем, и Виктору Разумову, одному из четырех сыновей служащего «по железнодорожной части» Михаила Анисимовича Разумова, который был мобилизован на работу в Магнитку, тоже не могли тогда и во сне привидеться те испытания, которые выпадут на его долю. В 31-м они независимо друг от друга прибыли в один и тот же город, где оказались в одной группе химиков-лаборантов Ударно-комсомольской школы горнопромышленного ученичества — первой школы трудовых резервов, созданной на Магнитке.

Горнопромышленное ученичество, вкратце Горпромуч, позже станут называть профтехучилищами. В начале 30-х в бараке, где размещались учебные кабинеты Горпромуча, от холода замерзали чернила, хлеб выдавался по карточкам, в общежитиях-бараках жить было очень тесно, степной ветер пронизывал до костей.

После занятий горпромучники отправлялись на комсомольские субботники — ночью на руках доставляли кирпич для строительства «Комсомольской» домны, поднимая его на четвертый ярус, то есть 35-метровую высоту по шатким настилам.

Маленькую изящную Лелю выделяла в этом шумном комсомольско-трудовом братстве мало присущая остальным тонкая интеллигентность. Светлые волнистые волосы, яркий румянец на щеках (к сожалению, печальное свидетельство врожденного недуга — порока сердца) и большие серые глаза — ее просто невозможно было не заметить среди остальных подростков, съехавшихся в Магнитку со всей Руси великой.

Они казались полной противоположностью друг другу: эмоциональная, открыто выражавшая собственное мнение, непрактичная Леля и спокойный, рассудительный, не терпящий беспорядка и сумбура Виктор. Но, как известно, противоположности сходятся.

Правда, подобные юношеские романы «любовью» тогда не называли, пугаясь «мещанских пережитков прошлого». Любовь предпочитали определять как «дружбу» или «товарищеские отношения».

Летом 33-го они прощались с Горпромучем и обменивались фотографиями на память. Спустя 40 лет Виктор Михайлович аккуратно вклеит их в альбом, снаб-

див каждую соответствующей подписью. Не забудет ни одного лица, ни одного имени… Впрочем, в 1933-м все они еще продолжали оставаться единой семьей, хоть и разбросанной по разным бригадам и разным лабораториям.

Лелю и Виктора направили в химическую лабораторию Горнорудного управления. Вскоре Виктора вопреки его собственному желанию избрали военоргом комитета комсомола Горы. Однако через месяц он ухитрится вернуться в лабораторию, где продолжала работать Леля и где его бригада с символическим названием «Железо» определяла содержание одноименного химического элемента в руде. Немного погодя их вновь на время разлучат обстоятельства: Виктора попытаются перебросить на работу в редакцию многотиражки «Магнитогорский гудок». Пройдет несколько месяцев, и он вновь займет свое место в лаборатории. Утром работа, вечером учеба в комсомольской школе среднего образования. Отличавшийся скрупулезностью в любой работе бригадир Виктор Разумов совместно с инженером Замлянским разрабатывал, как писала в те годы газета «Горняк», «простой и экономный метод определения железа в серных рудах, не содержащих мышьяка». Позже этот метод будет утвержден как «стандарт для применения во всех заводских лабораториях Советского Союза».

«Но как же так получается, что из великого множества людей человек находит одного-единственного на всю жизнь? Если это, конечно, настоящая любовь!» — напишет потом в альбоме человек, разменявший уже седьмой десяток лет. Их удивительная встреча с Лелей так и останется для него загадкой на всю жизнь. Именно на Магнитострое пересеклись две эти линии судьбы и соединились в одну.

Со временем выяснилось, что для многих первая профессия на Магнитострое не стала последней. В начале августа 1936 года Виктор проводил Лелю, уезжавшую учиться в Москву по направлению Окружкома ВЛКСМ во Всесоюзный коммунистический институт журналистики. Сам он через несколько дней был принят по спецнабору в Чкаловское (Оренбургское) военно-авиационное училище летчиков. Эта разлука стала первым серьезным испытанием для их любви. На прощание они обменялись фотографиями. На своей Леля красивым почерком напишет: «Виктор! Пусть эта фотография тебе напоминает 1936 год ну… и меня. Л. Плаксина». На фотографии, которую она увезла в Москву, по-мужски лаконично было выведено: «Моему любимому другу Леле Плаксиной от Виктора».

МОСКВА — ЧКАЛОВ

В декабре 36-го года многотиражная газета авиационного училища опубликовала в «Галерее отличников боевой и политической подготовки» фотографию курсанта Виктора Разумова. Был и первый отпуск домой, и кадры «на память» в военных лагерях, увольнительная в город и карточки, подаренные товарищами по училищу, — все это потом сохранилось в семейном архиве как напоминание о давних годах учебы…

Леля между тем постигала азы журналистики на занятиях во ВКИЖе. Училась только на «отлично». Часто писала письма и отправляла их в Чкалов. Почти

в каждом конверте Виктор вместе с письмами находил фотографии, сделанные кем-то из сокурсников Лели. Были учебные снимки, сделанные самой Лелей на занятиях по фотоделу. ВКИЖ судя по всему был прообразом факультетов журналистики, которые откроются только лет тридцать спустя во всех крупнейших университетах страны и будут готовить на своих отделениях кадры профессиональных газетчиков, радиожурналистов и телевизионщиков…

Но в 1938 году решением ЦК ВКП(б) институт журналистики в Москве был закрыт «за вредность идей». Идеологическая чистка не миновала и учебного заведения, готовившего кадры главных защитников линии, проводимой партией и правительством.

И все студенты в одночасье оказались несостоявшимися выпускниками, имевшими, однако, право на работу в редакциях газет. И Лена Плаксина, разумеется, отправилась в Чкалов, где продолжал учиться Виктор. В редакцию областной газеты «Чкаловская коммуна» она была принята она сначала литсотрудником, а несколько месяцев спустя стала заместителем ответственного секретаря.

С Виктором Леле удавалось видеться редко. Военный аэродром, на котором проходили учения, находился далеко от города. Но то, что жить друг без друга они уже не смогут, было ясно им обоим. В феврале 1939 года Лена и Виктор поженились. И Лена стала уже не Плаксиной, а Разумовой. По окончании училища лейтенант Разумов был направлен сначала в Воронеж, затем переведен в Брянск и наконец — в один из бомбардировочных авиационных полков Орловского военного округа… Семью Разумовых ожидали серьезные испытания.

СБИТ…

Стояла весна 41-го, не предвещавшая России грозового лета. Леля теперь работала литературным секретарем в красноармейской газете Орловского военного округа «Сталинец». И никто в те дни не мог представить себе масштабов грядущей катастрофы, до начала которой оставались лишь эта весна да несколько летних дней… В первый же день войны гитлеровская авиация уничтожит 1200 советских самолетов, больше 800 из которых даже не успеет взлететь с военных аэродромов.

26 июня 1941 года командир звена лейтенант Разумов вылетел на боевое задание в район уже оккупированной врагом территории Западной Украины. Его жена спешно укладывала в чемоданчик самые необходимые вещи, начались бомбежки военного городка Орловского авиагарнизона, оставаться там было уже небезопасно. Что с мужем, жив он или убит в бою, Леля не знала. Прощаясь с нею, Виктор просил только об одном — ехать в эвакуацию в Магнитогорск. Там, в глубоком тылу, жили мать и старший брат Виктора Владимир с семьей.

Леля знала твердо: она должна во что бы то ни стало добраться до Магнитки и там ждать. Ждать рождения сына, который должен был появиться на свет в городе их комсомольской юности. Леля и Виктор были почему-то уверены, что первенцем будет сын, которого они тоже назовут Витька.

То, что произошло в небе над Волынью 26 июня 1941 года, было лишь эпизодом в истории Великой Отечественной войны. Слишком коротким оказался воздушный бой наших бомбардировщиков с немецкими истребителями в масштабах огромной хроники военных событий.

Все произошло очень быстро. Самолет Шевцова, однополчанина Виктора, был ведущим, а два других самолета, в числе которых был и самолет лейтенанта Разумова, прикрывали его. На них напала девятка «Ме-109», но Виктор их не видел. Заметить он смог только два немецких самолета. Атаковавший слева самолет-мессер бил зажигательными пулями прямо по кабине пилота, и от этих раскаленных «мушек», пролетавших в сантиметре от виска, лицу становилось горячо. К счастью, ни одна из них не попала в лицо: защитила бронированная спинка кресла. Пули только продырявили комбинезон на правой руке, которая лежала на штурвале.

Мессер вывел из строя панель с приборами, побил кабину — но все безрезультатно. Виктор мог вести машину и так, почти вслепую, приборы были ему не нужны… Но он не знал, жив ли его штурман — младший лейтенант Абдулов. На вопросы тот давно не отвечал, а оглянуться, когда шевельнуться нельзя — кругом свистят пули, было невозможно. С ведущего самолета Шевцова стрелок пытался бить по мессеру из люкового пулемета. Но, к сожалению, патроны были простые, и эта стрельба давала тот же результат, какой имеет пальба из пушки по воробьям. Поэтому-то фашистские самолеты и подошли так близко.

Отчетливо врезались в память Виктора ненавистные черные кресты на крыльях «Ме-109» и голова летчика в кабине самолета, шедшего почти вплотную к советскому бомбардировщику. Стрелок лейтенанта Разумова по-прежнему не отвечал… По предположению Виктора он встал в турель и был убит первой же очередью.

В это время справа начал заходить второй мессер, очередь из которого пробила бак с горючим, и огонь стал катастрофически быстро охватывать машину. Не помогли даже баллоны с углекислым газом. Загорелся заливной бачок, и за головой стало жарко. Что же было делать летчику Разумову? Прыгать с парашютом? Но куда? Ведь они были уже в тылу врага. И Виктор принял решение — вести самолет, пока он будет к этому способен, к цели, а там видно будет… Пожар охватил уже кабину. Комбинезон и унты стали гореть (к счастью, вся одежда была зимней), очки спасли глаза, от едкого дыма мутилось сознание. Видимо, немецких летчиков это возмутило: как же так, самолет горит, кабина летчика горит, а он все продолжает идти в строю! И они ударили по хвосту. Самолет потерял управление и начал пикировать. Единственным решением, которое мог принять в этой ситуации лейтенант Разумов, было прыгать! Он подал команду и хотел прыгать сам. Отстегнул ремни и открыл кабину, но… выпрыгнуть не смог: тело отяжелело и больше не желало его слушаться. А потом надвинулась кромешная мгла… Виктор потерял сознание.

Очнулся он на земле, во ржи, недалеко от леса. Произошло абсолютно необъяснимое чудо! Как рассказывали очевидцы (дело было на Западной Украине), с четырех тысяч метров неведомой силой его выбросило из самолета, а в 200 мет-

рах от земли вдруг раскрылся парашют (видимо, почти безжизненная рука случайно зацепила кольцо). У Виктора обгорело лицо, руки, при падении он поломал ребро. Так он и остался: обгорелый, безоружный в тылу врага. Ему оставалось только одно — попытаться выйти из окружения и добраться до своих.

Пятеро суток, несмотря ни на что, больной и голодный, он шел на восток, с неимоверным трудом преодолевая за сутки по 3–5 километров. Почти через каждые десять метров приходилось прятаться. Линия фронта между тем уходила все дальше и дальше: по 15–30 километров в сутки советские войска оставляли западные территории страны. Через пять суток начали гноиться ожоги на лице и руках, Виктор все эти дни ничего не ел, только пил, в конце концов он уже не мог идти. И если бы не добрые люди, подобравшие обессилевшего от голода и боли человека в летном шлеме, Виктора Разумова ждала верная смерть. Но судьба распорядилась иначе.

Его поместили в расположившийся неподалеку полевой передвижной госпиталь, подбиравший раненых и больных на оккупированных врагом территориях. «Госпиталь»: 10 человек на койках, 150 — на соломе в сарае. Это место и госпиталем-то назвать было трудно: раненых лечить было нечем. Да что уж там лекарства — хлеба зачастую на всех не хватало. Три месяца пролежал в госпитале Виктор Разумов и все-таки выжил. Уже после войны он узнает о том, что из сбитых в тот роковой июньский день над территорией, занятой противником, боевых товарищей добраться до линии фронта удалось лишь одному капитану Шевцову, с которым в начале боя они шли «крыло к крылу». Капитан Шевцов так и не смог рассказать в полку о том, что произошло с самолетом, которым управлял его друг. А в 42-м Шевцов сам погибнет… В июле 1941-го не вернулся с боевого задания однополчанин, которому перед вылетом были выданы все документы, удостоверявшие личность летчика Разумова. Понесший в начале войны большие потери их сотый дальнебомбардировочный полк был расформирован все в том же 41-м, и вообще из их полка концу Великой Отечественной уцелеют совсем немногие… Позже в письме к генералу Балашову Виктор Михайлович напишет: «Обидно, что не пришлось повоевать и так мучиться эти годы без пользы для Родины. А товарищи эти годы сражались, росли… Радовался за них и горевал о погибших… Ну а я даже медали „За победу над Германией“ не заслужил, хотя отдал свою кровь и здоровье за Родину. Ну что же поделаешь — такое, видно, мое счастье в этой войне. Обижаться не приходиться». Но не только Виктор Михайлович перенес подобное. Сколько похожих судеб…

В 45-м он тоже для многих воскреснет из мертвых. Потому что не вернувшегося из боя в течение 45 дней лейтенанта, согласно положению, причислят к разряду «пропавших без вести», о чем уведомят Лелю и близких родственников. И когда в декабре 1942 года на заснеженный Урал из штаба Второго Гвардейского авиационного полка дальнего действия придет «похоронка», в конце которой будут стоять слова «Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии (приказ НКО)», в необратимость случившегося поверят все. Все, кроме Лели, которая отказывалась верить любым официальным бумагам с гербовыми печатями и угловыми штампами…

Что же происходило в это время с женой лейтенанта Разумова? До Магнитки она добралась, чудом уцелев при бомбежках и артиллерийских обстрелах. Свекровь и семья деверя взяли на себя все заботы об измученной долгой дорогой и переживаниями невестке.

Ответы, приходившие на ее многочисленные письма, были неутешительными. «Ваш муж т. Разумов с боевого задания, на которое он вылетел 26/VI, до сих пор не возвратился, — писал в конце августа 1941-го политрук полка С. И. Прохоров, — правда, некоторые товарищи возвращаются с этого задания и до сегодняшнего дня, но вы сами видите, т. Разумова, что срок довольно большой его невозвращения. Я вам пишу, совершенно не сглаживая факта, как настоящей боевой подруге. Зная, что бы с вашим мужем ни случилось, вы это воспримете как подлинная патриотка нашей социалистической родины…

Вам совет — не падайте духом, рожайте хорошего сына, поправляйтесь, а там дело будет видно. Не забывайте, что вы живете в социалистической стране, а ваш муж погиб за ее счастье и процветание в бою с врагами».

И Леля духом не падала. В октябре вместо сына появилась на свет дочка. И имя ей дали в честь отца — Виктория. Виктория — значит, победа. В победе России над фашистской Германией Леля не сомневалась, так же как и в том, что Виктор вернется… А из Центрального бюро по персональному учету потерь личного состава действующей Армии Елене Евгеньевне Разумовой между тем сообщали: «Разумов Виктор Михайлович в списках убитых, умерших от ран и пропавших без вести не значится». Разве не могло это служить хоть маленькой, но все-таки «зацепкой» для объяснения друзьям и близким небезнадежности затянувшихся поисков?

В декабре 1942 года семья получила официальное извещение о смерти лейтенанта Разумова, под которым стояла подпись бывшего командира сотого полка, Героя Советского Союза, гвардии подполковника Балашова. И вновь не поверив категоричной формулировке «погиб при выполнении боевого задания», Леля решила обратиться к нему за разъяснениями. В марте 1943-го пришло очередное письмо. «Вас, естественно, интересует, да просто жизненно необходимо вам знать о судьбе вами любимого мужа, — писал Балашов. — Требования ваши вполне оправдываемы и законны. Я долгое время колебался в выборе — что сказать. В конце концов решил, что будет более справедливо, если сказать, что ваш муж погиб. Если когда-либо я окажусь не прав, то пусть вы меня поругаете, но от этого не будет хуже ни мне ни вам, но, к сожалению, на это нет у меня надежд».

Все уповали на то, что у нее достанет силы воли, чтобы пережить утрату. В конце концов молодая красивая женщина еще вполне могла устроить личную судьбу, тем более что обращали на нее внимание многие. Говорили даже, что к ней был неравнодушен сам секретарь Магнитогорского горкома партии, где к тому времени Елена Евгеньевна работала инструктором орготдела. Но Виктор, в смерть которого она по-прежнему не верила, оставался ее единственной любовью, и письма с запросами летели и летели из Магнитки во все инстанции.

В 1944 году в Магнитку пришло наконец долгожданное подтверждение многолетней лелиной убежденности. Письмо, принесенное почтальоном на этот раз, прошло долгий путь из Германии до берегов Урала и было написано незнакомой женской рукой. В «странном» послании сообщалось о том, что Виктор Разумов жив, что находится он ныне в небольшом немецком городе Ортранде. О судьбе родных и близких ему ничего не известно, так что, если они живы, пусть дадут знать о себе. Но в начале письма стояли страшные в своей противоестественности слова: «Здравствуйте, мама! Пишет вам ваша невестка Нина...»

Письмо от Лели решили скрыть. Брат Владимир сурово отписал Виктору в далекую Германию, что все они, конечно, рады его неожиданному воскрешению. Однако здесь, в Магнитогорске, у него растет дочь, и, если, забыв свой мужской и отцовский долг, прежнюю семью он предал, Вику они вырастят сами, а за родных ему беспокоиться больше не стоит... Письмо отправили по означенному адресу. А то что прислала неизвестная Нина, свекровь опрометчиво схоронила в кармане старенького пиджачка, который накидывала на плечи, если нужно было срочно выбежать из дому.

Откуда ей было знать, что скоро может произойти то, от чего все так оберегали Лелю. Как-то наскоро схватив злосчастный пиджачок и выбежав в нем за какой-то надобностью во двор, Леля неожиданно нащупала в кармане роковой листок бумаги и, не веря собственным глазам, прочла жуткие для нее строки, свидетельствующие о предательстве самого близкого и самого дорогого на свете человека! Многолетняя бесконечная надежда, бессонные ночи и томительное ожидание почти невозможного чуда — все в одночасье рухнуло, рассыпавшись в прах.

Прошло еще несколько месяцев. О Викторе в доме Разумовых старались больше не вспоминать, и ответа на письмо, отправленное в Ортранд, никто в семье не ждал. Но он пришел. Пришел так же неожиданно, как и предыдущее послание. Исписанный до боли знакомыми, «летящими» строчками мелкого почерка листок бумаги начинался словами: «Мама! Это письмо покажется вам запиской с того света. Это, пожалуй, и верно, так как пишу я, находясь в Центральной Германии. Вы меня давно похоронили, а ведь я еще живой. Мне „повезло“ — я сильно погорел, провалялся три месяца в „госпитале“, много хлебнул горя и нужды по лагерям, но остался все тем же, что и был. Ничто не изменилось в моих убеждениях. И лохмотья, и полуголодную жизнь русского военнопленного (а это самая низшая категория военнопленных, полулюдей) никогда не променяю на мундир немецкого солдата или солдата РОА, как это многие сделали по голоду и небольшая часть по убеждению. Я родился русским и русским умру. Если будет счастье — вернусь домой, и тогда вы все узнаете. Знайте только одно: ваша совесть может быть чиста за меня. Уж коли мне суждено быть пленным, пусть будет так, но никогда я не поднимал и не подниму руки с оружием на своих братьев-русских. Ведь, может быть, на фронте где-нибудь сражаются сейчас Владимир и Сергей.

Жаль, что так мало пришлось повоевать, но уж, видно, такое мое счастье в этой войне. Что сделаешь? Вы, наверное, тоже немало горя хлебнули за эту войну, но

так хочется верить, что мы снова увидимся живыми и здоровыми. Только надежда на эту встречу поддерживала меня все эти тяжелые годы. И я хотя не тот уже, что был, но все же еще крепок и телом и душой. Может быть, эта весточка и дойдет до вас. Скажите тогда сердечное спасибо нашей русской девушке Нине. Верю, что близок конец и впереди Победа, близится конец нашим испытаниям. Будьте здоровы. Надейтесь на лучшее впереди, а у меня хватит сил снести свою судьбу.

Если же я не вернусь, значит, я погиб и так было надо. И не надо проливать много слез, умирают один раз и обязательно. Я и так уже должник жизни. Я дважды прощался с нею, а она возвращалась ко мне. Стоит ли писать, что я желаю счастья всем, всем, кто еще не забыл меня. Нельзя выразить на бумаге, как хочется сейчас домой, туда — в наш маленький домик. Крепко, крепко обнимаю и целую всех вас, моих дорогих и близких, хотя вы от меня сейчас так далеко.

Виктор».

И все-таки возникал вопрос: кто же была эта девушка Нина? По принятой в семье версии, она не была военнопленной, и ее не содержали не в таком строгом режиме, как Виктора. Сердобольная девушка, узнав историю русского лейтенанта, решила помочь ему. Отправить письмо она могла только своим родственникам, поэтому в письме и представилась невесткой… Вот такая история.

С этим листком, с этой весточкой от Виктора, невестка Анна, жена Владимира, не дожидаясь рассвета, отправилась аж на Зеленстрой, где в каком-то «доме отдыха» военного времени находилась в те дни Леля. И до рассвета в бараке, где размещались «палаты» отдыхающих, стеной стоял плач. Слишком немногим женщинам выпало на долю это счастье — дождаться мужей и сыновей с войны.

Но до возвращения Виктора в Россию было еще далеко. Концлагерь, узником которого к августу 1944 года оказался лейтенант Разумов, располагался на территории противника и носил безликое название «Stalag IV B». Здесь, по совету опытных товарищей, не меняя фамилии, он зарегистрировался под номером 284 869 рядовым одной из дивизий, разбитой на границе в первые дни войны. До этого, начиная с того сентябрьского дня 1941-го, после того как на их «госпиталь» наткнулся патруль немецкой полевой жандармерии, были долгие скитания по многочисленным лагерям военнопленных на оккупированной территории СССР: Луцк, Ровно, село Дуброво, Псков, Пярну, Рига… Столько мест! Диву даешься, когда читаешь исписанный мелким ровным почерком листок бумаги. Столько названий, в стольких городах перебывал Виктор Михайлович! Сколько горя хлебнул там… Но самое главное — как удалось ему все это запомнить? Для его дочери, да и для нас, это осталось неразгаданной загадкой… Впоследствии мы узнали, что ни Виктор Михайлович, ни Елена Евгеньевна не любили вспоминать ими пережитое и никому, даже детям, об этом старались не рассказывать. А Виктор Михайлович говорил, что тот, кто видел и испытал на себе настоящие ужасы войны, никогда не будет рассказывать этого публично: слишком глубоки раны и невосполнимы утраты…

Из рижского лагеря летом 1944-го, когда наши самолеты начали бомбить Прибалтику, уцелевших узников переправили морем в Данциг, а оттуда по железной дороге доставили в Ортранд. Фашистской Германии по-прежнему требовалась грубая рабочая сила для работы на фермах немецких «Бауэров» и на промышленных предприятиях. Слухи о том, что гитлеровская армия войну проиграла, проникали и сюда, за колючую проволоку, и воспринимались теми, кого в родной стране, согласно знаменитому приказу Ставки Верховного Главнокомандования СССР, считали изменниками и предателями Родины, как весть о скором и долгожданном падении Рейха. Они и сами стремились как можно быстрее вырваться на свободу, чтобы, соединившись с наступавшими на Берлин советскими частями, успеть внести посильную лепту в разгром врага.

В «Stalag» действовало свое военное подполье, тщательно готовившее побег из лагеря. На тайных сходках обсуждались детали предстоящей операции. А днем узников отправляли на работу в литейный цех завода «Айзенхютт» или отдавали в распоряжение хозяев окрестных ферм. Особым везением считалось попасть на работу к одному «либералу», дававшему в награду изголодавшимся «арбайтерам» крынку молока и буханку хлеба. В один из дней, когда добрый хозяйчик, набрав себе подходящих работников, среди которых оказался и № 284.869, отправился с ними на ферму, все участники подполья, оставшиеся в лагере, были расстреляны по доносу предателя. Смерть вновь по необъяснимой случайности обошла Виктора Разумова стороной. Это не простое везение, это сила любви Лели спасала и уберегала его от всяческих бед.

Ночью 20 апреля 1945 года узников подняли и велели приготовиться. Утром их погнали этапом. Ночевали в лесу. Дальше хода не было: впереди стояли англо-американские войска, поэтому весь последующий день сидели в лесу, конвой просто не знал, куда вести. Неожиданно конвой поворачивает назад, в Ортранд. Военнопленных прогнали 6–7 километров. Навстречу шел поток беженцев-немцев, а это могло означать только одно — русские наступали! Шестерка русских вместе с летчиком Разумовым решает отколоться от этапа. Постепенно они стали отходить, нашли русских рабочих, переоделись в другую одежду. Вскоре заметили погоню: кто-то выдал! Посты прошли мимо, не узнав переодетых русских военнопленных. К ночи этап угнали к Эльбе, а Виктор с соотечественниками остался. Русские войска между тем наступали. Группа Виктора двигалась к Ортранду. Сколько было радости и счастья, когда увидели своих. В Ортранде они присоединились к одному из русских полков.

Еще долгое время Виктор будет проходить нескончаемые проверки СМЕРШа на пресловутую «благонадежность», обморозит ноги, живя в сосновых шалашах на пересыльных пунктах, где ожидали решения своей участи сотни, тысячи таких же, как он, «вольно или невольно оказавшихся в плену»…

В конце ноября все того же 45-го года его демобилизуют по состоянию здоровья и отправят домой. В товарном вагоне для угля, без билета, со справкой, удостоверявшей личность, лейтенант запаса Разумов выедет в Москву. И путь его вновь будет лежать на восток. Только на этот раз в родную мирную Магнитку…

С тех пор как в Магнитогорске получили долгожданное известие о возвращении Виктора, ежедневный маршрут Лели стал пролегать через перрон старого вокзала. Она приходила сюда и в теплые дни ранней осени, и в сменившие их дождь и зимний холод. Четыре года разлуки должны были со дня на день завершиться радостной встречей. Но дней проходило все больше, а ожидание становилось бесконечным… Конечно же, они обязательно узнают друг друга в любой толпе. Если не увидят, то почувствуют сердцем — ведь именно так показывались подобные сцены встречи после долгой разлуки в кинофильмах военных лет: широкий разворот солдатских плеч, она, уткнувшаяся в серое сукно военной шинели, и счастливые улыбки сквозь слезы радости…

Но ничего этого на перроне станции Магнитогорск-Товарная так и не случилось. В тот уже неизвестно какой по счету день ожидания, когда в Магнитку прибыл наконец долгожданный состав, ни Леля, ни Виктор не увидели и не почувствовали друг друга в толпе вокзальной круговерти.

Побродив в толпе, Леля привычной дорогой направилась к трамвайной остановке. Почти машинально поднялась на переднюю площадку второго вагона, встала у окна… Под стук колес на душу наваливалась усталость бесконечных, казалось, лет ожидания. Через пустые провалы окон вагон продувался всеми ветрами, но Леля не замечала ни холода декабрьской стужи, ни странного пассажира, возникшего вдруг в проеме окна переднего вагона.

— Леля!

Она вдруг подняла сверкавшие от слез глаза на этот полупростуженный оклик. Старая немецкая шинель, исхудавшее обветренное лицо, покрытое рубцами от ожогов… И взгляд — взгляд, который невозможно было спутать ни с чьим другим. А Виктор уже бежал, бежал к дверям ее вагона, и эти последние несколько метров, отделявшие их сейчас друг от друга, казались обоим бесконечней той долгой дороги, которую им довелось преодолеть за четыре нелегких года.

Кожу его рук тоже стягивали беловатые ожоговые рубцы, неопределенного цвета обмотки и немецкие сапоги. Но в этот декабрьский день 1945 года можно было наконец поверить в то, что кончилась война.

«Папа приехал! Папа приехал!» — с громким криком вся ребятня как по команде высыпала из дому на крыльцо. Две девчушки-одногодки, Вика и племянница Лида, оказались рядом. Обеим не исполнилось еще и пяти, обе родились одна за другой в конце 1941-го, обе пока плохо понимали, что за «папа» и к кому приехал этот высокий человек в старой шинели и сапогах.

Что касается «невестки Нины», чуть не разрушившей в одночасье семейное счастье Разумовых, то она больше ни разу не даст знать о себе, оставшись в домашних преданиях некоей девушкой из «гражданских», угнанных фашистами

в Германию, и по доброте душевной согласившейся сообщить родственникам о местонахождении своего «мужа» лейтенанта Разумова.

ДОЛГИЙ ПУТЬ

Через год их было уже четверо. С огромным риском для жизни и без того слабая здоровьем Леля решилась родить второго ребенка.

Виктор поначалу устроился рабочим: все документы об образовании были безвозвратно утеряны, жизнь приходилось начинать заново, с нуля. А давалось все это не так легко. Позже он перешел работать в гвоздильный цех метизно-металлургического завода простым гвоздильщиком и поступил на учебу в индустриальный техникум. Днем работа, вечером учеба, потом до поздней ночи выполнение домашних заданий. Все приходилось начинать сначала, не оглядываясь на прошлые заслуги. Да и были ли они в «сталинскую» эпоху у человека, вместо войны прошедшего фашистские концлагеря? Советская власть не считала себя ответственной за собственные промахи и чудовищные ошибки…

Леля еще некоторое время продолжала работать инструктором Горкома партии. Позже вновь вернулась к редакционной работе. Мужа ее вплоть до начала 50-х регулярно вызывали в следственный отдел КГБ. Иногда встречи эти проходили ночью. И тогда никто из домашних не знал наверняка, вернется ли Виктор к утру в родные стены или судьба вновь устроит им очередное испытание. После возвращения в Магнитку жизнь стала постепенно налаживаться, но такой, как раньше, стать она не смогла. Казалось, что Виктору так и придется всю жизнь жить с этим страшным клеймом.

Удивительная история их любви и верности была известна многим. Может быть, поэтому никто никогда так и не поставил перед Лелей вопрос ребром о невозможности продолжения работы.

Уже умер Сталин, и в стране прошел «разоблачительный» XX съезд партии. Уже начался процесс реабилитации жертв сталинских репрессий, когда в зале старого здания городского театра проходила очередная комбинатская партконференция. Во время избрания нового состава парткома кто-то выдвинул предложение ввести в него Елену Евгеньевну Разумову, которая работала к тому времени ответственным секретарем газеты «Магнитогорский металл». Возражений не было. И вдруг в тишине собрания отчетливо прозвучало: «Разумову нельзя в партком. У нее муж предатель…»

И эта несправедливая жестокость вихрем взметнула с места Лелю. Взлетев на сцену, где сидел президиум, она, маленькая, слабая женщина, кричала в огромное пространство вмиг смолкнувшего зала о том, что ее муж, летчик Разумов, никогда не был предателем, что самолет его был сбит в бою за Родину и что, случись выбирать, он предпочел бы предательству смерть! Впрочем, большинству присутствовавших все это было известно и так, и кандидатура члена партии Елены Евгеньевны Разумовой ни у кого не вызывала сомнений…

Только в 1956 году Виктора Михайловича восстановят в партии, а год спустя вручат орден Отечественной войны II степени. Но о прошлом «военнопленного» жизнь еще не раз напомнит ему, бывшему боевому летчику, чей самолет оказался подбит врагом через четыре часа после начала первого и последнего в его жизни боя. Может быть, поэтому ни он сам, ни Елена Евгеньевна никогда не рассказывали дочерям свою подлинную семейную историю. А Виктор Михайлович неизменно отказывался от приглашений выступить в детском саду, куда ходили внуки, с рассказами о славном боевом прошлом. Лгать он не умел, а правда была слишком горькой и сложной.

Но когда на экраны кинотеатров вышел фильм Григория Чухрая «Чистое небо», отец, как вспоминает Виктория Викторовна, не мог сдержать слез, говоря: «Этот фильм про меня». Хотя, как нам кажется, картина была сентиментальнее и романтичнее суровой действительности…

Став начальником гвоздильного цеха, принимал к себе на работу людей с четырьмя судимостями, от которых отказывались все уважающие себя цеха «метизки». И удивительным было то, что бывшие рецидивисты никогда не позволяли себе в присутствии Виктора Михайловича ни ругани, ни сквернословия. Этот человек, на лице которого война оставила свой неизгладимый след, вызывал в них безотчетное уважение.

Взять из цеха горсть гвоздей «для личных нужд» было для него равносильно злоупотреблению служебным положением. И это в условиях тогдашнего тотального магазинного дефицита практически на любой товар! Когда однажды Елена Евгеньевна попросила мужа принести кусок металлической сетки для форточки, чтоб комары поменьше летом одолевали, он сказал, будто отрезал: «Запомни, я работаю в гвоздильном цехе и сетку не делаю». А когда все-таки в доме понадобились гвозди, он месяц ходил по заводским кабинетам, оформляя необходимые бумаги. «Старомодный» был человек, что скажешь.

Надорванное суровыми испытаниями и без того нездоровое сердце Елены Евгеньевны начинало все настойчивее напоминать о себе. Но даже когда в ноябре 1976-го она в очередной раз слегла в больницу, ни муж, ни дети, ни родственники, ни друзья всерьез не верили в близость роковой развязки.

После смерти Виктора Михайловича в руки дочерей попали четыре альбома с фотографиями.

С альбомных страниц смотрели на зрителя комсомольцы 30-х, молодые люди 40-х, убеленные сединами и умудренные жизненным опытом современники 70-х… Это был рассказ о трудной и счастливой судьбе, созданный автором в тяжелые дни и бессонные ночи за закрытыми дверьми комнаты. Он не хотел, чтобы об этих альбомах узнали раньше времени, и потому никого не пускал к себе во время работы.

Здесь, в этих альбомах, были собраны фотографии маленькой Лели и ее родителей, карточки, запечатлевшие отца, мать и братьев самого Виктора Михайло-

вича, групповые и персональные снимки однокашников по Горпромучу, и почти к каждому шло свое пояснение.

А еще к альбомам этим прилагалось девять обычных школьных тетрадей, в которых мелким четким почерком Виктора Михайловича были воспроизведены утерянные за давностью лет тексты писем и похоронок, маршруты скитаний по концлагерям летчика Разумова и множество других подробностей, которые продолжала цепко удерживать память 63-летнего человека, многое повидавшего и испытавшего в жизни.

«Я не смею говорить…» Воспоминания моего деда А. А. Калимова о фашистском плене (1941–1945)

Ирина Калимова, Республика Коми, г. Сыктывкар
11-й класс, научный руководитель Б. Р. Колегов

Памяти солдат Великой Отечественной,
для кого фраза Сталина «У нас нет пленных —
у нас есть только предатели» оказалась роковой.

Я не ставила никакой цели, готовя эту работу. Цель, как и сама работа, возникла случайно. Умер мой дедушка Александр Александрович Калимов. Судьба всю жизнь испытывала его на прочность. Но он не поддавался ей, работал. Стал не последним человеком в городе и республике.

Родился мой дедушка в селе Тыдор Усть-Вымского района в 1920 году. В семье он был тринадцатым ребенком. Его жизнь представлялась мне до обыденности простой. Обычный сельский паренек 30-х годов: учеба, работа, служба в армии, во время войны — участие в боях, после войны — работа, пенсия и смерть. Дедушкин архив был случайно обнаружен моими родителями уже после его смерти и перевезен к нам. Среди бумаг деда папа нашел коробку из-под конфет. Он открыл ее и в свертке, в старой шали обнаружил рукописные воспоминания дедушки, датированные 1946 годом. Они рассказывали о тех событиях, которые дедушке пришлось пережить с 1941-го по 1945 год. Рукопись представляет собой самодельно сшитую книгу-альбом большого формата в 90 рукописных листов. Она обшита беленым холстом с чернильной надписью на форзаце «А. Калимов».

Я долго колебалась, участвовать или не участвовать в конкурсе. Колебалась до тех пор, пока не решилась прочитать воспоминания дедушки. Прочитав их, я поняла, что дед свои записки посвятил нашему поколению и поэтому я просто обязана участвовать в конкурсе. Читая дневник моего дедушки, я проследила его путь.

ЛЕТО 1941 ГОДА

Дедушка попал на службу в Красную Армию в 1939 году в пограничные войска НКВД, которые были расположены на территории Эстонии. До 1940 года он охранял «временные приграничные рубежи с соседними государствами». После «вхождения» Эстонии в СССР он начал охранять границу СССР.

Именно здесь 22 июня 1941 года на 21-м году жизни младшего сержанта пограничных войск НКВД Александра Калимова застала Великая Отечественная война. Все идеи-лозунги, на которых он был воспитан («Война малой кровью», «Война на чужой территории», «Все советские люди как один встанут на защиту своего отечества»), были опровергнуты в первые же дни войны.

Уже тогда дедушка понял ошибочность этих лозунгов. «Абсолютное большинство эстонцев стало на защиту *своей* Родины на стороне немецких оккупантов». Эстонцы стали уходить в леса и формировать там отряды местного национального ополчения. «Они скрывались от мобилизации в лесах и при отходе Красной Армии стреляли в спину солдатам… Они называли себя кайцелитами[1]». Лишь малая часть эстонцев (из малоземельных крестьян и некоторого слоя рабочих) «организовались в истребительные батальоны и храбро дрались рядом с частями Красной Армии против фашистской армады».

После первых кровопролитных дней войны пограничные части НКВД, в которых служил мой дедушка, были разгромлены. Одни оборонялись до последнего, другие отступали, огрызаясь огнем и теряя раненых.

В одном из таких боевых столкновений побывал и мой дедушка. Оно произошло между отступающими пограничными частями НКВД (из города Хаапсалу) и немецким десантом, высаженным у города Пярну в районе деревни Керблы. Для удержания деревни Керблы был сформирован сводный отряд НКВД. В него вошел и мой дедушка. Именно в районе этой деревни и произошло его первое боевое крещение.

Наступление фашистов было таким стремительным, что провалилась не только операция по захвату (возвращению) Пярну, но и отступление. Все дороги уже были заняты немецкими войсками — танками, пехотой, мотоциклистами.

Здесь дедушка упоминает о своих ощущениях в бою и подробно описывает, как он сам лично убивает живых людей. Мой дедушка ощутил себя «зверем на зверей в эту минуту». Мне эта жестокость непонятна. Но для него в середине августа 1941 года *война стала просто работой*.

«Мы оказались отрезанными от своей части. Начали отступать. По пути бросили пулемет, так как с ним невозможно было пробираться и патронов к нему не было. Стало смеркаться. Немецкая артиллерия перевела свой огонь дальше, по-видимому, по отходящей нашей части. Я… взял направление движения на Таллин по компасу, который я хранил еще с заставы… До Таллина предстоял путь 50 километров по прямой. Обходил села, хутора, дороги, так как всю эту местность заняли фашисты». Четверо суток без еды мой дедушка шел к Таллину. Когда стало понятно, что для дальнейшей дороги сил нет, он зашел на хутор, отдельно стоящий около леса. «Вычистив автоматы, мы подошли к дому. В огороде работали женщина и старик. Я подозвал их, подходя к огороду, и попросил хлеба или чего-нибудь покушать. Она пригласила в дом. Я их предупредил, что если что-нибудь случится или будет угрожать опасность, то перестреляю их первыми. Зарядил гранаты и зашел в дом вместе со стариком и старухой. В доме оказалась еще девушка, которая принесла воды умыться. Я действительно был грязным, лазал по земле четверо суток. Старуха принесла на стол хлеба, молока, масла. Наевшись, закурил, дал закурить старику русской махорки, оставил хозяйке 15 рублей денег (которые она не хотела взять) и пошел по своему направлению». Он отошел от хутора метров на пятьсот и пошел по сухому болоту с мел-

ким сосняком и высокими кочками, где росли черника и голубика. Шел и ел ягоды. Вдруг дедушка заметил, что по направлению к хутору (а значит, и к нему) идут пять человек: двое мужчин (один в военной эстонской форме, а другой в синем комбинезоне) и три девушки. «Они приближались, громко разговаривая на эстонском. Эстонец в военной форме был с винтовкой за спиной… Высокие кочки служили для меня хорошей маскировкой. Я… бесшумно загнал патрон в патронник, зарядил гранаты и приготовился к решительным действиям. Эстонец в синем комбинезоне в 10–15 метрах от меня наклонился и стал собирать ягоды с большого куста. В кармане брюк, под комбинезоном торчала рукоятка нагана. Другой эстонец встал ко мне лицом в 20–22 метрах рядом с подошедшими девушками. Меня заметила одна девушка. Она побледнела и замерла. Я вскочил на ноги… и закричал: „Руки вверх!“ Девушки закричали не своим голосом и бросились бежать. Эстонец с винтовкой пытался снять ее из-за спины, но моя первая пуля сразила его, а вторую я пустил в другого, успевшего повернуться ко мне лицом. Этот в комбинезоне зашатался, дергая правой рукой за карман, по-видимому, пытаясь вытащить наган, и бросился бежать. Четвертую пулю я пустил ему в голову, прицеливаясь с колена… Я подошел к убитому эстонцу, вытащил с кармана его наган. Я… бросился бежать и бежал несколько километров. Успокоился я, когда настала ночь».

Это поразительно: с одной стороны, дедушка оставляет хозяйке хутора деньги (хоть и ненужные) за постой и еду, с другой — убивает около хутора молодых людей с оружием («врагов»?).

На четвертые сутки он вышел недалеко от Таллина к какому-то строительному батальону, стоявшему в обороне. «Нас накормили и указали место нахождения нашей части».

Часть дедушки держалась жестко и все-таки останавливала наступление врага. Бои пошли уже в городе. Потери были настолько большими, что в конце концов в части, к которой был откомандирован мой дедушка, остался только он и его напарник — боец эстонского истребительного батальона. «Я притащил ротный миномет, оставленный кем-то на поле боя, и 12 ящиков мин (по 35 штук в ящике). Мы установили миномет под бугром, за бетонным забором. Мы вели огонь с десяти часов утра и до пяти часов вечера 28 августа 1941 года, пока не перестреляли весь запас мин. Когда все мины были перестреляны, мы бросили миномет в колодец и расстались». Дедушка пошел в Таллин. Обстановка в городе оказалась ужасающей. «Я пошел на баррикады, а там не было единого командования, командовал всякий, кто хотел защитить Таллин. На другой день на нашем участке не оказалось ни одного среднего командира, и совсем немного оставалось бойцов и младших командиров. Куда все девались, я не мог знать. Думал, быть может, занимают оборону в другом месте».

Но днем 29 августа 1941 года дедушке сообщили, что Таллин сдан, что эстонское правительство улетело в Москву, а многие советские генералы и офицеры, бросив остатки эстонской группировки войск, на военных судах переправились в Ленинград. Военные корабли в гавани не брали на борт сухопутные части.

Обреченные люди были в панике. «Они искали лодки, чтобы добраться до наших военных судов, но целых лодок не было, а людей, вышедших в море на найденных лодках, переворачивало из-за перегруза и сильно большого ветра». Мой дедушка попытался пробиться в порт. «Ехали наши солдаты на автомашине, я попросил, чтобы меня взяли. Они ехали в минную гавань, где, по их словам, должны были нас посадить. Мы проехали весь город мимо горевших домов, складов, машин. К гавани проехать было нельзя, вся улица была забита тысячами разбитых и целых автомашин, танками, орудиями. Мы оставили машину, и пошли пешком. У берега толпилось несколько тысяч солдат и офицеров». Балтийский флот стремительно ушел из Таллинской гавани, оставив сухопутные части в ловушке. Флот бросил на берегу сотни тысяч людей, которые должны были послужить „пушечным мясом“ и погибнуть, прикрывая отход основных частей флота. В гавани, наполненной толпой красноармейцев, краснофлотцев, командиров, возникла паника. И тут прозвучал голос какого-то полковника: „Проберемся по суше мелкими группами в Ленинград“».

Из оставшихся на берегу Таллинского залива бойцов и офицеров на скорую руку сформировали боевые роты и послали их на прорыв вдоль залива. «Так несколько тысячная толпа (я не могу назвать это армией, так как никто никому не подчинялся, лишь общие стремления заставляли теперь идти вместе) дошла до дороги Таллин–Палдиски». Дедушка во взводе оказался единственным военнослужащим, кто «имел компас и карту и мог по ним ориентироваться». Их небольшой отряд направился к городку Палдиски.

Городок Палдиски находился в противоположной стороне (в ста километрах) от Ленинграда. Зачем им нужно было туда идти? Может, надеялись, что их подберет какой-нибудь прорвавшийся в гавань Палдиски советский военный корабль?

Отряд вышел неподалеку на нужную дорогу от Палдиски, и стали продвигаться к нему, и пошли по ее правой стороне. «И вот впереди на дороге мы увидели колону танков — это были вражеские танки. Они открыли огонь. Сотни убитых и раненых остались на небольшой площади». Оставшиеся в живых бежали куда глаза глядят. Мой дедушка тоже бежал. В своем дневнике он пишет: «Я, Домородов, Николай и еще несколько человек бежали по направлению к заливу. Долго была слышна пулеметная стрельба. Стало темнеть. Наша группа состояла из 12 человек». Дедушка получил второе ранение (осколком в левую ногу ниже колена). «Я мог идти, но рана сильно мешала, а потом стала левая нога опухать, но тогда я не хотел обращать на это внимания». Отряд взял курс на восток по лесам, обходя большие дороги, деревни, города. «Шли четверо суток без пищи… некоторые продукты (перегнившие и брошенные корнеплоды и капусту), которые мы доставали ночью с крестьянских огородов, мало помогали, и нам уже было трудно двигаться». Голод достиг такой степени, что они решили зайти в близлежащий дом-хутор, чтобы набрать продуктов. «С наступлением темноты мы подошли к дому. Дверь была на замке. Я начал вытаскивать пробой, но от сараев шла женщина, и я перестал ломать. Она была сильно напугана. Обещав нас накормить и дать то, что нам надо, она открыла замок. Я спросил, где ее муж. Она

ответила, что в сарае. Я велел позвать. Она крикнула его по имени. Пришел мужчина средних лет. Когда подошел, начал говорить по-русски с небольшим акцентом. Он также не отказал нам в нашей просьбе».

«Мы сразу бросились за стол, не зная с чего начать. Я ел стоя. Домородов сел. Зашел и Николай, говоря, что никакой опасности нет». Да и зачем было нести караул, если сам «хозяин утверждал, что к нему никто из немцев или кайцелитов не ходит»? Но что-то все-таки насторожило моего дедушку — «запах чуждого», напускное радушие хозяев? А может быть, слишком уж было тихо вокруг? Словом, дедушка торопился уйти с хутора как можно быстрее. «Я сказал хозяину, что через пять минут мы уйдем и пусть он приготовит пакеты с продуктами нам на дорогу». Хозяин попытался задержать их, предложив водки и даже выпил сам, показывая, что водка хорошая. Дедушка «отказался и посоветовал никому не пить, потому что нам нельзя пить, пока не доберемся до своих». Он стал собирать пакеты с едой в сумки и просил то же делать и своих товарищей — Домородову и Николаю. «А они по-прежнему ели быстро и что попало и не понимали моей тревоги». Тут послышался стук в дверь, «стук, который был сильнее любого удара по уху. Мы вскочили на ноги». Дедушка попытался узнать у хозяина, кто может стучаться, но хозяев уже не было рядом (они спрятались за печку). Дедушка понял, что они оказались в ловушке.

Дальнейшие события этого дня дедушка узнал позже, придя в сознание, в бане. «Здесь я пришел в сознание. Через окно светила луна. У меня болела голова, и я не мог ни пошевелить правой рукой, ни глубоко дышать. Хотелось пить. Я не мог понять, где я. Мне казалось, что это все сон. Почему я вижу окно, луну, какую-то лавочку, неровный пол? Я понял, что кто-то лежит рядом. Кто он? Черная шинель, рядом с головой бескозырка без ленты. Да это же Домородов! Где же Николай? Тяжело было говорить, потому что во рту было сухо. Я позвал Николая, и что-то кольнуло в грудь. Николай отозвался слева от меня. Значит, мы вместе, но где?» Дедушка еще был уверен, что он не в плену, что его товарищи вырвали его из рук врага. «Домородов стонал. На груди, через расстегнутый ворот рубахи было видно что-то белое. Я потрогал это левой рукой. Оказалось, что это были бумажные бинты». Тогда дедушку и обожгла мысль, что это плен. «Я в плену, о чем никогда не мог подумать раньше. Если бы кто-нибудь мне сказал раньше, что можно попасть в плен так, как попал я, то я бы вряд поверил ему. Мне не хотелось верить, но это было очевидно: мы в плену, и завтра кайцелиты передадут нас немцам. В открытое окно смотрит кайцелит, рядом с головой торчит штык и дуло винтовки. Как теперь быть? Бежать? Но как? Быть может, счастье еще улыбнется, и будет еще возможность держать в руках оружие. Ох, и дураки же мы, зашли в дом». Дедушка очень сильно переживал плен. «Мысленно прощался я со всеми, и вся моя жизнь прошла перед глазами». Дедушка вдруг понял, что теперь он оторван от Родины и что «она не признала мою любовь». Дедушка никогда не плакал, а «при этой мысли мои глаза заливались слезами. Для меня было лучше умереть, чем быть в плену».

Дедушка понял одно, что наступает самый страшный период в его жизни — период плена.

Бессонная ночь в бане закончилась. «Утром открылась дверь, и нас вызвали на улицу». Около бани стояла повозка, запряженная парой коней. Рядом с повозкой стоял немец. «Я же вышел сам. Домородова вынесли Николай с эстонцем и положили в повозку». Дедушка был очень слаб, чтобы забраться на повозку самостоятельно (мешала рана, полученная во время ночной стычки). «Я забрался на повозку с помощью Николая. У меня кружилась голова, и правая рука не могла удержать тело». Когда пленных размещали в повозке, подошла эстонка с куском хлеба, но ее прогнали. Конвоиры вели себя мирно. «Они нас не трогали и ни о чем не спрашивали». Сначала пленных довезли до немецкой комендатуры, где пересадили на автомашину вместе с двумя солдатами и довезли до Таллина. «Немец нас с Николаем повел в Таллинскую крепость».

Когда дедушка с Николаем вошли в Таллинскую крепость, то увидели страшную картину: «посреди крепостной площади толпа людей в русских шинелях дрались между собой, толкая друг друга, хватая что-то с земли и друг у друга из рук». Когда он с напарником подошел ближе, то толпа уже разошлась во все стороны. Неподалеку ходили люди, согнувшись собирая что-то с земли. Дедушка подошел к одному из них. Тот собирал в каску кусочки сухарей размером с горошину. «Я спросил его, почему он это делает и откуда здесь сухари. Он ответил мне грубо и безучастно, что завтра и я буду их здесь собирать, и коротко объяснил, что каждый день в крепость кидают три мешка вот таких сухарей, а людей здесь около трех тысяч. Поэтому и дерутся. Ведь каждый хочет жрать».

Первая картина лагерной жизни очень поразила дедушку, но совсем скоро они станут обыденным явлением.

В Таллинской крепости были пленные всех родов войск и всех званий. «Здесь были пехотинцы, моряки, артиллеристы и танкисты, красноармейцы и командиры: лейтенанты, капитаны, майоры. Люди со средним и высшим военным образованием…» Но, как вспоминает дедушка, «хмурые лица лейтенантов, капитанов, майоров (людей со средним и высшим военным образованием) не отличались от всех остальных». У дедушки создалось впечатление, что здесь была собрана одна лишь серая масса, потерявших всякую надежду на жизнь людей. «Многие сидели уже по 4–5 дней, не получая ничего, кроме трех мешков горелых сухарей в день на всех. Было много раненых, которые не могли двигаться».

Как отмечал в своих воспоминаниях дедушка, люди в Таллинской крепости были собраны фашистами с одной целью — уменьшить число живых. Разговоры среди пленных ходили разные. «Одни говорили, что для фашистов все равно, где заморить нас голодом — здесь (даже здесь лучше, так как трудно бежать) или в другом месте; другие говорили, что скоро должны куда-то отправить». Именно в крепости стало понятно, кто на что способен — на предательство или на взаимопомощь. В плену значение играет физическая сила, выносливость и беспощадность, а в Таллинской крепости у моего дедушки почти не было шансов выжить без чужой помощи. Ведь он был ранен и не получал поддержки от Ни-

колая, с которым попал в эту крепость. Тот был здоров, не ранен и не покалечен. Ему удавалось в борьбе выхватывать больше горелых сухариков, а делиться он ими не хотел, поэтому старался не показываться дедушке на глаза. Вспоминая о поведении Николая, дедушка говорит: «Я, конечно, не стал бы их (горелые сухарики) у него просить, но мне хотелось иметь товарища, чтобы с кем-нибудь поговорить, успокоиться, но я никого не находил». Дедушка стал искать новых товарищей среди пленных. Но не нашел их. «К кому я ни обращался, все были заняты своими мыслями, мой разговор оказывался для них скучным. Я заводил разговор о будущем. Этот вопрос интересовал всех пленных, но никто не хотел говорить об этом, так как для пленных Таллинской крепости не было будущего». Чем они жили? «Некоторые — чуть брызжущей надеждой, а их многие соседи уже отчаялись и были уверены, что ничего уже изменить нельзя». Эта безысходность отразилась в массовых самоубийствах. «Многие из пленных кончали жизнь самоубийством: бросаясь со стен крепости, бросались на часового, вешались; многие умирали от ран, от истощения». Как вспоминает сам дедушка: «Я пробыл в крепости три дня. За это время мне удалось съесть лишь один сухарик грамм на пятьдесят. Но меня мучил не голод, а мысль о смерти в этой крепости от полученной раны. Материи для перевязки не было. Я сам перевязывал себя, разорвав свою грязную рубашку на бинты. Плечо и рука опухли, стала опухать грудь. Это сопровождалось сильной болью, и я часто терял сознание и не мог заснуть». В борьбе с болезнью моему дедушке помогал холод, «так как ночью камни, на которых мне приходилось лежать, покрывались инеем». К счастью для дедушки, через три дня после его пребывания в Таллинской крепости немцы стали вывозить оттуда оставшихся в живых людей. При этом основное различие для них было: живой — мертвый. Они бросали в кузов пленных, не разбираясь, раненый этот человек или обессиленный. Моему дедушке повезло. Его забросили в кузов. Машина с пленными двинулась из Таллинской крепости.

ЛЕТО 1941 ГОДА. ВИЛЯНЬДИСКИЙ ЛАГЕРЬ

Машина с пленными шла весь день. Дедушка вспоминает: «Ночью нас высадили в поле и повели по грязи. Многие были в тревоге: вдруг ведут на расстрел?» Голодным, обреченным на смерть и истощенным до предела людям эта мысль казалась реальностью, но об этом никому не хотелось даже думать. «Расстреливать нас не стали. Нас довели до будки. От будки отходило влево и вправо проволочное заграждение в три ряда, со спиралью посередине, высотой около трех метров. По линии проволочных заграждений бил луч прожектора, освещая будку, куда нас привели и нашу площадку». В этой будке их обыскали (изъяв все запрещенное) и загнали за линию проволочных заграждений. Далее они двинулись по грязи к какому-то сооружению. «Оно чернело от нас в сотне метров. Около нас, пока мы шли, справа и слева шатались полумертвые фигуры. Это были пленные. Их лица были не видны, и я не мог понять, почему они ходили здесь по грязи. Когда мы стали подходить ближе к этому чернеющему сооружению, то поняли, что это всего лишь сарай, закрытый и имеющий три стены. С нашей стороны стены не было. В грязи у сарая лежали трупы. Из сарая, словно из-под земли, доносился гул и стон, но криков слышно не было». Моему дедушке стало тяжело на душе и страшно. Он выкрикнул ту одну фамилию, которую запомнил: «Копы-

лов!» Тот отозвался. Поговорив, они решили держаться вместе. Дедушка вспоминает, что «в Виляньдиском лагере Копылов оказался верным другом и хорошим человеком». Дальше они вместе пройдут через многое, и кто знает, читала бы я сейчас эти строки, если бы мой дедушка не обрел такого друга.

Лагерь, в который привезли моего дедушку, был обычным перевалочным пунктом для русских военнопленных. Здесь не заставляли работать, не вербовали на сторону немцев. Здесь просто уничтожали «ненужный материал».

«По всему лагерю шаталось несколько тысяч полуживых душ. Сесть или лечь было некуда. В темноте, когда полицейские не видели, садились на трупы или ложились на них, стаскивая несколько трупов вместе, но лежать можно было безопасно только от часа до пяти, когда полицейские не ходили по лагерю. Мы с Копыловым шатались всю ночь. Становилось тяжело и страшно, возникала мысль, что и нам скоро придется лежать в этой грязи недвижимыми. Бежать? Но это казалось невозможным. С каждого угла ночью прожекторами и лампочками освещались заграждения. По углам были вышки, где сидели охранники с пулеметами. На наших глазах перестреляли трех человек, подошедших к проволоке. Все, что мы увидели в эту первую ночь, лишило нас надежды на удачный побег, да и на жизнь вообще. В эту ночь мы пережили то, что казалось страшнее смерти». Стало рассветать и дедушка смог рассмотреть весь «пейзаж этого наземного ада». Каждый из пленных в лагере стремился одеть на себя как можно больше одежды, чтобы хотя бы немного сохранить тепло. «Живые все время ходили, чтобы хотя бы немного согреться. Теперь стали хорошо видны лица пленных. Большинство из них были черно-синие или бледные до синевы, обрызганные грязью».

«Когда стемнело, мы стянули вместе три трупа и легли на них спать, укрывшись шинелями, что сняли с этих же мертвецов, — вспоминает дедушка. — Пошел мелкий дождь. Было холодно. Засыпали на час, а другой час ходили грелись». Так продолжалось каждый день.

Второй день для моего дедушки прошел спокойно. «Мы с Копыловым благополучно получили свой паек и „доплату“ — всего только по одному удару дубиной по спине за то, что не успели вовремя снять пилотки, в которых наливали баланду. Баланда показалась нам очень вкусной, а хлеб, от которого на зубах оставались кусочки дерева, еще вкусней. Мы съели все до крошки и пошли по направлению к сараю. Мы подошли к толпе, откуда слышалась песня. Ее пел пленный, такой же худой, как и все мы. Слушая ее, многие плакали, некоторые были суровы и задумчивы, но слушали все, и всех как гипнозом охватила эта песня. Я разобрал всего два последних куплета:

Эх, ты, Русь, ты моя дорогая,
Не придется вернуться к тебе.
Кто вернется, тот век не забудет,
Все расскажет родимой семье.
Все расскажет, покатятся слезы,
Выпьет рюмку, вскружит голова.

Дай судьба нам вернуться до дому —
Продолжать трудовые дела».

Услышав эту песню, дедушка ощутил душевный подъем, захотелось жить дальше.

«Певца просили, чтобы он спел еще раз, но он отказался:

— Мне, товарищи, тяжело петь. Я составил эти слова и спел для товарища, но какая мне будет польза, если я исполню ее еще раз?

Из толпы слушателей, толкая обеими руками доходяг, вышел полицейский, подошел к певцу и спросил:

— А для меня будешь петь?

— Пожалуйста, господин полицейский, но для вас это будет неинтересно, — ответил он покорно, но внятно своим тихим голосом.

— Сначала скажи, кто ты такой есть? Артист? Коммунист? Или жид?

— Я русский, и никакой я не артист и не коммунист.

— Ну ладно, постой тут, пока я не приду, — сказал он повелительно и грубо, уходя к кухне. Через несколько минут полицейский вернулся с буханкой хлеба и приказал петь. Певец повторил эту песню, стараясь вложить в нее больше чувства, но голос его обрывался. Когда он закончил петь, полицейский отдал ему хлеб и приказал съесть все сразу же. Взяв буханку, певец обрадовался и стал не жуя глотать хлеб. Потом стал ломать на кусочки и есть медленно. Его истощенный желудок был уже перегружен — ведь в буханке было около двух килограммов.

Полицейский же кричал:

— Жри быстрее! Еще десять минут сроку. Не успеешь — искупаю в ванне (так он называл уборную).

Певец проглотил последние куски уже сидя в грязи. Полицейский ушел смеясь. А певец лег в грязь и умер, держа в левой руке бумажку, на которой была записана простым карандашом песня. Ее потом пели все пленные этого лагеря, и она дошла с некоторыми изменениями и в другие лагеря, а после четырех лет и в Россию».

Мой дедушка провел в Виляньдиском лагере жутких 14 дней.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1942. КИВИЫЛИ

Лагерь Кивиыли тщательно охранялся. Он находился возле «сланцевой горы» или «памятника пленным», как ее называли сами пленные из-за того, что туда выкидывалось все: отработки с завода, шахтная порода и умершие пленные. Вет-

ром с горы мелкую пыль, золу, сажу разносило по заводу, по поселку, по полям. Пылью были покрыты все крыши домов, улицы, огороды. Когда моего дедушку с напарниками подвезли к входу в лагерь и высадили у фабрики, то все прочитали на крыше центрального здания надпись: «Сумей убежать», начерченную палкой на осевшей пыли. «Полицейские указали нам место, где мы должны были разместиться. Это была комната в 15–16 кубических метров. Здесь уже размещалось 12 человек, но они сейчас были на работе». В момент заселения в комнате никого не было. Мой дедушка осмотрелся и определил, что пленные спали на нарах и на полу на рваных пиджаках и шинелях. Через несколько часов пленных пригнали с работы. «Один за другим грязные, с желтыми лицами они входили в комнату и садились на нары и на пол. С нами никто не здоровался, это правило было забыто в лагерях смерти. Потом все же один усатый спросил у нас, откуда мы и когда нас привезли? И опять наступила тишина». Так для моего дедушки началось продолжение плена на новом месте. «Строили в колонну „по пять“, угощая неувертливых шлангом по лицу. Пришел начальник лагеря, молодой эсэсовец. Это был настоящий зверь: бил пленного, даже если ему не нравился его взгляд. Он пропускал по одному, проверяя на всех ли вещах видно SU. У нас еще не было этих букв, и нам полицейский намазал их красной масляной краской на всей спине, на брюках и на головных уборах. Буквы SU означали Sowjet Union по-немецки, но пленные расшифровывали по-своему: сумей убежать, споймают — убьют. Строго проверяли, чтобы не было ни одной вещи без этого клейма, но это не удерживало пленных — убегали при первой возможности».

Впервые мой дедушка встретился с надписями на одежде, с нежеланием вести разговоры, так как на это не только не было сил, но был и страх предательства. В то же время у пленных хватало сил на «черный юмор». Эта ирония поддерживала, помогала отвлечься.

Рабочий день в лагере начинался очень рано. «В три часа был подъем. Через десять минут после свистка в бараки заходили эстонские кайцелиты и били сапогами и шлангами тех, кто не встал. Выдавали на завтрак 150 граммов хлеба и кипяток. Нас всех четверых загнали в сланцевую шахту и вручили карбидные лампы и рваные резиновые сапоги. В шахте мы копали ямы, куда собиралась грунтовая вода. Оттуда мы ее потом выкачивали. В этих же ямах фашисты „купали“ заключенных, которые не выполняли норму».

Что такое норма для заключенного лагеря? За 12 часов заключенный должен был выполнить работу, которую здоровый человек выполнил бы за 8 часов. Поэтому «купанию» подвергалось большинство заключенных Кивиыльского лагеря. Многие получали воспаление легких, а ревматизм ног имели почти все. В таких условиях выдерживали не больше трех месяцев. Около 20 человек каждую неделю умирали. После того как большинство заключенных лагеря перестали выполнять норму, ввели неограниченное время работы — пока не выполнил нормы, из шахты не выйдешь.

Через такие испытания пришлось пройти моему дедушке и его товарищам. «Копылов проработал одну неделю — ему породой сломало правую руку, и его по-

ложили в санчасть. Иванова прибило насмерть». Безысходность существования и конечный результат — смерть — заставляли пленных совершать необдуманные поступки, почти самоубийства. «Размыслова убили. Это произошло следующим образом. Нас конвоировали с работы. Размыслов выбежал из строя, чтоб подобрать хлеб, выброшенный на железнодорожные пути каким-то пассажиром. По нему сделали два выстрела, но не попали. Он встал в строй со мной рядом, пряча хлеб под пиджаком. Охранник прошел вперед и назад, но ничего не сказал. Когда мы подошли к лагерю, Размыслова оставили у ворот, а потом отвели к охране. Он пришел через час в комнату с исцарапанным лицом. Долго не отвечал на вопросы, а потом рассказал, как его били. Утром он мне сказал, что ему повредили почку, так как он ночью мочился в постель, ничего не чувствуя. На работу он пошел, но работать не стал, говоря эстонцам, что болен. Они его номер записали. Вечером, когда охрана пришла за пленными, он вышел. Когда я после работы вышел с шахты, то услышал глухой удар у будки охраны и увидел, как Размыслов бежал к забору завода, а по нему стреляли охранники. Он упал. Пули попали в руку, грудь и голову. Он был мертв. Около будки нашли кайцелита (который за день до этого бил Размыслова) с разбитым черепом. Оказывается, Размыслов забрался в будку и ломом ударил фашиста по голове, а потом побежал на охрану. Тело Размыслова бросили в вагонетку с золой и выбросили на сланцевую гору. Зола и порода похоронила его на верхушке горы». Возможно, Размыслов пошел не это, чувствуя, что скоро умрет. «У меня глаза наливались кровью, когда я смотрел на этих фашистов. Я перегрыз бы горло за любимого друга». Так у моего дедушки единственным другом остался Копылов, да и тот лежал в санчасти.

Мой дедушка работал в шахте лагеря около месяца. С каждым днем он чувствовал все большую слабость. Уже в начале лета дедушка с шахты выходил, опираясь на плечи товарища. «Он отпустил меня, но, даже приложив все усилия, я прошел всего несколько шагов и упал без сознания. Охрана подумала, что я притворился, и избила шлангами. Меня на носилках принесли в санчасть». Там мой дедушка встретился с Копыловым. Именно там возникла идея побега. «Копылов лежал в санчасти уже больше месяца. Хотя рука его еще не зажила, но его хотели выписать. Я же, пролежав там всего три дня, выписался вместе с Копыловым». Калек и очень слабых водили поправлять воздушные люки шахты. Охрана была слабой: два охранника и мастер-эстонец. Этим мой дедушка с Копыловым решили воспользоваться. Осталось только выбрать время и день. Побег вышел спонтанным. «Первый день охранники смотрели строго. На второй день во время перерыва пошел дождь, и охрана села под елку обедать. Нас посадили напротив, под другими одиноко стоящими елками. От охраны (которая якобы наблюдала за нами) нас отделяло несколько десятков метров». В этот момент мой дедушка и решился на побег. «Казалось, убежать было нельзя. Я лег и начал ползти по совсем небольшой лощинке, смотря в сторону охранников. Махнув рукой Копылову, я пополз дальше к лесу. Копылов предупредил товарищей, чтоб они молчали и не смотрели в нашу сторону, и пополз за мной. По кустам мы двигались на четвереньках, а когда добрались до высокого соснового леса, то пошли стоя, сколько было силы. Бежать не могли, но старались шагать широко и часто». Когда беглецы прошли более километра, то услышали стрельбу

сзади. Они продолжали двигаться в глубь леса и обманули преследователей. «Стрельба стихла. Мы были одни в лесу и почувствовали себя на свободе. Едва ли охрана лагеря могла найти наши следы. Но врагов было много: почти каждый эстонец был для нас опасен. Любой шорох вызывал тревогу. Мы шли и шли все дальше. Свобода, надежда, ненависть — вот что давало нам силу и энергию».

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1942. ПОБЕГ

Это был первый настоящий побег моего дедушки. Бежали они с Копыловым не по плану, а от безысходности — еще немного и они если бы не умерли, то были бы отправлены в лагерь Тапа. Там гарантированная смерь, а не зловещая неизвестность. Двигались беглецы по ночам, а днем спали, попеременно сменяя друг друга. Тот, кто не спал, долбил ножиком, который сохранился у моего дедушки с лагеря (впоследствии мы его так и не нашли), трубку для курения. Шли на восток, по звездам определяя направление. Главной задачей беглецов было: достать оружие и продукты.

Двигались беглецы к Чудскому озеру. Они решили обойти его с севера и переправиться через реку Нарва. К своей цели они двигались 16 суток. На семнадцатые сутки погода была хмурой и шел мелкий дождь, поэтому беглецы спали в сарае на очередном хуторе на сеновале. Во сне мой дедушка увидел, как «он плавал в воде, а потом какие-то противные люди схватили его багром за волосы и вытащили из воды, ободрав его тело до крови». Сон сном, но, когда дедушка открыл глаза, он обнаружил, что его разбудил шумом крыльев ястреб, который «залетел в сарай». Ястреба они быстро поймали и съели, «но Копылов сказал, что это к плохому». Потом мой дедушка рассказал ему свой сон, и Копылов сказал, что это тоже к плохому.

Днем, съев последние запасы пищи, беглецы решили немного пройти на восток. Солнце было ярким и жгло, но они не сняли черных перевернутых шинелей (перевернули, они их, чтобы не было видно букв SU), так как рваные рубашки их бы выдали. «Мы считали, что эстонцы (кроме старых и молодых) косят сено для скота на зиму и поэтому войти в дом вполне безопасно, чтобы попросить необходимое, а если в дому никого не окажется, то украсть необходимое». Они начали искать очередной хутор, который вскоре обозначился на пути беглецов. «Вскоре мы заметили одиноко стоящий дом у самого леса. Сараев около него было много, значит, хозяин был богатый». Беглецы залегли в метрах пятидесяти от усадьбы и стали наблюдать, чтобы определить, есть ли кто в доме. Пролежали они более двух часов. «Во двор выходила старуха с ребенком. Казалось, что в доме только они, а молодые на работе». Мой дедушка с Копыловым рискнули и пошли к хутору. В огороде они нарвали табак и оставили его около бани, чтобы потом забрать. Потом подошли к крыльцу дома. «В этот момент вышла женщина лет сорока с ведром в руках. Увидев нас, обросших, в странной одежде, быстро повернула обратно к двери, хотела зайти, но потом подошла к нам и спросила по-эстонски: „Wenelane?“ — русские?» Что-то противное звучало в ее голосе, но ни моему дедушке, ни Копылову не нужно было ее милое обращение, им нужны были продукты. «Я подтвердил по-эстонски: „Ja“ — и спросил ее, где ее муж и братья. Она

ответила не сразу, а потом, приподымая голову, сказала, что работают. Я сказал, что нам нужен хлеб и мясо. Она кивнула головой, и мы с ней вошли в дом. Копылов остался во дворе. Женщина прошла в комнату, оставив меня в передней». Мой дедушка ее не послушался и вошел в комнату. Едва мой дедушка успел обвести глазами комнату, как вернулась женщина. Мой дедушка почувствовал опасность, когда посмотрел ей в глаза. Женщина не выдержала его взгляда и отошла за стол. «В этот момент из комнаты вышел мужчина лет двадцати, желтый, худой, невысокого роста. Он тоже спросил, русский ли я, и хотел зайти назад». Дедушка сделал скачок к двери. «Мужчина отскочил в сторону. Я бросился к выходу. Когда я очутился в коридоре, то… увидел мужчину, заряжающего винтовку. Я бросился на него. Началась борьба за оружие. Прогремел выстрел. Пуля пролетела под левой рукой. На меня сзади накинулась женщина, но я ударил ее локтем в грудь, и она отстала». Придерживая левой рукой винтовку, мой дедушка правой рукой полез в карман за ножом, «но тут я почувствовал удар по голове, потом другой». Больше он, потеряв сознание, ничего не помнил.

Когда мой дедушка пришел в сознание, то обнаружил, себя лежачим на полу лицом вниз в луже крови. Дедушка начал осматриваться. «Приподняв голову, я увидел стоящего хилого эстонца, еще одного, которого я не видел, и женщину. Они рассматривали разбитый о мою голову приклад». Кружилась голова, хотелось пить. Дедушка попытался встать. Эстонцы вытащили его во двор. И посадили рядом с Копыловым, который сидел на земле недалеко от крыльца. Он стоял снаружи, но, услышав крик женщины (она закричала после удара моего дедушки), бросился на помощь и после недолгой потасовки получил две пули в конечности. Эстонцы явно не знали, как поступить с беглецами. «Я попросил у женщины пить. Она ответила, что коммунистам и бандитам дается только виселица, и указала на кадушку с грязной водой. Мы напились. Как из-под земли стали собираться вооруженные эстонцы». Мой дедушка понял, что побег провалился. «Ну что же, Миша, такая уж наша участь — умереть без пользы в какой-то проклятой Эстонии. Мы с тобой еще успеем попрощаться».

Через час или больше прибежали немцы из комендатуры во главе с офицером и с собакой. («Их было человек 10–15, мы не считали»). Беглецы были подвергнуты первому допросу. «Они спросили, кто еще был с нами. Я ответил, что еще пять человек. Пусть ищут. Спросили наши фамилии. Мы ответили, что Иванов и Петров. Офицер писал, а переводчик расспрашивал эстонцев. Когда закончили писать, подошел к нам офицер с переводчиком, который зачитал акт и дал подписать. Мы отказались в силу «неграмотности». Офицер не удивился и сказал через переводчика, чтобы мы поставили крест. Я держал акт вверх тормашками, и офицер перевернул акт, чертя пальцем крест. Я деловито взял карандаш и поставил крест на весь лист. Офицер сначала весело рассмеялся над моей «глупостью», а потом ударил сапогом несколько раз по плечам, по спине, пока не повалил на землю. Офицер пошел переписывать акт, но подписывать его больше не приносили».

На повозке беглецов повезли в комендатуру, где они переночевали в сарае под усиленной охраной. «Утром нас повезли на повозке на железнодорожную стан-

цию, которая находилась в 27 километрах от Нарвы. На поезде нас отвезли в лагерь города Тапа».

Они не дошли до линии фронта всего около 27 км (9–11 часов).

Их привезли в лагерь Тапа, который находился у самой станции. Бывших беглецов выгрузили из повозки у проходных ворот. Там дедушка с Копыловым просидели в карцере 32 дня. «Я весил 42 килограмма, а Копылов — 39».

Но друзья выжили и даже нашли потом способ подкормиться, используя лагерный «базар», который, как и во всех других постоянных лагерях для военнопленных, находился на «plaze» (центральная лагерная площадь). «Из санчасти мы выходили в общий двор лагеря на базар, чтобы выменять за суп табак. Торговля шла за русские деньги (при условии, что денег не у кого не было). Базар был богатым. Русские же пленные здесь продавали мясо, сало, хлеб, яйца, жареных и вареных ежей, одежду, табак». Мой дедушка задался вопросом: «Откуда все это берется?» Ответ оказался на поверхности. «Несколько человек перебежчиков (люди, которые добровольно перешли на сторону к немцам) ходили под охраной работать к эстонским кулакам, и они давали продавать продукты в десять раз дороже, чем вне лагеря, на чем наживалась и охрана». Перебежчики жили в отдельных бараках и получали большую пайку. Из них немцы набирали лагерных шпионов. Впоследствии из них сформировали Власовскую армию. Вечером по одному они боялись выходить, так как их убивали за цигарку. Супу (даже при их продажности) перебежчикам давали недостаточно, поэтому мы меняли у них табак на суп («котелок супа за 5–6 цигарок табаку»). Более «бедные» пленные продавали на базаре очистки картофеля, жареных мышей и вареных лягушек, травяной суп. Такой товар стоил дешевле.

Впервые дедушка говорит о Власовской армии (РОА) и принципах набора в нее. Из его рассказа можно понять, что в лагере немногие становились перебежчиками и уходили служить в армию генерала Власова: «С лагеря начали отправлять эшелон, куда попали и все штрафники. При погрузке дали 500 граммов хлеба (с чем мы расправились сразу же) и последующие пять дней ни давали ничего. В пути умерло 12 человек. Привезли нас в Польшу в старую крепость города Демблин».

КОНЕЦ 1942-ГО. ДЕМБЛИНСКАЯ КРЕПОСТЬ

Старинная крепость, превращенная немцами в лагерь для военнопленных, за 1941–1942 годы похоронила под своими стенами более 120 тысяч советских людей, умерших от эпидемий, голода и пыток. Крепость была опутана сотнями рядов проволоки, которые разделяли ее на зоны, блоки. В каждой зоне, блоке были разные порядки. «В одном блоке немцы держали представителей южных народов СССР, в других блоках — представителей других народов СССР. Мы были в пересылочном блоке, и на нас немцы не обращали внимания, так как мы были предписаны на отправку в концлагерь. Никто ничего не работал. Пленные днем шатались по блоку, некоторые лежали, многие играли в карты на паек.

Одни выигрывали и выживали, а другие проигрывали и умирали. Третьи торговали своими вещами, чтобы закурить или покушать. Русские полицейские бить штрафников опасались, так как при первой же возможности их убивали из-за угла». Над бывшими полицейскими и перебежчиками, попавшими в барак, устраивали самосуд.

Ненависть к предателям породила жестокость. Их судили, но делали это формально, скорее развлекаясь, чем защищая, также формально, как и фашисты.

В январе 1943 года мой дедушка и Копылов попрощались с Демблинской крепостью. «Нас штрафников погрузили в эшелон и везли трое суток без пищи. Из-за голода и холода в нашем вагоне умерло три человека, а с всего эшелона выкинули более сотни трупов». Когда эшелон остановился и узников выгрузили из вагонов и построили в колонну, то мой дедушка сразу понял, что случилось самое страшное. «По предписанию коменданта лагеря Тапа мы попали в концлагерь возле города Лимбург в Германии».

В этом лагере мой дедушка потерял своего лучшего друга по плену. «Я тоже заболел и попал в изолятор. В это же время куда-то отправили и Копылова. Спустя 1,5 года через пленных я узнал, что он работает на шахте в Саарской области». После войны они не встречались.

В лагере смерти, где находились не только мужчины, но и женщины, которым было, наверное, особенно тяжело, ведь им тяжелее было сопротивляться издевательствам, терпеть голод и побои. «Недалеко от нас работали русские девушки. Они раскидывали или выгружали из вагонов дробленый камень на станции. Другие работали при дробильной фабрике. Всех их содержали в тех же условиях, что и нас».

Женщина в лагере — понятие само по себе страшное. В концлагере ей приходится всегда тяжелее, чем мужчине. Она не только рабочая сила. Охрана лагеря может использовать ее и для удовлетворения своих мужских желаний. И она (охрана) этим пользовалась. Часть узниц откровенно занималась проституцией. «Они содержались в тех же условиях, что и остальные, но они имели большую возможность достать что-нибудь со стороны. Они ничего не делали, но хорошо одевались и хорошо ели». Тех женщин, кто отказывался, немцы били и всячески над ними издевались. К узникам эти женщины относились по-разному. «Одна часть женщин относилась к нам равнодушно, так как мы не могли предоставить им определенных лагерных льгот. Другие жалели и помогали нам. Третьи до такой степени были обижены своей судьбой и винили в этом нас, что просто не обращали на нас внимания».

Жизнь заключенного, попавшего в шахту, учит находить выход из совершенно безвыходной ситуации. «Шили тапочки из сукна на резиновой подошве. Сукно приносили в лагерь немцы, а резину резали из конвейера. Раньше резали из старого, а как его убрали, стали резать из того, который был в эксплуатации. За это тоже расстреливали, а потом стали расстреливать всех, у кого при обыске нахо-

дили резину. Конвейер начали охранять, но он был длинный, и, потушив свои лампы, подальше от охранника резали несколько метров резины и прятали в забое или штреке. На другой день их резали на куски и проносили в лагерь как подошвы, прибитые к деревянным колодкам. За каждую пару немец давал 1–1,5 килограмма хлеба. Это была большая поддержка». Вскоре немцы стали обыскивать при спуске в шахту. Они отбирали все, что находили. Пришлось узникам прекратить шить тапочки.

Вот тебе и бизнес в концлагере. Вот тебе и взаимоотношение между охраной и заключенными. Охрана проносит часть материала, а заключенные, рискуя своей жизнью, добывают вторую часть и изготовляют товар.

Союзники начали массированную бомбардировку Германии. Именно тогда мой дедушка понял, что война скоро окончится. «В этот же день авиация наших союзников бомбила города Саарбрюккен и Нойкирхен. Когда налетали самолеты, немцы скрывались в бункерах, оставляя охрану на русских полицейских». В момент бомбежки весь лагерь выходил во двор и наблюдал за ее ходом, радуясь каждой брошенной бомбе. Весь лагерь излучал одно — месть. Узники не испытывал никакой жалости.

Охрана делала все, чтобы склонить их к предательству. «Они чувствуют гибель, они бояться подумать, что будут поставлены на колени. Они теперь хвататься за все самое последнее. Они восхваляют предателя Власова, они издают русские газеты, выдвигают лозунги „За Россию без большевиков“, они посылают пропагандистов из русских предателей, чтобы обмануть русских людей, чтобы рассеять надежду, говоря, что Сталин нас не признает, что мы останемся предателями. Все это смешно. Большинство им не верит. Знаем, что англичане высадили десант во Франции и продвигаются».

В чем-то фашисты были правы. Сейчас крылатую фразу Сталина о том, что у нас нет пленных, есть только предатели, знает большинство. Но тогда они верили, что Родина и Сталин им помогут. Думаю, что, даже зная об этой фразе, они не перешли бы на сторону врага. Даже когда дедушка писал дневник (воспоминания), он верил в Сталина. Позже он разочаровался в нем и однажды даже сказал моему отцу, что Сталин хуже Гитлера, так как погубил больше людей.

Там у моего дедушки случилась первая любовь. «Через смену на другом элеваторе работали русские девушки. Однажды я встретился с девушкой лет девятнадцати, она была худа и бледна, с добрыми глазами и скромной улыбкой без радости. Она подала мне сверток, где был завернут хлеб, грамм на триста. Я взял и поблагодарил ее. Она приносила хлеб каждый день и, ничего не говоря, уходила. Когда нас перевели в другое место, то она стала передавать хлеб через подруг. Через некоторое время она попросила, чтобы я пришел к ней на элеватор». Дедушка пошел к ней, проигнорировав охрану. Наверно, он был влюблен. Это видно из его описания встречи и той неуютности, которую дедушка чувствует. «Она ожидала у входа. Я был одет плохо, с неделю не брился и был грязный. Она была одета лучше, все было подогнано и цело. Благодаря ее помощи я чувствовал себя

лучше, но все еще был очень худой, поэтому я подошел к ней, как нищий подходит к покровителю, и поздоровался. Я был смущен, она это заметила и взяла меня за руки, села на брус, дав мне место. Я сел неуклюже, чувствуя все большую слабость. Она спросила, получал ли я хлеб. Я ответил, что получал и что она зря себя обижает».

Как в концлагере могут провести время два влюбленных человека? «Маруся не смотрела на меня, по щеке капля за каплей падали большие прозрачные слезинки. Я хотел ее успокоить, но в моем положении мне казалось это невозможным, и я молчал, чувствуя и понимая ее горе. Когда мы уже прощались, она написала на бумажке свой адрес и записала мой. Я эту бумажку впоследствии потерял, запомнил только Смоленскую область».

Тогда дедушка не понял, что это было прощание. «На другой день, утром, когда нас привели на фабрику, я встретился с ее подругой Валей, которая передала мне прощальный привет от Маруси: ее увезли. Я ничего не сказал. Мне было понятно все. Целый день я потом забывался и получал пинки и палки».

Любили ли они друг друга или же он испытывал только благодарность? Что было бы, если бы дедушка сохранил ее адрес? Разыскал бы ее (вдруг Маруся уцелела после концлагеря) или ее родных? Мне кажется, если бы они встретились, то им легче было бы вместе пережить тяготы жизни после плена.

В ЛАГЕРЕ ЦВАЙБРЮККЕН

Цвайбрюккен был разбомблен. Во время бомбежки союзников многие узники убежали, а тех, кто не успел, перестреляли. Поэтому лагерь был почти пуст. «В нем осталось не более десяти тысяч военнопленных». Узников водили рыть траншеи. Они слышали, как «англо-американцы обстреливали (не бомбили, а обстреливали) немецкие укрепления из тяжелой артиллерии». Они мечтали о скорой свободе.

В это время и мой дедушка попытался осуществить очередной побег. Он нашел напарников. «Я познакомился с бывшим младшим лейтенантом Николаем Балаклийским и Сашкой Татарином. Сашка Татарин спекулировал в лагере. Продавал хлеб за табак, покупал на него зажигалки, которые менял на хлеб». Подготовка к побегу была очень тщательной. На лагерном пайке его организовать было невозможно. «Сашка стал помогать нам супом и иногда и хлебом. Николай тоже немного спекулировал». Самым лишним в подготовке побега был мой дедушка: «Я не умел и не мог заниматься спекуляцией».

13 марта 1945 года побег состоялся. Они выбрасывали землю из траншеи и находились в самом ее конце. «Нас охранял старик. Он часто подходил и говорил: „Niks gyt“ (нехорошо). Я спросил его, что плохо, он ответил, что все. Ругал Гитлера, осматриваясь кругом, и говорил, что Германии конец». Они заговорили старика («Старик рассказал о себе и о своем отношении к фашистам»), напоили его, отвели в наблюдательный пункт и осмотрелись.

Шел дождь. «Если мы стояли в траншее — он нас видел, а если нагибались, нас не было видно… Мы положили свои головные уборы на бруствер, бросили лопаты и (переходя то на широкий шаг, то на шаг гуськом) прошли около 500 метров». Они оказались в конце траншеи и стали думать: куда податься? «Влево шла другая траншея в метрах двухстах от нас, в пятистах метрах ходили какие-то люди — по-видимому, там тоже охраняли пленных. Метрах в ста шла проселочная дорога, по которой ехал немец на быках — его разговор с быками мы слышали». Дедушка предложил встать в полный рост и неспешными шагами идти в соседнюю траншею. Его напарники по побегу отказывались. «Я их убедил. Встали и пошли широкими ровными шагами».

Так они дошли до траншеи, которая вывела узников к кромке леса. «В лесу было тихо. Мы свернули туда и пошли под гору, а когда вышли на небольшое открытое место, то внизу виднелся Саарбрюккен. Мы решили дождаться вечера под кустом акации. Когда стемнело, я встал между ветками акации и почувствовал себя на свободе».

ОПЯТЬ НА СВОБОДЕ

Отдохнув и выспавшись, беглецы пошли на запад. На пятый день беглецы «встретили» союзников. «Мы… смотрели через окно. Вот слышим шум. Идут танки, на них белая звезда. Все радостно выбежали на улицу. Три танка остановились. На автомашине подъехали негры с автоматами наперевес. Увидев нас, двое закричали приветливо: «Русс?» Мы закричали радостно: «Да, русские». И к нам полетели из машины несколько плиток шоколада, сигарет, конфет, пакетов. Танки и машина поехали дальше».

Теперь дедушка и его соратники по побегу почувствовали свободу. Они ее поняли так, как их научил плен. Два дня дедушка с товарищами еще пробыли здесь. Чтобы *насытиться*. «Мы взяли мешки и пошли на бугор, где стояли разбитые повозки. Там набрали продуктов. У немцев брали молоко и вино. Оделись в новую одежду. Теперь было все: и пить, и курить, и есть». Через два дня они решили двинуться на запад. «Говорили, что американцы живут в городе Ландшпуль в семи километрах от нас, там полно русских. Мы решили идти туда».

В ГОРОДЕ ЛАНДШТУЛЬ

Пересыльный лагерь, куда попал мой дедушка, находился за городом. Он был лагерем для русских солдат, побывавших в плену. «Проволока ограждений была растоптана американскими танками. Бараки перегорожены досками. Свободных комнат не было. На улицах горели костры: готовили пищу. Бывшие пленники катались на веломашинах и мотоциклах. Мужской пол был в основном пьяный». Все отобрали у немцев. Приходили к немцу, ставили его к стене и брали все, что хотели. Так делали все. Многих немцев расстреливали, если он был фашистом или плохо относился к русским.

Русские пленные поняли, что в условиях этого лагеря им разрешено заниматься всем, что дозволено. И они этим и занялись. «Мы наполнили половину вагона таким количеством продуктов, которое не смогли бы съесть за два года. Откуда-то прикатили бочку спирта. Мои друзья пили постоянно, я же никогда не пил и отвечал за сохранность продуктов. По вечерам в вагоне набиралось человек тридцать, приходили девушки».

Грабеж в Ландштуле продолжался около двух недель. Только после того, как американцы вывесили приказ, что всем русским нужно собраться на сборном пункте в городе Номбург, он утих. Бывшие русские пленные стали покидать город. Покинул его и мой дедушка. «Мы взяли две машины продуктов, на третью сели сами и отправились туда».

НА СБОРНОМ ПУНКТЕ В ГОРОДЕ НОМБУРГ

Сборный пункт был размещен в бывшем немецком военном городке. «На сборном пункте было около двадцати тысяч человек». Первое время они жили, кому где нравиться, ели свои продукты и расправлялись с бывшими обидчиками. «Первые дни проходила расправа над бывшими услужниками фашистов. Полицейского Николая Баламута бросили из окна третьего этажа, Алекса повара убили ножами, Володю полицейского повесили, переводчицу утопили в уборной. Самосуд шел неделю, а потом успокоились».

Потом приехал полковник из советского представительства. Он навел порядок в лагере. Всех перетасовали и разместили по-новому. «Семейных отдельно, девушек отдельно, военнопленных и военнообязанных отдельно. Были образованы три полка, батальоны, роты, взводы, отделения». Дедушку назначили сначала командиром отделения, а потом помощником командира роты по политчасти: «Моя задача была убедить прекратить грабеж немцев, произвол, хулиганство».

В конце мая американцы сформировали из бывших пленных и узников эшелон и на Эльбе передали их представителям СССР. Многие из пленных попали в действующие части Советской Армии. Попал туда и мой дедушка. «Нас отправили в 234-й сборный пункт в город Ратенов, где мы прошли проверку, а оттуда — в воинскую часть. Я попал в мехполк, где был комотделения, потом комвзвода и ротным агитатором». Тут дедушку и застало окончание войны. «3 марта 1946 года был демобилизован согласно указу президиума. 27 марта приехал в родной город. Погулял 20 дней и поступил на работу в Коми, контору Промбанка в качестве бухгалтера».

Наконец-то можно не бояться, не чувствовать себя загнанным зверем. Война закончилась! Это могло бы быть счастливым концом, как бывает в кино, но реальность в это время была иной. Жестокость людей в послевоенной жизни, людей, которые должны поддерживать его, ведь он столько пережил, что они могли бы гордиться им, оказалась страшнее для него, чем фашистские лагеря.

Строки, идущие дальше, были написаны, по-видимому, позже, когда мой дедушка не мог больше держать это в душе.

ЕСЛИ НЕ ДРУГ МОЙ — НЕ ЧИТАЙ

«Это все может быть оценено по-разному, но факты останутся фактами. Я недоволен своей судьбой. Хотя бы жить и работать с пользой для людей, но почему-то нельзя быть таким, каким я был до армии и в армии. Теперь встречаю подозрения, незаслуженное оскорбление. Мне часто задают вопрос, почему я остался в живых. Ответить очень трудно, ведь я никогда не думал остаться живым, но ненависть к мучителям, любовь к настоящему оставило мне жизнь. Я люблю настоящее, но нет, нет мне возможности сегодня бороться со всей энергией, на что вызывает партия наша, лишь потому что люди думают, что я и все военнопленные не понимают высоких стремлений, малодушны, с животными инстинктами. Да, таких много, но мне это тяжело, непереносимо».

7 НОЯБРЯ 1946 ГОДА

«Сегодня великий праздник нашего народа. Вчера был на торжественном заседании. Со мной не разговаривают по-товарищески коллеги. Не знаю. Или же унижают, потому что я занимаю должность ниже, или за прошлую мою судьбу, может, я не умею вести себя, слишком молчалив, но мне кажется, что это из-за того, что я был в плену. Также я одинок бываю и на демонстрации. Я рад и готов делиться радостью с ними, но не знаю почему, не получается. Мне тяжело быть одиноким и еще тяжелее находиться с людьми, которых хорошо знаешь, но которые обращаются с тобой как с незнакомцем. Поэтому я не пошел на демонстрацию. Слушал по радио демонстрацию из Москвы, но потом стало скучно. Идти хотя и есть куда, но я не могу рассказать никому свое горе. Есть мать, сестра, но им не понять. Я ничего не говорю им. Есть подруга. Она знает мою историю, но не знает переживаний. Она также становиться далекой. Но сегодня я не пойду к ней, люблю, но не пойду. Сегодня пошел один в театр, чтобы хоть немного рассеять мысли, но там встретил товарища Кулакова, бывшего друга. Вспомнили прошлое из техникума. Он орденоносец, ранен несколько раз и теперь лежит в больнице. Знает ли он о моем несчастном прошлом, не знаю, но он ничего подробно не спрашивал, и я ничего не сказал. Я не виноват, но мне тяжело говорить. Вдруг он не поймет меня, вдруг он примет прошлое как отрицательное. Я не хочу. Я расскажу ему другой раз, если удастся. Но разве я не прежний, разве я изменился. Почему Баталов, узнав мою историю, теперь избегает меня? Ведь он знает меня, он знает, что я не мог изменить в чем-нибудь Родине, он знает это, как и я сам, но почему же отчуждается? Мне тяжело, часто невыносимо. Почему же, как на позор, я уже полгода ношу удостоверение вместо паспорта? Я боюсь его показывать, мне стыдно и до смерти тяжело. Я не совершил ничего против Родины, советской власти, русского народа. Я готов покончить с собой. Мне это не тяжело, я десятки раз переносил больше, чем сама смерть. Но еще есть небольшая надежда, что МВД Коми АССР найдет истинные подтверждения, и мне будет спокойно. Я даже не знаю, могу ли быть принят в институт. Я хотел бы в педагогический, но разве мне могут доверить такую работу, когда у меня нет даже паспорта. В другой институт? Но я не имею права на выезд».

24 АПРЕЛЯ 1947 ГОДА

Сегодня теплый, еще первый такой в эту весну мягкий, чистый приятный ветерок. Ручьи текут особо бурно. Хороший день, но ничего не ожидал необыкновенного. Хотел выполнить свои обязанности в Промбанке, а вечером сходить в кино, но вспомнил, что 25-го кончается срок продления моего удостоверения, заменяющего паспорт за номером 1182, за тем же, какой заменял мне фамилию на шахте Реден. В обеденный перерыв пошел в паспортный стол. Думал, что мне скажут прийти завтра, а завтра поставят штамп „продлен до 25 июля“, но дали номер и попросили две фотокарточки. Пошел фотографироваться, чувствуя радость, похожую на радость купленному на свои деньги в 1936 году костюму или на радость от получения значка ГТО. Кажется, я получу паспорт. Ведь я знаю, что это ничего не изменит в отношении людей, но это придаст мне сил».

На этом заканчивается дневник. Долгие годы дедушку преследовали воспоминания о лагерях, часто он кричал во сне, но родным ничего не рассказывал. Он начинал пить, когда становилось особенно тяжело. Часто он говорил, что за ним следят, но ему никто не верил. Возможно, это была правда, возможно — последствие психологической травмы, нанесенной в плену. Но о своем плене он всегда вспоминал крайне скупо. Он всегда был одинок среди людей.

Примечания

[1] Кайцелит (Кайтселийт) — национально-патриотическая военизированная организация в Эстонии. Основан в 1918 году, существовал до 1940-го. Фактически — ополчение. (*Примеч. ред.*)

Знать и помнить

Александра Выбач, Мария Выбач
Мурманская область, г. Мончегорск, 9-й класс
Научный руководитель Е. А. Зубкова

11 апреля — Международный день освобождения узников фашизма. В прошлом году в канун этого дня на базе краеведческого музея Мончегорска состоялась встреча с узниками фашистских лагерей и остарбайтерами.

Нас заинтересовала эта тема. С помощью сотрудников музея мы установили, что в нашем городе проживает 69 бывших узников фашизма. Это самые разные люди, но всех их объединяет то, что в годы войны они были переселены насильно в отдаленные от их родины места. Их заставили стать бесправными и безголосыми, фактически рабами.

Многие советские люди, попавшие в плен, угнанные во время войны на принудительные работы в Германию, не считались ни участниками войны, ни жертвами фашистского режима, к ним относились с подозрением. Долгое время они подвергались гонениям. О них не упоминали в школьных учебниках, книгах. В чем же «вина» этих людей перед обществом? Почему они были наказаны? Мы попытались понять это через судьбы тех, кто сам испытал все «прелести» подневольного труда.

Долгое время тема была закрыта для исследователей, и многие, очень многие бывшие остарбайтеры умерли. «Сейчас почти никого не осталось. Мой брат умер и девчата, что с нами в лагере были» (Степан Семенович Бондарь, 1926 года рождения). «Конечно, если бы брат был жив, он бы много рассказал» (Нина Ивановна Удовика, 1932 года рождения). И память подводит наших собеседников. Но не только разговорить их, а порой даже встретиться с ними было сложно.

Вспоминает Степан Семенович Бондарь: «Воинских частей у нас не было ни в районе, ни в селе. В районе были, по-видимому, какие-то полицейские части. Иногда немцы наезжали, но в основном у нас в селе ходили с винтовками полицейские. Я думаю, что в полицаи шли добровольно, тогда никто никого не выбирал и не назначал. Шли добровольно. В основном в полицию шли дети раскулаченных. А староста тоже был наш сельский. Не старый еще, такой средних лет мужчина. Как на эту должность он попал, я не знаю. Я знаю, что вот этот полицай, раскулаченный который, партизаны их сожгли. Облили керосином и подожгли дом. И всю семью сожгли, не выпустили из дома. Они хотели, по-видимому, и его, но просчитались. Его дома не было. Так партизаны отомстили. У нас больших соединений не было, потому что у нас лесов таких не было. Лес был колхозный, немцы его сразу начали вырубать, там одни дубы росли. Такое ценное дерево, сразу начали вырубать и в Германию вывозить. А партизаны у нас были там, за Десной, у нас Десна, а дальше километров двенадцать от нас проходили вот эти брянские леса».

По воспоминаниям Зои Васильевны Коненковой, у них в Псковской области новые власти даже организовали обучение детей. Но это было не на всех оккупированных территориях, так как рабы, по замыслу оккупантов, должны быть примитивными. Как же был организован учебный процесс?

«Вы знаете, с ползимы во время войны учились… В 42-м году. А в 43-м нас угнали, какая там школа… Книжек не было, без книжек. Потом только какие-то выдали немецкие такие книжки… Учителям указания давали. Наши учебники уже не пошли в ход, их запрещали. А учительница втихую даст нам учебники, наши же старые. Так мы их берегли, как не знаю что. А писать-то было не на чем. Так мы какие-то доски нашли, грифель какой-то типа карандаша. Этим грифелем писали, по доскам. Бумаги не было. Газеты все подобрали.

Немецкий сразу стали больше изучать. С начальной школы. А так все то же самое. Ну по-немецки там кое-чего я знала, слова, там, все. Я и стишки рассказывала. Все забыто. А когда приехали оттуда, нет возможности учиться. В землянках жили».

Такое обучение должно было способствовать онемечиванию оставшегося в живых населения. Идеологическую обработку населения по замыслу оккупантов предполагалось начинать с детей, в школах.

Зоя Васильевна, волнуясь, описывает страшную картину жизни при оккупации.

«А в деревне у нас и вешали. Вот узнают, что кто-то комсомолец, а ведь по злости кто-нибудь скажет. Все. Еще в деревне повесят, чтоб все видели. И не снимешь, потом только похоронишь. А каково родителям ходить смотреть. Это эстонские, больше эстонские каратели. Зверства были. И вот у нас соседка была, самая близкая к нам. Ей 18 лет не было. Так как над ней издевались, она ушла в партизаны с молодым человеком, своим соседом. А потом они пришли домой, надо было. Так они все время приходили. Придут, бывало, дай что-нибудь пожевать, а что им партизанам, что ж они в лесу. И вот она пришла. И как немцы узнали, что они пришли, их словили здесь. Так как издевались-то. Всех собрали, кто был в селе, вот выстроили, чтоб все видели, как над ними надругаются. Наша бабушка была очевидец. Они похоронены в бору, потом их перехоронили.

А сжигали живыми. Вот, где у меня сейчас только в паспорте деревня Ростково, мы сейчас семь километров живем от этого Росткова. Но там только братский памятник стоит, деревни не существует. Только те остались живы, кто по чистой случайности где-то были отлучившиеся. А так нет.

В хлев, в скотный двор загнали, кто был, и подожгли. И детей и взрослых, кто попался, всех и сожгли. Кто и хотел выскочить, тем не дали. В 43-м году.

Свои доносили, свои. Им потом после войны дали большие сроки, кому 15 лет, кому 20. Их уже в живых нету».

Вспоминает Нина Ивановна Удовика: «С нашей деревни всех собак и кошек перестреляли, но у нас Шарик все был долго живой. Он последний остался, его два раза ранили, но он все зализет и опять бегает. Красивая очень собака была, умная, темно-каштанового цвета и с проседью черной, ушки висячие были, хвостик пушистый. Переводчик у нас был Калка. И этот переводчик и финн пришли, что давайте нам собаку, надо его уничтожить. Мы говорим: „Нету, не знаем, куда убежал". А они потом походили-походили, его гоняли, он уже боялся людей и забежал под дом, под крыльцо. Они разобрали крыльцо, этот финн разобрал и его в упор в голову разрывной пулей убил, вытащил. Вытащил, а брата старшего у нас еще не было дома. Он пришел, как раз мы стоим вот тут, перед Шариком, и Калка тут стоит, мама тут пришла. И он такой разъяренный подошел и сказал: „Ты что наделал? — встал вот так перед финном, он был в такой ярости. — Стреляй в меня теперь. (А ему тринадцать было). Что ж ты моего Друга, зачем ты убил?! Стреляй в меня". А переводчик останавливает и говорит ему: „Тише, Толя! Толя! Тише. Не надо, не надо, Толя, им хоть бы хны, что ж в азарте могут и тебя застрелить". А финн-то спрашивает, видимо, у него, что он такое говорит. „А он так, — говорит Калка, — жалеет очень, что ты убил его последнего Друга". Не перевел ему все. А финн ему: „Он еще, что-то сказал". „Да так он говорит, что делать теперь», — неправильно перевел ему Калка все. Вот как пожалел этот переводчик брата моего. А мы Шарика похоронили. Мама нам самотканое одеяло дала, мы его завернули и похоронили в поле под березкой. А нашли еще какой-то крестик деревянный и могилку сделали, как человека его похоронили, все хорошо сделали. Крест этот поставили. А тетя Катя Кузьмина шла с нашей деревни по полю к нам, в ту деревню, где мы тогда жили. С работы, видимо, шла, стирать видно ходила. Увидела крест и говорит потом мама: „Ай, Людмила, Людмила, что опять, наверное, военнопленного убили, там я шла возле березки, и могилка настоящая, и крестик". А мама говорит, что нет. Это же наши ребята своего Шарика похоронили"».

Нас поразила такая жестокость по отношению к животному. У нас тоже есть собака, и мы понимаем, какое это было горе для детей. «…У них приказ, наверное, был. Они очень связи с партизанами боялись». Такой комментарий этому факту дала Нина Ивановна.

«Да, у нас были сначала в деревне военнопленные, а потом их отвезли, наверное, в Петрозаводск. Да, еще был лагерь, небольшой в нашей же деревне, военнопленных несколько было человек, только не знаю, сколько их было человек. Но знаю то, что при нас тоже одного убили военнопленного. А убили при таких обстоятельствах. Дрова, они старые, видно, дома разбирали, сараи, они таскали, носили дрова; и один военнопленный, который сзади нес, упал, истощенный был. И его конвоир пристрелил и штыком проткнул на наших глазах; нам страшно стало, видишь, как они могут и нас тоже так же. А Сергей, наш младший мальчишка, хочет подбежать к военнопленному, а этот прямо винтовку, автомат наставил, говорит: „Не смей", — по-фински говорит, что я тебя тоже пристрелю. Хотел к нему подбежать к этому дяденьке. Я ему: „Сережка, пошли домой, пока нас не пристрелили вместе с этим военнопленным".

Бомбежки сильные начались. Мы иногда по пять или по шесть, по несколько ночей не спали, бегали в эту яму. Такая яма была вырыта, где мы все прятались. Так в одежде и спали, а когда бомбежка начнется, сразу бежим в эту яму. А Лидушка у нас маленькая была, так мама ее завернет, у нее такой большой платок был с кистями бежевый такой, теплый. Она ее в этот платок завернет, а Сережку за руку, а я за Сережку. И так бежим. А старший брат вперед нас убежит. Прибежим все в эту яму и другие тоже. А когда бомбили, младшая сестренка, Лидушка-то наша, что 37-го года, а она хорошо уже говорила, ее мама возьмет на руки, так она говорит: „Ой, Пресвятая ты Богородица, спаси ты нас, не убей ты нас". Ей уже почти четыре года было. Так к нам все тянулись. Люди-то все говорят, дите просит, просит ангел, и все окружат нас. Говорили: „Устами младенца живы будем". И потом знаете, что у нас было три фронта. Наша деревня как раз оказалася посередине. Мы как раз в середине оказались. Вот то, что стреляли наши, наши бомбили».

Пожары, голод, страх, бомбежки — вот что пришлось пережить нашим героям во время оккупации. Особенно много и подробно вспоминает об оккупации Зоя Васильевна, семья которой почти четыре года жила под властью немцев. Мы обратили внимание на то, что она единственная из наших респондентов, кто некоторое время учился во время войны. Возможно, потому что немцы уже считали себя полными хозяевами территории Псковской области, как и остальных уже завоеванных земель. Так что, вероятнее всего, в других местах власти просто не помышляли дать образование детям, считая, что неполноценным народам ученье ни к чему.

Местное население, пережившее оккупацию, на наш взгляд, достойно уважения и почестей не меньше, чем партизаны и солдаты. Как мы заметили, в основном акции против местного населения проводились после партизанских выступлений. Но люди, несмотря ни на что, помогали партизанам, чем могли. «У бабушки четыре сына-то на войне, и пятая дочь на окопах. Там ихние друзья были в партизанах. Они приходили и говорили, тетя Дуня и маме, пожалуйста, принесите в такой-то дом. Ну что там давали, что есть, делились всем, а как же. Некоторые остались в живых, а некоторые погибли» (З. В. Коненкова).

Мы обратили внимание на тот факт, что, по воспоминаниям Зои Васильевны, особо жестоки были эстонцы. Некоторые из них пытались излить всю свою ненависть на советскую власть, убивая ни в чем не повинных, по большей части беззащитных людей.

Однако не все немцы, финны были зверьми — фашистами. Как мы заметили, были и сочувствующие. Некоторые из этих людей, заброшенные велением власти в далекую и смертельно опасную для них страну, одинаково ненавидели оба тоталитарных режима. «…Вот так бы взять Сталина и Гитлера и (жестом показывает столкнуть лбами)…» (З. В. Коненкова).

Выясняя, как осуществлялась политика ограбления населения, мы задали Зое Васильевне, дольше других жившей в условиях оккупации, вопрос, были ли ка-

кие то нормы сдачи продуктов. «Сдавали, но и в колхозах они заставляли. Хоть ты, где бери, тогда сдавай. Вот бабушка говорит, вот придется овцу покупать, сдай в колхоз-то. Что с немцами, что без немцев. Помню, что сдавали молоко и при немцах, и без немцев».

Зоя Васильевна, рассказывая о том, как сдавали продукты, невольно провела параллель с колхозами. Мы думаем, эта параллель у нее возникла не случайно, крестьянам в колхозах жилось не очень хорошо. Долгое время у сельских жителей колхоз забирал почти все, что у них было, потом эту функцию взяли на себя немцы.

Среди населения завоеванных территорий были коллаборационисты, так называли тех, кто сотрудничал с оккупантами. Мотивы у них были разными. Это и ненависть к советской власти, и корысть, желание приспособиться в новых условиях, страх за собственную жизнь, желание повелевать своими односельчанами, соседями.

Эти настроения использовали завоеватели. «Сотрудничество могло быть, потому что трудно было в колхозах, люди надрывались» (С. С. Бондарь).

«Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, — говорил Гитлер, — должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола». И оккупационные власти стремились использовать эти разногласия. Но все-таки таких, кто сотрудничал, было меньшинство. Не все, кто имел обиды на советский режим, переходили на службу к немцам.

Всех наших героев вывезли за пределы их родного края в разное время, в разные периоды. В одну из первых волн попал Степан Семенович Бондарь, в то время угоняли еще молодых, сильных и здоровых.

«В 41-м году я окончил семь классов. И война… А на будущий год, в 42-м году, меня немцы забрали. В то время пришел полицай… нас было два брата, у меня был еще меньше брат 29-го года. Пришел полицай, сестра дома была. Вот остался отец, сестра и брат мой младший. А меня взяли. Полицай забрал и в сельсовет, тогда при немцах назывался управа, там был староста и полицаи. Но мы называли все равно сельсовет. Вот забрали, собрали нас там. Это было внезапно, нас не предупреждали. Нас собрали, на повозки посадили и повезли в район. От села до района (Куликовский район) — 12 километров. У нас в селе немцев не было. У нас были только свои полицаи и староста. А немцы приезжали с района, 12 километров — прямая дорога.

Мы примерно знали, зачем нас везут, но, по-видимому, у нас с села это была первая партия. А с Куликовки, она там станция Дроздовка называется, опять же на повозках, нас везли в Чернигов. И в тюрьму… там тюрьма в Чернигове есть, она и сейчас есть. Всех там собирали в тюрьме. Я уже не помню, сколько мы там, в тюрьме, были, день или два. Насобирали и из Чернигова повезли прямо в Германию через Польшу целый эшелон. Вот привезли в Дрезден». Прасковья Федо-

ровна была угнана одной из последних в своей деревни. «Моя мама ходила просить старосту, когда нас стали угонять, что три девчонки и отец инвалид еще Гражданской войны. Я старшая была из девчонок, я была очень такая спокойная, рослая. Этот староста сказал маме, что я свою отправлю дочь вместо твоей? Этот староста был с нашей деревни. Потом он куда-то пропал.

Я была деревенская забитая девушка, подросток. У меня были отцовские ботинки на ногах, потому что ничего не было, и в холщевой, полотняной юбке. И такое полупальто отцовское с длинными рукавами, что и руки прятались. Так забрали, посадили на телегу. Полицаи пришли, потому что отправка была. Никаких повесток не присылали, пришла облава. Я, например, в последнем наборе оказалась, это уже последний набор был с нашей деревни. Набирали и угоняли как скотов. В телятниках отправляли».

Воспоминания Зои Васильевны Коненковой. Она была угнана вместе с семьей и жителями их деревни (Псковская область) уже во время отступления немцев в октябре в 1943 году: «В четвертый раз пришли, так давайте, собирайтесь, поехали. Куда ехать? Зачем ехать? Вначале, по-моему, моложе 17 лет не брали. И их проверяли. По-моему, с 43-го года стали угонять. Но у нас никто добровольно не уезжал. Нас просто уже, когда отступали, взяли. Так и сказали, что в Германию. И это уже был конец октября, холодно было. И вот мама в одной кофтенке бежала, а я свою польтушонку накинула, так мне под эту польтушонку мама сестренку сунула, она же замерзала. Ведь, когда нас гнали, всех забрали и не на машинах, пешком, а там восемь километров. Вперед с моей бабушкой, шла ее золовка. И ей стало плохо. Она стала спотыкаться, и собака на нее налетела, стала ее кусать. Немцы пришли и ее прикладом, раз. Ну и бабушку прикладом. Иди. Она, говорит, ну я пошла, а она упала. И так больше никто не знал, где она есть. Только как без вести пропавшая и осталась. Мы думаем, или собаки ее растерзали, или немцы бросили в болото. Нас с бабушкой разъединили, ее раньше угнали и сначала в тюрьму распределительную направили. Мы стали просить, чтобы вернули нам бабушку, и нам ее вернули. В телятник нас поместили. Потом нас повезли. Куда повезли, ничего не знаем. В холодных вагонах. И вот так несколько семей в один вагон. Где-то на больших остановках нам еще, я помню, что поесть, там, давали, то супишко какой-то, я помню, давали, по котелкам. Ну, все ж таки доехали. У нас почти всех с деревни в Латвию отправили. Были рядом с нами с нашей деревни. Но у нас никто добровольно не уезжал».

Наши герои «не по своей воле» покинули свой дом, это была принудительная миграция. Немцы забирали людей в Германию как бы «волнами», и как мы можем предположить, по специальным приказам, приходившим к ним сверху. Так как люди забирались на работы, то, скорее всего, в этих разнарядках оговаривалось число рабочих, необходимых Германии.

Но семья Зои Васильевны была угнана вся: были забраны ее старая бабушка, отец-инвалид, маленькая сестренка, то есть люди почти нетрудоспособные. Они забирались уже во время отступления. Людей просто угоняли как рабочий скот, чтобы не оставить врагу. Здесь действовал, наверное, принцип «в хозяйстве пригодится».

Их перевозили как животных. Не выпускали на остановках, кормили кое-как, заставляя спать на соломе, а порой и на голых досках. Не тратились на обеспечение нормальных условий для перевозки людей, так как считали их восполнимой рабочей силой.

Несмотря на то что вначале некоторые ехали по призыву добровольно, никто из наших респондентов и их знакомых не был в числе таких «добровольцев».

Все наши опрошенные попали в специальные лагеря.

Степан Семенович Бондарь: «Привезли в Фрайберг, там биржа труда, как она называется… И вот здесь нас разбирали по хозяевам. Кто в лагерь, кто к хозяину попал. Мы вчетвером попали к хозяину. Нас хозяин отобрал. Отбирал по принципу „мы товар — он купец“».

Зоя Васильевна Коненкова вспоминает о своем пребывании в пересылочном лагере: «И как Ригу стал-то бомбить, мы думали, нас там разбомбят, так ведь остались живы. Рядом разбомбили, а мы остались живы. И потом с Риги вернули в Цесис этот, там была тюрьма, в этой тюрьме тогда много людей было. И там пол цементный, такой, все так холодно. А как же, столько было вшей, что я не знаю. А так там уже все делали, конечно, всякие уколы, наверное, прививки, всякие, вот и отпечатки пальцев брали, и с глазами что там делали».

Немцы старательно оформляли рабочих, снимали отпечатки пальцев, делали прививки, скорее всего, для предотвращения эпидемий.

Наши респонденты не были убиты, ранены, все они оказались в чужой стране в разных, но очень нелегких условиях. Степан Семенович работал на хозяина — помещика. Вот что он вспоминает: «Из тех, кто попал к хозяину, я был самый младший. Тут еще один был на год меня старше с нашей области, а два мужчины были намного старше. И вот попали мы вчетвером к помещику. Большой помещик, богатый. Хозяин нехороший был. У него свои немцы, как это мы уж потом узнали, не держались, потому что он и немцев плохо содержал. Работали у него три девушки. Мы были отдельно. Нам сразу эти дали знаки — „остарбайтеры“, три буквы OST по-немецки. Вот сюда (указывает на грудь) пришиваешь с материей, они на ней написаны. И на спину сзади. Вот с этими буквами ты должен ходить всю жизнь, сколько там был. Без него, этого куска материи с буквами, никуда. Не сохранились. Желания не было сохранять».

Именно от Степана Семеновича мы впервые услышали это слово остарбайтер. Известно, что OST по-немецки «восток». Всех, кто прибыл из республик СССР, немцы называли остарбайтеры. Люди эти носили специальные нашивки, чтобы подчеркнуть их неполноценность, что они не немцы, а ниже высшей арийской расы. По словам Степана Семеновича Бондаря, восточные рабочие презирались немцами, об этом говорят и условия, в которых их содержал хозяин. «У нас была совершенно отдельная, комнатой ее назвать нельзя, над конюшней, где лошади стояли, а на втором этаже сделана такая

комната: с двух сторон стенка, а со стороны конюшни просто такие доски прибиты были. Мы эти доски оторвали и через дыру в конюшню лазили. Вот в этой комнате нары были сделаны двухэтажные деревянные, просто сбиты с досок, постлана солома. Застелена мешковиной и все. Вот так спали мы без одеял, без ничего. В шесть часов подымались и дотемна в поле работали. Я встречал потом ребят наших русских, которые попадали к немцам. Допустим, старик и старуха одного держали нашего русского, так они с ним обращались более-менее, и питался там лучше, и все остальное. А этот с нами мало общался, держал нас на расстоянии: он отдельно жил, у него дом отдельно. Мы его побаивались. Как чуть что, где-то провинился, он вызывает полицая, он всегда вызывал полицая, сам не наказывал. Приезжал полицай, и он всегда если что наказывал, вот меня один раз, например, полицай избил насосом с велосипеда… Там провиниться можно легко — пойти на поле сидеть и не работать, а он вдруг увидит. У него лес свой был. Он уйдет в лес, за дерево где-то спрячется и наблюдает, чтоб мы не видели его. Потом он все знает, работали мы или нет. Кормил он нас очень плохо, в основном нас брюквой. Жадный и жестокий помещик. Но нас выручало то, что под нами была конюшня, а там была для свиней кухня, где стоял котел паровой, они его топили и паром варили картошку. Для свиней. Котел переворачивают, вывалят, она остывает. Вот эту картошку мы и ели. Это нас спасало, эта картошка. Выдавалась еще булочка с килограмм, наверное, на неделю. Хоть сразу ешь, хоть дели ее на неделю. Через неделю, потом тебе еще дадут такую же булочку. Вот такая кормежка была.

Я пацан, еще не курил, второй парень тоже не курил, а эти мужчины, они курили. Так он, значит, не знаю, положено, не положено, но он им курить не давал. Иногда им доставался окурок. Он сигару курит, вот такой окурочек остается. Он подойдет к лестнице: „Николяй!“ — кричит. Он по-польски разговаривал. И это уже знает Николай, что он положил ему окурок на подоконник в коридоре, там около лестницы. Он выходит, забирает этот окурок, сразу берет ножик, они режут, мешают, они знали какую-то в лесу траву. Ее сушили, смешают, вот это курево такое было. А так, чтоб хоть когда-то одну сигарету дал, никогда. А были и такие хозяева, которые нашим и сигареты давали.

За все время мы не мылись. Не мылись три года, умываться мы умывались, а мыться, как в бане, мы не бывали ни разу. Никакой бани. Это летом, там такое озерко есть, так мы там и ноги помоем, и сами. Бани горячей никакой не было. А белье стирай сам: как хочешь, что у тебя есть там. Один раз за все время какие-то нам там костюмы выдали, ну как брезентовые не брезентовые, такое вот. Всем четырем выдали одинаковые костюмы, типа рабочей одежды, защитного цвета вот и все. Вот в этих костюмах мы ходили все время. А на эту одежду нашивки. Ботинки на деревянных колодках, вот подошвы такие деревянные, все время в них и зимой, и летом. Здесь, сверху, такая как кирза, а подошва толстая, каблуки такие деревянные. Только верх не из кожи, а из какой-то кирзы. Вот такие ботинки давали».

Мы задали вопрос, а пытались ли убежать от хозяина?

«…Конечно, мы все стремились домой… Знаете, я пытался сам убежать, меня поймал полицай. Плана не было у меня, ну с этими мужиками мы работали у хозяина. Я самый маленький. Они мне говорят, что тебе ничего не будет, уйди опять на биржу и попадешь к другому хозяину. Вот я и пошел, меня поймали и вернули. Там куда идти? Ну полицай наказал еще. Там любое село, большое или маленькое, но у них полицейский в селе был обязательно. И он уже знает, где работают русские, где поляки, где кто».

Из слов Степана Семеновича мы поняли, что побеги были, но скрываться было негде: слишком далеко до родины. Помимо этого велика была вероятность того, что беглеца найдут полицаи, они были в каждой деревне и городе. Везде поддерживались строгие порядки и дисциплина. Но люди все равно бежали — от жестокости, унижения, не выдерживали рабской доли, тяжелого труда. Но их возвращали и отправляли в концлагерь.

А как же жили другие подневольные рабочие? Как проводили выходные, если их предоставлял хозяин?

«А было вот тут через поле, уже другое село. Там были наши тоже, русские девчата, вот и на полях мы встречали их. Во время работы иногда удавалось общаться, работали иногда на соседних полях. Были и с нашей области, с Черниговской, были и с Белоруссии. Так вот в выходные дни, чтоб хозяин не знал, убежишь туда, как-нибудь там побудешь и обратно. Вот так вот. Выходные были каждую неделю.

Я был с этим парнем старше на год меня, у него в том селе работала с его села девушка. У меня в том селе тоже с моего села работали девчата. Мы с одного села были, хорошо знали друг друга. Пособираемся, лясы точим, никаких танцев, игр боже упаси. Сидим, беседуем о том времени. Все хотели, чтоб поскорее война кончилась и домой уехать. О какой любви там речь шла. Садимся и разговариваем, кто как работает, кто чего, кому как живется. Вот, например, я знаю одну девушку. Она работала у хозяина, хозяин был, хозяйка и у хозяина дочь. Так она и питалась с ними за одним столом, они с ней обращались хорошо. Я знаю, у нас много сельских девушек было в Германии, но я не знаю, чтоб хоть одна там где-то за кого-то вышла».

Мы пришли к выводу, что даже у такого строгого хозяина жилось чуть вольготнее, чем в лагере. Почему Степан Семенович мог так свободно уходить за пределы своего села? Возможно, им давалась некоторая свобода. Обратившись за уточнениями к Степану Семеновичу, мы выяснили, что по выходным им удавалось уходить через лаз в стене, так как хозяин особенно не следил, знал, что бежать им некуда. Важно было вернуться вовремя и не попасть на глаза полицаю. На чужой стороне естественным было желание земляков общаться, держаться вместе. Все наши респонденты подчеркивали строгий немецкий порядок и дисциплину.

«Теперь вспоминаешь порядок в Германии какой. Там нигде ничего не закрывалось. Воровать там никто не ворует. Вот будет все открыто, все будет стоять, но

никто воровать не будет. Мы, русские, конечно, воровали, но мы воровали так, что это я не считаю воровством. Мы картошку для свиней воровали. И еще чем спасались? Вот идем, допустим, полоть брюкву, брюквы много сажали скоту. Вареную я, например, или там тушеную, не любил. А сырую, идешь, вырвешь, ножики у нас были, почистишь, сидим и едим. Вот целый день мы эту брюкву и ели, как кролики.

С немками-работницами нельзя сказать, что плохие отношения были. Они ничего нам не приносили, не подкармливали. Вот у нас, понимаете, хозяин, он нас не подкармливал, а сын хозяина с нами неплохо общался. Мы его научили матом ругаться. Его потом, уже когда немцев душили, били русские, в армию забрали. Сколько лет ему было, не знаю, наверное, лет восемнадцать. Его Юлий звать, он в очках был. Отношение у нас с ним было неплохое, он с нами всегда разговаривал. Мы не замечали, чтобы он доносил на нас. Я в школе учил немецкий язык, так я и писать, и читать умел. И потом научились мы по-немецки разговаривать. А один из этих мужчин, я сейчас точно не помню, откуда он был, но, кажется, он у нас в России был директором школы, так он хорошо говорил. А вот была одна девка — служанка, немка. Мы ее так и называли фашисткой, она носила форму. Ходила на собрания. Она с нами не разговаривала, ничего. Она нас называла только свиньями и больше никак. Барбара ее звали, здоровая такая».

Из слов Степана Семеновича можно понять, что некоторые немцы относились к «ОСТам» нормально и даже дружелюбно. Между людьми, не имеющими отношения к политике, не было неоправданной ненависти.

«С этими немками мы тоже как-то более-менее… Зимой в погребе картошку перебираешь, там все сидим рядом, и они, эти девчата, и мы. Ничего, разговариваем, они не обзывали нас никак. Но никогда, боже упаси, не обсуждали войну, кто победит. От нас это все они скрывали, события на фронте скрывались. Никаких приемников, ни газет не было, мы, по крайней мере, не видели. Потом наших русских много, один по одному, мы узнали, что случилось в Сталинграде. Вот у них был три дня траур, когда эти армии попали под Сталинградом в окружение, у них был в честь этого три дня траур по всей Германии. Мы почувствовали это по их поведению. Но нам они не говорили, что произошло, мы уже сами догадывались Дело-то вот в чем, ведь у нас много таких работало. Там были пленные — и югославы, и поляки — много всяких. От них узнавали».

Степан Семенович особо отметил, что положение наших военнопленных было значительно хуже, чем из других стран. Описывая подробности своего быта, Степан Семенович подчеркнул, что уровень техники в сельском хозяйстве у немцев был выше, чем у них в деревне, это их поначалу поразило.

«У нас преобладал труд ручной. Немцы, конечно, в этом отношении — даже тогда, в войну, у них все было. У них кухни, там, плита, если газа нет, то плита электрическая, уже такие плиты большие стоят. У них в конюшнях, везде вот коровы у них, с автопоилки они пьют, прямо раз в автопоилку морду воткнула, носом

там клапан открыла, вода идет. Лошади тоже также. Колодцев я у них там я не видел. У них водопроводы везде. Все в этом отношении, конечно, намного лучше, чем в нашей деревне.

Ничего не запомнилось из плена, все дни похожие были».

Прасковья Федоровна оказалась в лагере в городе Бауцен. «Нас через Дрезден везли в Бауцен». Работала на ткацкой фабрике. Ткали одеяла для армии. Нам стало жутко, когда она рассказала, из какого сырья изготавливали одеяла.

«А может быть, пожитки еврейские после расстрелов привозили? Потому что рядом с фабрикой, на которой мы ткали одеяла, была и фабрика, которая рубила вот эти вещи и перерабатывала на вату, и привезенные эти вещи были не немецкие, а именно еврейские. Кто работал там на той фабрике, где вещи рубили, говорили, что это вещи евреев. Потом эту вату прессуют, потом чесали, и пряли, и ткали одеяла для армии». Условия работы и жизни в лагере были значительно хуже, чем у хозяина.

«За работу нам не платили, я даже не знаю, что кому-то платили. Я очень голодала. Есть ведь и немцы, не все «сволота» была, и тоже хорошие люди среди них были. У нас на фабрике идет немка, бросит тебе кусочек хлеба, яблоко. Если только она на тебя посмотрела, идешь в туалет, она где-то его бросит, потому что разные туалеты были с русскими. Нас могли наказать, если мы поднимали этот кусочек. Один раз нам попало дубинками резиновыми за лес и за яблоки, идешь по дороге, она обсажена фруктовыми деревьями, а яблоки даже с земли подымать нельзя. Не то чтобы сорвать, нельзя даже поднять то, что упало. У них очень строго, у них порядок был. Мы как-то прокрались в лес хозяйский, я уже теперь не помню, где мы лазейку нашли. Но время было сбора черники, рот черный… Комендантша пришла, выстроила нас всех и через плечо дубинкой резиновой».

Из слов Прасковьи Федоровны мы поняли, что, несмотря ни на что, все же они выбирались за пределы лагеря. Но это не помогало им ни добыть еду, ни бежать. Им было некуда бежать, они оказались в центре Германии, а вокруг них были лишь враги, за немногим исключением, считающие всех советских граждан животными, понимающими только «резиновую дубинку».

«У них такая сильнейшая агитация против русских была, они, кроме как свинья, не называли русского. Местное население не помогало рабочим, никаких продуктов в лагерь никто из местных не передавал. В то время домой не писали, ничего о родных неизвестно, я такая забитая была, несмелая. Старалась ни во что не вникать. Я не помню, были ли выходные. Нас выводили на работу строем, деревянные трепы такие на ногах, «ни шагу назад», на деревянной подошве. Одеяла мы ткали для армии, легкие одеяла. И немцы работали на этой же фабрике. У нас одна была девушка, она так болела. Она такая была худая, как палец, хотела, чтобы ее домой отправили, но все равно ее никуда не отправляли. Там пока не умрешь, так не отправят. Из моей соседней деревни были тетя Галя, Настя была. Те-

тя Галя ушла вместо мужа, так она говорила. У нее сгорело все, двое детей оставалось, муж был инвалид, в армию его не брали. Тете Гале много уже было лет, она тоже на фабрике работала, Настя та была моложе. Сейчас они уже померли».

Сравнивая рассказы Степана Семеновича и Прасковьи Федоровны, мы можем предположить, что в лагере жилось тяжелее, чем у хозяина, и оттого и размер компенсации — оценка, насколько пострадали они от фашистской диктатуры, — разный. «И вот даже дают компенсацию сейчас, так вот ей — в лагере была — больше дают, чем мне. Чепуха, там, сколько — 700. Дали, ну там еще должно быть, но это только первый этап выдачи немцами. А мне 250, там. Считается, что лучше условия в сельском хозяйстве, немцы так считают».

Кому жилось лучше, а кому хуже. Делать выводы однозначно мы не имеем права, можно лишь отметить, что в лагере люди больше страдали от голода, чем в селе у хозяина, где всегда можно было что-то найти, чтобы «пожевать». К тому же на сельскохозяйственных работах многое зависело от самого хозяина, какой он добрый или, как у Степана Семеновича Бондаря, «жестокий и жадный».

Но как бы плохо немцы ни относились к русским, они иногда проявляли человеческое участие к ним, к примеру на праздники. И даже спасали от голода. Прасковья Федоровна до сих пор с благодарностью вспоминает подкармливавших их немок, сохранивших доброту и человечность. Но сама наша власть не во всем стремилась помочь своим пленным, отказываясь от помощи Красного Креста и уже в то время признавая этих людей не жертвами, а лишь предателями. А вот другие опрошенные — Анатолий Иванович Усов, Нина Ивановна Удовика, Зоя Васильевна Коненкова — были угнаны вместе с семьей. Мы думаем, что им в этом отношении было немного легче, чем Прасковье Федоровне и Степану Семеновичу, оторванным от семьи и не имевшим связи с родными. Степан Семенович говорил: «Я часто плакал, скучая по дому и родным». Конечно, ощущать, что твои близкие также угнаны, испытывают те же трудности, тяжело, но ведь они рядом, а значит, есть надежда, защита. Ведь нельзя забывать, что в то время наши опрошенные были еще детьми, хоть и повзрослевшими от всего пережитого ими, но еще верящими в силу своих родителей, бабушки, старших братьев, сестер.

Анатолий Иванович Усов также был угнан вместе со всей семьей из Псковской области в десятилетнем возрасте. В его деревне Белово Островского района немцы строили оборонительные сооружения и всю деревню выселили. Это произошло уже после Сталинградской битвы. Жители превратились в беженцев. В одной из деревень, которая находилась, на их несчастье, около железной дороги (название он не помнит), староста сдал их на вывоз. Находился в лагере, в Восточной Пруссии, в городе Румельсбург. Затем в городке недалеко от Штеттина (к сожалению, он не вспомнил названия городка, но помнит, что лагерь находился в центре города). Любопытны его впечатления о лагерной жизни:

«Мне в лагере хорошо жилось, я же из деревни, а там дети уже в десять лет наравне с взрослыми должны работать. Только голодно было. А так мы только гусей пасли, и у нас появилось детство, ведь больше ничего не заставляли делать.

Нас много было семей, родителей водили на работы. А мы бегали, те, кто помладше был. Дети, как я, не работали. Родители жили в бараках, а мы на чердаке. И за нами следил переводчик, мы над ним издевались. Шумим, бегаем, а он придет, все сразу замолкают, он выйдет, а мы опять. Этот надзиратель мог и ударить. Мы все бегали за забор и там воровали, что плохо лежит».

Впервые мы услышали, что для детей помладше в лагере было не так уж и плохо. Несмотря на голод, с их точки зрения, им жилось неплохо, ведь их там не заставляли так тяжко работать, как дома в селе. И у детей появилось странное, но все же детство. И другие тоже часто говорили, что в лагере, они «гуляли, бегали по лагерю», так что даже за колючей проволокой они все еще оставались детьми. Им хотелось шалить, играть. Зоя Васильевна Удовика с семьей оказалась на хуторе Салминис в семи километрах от Цесиса у хозяина в Латвии. По ее воспоминаниям, хозяин был хороший. Но ей, на мой взгляд, несмотря на гуманность хозяина, пришлось тяжелее всего. Она надрывалась на непосильной работе.

«А потом-то нас взял хозяин. Он хорошо по-русски говорил. Хлев кирпичный, конюшня, коровник отдельно, где овцы — там отдельно, свинарник тоже отдельно. Семь коров, два быка. У него была плантация смородины, для нас это было в диковинку. Хозяин хорошо владел русским. „Я русских люблю, — говорил, — но не люблю ваш строй. Эти колхозы. Я служил с русскими, и я русских люблю“. Мы там полтора года были, конечно, все делали: и садили, и картошку копали, и сено, и я уже на грабилке стала работать. А как же? Ведь надо же было кому-то, один хозяин-то. И вы знаете, какой у него был порядок.

Он нам плохого ничего того не сделал. Владел русским языком, он с русскими в армии служил. Один был.

Автопоилок ведь и в помине не было. А надо было воду наносить. А у него стояли бочки в хлеве. Хозяйство было большое. И вот эти бочки надо было наносить. Пруд был. И с пруда все это таскали. Бывало вот уж ходишь с последней носки, ноги уже заплетаются, думаешь, как бы не упасть. Эти деньги нам же никто не платил, только вот если что сварят, то дадут».

Узнав, что хозяин служил в полиции, мы попросили Зою Васильевну уточнить, чем же занимался хозяин, в чем заключалась его обязанности: «Ничего такого я, думаю, не делал. Ему свои говорят потом, ты смотри, русские наступают, ты теперь убегай. А он так и сказал, когда уезжал, я не русских боюсь, я своих боюсь. Со стороны хозяина зверств не было. Только то, что было много всякой работы».

Зоя Васильевна надорвалась на работах, но ее от отчаяния всегда спасала искренняя вера в то, что Бог поможет ей и ее семье. Удивительно, но в ее душе нет обиды на кого-либо. Они даже пытались после войны узнать о судьбе хозяина. «Распрощались, так он говорил, что уж останусь жив, так я уж обязательно сигнал дам. Ну сигнала нет. И вот когда после войны ездили туда, к соседу хозяина, так он сказал, что никаких не было известий. Мы так, говорит, и считаем, что он так и был убит вот на этой дороге».

После разговора с этими людьми мы не можем сказать, что вот тому-то было хорошо, а тому-то плохо — все они испытали немало, и каждому из них было нелегко.

Но всех их объединяет то, что ни один из них не захотел остаться в Германии, Латвии — все они, рано или поздно наконец вернулись домой.

Победа над фашизмом открыла путь к свободе. Как вспоминают эти дни наши рассказчики? «А потом, когда наши стали наступать, мы убирали сено. Потом вдруг ночью стрельба такая. Тут и с воздуха бомбят. И с катюш. Мы уж и в подвал пошли. А у него подвал был с улицы вход, погреб, зацементированный. Когда наши пришли, говорят, мол, выходите с подвала. А они такие мученые, шинельки потрепанные. В этом доме, раз хозяин ушел, они сразу сделали контрразведку».

Нас заинтересовало, а в каких условиях жила семья, после того как дом был занят контрразведкой.

«А нас в клеть. А там, что мы спали тоже ведь, вон на полу. Ну а потом папа сколотил там, сделал в клети нары. Как ведь поедешь, ни документов, ничего не было».

На наши вопросы, было ли медицинское обследование и когда вас освободили, Зоя Васильевна ответила.

«О нет, никакого. У наших никакого». И с горечью добавила: «Да, так после войны я и не была здоровой. Все работала там, на железной дороге два с половиной года. Это уже когда война закончилась. Мне уже 17 лет было. Надо было работать. Ну много я там разве наработала». Зоя Васильевна, показывая маленькую мамину фотографию, заметила. «Это мама сразу после возвращения, изможденная, в военном бушлатике, который ей наши дали, в нем она еще долго ходила».

Массовое бегство местного населения от советских солдат объяснялось слухами о жестокости нашей армии. Это пугало больше, чем чужие места, неизвестность. Да и свои соотечественники могли предать, указав на него как на сподвижника фашисткой власти.

Не все бежали от Красной Армии, многие люди оставались. Почему? Некуда бежать, большие семьи, некоторых устраивал советский режим, возможность дать детям образование — все это причины, по которым люди не покинули свои дома.

Долгое время Зоя Васильевна оставалась на территории Латвии, так как ей было не на чем уехать на родину — не было транспорта, ни поездов, ни машин. Наше правительство не очень заботилось о своих гражданах, а особенно оказавшихся в плену. Семья Зои Васильевны стремилась вырваться из Латвии, ведь военные их предупредили, что после ухода наших войск местное население, может, уже не будет столь радушно по отношению к ним. Возвращалась домой Зоя Васильевна почти так же, как и приехала в Латвию. «Точно в вагонах таких же — телятниках».

Почти так же возвращалась семья Анатолия Ивановича Усова, с той разницей что: «Нас загнали в тупик. Мы долго стояли на станции, и папа с одним мужиком, но не из псковской, а новгородской области, купили вагон. Таким образом мы и смогли добраться до дому». На дорогах творился хаос. Люди стремились любыми способами попасть домой. Факт «продажи» вагона заинтересовал нас. По нашему предположению, видимо, они не «купили» в прямом смысле, а заплатили, чтобы добраться до дома.

А вот как описывает свое освобождение Прасковья Федоровна: «Немцы ушли. Шли потоком по шоссейной дороге и лошади, и воинские части шли. Все стремились к американцам, потому что русских очень боялись. Оставались просто пустые города и села. Из лагеря разбрелись все, кто как шел, никто никого не охранял, никому до нас дела не было. Все квартиры, дома были открыты. Откуда и набирали этого барахла. Что могли люди взять с собой? Спасались кто как мог от русских, потому что такая пропаганда была. Страшно боялись мести со стороны русских. Я не попадала к американцам, мы не дошли, надо было за Эльбу. Все говорили, что надо за Эльбу, на Эльбе американцы».

Мы отметили, что бежали к американцам не только немцы, но и советские граждане, которых напугали страшные слухи о расправах не меньше, чем немцев, к тому же, возможно, некоторые не стремились возвращаться, мечтая начать новую жизнь.

Некоторые, воспользовавшись отсутствием хозяев (а порой их смертью), занялись мародерством, о котором говорила и Зоя Васильевна. На наш взгляд, несмотря на то что эти остарбайтеры перенесли немало бед, но наживаться на чужом горе, а порой смерти большой грех.

Также мы поняли, что власть строго проверяла всех, кто возвращался из плена, и это, на наш взгляд, не могло не отразиться на их судьбе. А у рядовых сограждан возникало недоверие: вы «прохлаждались в Германии», когда другие воевали.

Долгим был путь Степана Семеновича домой на Украину. Мы несколько раз пытались выяснить, как он оказался в американской зоне, чтобы яснее представить, что происходило в Германии по мере наступления наших войск.

«Когда наши наступали, немцы старались всех вывозить. Убегали от русских все туда к американцам, к англичанам. И эсэсовцы забирали, старались наших вывезти туда и хозяева. Мой хозяин тоже бежал, он нас тоже забирал, но мы потом разбежались по дороге.

Я убежал в Австрию. Мне уже летом 45-го девятнадцатый год шел. В Австрии есть два города: есть Линц и есть Лиенц. По-моему, это было в Лиенце. И я, уже потом когда туда пришли американцы, болтался просто так, нигде не работал. Американцы меня сразу забрали и отвезли в лагерь. Там лагерь был, как назывался он „перемещенных“ лиц. В основном были все русские. Много уже наших

там было. А потом приехали наши. На машинах военных. Нас забрали, сколько-то ребят, посадили на машины и привезли в расположение нашей части».

Степана Семеновича после «фильтрации», которая была проведена в части, направили в армию. «…А в армии проверяли и не один раз. Нас, когда взяли и привезли в расположение части, сразу стали проверять, а потом, когда мы уже в частях служили, тоже проверяли. Начали тут меня вызывать: „Где был?“ Вызывают, спрашивают, где был, когда был, как был, где работал, когда чего. И я ж не стеснялся, у меня был документ такой, что я в Германии был, работал там».

Ему повезло — сочли благонадежным, несмотря на то что служба была нелегкой, приходилось рисковать жизнью, для него это был лучший вариант. Он освоил профессию радиста, служба как бы «искупала пребывание в немецком рабочем плену».

«Из Германии в армию не брали многих. Возможно, из-за годов, а может, еще почему. Но меня сразу взяли. Из нашего села было много тех, кто был в Германии, но в армии никто не служил».

Но и в армии «метили» «остовцев». Эти люди многое испытали и после войны. Власть им не доверяла и ущемляла в правах. В рассказе Степана Семеновича чувствуется, что он без объяснений начальства понимал, почему к нему было такое отношение. Сейчас он говорит об этом спокойно и даже иронизирует по этому поводу. Но мы только можем представить, какие чувства он испытывал в то время.

«Меня направили в школу радистов. Сейчас не помню, сколько месяцев я был там, но потом, перед тем как выпускать, присваивать звание, меня из школы отчислили. Не доучился до конца. И звания не присвоили из-за того, что я был в Германии. Тогда никто ничего не объяснял, просто отчислили, отправили в часть, и все на этом кончилось. Я, конечно, понял почему. Звание мне не присвоили, но радистом я работал».

В армии Степан Семенович прослужил пять лет. «Меня демобилизовали, я поехал домой, на Украину. Туда, откуда меня взяли, где я родился, где я жил, где школу кончал. Ну вот приехал, а что ж?»

Вернувшись домой, Степан Семенович оказался в довольно сложной ситуации. Работать по армейской специальности ему не пришлось.

«Знаете, так, в общем. Никто не притесняет, никто ничего, как доходит, что надо писать биографию, когда на работу поступаешь, а куда ж денешься, был, значит, был». Так и не смог устроиться на родине, так как была отметка в личном деле. «Пришлось ехать по вербовке в Бердянск, потом завербовался на Урал». Долго умалчивал Степан Семенович о своих проблемах с устройством на работу, как о чем-то неприятном, как будто не хотел еще раз пережить те унижения и обиды, которые ему пришлось перенести. А может быть, еще и потому, что долго вынужден был молчать и скрывать.

Нам стало интересно, а как часто вспоминается Степану Семеновичу Германия. Не хочется ли ему туда съездить. «Как не вспоминаю Германию! Вот особенно лежишь иной раз, не спишь ночью, в голове перевернется все от начала до конца. Столько времени прошло.

Съездить в Германию у меня желание и сейчас, может быть, появилось бы, но нет возможности поехать, просто посмотреть те места. Что ж там сейчас. Но сейчас это желание неисполнимо. Уже, конечно, ни хозяев тех нет, потому что в то время хозяину было не меньше, наверное, шестидесяти».

Нина Ивановна Удовика сказала нам, что «я об этом не говорила, не писала нигде. Я обманывала». Почему скрывали, какие были мотивы? «Когда я школу закончила, я поступила в Торгово-кулинарного ученичества школу. Нужно было заполнять анкету. Я, заполняя анкету, не писала, что мы в лагере были, в оккупации просто были и все. Мы же слышали, как люди говорили, что могут ни в институт, ни в техникум, никуда не взять. У нас не допытывали, а мы не говорили, скрывали».

Призрак войны долго преследовал людей. Зоя Васильевна показывала нам фотографию сестры, снятую в 53-м году, перед нами стояла девочка в старой, драной куртке, рукава которой свешивались вниз, очень худенькая и маленькая. На другой фотографии класс, все дети одеты мрачно, непразднично, в одежду, видимо, много раз перешитую, и трудно поверить, что это 1 сентября. Где цветы, нарядные платья? Ничего нет, а есть лишь желание учиться и серьезные лица ребят. Зоя Васильевна говорила, что у хозяина они не чувствовали такой голод, как в послевоенной деревне. Их домик из шпал стоял около самой дороги и в одночасье сгорел от паровозной искры. Это, наверное, было последней каплей, переполнившей чашу терпения. Жить стало просто негде. Бабушка и дедушка стали звать Зою к себе в Мончегорск. Нетрудно догадаться, что они оказались у нас в Мончегорске «не по своей воле».

«В 50-х я приехала в Мончегорск, к бабушке с дедушкой. Мне 20 лет было. Работала на руднике. Вначале откатчицей. А что делать было? Бабушка с дедушкой старенькие. Тогда квартир не было, только комнатушки. Вот у них было две дочери, и бабушка с дедушкой занимали 12 метров комнату. Так вот перебивались. Немного я наработала. А потом перевели меня в разнорабочие, работала в табельной, потом табельщицей оформилась и совсем слегла».

Страшно, что совсем молоденькая девушка вынуждена была работать там, где не всякий мужчина выдержит. Так что все же в потере здоровья нельзя обвинить только трудовое рабство, в этом виновато и государство, как будто забывшее о людях. После возвращение Зоя Васильевна уже была тяжело больна: «Вот я больше и не работала. Мне как дали тогда первую группу, так у меня много лет была первая группа. Потом с первой на вторую. А вторую дали и написали нетрудоспособна. Я ходила, плакала в Горисполком. Вся дорога оплакана. Приду, говорят: приходите недельки через две–три, что-нибудь прояснится. Приду. Никто вас не берет. Кому вы нужны. Я ведь очень давно инвалид. С 1951 года.

Я очень много перенесла. У меня вот заболевание было пяти позвонков. Я четыре года почти лежала не поднимаясь».

Зоя Васильевна с теплотой вспоминает врачей и помнит имена их всех. Ведь они помогли ей в тяжелой борьбе за искалеченную жизнь. Зоя Васильевна удивительна тем, что, несмотря на тяжелое заболевание, просилась на работу, а ей отказывали и удивлялись: «Все просят вторую, чтобы не работать, а она ходит с первой и просит. Лишь бы хоть чуть-чуть поработать». Когда Зоя Васильевна показывала нам альбом, она рассказала много интересного, увидев фотографию мужа, она немного погрустнела, мы попросили подробней рассказать о нем.

«Он у меня тоже инвалид, с позвоночником, — увечье в армии, у него там была контузия».

Немецкое правительство стало выплачивать компенсацию людям, во время войны пребывавшим в фашистском плену. Но на территории России, Украины, Белоруссии и некоторых других стран компенсации выплачивались непостоянно. Причин тому несколько: стариков обманывают как частные лица, так и государственные учреждения. «Я уехала на лето, приехала — ничего в почтовом ящике не было, он был открыт. Вот моей сестре, что 40-го года, пришла доплата, а мне нет, видно, вытащил кто-то, а больше ничего не присылали». (Зоя Васильевна Коненкова).

Зоя Васильевна получает от нашего государства пенсию в размере 921 рубля 97 копеек, так как тяжелая работа в плену и дома после войны сделала ее инвалидом, и она не смогла работать. «У меня родственники очень хорошие, постоянно помогают. Сестры, племянник. Он чуть, что звонит: „Что там у тебя? Как ты, чем помочь? Не забывают“».

Люди, воспоминания которых мы записали, попали в рабский трудовой плен детьми, не добровольно, а в силу трагических обстоятельств. Это были жертвы планомерной политики насильственного переселения (депортации) во имя укрепления военного потенциала рейха.

Но они, их семьи, подвергались унижениям не только на чужбине, но и в их собственной стране. Их жизнь по возвращению домой была полна лишений и мытарств. Власть после войны, создавала дополнительные препятствия в их и без того нелегкой жизни лишь за то, что они стали подневольными рабочими — рабами в трудовом плену.

Этих людей в нашем обществе с их проблемами и переживаниями долго как бы старались не замечать. «…А мы молчали. Мы ведь никому не говорили, что в Германии были».

Мы попытались, насколько это было в наших силах, по воспоминаниям людей, переживших войну, восстановить детали их жизни в неволе. Но самое тяжелое — быть «подозрительным лицом» в своей стране, испытывать притеснения со стороны государства и недоверие сограждан.

Баба Нюра

Станислав Елистратов, Тульская область, г. Алексин
11-й класс, научный руководитель Л. А. Елистратова

…Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
М. В. Исаковский

НИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Наш двор, скамейка у подъезда и старушка, которая беседует с другими бабушками. Именно здесь, во дворе, я впервые услышал историю бабы Нюры, но очень быстро забыл.

После долгих колебаний — стоит ли ворошить прошлое — я все же решился и отправился к бабе Нюре домой. В течение нескольких вечеров баба Нюра (Анна Степановна Нефедова, в девичестве Корнеева) поведала историю своей жизни.

«Родилась я, — начала моя собеседница, — 3 октября 1918 года в маленькой смоленской деревеньке в бедняцкой семье. Мама, Прасковья Ивановна, вела домашнее хозяйство, отец, Степан Петрович, крестьянствовал, часто нанимаясь на поденную работу к местным богатеям. Советскую власть он принял сразу и безоговорочно. Под влиянием местных большевиков вступил в ряды РКП(б) и до конца жизни оставался членом партии. Когда на Смоленщине стали создаваться первые колхозы, отец возглавил один из них».

Однако колхозная жизнь не могла обеспечить Корнеевым нормальных условий существования. В 1929 году — в год коренного перелома политики партии в отношении деревни, когда усилился силовой нажим на крестьян, — Степан, собрав свои нехитрые пожитки, с женой и детьми отправился на Украину. «В Днепропетровской области около города Мелитополя семья нашла временное пристанище. Ютились в полуземлянке, маленькой, сырой и холодной, — говорит моя героиня. — С утра до позднего вечера трудились сообща на небольшом, выделенном нам клочке земли, кое-как сводя концы с концами. Здесь, на Украине, похоронили родители двух сыновей».

Голод гулял по стране. В 1932 году он достиг Украины. И вновь Степан Петрович решил сняться с места. Взяв с собой старших детей (Нюру и Петю), он отправился обратно в Центральную Россию. Этот путь 13-летняя Нюра запомнила хорошо. «Добирались кое-как: иногда на попутной телеге, а чаще пешком, переходя от селения к селению, увязая в грязи на проселочных дорогах, ночуя в стогах сена, дрожа в рваной одежонке от пронизывающего ветра и утренних заморозков. Питались чем Бог подаст: собирали на полях гнилую картошку, редко попадавшиеся колоски, просили милостыню. Чаще всего с сумой ходила я. Небольшого роста, бледная, худенькая, как былиночка, в рваной одежде и стоптанных башмаках, я уже одним своим внешним видом, а также тоненьким го-

лоском вызывала жалость. И мне давали: кто картошку, кто ломоть хлеба, кто луковицу. Мужчины просить стеснялись».

Так добрались Корнеевы до Брянской области. Здесь, в 60 километрах от Брянска, на железнодорожной станции Зикеево, попытался Степан Петрович найти работу — и нашел, правда, не на самой станции, а в лесхозе. «Стал отец лесником. Дали нам дом в небольшом (из 12 дворов) поселке Гремша, который располагался в четырех километрах от станции среди лесов и болот. У каждой семьи здесь было небольшое хозяйство. Постепенно обзаводились им и мы. Приехала с Украины и мама с двумя сыновьями Витей и Колей, завели сначала птицу — кур, уток, гусей, а позже свиней, овец и даже корову. Отцу, как леснику, полагалось служебная лошадь для объезда закрепленного за ним участка лесного массива», — продолжает рассказ баба Нюра. Летом она вместе с мамой работала в огороде, ходила в лес по грибы и ягоды, а зимой пряла изо льна нитки, ткала холсты, из конопли вила веревки, из отходов льна пряла коврики. В редкие дни отдыха, для себя, «для души», вышивала и вязала.

Не помнит баба Нюра в своем детстве свободного времени: все дни с утра и до вечера были заполнены трудом. «Одно огорчение было у меня в жизни, одна мечта осталась неосуществимой — мечта об образовании, — горестно восклицает рассказчица. — Еще на Смоленщине начала я ходить в школу. Да располагалась она далеко от дома, в соседнем селении, одежонки и обувки не было прочной, дел по дому хватало. И через четыре месяца махнул отец рукой на мое образование, сказав: „Довольно ходить в школу. Девочкам книжные премудрости ни к чему. Женщина должна уметь варить похлебку и ходить за детьми“». На этом была поставлена точка в Нюрином образовании.

В неполных 15 лет вынуждена была девушка пойти работать прислугой к зажиточной женщине в городе Жиздре. «В мои обязанности (за пять рублей в месяц), — вспоминает моя собеседница, — входило в отсутствие хозяев (хозяйка работала воспитателем, а ее муж был военным) присматривать за старенькой бабушкой и маленькой девочкой, а также убирать квартиру, стирать белье, ухаживать за животными». Так в работницах моя героиня прожила два года. В редкие приезды домой привозила родне нехитрые гостинцы: матери — платок, отцу — табак, братьям — баранки.

На фоне нашей сегодняшней жизни очень тяжелым выглядит детство мальчиков и девочек первого послереволюционного поколения. Да они практически были его лишены. Дети вынуждены были вступать вместе со взрослыми (и наравне с ними) в тяжкую борьбу за выживание, рано приобщаясь к непосильному физическому труду. В стране, где боролись с голодом, беспризорностью, безграмотностью в 20–30-е годы XX века, оказывается, было много голодающих, бездомных и лишенных возможности учиться детей.

«В один из погожих летних дней 1936 года, — рассказывает баба Нюра, — неожиданно приехал в город брат Петр. Взял у хозяйки расчет. Забирая меня домой, коротко сказал: „Мамка заболела“. Хозяйка отпустила, посочувствовала нашему

горю и просила возвращаться, когда все образуется. На поезде, который в народе называли „кукушкой“, поехали домой. Всю дорогу я нервничала, пыталась узнать подробнее о состоянии здоровья мамы, на что брат уклончиво отвечал: „Приедешь, сама увидишь!“»

Между тем поезд подошел к станции. Нюра и Петр вышли на перрон. В вагоне было пыльно и душно — очень хотелось пить, поэтому брат и сестра зашли в станционный буфет, где встретили односельчанина Арсентия Нефедова. Вместе шли по лесной тропинке домой. Нюру несколько удивило и насторажило то, что Арсентий пошел в их хату, но еще более поразило девушку то, что она увидела дома: накрыт стол, а за ним мирно восседают («слава Богу») живые и здоровые родители, и не только свои, но и Арсентия. Широко раскрытыми глазами Нюра смотрела, как встала из-за стола мама и тихо сквозь слезы сказала: «Мы тебя, дочка, просватали!» А отец добавил: «Хватит на людей работать».

— Я заплакала, — говорит баба Нюра.

— Почему? — интересуюсь я. — Неужели не рады были?

— Нет, — тихо отвечает старушка. — Не глянулся он мне, хотя был высоким, стройным, темноволосым. Старше был меня на восемь лет. Знала, что гулял с девушкой другой, а на меня вроде и не смотрел вовсе.

И плакала Нюра за ситцевой занавеской на груди у мамы. Плакала, оттого что никто не спросил ее согласия. Плакала от обиды за то, что брат дорогой ни словечком не обмолвился о сватовстве, плакала, злясь на Арсентия за его скрытность чувств и характера, плакала, оттого что замуж выходить не в чем и приданого никакого нет. Горько плакала Нюра Корнеева, но замуж выйти согласилась.

— Почему же? — в недоумении спрашиваю я. — Ведь не царские же времена?

— Слово родителей для детей считалось законом, потому что в послушании воспитаны были, да и Бога гневить нельзя, — оправдывает свое решение баба Нюра.

Через две недели, 26 августа 1936 года, в Зикеевском сельском совете молодые люди расписались. Жених накануне купил невесте ботиночки, светлое ситцевое платье и такой же платочек. Вот и все наряды. Было нехитрое деревенское застолье с простым угощением и веселыми плясками и песнями под гармонь. Так моя героиня стала замужней женщиной.

После свадьбы Нюра перешла жить в дом мужа. Хозяйство у Нефедовых было крепкое: дом-пятистенка, большой погреб, колодец во дворе, хлев. Жили вчетвером: свекор, свекровь, Арсентий и Нюра. Муж работал на станции на погрузке вагонов, а молодая жена помогала свекрови по хозяйству, ведь в нем, кроме птицы, были овцы, корова. Росло у Нюры чувство привязанности к мужу. В 1938 году у молодой четы Нефедовых родилась дочка Люба, которой суждено было прожить всего полгода.

Горе молодой матери было безутешным, но в 1939 году в семье родилась Надя. Такое имя для девочки выбрал свекор, человек глубоко верующий, хорошо знавший дни святых (в его роду были священнослужители).

ВОЙНА

О начале страшной войны жители поселка услышали днем 22 июня по громкоговорителю. Арсентий вместе с другими мужчинами поселка пошел на станцию, в военкомат, где им коротко сказали: «Ждите!» Ждать действительно пришлось недолго. Через несколько дней принесли повестку. «Ушел муж, и как будто осиротел дом», — печально говорит баба Нюра.

Но беда не приходит одна. Неожиданно заболела и слегла свекровь. На Нюрины плечи легла полностью забота о доме. В это время она поняла, что скоро вновь станет матерью.

Неспокойно стало в поселке. Тревожные сводки передавало Совинформбюро. Разного рода слухи расползались по домам. На улице стали встречаться пришлые люди. В один из таких июльских дней 1941 года пропал Нюрин отец, Степан Петрович. Утром он уехал в город Жиздру получать заработную плату для рабочих станции и вечером домой не вернулся. Изувеченное тело Корнеева нашли на следующий день недалеко от станции, на насыпи железнодорожного полотна.

А фронт тем временем все приближался и приближался. Сначала стали слышны отдаленные звуки канонады, затем в небе появились первые фашистские самолеты, которые летели в направление станции — бомбить железнодорожный узел. Во время бомбежек жители поселка прятались в погребах.

Бомбежки станции между тем становились ежедневными, где-то рядом уже слышались разрывы артиллерийских снарядов, но Гремшу миновала участь поля боя. Не видели жители поселка отступающих советских солдат, но почувствовали вдруг наступившую зловещую тишину. На рассвете в поселок вошла немецкая пехота. Так началась на пограничной калужско-брянской земле оккупация. Слушая рассказ бабы Нюры, я с некоторым удивлением открывал для себя новую «неизвестную оккупацию» и начинал понимать, что жизнь «под немцами» довольно сильно отличалась от той, что показана в советских, да в современных российских книгах и фильмах. Этот мир не делился однозначно на своих и врагов, на партизан и полицаев. Большинство гражданского населения (как и моя героиня) жили в деревнях и небольших поселках, где партизаны были редко. О них слышали, об их действиях знали. Они иногда, как правило ночью, бесшумно появлялись на окраине селений, стучались в дома «надежных граждан», забирали приготовленные для них продукты и также неожиданно исчезали. Оккупационная власть была реальной силой, и к ней приспосабливались, если хотели выжить. Нюра Нефедова очень хотела жить ради дочки и еще не родившегося ребенка, ради больной матери, которая после ухода сына Виктора в партизаны осталась одна, и, наконец, Нюра хотела жить ради встречи с мужем. И для того чтобы не погибнуть, Нюра с приходом оккупантов ютилась

с семьей на кухне, а в 1942 году даже в погребе, ради того чтобы выжить, она смиренно позволила немецким солдатам увести со двора Наденькину поилицу — корову Зорьку. Ради жизни своих детей она готовила, стирала, убирала немецким офицерам, которые стояли у них в избе на постое.

Да, «при немцах» жилось трудно, но сносно. «Они не зверствовали в глухом лесном поселке, но чувствовали себя здесь хозяевами, — вспоминала моя героиня. — Было сожжено несколько пустовавших построек, почему-то показавшихся фашистам подозрительными. Лучшие дома (в том числе и наш) были заселены немецкими солдатами и офицерами. Впервые месяцы не стреляли. Все население поселка было переписано — каждый день проверка. Покидать поселок без специального разрешения запрещалось. Мужчин, женщин, подростков заставляли работать на станции. Я от такой работы была освобождена, потому что обслуживала своих постояльцев».

И в то же время всем было разрешено обрабатывать имеющуюся у них землю, иметь в хозяйстве скот, птицу. Таким образом, голода гремшанцы не испытывали. Кое-что можно было купить на рынке в Зикеево, а что-то и в поселковом магазине (удивительно, но он работал и в нем принимали советские деньги). Единственно, с чем трудно было мириться, — это с отсутствием мыла. Его практически невозможно было достать. «Да, я ухитрялась: прятала маленькие обмылочки, которые оставались от стирки немецкого белья, и использовала их для дочки», — вспоминает баба Нюра.

Слышала моя героиня, что на станции работала начальная школа, где детишки учились по довоенным учебникам. У них же в поселке открыли при немцах церковь, которую в советское время использовали под склад. Ходила в храм и Нюра.

В феврале 1942 года Анна Степановна родила сына Колю. Рожала не в больнице, а дома, точнее, на кухне, на печке, при свете свечи. Роды принимала бабушка — соседка. Кричать громко Нюра боялась, ведь на постое были немцы. Мальчик родился крепеньким, но через четыре месяца внезапно заболел и умер. Вновь горе вошло в семью Нефедовых, и опять не одно. Однажды не вернулся домой с принудительной работы свекор. Он был возчиком и на станции вместе с повозкой попал под поезд. Похоронили Афанасия Ивановича тут же, у железнодорожного полотна. В самом начале 1943 года скончалась Нюрина мама. Осталась молодая женщина одна — одна на руках с трехлетней дочкой.

А между тем с наступлением 1943 года немцы стали неуверенно чувствовать себя на оккупированной ими территории. Моя героиня вспоминает, что в Гремшах за связь с партизанами был расстрелян один пожилой мужчина, а двое были отправлены на станцию в комендатуру. Их судьба односельчанам осталась неизвестной. Жители лесного поселка чувствовали, что вот-вот начнется фашистское отступление. И оно действительно началось.

«В одну из августовских ночей 1943 года, — рассказывает баба Нюра, — мы были разбужены фашистами, стучащими и выламывающими двери изб». Врыва-

ясь в дома, прикладами выгоняли людей на улицу, не давая возможности собраться и взять с собой необходимые вещи. Плач, крики слышались по всему поселку. Жителей сгоняли к церкви, а опустевшие дома тут же поджигали. В языках пламени безжалостно уничтожалось все, что было у людей важного и дорогого: документы, фотографии, семейные реликвии. В считанные минуты от поселка осталось только пепелище. Даже в колодцы фашисты лили керосин, чтобы отравить воду. Не дожидаясь рассвета, нас погнали на станцию, где на путях уже стояли товарные вагоны. Людей силой заталкивали в них, набивая как можно полнее. После погрузки двери закрывались снаружи на засов. Люди сидели на полу на своих узелках, которые кое-кто наспех успел собрать. Для естественных нужд в полу была сделана дыра. Вот и все удобства.

На рассвете поезд тронулся в путь. Куда? «Везли незнамо куда, — вздыхает баба Нюра. — Путь казался бесконечно долгим. Людей мучил голод и неизвестность. Больные старики, грудные дети погибали. Во время редких остановок конвой проходил вдоль вагонов и выяснял, есть ли трупы. Во время остановок невольникам разрешалось выходить из вагонов, но тогда вдоль железнодорожного полотна выстраивались фашистские автоматчики с собаками. Любого пытавшегося бежать расстреливали на месте. Через 10–15 минут поезд трогался с места и все дальше и дальше увозил людей от родных их сердцу мест».

Люди ехали и думали: что ждет впереди? Увидят ли они еще когда-нибудь свою станцию, свою тропку, что вела к поселку? Не могла на эти вопросы ответить баба Нюра. А состав все шел и шел в северо-западном направлении. В середине августа 1943 года узники прибыли в Латвию в город Литус. Здесь их разгрузили и отправили в сортировочный пункт, окруженный со всех сторон несколькими рядами колючей проволоки. На вышках находились автоматчики. Территория пункта освещалась прожекторами для того, чтобы предотвратить возможные побеги. Трудно назвать пищей то, что приходилось есть заключенным. «Бурда!» — односложно характеризует ее баба Нюра.

Из Латвии узников повезли в Польшу, а оттуда в Германию.

В НЕВОЛЕ

Вечером 12 сентября 1943 года Анна Степановна Нефедова впервые ступила на немецкую землю, ступила как пленница. Что чувствовала простая русская женщина на чужбине?

«Унижение, стыд и безысходность своего положения», — печально говорит моя собеседница.

Выгнав из вагонов, как скот, их выстроили тут же на перроне. Скоро появился представитель местной власти с листом бумаги и занялся распределением на принудительные работы. Анну Степановну с дочкой и соседку Олю определили батрачками к помещику. Так началась новая страница в жизни моей героини.

Барская усадьба располагалась в нескольких десятках километрах от железнодорожной станции, название которой не сохранилось в памяти бабы Нюры. Помнит она лишь, что привезли их в Западную Германию, что протекала там река Гали. Господская усадьба была огромной и называлась «Роте либен», к ней вела шоссейная дорога.

Узников под конвоем загнали на большой, вымощенный булыжником двор и приказали ждать. Через некоторое время из ворот ограды появился в сопровождении огромного черного дога владелец усадьбы. Это был крупный высокий человек средних лет, который что-то коротко сказал по-немецки. Находившийся рядом с ним переводчик на ломаном русском языке объяснил, что господин Шульц теперь их хозяин, а они — сельскохозяйственные работницы. Жить будут в двухэтажном здании. И завтра с утра им нужно приступить к работе, за которую будут платить одну марку в неделю.

За спинами женщин действительно находилось каменное двухэтажное здание, которое впоследствии невольницы нарекли «казармой». На первом этаже дома располагалась просторная кухня с плитой. На ней каждый вечер после возвращения с работы женщины готовили себе еду в больших чугунах. В основном это были отварные овощи и пшеница. Здесь же, на кухне, ели за большим столом. От работниц строго требовали соблюдения чистоты и порядка. Деревянная лестница вела на второй этаж, где находились жилые помещения. В общий коридор выходили двери трех комнат. В одну из них поселили вновь прибывших. Это была просторная комната: вдоль выбеленных стен стояли кровати, у единственного окна — стол, другая мебель отсутствовала.

В соседних комнатах жили, как потом выяснилось, только женщины: француженки, польки, украинки — всего 13 человек. Языка вначале не понимали, общались в основном жестами. Постепенно «обвыкались», начинали понимать речь друг друга. Жили дружно, потому что, по мнению бабы Нюры, делить-то нечего было.

Пожилая немка принесла и положила на кровать спецодежду: черную юбку, пиджак, кофту, нижнее белье, чулки, платок и на деревянной подошве башмаки. Пленницам, прежде чем лечь спать, приказали вымыться. Чистота и аккуратность — основные принципы в жизни немцев. Это распространялось и на людей, живших у них.

13 сентября 1943 года с первой полоской зари начались трудовые будни советских невольниц. Женщины весь световой день работали в поле за усадьбой. Они убирали с длинных грядок свеклу и морковь: дергали, обрезали, складывали в мешки, грузили на машину. И так изо дня в день. С уборкой было закончено — начали с полей убирать камни, а когда немного подморозило, растаскивали по полям навоз. Работа была монотонной и тяжелой. От нее болела спина и ломило руки. Весной занимались посевом, поливом, рыхлением и прополкой грядок с овощами. На работу и с работы ходили под конвоем. Охранник с собакой наблюдал за работой, не давая подолгу отдыхать, взмахивая плеткой, частенько покрикивал: «Arbeit, arbeit, russisch schwein».

«От таких обидных слов по телу пробегал озноб и на глаза навертывались слезы, — с дрожью в голосе говорит баба Нюра. — Но разве можно было что-то изменить в жизни. Приходилось терпеть обиду и унижения».

С больными не церемонились: били плеткой, пытаясь выгнать на работу, и, если это не удавалось, оставляли в казарме на произвол судьбы. Лечить не лечили. Выживет человек — хорошо, нет — в земле места всем хватит. Уходя на работу, Анна Степановна оставляла дочку в казарме. Пока была жива бабушка-соседка, мать не очень беспокоилась за девочку, а вот когда месяца через два старушка умерла, сердце матери разрывалось в тревоге за дочь. Четырехлетняя девочка была предоставлена сама себе. Часто возвращаясь поздно с работы в дом, моя героиня не находила в нем Нади. В испуге со слезами на глазах металась женщина по двору в поисках дочери и чаще всего находила ее спящей в кабине старого грузовика. Девочка по каким-то своим соображениям облюбовала это место для игр.

Рассказывая о своем пребывании в Германии, Анна Степановна старается обойтись без подробностей: чувствуется, что эта тема тяжела для ее воспоминаний. Зато мне удалось разговорить Надю, теперь уже Надежду Арсентьевну Горлову, детская память которой сохранила многое.

Вот некоторые фрагменты того, что она мне рассказала: «Предоставленная на весь день сама себе, я не чувствовала себя пленницей. Я была хозяйкой нашего двора, каждый уголок которого был мне знаком как свои пять пальцев. Двор большой. С одной стороны он примыкал к высокой металлической ограде, за которой начинался огромный парк, где росли липы, орехи, дубы. В глубине парка виднелся большой и красивый особняк, очень сильно напоминавший средневековый замок. Прямая аллея, по краям усаженная оранжевыми лилиями, вела от калитки к дому. С другой стороны двора была каменная стена, вся увитая плющом, за которой находился сельскохозяйственный двор. В стене был проем, через который можно было пройти из одного двора в другой». Моя героиня практически не видела и не знала этого второго двора, а вот ее дочь была там частой гостьей. На этом дворе находились коровники, свинарники, птичники и бараки с военнопленными, по преимуществу сербами, ухаживающими за животными. Кормили, по мнению Надежды Арсентьевны, сербов лучше, чем русских, так как их питание было организовано через международную организацию «Красный Крест». Через эту же организацию сербам удалось для маленькой русской девочки (которую они очень любили и чем могли баловали) «пробить» ежедневную четвертинку молока. Вот за этим молоком и ходила Надя на скотный двор. Путь по меркам взрослого человека короток, а вот для девочки он был сопряжен с преодолением целого ряда опасностей: ее пугали мычащие рогатые коровы, неожиданно появляющиеся и бегущие по двору свиньи, а однажды Надя чуть было не погибла от налетевшей на нее стаи гусей, которые щипали ее, били сильными крыльями. И только благодаря подоспевшим на выручку мужчинам девочка была спасена.

«За усадьбой, — продолжала Надежда Арсентьевна, — виднелась лента шоссе, по обеим сторонам которой росли плодовые деревья — груши, сливы, черешня, но собирать плоды нам было запрещено».

Что в это время происходило на фронтах, женщины не знали. Только по сумрачным лицам своих охранников, по их нервозности, по часто менявшемуся настроению, суетливости догадывались, что обстановка на фронте складывается для немцев неблагоприятно. А уж когда во второй половине 1944 года на усадьбу стали совершаться налеты американцев, стало понятно, что дела фашистов совсем плохи.

Баба Нюра во время бомбежек очень боялась за Надю, поэтому однажды, преодолевая страх и робость, она обратилась к немке, жившей в усадьбе в двухэтажном доме вместе с детьми Верой и Потеком, которые дружили с Надей, с просьбой: присмотреть за девочкой. Немка, по-видимому, сноха хозяев, согласилась, но за определенную плату, которая состояла в том, что в свободное от основной работы время, как правило, вечернее, Нюра приходила бы к ней в дом чистить котлы, выбивать ковры, убирать туалет. Моя героиня согласилась и уставшая до изнеможения в поле вечером 2–3 раза в неделю выполняла обязанности уборщицы, лишь бы быть уверенной, что ее дочка будет в безопасности.

Русскую девочку в немецкой семье не обижали. Она играла с Верой и Потеком, очень быстро научилась их понимать и скоро стала говорить по-немецки и на удивление хорошо. Бывали случаи, когда девочку оставляли в господском доме. Она ела с немцами вместе за общим столом, где ее обучала хозяйка пользоваться столовыми приборами. Пища была довольно скромной: совсем мало хлеба, зато много тушеных овощей: гороха, фасоли, реже картофеля. На десерт подавали часто мармелад из свеклы и моркови. Иногда Надю оставляли в доме ночевать. «И тогда нас (детей), — вспоминает Надежда Арсентьевна, — укладывали всех вместе на большую кровать с пуховой периной. В ноги клали нагретые и обернутые материей кирпичи, а сверху накрывали пуховым одеялом». В хорошую погоду детям разрешали гулять в парке. Надя, подражая немецким детям, проявляла любезность и приглашала Веру с братом на сельскохозяйственный двор. Охранник, как правило, такую компанию туда не пускал, видимо, выполнял приказ хозяина о том, что немецким детям незачем смотреть на работу военнопленных. Одета Надя была хорошо, так как ей доставалась пусть даже старая, но вполне пригодная для носки одежда Веры, которая была немного постарше.

Такая жизнь продолжалась до ранней весны 1945 года. С ее наступлением все резко изменилось. Сербы были увезены.

Перестали девочку пускать на территорию усадьбы. А 12 апреля 1945 года на глазах девочки разыгралась страшная картина.

«Внезапно в парке, — рассказывает Надежда Арсентьевна, — послышалась стрельба, появились люди в черных мундирах со странными крестами на рукавах. Их преследовали другие, говорившие на новом непонятном языке».

Конечно, не могла тогда знать маленькая девочка, да и ее мать о том, что еще в июне 1944 года в Европе (в Нормандии) был открыт второй фронт и, развивая наступление с запада на восток, к Берлину, двигались союзники. Возможно,

один из немецких отрядов пытался укрыться в усадьбе и был атакован американскими войсками.

С началом стрельбы работы в поле были прекращены, и женщины, не слушаясь окриков охранника, устремились на свой двор. Здесь перепуганная Анна Степановна нашла Надю, очень удивленную необычными событиями, разворачивающимися на детских глазах. Скоро во дворе появились два танка, на которых были негры. Надя, пораженная их видом, заинтересованно спросила у мамы: «Им что не хватило белой кожи?»

Работниц собрали во дворе и американский офицер на скверном, но таком родном русском языке объявил, что с этой минуты они свободны. На работу ходить не должны. Им необходимо оставаться в усадьбе и ждать прибытия советских представителей для оформления документов и отправки домой. Так неожиданно пришло освобождение.

Ждать пришлось примерно две недели. Все эти дни были наполнены радостью ожидания.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Действительно, через две недели за ними приехал грузовик. Двор опустел, так как француженки и польки уехали домой раньше. Нюра без сожаления села с оставшимися русскими и украинскими батрачками в открытый кузов грузовика. На станции бывших невольниц пересадили в пассажирские вагоны и повезли в Польшу, откуда должны были отправить на Родину. Но Нефедовым не повезло. В пути Надя заболела оспой, и польским врачам пришлось бороться за ее жизнь и здоровье. Все это время Анна Степановна не только ухаживала за дочерью, но и в ночное время, когда девочка засыпала, убирала комнаты и коридоры общежития, в котором жили. Только после полного выздоровления было получено разрешение на отъезд, и в сентябре 1945 года мать с дочерью вернулись в СССР.

Когда поезд подошел к станции Зикеево и Анна Степановна с Надей сошли на перрон, то увидели, что станции нет. Кругом руины, и только поодаль на камушках ютился базарчик, на котором местные жительницы торговали овощами. Вид этих женщин очень поразил Надю: солдатские поношенные телогрейки, серые шали, лапти с обмотками, на серых измученных лицах застыло безразличие ко всему. Пока девочка разглядывала женщин, а те ее (пальто, шапочка, чулки и ботиночки), Нюра лихорадочно всматривалась в лица, пытаясь отыскать знакомых. Но нет. Никого не узнала. «Куда идти?» Ноги как-то сами собой повели женщину в сторону родного поселка. Пройдя несколько метров, они увидели на пригорке землянки, в которых ютились уцелевшие жители. Моя героиня наугад вошла в первую из них и, на счастье, встретила знакомую женщину, которая сообщила радостную весть: муж жив, уже вернулся с войны, но уехал жить к сестре в город Алексин. Здесь же, в поселке Ореховке, жила его другая сестра, Груша. Ее семью гитлеровцы не успели угнать в Германию. Оставив у старушки дочку, несмотря на поздний час, побежала моя героиня к сестре мужа.

Встреча была радостной. Плача, смеясь, обнимаясь, женщины всю ночь проговорили. Из разговора Нюра узнала, что муж ее служил связистом, с боями дошел до Болгарии. Несколько раз был ранен и дважды контужен. В сентябре 1943 года был награжден медалью «За отвагу». Утром на семейном совете было решено телеграфировать в Алексин о возвращении моей героини с дочерью из германского плена.

Еще в Германии маленькая Надя расспрашивала мать про отца, которого совсем не помнила. Анна Степановна словесно рисовала дочери его портрет, в конце всегда добавляя: «Твой папка хороший». В воображении девочки возник образ высокого кучерявого черноволосого человека. Он представал перед ней всегда почему-то в шинели и на костылях. К моменту возвращения отца девочка заболела золотухой. Она лежала на лавке, когда однажды вдруг открылась дверь, и Надя увидела сначала костыль, а затем фигуру человека в шинели. Девочка вскрикнула: «Папка!», и мужчина устремился к ней, подхватил с лавки, прижал к груди и неистово целовал, а Надя плакала и только повторяла: «Папка! Папка мой!»

Встреча мужа и жены после столь долгой разлуки получилась холодной. Не о такой встрече мечтала моя героиня. Арсентий Афанасьевич, будучи человеком партийным, с осуждением отнесся к тому, что его жена оказалась в Германии на принудительных работах. Она, по его мнению, запятнала честное имя гражданки СССР и должна была попытаться любыми средствами избежать отправки в Германию. Думается, что многим из нас такое поведение покажется странным, но, чтобы понять его, необходимо проникнуться атмосферой того сурового послевоенного времени, в котором царило недоверие и страх, а также слепое преклонение перед партийными законами. Поэтому, забрав после выздоровления дочку с собой, Нефедов-муж уехал в Алексин, предоставив Нюре право самой решать, как жить дальше. Несколько месяцев ушло на проверку благонадежности Нефедовой Анны Степановны: поднимали из архивов документы, опрашивали свидетелей, по несколько раз в неделю вызывали к следователю, который сбивал неграмотную, испуганную женщину с толку запутанными провокационными вопросами, требованием неоднократного повторения рассказа о том, чем занималась в Германии и с кем из иностранцев вступала в контакты. В конце концов женщине выдали временный трехмесячный паспорт и разрешение на переезд к мужу в Алексин. Но, по воспоминаниям Надежды Арсентьевны, до 1953 года (года смерти Сталина) ее мать находилась под наблюдением органов внутренних дел. Участковый милиционер часто приходил проверять, чем занимается «женщина-шпионка» дома, у соседей расспрашивал, о чем говорит.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Только в 1946 году моя героиня уехала к мужу и дочери. Вновь поезд, вновь тяжелые размышления о жизни, вновь неизвестность. По моему мнению, весь сталинский период был проникнут неуверенностью человека в завтрашнем дне.

В Алексине объединившаяся семья сначала ютилась у золовки, затем мужу дали комнату в бывшем телятнике. «Ничего, — говорит баба Нюра, — помыли, по-

чистили. Слава Богу. Другие в то время и этого не имели. Жить можно». И жили, аж до 1961 года (!), когда была снята острейшая жилищная проблема, за счет строительства так называемых «хрущевок», малогабаритных, но зато отдельных квартир для каждой семьи. Дом возводили путем самозастроя, что было выгодно государству в те годы. Будущие жильцы в нерабочее время трудились на строительстве. Тяжело, но все понимали — «для себя» — и трудились.

Моя героиня сразу после переезда в Алексин пошла работать. Сначала в кулинарию, затем в пекарню: смазывала формы, сеяла муку, а затем, когда в нашем городе в 1958 году пустили в эксплуатацию хлебокомбинат, перешла туда тестомесом и проработала на этом предприятии до самой пенсии. Труд ответственный, напряженный, тяжелый, посменный. Тот, кто бывал в нашем городе, поймет, как тяжело было Анне Степановне каждый день добираться до работы, преодолевая расстояние в семь километров пешком и на лодке через реку Оку, а в половодье приходилось перебираться на другой берег через железнодорожный мост, делая крюк еще в четыре километра. Но баба Нюра любила свою профессию. За свой многолетний добросовестный труд мою героиню неоднократно награждали грамотами, ценными подарками, значком «Отличник социалистического соревнования» и медалью «Ветеран труда».

В Алексине у Анны Степановны родились еще две дочери: Нина в 1947 году и Таня в 1953 году. Декретный отпуск по уходу за ребенком тогда не был продолжительным, да и денег не хватало, поэтому молодая мать, пробыв с Ниной дома три недели, а с младшей всего 11 дней и оформив их в детские ясли, выходила на работу. Жили бедно, но дружно. Перенявшая в детстве от мамы навыки вязания, шитья, Анна Степановна экономила на всем: перешивала старые платья дочкам, из изношенных пододеяльников шила наволочки, распуская мешки, вязала чулки и носки.

Муж работал на заводе, был на хорошем счету. Отношения между супругами наладились. Дети, подрастая, пошли в школу, радуя родителей своим добросовестным отношением к учебе. Семья получила участок земли, на котором любили работать все.

Спрашиваю мою героиню: «А отдыхали ли? Где и когда?» Это вызывает удивление бабы Нюры.

«Отдыхали? Что ты, милый, отдыхать-то некогда было».

Вот так в повседневном труде шла жизнь. Даже когда супруги вышли на пенсию, то продолжали трудиться, так как заработанная честным трудом пенсия составляла 79 рублей у Арсентия Афанасьевича и 89 рублей у Анны Степановны. Дети выросли, обзавелись семьями, разъехались. Появились внуки, и баба Нюра стала помогать их воспитывать.

В 1981 году с Арсентием Афанасьевичем случилась беда: его парализовало, и он в течение пяти лет был прикован к постели. Все эти годы супруга неустанно заботилась о нем, каждый день по заведенному порядку обмывала тело мужа спе-

циально приготовленными отварами трав, брила, четыре раза в день кормила с ложечки. И, несмотря на такую заботу, 13 февраля 1987 года муж умер. Осталась баба Нюра одна.

«Очень трудно было первое время. Жалко Арсена! Скучно. Особенно тоскливо было вечером и ночью. Время коротала в саду. Часто ходила на кладбище посидеть у могилки, рассказать мужу новости, посоветоваться с ним о житье», — с тоской в голосе говорит баба Нюра. Справиться с болью помогали дети, внуки и вера в Бога.

Всю свою жизнь моя героиня бережно хранила в душе эту веру. Муж был неверующим, партийным человеком, и супруга старалась его не подводить. В церковь не ходила, больших икон в доме не держала, а вот маленькую карманную иконку всегда имела при себе. После смерти супруга Анна Степановна стала посещать церковь регулярно, получая от пребывания в храме душевный покой и умиротворение.

Прошлым летом, выйдя на балкон, баба Нюра почувствовала себя плохо. «Будто кто ударил по голове так сильно, что камни золотые из глаз посыпались», — вспоминает старушка. Она упала и потеряла сознание. Очнувшись на рассвете, попыталась подняться, но почувствовала острую боль в теле. Попробовала ползти, но не сумела преодолеть балконный порог. Тогда пожилая женщина стала кричать и звать на помощь. Прибежала соседка и вызвала скорую помощь. Рентгеновские снимки показали переломы костей таза. В госпитализации было отказано по причине преклонного возраста. Так в нашем современном обществе проявляется забота государства о человеке. И вот уже более года жизненное пространство бабы Нюры ограничено стенами квартиры. Она не может ходить. Но недуг не сломил волю этой сильной женщины. Она не желает быть обузой своим детям и, пока «есть силы», сама каждое утро встает, одевается, заправляет постель, пытается с помощью стульев передвигаться по комнате. Ежедневно баба Нюра смотрит телевизор и вполне здраво делает анализ происходящих в мире событий. Чтобы скоротать время, она в свои 86 лет вяжет, приговаривая: «Слава Богу, еще зрение сохранилось и гибкость пальцев».

Повествуя о своей жизни, моя героиня критически относилась к себе, часто повторяла: «Совсем бабка плохая стала. Забыла многое. Не обессудь, сынок!»

В наступившем XXI веке со страниц газет, по радио и телевидению часто говорят о трудных годах. Я же, вслушиваясь в рассказ бабы Нюры, думал, а были ли у нас в XX веке времена благополучия и спокойствия, изобилия и сытости? Что же мы сейчас так плачемся и сетуем на трудности?

Возможно, эта история жизни показалась кому-то слишком обыденной, лишенной необычных героических или, наоборот, трагических моментов. Позвольте не согласиться. В ней (истории, рассказанной мне Анной Степановной Нефедовой), по моему убеждению, воссоздана правдивая картина повседневной жизни миллионов людей, родившихся и живших в минувшем столетии.

Лишен права выбора

**Ирина Мамонтова, Воронежская область,
Семилукский район, п. Стрелица
10-й класс, научные руководители Л. А. Кувакина
и Л. В. Мамонтова**

Я хочу рассказать о непростой судьбе Василия Петровича Огрызкова. Этого человека я знаю с самого раннего моего детства. Моя мама приехала в наш поселок Стрелица по распределению и поселилась у приветливых и гостеприимных людей — Василия Петровича и Татьяны Кузьминичны Огрызковых. Позже мама вышла замуж, родилась я. И мы стали жить в своем доме. А добрые и почти родственные отношения сохранились между нашими семьями.

Василий Петрович тоже часто навещал нас, приносил фрукты из своего сада, готовил для меня сок из яблок. Приносил Василий Петрович мне и книги из своей домашней библиотеки, особенно много оказалось у него энциклопедий. Мы обсуждали прочитанные книги, а чаще просто беседовали на самые разные темы. А вот о своей военной и послевоенной юности Василий Петрович рассказывать не любил. Признаюсь, и меня тогда это не особенно интересовало. Со слов мамы я знала, что в годы Великой Отечественной войны он был угнан в Германию, там работал на «хозяина».

Сейчас Василию Петровичу 85 лет. Более полувека рука об руку идет с ним по жизни жена — Татьяна Кузьминична. Они вырастили двоих сыновей. Единственное, что омрачает его жизнь в настоящее время, — это слепота (левым глазом он почти не видит с 1944 года, а несколько лет назад перестал видеть и правый глаз). Однако Василий Петрович не утратил интереса к жизни, сохранил твердую память.

Мне захотелось побольше узнать о судьбах людей, прошедших через фашистский плен в годы Великой Отечественной войны, а затем через не менее страшные испытания, которые уготовила им собственная страна. А потому я решила расспросить Василия Петровича о его жизни и годах, проведенных в плену в Германии.

Василий Петрович Огрызков родился в 1919 году в селе с красивым и многообещающим названием Благодатное. Оно и сейчас находится в Кореневском районе Курской области. Родители Василия Петровича — Петр Евдокимович и Татьяна Павловна — потомственные крестьяне. Когда мальчику исполнилось пять лет, умерла его мать. И вот тут-то в жизни ребенка начинаются перемены. Вскоре отец приводит в дом новую жену, а детям — мачеху. По-другому прожить было нельзя: нужны были женские руки, чтобы растить троих малышей (младшая была еще младенцем). Мой собеседник вспоминает, что у мачехи был трудный характер. Она могла, например, швырнуть в него все, что подворачивалось под руку, бывало, даже тяжелый чугунок. «Да и я не был подарком, — продолжает

Василий Петрович, — часто не слушался, оговаривался. В четвертом классе даже бросил школу. Отец в это время редко бывал дома: он часто уезжал на заработки, чтобы прокормить семью».

Семья Огрызковых росла (родились сводные брат и сестра), у подростка сложились непростые отношения с мачехой и были проблемы с учебой. И наверное, поэтому отец принимает решение отправить сына в Москву к своему брату. Его ждут большие изменения в жизни. Из небольшого села в глубинке России он попадает не просто в крупный город, а в столицу. Приютил мальчика дядя — Афанасий Евдокимович. Василия определили снова в четвертый класс теперь уже московской школы № 20, хотя к тому времени ему исполнилось уже 15 лет.

О московском периоде жизни у Василия Петровича сохранились лучшие воспоминания: «Дядя работал инженером на стройке, а я учился. Старался помогать по хозяйству: то картошку почищу, то в комнате уберу. Был старательным и послушным». Живя на иждивении Афанасия Евдокимовича, он успешно заканчивает четвертый и пятый классы школы. И опять в жизни теперь уже 17-летнего Василия происходят перемены. Женился дядя и вынужден был отправить племянника в родное село, так как небольшая комнатка коммунальной квартиры для троих оказалась тесной. Жалко юношу. Вроде и наладилась жизнь, и, вероятно, уже строились какие-то планы на будущее, связанные с Москвой, а надо было вновь возвращаться в деревню.

Два следующих года Василий Петрович живет в Благодатном и в 1938 году заканчивает семилетнюю школу.

В этом же 1938 году отец решает отправить Василия ко второму своему брату — Андрею Евдокимовичу, который жил в городе Енакиево Донецкой области. Сам Василий Петрович так комментирует это решение: «Во-первых, отец мечтал, чтобы я получил хорошее образование и овладел высокооплачиваемой профессией, во-вторых, дядя был хорошо обеспечен материально, так как уже в первые годы советской власти воевал в партизанском отряде, а затем работал начальником милиции в городе Енакиево. К тому же у него не было детей, и мне, как считал отец, будет уделено должное внимание».

Так Василий Огрызков оказался вновь далеко от родного дома. Не пришлось юноше и выбирать, куда пойти учиться: в Енакиево располагался единственный техникум — металлургический, куда и поступил он в 1938 году

Известие о начале Великой Отечественной войны Василий Петрович получил в Мариуполе. После окончания третьего курса Металлургического техникума проходил преддипломную практику на заводе «Азовсталь» и работал «подручным сталевара».

Я спросила, почему его не призвали на фронт, ведь к началу войны он уже и был совершеннолетним. Мой собеседник ответил, что ему, как и всем учащимся техникума, была дана отсрочка от призыва в армию, потому что они получали важ-

ную для обороны специальность. «Однако, — не сразу говорит собеседник, — в какой-то момент, возможно бы, и сочли, что я нужнее на фронте, но у меня было небольшое увечье: по неосторожности еще в деревне я отрубил часть указательного пальца правой руки, и он не сгибался. Медицинская комиссия сделала вывод: годен к нестроевой службе. На фронт меня не брали».

Итак, в июле 1941 года Василий Петрович оказался на заводе «Азовсталь». «Завод начали готовить к эвакуации. Рабочие, в том числе и я, готовили оборудование к отправке. Потом военкомат отобрал молодежь, и мы недели две копали окопы под Павлоградом».

Далее в рассказе моего собеседника появляется какая-то недосказанность. Он говорит, что «немцы отрезали Донбасс и надо было уходить куда-то, чтобы не оказаться в руках фашистов. Я решил пробираться к дяде в Енакиево, и по дороге меня поймали фашисты». Он сказал, что это было осенью, и я подумала, что это была осень 1941 года. Но позже я обнаружила в его архиве автобиографию, в которой прочитала: «По возвращении в Енакиево после практики был отправлен с группой студентов на рытье окопов в районе Павлограда. Когда фронт приблизился, я вернулся в Донбасс, работал в колхозе. В Донбассе я попал в окружение. Во время оккупации я нигде не работал. Весной 1942 года был схвачен полицией и отправлен в Германию». Получалось, что Василий Петрович из Павлограда все же попал в Енакиево, жил некоторое время на оккупированной территории, а только потом был угнан в Германию. Наверное, поэтому мой собеседник неохотно рассказывает о деталях. Я могу его понять. Долгие годы ему приходилось скрывать сам факт нахождения в фашистском лагере на территории Германии, да и нежелательно было говорить, что находился на оккупированной территории. Другой документ из его личного архива — справка, которая была ему выдана в 1995 году Федеральной службой контрразведки РФ. В ней читаю: «… он действительно *в ноябре* 1942 года был угнан в Германию, где находился до мая 1945 года, работал на черновых работах». И опять противоречие. Значит, он был угнан в Германию в ноябре 1942 года? Видимо, разобраться в этом можно, лишь выяснив то, какая же обстановка сложилась в Донбассе с лета 1941 года по осень 1942 года. Василий Петрович об этом времени говорит: «Не все населенные пункты были оккупированы и царила неразбериха». Вот здесь мне понадобились консультации учебника и справочников по истории.

Сначала я обратилась к карте Украины. Нашла город Енакиево, город Павлоград и не могу найти город Мариуполь. Оказалось, что в 1948 году он был переименован в Жданов. В учебнике, по которому я изучала Великую Отечественную войну[1], информации о времени захвата фашистами Донбасса нет. Есть только упоминание «захвачена часть Украины» и говорится о продвижении «немецких войск к Донбассу в конце сентября 1941 года». Но на карте учебника показана линия фронта, на которой были остановлены немецко-фашистские войска к декабрю 1941 года. Изучаю карту: из ближайших к Енакиеву крупных городов здесь указаны только Харьков и Ростов-на-Дону. Согласно карте, линия фронта делила в декабре 1941 года Донецкую область на две части: Енакиево было на нашей стороне, Павлоград — на оккупированной территории. Таким образом,

глубокой осенью 1941 года Василий Петрович действительно оказался на оккупированной территории в районе Павлограда и пробирался в Енакиево, где фашистов еще не было.

О времени захвата немцами восточного Донбасса, на территории которого находился город Енакиево, учебник истории России XX века сообщает точную дату — конец июля 1942 года. Поэтому, я думаю, что, попав в оккупацию в 1942 году, он действительно, как писал в автобиографии, «нигде не работал», и уже в ноябре 1942 года (а не весной, как указано в автобиографии) он вместе со многими другими людьми, метавшимися в поисках выхода из создавшейся ситуации, был угнан в Германию. Именно эта дата — ноябрь 1942 года указывается в справке Федеральной службы контрразведки РФ.

ЛИШЕН И РОДИНЫ, И СВОБОДЫ

В ноябре 1942 года Василий Петрович оказался в руках фашистов.

Он рассказывает: «Нас поместили сначала в небольшом вагончике, потом перевезли в какое-то здание, которое напоминало цирк». Где находилось оно, Василий Петрович точно не знает: где-то между городом Енакиево и станцией Дебальцево. «Схваченных было человек 400–600». Вспоминая об этом драматичном событии, он говорит, что особенно было обидно то, что охраняли их «наши» полицейские, то есть те, кто добровольно пошел на службу к фашистам. Были пленники в этом здании недолго. Вскоре их погрузили в вагоны и отправили в Германию. Василий Петрович, как и многие другие, был лишен и Родины, и свободы. «Мы были нужны там в качестве *„дешевой рабочей силы“*». Василий Петрович вспоминает, как их везли: «Отношение к нам было, как к скоту. Набили нас в грузовые вагоны. Покормили только на вторые или третьи сутки, когда подъехали к Польше, а до этого держали голодными».

Позже он расскажет о том, что «поляки бросали в пленных бутылки, обливали водой, плевали». «Я не понимал тогда причин их неприязни, — говорит собеседник. — Может быть, они думали, что мы добровольно едем в Германию. Не совсем понимаю причин их ненависти и теперь». Мне это тоже непонятно, поэтому обращаюсь с вопросами к учителю истории. Любовь Александровна дает мне книгу «Катынь. Как это было»[2], и становится ясно, что у поляков были причины относиться к советским людям в 1941–1942 годах без явной симпатии. Василий Петрович был скуп на слова, рассказывая о том, как их поймали и везли в Германию. Вероятно, ему было очень тяжело это вспоминать. Однако я попыталась прояснить некоторые детали: какие именно были вагоны, сколько человек находилось в каждом из них, чем кормили, во что были одеты. Собеседник коротко ответил, что «вагоны были грузовые, в полу была прорублена дыра. Набито было в вагон столько, сколько вмещалось. Однако пленные были дотошно подсчитаны немцами: в вагон кидали столько кусков хлеба, сколько было людей. Одеты все были в свою одежду».

— Была ли возможность убежать? — спросила я, и мой вопрос, вероятно, показался Василию Петровичу наивным.

— Если была бы, мы бы убежали. Но вагоны охранялись. Припоминаю, что советские войска бомбили поезд, и из тех вагонов, куда попадали бомбы, выжившие убегали. В наш вагон не попала ни одна бомба, — закончил мой собеседник и погрузился в глубокие раздумья.

Может быть, моя дотошность напомнила ему те допросы, которых выпало немало на его долю и в годы войны, и после нее. Я сочла нужным больше не расспрашивать Василия Петровича об этом эпизоде его жизни. Я представила себе, каково бы мне было в этом вагоне, набитом битком, в котором трудно было дышать, несколько суток не кормили и люди были подавлены? Я представила, как страшила *дорога в неизвестность* юношей и девушек. В пособии для старшеклассников по истории Пятецкого читаю: «…растущие потребности рейха в рабочей силе привели к массовой принудительной отправке трудоспособного населения в Германию (более 4,2 миллиона человек в 1942–1944 годах, согласно немецкой статистике)»[3]. Одним из обреченных на рабский труд был и Василий Петрович.

«ДЕШЕВАЯ РАБОЧАЯ СИЛА»

В Германии Василий Петрович попал в город Плетенберг, расположенный в Вестфалии. В этом городе и рядом с ним находилось множество концлагерей для разных категорий пленных. В том лагере, куда первоначально определили его, на спине у каждого, в том числе у Василия Петровича, были две буквы: Kg. Что обозначают эти буквы, он не знал, позже выяснилось — «KrIegsgefangene» (военнопленный).

Вероятно, он попал в этот лагерь потому, что было ему уже 23 года и немцы предполагали, что он мог воевать против них. Вскоре выяснилось, что на фронте Василий Петрович не был, и его перевели в другое место, находившееся неподалеку от Плетенберга. Это был лагерь для тех, кто не участвовал в боевых действиях. В личном архиве Василия Петровича есть интересный документ: на ксерокопии справки о том, что он был в Германии, его собственной рукой написано: Вестфалия, Pletenberg, Lager «Rasche» № 17, узник № 73.

«Чтобы не навредить себе, я указывал только свой курский адрес, умалчивая, что учился в техникуме и был комсомольцем», — говорит собеседник.

Сначала Василий Петрович мало рассказал о своей лагерной жизни в Германии. Но я все расспрашивала и расспрашивала. Мой собеседник вспоминал все новые подробности, из памяти всплывали различные детали. И вот какими получились воспоминания о лагере: «Территория лагеря была окружена колючей проволокой и охранялась. На выходе — будка (Wachstube), а в ней вооруженный охранник с собаками». Интересно, что в своих воспоминаниях о плене в Германии Василий Петрович часто использует немецкие слова. Я изучаю немецкий язык, однако не всегда успевала записывать выражения и фразы, а магнитофон несколько раз меня подводил, потому привожу только малую их часть.

«На территории лагеря, — продолжает собеседник, — находились бараки: мужские, женские и детские». Услышав слово «детские», я удивилась. Василий Петрович поясняет, что «маленькие дети жили с мамами, а 7–14-летние — в отдельных бараках, и их тоже водили на работу. «В нашем бараке проживало человек 70–80, а во всем лагере находилось около 800 пленных. Узники были одеты в полосатые куртки, на куртках — нагрудный знак „ost“ (восточный), так как в нашем бараке проживали выходцы из Советского Союза. По соседству находились и другие лагеря: французский, итальянский, польский. Французы и итальянцы работали с нами на фабрике. Я подружился с одним итальянцем и немного выучился его языку. А вот поляки находились не совсем в лагерях. Они могли свободно перемещаться. Общение наше с французами, итальянцами и особенно поляками запрещалось».

— Почему особенно с поляками?

— Видимо, немцы опасались, что русские и поляки в силу близости языков могли понять друг друга. А русский и француз вряд ли могут объяснить что-то друг другу на своих языках.

— А с женщинами из соседних бараков разрешали общаться? — поинтересовалась его жена Татьяна Кузьминична.

— Разрешали, но не позже указанного времени. А до того ли нам было? С голода пухли.

«В нашем бараке, — продолжает Василий Петрович, — были ребята, угнанные преимущественно с Украины: из Полтавы, Киева, Житомира, Донецка, Мариуполя. Один оказался уроженцем Мурома (он приехал в Украину к бабушке, и там его поймали немцы). Жил в нашем бараке один латыш и один литовец. И из Енакиево попал сюда один пленный по фамилии Авдеев. Я его побаивался, потому что он хорошо знал моего дядю и мог выдать, что я учился в техникуме и был комсомольцем. Мои опасения были не случайны: он был негласным помощником коменданта лагеря. И находился он на легкой работе: помогал поварихе на кухне. Ходил как генерал. Первое время Авдеев вел себя по отношению к нам откровенно нагло: мог оскорбить, ударить дубинкой. За такое поведение ребята избивали его несколько раз, а в последний — посадили в мешок и хотели сбросить в речку, но им помешали немцы. С тех пор Авдеев стал себя вести более осмотрительно и осторожно».

Далее Василий Петрович комментирует рассказанное: «Я в этом участия не принимал, считал, что его поведение пусть остается на его совести». Были ли наказаны узники за самосуд, Василий Петрович не помнит.

— Много было таких людей, как Авдеев?

— Мало, в нашем бараке всего один.

— А каковы же были бытовые условия жизни?

Василий Петрович рассказывает: «Бараки были щитовые, деревянные. Пол в них цементный. Рядами стояли двухъярусные кровати. На них матрацы, набитые какой-то трухой, которая постоянно сыпалась, ватные подушки и тонкие суконные одеяла серого цвета. Помещение отапливали печкой-буржуйкой. Она была такой круглой, с трубой. Дрова и уголь давали немцы, только в ограниченном количестве. Чтобы запасти дрова, нас посылали на лесоповал (леса в изобилии росли в этом местечке).

Несмотря на то что кормили нас 2–3 раза в день, были мы постоянно голодными. Утром выдавали кипяток и 300–400 граммов хлеба очень плохого качества. Им можно было окна обмазывать. Хлеб давали на весь день, и каждый прятал его как мог, преимущественно в карманы. Если оставишь хлеб в бараке, обязательно сворują. В обед кормили баландой из брюквы, добавляли какую-то крупу, иногда картошку, а чаще — кашей. Вечером могли дать еду, а могли оставить нас голодными. На печке-буржуйке мы сами вечером кипятили воду в железных кружках и пили ее вместо чая. Иногда заваривали настоящий чай. Рядом находился барак для подростков. Им немцы давали чайную заварку, и, бывало, ребята угощали нас».

Василий Петрович вспоминает случай, как «один раз их накормили мясом. Когда пленных вели на обед в лагерь, они „учуяли“ запах готовящегося мяса. Одни ребята шутили: „Наверное, какая-то живность сдохла“. Другие говорили: „Не может быть, чтобы нас мясом накормили“. Оказалось, действительно, на обед была каша с мясом: где-то поблизости пала лошадь». Рассказав об этом эпизоде, мой собеседник припомнил еще, что «в начале их пребывания в лагере давали даже масло. Но оно было плохого качества, и узники посмеивались, что оно предназначено для смазки колес». Позже и такое масло исчезло из рациона пленных.

Закончив рассказ о быте лагеря, Василий Петрович подводит своеобразный итог: «Было голодно, мучила тоска по родине, но все же выжить можно было, ведь в лагерях для военнопленных условия были суровее. Однако подрывала здоровье, а иногда и служила причиной смерти (и умирало немало) тяжелая изнуряющая физическая работа, притом что мы постоянно недоедали».

Пытаюсь представить себе, что такое «баланда» и, слава Богу, не могу. И как можно было есть эту баланду, если она часто готовилась из испорченных продуктов. А хлеб, который походил на тесто? Каждый раз, когда я расспрашивала его о питании в различных лагерях и в послевоенной жизни, он прежде всего говорил о хлебе… И потому на фабрике, на которой работали в Германии, не задумываясь о каком-то человеческом достоинстве, часто заглядывали немцам буквально в рот, когда те ели.

Рассказ о том, как относились к голодным пленным немцы, впереди. А пока о работе и той самой фабрике, о которой я только что упомянула.

«На работу нас водили под конвоем. Выходить из строя строго запрещалось, кто ослушается — резиновая дубинка. Работали на небольшом частном заводике

(вот откуда выражение „работал на хозяина“). В речи немцев постоянно звучало слово „Fabrik“, и поэтому мы его тоже называли фабрикой. На станках работали немцы, они изготавливали для известной фирмы „Фольксваген“ мелкие детали: гайки, болты, петли для вагонов, пробки для бочек с горючим и так далее. Самую черную и тяжелую работу выполняли мы. Готовую продукцию мы возили на тачках и грузили в вагоны. Тачки были тяжело нагружены железными деталями, а их надо было катить вверх по наклонной железной плоскости и содержимое вываливать налево или направо в рядом стоящий вагон. Были случаи, что я с усилием разгонялся, а затем тележка летела в одну сторону, а я — в другую. Немцы ругались и заставляли подбирать специальными вилами горячие металлические детали. Следом шел другой рабочий с тачкой и так далее. Немцы подгоняли нас криками: „Schnell! Schnell!“ Так продолжалось 12 часов. Самое трудное было — грузить фаркопы. Это детали, необходимые для сцепления железнодорожных вагонов. Они весили килограммов двадцать и были горячими. Рукавицы давали, но они истирались за один день».

«Такая тяжелая физическая работа, — сетует Татьяна Кузьминична, — позже отразилась на здоровье Василия Петровича. Было сделано шесть операций грыжи. В результате недоедания и непосильной работы уже после войны открылся туберкулез легких».

Был и выходной — Sonntag (воскресенье), потому что немцы и сами отдыхали, фабрика была закрыта.

— Как проводили свободное время?

— Сидели в бараке, а чаще работали.

Оказалось, что в воскресенье приходили владельцы мелких фабрик или просто местные жители и приглашали пленных поработать у них. Узники охотно откликались, так как это была возможность подкормиться. Лагерное начальство не препятствовало этому. Единственным условием было то, чтобы работников вовремя приводили.

Василий Петрович вспоминает, что, «откликнувшись на просьбу мелкого фабриканта поработать у него, он даже подружился с этим немцем». К слову сказать, его фабрика представляла собой небольшой сарай, в котором стояло несколько станков. На них работал сам хозяин, а в воскресенье для черновой работы привлекал пленных русских. У этого немца был интерес именно к советским, по предположению Василия Петровича, потому, что на фронте находились его братья, и, возможно, он хотел узнать о реальном положении дел. Василий Петрович к тому времени уже неплохо освоил немецкий язык и мог беседовать с ним. «Мы обсуждали существующий строй в Германии, — делится он воспоминаниями. — Я говорил о том, что немцы проиграют войну. Фабрикант соглашался. Позже признался мне, что он коммунист, и даже показал документ. У него были тома произведений Ленина на немецком языке». Когда я услышала это откровение, засомневалась. Хранить во время войны с СССР произведения В. И. Ленина? Но

оснований не доверять рассказу собеседника у меня нет. «Мой немецкий друг, — продолжает Василий Петрович, — кормил меня в течение дня и с собой давал кусок хлеба граммов четыреста. Это был совершенно другой хлеб, чем в лагере: им можно было наесться. Хлеб проносился тайно: я его делил на части и рассовывал по карманам. Не желая выдавать хозяина, я говорил ему, что, если найдут, скажу, что украл. Он не соглашался: „Тебя бить будут. Лучше скажи, что я дал“. Был я у него всего несколько раз. Потом он приходил еще, но меня не отпускали». Вероятно, вызывало подозрение то, что фабрикант забирал одного и того же пленного. «В начале нашего с ним знакомства, — говорит Василий Петрович, — я его побаивался, думал, что какая-то провокация (немец-коммунист рассказывает о своих убеждениях, в той обстановке это казалось мне невероятным). Потом я взвесил все и понял, что его отношение ко мне было искренним». Василий Петрович вспомнил имя этого человека — Отто. Фамилию вспоминал долго. Потом сказал Лемке, хотя не совсем уверенно, и пояснил, что может ошибаться. Раздумывая, он рассказал о том, что жил этот человек метрах в двухстах от лагеря в небольшом домике. Был он тогда достаточно молод. Женат.

Слова Василия Петровича заставили меня задуматься о взаимоотношениях немцев и русских во время войны. Немцы воевали против нас, но и среди них были те, кто в военных условиях сохранил в себе человеческое. Захотелось поподробнее расспросить об отношениях немцев к пленным.

«Отношение было разное: большинство немцев относилось к нам натянуто. Некоторые злились, приходили в ярость, когда мы шли с ними на контакт. На фабрике я иногда проходил мимо немца, читающего газету, чтобы прочитать хотя бы заголовки, а возможно, и обратить на себя внимание и получить газету. Одни кричали: „Weg!“ (Прочь отсюда!). „Du mubt arbeiten!“ (Ты должен работать!). Другие втайне от начальства давали газету. Вспоминаю один случай, как я чуть не поплатился за свое пристрастие к чтению в первый год плена. Удалось мне раздобыть „Allgemeinezeitung“ — то ли подобрал, то ли кто из немцев дал почитать. Сижу за сараем фабрики и читаю. Вдруг один из немцев схватил меня и как закричит: „Что это у тебя в руках?“ Он решил, что это листовка и я их распространяю. Но, услышав, что я умею читать по-немецки и увидев в моих руках немецкую газету, посмеялся и отпустил меня.

Особенно мне запомнился старичок — рабочий на фабрике. Ему было лет 50–55, но тогда он казался мне старичком. Он был небольшого роста, в очках. Как зовут его, я уже не помню, тогда я называл его „Onkel“ (дядя). Он не только давал газету, но иногда и подкармливал меня. Пройдет мимо и скажет: „Liegen zwei Kartofeln“. Объяснит, в каком укромном месте лежит угощение. Я потихоньку шел и забирал съестное. Он подкармливал меня тайно, потому что на фабрике был приказ не общаться с пленными и не давать им еду, да и далеко не каждый день он мог меня чем-нибудь угостить.

За любую провинность полицейский наказывал дубинкой. Его вызывало фабричное начальство. За более серьезные проступки полагался штрафлагерь, где режим был гораздо строже».

— Что же это за провинности? — поинтересовалась я.

— Например, были случаи, что отказывались работать. Бывало, и срезали ремни на станках. Они были шириной в две ладони. Кожу ремней кто подшивал к обуви, а кто и продавал немцам за хлеб. Я этим не занимался, — закончил рассказчик.

Я думаю, Василий Петрович старался проявлять благоразумие и осторожность, те качества, без которых, вероятно, трудно было выжить.

— Значит, — спросила я Василия Петровича, — самое страшное для вас в плену были голод и непосильная физическая работа?

— Несомненно, — сказал он и задумался. — Мучили нас еще вши и блохи. У меня, как и у всех, тело было иссечено. Мы пытались их травить керосином, но ничего не получалось. Вскоре и немцы стали беспокоиться по этому поводу: мы же с ними работали на фабрике совсем рядом. Они стали загонять нас в какие-то камеры и дезинфицировать нашу одежду прямо на нас.

— А кто вам стирал одежду?

— Сами. Нам выдавали по куску мыла примерно раз в месяц, но оно очень быстро кончалось и по полотенцу, которое напоминало какую-то портянку.

Василий Петрович рассказывает, что в начале 1943 года пленные стали замечать, что отношение к ним немцев постепенно меняется. «Может, они чувствовали, что крах фашизма неминуем, и уже не были так жестоки, как раньше», — подумала я. «Мы догадывались, — продолжает собеседник, — что произошли изменения на фронте. К тому же я почитывал газету „Allgemeinezeitung“ и один раз наткнулся на заметку, в которой мне бросились в глаза слова „Волга“ и „Сталинград“. Я проштудировал ее от начала до конца. В газете было сказано примерно следующее: „Немецкая армия под Сталинградом оказалась в затруднительном положении. Но она справится с трудностями и опрокинет русских в Волгу“. Василий Петрович вспоминает, что он ликовал в душе, догадываясь, что советские войска одержали победу под Сталинградом. Слушая повествование, я понимала, что в немецкой газете не писалось о действительном положении дел на фронте. Вероятно, имелось в виду успешное контрнаступление советских войск под Сталинградом в феврале 1943 года. Наверное, временными трудностями немцы называли то, что город был освобожден от фашистов и армия Паулюса взята в плен.

«Несмотря на то что отношение немцев к нам стало лучше, выходить за пределы лагеря как раньше, так и теперь не разрешалось. За побег полагался штрафлагерь, режим в котором был строже». Но побеги все равно совершались, пленные часто бежали не потому, что мечтали попасть на Родину, а просто чтобы попросить поесть у местных жителей. «Совершил побег и я, — делится со мной Василий Петрович. — Произошло это глубокой осенью 1944 года. Нас было трое:

я и двое моих товарищей, нары которых находились в бараке рядом с моими. Одного звали Виктор Овчаренко, — сказал собеседник и задумался. Имя другого он вспомнить не смог и продолжал. — Мы не думали бежать на Родину, понимали, что это невозможно. Однако голод заставил нас совершить этот поступок. Сначала мы укрылись в сопках, которые находились недалеко от лагеря. Ближе к вечеру выбирались туда, где располагались немецкие деревеньки. Выбирали домики поскромнее, надеясь, что небогатые немцы окажутся более милосердными. Одни кормили нас и сочувствовали нашей доле, другие боялись нас, однако подавали еду в окно. Получив съестное, мы опять укрывались в сопках. Так продолжалось дней 5–6. Но однажды мы нарвались на немца, который не только не дал нам поесть, но и спустил на нас собак и вызвал полицейских. Мы были жестоко избиты. Поместили нас сначала в другой лагерь, а потом вернули на прежнее место».

В автобиографии, написанной Василием Петровичем в 1962 году при вступлении в партию, я прочитала следующие строки: «Находясь в плену, я совершил *несколько побегов* из лагерей, но все *они не приводили к цели*, а лишь менялось место и усугублялся режим». Что это? Противоречие с рассказом Василия Петровича? Мне объяснили, что в официальных документах советских лет нужно было писать официальным языком. Если речь шла о побеге, то указывать мотивы побега. Не мог же Василий Петрович написать, что узники бежали, чтобы подкормиться. Это бы прозвучало в советское время непатриотично. А потому в автобиографии он пишет «не побег, а побеги» и то, что они не достигали цели, то есть узник не вырвался из вражеского плена и не оказался на Родине. Потому я больше верю доверительному рассказу Василия Петровича, из которого я поняла, что пленные бежали из немецких лагерей, конечно же, мечтая о воле, но чаще с прозаической целью: наесться хотя бы в течение нескольких дней.

«После побега меня и моих товарищей жестоко избили. Один из немцев так сильно ударил меня дубинкой в висок, что заплыл глаз, даже зрачка не было видно. На месте глаза было кровавое месиво. Кружилась голова, появилась слабость, но делать было нечего, я продолжал ходить на работу». На состояние Василия Петровича обратил внимание немец-мастер в цехе и доложил фабриканту. Тот пришел, посмотрел, выяснил, в чем дело, поинтересовался, кто по национальности пленный, поворчал, что нечего бегать, но все же приказал отвезти узника к врачу. Василий Петрович вспоминает: «Ехали в обыкновенном пассажирском вагоне. Сопровождал меня все тот же немец-мастер. Это был человек лет сорока, небольшого роста, на груди у него был фашистский знак. Но он оказался добрым человеком: покормил меня в поезде. Пассажиры косились на меня, так как на куртке были буквы „ost“ и всем было понятно, что я узник. Лагерную куртку на мне оставили, а обули в ботинки, которые выдали. Обычно летом мы ходили в колодках, которые напоминали выструганную лодку, а зимой носили резиновые сапоги. Когда добрались к врачу, он спросил о цели визита к нему и предложил госпитализацию. Однако сопровождающий немец ответил, что оставить меня не может, поэтому цель нашего визита — ампутация глаза. Осмотрев меня, врач (а это был пожилой поляк с усиками и бородкой клиныш-

ком) не согласился и сказал, что молодой человек будет видеть этим глазом еще лет 10–15. Он обработал мне глаз, чем-то смазал, перебинтовал. Потом дал какую-то мазь только не мне, а сопровождающему. Я его поблагодарил: „Danke schon“».

Когда они вернулись в лагерь, узника на некоторое время освободили от работы, мастер отдал ему мазь и объяснил, как ею пользоваться, хотя Василий Петрович слышал это из уст врача. И действительно, опухоль постепенно сошла, глаз обрел свой прежний вид и стал хотя совсем чуть-чуть, но видеть. «После нескольких дней отдыха, — продолжает собеседник, — меня перевели на легкую работу: покрывать лаком мелкие детали. Но долго пробыть на этой „легкой“ работе я не смог, настолько едким был лак, и попросился в прежний кузнечно-прессовый цех, шум в котором оказался „милее“ запаха краски». Так я узнала еще об одном месте работы заключенных — покрасочном цехе. Оказалось, что здесь работали преимущественно дети. Василий Петровича вспоминает девочку лет 10–12, личико которой было перепачкано лаком.

Но, несмотря на те тяготы и лишения, которые Василию Петровичу пришлось пережить в Германии, он, к моему удивлению, о немцах говорит с уважением: «Немцы — выдающаяся нация. Ну были в истории Германии элементы насилия. Были они и в нашей стране. Немцы точны, пунктуальны. Если немец сказал, что сделает, значит, сделает. Меня удивили аккуратность и порядок в их деревеньках: кругом подметено, цветочки посажены на клумбах».

Такие слова мог сказать о своих бывших врагах только человек необыкновенной доброты, простивший своих обидчиков, которые фактически искалечили ему жизнь.

Василий Петрович говорит, что с благодарностью относится к тем немцам, которые приняли участие в его судьбе. Сейчас он жалеет о том, что не записал их имен. «Мне хочется написать этому человеку или его детям о том, что я благодарен ему за доброе отношение и помощь в такое трудное для меня время», — это он о немце-коммунисте (Отто Лемке?) который брал его для работы по воскресеньям домой и хорошо кормил. С теплотой он вспоминает старичка-немца, с которым свела его судьба на фабрике, и тех людей, которые фактически спасли ему глаз: врача, мастера и фабриканта.

В фашистском плену Василий Петрович пробыл два с половиной года (с ноября 1942-го по май 1945 года). Ему очень трудно было вспоминать об этом тяжелом для него времени. Плен и жизнь в лагерях не прошли бесследно для этого человека: изнурительная работа и постоянное недоедание отразились на его здоровье, вынужденная работа на фашистов компрометировала его в глазах советского государства и многих людей, с которыми сталкивала его судьба после войны. Однако некоторый положительный опыт был все же приобретен даже в таких страшных условиях: умение общаться с людьми, преодолевать трудности, не отчаиваться. Но главный итог этого жизненного отрезка: Василий Петрович Огрызков не испытывает угрызений совести за свои поступки, потому что он даже в фашистском заключении вел себя достойно.

В апреле 1945 года англо-американские войска стали бомбить немецкую территорию. «Лагеря разбежались» — так выразился Василий Петрович. То есть немцы бросили пленных на произвол судьбы, спасаясь сами. «Многие лагеря горели. Мы с ребятами из нашего барака ушли с территории лагеря. Было нас человек 8–10. Вместе с нами пошли две девочки из детского барака. Они плакали, и мы не могли их оставить. Бродили мы несколько дней. Нас увидели англичане. Сначала открыли стрельбу, но потом поняли, что мы пленные, и прекратили огонь. Нас вывели, опросили на месте, кстати, по-русски. Быстро появились и американцы, которые начали собирать узников из близлежащих лагерей на каком-то полигоне. А немного позже машинами вывезли в город Менден».

И вот Василий Петрович снова в лагере, на этот раз американском, который располагался в Мендене. Пробыл он там несколько месяцев: с середины мая по октябрь 1945 года. Василий Петрович вспоминает о своей жизни в американском лагере: «Поселили нас в бывших немецких казармах. Одели „с иголочки“: в новую защитного цвета форму. Распределили по батальонам. По-другому — строительным бригадам. А ребята шутили: „Бригады смертников“». Что подразумевали бывшие немецкие узники под словом „смертники“? Вероятно, то, что все были истощены, однако вырвались из лап смерти. Возможно, в этой шутке звучало и опасение за дальнейшую свою судьбу.

Василий Петрович рассказывает: «Кормили нас досыта. На завтрак могли дать целую банку мясных консервов. Ели мы там такой вкусный хлеб, какого я больше не пробовал и по сей день». Я не думаю, что американский хлеб чем-то особенно отличался от нашего сегодняшнего. Но, когда человек несколько лет подряд мечтает досыта наесться хорошим хлебом, этот хлеб, видимо, кажется необыкновенно вкусным.

«Американцы ежедневно предлагали различную работу, и можно было выбрать: пойти на разгрузку или погрузку, убирать территорию или работать на кухне. У меня был „пробивной“ товарищ Косьяненко Иван, с которым я работал некоторое время на кухне». Василий Петрович употребляет слово «пробивной», чтобы пояснить, что работа на кухне тогда считалась настоящим счастьем, потому что не все бывшие изголодавшиеся пленники могли работать именно на кухне. Сохранилась фотография, на которой запечатлены Огрызков Василий и Косьяненко Иван в июне 1945 года в одежде кухонных рабочих в американском лагере Мендена.

Интересуюсь, чем занимались в свободное время. Собеседник отвечает, что маршировали, распевали довоенные и военные песни. Много разговаривали. Рассуждали о своей дальнейшей судьбе. Бывало, даже и дрались, когда пытались остановить тех, кто вел себя недостойно по отношению к местным жителям. Оценку поведения некоторых своих соотечественников дает Василий Петрович, много размышлявший о тех событиях: «Несмотря на то что в этом лагере

нас хорошо кормили, некоторые из наших совершали набеги на местных жителей, грабили и даже убивали. Американцы этого не пресекали или пресекали в мягкой форме».

Я не задавала вопрос, почему он не принимал участия в этих акциях, ведь был соблазн если не убивать, то награбить и привезти ценные вещи домой. Слушая повествование Василия Петровича о его жизни в немецком лагере, я понимала, что его поведение всегда отличалось глубокой порядочностью. И, живя в американском лагере, он не мог поджигать дома немцев, грабить, убивать мирных жителей. Похожая ситуация сложится позже в Магнитогорске, куда его сошлет уже Советское государство. Только на Урале будут грабить и убивать свои своих. И опять Василий Петрович откажется принимать в этом участие.

Выдержал Василий Петрович и еще одно испытание. Он рассказывает, что американцы беседовали с каждым из бывших немецких узников и вербовали уехать в США. Вызывали для бесед и Василия Петровича, по его выражению, по меньшей мере раз десять.

«Мне говорили: „Хочешь поехать в Америку? Мы дадим тебе высокооплачиваемую работу. А на родине вас все равно будут считать предателями. Там у вас не будет хорошей работы, вам не дадут возможности учиться“».

Беседовал с ним и один, как выразился Василий Петрович, высокопоставленный офицер: «Настоящий американец. Сидел, знаете, так: ноги на стуле, с сигарой». Но Василий Петрович твердо решил вернуться на родину, работать, учиться, стать опорой для родных. Об этом он постоянно твердил американцам. Кстати, были и те, кто выбрал жизнь в Америке. И среди знакомых Василия Петровича, живших с ним в немецком лагере, таких оказалось человек десять. А вообще в этом лагере находились пленные из различных немецких лагерей. Поэтому сколько бывших немецких узников оказалось на Западе, вряд ли стало известно советскому командованию, как говорит Василий Петрович. Полковнику, который приехал за своими соотечественниками, были представлены списки тех, кто решил вернуться на родину. Завербованные куда-то исчезли до приезда советских представителей.

Соблазн уехать на Запад был, наверное, у многих. И большинство предполагало, что на родине их ждет нелегкая судьба. Однако Василий Петрович не мог так поступить. Его выбор вызывает уважение, хотя я не осуждаю и тех, кто уехал. Каждому хотелось выжить, а затем жить достойно.

«ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ РОГАТКИ, А ДО СВОБОДЫ ДАЛЕКО»

И вот пленных везут на Родину. Впереди фильтрационные лагеря… и неизвестность. «После города Мендена я оказался в городе Росток Восточной Пруссии (ныне Калининградская область)», — вспоминает Василий Петрович. В его личном архиве есть справка, согласно которой «прошел проверку в спец-

лагере № 210 городе Росток в 1945 году». «Здесь мы „прошли через рогатки“, как тогда говорили, то есть через спецотдел, который вел допросы, чтобы решить дальнейшую судьбу узников. Но *до свободы было еще далеко*. Собрали нас в это место из разных лагерей, выясняли, нет ли среди нас предателей, тех, кто был на службе у немцев, и т.д. Пробыл я там недолго и вскоре оказался в городе Волковыск, что находится в Белоруссии. И опять продолжились вызовы и допросы».

Василий Петрович говорит, что допросов в его жизни было немало: и в немецких лагерях, и в американском, и в фильтрационных, и даже на Урале, куда его отправили жить после войны. Вспоминая об этом, мой собеседник добавляет: «Отзывов обо мне не было никаких: ни хороших, ни плохих». То есть те из его товарищей, кто находился с ним рядом, начиная от лагерей городе Плетенберга и заканчивая Магнитогорском, куда он был сослан, не рассказывали о Василии Петровиче ничего плохого и вместе с тем ничего примечательного. Я думаю, именно такое поведение дало возможность Василию Петровичу выжить в тех условиях. Он старался отстраниться от всего плохого: не воровал у своих, никого не предавал, не грабил местных жителей. Он надеялся выжить и вернуться на Родину, поэтому, будучи человеком рассудительным, понимал, что нужно приспосабливаться к непростым условиям жизни: не отказываться работать, не вредить немцам, идти на контакт с теми из них, кто благожелательно относится к пленным (в этом ему помогало знание немецкого языка), а иногда просто схитрить или промолчать. Таким образом Василий Петрович в своем поведении смог удержаться на золотой середине: не совершать ничего дурного и не проявлять опасного в той обстановке героизма. Он не забывал о том, что его главная цель — выжить и вернуться на родину.

Почему же Советское государство оказалось жестоким к нему и тысячам таких же безвинных? Ведь в родные места его не собирались отправлять, хотя «компрометирующих материалов на него обнаружено не было», как сказано в справке Федеральной службы контрразведки. Почему Василия Петровича лишили права на свободу передвижения, к какой категории репрессированных его отнесли? Рассуждения на эту тему впереди.

И вот снова поезд. Василия Петровича, как и многих других узников, везли на Урал, а не домой, как хотелось и мечталось. «Везли в обыкновенных пассажирских вагонах и без охраны. Некоторые по дороге бежали. Я не стал. Успокаивал себя мыслью, что и на Урале живут люди. Надеялся, что, когда все выяснят обо мне, жизнь наладится. Главное — я на Родине, молод, вся жизнь у меня еще впереди». В этой ситуации у Василия Петровича выбора практически не оставалось. Бежать, как делали некоторые, это значило перечеркнуть для себя будущее, возможность учиться, о чем мечтал он, ведь «человек без документов — не человек». И Василий Петрович выбирает покориться судьбе и надеется, что советская власть не окажется суровой к нему. Однако, как я думаю, все же ему повезло, потому что он ехал не в лагерь или тюрьму, а на Урал — жить и работать.

В ноябре 1945 года Василий Петрович оказался в городе Магнитогорск Челябинской области. Выпал снег, было холодно. Поселили бывших немецких узников в бараках. «Вместе со мной оказались ребята, с которыми я жил в одном бараке в немецком лагере. Это Косьяненко Иван, с которым мы дружили, и Сербиенко Василий (позже он уехал на родину в Донецк), были и другие», — рассказывает собеседник. А допросы продолжались. Василий Петрович заметил, что «и в Магнитогорске, как и в каждом из фильтрационных лагерей, обязательно находилась группа людей из одного и того же лагеря». Он это понял тогда, когда в очередной раз рассказал все о себе уже здесь, в Магнитогорске, но утаил при этом, что совершил побег. «И мне задали вопрос о побеге, причем намекнули на детали, о которых могли знать только те, кто был со мной в одном лагере, — говорит Василий Петрович. — Во время вызовов предлагали работу. И в зависимости от того, на каком заводе устраивали работать каждого из нас, распределили жить по разным общежитиям. Мы рассеялись по всему городу. Я согласился работать учеником токаря». Определили Василия Петровича на завод имени Лепсе, который был эвакуирован из Солнечногорска.

Как только появилась возможность, Василий Петрович написал письмо домой в Курскую область. Ответил ему сводный брат Володя. Он писал, что в 1945 году умер отец, а сестры разъехались из родной деревни. Дом отца во время войны сгорел. «Я поплакал над этим письмом, — вспоминает рассказчик, — но надо было жить дальше». Как дорогую реликвию хранит Василий Петрович фотографию своего отца, которого после немецкого плена он так и не смог застать в живых. Мечта встретиться с родными, обнять их рушилась. Это было, наверное, одно из самых горьких воспоминаний Василия Петровича из послевоенной жизни, а потому в нашей беседе наступила тягостная пауза. В голосе собеседника я почувствовала глубокую грусть и поспешила задать очередной вопрос:

— А как относились к бывшим узникам местные жители?

— Отношение местных жителей к нам было чаще всего враждебное. Нас подозревали в каких-то предательствах, хотя все мы были тщательно «отфильтрованы». Те, у кого были черные пятна в биографии, находились в других местах — за колючей проволокой.

Вот здесь с Василием Петровичем не согласились мои руководители: не каждому после войны так повезло. Сколько людей из немецких лагерей попали в советские концлагеря. И не все они сотрудничали с фашистами.

Василий Петрович рассказывает, что некоторые прошедшие немецкие лагеря на Родине ломались духовно, ожесточались и становились на преступный путь: устраивали набеги на местных жителей, совершали грабежи, разбои. Это он о тех, кто жил рядом с ним в Магнитогорске. «Негласное предложение поступало и мне, — рассказывает собеседник, — я находил под подушкой в общежитии

то финку, то револьвер. Но я к тому времени уже выбрал дорогу — *учиться*, а потому не обращал внимания на провокации».

ХОЧУ УЧИТЬСЯ!

В 1946 году Василий Петрович поступил в школу рабочей молодежи Магнитогорска и в 1947 году получил аттестат зрелости. Странное название — «аттестат зрелости». Человеку уже 27 лет, он умудрен жизненным опытом, прошел через немецкие концлагеря, а его называют зрелым только после получения среднего образования.

Встал вопрос о том, какой институт выбрать, чтобы получить высшее образование и профессию. И опять в жизни Василия Петровича судьба не оставляет ему выбора. Как это было, рассказывает он сам: «В 1948 году я отправил заявление с просьбой зачислить меня в Днепропетровский медицинский институт. В заявлении я написал, что мечтаю стать хирургом и идти дорогой Пирогова, Сеченова и Павлова. Однако мастер, под началом которого я работал на заводе, отдал мне вызов только за три дня до начала экзаменов, хотя письмо, как выяснилось, пришло значительно раньше. Я не успевал не только получше подготовиться, но и даже просто доехать до Днепропетровска. Я был в ярости, схватил мастера за грудь так, что полетели пуговицы».

Мне стало обидно за собеседника и непонятно, почему мастер так поступил. Может, мастер не хотел отпускать хорошего рабочего? А возможно, Василию Петровичу все еще запрещалось выезжать за пределы Урала и поступать можно было не во все вузы?

Все на заводе успокаивали Василия Огрызкова: «Поступишь на следующий год». Но он говорил: «Я хочу поступить в этом году». В этих словах проявилась настойчивость характера Василия Петровича и желание быстрее воплотить мечту в жизнь. А потом его вызвал директор завода и предложил поступить в Горно-металлургический институт, который находился в этом же городе. Выбора не оставалось: в этом же 1948 году Василий Петрович стал студентом Магнитогорского горно-металлургического института.

Мой собеседник вспоминает: «Жить на стипендию в 450 рублей было трудно. Я снова недоедал (буханка хлеба стоила 70 рублей), но мое желание учиться было сильнее. Память у меня была хорошая, я старался».

После окончания второго курса института в 1951 году Василий Петрович впервые после войны поехал на родину. В Благодатном во время войны полсела выгорело, не было и родительского дома. Василий Петрович сходил на могилу отца. Близких родных в Благодатном никого не осталось: брат и сестры разъехались по разным местам. Он остановился у дальних родственников в соседнем селе Коренево. Узнав, что он фотографирует, соседи и знакомые стали приглашать Василия Петровича в свои дома. «В одном из них я встретился с девушкой, — вспоминает рассказчик, — которая через год стала моей женой.

Это была Татьяна Кузьминична». Год они переписывались, а затем Василий Петрович приехал за ней и увез ее в Магнитогорск, где они и поженились. Молодую семью приютил на время товарищ Василия Петровича по немецкому лагерю Сербиенко Василий. Через несколько недель молодой семье Огрызковых дали комнату в общежитии Горно-металлургического института. Сохранилось фото этой поры: счастливые супруги на фоне скромной обстановки. Муж учился, а жена работала учительницей начальных классов. Василий Петрович вспоминает, что жить было трудно материально, ему приходилось по ночам разгружать железнодорожные вагоны. Но личное счастье затмило все невзгоды. В 1953 году, когда Василий Петрович заканчивал институт, родился первенец — Александр. В этот год в жизни Василия Петровича произошло два важных события: он получил диплом горного инженера и у него родился сын.

ДОМ, СЕМЬЯ, МАЛАЯ РОДИНА

По окончании Магнитогорского горно-металлургического института для Василия Петровича и его семьи предстоял новый выбор: куда ехать по распределению молодому специалисту. Перед распределением Василия Петровича направили на медицинскую комиссию. Он хотел поехать работать в Якутию на разработку рудного и россыпного золота. Но у него выявили туберкулез легких и гепатит, и работа на этом месторождении оказалась ему противопоказана. Не разрешили работать и в закрытых рудниках, а предложили всего один вариант — открытое месторождение огнеупорных глин в Центральной России в Воронежском рудоуправлении. Таким образом, выбора опять не было: болезнь не позволила работать там, где хотелось.

В 1953 году Василий Петрович вместе с семьей приехал в поселок Стрелица Воронежской области. В этом рабочем поселке, расположенном в 25 километрах юго-западнее Воронежа, и располагалось Воронежское рудоуправление, где и предстояло работать молодому специалисту.

Об этом периоде своей жизни Василий Петрович рассказывает особенно охотно. Я думаю, потому, что здесь, на воронежской земле, он наконец-то почувствовал себя человеком: был признан как квалифицированный специалист, обрел счастье в личной жизни.

Однако отголоски прошлого все же не давали спокойно жить ни ему, ни его жене. Дело в том, что, занимая различные инженерные и даже руководящие должности, он не был членом Коммунистической партии. «Многие из окружающих недоумевали, почему я не член КПСС, — говорит Василий Петрович. — Очень часто в советское время производственные вопросы решались в закрытом партийном режиме, и беспартийных просили выйти из кабинета. Я подчинялся. Обидно было то, что я, инженер, разбирающийся в горном производстве, должен был выйти, а важные для производства вопросы решал секретарь коммунистической партийной ячейки, который плохо разбирался в производственных вопросах». Василий Петрович успокаивал себя словами: «Время все

расставит на свои места». В этих словах и мудрость, и терпение, и надежда, что его признают, что со временем поймут: его вины в том, что он был на принудительных работах, нет.

По словам Василия Петровича, за его спиной шептались: «Кто его прислал? Не враг ли он народа?» С горечью об этом вспоминает его жена Татьяна Кузьминична, которая в то время работала учительницей начальных классов в нашей Стрелицкой школе: «Даже мне мои коллеги задавали вопрос: „Почему ваш муж беспартийный?“ В этом вопросе для меня звучал подтекст: а не предатель ли он?»

И хотя Василий Петрович никому в поселке не рассказывал о том, что был в немецком плену, тень прошлого витала над ним почти десять лет, пока он все же не стал членом КПСС, после чего, как он сказал, все пересуды прекратились.

Как бы то ни было, но только осенью 1962 года партийное собрание утвердило его кандидатом в члены КПСС. Именно на нем Василий Петрович изложил автобиографию, или, как он сам выразился, впервые публично все рассказал.

Слушая рассказ о давно минувшем, я чувствовала, что обида на государство, партию, некоторых товарищей по работе была еще жива. Ни в чем не повинному человеку, не совершившему ни одного поступка, который опорочил бы его, нужно было оправдываться перед своими же товарищами за свое прошлое, доказывать то, что было очевидным для него: он не был предателем, а оказался в Германии вынужденно. Мне кажется, что партийный билет будто провел черту между прошлым и настоящим и та страница жизни, из-за которой он пережил много неприятностей, была перевернута. И может быть, поэтому Василий Петрович до сих пор хранит билет члена Коммунистической партии Советского Союза.

Вступление Василия Петровича в партию совпало с хрущевской «оттепелью». Раньше это было просто невозможно, а теперь, в 60-е годы, происходила переоценка роли тех людей, которые были в фашистском плену и немецких концлагерях. И в январе 1964 года он стал членом КПСС.

Спокойствие и душевное равновесие было обретено, но полной реабилитации еще не было. Только в 1995 году Василий Петрович получил долгожданную справку Управления Федеральной службы контрразведки по Курской области, в которой было сказано, что он «прошел проверку в спецлагере № 210 в городе Росток в 1945 году и компрометирующих материалов на него нет». Я спросила о том, есть ли у него удостоверение узника и пользуется ли он льготами. Собеседник мне объяснил, что государство признало узниками фашистских концлагерей только тех, кто был тогда несовершеннолетним.

Мне стало обидно за Василия Петровича. Получается, что наша страна до сих пор не признала своей вины перед теми, кто подорвал свое здоровье в фашистском плену. По логике государства, бывшие немецкие узники, вероятно, сами виноваты в том, что оказались в руках фашистов. Так что же, надо было убегать, вырываться или умирать на месте, лишь бы не попасть в руки врага? Несовер-

шеннолетние не могли сопротивляться захвату в плен, и, наверное, поэтому государство официально относит их к категории «бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны» и предоставляет им льготы. Льготы таким людям, как Василий Петрович, по его словам, не положены.

Я считаю, что наше государство оказалось несправедливым к людям с таким же прошлым, как у Василия Петровича, лишив их возможности выбирать, где жить и чем заниматься после войны. Они попали в плен не по своей воле, а государство поставило им это в вину.

Василий Петрович рассказал мне о том, что после войны в Германии и в Советском Союзе был создан Фонд взаимопонимания и примирения, который в конце прошлого — начале нынешнего века выплатил (уже дважды) бывшим рабам нацизма компенсацию за рабский труд. Выплачивала немецкая сторона. То есть Германия признала свою вину перед узниками концлагерей. В 1992–1993 годах Василий Петрович получил 800 немецких марок, а несколько лет назад — 750.Эти деньги выплачивались в несколько этапов. Обещают новые выплаты. Когда я заканчивала работу, Василий Петрович сообщил, что третья компенсация уже поступила в банк и он ее скоро получит.

Таким образом, получается, что наше государство до сих пор официально не реабилитировало таких людей, как Василий Петрович. Больно и обидно за них.

Примечания

[1] *Данилов А.А.,* Косулина Л.Г. История России, XX век. М., 1999.
[2] Катынь: Как это было: Свидетельства, воспоминания, публицистика. М., 2001.
[3] *Пятецкий Л.М.* История России XX века. М., 1999. С. 225.

История семьи — зеркало истории моей родины

Егор Поляков, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Высокоключевой
9-й класс, научный руководитель Л. И. Синявская

Общаясь со своими сверстниками, я заметил, что когда заходит разговор о предках, то все непременно говорят: если о дедушке — то обязательно знаменитый и уважаемый человек; если о прадедушке — то дворянских кровей или купец. Сейчас стало «модным» быть потомком какой-нибудь знаменитости. А если прадедами были крестьяне или рабочие, то этого многие стесняются.

Подростки моего поколения не понимают, что вся история человечества складывалась из жизней не только знаменитых людей, но и простых. Занимаясь поисками материала для этой работы, я столкнулся с тем, что мы совсем не знаем своей родословной. Только лица со старых пожелтевших фотографий в семейном альбоме безмолвно смотрят на меня. Это молчаливые свидетели истории моего рода.

Я сначала думал, что собрать материал о своих предках будет очень легко: только поговори с родными, загляни в семейный альбом — и вот ты уже многое знаешь. А на деле оказалось все сложнее. Мои родители мало знают о жизни своих отцов и матерей, бабушек и дедушек, а о прадедах и говорить уже не стоит.

Последним звеном, связывающим нашу семью с прошлым моего рода, является моя бабушка. Из старшего поколения больше никого не осталось в живых. И если не сделать это сейчас, то потом будет намного сложнее.

XX век особенно жесток к старикам. Очень часто они обречены на забвение, непонимание и равнодушие даже со стороны собственных детей. Я уже несколько раз слышал выражение «слишком задержалась я на этом свете». Старики порой чувствуют себя обузой в семье и в обществе.

Я привык, что в нашем доме на бабушку смотрят с глубоким уважением как на хранительницу семейного очага, знаний и опыта. Это было еще одним аргументом в выборе темы для написания работы, которая посвящена моей бабушке.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД РОДОМ

Тема для написания работы выбрана. Весь семейный архив оказался в моем распоряжении. Я с интересом рассматривал старые фотографии и документы, но их было так мало.

Поэтому сначала я обратился к взрослым с просьбой о помощи. С учителем истории Лидией Ивановной Синявской мы составили план поисков. В первую очередь был составлен список архивов, в которые необходимо послать запросы. Ма-

ма напечатала письма, а я разослал их адресатам. В архивы, расположенные в Гатчине и Санкт-Петербурге, мы с мамой ездили вместе, так как нужные мне копии документов и справок никто не даст без официального запроса и взрослого заявителя. Обычно ответы на такие запросы по почте приходят через два–три месяца, но для меня время пролетело незаметно, потому что, не теряя времени, я стал собирать устные свидетельства родных и тех, кто знал хоть что-нибудь о моих предках.

Первой в моем списке для устного опроса стояла моя бабушка. Но вспомнить и рассказать все сразу она не могла, настроение ее менялось в зависимости от событий, о которых шел разговор. Часто слезы появлялись на глазах, и тогда разговор мы переносили. Из ее воспоминаний я узнал, что она родилась на станции Александровская Павловского района Ленинградской области. Ее папа (мой прадед) Петр Васильевич Анисимов потомственный железнодорожник, работал на станции «Александровская» Октябрьской железной дороги в должности бригадира. Мама (моя прабабушка) Анна Васильевна Анисимова (Кузьмина) не работала, так как у нее было четверо детей и все маленькие. Жили они в железнодорожной казарме.

Со слов бабушки, до войны у нее было счастливое детство. Анастасия Кузьмина (моя прапрабабушка) была сиротой; откуда она родом и как познакомилась с мужем, она никому не рассказывала. Милая и добрая, она была очень приветливой и тихой по характеру, в деревне пользовалась всеобщим уважением и любовью. Была в ней какая-то изюминка — и в манере держаться, и разговаривать. Душа у нее чудесная и всю жизнь она была очень порядочной женщиной, ни один человек дурного слова о ней не сказал бы. А какие она пекла в русской печке хлеба и пироги! До сих пор бабушка вспоминает их вкус. Ее муж Василий Кузьмин был молчаливым, не любившим пустых разговоров, строгим хозяином своему слову. Это был настоящий глава семьи.

Бабушка помнит все праздники, на которые они приезжали в деревню к прапрабабушке. Анастасия с Василием аккуратно ходили в церковь, молясь за живых и усопших, как и их предки. Старшие дети в семье относились к религии равнодушно, но родителей уважали и старались не задевать их религиозных чувств.

Бабушка и ее сестра с братом очень отличались от своих деревенских ровесников. По деревне с криками носились босоногие, коротко стриженые мальчишки, а бабушку привозили в туфельках, красивых платьях с рюшками и огромными бантами, в таком виде она выходила гулять около дома. Ее мама была рукодельницей, умела шить, вышивать. В Александровской покупала шкуры, выделывала их, красила, покрывала лаком и шила на продажу кожаные куртки. Она могла отреставрировать любую старую вещь, поэтому бабушка в детстве ходила как принцесса. По деревне быстро распространялся слух, что к Насте приехала ее городская внучка, и мальчишки старались подкараулить у ворот, чтобы задеть по ногам крапивой и дразнились: «Отчаго да почаму, да по какому случаю».

По разговорам взрослых бабушка знала, что в конце 20-х годов ее дед Василий Кузьмин погиб (несчастный случай, его зажало буферами между вагонами, он работал на Октябрьской железной дороге сцепщиком вагонов). Иногда бабушка заходила в гости к родне ее папы, Петра Васильевича Анисимова, на станцию Новоселье. Они все работали на железной дороге и жили в железнодорожных казармах. У моего прадедушки был брат Павел Васильевич — бесшабашный балагур. По рассказам отца бабушка знает, что однажды он поспорил с цыганом, что перетанцует его. Спор слышали многие, собралась куча народа посмотреть на происходящее. И Павел переплясал цыгана. Это дядя Павел научил бабушку, когда она была маленькой, танцевать кадриль. На танцы ходили в соседние деревни. У дяди Павла были хромовые сапоги, голенища делал в гармошку, так было модно, но до танцев он ходил босиком, неся сапоги через плечо, чтобы не порвать и не вымазать. Так же ходили и все девушки, у кого были туфли. Семья Анисимовых была из среды рабочих, зажиточностью они не отличались. Мама бабушки в деревне была завидной невестой из крепкой семьи (а тогда старые деревенские устои сохранялись), пригожая и не бесприданница, любимица своего отца. И поэтому был жуткий скандал, когда прабабушка решила выйти замуж за прадедушку. Отец запретил ей даже в сторону Петра смотреть, считая Анисимовых не ровней для своей дочери, но она сбежала из дома. И только после смерти отца она смогла перешагнуть порог своего родного дома.

Но пришел 1941 год, и сразу все кончилось. Стояло лето, конец июля или начало августа месяца, это бабушка помнит хорошо. Ей было десять лет, ее братьям — Володе семь лет, Саше один месяц, а сестре Вале четыре годика. Немцы подошли к Ленинграду, начались артобстрелы города. Ее отец подогнал дрезину для эвакуации семьи. Только взрослые погрузили часть вещей, как один снаряд попал прямо в дрезину, и путь отхода в город был отрезан.

В Александровской рыли окопы и землянки. И семье бабушки пришлось перебраться в землянку на противоположной стороне от Пулковских высот. Родители успели перевести туда корову и часть вещей.

Но все вещи вынести не успели, очередной снаряд попал уже в дом. В землянке прожили недолго, под постоянным артобстрелом, снаряды падали рядом, и сама землянка чудом оставалась неповрежденной. Родители бабушки опять были вынуждены перебраться по окопам уже в другую землянку на противоположной стороне железной дороги. Корову прабабушка ходила доить через линию в старую землянку. Бросить корову родителям бабушки было тяжело, детей было четверо, и корова кормила всю семью. Над землянками летали самолеты, дети уже по звуку определяли — свои или немецкие. Немецкие самолеты летали, как по расписанию, на бомбардировку Ленинграда. Несколько раз издалека бабушка видела атаки наших бойцов на этой высотке. Это была матушка Смерть, которую она впервые увидела в таком ужасном виде. При одном из артобстрелов контузило ее брата Володю.

Позднее по их окопам несколько немцев пошли в разведку и вышли на их землянку. Родители бабушки решили, что это десант (была надежда еще, что они

смогут попасть в Ленинград). С поднятыми руками всю их семью повели на станцию Александровскую. Оказалось, что она уже оккупирована немцами. С грустью смотрели взрослые в сторону Ленинграда, который до сего дня был рядом, а значит, и надежда попасть в город была реальной. Теперь же впереди была полная неизвестность. Прабабушке не дали взять с собой из землянки ничего, даже пары ботинок. На станции их встречал священник, который горячо говорил, о том, что уничтожить православие Советы не успели, не смогли убить веру в Христа, говорил о высокой миссии германской армии и возрождении церковной жизни в областях, освобожденных от большевизма.

Семья бабушки спала под открытым небом. Прабабушка смогла выбраться ночью в землянку, где находилась корова и принесла кое-какие вещи для детей и себя. Во вторую ночь она привела корову, но утром ее увели немцы. Прабабушка очень плакала и кричала. Она умоляла оставить им «кормилицу», но все было тщетно. Начиналась осень, и взрослые решили увести детей к родным в деревню Жилици Новосельского района Ленинградской области. Шли они пешком. Наконец добрались до Кузьминых. Начинался голод, скотины ни у кого не было, оставались только старые запасы в подвалах, да и те заканчивались. У Анастасии Кузьминой (прапрабабушки) на окраине двора, вдоль сараев стояла банька, и однажды она нашла там русского солдата. Около недели она ходила и кормила его, но в деревне кто-то увидел и выдал красноармейца немцам. Его пытали, а затем расстреляли. Взрослые очень боялись, что расстреляют всю семью. Но солдат под пытками только повторял: «Сам пришел, никто не знал, никто не видел, не кормили». По воспоминаниям бабушки, это было очень страшно. У прапрабабушки Анастасии двух сыновей Василия и Ивана призвали в Красную Армию в первые дни войны, и на них сразу же пришли похоронки. Они погибли где-то под Ленинградом. Они с детства ходили за плугом и с косой, вот и вся биография: родились, жили в деревне, работали в колхозе, призваны в армию. Ружья в руках не держали, а тут война. И, когда призвали, пошли воевать. Они погибли на фронте, и бабушке как-то не верилось в то, что этих здоровых, веселых дядьев нет в живых.

У Кузьминых семья бабушки долго жить не могла, не хватало еды. Ее родители перебрались на станцию Новоселье, откуда родом был ее папа. Он в оккупации стал работать на железной дороге, и они жили в железнодорожной казарме на станции Новоселье. Прабабушка, чтобы прокормить детей, ходила по соседним деревням и обменивала последние свои вещи (которые уцелели) на продукты. В одной из деревень она обменяла что-то и привела корову. Иногда она уходила из дома молча и уносила с собой даже молоко и те продукты, которые предназначались детям. Только после войны бабушка узнала, что ее мама передавала курьеру из партизанского отряда в условленном месте продукты. В это время зарождалось партизанское движение, и немцы следили за передвижением гражданского населения (так как это был партизанский район). И был один случай, который прабабушка не смогла забыть до конца своей жизни. Она и еще две женщины, как всегда, прошли по деревням. И, уже возвращаясь домой с продуктами, были задержаны патрулем. Их привели в комендатуру, развели по разным комнатам и допрашивали каждую в отдельности. Все женщины были перепуга-

ны, но говорили одно и то же. Прабабушка чуть с ума не сошла, придя домой, она долго ничего вразумительного сказать не могла, и тогда появилась первая седина на ее голове.

Когда родителей бабушки не было дома, она смотрела за младшими детьми. Ей не хватало росточка, чтобы снимать с печки чугуны с едой и кипятком, поэтому ее папа сделал маленькую табуретку. И вот однажды она встала на нее, сняла чугунок с кипятком на край плиты, а младший брат Саша, который только недавно начал ходить, подошел к плите и задел ее за локоть, табуретка зашаталась, бабушка не удержала чугун, и весь кипяток вылился на Сашу. Никогда в жизни она не испытывала такого страха, от которого онемело и сделалось неподвижным все ее тело. Очнулась она от истошного крика своего брата. Хорошо их мама пришла вовремя. Она схватила бабушкиного брата и побежала в немецкий госпиталь, там ему оказали первую медицинскую помощь и впоследствии вылечили. Только благодаря помощи немецкого врача Саша выжил, ведь ожог был очень страшный и глубокий. Шрам от ожога остался на всю жизнь, и, когда он стал взрослым, из-за этой травмы его не призвали служить в армию.

В 43-м году наши войска прорвали оборону противника и пошли в наступление. Все ждали этого дня. Совсем рядом была слышна канонада. Но немцы начали угон населения в Германию. Многие жители сопротивлялись этому и ушли в лес. Сначала в лесу были только взрослые, а когда началась отправка людей в Германию, даже старики и дети уходили к партизанам. Прабабушка заболела — она частично ослепла — и выйти на улицу уже не могла. По хозяйству хлопотала бабушка: доила корову и присматривала за младшими детьми. В один из дней ее мама попросила сходить на станцию и посмотреть, много ли немцев и по какой дороге можно уйти в лес. Вернувшись домой, она рассказала маме, что на станции очень много немецких солдат и полицаев, везде стоит охрана и никуда не пройти. И вот 20 февраля 1944 года к станции подали состав. Первые пять пассажирских вагонов предназначались для немецкого офицерского состава, а для вывоза людей — товарные. На станции творился хаос. Всю бабушкину семью загрузили в вагоны, и поезд поехал. Куда их везли, никто не знал. По пути на состав налетели советские истребители и стали обстреливать вагоны. Летчики определили, в каких вагонах вывозилось гражданское население. Они пошли на второй круг. Второй вагон с головы поезда взорвался, вывернуло все рельсы, поезд дальше ехать не мог. Были собраны все взрослые мужчины и немецкие солдаты на ремонт пути. Вокруг огромной воронки был проложен новый путь, и состав поехал дальше.

По России их везли без остановок. В вагоне было очень много взрослых, а детей еще больше. Потом (в каких странах это было, бабушка вспомнить не может) поезд останавливался. На станции всех выгоняли из вагонов, заводили в помещение. Все раздевались догола и осматривались врачами, строились в колонну, в которой шло распределение «налево» и «направо». Никто не знал, куда попадет. После распределения всех заводили в комнату, где были сложены вещи, они одевались и возвращались в вагон. Куда отправлялись люди, которые попадали «налево», никто не знал, только в вагоны они уже не возвращались. Так было на

трех остановках, и вся процедура повторялась снова и снова. Четвертая остановка для бабушкиной семьи была последней — город Лейпциг. Их вывели на платформу, где здоровых молодых женщин и мужчин забирали к себе на работу хозяева (бауеры). Выбирали как лошадей. Семью бабушки никто не брал (наверно, смущало количество лишних ртов). Таких невостребованных семей на платформе осталось всего три. Бабушкина — пять человек. Наконец семьи загрузили на грузовую машину и увезли в город Пенсик на стекольный завод. Территория завода была огорожена кирпичной стеной, колючей проволокой, и стояли часовые. После регистрации всей семье выдали отличительные нагрудные знаки — OST.

Бабушка с отцом работала на фабрике в цеху, где выдували стеклянные изделия, — закрывала формы. Труд для нее был очень тяжелым. Когда горячее стекло разливалось в формы, ей нужно было большими ножницами отрезать струю и успеть закрыть форму. Ножницы были очень тяжелыми, один раз она их не удержала и обожгла себе руки. Ее перевели на третий этаж завода, где приходилось вытаскивать из лифта тележки с готовой продукцией для склада и ставить их обратно в лифт.

Когда бабушка работала на третьем этаже, она познакомилась с двумя немками: фрау Фаф и фрау Фесте. У фрау Фаф муж погиб на фронте и поэтому она очень не любила русских. И это сразу проявилось в отношении к бабушке. Она постоянно жаловалась мастеру, что бабушка плохо работает. В одном из разговоров бабушка рассказала, как они жили до войны, о том, что их дом разбомбили немцы и увели корову. Через несколько дней она случайно встретилась один на один с мастером на лестнице, и он ее наотмашь ударил по лицу, сказав при этом: «За твой язык». Чудом она тогда не упала с лестницы. А фрау Фесте всегда была добра к бабушке. И по иронии судьбы муж фрау Фесте служил под Ленинградом в то время, когда бабушка попала в оккупацию.

Чтобы хоть как-то помочь бабушке, фрау Фесте договорилась о ее переводе с завода на работу к ней в дом по хозяйству. Когда бабушка отработала в доме около недели, ее подозвала к себе фрау Фесте и объяснила, что на побывку с фронта приехал ее муж, которому она рассказала, что в доме работает девочка из-под Ленинграда, и он очень заинтересовался. После обеда, бабушка была представлена мужу фрау Фесте (он был офицером). Он ее много расспрашивал, а потом сказал: «Убогие дома и нищие люди, жуткая страна…» Поскольку бабушка уже знала, что Красная Армия пошла в наступление, то, не думая о последствиях, с детской наивностью выпалила: «Зато наша армия теперь наступает, и скоро вас разгромят!» Муж фрау Фесте ударил бабушку, но фрау Фесте как-то смогла уладить этот конфликт, но на работу в дом фрау она больше не ходила.

Через некоторое время произошел случай, который чуть не изменил судьбу бабушкиной семьи. Рядом с их сараем, через забор, стоял жилой многоэтажный дом. К одной из его стен был пристроен склад-навес, крыша которого частично свисала над территорией завода. Окна склада, где они жили, выходили на этот дом и навес. И немецкие мальчишки повадились с крыши склада-навеса камня-

ми бить стекла в складе, где жила бабушкина семья. Стекло им заменили раз, два, а потом не стали. На улице холодно, по полу дует, младший брат бабушки еще плохо ходил — все на полу сидел. Бабушкин отец на заводе в последний раз выпросил стекло, только вставил, а его опять разбили. Бабушка с Володей (мальчиком из Белоруссии) жутко разозлились, и кому-то в голову пришла идея отомстить. Они подставили ящики к стене, залезли на них и стали ждать. Через некоторое время над их головами нависли детские ботинки, а «юных мстителей» из-под конька крыши не видно. Как по команде, они дернули «немчурят» за ноги, они упали на территорию склада, бабушка с Володей на них, а ящики сверху. «Немчурят» побили — откуда только силы взялись. Утром на следующий день родителей бабушки куда-то увели. Их не было около двух недель. Дни тянулись долго, никто не говорил, куда забрали взрослых. Через две недели вернулись ее родители, оказывается, из-за этой драки их увезли на оборонительные работы, рыть траншеи. Бабушке с Володей крепко попало.

В одно утро бабушкина мама проснулась и сказала ей: «Мне приснился сон. Видела нашего священника, он шел по дороге, а за ним много народа, и все шли в сторону дома». Взрослые долго обсуждали этот сон, и появилась надежда на скорое возвращение.

В один из октябрьских дней 1944 года за бабушкиной семьей пришел конвой. Прабабушке дали тележку, чтобы младшие не путались под ногами и не задерживали движение, и повели всех в неизвестном направлении. Всех привели на станцию, опять погрузили в вагон и куда-то повезли. Конечным пунктом оказался лагерь в городе Лехау. Бараки там были новые, но недостроенные. Было очень холодно, начался голод. Раз в день приезжала кухня, с которой раздавалась похлебка, представлявшая собой мутную жидкость, в которой была сварена капуста кольраби и какие-то еще овощи. Выстраивалась огромная очередь, те, кто посильнее, отталкивали слабых, и в результате с каждым днем росло количество людей, падавших от истощения. Вся семья через некоторое время слегла, даже отца бабушки не забирали на работу. На ногах осталась только сама бабушка, которой пришлось ухаживать за всеми.

За проволокой, через ручей, находилась свалка продовольственного магазина. К тому времени бабушка уже могла говорить по-немецки. Бывало, подойдет она к часовому метров за сто и остановится. Если не ругается, подойдет еще ближе и тогда спрашивает разрешения сбегать за проволоку на десять минут — покопаться на свалке. Многие гнали обратно, но были часовые, кто пропускал. Она набирала на свалке овощей, палочкой убирала гниль, успевала вымыть все в ручье и бежала в лагерь. Ее отец сделал маленькую печку из четырех кирпичей, а сверху на нее приспособили железный лист. На терке (железка, пробитая в нескольких местах гвоздем) бабушка терла все овощи и пекла их на печке. Это было очень хорошее подспорье к похлебке. Зимой стало совсем плохо. У прабабушки отказали ноги, она не могла ходить. Мужчины хоть и утеплили барак, но было очень холодно. Еды не хватало. Начались болезни. Вокруг с голода и от болезней умирало все больше и больше людей. Ежедневно за пределы лагеря вывозили покойников, а сотни других ожидали такой же участи. Но и эту тяжелую

зиму они пережили. Весной бабушкиной маме стало полегче. Но все были истощены, на голове сплошные болячки, покрытые коростой.

В один из дней в лагере поднялась суматоха. Все бегали, кричали. Бабушка только обратила внимание на то, что нет часовых. Двери лагеря открылись, и все побежали врассыпную, кто куда. Куда они бежали и сколько, бабушка вспомнить не смогла. Остановившись на поляне передохнуть, они вдруг увидели, что в их сторону бежит немецкий офицер с пистолетом. Когда он подбежал, вид у него был жуткий, у бабушки создалось ощущение, что он сошел с ума. Увидев их, он подставил дуло пистолета к виску и застрелился. Уже поздно ночью они попали на хутор, тихо пробрались в сарай и там провели всю ночь до утра. Утром взрослые боялись выходить из сарая и бабушку с Володей (белорусом) отправили посмотреть местность и определить, куда двигаться дальше. Они с Володей пошли в разные стороны. Бабушка по дороге поднялась на пригорок и почувствовала запах пищи.

Она была такая голодная, что как обезумевшая, забыв про все на свете, пошла по запаху, дошла практически до полевой кухни и тут посмотрела по сторонам. Вокруг нее было много техники, но не советской и не немецкой, солдаты в непонятной форме в высоких шнурованных ботинках на толстой подошве. Один из них обратил на нее внимание, подошел и начал спрашивать, но она ни не поняла одного слова. Тогда он на ломаном немецком языке спросил: «Ты немка?» Она ему ответила: «Нет, я русская». Он не поверил, вокруг все притихли. Несколько раз он ее спрашивал, кто она. Потом присмотрелся, наверно, ужаснулся ее виду, отпрянул и побежал к кухне. Принес целую каску яиц, посадил в люльку мотоцикла и повез к дому на хуторе. Когда они приехали на хутор, американский солдат пошел к крыльцу дома, наверно, решил, что они жили в доме, но бабушка его остановила и показала рукой на сарай. Он заглянул в сарай… Ночью все так хотели есть, что родители бабушки нарвали кормовой свеклы и ели ее практически немытую, к утру с желудками у всех творилась беда. Из сарая солдат просто выбежал и рванул в дом. Вывел хозяина, направил на него автомат. За хозяином из дома выбежала вся семья. Дети и жена плакали, бабушкины родители перепугались, а она так громко и истошно закричала, как не кричала, наверно, никогда больше в своей жизни. С криком «Нет!» она бросилась к нему и стала убеждать, что они пришли ночью, и хозяин не знал об их появлении. Вся сцена произошла в считанные минуты, и никто не предполагал, чем она может закончиться, да еще и разговаривали все на разных языках. Солдат опустил автомат и только приказал хозяину перевести русских в дом. Всех вымыли в теплой воде с мылом, дали чистую одежду, накормили, и впервые за столько лет бабушка спала в чистой постели на белых простынях, а не на земле или полу — на соломе. Утром американец пришел еще один раз проверить, как выполнили его указание, и, увидев всех отмытыми и в новой одежде, остался доволен. Больше они его не видели. Вскоре их перевели в нежилой дом. К родителям бабушки приходили американцы в гражданской одежде с продуктовыми подарками и предлагали остаться. Им предлагали работу и жилье. Когда они отказались от всего, один из американцев сказал: «На родине у вас очень плохо. Вас там не ждут. Подумайте хорошенько, у вас дети». Бабушка с семьей были на территории, которую освободили союзные войска, а до советских войск остава-

лось всего километров тридцать, а может быть, даже и меньше. Недалеко от их дома находилась автобусная остановка, где каждый день останавливался автобус, который мог перевести их к своим. В один из дней они всей семьей оказались в этом автобусе. Переехав условную границу и выйдя из автобуса, бабушка с Володей опять пошли разведать обстановку. Они нашли дом, в котором, по описанию жителей, были русские, и побежали к родителям сообщить все, что смогли узнать. Их встретил молодой солдатик, доложил коменданту, и всех провели в дом. Вокруг была чистота, стекла блестели, а на полу лежали мягкие ковры, на которые им страшно было наступать. Все сняли свои ботинки (если их можно было так назвать) и босиком пошли по ковру к офицеру. В первый момент тот опешил, а потом тихим голосом сказал: «Они все у нас разбомбили и разрушили, сжигали деревнями, убивали в лагерях, а вы по их коврам босиком ходите, чтобы не вымазать. Обуйтесь. Откуда вы?» И взрослые стали рассказывать, говорили долго, а в конце разговора офицер сказал: «Пришли бы вы вчера — все бы было проще, а сегодня вступает в силу приказ о наведении порядка и прекращении мародерства. Но вам помогу, чем смогу». Бабушку и Володю в сопровождении солдата отправили на склад. Обувь выдавали только тем, кто пришел. Ей даже дали примерить. Она увидела еще одни очень красивые маленькие ботиночки для брата Саши, а потом взяла для сестры Вали и брата Володи, но к ней подошел немец, вырвал обувь из рук и стал ругаться. Солдат отвел его в сторону, что-то тихо сказал на ухо и немец отошел. Так она обула всех младших. Потом их водили на склад одежды, а через некоторое время прабабушку с детьми отправили домой, а прадеда призвали в Красную Армию.

При возвращении домой эшелон, которым возвращалась семья бабушки, остановился в Чехословакии. Им разрешалось выходить из вагонов за продовольствием и водой. Бабушка пошла в город. Ей встретились два русских солдата, которых она тогда не боялась. Все так ждали освобождения, что люди в пилотках с красной звездой были как родные. И на их вопросы она спокойно отвечала. Один был высокий и совсем молодой, второй помоложе ее папы, сержант. И вдруг офицер говорит молодому: «Что ты на нее смотришь. Мы свою кровь за них проливали, чтобы вот эти „подстилки немецкие“ живы остались. Не бойся». Он схватил бабушку грубо за руку, она очень испугалась, смогла вырваться и побежала куда глаза глядят, ведь города она совсем не знала. Они ее преследовали. Бабушка забежала в полуразрушенный дом и забралась на чердак, а чтобы ее не нашли, укрылась старым мусором, лежавшим в углу. Солдаты долго ходили по дому и искали ее, несколько раз проходили, совсем рядом с кучей мусора, но они не могли даже подумать, что в этот мусор можно залезть. Потом все стихло. Они плюнули на свои поиски и ушли. Бабушка долго не могла поверить, что свои «родненькие солдатики» на такое способны.

В Александровскую семья бабушки не вернулась, так как их дома уже не было. Приехали они в Гатчину и жили в городской бане, пока не вернулся отец бабушки. Он устроился работать на Октябрьскую железную дорогу.

Первые послевоенные годы были очень тяжелыми. Бабушка с братом Володей ходили по соседним деревням и побирались. Иногда дрались из-за того, кто

пойдет в очередной дом за подаянием, было стыдно, но голод брал свое. Родственники им помочь не могли, так как сами восстанавливали свои дома. В те же годы бабушка с братом Володей пошли в школу. Она была переростком, и приходилось сидеть за одной партой с малышами, но учиться было очень интересно. В школу первый год зимой она бегала в резиновых калошах, обуть на ноги было нечего. Прибежать старалась первой, к приходу детей протапливали печки, бабушка открывала дверцу, подставляя ноги к углям, чтобы отогреть, а однажды даже не заметила, как загорелись носки. Бабушка закончила семь классов, а так как она была уже взрослой, то 30 мая 1951 года утроилась на работу в Ленинграде в печатный цех типографии в качестве ученицы-подсобницы. Она отработала всего один месяц, и ей предложили должность экспедитора. В 1952 году бабушка пошла учиться в вечернюю школу. Через год она перешла на работу на станцию Ленинград-Товарный-Варшавский Ленинградской железной дороги весовщиком. Так начинался ее трудовой путь. У бабушки в трудовой книжке в графе «сведения о поощрениях и награждениях» 40 записей о награждениях. Но всю жизнь она мечтала продолжить учебу. После окончания вечерней школы успешно сдала вступительные экзамены в институт, хотела стать геологом, но в анкете записала, что находилась в Германии. Ее вызвали в учебную часть и предложили забрать документы. Впоследствии она долго не могла собраться для поступления еще раз. В июне 1962 года у нее родилась вторая дочь (моя мама), а в конце лета бабушка уже сдавала вступительные экзамены на вечернее отделение ленинградского техникума железнодорожного транспорта, который окончила в 1966 году. Поступая в техникум, в анкетных данных она умолчала о пребывании в Германии, чтобы еще раз не переживать унижение при отказе. В это время она уже была замужем и жила отдельно от родителей в семье свекрови.

Прабабушка устроилась на Октябрьскую железную дорогу стрелочницей и получила тяжелую травму. Раньше на железной дороге были семафоры, и они переключались автоматически, указывая машинисту, разрешено ли движение состава дальше. Дело было зимой. Состав подходил к станции, а семафор не переключался. Задержка поезда и выход его из графика движения каралась по закону, и можно было попасть в худшем случае в тюрьму, в лучшем потерять работу и быть уволенной по статье. Прабабушка, в валенках и в тяжелой одежде полезла на семафор и в последний момент вручную смогла его переключить. Но поезд шел с такой силой, что она не удержалась и упала на бровку рядом с рельсами, при этом чудом осталась в живых, но была переломана вся и очень долго лежала в больнице. Впоследствии эта травма отразилась на ее здоровье. За последние годы характер прабабушки совсем испортился. Она упрекала своего мужа, что он не мужчина, если может позволить, чтобы жили впроголодь его жена и дети. Совсем отношения испортились, когда прадедушка попал под поезд и потерял ногу. Раньше ходили не электрички, а паровики, и двери автоматически не закрывались. Прадед стоял в тамбуре вагона и держал под мышкой буханку хлеба. Поезд дернуло на стрелке, дверь открылась, буханка выпала. Он попытался поймать ее и выпал из вагона на рельсы, потеряв при этом ногу. Прабабушка выгнала мужа, и он ушел из дома. Со временем он стал жить в другой семье. Когда прадед умер, то прабабушка запретила всем ходить на его похороны. К тому

времени у всех детей уже были свои семьи, и бабушка вопреки запретам ходила прощаться со своим отцом. Не так давно к ней приезжала одна их тех девочек, которых воспитывал ее отец в другой семье, сейчас это уже женщина бабушкиного возраста. Она с любовью и благодарностью рассказывала о моем прадеде, о том, что он помог им пережить тяжелое время и встать на ноги. После ее отъезда бабушка долго сетовала, что чужие люди помнят и скорбят о ее отце, а мы, родные, кровные, обо всем забыли.

Я решил подтвердить воспоминания моей бабушки при помощи различных документов, найденных в архивах, и других источников.

Передо мной лежит копия автобиографии моего прадеда Анисимова Петра Васильевича, датированная 26 июля 1945 года, в которой он пишет: «… держали в лагерях в городе Лехау, гоняли на разные работы, до освобождения Красной Армии»[1]. По рассказам моей бабушки, их освободили союзные войска — американские. Я думаю, что бабушка ошибиться не могла. Скорее всего, в то время иначе нельзя было писать.

А вот в архивной справке Государственного архива РФ (ГАРФ) есть запись: «В графе „Особые отметки“ указано: „Со мной в лагере находилась моя семья. Жена и четверо малолетних детей (имена и возраст упомянутых граждан в документе не указаны), дочь в возрасте 12 лет работала по 10–12 часов“»[2]. Многие даты бабушка не могла вспомнить, поэтому я добавлял из архивных справок, так как сходились описанные события.

В рассказе я нашел еще одну неточность. Бабушка сказала, что отца призвали в Красную Армию и вместе с ними он домой не уехал. Автобиография при устройстве на работу датирована 26 июля 1945 года и в графе п. 11 имеется рукописный текст: «Не служил»[3], а дата освобождения из лагеря — май 1945 года, а на два месяца в армию не призывали. Есть все основания утверждать, что прадедушку оставили до выяснения обстоятельств нахождения в Германии всей семьи.

В июне 1945 года НКВД в своем приказе № 00865 подробнейшим образом определил порядок учета, регистрации и проверки советских граждан, возвращающихся на родину. Пересекая демаркационную границу, они попадали сразу в сборно-пересылочные пункты и лагеря, где подлежали регистрации с целью установления личности.

С каждым пересекавшим границу проводилась беседа, заполнялись анкеты из 28 вопросов и три учетные карточки. В специально разработанной анкете, помимо биографических сведений, нужно было подробно рассказать об обстоятельствах пленения или выезда на сторону противника, перечислить все лагеря и населенные пункты пребывания, характер выполняемой работы и занятия, наличие мер наказания, допросов, арестов немецкой администрацией, назвать свидетелей этого пути. Если репатриация проводилась из зоны союзнических войск, нужно было подробно дать показания о контактах с анг-

лийской, американской, французской администрацией. Цель первичной регистрации — это возможность и необходимость доказать благонадежность для беспрепятственного возвращения в Советский Союз. Все прошедшие и не вызывающие сомнения в благонадежности направлялись к прежнему (до начала войны) месту жительства, где были обязаны в месячный срок зарегистрироваться в местном Совете или милиции. Репатрианту выдавалось удостоверение на право следования к месту постоянного жительства. Учет и регистрацию обязан был пройти каждый возвращающийся из Европы, и на каждого заводилось проверочное фильтрационное дело, которое направлялось в район следования проверяемого.

На все запросы в архивы о наличии проверочных фильтрационных дел на моих родных пришли отрицательные ответы. Исключение составил только мой прадед Анисимов Петр Васильевич. В данном случае можно предположить, что опрашивали только главу семьи, а его жену с четырьмя малолетними детьми сразу отправили на родину[4].

Я несколько раз перечитал бабушкин рассказ, который писал с ее слов, и обратил внимание на то, как скудно она говорила о тяжелых пережитых днях, и с каким удовольствием рассказывала о событиях последнего месяца пребывания в Германии. Очень часто бабушка говорила о чистоте в доме, о белой постели, о запахах еды и первых полученных ботинках на всех детей, о пейзажах природы и красоте, окружавшей ее. О немецком народе говорила без злобы и с благодарностью вспоминала всех, кто им хоть как-то помог: хозяина хутора, фрау Фесте и даже немецких солдат, которые выпускали ее из лагеря на десять минут сбегать за очистками овощей. Пережить такое страшно. Но при этом очень важно, что она не озлобилась и не ожесточилась. Воспоминания будут всегда жить в душе и сердце моей бабушки. Время лишь притупило боль потерь и унижений.

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ

Гораздо сложнее оказалось проследить историю моих предков из рода Скрипко (по мужской линии моей мамы), так как из семейного архива я ничего не смог узнать о них и никого из их старшего поколения уже не осталось в живых.

Сначала я решил поговорить с некоторыми жителями нашего поселка и от них узнать о семье моего дедушки. С некоторым любопытством и, можно сказать, с волнением я шел на встречу с нашей соседкой Людмилой Ивановной Слютой, уроженкой поселка Высоко-Ключевой Гатчинского района Ленинградской области. Она мне рассказала, что семью Марии Сафроновны Скрипко она помнит с детства, ее мама и бабушка часто бывали в их доме в гостях. С их слов, они переехали в наш поселок из Ленинграда, купив маленький дом. Война застала их в поселке. Людмила Ивановна отчетливо помнит, как немцы при отступлении в 1943 году угоняли население в Прибалтику.

Всех жителей собрали у дома-барака и загрузили в грузовые машины. Все семьи, подлежавшие угону, она не помнит, да многих и не знала, может назвать толь-

ко несколько имен: Скрипко Мария Сафроновна и трое детей (ее муж, Скрипко Николай Николаевич, умер в 1942 году после тяжелой и продолжительной болезни). Всех привезли в город Гатчину на территорию лагеря. Там проводили сортировку: женщин с малолетними детьми подготавливали к отправке в Прибалтику, а юношей и девушек оставляли в лагере. Из семьи Скрипко в лагере оставили дочь Надежду, а из их семьи ее сестру Анну. Через несколько недель их привезли на станцию Татьянино и загрузили в вагоны. Так они очутились в Латвии. Поезд останавливался несколько раз, и людей выгружали для дальнейшего распределения по деревням.

Мама добавила немного, и ее воспоминания основаны на рассказах моего дедушки Николая Николаевича Скрипко.

Дедушки уже нет, многого мама не знает, о многом не говорилось, а многое и забылось.

Когда началась Великая Отечественная война, ее папе было всего 12 лет, его средней сестре Лиде — 15 лет, а старшей сестре Наде — 18 лет.

То, что население предупреждалось заранее об эвакуации немцами, говорит тот факт, что моя прабабушка смогла в Прибалтику вывезти корову, а потом привезла ее обратно. Семья жила очень бедно. Мой прадед, Скрипко Николай Николаевич, очень болел (рак желудка), перенес несколько операций, поэтому его в Красную Армию и не призвали. И он умер в 1942 году (в возрасте 42 лет). После смерти прадеда все заботы о семье — сыне и двух дочерях, в тяжелое военное время легли на плечи Марии Сафроновны. Летом она пасла корову в поле, а зимой сначала кормила заготовленным сеном, пока оно не закончится, а потом ветками деревьев. Корова была совсем тощая, но на семью молока хватало. Мама помнит рассказы взрослых о том, что в поселке устраивались танцы. Некоторые местные девицы знакомились с немецкими солдатами. Среди таких девиц была и Надежда, старшая дочь Марии Сафроновны.

В Латвии мои родные жили на хуторе у хозяина, прабабушка помогала по хозяйству, ухаживала за скотиной. В Прибалтику она была вывезена с двумя детьми Николаем и Лидией. Старшая дочь Надежда была оставлена в Гатчине в распределительном лагере для работ на оккупированной территории. К родне Надежда присоединилась намного позже. После освобождения Прибалтики прабабушке предлагали остаться на хуторе и выделяли для нее и детей домик, но Мария Сафроновна решила вернуться домой в Ленинградскую область. Первой уехала ее старшая дочь Надежда, но путь домой для нее оказался очень долгим. В поселок она вернулась только в 1956–1957 годах, так как была осуждена за измену Родине сроком на 25 лет. Прабабушка совсем замкнулась.

Не последнюю роль играла всеобщая ненависть советского народа к предателям, которая часто распространялась на членов их семей. В те годы то, что слу-

чилось с Надей, было позором для семьи. Она лишилась доброго имени, и каждый в поселке был вправе задеть ее мать или сестру с братом, а спустя много лет других близких родственников, потому что такие поступки никогда не забываются. В семье никто об этом не говорил и не рассказывал, только мой дедушка написал много писем с просьбой о реабилитации Надежды. Он не верил, что она могла совершить тяжкое преступление. После возвращения в поселок ее личная жизнь не наладилась, понимания и прощения у односельчан не нашла. Она была замкнута и постоянно ощущала непрощение.

Я уже ознакомился со многими документами тех лет, которые приводятся в современной литературе, поэтому смог разобраться. Как известно, сразу же после войны органы НКВД значительную часть своих оперативно-следственных усилий направляли на выявление и привлечение к уголовной ответственности лиц, сотрудничавших в годы войны с противником. Только в Ленинградской области «в 1944 году взято на учет 1159 человек политически неблагонадежных, с сомнительным прошлым, в числе которых 383 — проживали на оккупированной территории…»[5].

Из поселка в Прибалтику было вывезено очень много местных жителей. По возвращении на родину люди проходили через фильтрационный пункт, где проверочную процедуру проходил каждый. Заполнялись специально разработанные анкеты из 28 вопросов. В одном из пунктов надо было назвать фамилии известных пособников, предателей и лиц, тайно или явно сотрудничавших с немецкими оккупантами, все сведения о них и приметы. Можно предположить, что кто-то из возвращавшихся односельчан указал фамилию Надежды Николаевны в этом пункте. Ведь не все могли понять и простить поведение родной сестры дедушки на оккупированной территории. Поэтому она была арестована и осуждена в дни проверки на сборно-регистрационном пункте по статье 58-1 «а» Уголовного кодекса РСФСР, то есть за измену Родине, сроком на 25 лет. Амнистия, объявленная Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 марта 1953 года, положила начало ее освобождению. Но не все вернулись туда, куда они желали. Препятствий было много. Каждый амнистированный и освобожденный давал подписку в том, что «на основании статьи 39 Положения о паспортах мне запрещено проживать в пограничных и режимных местностях Советского Союза». К режимным местностям были отнесены Москва, Ленинград, столицы республик и многие другие города страны. В перечень входило 32 города, позднее их число увеличилось. Поэтому Надежда Николаевна сначала попала в Абхазию и только через несколько лет вернулась в поселок.

Прошло много лет после окончания Великой Отечественной войны. Гласность, свобода печати, раскрытие спецхранов и рассекречивание документов позволили писать более откровенно о «белых пятнах» минувшей войны. Бедствия «предателей» после войны — трагедия для них и их близких. Совершенное деяние (если считать его таковым в данном случае) утратило характер общественно опасного, но это должен был решить суд. Мама обратилась в прокуратуру Ленинградской области с просьбой о реабилитации Скрипко

Надежды Николаевны, но получила ответ, что «архивно-следственного дела не имеется» (справка прокуратуры) и что сведениями о наличии судимостей указанной гражданки ЦНИ ГИЦ МВД РФ не располагает. Жил человек, осужден был по самой страшной статье за измену Родине, а документов, подтверждающих это, нет и ничего изменить нельзя. Вот и получается, что только в душе односельчане могут простить или не простить, забыть или никогда не забывать прошлое.

Примечания

[1] Архивная справка, Ленинград — Витебское отделение, № НОДАА-14 от 26 января 1995 года, выписка из автобиографии.
[2] Справка № А-11436 от 15 октября 1996 года.
[3] Архивная справка, Ленинград — Витебское отделение, № НОДАА-14 от 26 января 1995 года, выписка из автобиографии.
[4] Там же.
[5] *Бахвалов А.* Генерал Власов: Предатель или герой? СПб., 1994. С. 106.

«Виноват, что не застрелился»

Екатерина Шаронова, Удмуртская Республика, пос. Игра
11-й класс, научные руководители И. В. Ившина
и Л. А. Промышленникова

В феврале 2004 года умерла моя прабабушка, ей было 87 лет. На похоронах было очень много народа, все говорили много хороших слов о ней, о ее жизни и работе в Игре. А я слушала, и мне казалось, что говорят о какой-то чужой женщине. Был митинг, выступали разные люди, но запомнилось одно: «Ушла из жизни легендарная женщина Елена Дмитриевна Захарова».

Мой прадед Серафим Гаврилович Захаров провел всю войну в плену и умер в 1996 году, когда мне было всего шесть лет. В детских воспоминаниях осталось много народу, много хороших слов, о нем, о его жизни в Игре.

Все в семье называли их бабушка и дедушка. Они прожили вместе 61 год.

В это лето к нам приехали друзья родителей. Поселок у нас небольшой, удивить особо нечем, но они сами попросились в краеведческий музей. Такие любознательные гости оказались. И мы с мамой повели их в наш местный музей. В одном из залов музея есть экспозиция, посвященная нашим родственникам. Легендарной оказалась не только моя бабушка, но и дед. Тогда я испытала особую гордость за нашу семью и впервые задумалась о людях, которые живут рядом со мной.

Когда я собирала материалы о членах нашей семьи, я вдруг поняла, что история страны действительно отражается в истории семьи, как в зеркале, она оживает, становится личной, моей историей. У нас есть все — раскулаченные и репрессированные, участники боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны и военнопленные, партийные деятели и обычные, ничем не примечательные труженики.

Все Захаровы остались живы и здоровы в этой страшной войне. Вернувшиеся с фронта были героями. Имели ордена и награды. А мой прадед вернулся из фашистского плена. Он, по воспоминаниям родственников, всю жизнь стыдился этого. Он так и умер с чувством вины — за то, что не застрелился, когда его брали в плен. После его смерти в военкомат пришли документы, приравнявшие его к участникам Великой Отечественной войны. Он не дождался этой справки. А как он ее ждал и боялся, что придет отказ, опять будут проверки. Для него было бы большим счастьем узнать, что он — участник войны. Клеймо военнопленного всю жизнь тяготило его, он не мог смотреть фильмы про фашистские концлагеря, плакал, когда по телевизору в праздники транслировали парады. Он никогда не рассказывал об этом периоде своей жизни и стыдился его. Иногда, по словам детей, от него можно было услышать: «Я позорю вас, я стыд для всех вас, почему я не застрелился?»

Беседы с родственниками показали, что история его плена стала семейной легендой — многие факты исказились, забылись, другие просто не упоминались. При этом нельзя было напоминать деду об этих событиях. Его все любили и берегли. Да, впрочем, он и сам не стремился вспоминать события своей военной биографии. В конечном итоге в семейном кругу пересказывали устоявшийся и «общепринятый» вариант тех событий.

Именно поэтому мы и решили обратиться к архивам. Бабушка рассказала, что деда регулярно по ночам увозили на проверки. Поэтому мы подумали, что должно быть дело, в котором записывались все показания. Может, там мы узнаем подробности тех событий. Наши поиски привели нас в Центральный Государственный архив Удмуртской Республики. К нашему удивлению, по телефону нам быстро сказали, что дело такое есть и мы можем приехать ознакомиться с ним, но только имея при себе документы, удостоверяющие наше родство. После выполнения этих формальностей нам опять отказали в выдаче дела — в связи с его ценностью и секретностью. Работник архива сказала: «Ваше дело относится к категории особо ценных и в обязательном порядке должно быть просмотрено нашими специалистами. Вероятно, в деле есть такие сведения, которые вам знать не положено. Эти сведения будут законвертированы». Нам пришлось ждать еще неделю. К сожалению, нам запретили снять электронную копию с фильтрационного дела на бывшего военнопленного Захарова Серафима Гавриловича, поэтому все пришлось переписывать вручную. Когда моя мама листала старые, пожелтевшие страницы, ее охватило странное чувство, никто из нашей семьи, даже сам Серафим Гаврилович не видел этих документов в полном объеме. Может быть, так оживает история?

При сборе архивных документов коллега по работе спросил мою тетю, с чем связан наш интерес к прошлому. Она объяснила, и его реакция поразила всю семью: «А так ты, внучка предателя Родины? А мы не знали». Сказано было в шутку, но как сильны штампы! Стало понятно, почему дед так переживал всю жизнь. Любой мог сказать ему: неизвестно, чем ты занимался в немецком плену и как ты выжил.

Какова же цена нашей Победы? Неужели такие как мой дед заплатили меньше, чем те, кто участвовал в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной? Мне кажется, их вклад в победу и цена, которую они вынуждены были заплатить, нисколько не меньше вклада фронтовиков. Да и нужно ли сравнивать две цены?

Сталинский режим закладывал в сознание солдат установку на то, что плен невозможен. Среди солдат и офицеров Красной Армии действовал негласный «приказ» — попавшему в плен лучше застрелиться. Удивительно и невообразимо только, какое чувство вины и одновременно страха нужно было сформировать в людях, чтобы они чувствовали эту вину и перед лицом смерти, и позже — пройдя через фашистский плен и систему проверок и лагерей НКВД.

Я хотела бы избавить и его, и нас, живущих, от этого чувства. В этом состоит цель моей работы.

Отца моего прадеда звали Гавриил Иванович Захаров, он родился в 1887 году, а мать Елизавета Дмитриевна Захарова — в 1885 году. Родом они были из крестьян, уроженцы соседних деревень — Балезинского района Удмуртии — по национальности удмурты. До Октябрьской революции семья была исключительно крестьянской. Но вот прокатился по всей стране революционный вихрь, и мой прапрадед сменил крестьянскую одежду на френч военного. Из автобиографии С. Г. Захарова виден его быстрый карьерный рост: «В 1919 году он вступает в ВКП(б). В 1921 году он начал работать в комитете бедноты, с 1924 года он председатель Ягошурского волисполкома, а с 1927 года он уже председатель уездного исполнительного комитета. С 1930 года он председатель Дебесского колхозсоюза, а с 1933 года — управляющий „Союзмолоко“ города Ижевска. С 1937 года работал на руководящих работах при системе заготовок. С 1947 года персональный пенсионер».

Прапрабабушка Елизавета Дмитриевна вела крестьянское хозяйство и воспитывала шестерых детей.

Мой прадед Серафим Гаврилович получил обычное по тем временам образование. Читаю в автобиографии: «В 12 лет я окончил начальную школу, затем поступил в школу рабочей молодежи, где проучился три года». В 15 лет в Стране Советов перед ним с его «подходящим» происхождением были открыты все дороги, и естественно встал вопрос — пойти работать или учиться? В 1933 году он окончил техникум по специальности льноводство и получил квалификацию агронома-льновода. Работал агрономом в Буринской МТС Балезинского района Удмуртии. В 20 лет он встретил девушку, с которой попал в одну агитбригаду. Вместе они ездили по деревням с концертами. Серафим Гаврилович был членом бюро райкома ВЛКСМ, а Елена Дмитриевна Иванова работала в это время заведующей отделом пионеров райкома ВЛКСМ Балезинского района.

В 1935 году они поженились. В 1938 году Елена Дмитриевна стала первым секретарем райкома ВЛКСМ Балезинского района. А ее муж Серафим Гаврилович к этому времени был старшим агрономом. Они родили двух дочерей, жили дружно, «отклонений от генеральной линии партии не имели» и свято верили в ее правоту. Эта партия дала им, юношам и девушкам из крестьянских семей, невиданные ранее возможности, требуя взамен неуклонного исполнения ее воли.

В 1938 году Серафим Гаврилович Захаров был призван в ряды РККА. С августа 1938-го по февраль 1940-го он — курсант военного училища пограничных войск НКВД, которое располагалось в столице Северо-Осетинской АССР городе Орджоникидзе. Молодая женщина оставляет свою работу и едет с детьми вслед за мужем. В ее учетной карточке члена КПСС в эти годы стоит запись: «С 1938 года по 1940 год зав. отделом школ Затеречного райкома ВЛКСМ». Здесь муж и жена Захаровы вступают в ряды ВКП(б).

Мы задали себе вопрос, почему мой дед, уже имеющий семью, профессию, становится курсантом пограничного училища НКВД? Вероятно, свою роль сыграла волна массовых репрессий 1937–1938 годоа, которая обескровила Красную

Армию накануне Великой Отечественной войны. Но в то же время, прекрасно понимая, что война неизбежна, советское правительство не могло оставить армию без военных специалистов. В РККА призывается и параллельно принимается в ряды ВКП(б) большое количество молодежи.

Елена Дмитриевна с детьми жила на квартире, и ее мужа-курсанта изредка отпускали переночевать.

С февраля по июнь 1940 года Захаров С. Г. — командир стрелкового взвода 84-го погранотряда в городе Ошмяны в Западной Белоруссии, с июня 1940 года по июнь 1941-го он начальник учебной заставы окружной школы младшего начальственного состава Пограничных войск НКВД (МНС ПВ НКВД) в городе Брест-Литовске. Подробности деятельности лейтенанта Захарова в этот период установить не представляется возможным, так как документы окружной школы НКВД Белорусской ССР за 1941 год утеряны в годы войны. Однако по косвенным данным становится ясно, что лейтенант Захаров участвует в спецоперациях по выселению репрессированного населения из только что присоединенной к СССР Западной Белоруссии.

Перед самой войной супруги Захаровы ездили на родину в отпуск. И произвели на родственников большое впечатление. Дед — высокий красивый в военной форме, совершенно не пьющий. Нельзя сказать, что он раньше сильно пил, но в деревне было принято делать кумышку — самогон — и праздновать все праздники шумно и весело. Бабушка вспоминала, что дед сказал своей матери, отказываясь от стакана с кумышкой: «Не могу, мама, положение обязывает, я пограничник».

Но вернемся в Брест-Литовск. В своем интервью бабушка говорила, что она была одной из первых советских женщин, ступивших на землю Западной Белоруссии. На нее приходили смотреть со всей округи, и она слышала шепот: «Вот советка идет». Ей выделили комнату в старой помещичьей усадьбе, еду приносил дежурный. Некоторое время она жила в уединении, читала «польские романы» из библиотеки помещика. 8 марта 1940 года ее попросили выступить с докладом перед населением. Она согласилась. Народу пришло много. После этого местные крестьянки стали часто приходить в гости. «Очень хорошие люди были», — отзывалась о них бабушка. Позже в Ошмяны приехали семьи других офицеров-пограничников. В июле 1940 года лейтенант Захаров переводится на службу в Брест, семья получает квартиру в Бресте на улице Комсомольской, затем в Брест перевозят детей. Новая запись в учетной карточке Елены Дмитриевны появляется осенью того же года: с сентября 1940 года по июнь 1941 года она учительница начальных классов средней школы № 15 Бреста.

В июне 1941 года школа выехала в летний лагерь под Гродно. А Серафим Гаврилович 18 июня выехал в командировку. Бабушка с детьми приехали в лагерь 21 июня. Семьи офицеров расположились кто в шалашах, кто на квартирах, приготовленных для этого. До начала войны оставалось несколько часов. Ни бабушка, ни дедушка не знали тогда, что следующая их встреча произойдет только через пять лет.

В это время учебная застава комендатуры была отправлена по тревоге на оперативную работу. С 18 июня по 22 июня 1941 года в городе Августово, находившемся на расстоянии двух километров от государственной границы, взвод пограничников НКВД проводил операцию «по выселению лиц, подлежащих эвакуации». Кого же эвакуировал мой дед по тревоге, если война еще не началась? Ответ я нашла в интервью Елены Дмитриевны. Оказывается, ему приходилось участвовать в выселении, по словам бабушки, «богатых», «недовольных советской властью» — то есть зажиточного населения Западной Белоруссии, которое подверглось репрессиям и было выселено в Сибирь. Мой дед, находясь в пограничных войсках НКВД, участвовал в репрессивных операциях. Теперь, думая над этим фактом из жизни моего прадеда, я вспоминаю фильм «Московская сага». Там есть эпизод, когда на переезде остановился эшелон с репрессированными. Охранники и начальники состава тревожно бегали. Я словно увидела среди них своего прадеда. Потому что и он участвовал в выселении лиц, несогласных, как считалось, с советской властью, тех, кого называли «врагами народа». Он видел, что это были женщины и дети, «хорошо жившие, богатые», со слов прабабушки, и хотя их прямой вины он не осознавал, не выполнить приказа он не мог. Позднее он говорил, что искупал свою вину перед ними долгими годами плена.

Так, находясь в составе учебной заставы в Августово, ожидая отправки поезда на Гродно, мой прадед встретил войну. Но в военном билете С. Г. Захарова, выданном 16 октября 1948 года, в четвертой графе «Участие в Великой Отечественной войне с Германией и Японией» сделана запись: «не участвовал». В личном деле лейтенанта запаса в графе «Участие на фронтах» указано, что в Великой Отечественной войне Захаров С. Г. участвовал с 22 июня 1941 года по 28 июня 1941 года[1]. А в списке потерь офицерского состава погранвойск НКВД за 1941–1942 годы значится: «Захаров С. Г., начальник учебной заставы ОШМНС БССР, лейтенант, пропал без вести 23 июня 1941 года».

Все, что случилось с моим дедом в период с 1941-го по 1945 год, нам пришлось восстанавливать по документам. Так, в протоколе допроса от 5 июня 1946 года не вопрос об обстоятельствах пленения прадед отвечал так:

«С начала нападения немецких войск связь с погранотрядом была прервана. Я по самоинициативе принимал оборону против наступающих немецких войск. С 22 июня по 28 июня я со взводом пограничников участвовал в боях с немцами. Таким образом оказались в окружении немецких войск. По ориентировке командира артиллерийского полка я с группой бойцов-пограничников и пехотинцев, приданных из полевой части, двинулись в направлении юго-восточнее Волковыска с целью выйти из окружения на слабом участке, но попали под фронтальный и фланговый огонь немцев. Прорвать кольцо окружения не могли и начали отход в направлении южнее Волковыска. По пути отхода настигли остатки разбитой кавалерийской части, всего людей собралось около 50 человек. В дальнейшем пути попали в немецкую засаду. В бою с немцами часть личного состава были убиты, часть ранены, а часть разбежались. Я с одним раненым из полевой части, фамилию которого я не знаю, пошли в направлении леса

и были настигнуты немецкими солдатами, вышедшими навстречу нам. Двум немецким солдатам сдались в плен»[2].

Личное оружие, которое имеет при себе каждый офицер и из которого лейтенант Захаров должен был застрелиться, он успел спрятать. А партбилет — свидетельство принадлежности к советской элите, которую противник уничтожал в первую очередь, С. Г. Захаров закопал заранее. Больше никаких документов, как он утверждает, с ним не было. В протоколе читаем: «*Вопрос*: Какие документы и вооружение вы имели при себе?

Ответ: Я был вооружен пистолетом ТТ, но его я зарыл в землю, когда увидел немцев. Документов со мной никаких не было. Партбилет я зарыл в землю еще раньше, когда пошел на прорыв кольца немецких войск».

Материалы автобиографии, написанной 6 апреля 1955 года, подтверждают эти сведения: «После выполнения операции в четыре часа утра 22 июня 1941 года в составе двух учебных застав при ожидании отправки нашего поезда на ст. Августово попали под бомбежку и артиллерийский обстрел со стороны немецких войск. Эшелон загорелся и также вокзал, заняли позицию для обороны с пехотой [от] немецких войск под командованием ст. лейтенанта Кустова, связь установить ни с какими полевыми частями не удалось. Под напором превосходящих сил противника группами отступали в тыл по направлению в Волковыск с тем, чтобы добраться до Пинских болот. 26 июня при выходе из окружения был пленен немецкими войсками в районе Зельва Западная Белоруссия. Таким образом, в составе войсковых частей РККА участвовать не пришлось. О вероломном нападении фашистов и начале войны нам стало известно из сброшенных с самолета листовок».

Трижды мой дед рассказывает властям о своем пленении, каждый раз в его рассказе появляются новые подробности, сведения уточняются. К 1955 году он «вспоминает» многое из того, о чем раньше он на допросах умалчивал: в протоколах появляются фамилии, географические названия и т.п., изменяется описание пленения. Вероятно, это связано с изменением политической обстановки в стране, которая позволила говорить немного больше, не боясь, что любой факт, любое неосторожно сказанное слово, вскользь упомянутая фамилия могут искалечить судьбу человека.

Безоружный, беспартийный, не имеющий никаких документов, удостоверяющих личность или принадлежность к партийным или советским органам, офицер — вероятно, поэтому он остался жив при пленении и впоследствии в плену.

Всю войну родные считали Серафима Гавриловича пропавшим без вести. А он в это время, как стало известно после войны, находился в плену. И если в том, как он попал в плен много неясного, то о времени, которое дед провел в плену, известно еще меньше. Каким он был человеком в плену, как выжил, что перенес, мы уже никогда не узнаем и можем только догадываться. Прабабушка рассказала, что все время, пока он был в лагерях, он искал ее среди женщин в колод-

ках. Он думал, что детей, вероятно, уже нет в живых: они бы не смогли выжить в таких условиях. А Елена Дмитриевна могла остаться в живых. Весь плен он ничего не знал об их судьбе. Они для него тоже пропали без вести.

Но вернемся к личному делу бывшего военнопленного С. Г. Захарова. О его пребывании в плену на страницах дела можно прочесть следующее: «*Вопрос*: Расскажите подробно о вашем пребывании в плену.

Ответ: При пленении немцы меня и товарища обыскали и привели в город Зельва БССР, где уже были русские военнопленные, и дальше повели в г. Гродно на сборный пункт русских военнопленных. Через неделю увезли в г. Сувалки. В городе Сувалки я был помещен в лагерь военнопленных, где пробыл один месяц, после чего был отправлен в г. Граево и помещен в полевой лагерь военнопленных, где пробыл август. Затем отправлен в г. Хамельбург в офицерский лагерь, в нем был до января 1942 года, одновременно привлекался к физическим работам. В январе отправлен в г. Вайден, в марте из Вайдена был отправлен в Карлсбад, куда я прибыл 4 марта 1942 года. Находясь в лагере Карлсбад выводили на работу в завод, работы выполнял черновые, в этом лагере я пробыл до 17 апреля 1945 года. 17 апреля 1945 года этапом эвакуировали в неизвестном направлении…

Вопрос: Где вы подвергались регистрации в немецком плену?

Ответ: Регистрации я подвергался в городе Хамельбурге, где на меня была заполнена анкета, регистрацию проводил русский в присутствии немецкого офицера»[3].

В военном билете этот период отмечен предельно кратко: с 1 августа 1941-го по 2 января 1942-го — г. Хамельбург. Поиски в Интернете позволили нам выяснить, что «согласно Женевской конвенции 1929 года, военнопленные офицеры должны размещаться в особых лагерях отдельно от сержантского и рядового состава»[4]. Для офицеров Красной Армии вермахт летом 1941 года в немецком рейхе оборудовал всего лишь один лагерь такого типа. Действительно, на территории полигона Хаммельбург (в Нижней Саксонии) находился лагерь для военнопленных офицеров, который получил название офлаг 62 (Х111 О). Предположительно 20 июля 1941 года в лагерь прибыли первые эшелоны пленных. Во избежание эпидемий пленным делали ряд прививок. По документам, С. Г. Захаров попадает в Хаммельбург 1 августа 1941 года. В общей сложности в лагере было зарегистрировано 18 000 советских офицеров. После доставки в Хаммельбург каждый офицер проходил регистрацию. Управление лагеря заводило на него так называемую личную карточку со всеми его личными данными, воинским положением в Красной Армии, данными о взятии в плен. На обратной стороне имелось место для записей о переводе в другой лагерь, трудовом использовании, болезнях и дисциплинарных наказаниях. Эти же карточки свидетельствовали о том, что советских офицеров вплоть до ранга капитана, вопреки конвенциям международного права, привлекали к принудительным работам.

Возможно, что пребывание в Хаммельбурге в первые месяцы войны, когда немцы пытались соблюдать нормы международного права, в какой-то степени спасло ему жизнь.

Как в военнопленном С. Г. Захарове без документов и оружия фашисты распознали офицера? По воспоминаниям дочери Серафима Гавриловича С. С. Сафоновой, он был выделен из числа военнопленных как офицер по прическе. Этот факт подтверждает Устав РККА, по которому рядовые были обриты наголо, а офицерский состав носил стрижки.

Из протокола допроса от 5 июня 1946 года становится известно, как начинался пятилетний плен: «При заполнении анкеты я дал следующие показания: фамилию, имя, отчество. В каком роде войск служил, адрес места расположения, что желает сообщить родственникам о своем пребывании в плену. В каких частях служил.

Вопрос: Вы подвергались аресту, допросам немецкого гестапо и полицией?

Ответ: Я аресту и допросу гестапо и полиции не подвергался, а в числе всей команды в лагере подвергался обыску гестаповцев. Но у меня ничего не нашли».

Первым и естественным желанием многих военнопленных был побег. На вопрос: «Вы делали попытки побега из лагеря военнопленных?» — дед ответил отрицательно. «Из числа военнопленных попытки к побегу были, а я таких попыток не предпринимал». Еще одной возможностью вырваться из плена было вступление в ряды РОА — Русской Освободительной Армии. По словам деда, «в наш лагерь приезжал несколько раз из РОА старший лейтенант, проводил агитацию и вербовку».

Подробности того, каково ему было в плену, попробуем восстановить по косвенным данным — разговорам и воспоминаниям родственников, которые носят отрывочный характер. Тем более что говорить и спрашивать о плене при жизни прадеда в семье было не просто не принято, но и запрещено.

Мама однажды вспомнила вот такой эпизод. Каждое лето они приезжали в гости на каникулы к дедушке и бабушке. И было время, когда все стали выращивать различную витаминную зелень, но почему-то в огороде у бабушки из зелени рос только лук и чеснок. Мама пошла в магазин и увидела на прилавке шпинат и петрушку, она купила целый килограмм этой зелени, так как все стоило копейки, решив кормить бабушку с дедушкой витаминами. «Старые уже, на пенсии, дед-агроном отстал от жизни, не знает новых растений», — подумала она. Принесла все это с надеждой удивить. Но, посмотрев на шпинат, дед сказал совершенно неожиданно: «Я его столько съел, не дай бог, вам, дети, столько съесть». Потом бабушка объяснила ей, что пленных немцы кормили только шпинатной похлебкой, и попросила в следующий раз быть тактичнее. Также со шпинатом «влипла» моя бабушка (его дочь). Серафим Гаврилович увидел, как она сеяла его. Это был 1990 год. Тогда он ей сказал: «Чтобы я его не видел…» Кос-

венно о жизни в плену могут свидетельствовать рассказы С. С. Сафоновой о том, каким вернулся отец после плена — с отмороженными ногами и позвоночником, поврежденным ударом приклада. Прабабушка говорила, что он долго ничего не мог есть: «желудок не принимал пищу».

Интересно, что за работу в лагере С. Г. Захаров в числе других пленных получал заработную плату. Будучи в рабочей команде № 10.460, он был чернорабочим на каолиновом заводе. Это не вяжется с нашим традиционным представлением о военнопленных. В протоколе допроса видим: «*Вопрос*: Когда вы работали на заводе, вам платили зарплату?

Ответ: За работу на заводе я получал от двух до четырех марок. Деньги эти специально выплачивались только для военнопленных, в магазинах их использовать было нельзя»[5].

В лагере часто возникали дружеские связи, которые позволяли легче переносить тяготы плена. Среди товарищей по лагерю мой дед указывает шесть человек.

Эти люди сыграли очень важную роль в его послевоенной судьбе.

Наконец пришла свобода. Во всех документах она уместилось в одну короткую строчку: «6 мая 1945 года освобожден американскими войсками». Подробности освобождения остались для нас неизвестны. Из опросного листа 28 декабря 1945 года: «17 апреля 1945 года этапом эвакуирован в Южную Баварию, по дороге в Судецкой области освобождены войсками союзников, американцами. После освобождения шли по направлению к русским войскам на сборный пункт город Бауцен Германия. 1945 года 31 августа попал в воинскую часть горьковской дивизии местечко Опухлики под г. Невель…» В Бауцене был сборный пункт офицерского состава, где С. Г. Захаров прошел регистрацию. После проверки в СМЕРШе его перевели в «7-й запасной офицерский полк 1-й запасной стрелковой дивизии Смоленского ВО, оттуда, по указу президиума Верховного Совета СССР, был освобожден как специалист сельского хозяйства».

О подробностях освобождения мы можем судить только по рассказам бабушки. Она рассказала: «Большую группу пленных немцы отправили для ликвидации в так называемую „Долину смерти“. Всех разместили в здании зернотока. Оголодавшие узники начали есть зерно горстями и, перед тем как лечь спать, стали прощаться друг с другом. Люди обнимались в последний раз, хорошо понимая, что завтрашнее утро будет последним. Утром двери тока широко распахнулись, и все увидели солдат в другой форме. Американцы тут же предложили пленным расправиться с ненавистными охранниками. В считанные минуты толпа разорвала оставшихся немецких солдат. Затем всех пленных отправили на сборный пункт в Чехословакию, где их одели в хорошие костюмы и прекрасно кормили». Документально мы можем подтвердить только пребывание С. Г. Захарова на сборном пункте Хомутово в Чехословакии, про «Долину смерти» нигде не упоминается.

После освобождения один из друзей Серафима Гавриловича предложил ехать с ним на Украину и начать жизнь заново. Он был готов к такому повороту событий, но все-таки надеялся получить весточку с родины.

Скоро родина их приняла в свои жесткие объятия — в отдел СМЕРШа 7-го запасного стрелкового полка Смоленского военного округа.

В своей автобиографии мой прадед написал, что спецпроверку проходил с июня по ноябрь 1945 года. Фильтрационное дело на бывшего военнопленного Захарова начато 25 сентября и окончено 25 ноября 1945 года.

Находиться в СМЕРШе на проверке, я думаю, не санаторий. Кормили плохо, издевались, наверное. Светлана Серафимовна вспоминает: отец, говорил, что это было хуже, чем в плену. Бабушка рассказывала, что на допросах прадеду очень часто задавали один и тот же вопрос: «Как вы, советский офицер и коммунист, могли сдаться в плен? Почему не застрелились?»

Их проверяли строго по всем направлениям.

Так, в фильтрационном деле бывшего военнопленного С. Г. Захарова перечислены люди, с которыми прадед был в плену. Из членов семьи никто никогда не слышал эти фамилии. Найти их в настоящее время не представилось возможным. Но в самом деле есть свидетельства этих людей — их опрашивали сотрудники СМЕРШа. По принятым правилам пребывание в плену должны были подтвердить как минимум два человека, в деле же представлены свидетельства пяти человек. И я слышу их голоса из прошлого…

«Уполномоченному Особого отдела СМЕРШ
От Асеева Ивана Максимовича на т. Захарова С. Г.

Заявление

Захарова С. Г. знаю с августа 1941 года, 8 января 1942 года с г. Хамельбурга был переведен в Вайден на работу по осушке болот. 4 марта тов. Захаров был переведен в рабочую команду № 10.460 г. Карлсбада, где работал чернорабочим на каолиновом заводе под насилием немецкого оружия и охраны. Каждую работы выполнял с презрением и нежеланием, за что подвергался избиениям и штрафным наказаниям со стороны администрации завода и охраны. Все время был убежден, что Красная Армия победит немецкий фашизм и он вернется на родину как советский патриот. Антисоветской пропаганды не вел, с полицией и жандармерией связан не был, в антипартийных группировках не был. В других армиях не служил и не записывался. Переносил все тяготы немецкого плена, чтобы вернуться на родину как советский человек.

26 сентября 1945 года
подпись: Асеев».

«Уполномоченному Особого отдела СМЕРШ Гвардейского ЗСП
25 сентября 1945 года.
От гражданина Головащенко Ивана Ивановича

Заявление

Захарова С. Г. знаю с марта 1942 года по настоящее время по совместной работе в команде № 10.460 г. Карлсбада. Товарищ Захаров работал на каолиновом заводе чернорабочим, все время под принуждением охраны и производственной администрации. Тов. Захаров, как и все патриоты Советской Родины, отлично знал, что работа на фашистскую Германию есть вред для Советского Союза, поэтому всегда стремился сделать меньше указанного администрацией, за что неоднократно избивался. Во власовской армии и полиции не был и презирал тех, кто был участником. Связи с гестапо не имел, в антисоветских группировках не состоял и подобных антисоветских высказываний не проводил, а был все время уверен в силе Красной Армии, в силе советского народа.
В очень трудные моменты тов. Захаров в дружеских беседах с товарищами в нерабочее время часто входил в споры, отстаивая свое мнение о ближайшем разгроме фашистской Германии.
О всем изложенном несу ответственность личной подписью: Головащенко».

Вот еще один из документов, говорящих о факте проведения подробной проверки в отношении бывшего военнопленного лейтенанта С. Г. Захарова:

«Справка
По алфавитным спискам агентов разведки и контрразведки противника ГУК СМЕРШ управления НКГБ СССР и ориентировкам, не вошедшим в алфавитные списки. Проверяемый Захаров С. Г. 1915 года рождения не проходит.
Справку наводил ……. (подпись неразборчива) 24 сентября 1945 года».

Пройти проверку СМЕРШа и не сломаться, не поддаться на провокации, вытерпеть изнурительные допросы — это тоже подвиг.

А в деле Серафима Гавриловича появляется такой документ:
«Утверждаю
Нач.отдела контрразведки
СМЕРШ 1 Г.З.С.Д.
3 октября 1945 года.

Заключение

5 сентября 1945 года я, старший оперуполномоченный 1 ГЗСД К. Н. Борисов, рассмотрев материал на бывшего военнопленного Захарова С. Г.
Нашел:
Что по состоянию на 25 сентября 1945 года компрометирующих данных на проверяемого не добыто.
По учету розыска агентуры противника не проходит:

Постановил:
Захарова С. Г. отнести к 1-й категории и передать командованию дивизии для использования по нарядам МВО с последующей разработкой по месту работы.

Оперуполномоченный (личная подпись)
Согласен — начальник отдела (личная подпись)».

Находясь на спецпроверке, мой дед написал письмо на родину. Он не знал, где его родители, где братья и сестры, где его семья. Он решил написать письмо своему деду, который жил в деревне Понино (ныне Глазовский район Удмуртской Республики). Написал, как выразилась прабабка, «на деревню дедушке». Он не знал, кто ему ответит. Он ждал ответа со страхом, потому что видел, как люди получали письма, в которых чьи-то жены просили прощения за то, что не дождались. И крепкие мужчины, выдержавшие тяжести плена, не выдерживали предательства любимых, теряли смысл жизни. К кому-то письма возвращались обратно. Это было более тяжелым испытанием, чем проверка в СМЕРШе: ее воспринимали как должное. Виноват — отвечай.

Ему повезло. В один день он получил сразу три письма: от сестры, от жены и от дочки. Он боялся открыть их прочитать, боялся плохих известий. Он начал с детского письма. Увидев «Здравствуй, милый папочка!», он упал, потеряв сознание.

Счастью его не было предела. Его жена и дети все были живы и здоровы. И совсем скоро он их увидит. К сожалению, не сохранились письма, написанные в этот период. Но это очень хорошо знала бабушка, она и рассказала нам об этом.

И вот наконец — долгожданное постановление, согласно которому он прошел проверку и подлежал демобилизации.

«Утверждаю
Нач. 3-го отделения
Майор
„_____“ ноябрь 1945 года

Постановление

25 ноября 1945 года я оперуполномоченный ОКР СМЕРШ 1 ГСЗД лейтенант Соловьев, рассмотрев материалы учетного дела № 13.618
Нашел:
Проходящий по делу бывший военнопленный, прошедший фильтрацию Захаров С. Г., согласно приказу Военного Совета Смоленского Военного Округа № 048 от 19 октября 1945 года, демобилизован из Красной Армии, место жительство его в настоящее время установить не представляется возможным, а оснований для объявления во всесоюзный розыск нет.
Постановил:
Учетное дело № 13.618 направить на хранение в 1-й спец. отдел НКВД СССР.
Оперуполномоченный (личная подпись)» .

Дед вернулся через полгода после войны весом 52 кг при росте 180 см.

Муж и жена Захаровы встретились в ноябре 1945 года. Елена Дмитриевна работала главным редактором районной газеты «Сталинский путь». Она сразу сказала ему: «Не переживай, что бы с тобой ни случилось, куда бы тебя ни сослали, мы поедем за тобой». Она тоже была готова ко всему. В НКВД не заставили себя долго ждать. В июне 1946 года ночью его забрали снова. И снова начали проверять, «разрабатывать по месту работы». Было заведено новое дело — № 13.618.

Из протокола допроса 2-го отделения 2-го отдела МГБ УАССР от 5 июня 1946 года: «*Вопрос*: С какими документами вы приехали по демобилизации?

Ответ: При демобилизации из РККА я получил литер на дорогу, продовольственный аттестат и пакет на имя райвоенкомата, который я вручил по назначению, райвоенком мне из пакета выдал справку о прохождении проверки в контрразведке СМЕРШ» .

Теперь допросы были обстоятельнее, протокол намного длиннее.

Видимо, к огорчению следователей и уполномоченных НКВД, на то время «других компрометирующих фактов» не нашли, поэтому пришлось отпустить Захарова С. Г. на неопределенное время.

Помимо этого в личном деле Захарова С. Г. хранятся производственные характеристики, которые ежегодно с 1948-го по 1954 год предоставлялись в райвоенкомат. По-видимому, с целью контроля. Как свидетельствуют старшие дочери, в доме долгое время был наготове узелок с вещами. В последний раз его вызывали летом 1955 года. Об этом говорит следующая справка.

«Справка
По фильтрационному делу № 1179 на
Захарова С. Г., 1915 года рождения,
Уроженца д. Ермилово Балезинского района.

Который 28 июня 1941 года на территории Западной Белоруссии попал в плен к немцам, затем был отправлен в Германию, где находился до 1945 года. 17 апреля освобожден американскими войсками.
Других компрометирующих данных в деле нет.
Фильтрационное дело № 1179 на Захарова С. Г. оставить на хранение в архиве.
8 июня 1955 года.
Оперуполномоченный 5-го отдела КГБ при СМ УАССР
Лейтенант Мокрушин (личная подпись)
Согласен: начальник 5-го отдела КГБ при СМ УАССР
Подполковник Храмов (личная подпись)»

Таким образом, через десять лет после войны, в июне 1955 года, дело было закрыто. Но я точно знаю, что до конца жизни мой дед испытывал чувство вины

и стыда перед Родиной, перед семьей. За то, что попал в плен, за то, что не застрелился, как это требовалось тогда, когда многие говорили, что они бы на его месте сделали это. За то, что не защищал родину вместе со всеми на фронтах Великой Отечественной войны, что не пришлось ему воевать с оружием в руках. Но все-таки, даже пройдя через фашистский плен и десятилетний прессинг проверок НКВД, мой прадед не был сломлен и прожил достойную жизнь.

У деда всегда была любимая работа. В 1952 году он поступил в Казанский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет и в 1957 году окончил его. В 1957 году он был восстановлен в партии, 1959 году был избран депутатом Игринского райсовета. В автобиографии, написанной в 1955 году, мы читаем: жена — Иванова Елена Дмитриевна, 1917 года рождения, член ВКП(б), с 1939 года. Депутат Игринского райсовета. Работает редактором газеты «Сталинский путь», родилась в семье крестьянина-бедняка. Вероятно, поэтому в целом очень удачно сложилась жизнь Захарова Серафима Гавриловича. По жизни с ним шла удивительная женщина, его «стальной щит», моя бабушка Елена Дмитриевна Захарова.

Мы оставили Елену Дмитриевну в летнем лагере под Брестом в четыре часа утра 22 июня 1941 года. Что же произошло с ней? Как жила она эти долгие пять лет? Об этом я знаю по ее многочисленным рассказам.

…В четыре часа утра началась бомбежка. Все выскочили из квартир и шалашей. Кто-то из военных начал успокаивать женщин и детей, мол, это ученья, заходите обратно в дома. Они вернулись в квартиру, но стало еще хуже. Тогда они снова вышли из квартир и побежали к лесу. Обычно по утрам к лагерям приходили крестьяне с другого берега Немана продавать молоко, яйца, масло и сметану. Вот и сейчас они стояли и предлагали всем свой товар. Испуганные женщины удивленно говорили: «Какие могут быть яйца, вы что?» На это крестьяне им спокойно отвечали: «Нам что немец, что русский — все едино. Мы привыкли к войне». В 6–7 утра стали поступать сведения о том, что немцы перешли границу и убивают наших пограничников. Военные приняли решение об эвакуации. Бабушка схватила первый попавшийся чемодан, даже не представляя, что там лежит, подушку и одеяло. Подогнали машины. Все сели. Вдруг заметили, что нет молодой беременной женщины Маруси, жены фельдшера. Бросились ее искать, оказалось, что она спала в шалаше и ничего не слышала. Ее разбудили. Она схватила свою дамскую сумочку и ключи. Всю оставшуюся дорогу она была рядом с бабушкой. Они помогали друг другу, как могли. Их привезли в Гродно, после в Брест. Елена Дмитриевна в последний раз побывала в своей квартире, закрыла ее и ушла навсегда. Больше семья Захаровых никогда туда не вернулась. С кратковременным пребыванием в Бресте связан очень любопытный эпизод. Вспомнив, что в начале июня 1941 года Захаровы заказали у портного-еврея костюм и платье, она оставила детей в подвале какого-то дома и под бомбежками побежала за заказом. Ее остановила разорвавшаяся вблизи бомба. Костюм вдруг перестал быть важным. На первый план выступила война.

Вначале их везли на машинах днем. Когда начинали бомбить, бабушка падала на землю, закрывая собой детей, и думала об одном: «Только бы все вместе, только бы все вместе…» Кругом горели поля с созревшей пшеницей, рожью и овсом. Женщины рвали на себе волосы, бились в истерике те, кто потерял детей, плакали дети, потерявшие родителей. Потом они стали передвигаться только ночами.

На четвертый или пятый день войны их привезли в какой-то городок, где на станции стоял сформированный эшелон для эвакуации местных жителей. Вагоны для скота были забиты различной утварью: печами, ваннами. Военные освободили вагоны, выбросив все на перрон. Эшелон отправился на восток, везя с собой 3000 человек. Денег не было, продать было нечего. На пограничной полосе народ был добрее, давали продукты и воду, не требуя никакой платы. Дальше на востоке за все пришлось платить. Елена Дмитриевна пыталась выйти на станциях и как-то раздобыть продукты, но дочери висли на ней, никуда не отпускали, плача говорили: «Мы не хотим есть, только не уходи никуда, не бросай нас!»

Оставшиеся жены пограничников держались возле нее. От нее исходила энергия и активность. Доехали до Саратова. Затем прибывших коммунисток назначили бригадирами полеводческих бригад в хлебном районе Саратовской области Ершовка. Здесь проявился характер Елены Дмитриевны, она умела возражать начальству: «Мы не отказываемся от работы, но нас надо одеть, как мы будем работать в поле в босоножках, сарафанчиках. Оденьте нас, и мы будем работать». Начальники переглянулись, сказали: «Мы подумаем». На следующую ночь она снова была вызвана в райком партии. Разговор шел о родственниках, имеющихся в тылу. Она назвала адрес родителей мужа. Ей выдали продовольственные литера, и на следующий день Елена Дмитриевна с детьми выехала в город Глазов. В Глазове ее встречали родители и сестра мужа.

С июня 1941 года по февраль 1942 года она работает ответственным секретарем редакции газеты «Выль улон» («Новая жизнь») в селе Понино Глазовского района УАССР — по месту жительства родителей мужа. В феврале редактор газеты был призван в армию, и она занимает его место до марта 1944 года. Основная трудность состояла в том, что газета печаталась в Глазове. Елене приходилось самой на лошади возить материалы в город, за два десятка километров, набирать их в типографии и возвращаться с газетами. В марте 1944 года она стала редактором районной газеты «Сталинский путь» в поселке Игра Игринского района УАССР.

Коллектив ее новой газеты состоял из шести человек: три наборщика, редактор, корректор и переводчик. Условия работы были тяжелыми: электричества не было, колесо типографской машины крутили вручную. Из-за неграмотных наборщиков работу приходилось переделывать по нескольку раз. Она работала сутками.

Всю войну она писала запросы о своем муже и много раз получала ответ: «Пропал без вести». Вероятно, поэтому в ней всегда жила надежда на возвращение Серафима. День Победы не оставил в ее душе никаких радостных воспоминаний. Ее старшая дочь плакала, что их папа не пришел с войны. Она пыталась

успокоить ее, но не смогла и, оставив плачущую дочь, ушла на митинг. Этот праздник тоже был не для нее. И опять вмешалась судьба. Пришло письмо от Серафима. Жизнь обрела смысл.

В ноябре Гаврил Иванович Захаров вышел во двор за дровами и увидел худого высокого мужчину. Он не узнал сына, сказал жене: «Посмотри, кто-то там пришел». «Да это же Сима!» — воскликнула бабушка. Она плакала от счастья. Все эти годы она неустанно плакала о нем и молилась о его спасении. Затем они позвонили в Игру. Редактора газеты отпустили к мужу только на одну ночь. Они с детьми поехали на поезде в Глазов. По дороге девочки «чуть не выдавили стекло» от нетерпения: «Но когда же этот Глазов?» На вокзале их встречал папа. Худой, высокий мужчина в шинели, в ботинках, одетых на портянки, совсем чужой. Они забыли его, им предстояло узнать его заново. Этой же ночью он уехал с семьей в Игру.

Мой прадед боготворил свою жену, и было за что: она, маленькая хрупкая женщина, спасла детей, сохранила ему верность, выжила без него, а когда он вернулся, всегда была ему опорой и поддержкой. Как в семье, так и на работе последнее слово было всегда за ней. У них родилась дочь Людмила (моя бабушка) — в 1946 году, а в 1949 году — сын Александр. Вместе супруги Захаровы прожили долгую жизнь, справили золотую свадьбу. Все дети получили высшее образование.

Когда я писала эту работу, листала документы, разговаривала с людьми, меня не покидало чувство, что судьба была благосклонна к моему деду. Она вела его, сохранила ему жизнь в самых нечеловеческих условиях. Моя бабушка и ее брат — послевоенные дети. Их и нас вполне могло бы не быть на этом свете, если бы наш дед не сохранил волю к жизни и застрелился бы. Что такого должны совершить мы в своей жизни, если место для нас буквально отвоевано. А пока мы можем сказать: «Дед! Ты ни в чем не виноват. Большое спасибо тебе и бабушке за то, что мы живем…»

Примечания

[1] Послужной список.
[2] Протокол допроса репатрианта, 1946.
[3] Там же.
[4] Сайт http://www.hammelburg.ru
[5] Протокол допроса репатрианта, 1946.
[6] Постановление о демобилизации.
[7] Протокол допроса репатрианта, 1946.

приложения

Война: свидетельство и ответственность

Борис Дубин, ведущий научный сотрудник Аналитического центра Юрия Левады

Говоря о прошлом, бывшем, давнем и тому подобных вещах в обществах Нового и Новейшего времени, профессиональные историки по преимуществу определяют их словами «история», «память» (для домодерного периода чаще используются термины «традиция» или «миф»). Смысловой объем «истории» и «памяти» совпадает не полностью, а заряд часто оказывается противоположным[1]. Например, под историей понимают область «большого» времени, в котором протекает и которым меряется жизнь обществ, государств, крупных регионов или даже всего мира; память же охватывает «малое» время человека, его семьи, круга близких, друзей, соседей. Или так: в истории видят сферу официального и общего (документа, закона), за памятью же закрепляются значения частного и индивидуального (непосредственного, устного). Понятно, что внутренние конфликты обществ, общественные сдвиги и переломы будут выражаться среди прочего в более или менее резком противопоставлении официального и индивидуального, парадного и повседневного — в столкновении «истории» и «памяти», трансформации их смыслового объема и направленности. Все эти, казалось бы, отвлеченные вопросы имеют самое прямое отношение к сегодняшней жизни в России, поскольку здесь на протяжении двух последних десятилетий идет настоящая борьба за историю и память[2].

Среди историков и социологов наиболее известны два подхода к пониманию метафоры «память». Одна влиятельная концепция — ее сформулировал еще в середине 1920-х годов французский социолог и антрополог Морис Хальбвакс — толкует память как систему координат (горизонт) коллективного самоотождествления: мы запоминаем что-то как важное вместе со значимыми для нас другими людьми и в отношении к этим «другим», так что память объединяет нас в своего рода запоминательное сообщество[3]. Функция памяти здесь — поддерживать границы данного социума, сохранять его воображаемую сплоченность как целого. Другая распространенная концепция — ее выдвинул в 1980-х годах французский историк Пьер Нора — трактует память как систему трансляции представлений и опыта от поколения к поколению: функции памяти тут связаны именно с передачей и трудностями этой передачи, с разными ее механизмами и способами, угрозой искажений, потерь, конъюнктурных поправок и проч.[4] Опять-таки проблемы памяти в обоих описанных смыслах оказываются крайне важными, более того — болезненными в нынешней России. Опубликованные в этой книге сочинения российских школьников о Второй мировой/Великой Отечественной войне в год 60-летия Победы — тому зримое подтверждение, почему и актуальность подобных публикаций трудно переоценить[5]. Я уверен, что составившие эту книгу тексты будут прочитаны с интересом, и сейчас хотел бы лишь обозначить более общую смысловую рамку, о кото-

рой читающим, по-моему, стоит помнить и в которой приведенные в сочинениях факты полезно оценивать.

С чем связана важность данной темы? Вот лишь несколько причин. Первая, самая общая и самая главная — в том, что в истории России нет ни одного события, которое по его признанности буквально всеми хотя бы приближалось к победе во Второй мировой (Великой Отечественной) войне. Конечно, событиями той войны еще и сегодня затронуты в России буквально все: по меньшей мере, в четырех из пяти нынешних российских семей есть участники той войны, в каждой третьей семье — пропавшие тогда без вести (данные опросов ВЦИОМа, ныне Левада-Центра, в 2001 году). Но дело не только в личной заинтересованности — речь идет о символическом смысле происходившего более 60 лет назад, причем о смысле и символе предельно высоких. Школьники этот момент и контекст вполне осознают: «…та война — наша последняя святыня. Рухнет она — что же останется?», — пишет один из них. И в самом деле: для десятков миллионов людей в России это центральное событие прошедшего века, задающее ему структуру, придающее ему смысл. Ведь именно на названном событии «великой победы» — и это уже не просто достояние отдельной семьи, но работа всей государственной системы — держится позитивная значимость всего *советского* периода *российской* истории. Другого положительного символа такой степени общности советская эпоха по себе не оставила (а распад СССР, крушение советского строя жизни и мысли для десятков миллионов российских граждан — главное отрицательное событие, можно сказать, «антисобытие» XX столетия)[6]. Понятно, что данный символ приобретает в постсоветской ситуации еще одно особое значение: кроме всего прочего, он должен как бы «перекрыть» разрыв между советской и постсоветской эпохой, если хотите, перебросить через него мост[7].

Особенность же нынешней конкретной временно́й точки состоит в том, что 60-летие Победы, достигнутой в 45-м, — тот хронологический и исторический рубеж, на котором во всей серьезности встает проблема передачи непосредственного жизненного опыта *последних* живых участников войны тем, кто знает и будет отныне знать о той войне только в опосредованной форме. Встает, назовем ее так, проблема *свидетельства уцелевших*[8].

Отсюда — третий момент, определяющий сегодняшнюю важность тем войны и победы. Наиболее сознательные и критичные из очевидцев — например, писатели В. Астафьев и В. Быков, историк А. Некрич, литературные критики В. Кардин, Л. Лазарев и другие — еще в 1960-е годы отчетливо видели (да те, кто живы, и по сей день видят) заказной, постановочно-лакировочный характер картин войны, которые были узурпированы государством в позднесоветскую, брежневскую эпоху, а сейчас при очередном укреплении «властной вертикали» и «державного престижа России» как бы воскрешаются у них и у нас на глазах. Собственно говоря, до юбилейного 20-летия победы в 1965 году, впервые отмеченного государством как всеобщий праздник, война вовсе не была в центре новейшей истории Страны Советов: началом координат, сконструированных в сталинскую эпоху, выступала Октябрьская революция, «начало новой эры в истории человечества». И лишь Брежнев, точнее — брежневское руководство,

работа его идеологического аппарата, систем воспитания, средств массовой коммуникации, литературы, кино сформировали ту композицию истории XX века, в средоточии которой утвердилась война, победа в войне и которую во многом унаследовали нынешние россияне, включая даже самых молодых. Поэтому во всех разговорах о войне и победе не следует забывать, что речь при этом фактически идет обо всем воображаемом целом советской истории (непременно включая сталинский, хрущевский и брежневский ее периоды), а может быть, и еще шире — о советской конструкции мировой истории XX столетия[9].

Отмечу, что авторы школьных сочинений (точнее, те из них, чьи работы выбраны для публикации) понимают идеологически сконструированный, избирательный, направленный характер сегодняшних представлений старших. Вот как это формулирует один из авторов: «…так усердно рассказывали о войне в духе победных реляций, что сегодня даже ветераны не могут говорить другим языком. Они просто не помнят того, о чем раньше говорить было небезопасно. Они так долго это никому не рассказывали, что уже и забыли». Потому для школьников и встает проблема «другой истории» — восстановления того, что было принудительно вычеркнуто из официальных реляций, стерто с панорамных муляжей, оттеснено за рамку широкоформатного экрана героических эпопей.

О том, что именно удалено и заполировано на помпезных картинах героической войны и победы, читающие книгу в подробностях узнают сами. Если перечислять совсем коротко, это советский и немецкий тыл, советский и немецкий плен, советский и немецкий лагерь. Важно, что они не просто официально запрещены цензурой к упоминанию или уничтожены некоей внешней силой под названием «власть» — о них не хотят помнить *сами люди*. На триумф подобного забвения работали государственные системы школы, печати, телевидения, отбиравшие, компоновавшие и поколение за поколением воспроизводившие парадно-юбилейную картину коллективного прошлого. И вот сегодняшний результат: «…многим людям в нашем российском обществе, в преддверии 60-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне, — пишет автор одного из сочинений, — не хотелось бы вспоминать, что в глубоком тылу советской армии был ГУЛАГ и были проверочно-фильтрационные лагеря, была рабская сила под названием „спецконтингент“, строившая шахты, комбинаты, заводы и фабрики». И это лишь малая часть пропущенного или вытесненного в России всеми и каждым, а значит, не проработанного, не очищенного сознанием, не прошедшего, по формуле немецких историков, «работу траура» и потому не ставшего, никак не могущего стать действительно «прошлым» и освободить место для будущего.

Другими словами, страницы книги говорят о реальной цене победы (напомню официально-командное «любой ценой» в смысле «никого и ничего не жалеть» и полностью противоположное ему «мы за ценой не постоим» в песне Окуджавы, означающее «ради победы мы не пожалеем жизни, каждый — своей»). Надеюсь, читатели не пропустят здесь картин Москвы 16 октября 1941 года или сцен стахановского движения между зэками в лагере, фактов принудительной под-

писки населения на государственный заем или эпизодов с продажей водки и портвейна в осажденной Москве, бунта крымских татар в фильтрационном лагере под Тулой и русофильства официальной печати при бытовом антисемитизме населения в первые же недели войны. Впрочем, перечислять эти и множество других примеров нет нужды: книга самостоятельных разысканий, в результате которых сотни подобных фактов появились на свет, — теперь в руках читателя.

Речь в ней всякий раз идет как будто бы о реконструкции *деталей* в контексте личной истории, устных рассказов, семейных фотографий и писем, если таковые сохранились. Причем многие, если не все, авторы книги либо напрямую углубляются в прошлое собственной семьи, либо хотя бы косвенно — знакомством ли, перепиской — связаны с действующими в их рассказах лицами (сравним возможности этих не очень надежных, то и дело заглушаемых и прерываемых каналов передачи опыта с официально-государственными, транслирующими, накладываясь друг на друга, постоянно и на всех)[10]. Но это не может не повлечь за собой переструктурацию и переоценку *целого*, а далее, может быть, потребует пересмотра и самих рамок оценки, ее критериев.

Главный противник школьников в этом споре за память — государственная «политика умалчивания», как называет ее один из авторов, имея в виду фактическое молчание советской истории и ее «памятников» о холокосте в СССР и даже на его территории (я бы сказал, что центральным оппонентом авторов, главным, хотя зачастую и не названным прямо антигероем их сочинений выступает именно Советское государство). А их решающий аргумент в этом споре — понятие «истины»: «…что останется? Останется истина», — пишет уже цитированный нами старшеклассник.

Прожженный постмодернист скажет, что апелляция к «самим вещам» и к «тому, как все было на самом деле», остались в позитивистском XIX веке, в далеком прошлом исторической науки, на ее начальных этапах. Уточним. Как исследовательский *инструмент* — конечно, но как *двигатель* познания — ни в коей мере. Пишущий историю исходит и не может не исходить из того, что описываемые им люди и их поступки действительно *были*, почему и могут (должны) быть реконструированы и поняты. В каждом отдельном случае реконструированы и поняты, ясное дело, частично, приблизительно, условно, но сомневаться в реальности происходившего для самих его участников, отрицать подобную реальность, значит для историка заигрывать с дьяволом. Последнее же не просто опасно, как для каждого, — оно ему по профессии не положено: ценности не позволяют (да и необходимости в такого рода гипотезах для познания, строго говоря, нет). Этот не педалируемый, но твердый вывод — он лишь на первый взгляд относится к методологии, на деле же отсылает к моральным основаниям познания, этической определенности исторического поиска и ответственного поведения вообще — еще один сквозной мотив сборника, на который хотелось бы обратить внимание заинтересованных читателей. В заключение могу только пожелать, чтобы они у этой книги нашлись уже сегодня.

Примечания

[1] Конструирование истории, точнее — различных конкурирующих «историй» новейшими историками стало в свое время предметом монографии Мишеля де Серто «История как письмо» (1975); первую, постановочную главу ее см.: Логос. 2001. № 4. С. 4–18. Разные смысловые уровни современного понятия «история» исследованы примерно тогда же в книге Райнхарта Козеллека «Прошедшее будущее: К семантике исторического времени» (1979); главу из нее см.: Отечественные записки. 2004. № 5. С. 226–241. Обзор этих и других концепций, среди которых назову еще монографию Поля Рикера «Память, история, забвение» (2000), см. в кн.: *Савельева И.М., Полетаев А.В.* Знание о прошлом. СПб., 2003. Т. I: Конструирование прошлого.

[2] Этот процесс и сам уже стал предметом изучения современных историков, см., например: Исторические исследования в России: Тенденции последних лет. М., 1996; Национальные истории в советском и постсоветских государствах. М., 1999; Историки читают учебники истории: Традиционные и новые концепции учебной литературы. М., 2002; Исторические исследования в России. М., 2003. Вып. 2: Семь лет спустя.

[3] *Halbwachs M.* Les cadres sociaux de la mémoire [1925]. Paris, 1952, главу из книги см.: Неприкосновенный запас. 2005. № 2/3 (40/41). С. 8–27.

[4] См.: *Нора П.* Поколение как место памяти // Новое литературное обозрение. 1998. № 2(30). Подход П. Нора попытался перенести на древние общества немецкий египтолог Ян Ассман, см.: *Ассман Я.* Культурная память. М., 2004.

[5] Из других подобных публикаций последнего времени см. также: *Веселова А.* Советская история глазами старшеклассников // Отечественные записки. 2004. № 5. С. 126–131 (фрагменты гимназических сочинений — с. 132–138)

[6] Подробнее и с опорой на данные систематических, репрезентативных опросов населения см.: *Гудков Л.* Победа в войне: к социологии одного национального символа [1997] // Он же. Негативная идентичность: Статьи, 1997–2002. М., 2004. С. 20–58.

[7] См. материалы уже упоминавшегося специального выпуска «Память о войне 60 лет спустя» журнала «Неприкосновенный запас» (2005. №2/3); параллельно издан на немецком языке: OstEuropa. 2005. № 4/6. Конструирование образов афганской и чеченской войн, их перекличку с образом переосмысляемой сегодня Отечественной войны сейчас не разбираю, см. о них, в частности, на страницах упомянутых номеров «НЗ» и OstEuropa, а из более ранних материалов — работы Л. Гудкова и Г. Зверевой.

[8] В сравнительно недавнее время, начиная с 1950-х годов, ее ставили в Европе и Америке пережившие Катастрофу — Шоа или холокост (книги Примо Леви, Жана Амери и других); позднее, уже в советских условиях, ее пробовали наметить пережившие сталинский террор и ГУЛАГ (Солженицын, а наиболее радикально — Шаламов). Но она чрезвычайно остро стояла, например, перед ранним христианством. См.: «…Иоанн… пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете» (Ин 1: 6–8). Философии свидетельства уцелевших в Катастрофе — с учетом опыта первоначального и средневекового христианства — посвящена книга Джорджо Агамбена «Что остается от Освенцима» (1998), первую главу из нее в русском переводе см.: Синий диван. 2004. № 4. С. 177–204.

[9] Подробнее о конструировании нынешнего образа войны и победы в этом историческом контексте я писал в статьях «Сталин и другие» (Мониторинг общественного мнения. 2003. № 1. С. 13–25; № 2. С. 26–40), «Лицо эпохи: Брежневский период в столкновении различных оценок» (Там же. № 3. С. 25–32), «„Кровавая“ война и „великая“ победа» (Отечественные записки. 2004. № 4. С. 68–84). О государственно-патриотической составляющей данного процесса, включая государственный же антисемитизм, расставивший акценты в официальных оценках холокоста, см.: *Ферретти М.* Непримиримая память: Россия и война // Неприкосновенный запас. 2005. № 2/3. С. 76–82.

[10] Отмечу, что по этим «слабым» каналам связи, которые не стоит идеализировать, передается, конечно же, не только реально пережитой участниками личный опыт, но и анонимно-всеобщие, а потому не рационализируемые, практически бесконтрольно воспринимаемые, хотя и не оставляющие «видимых» следов стереотипы уравнительности и рессантимента, ксенофобские установки и оценки, синдромы социальной вражды и расовой неприязни, самые фантастические слухи и самые невероятные предрассудки. Дефицит *различных*, взаимодействующих и не только поддерживающих друг друга, но и взаимно сдерживающих каналов передачи опыта — а для социолога за этим стоит дефицит самостоятельных и авторитетных групп, форм институционализации их идей и ценностей, конкуренции и кооперации между ними — значимый контекст проблем истории и памяти в советском и постсоветском социуме, который здесь приходится оставить без обсуждения.

Мифы не переписывают…

Никита Охотин, директор музея общества «Мемориал»

Нет единой исторической памяти. Есть разные образы войны, вернее, точки зрения на войну, которые, сосуществуя, влияют друг на друга — взгляд государства, взгляд историка и народный взгляд, далеко не единый, складывающийся из множества индивидуальных и групповых «памятей». Легче всего выявить и описать тот идеологический конструкт, который во время и после событий формируется и бытует в государственном обиходе — он в каком то смысле модулирует все остальные, особенно в государствах унитарных. И властные структуры, и интеллектуальная элита, и механизмы пропаганды работают над созданием символической картины, которая должна истолковать событие, если оно этого достойно, в историческом времени и в интересах данной элиты, данного государства. Из подобных конструктов состоит официальная история любой страны.

С конца XVIII века в России складывалась национальная идея, дополняя и отчасти вытесняя идею имперско-династическую. В этом процессе были и определенные отступления, перерывы, например, после революции, когда стране была предложена наднациональная идеология футуристического коммунистического проекта, и во времена Хрущева с его попыткой к этому проекту вернуться.

При всей своей заразительности коммунистическая идеология принципиально не охватывала всей массы населения, она не видела страну как единое национальное тело: в нем усматривались здоровые и больные куски, при этом больные должны были быть уничтожены или оздоровлены. Страна в этой картине не была замкнутым, целостным организмом, а лишь частью общемирового интернационального и пролетарского целого.

Естественно, по мере того как Россия оказывалась в реальной политической изоляции, этот конструкт терял будущность. Примерно в середине 30-х годов происходит слом политических и идеологических установок, а затем — серьезная перестройка культурных механизмов. Начинается конструирование «новой-старой» национальной идеи, создается некий советский патриотический комплекс, в котором — с началом войны особенно — ведущим стал русский национальный элемент. При этом с комической серьезностью воспроизводятся приемы, известные по истории любой «молодой нации».

Появляется идея священных границ (культ пограничников стремительно возник в середине 30-х). Идея единства нации, в которой после Большого террора и в соответствии с новой конституцией (1936) не стало внутренних врагов — все советские люди оказались «правильными», а недобитые враги трактовались уже не как природные, «классовые», а как управляемые извне агенты вражеских держав.

Исторический календарь перестал быть исключительно революционным — во множестве отмечались подзабытые даты национальной славы и национальной культуры. Появились фигуры, обязательные для национального идеологического комплекса: национальные вожди и национальный гений. Последний титул был в 1937 году «вручен» Александру Пушкину, который вдруг перестал быть классово ограниченным дворянином. О национальных вождях начали создавать фильмы, книги, их образы тиражировались повсюду — от спорных произведений высокого искусства до брошюрок, агиток, плакатов. В одной из речей Сталина в начале войны уже выстроен весь ряд: воин-патриот должен был брать пример с Минина и Пожарского, Александра Невского, Кутузова и Суворова. Все эти призраки национальных героев были немедленно привязаны к ситуации. Однако, взяв у дореволюционной патриотической идеологии множество символических элементов, новая национальная риторика старательно обходила монархические и религиозные ее составляющие — складывался своего рода компромисс между революционно-классовым и национальным началом.

Сердцевиной этого идеологического комплекса, несомненно, было национальное «мы» я и начавшаяся большая война придала ему реальное звучание: мобилизационная пропаганда уже казалась только отражением действительного единства нации.

Конечно, бывало всякое: и добровольно сдававшиеся солдаты, и крестьяне, радушно встречавшие избавителей от колхозного ига. Еще хорошо помнилось зверское раскулачивание, террор, голод. Но «враг у ворот», враг вполне осязаемый и безжалостный, оттеснил сомнения на периферию массового сознания, доминирующим оказалось это самое «мы», которое позволяло противостоять врагу.

Шла война, одновременно создавался миф о войне — официальный идеологический конструкт, который органично вошел в общий национальный проект, а впоследствии, несколько поменяв очертания, стал основой этого проекта. Интересны, впрочем, именно трансформации мифа. Что же было сначала?

Война породила большой класс людей, которые по-другому, чем предыдущее поколение, воспринимали действительность. Прежде всего — более свободно. Не то, что не по-советски, они как раз во многом были гораздо более советскими, чем люди прошлого поколения. Но это была уже их страна, за которую они воевали, победили и теперь претендовали на роль людей с активной жизненной позицией — с фронтовым опытом, фронтовыми заслугами. Выстраданный патриотизм сдвинул картинку, они не хотели больше быть послушными винтиками и жертвами государственной машины. Конечно, это страшно пугало власть, которой необходимо было вернуть управляемость — во время войны с этим вообще стало не слишком хорошо, а тут еще этот новый слой людей, склонных к самодеятельности.

Их быстро демобилизовали и тем самым рассредоточили: кто вернулся в деревню, кто пошел учиться, кто — на завод. Население ГУЛАГа резко возросло по

сравнению с довоенным, хотя теперь сажали в основном не по политическим статьям, а за нарушения трудовой дисциплины, мелкие хищения.. И среди репрессированных в то время бывшие военные составляли явно непропорционально большую долю. С одной стороны, действительно, вся эта армейская вольница в мирное время врастала с трудом и попадала в группу риска; с другой стороны, я думаю, были и прямые (хоть и негласные) указания обращать особое внимание на бывших фронтовиков.

А победу Сталин забрал себе. При всей парадной народности это была победа одного человека. И немножко — партии. Этот миф был предъявлен уже в 1945 году — как победа товарища Сталина и русского (заметьте — русского) народа под руководством товарища Сталина. Солдаты были, но на своем месте, в массовке. И вообще, нам некогда праздновать победу, надо восстанавливать страну; поэтому инвалидов — в специальные лагеря, фронтовиков — по местам, и — вперед. Идеологический конструкт под названием «победа в войне» разрабатывался и вошел во все учебники в строгом соответствии с установкой: пять сталинских ударов — и поменьше деталей, особенно о начале войны (еще в 1961-м попытка историка Александра Некрича рассказать о трагедии первых дней была агрессивно отвергнута партийной бюрократией).

Движение от Виктора Некрасова («В окопах Сталинграда» вышла в 1946 году) до Василя Быкова (кажется, пик его популярности, как и массовой популярности вообще книг о войне, о ее «окопной» правде приходится не на 60-е, а на 70-е годы) было движением фронтовиков, которые хотели отвоевать свои социальные позиции. Некоторые за это время выбились в люди и жаждали реванша: вот теперь мы скажем, что именно на наших костях войну выиграли, а партийные бонзы — ни при чем. А еще скажем, что, когда бежали в атаку, никогда не кричали «За Родину! За Сталина!».

Любопытно, что появление народного праздника Дня Победы предание связывает именно с этим поколением. Считается, что это инициатива Константина Симонова, что он этого добился.

Почему добился? Брежневскому руководству в отличие от предшественников надо было свою народность постоянно поддерживать и доказывать. Сталину это было не нужно, он и так был «вождь и учитель». Хрущев от него отрекся и придумал множество новых проектов — ему незачем было обосновывать свою власть историей. А эти что — к Сталину? Нет, не к Сталину. К Ленину? Нет, не к Ленину. Что же тогда? А мы национальные…

Тем более что в 50-е годы как раз в недрах хрущевского аппарата сформировалась новая «русская правая» — примерно на уровне инструкторов ЦК и комсомольского начальства, которые всячески поощряли возвращение к истории и вообще великодержавный аспект патриотических идеалов. Они совершенно адекватно восприняли сталинские реформы как национально-патриотическую трансформацию коммунистического режима. В основном выходцы из крестьянства и мещанства, с вполне традиционными ментальностью и привычками, тра-

дициионными ценностями и антисемитизмом, они сменили после больших чисток интернациональную революционно-богемную или авантюристическую номенклатуру 20-х годов. Брежневский переворот был в значительной степени переворотом этих людей.

Обращение к великой военной эпопее и постепенное превращение ее в главное исторические событие века было в таком контексте вполне закономерным. Но в эту картину наряду с нечеловеческой державной величавостью лейтенантская проза добавила и кровавый трагизм, и правду солдатскую — не уничтожая официальный государственный памятник войне, но придавая бронзе человеческое измерение, да и прибавляя ей еще величия («мы за ценой не постоим...»). И конечно, свою монополию на память государство укрепило социальной политикой — льготы ветеранам стали весомым эквивалентом общественного уважения.

Тем не менее война действительно была единственным историческим феноменом, который осознавался как безусловное, как общее — «это пережито мной, моим отцом, моим дедом». Общее в отличие от революции, где отцы и деды могли оказаться по разную сторону баррикад. И конечно, это чувство горделивой общности очень сильно было поддержано победой. Первая мировая тоже могла бы дать импульс к чувству единения, но — ее нету, она проиграна, перешла в гражданское противостояние (да и опорочена всемерно). А здесь мы выиграли. Это всеобщая победа. Это наша победа. Поэтому дорого любое прикосновение: и мы, труженики тыла, и мы, блокадники, и мы, бывшие зэки, тоже работали на победу. Тут важнее всего — именно прикоснуться к чему-то безусловному…

Любой идеологический миф строится как романтическая поэма — в нем видны лишь вершины, кульминационные моменты, яркие портреты героев. Точно так устроен миф о войне. Он не претендует и не может претендовать на правду о войне. Это такое историко-мифологическое батальное полотно, в котором свои обязательные элементы: светлый лик героя, ужасный лик врага, беззащитная жертва. И главное, на нем всегда флер сакральности. В нем можно что-то слегка изменить, но общая конструкция уже устоялась, с ней ничего не сделаешь, менять ее — кощунство.

Эта картинка или, иначе говоря, исторический нарратив, сильна своей государственной или по крайней мере социально авторитетной природой. Это такой тоталитарный текст, который личные, индивидуальные тексты (в данном случае — о войне) забивает и загоняет в подполье и в небытие. Во второй половине XX века историки (не советские, впрочем) договорились, что их задача — попытаться услышать голоса, вытесненные из официальной, общепринятой картины мира. Услышать их уже сегодня не так просто. Чтобы человек не воспроизводил государственные клише в сегодняшнем варианте или в каком-то предыдущем, теперь оппозиционном виде — чтобы человек все это забыл и начал говорить о том, что с ним на самом деле было, с него надо содрать три шкуры. И тут вскрывается такое…

Если вы думаете, что советский солдат, как и какой-нибудь соратник Гарибальди или Кутузова, не считал своего начальника вором, трусом и дураком, то вы ошибаетесь. Если вы думаете, что советский солдат не помнит грязи и подлости войны, то вы ошибаетесь вдвойне. Но вот ты выступаешь в красном уголке, пишешь заметку в газету, у тебя взяли интервью на радио, — и ты, как и 99% твоих товарищей, начинаешь говорить под гипнозом внутренней цензуры, воспроизводить картинку «из учебника», которая в этот момент ощущается как правильная.

Детали картинки могут меняться, колеблются образы врага и защитника, однако ее основа остается неизменной. Был великий Сталин, вождь и организатор всех наших побед, потом Сталин исчез, появился Жуков, Брежнев, партия. Мы защищали дело Ленина, социализм, родную страну, женщин и детей, человеческие ценности, спасали мир от коричневой чумы. Мы несли небольшие потери («малой кровью, могучим ударом»), мы напрягали все силы, мы захлебнулись в собственной крови… Но мы победили. А вопрос цены в мифологических сюжетах не обсуждается. Даже не ставится.

Национальный миф вместе с мифом о войне оказались гораздо устойчивее, долговечнее многих других идеологических конструктов — например, коммунистического.. Этот миф гораздо более устойчив, чем советская власть. И он никуда не делся — не помешало даже признание расстрела поляков в Катыни, секретных протоколов к пакту Рибентроппа–Молотова, совместного с нацистами передела мира 1939 года, не помешало обнародование цифр о чудовищных и несообразных потерях, не смутили публикации о методах работы СМЕРШа, жестокости партизан, о насилии и мародерстве в Восточной Пруссии и других занятых нашей армией немецких территориях.

Попытки, например, Виктора Суворова и других авторов переписать геополитическую конструкцию войны парадоксальным образом только поддержали мифологическую картину. Сталин сам хотел всех завоевать? Молодец! Комплекс победы, комплекс национальной исключительности и мессианства, заложенные в нашем государственном мифе о войне, только укрепился. И смешно было бы считать, что творила этот миф одна власть…

Я не думаю, что уроки можно извлекать только из военного поражения, их можно было извлечь и из победы. У прошедшей войны было много уроков положительного свойства — они не были востребованы. Например, идея союзничества и сотрудничества. Мы воевали против фашизма и за общечеловеческие ценности, так даже во всех учебниках написано. Только теперь не модно говорить об общечеловеческих ценностях.

В официальной картине войны нет места памяти холокоста: памятник его жертвам перенесен в Парке победы на задворки (не вызывает, мол, патриотического энтузиазма). Нет места памяти о тех бесконечных страданиях, которые претерпели наши военнопленные, угнанные, депортированные, о фронтовых и тыловых репрессиях, нет, в конце концов, даже признания такой простой мы-

сли, что вся кровавость войны, ее трагедийность в значительной степени шли от жестокости, равнодушия и некомпетентности режима, почему мы и потеряли десятки миллионов жизней.

Можно ли переписать историю войны заново?

Мифы не переписывают…

Для государства естественно желание опираться не только на современность, но и встраивать себя в определенную историческую ретроспективу. Из прошлого берется все, что кажется правильным и хорошим — о противоречиях при этом забывают. Можно, например, одновременно подымать тост за Сталина и класть цветочки к памятнику жертвам репрессий. Можно соединить царский герб и советский гимн. Этакая историческая шизофрения. Но и позиция: мы — великая Россия, у нас было много чего, хорошего и плохого, это все наше, и все великое нужно уважать, а плохое лучше подзабыть — это все «шелуха и пена». Для сознания, в котором есть понятия Добра и Зла, да и просто логика, такая позиция невозможна. Закон исключенного третьего. Но на уровне государственной идеологии он почему-то не работает.

Нам казалось, что после книг Быкова, Гроссмана уже невозможно вернуться к прежней картине войны — оказывается нет, возможно. Забыть. Мимо пройти.

Сложившийся миф о войне — часть патерналистской конструкции, которая снова доминирует в государственном обиходе, форматируя на свой манер экономику, актуальную политику и т.п. Он безальтернативен, защищен явной или скрытой, внешней или внутренней цензурой. Позиция власти понятна, а вот почему общество с приятностью принимает этот исторический римейк? Только ли здесь дешевая имитация брежневского застоя, успокоительная для коллективных нервов?

Полагаю, есть и более глубокий импульс — стремление воссоздать чувство социального (в частности, и национального — не этнического, а шире) единения, утраченного, расколотого трагедиями XX века, а может, и не бывшего никогда. Поиски новой идентичности заставляют общество блуждать по старым дорожкам — выдумывать себе вождей и врагов, гордиться действительными и мнимыми победами, но при этом не видеть и не стыдиться поражений.

Вообще-то индивидуальная память нужна обществу для того, чтобы можно было пережить собственную историю и извлечь из нее какие-то уроки. Чем больше точек зрения, тем меньше общего травматизма. У нас этого не произошло именно потому, что идеология имела унитарную природу и не только не стремилась учесть разные взгляды и позиции, но, напротив, изничтожала их или загоняла в область невысказываемого.

Мы могли бы постараться, чтобы образ войны ушел в историю не таким страшным и парадно-лживым, подпитывающим механизмы агрессивного мессиан-

ства. Ростки другого, более трезвого, но и более благодарного, человечного взгляда таятся именно в индивидуальной и семейной памяти. Да, эта память плохо разбирается в экономических, социальных и политических процессах, да, она полна недомолвок и мелких аберраций. И в то же время свидетельство, которое передается в доверительном контакте со слушателем, почему-то совсем не похоже на пластилиновый макет войны, хранящийся в школьном музее. Оно убеждает самой своей фрагментарностью и безыскусностью.

Когда сегодня подростки записывают воспоминания своей бабушки, дедушки, соседа, они не покушаются на то, чтобы «переписать историю». В лучшем случае они получают материал для сопоставлений и размышлений. А дело историков — дать ясную карту исторической местности без белых пятен и черной замазки. И это совсем не мало, если в результате мы получим мыслящую личность: ценность как раз в ней, а не в «великой державе» — человеческую культуру творят ведь личности, а не державы.

О конкурсе «Человек в истории. Россия — XX век»

Всероссийский конкурс «Человек в истории. Россия — XX век» проводится с 1999 года Международным «Мемориалом» при поддержке Союза краеведов России, Кафедры региональной истории и краеведения и Центра визуальной антропологии и устной истории Российского государственного гуманитарного университета.

Цель конкурса — способствовать сохранению исторической памяти и сближению поколений, привлечь школьников к изучению российской повседневности, региональной и семейной истории, которая исчезает с уходом старших поколений.

Участникам конкурса предлагалось провести настоящее исследование — расспрашивая родных и знакомых, работая с документами, фотографиями из семейного архива или краеведческих музея, с учебной и научной литературой. Как правило, работой школьников руководили педагоги — учителя школ, руководители краеведческих и исторических кружков.

Всего за шесть лет существования конкурса в Международном «Мемориале» собрано 15 тысяч работ. С 2001 года конкурс входит в сеть европейских исторических конкурсов Eustory.

Основные спонсоры V и VI конкурсов — Европейский Союз (Брюссель), Фонд «Память, ответственность и будущее» (ФРГ), Межрегиональная общественная организация «Открытая Россия» (РФ), Фонд Форда (США), Фонд имени Генриха Белля (ФРГ).

Конкурс поддержали Правительство Москвы, Фонд имени Фридриха Наумана (ФРГ), Международный исследовательский центр российского и восточноевропейского еврейства, Евроазиатский еврейский конгресс, Фонд Кербера (ФРГ), Международный фонд «Демократия» (РФ), Журнал «Знание – сила» (РФ).

Жюри конкурса «Человек в истории. Россия — XX век»

Сигурд Оттович Шмидт
академик Российской академии образования, председатель Союза краеведов России (Москва) — председатель

Светлана Александровна Алексиевич
писатель (Минск)

Александр Григорьевич Асмолов
член-корреспондент Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности Московского университета

Даниил Александрович Гранин
писатель (Санкт-Петербург)

Александр Юльевич Даниэль
директор программы «История диссидентов в СССР» Международного общества «Мемориал» (Москва)

Сергей Аркадьевич Иванов
профессор Московского университета и Санкт-Петербургского университета (Москва)

Александр Валерьевич Кобак
программный директор Международного благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева (Санкт-Петербург)

Владимир Фотиевич Козлов
заведующий кафедрой региональной истории и краеведения Российского государственного гуманитарного университета (Москва)

Мария Александровна Липман
главный редактор журнала Pro et Contra, Московский центр Карнеги (Москва)

Никита Глебович Охотин
директор Музея Международного общества «Мемориал» (Москва)

Арсений Борисович Рогинский
председатель правления Международного общества «Мемориал» (Москва)

Дарья Никитична Хубова
директор Центра визуальной антропологии и устной истории РГГУ (Москва)

Ирина Лазаревна Щербакова
историк, председатель Оргкомитета конкурса

Summary

The all-Russian competition, *Man In History. Russia — The Twentieth Century* has been running since 1999 by the Memorial International society with the support of the Local Studies Council, Russian Academy of Education; the Department of Regional History and Local Studies, Russian State University for the Humanities; and the Center for Visual Anthropology and Oral History, Russian State University for the Humanities.

The aim of the competition is to promote preservation of historical memory and rapprochement of generations, to involve schoolchildren in studying Russian everyday life, as well as regional and family history which is disappearing as the older generations are passing away.

The contestants were asked to make a real research: to question the relatives and acquaintances, to examine documents, photos from the family albums or local museums, to study relevant literature. As a rule, the schoolchildren were guided by the schoolteachers or the heads of the local history groups.

For the reason that the year 2005 is marked by one of the most important dates in the history of Russia, the 60-year anniversary of the victory in the Great Patriotic War, the main theme of the competition was *The Price to Pay for Victory*. More than fifteen hundreds of works submitted by the contestants represent the Great Patriotic War as seen by those who are 15 to 20 years old now. Most of the contestants are schoolchildren from small Russian towns and villages.

They did not describe the battles and the generals' decisions, but devoted their research to the fates of common people, ordinary veterans, and also paid attention to those whom the victory brought new suffering, rather than only the joy of liberation. Among them we find people who were orphaned or widowed by the war, and disabled soldiers. Among them are those whose names were blemished after the war, who was considered ideological suspects: the former prisoners of war, the former prisoners of concentration camps and ghettos, and the so called *Ostarbeiters* (the civilians dragooned for a work crew in Germany).

цена победы
российские школьники о войне

Редактор Анна Красильщик
Корректор Любовь Кравченко
Верстка Тамара Донскова
Производство Семен Дымант

Международное общество «Мемориал»
127051, Москва
Малый Каретный переулок, 12
Телефон 209 7883
e-mail konkurs@memo.ru
www.konkurs.memo.ru

Новое издательство
103009, Москва
Брюсов переулок, дом 8/10, строение 2
Телефон 229 6493
e-mail info@novizdat.ru

Подписано в печать 25.09.2005
Формат 60×90 1/16.
Гарнитуры Charter, FranklinGothicBook
Объем 29,00 условных печатных листов
Бумага офсетная
Печать офсетная
Тираж 2000 экземпляров
Заказ №

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии «Момент»
Химки, улица Нахимова, дом 2